ISSN 0130–6545

№ 1980

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

10 Октябрь 1980


## Содержание


ЖОРЖИ АМАДУ — Возвращение блудной дочери *(Роман. Окончание. Перевод с португальского Юрия Калугина)* 3

МАРГИТ СЕЧИ — Стихи *(Перевод с венгерского Н. Горской. Вступление Е. Малыхиной)* 51

ИРВИН ШОУ — Богач, бедняк... *(Роман. Продолжение. Перевод с английского Иды Басавиной)* 57

**Литературное наследие**

МИХАИЛ САДОВЯНУ — Медвежий глаз *(Повесть. Перевод с румынского и вступление Михаила Фридмана)* 157

СИНЬ ЦИЦЗИ — Стихи *(Перевод с китайского и вступление М. Басманова)* 190

**Критика**

Т. РОТЕНБЕРГ — От фактов — к истории, от хэппенинга — к роману 198

**Заметки писателя**

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС — Чилийская «внутренняя война» *(Перевод с испанского Вероники Спасской)* 209

**Отклики, встречи, впечатления**

Л. ВАСИЛЬЕВА — Йожеф Мелиус и Шандор Каняди. Заметки о двух поэтах 214

## Культура и современность

### Заметки на полях

С. БЕЛОВ — «Не продается вдохновенье...»? 220

## Публицистика

ВИТАЛИЙ ОЗЕРОВ — Константин Симонов: верность цели 224

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН — Кардиограммы Манхэттена 232

## Антирубрика

АЛЕН БОСКЕ — Стихи *(Перевод с французского Мориса Ваксмахера)* 248

ВОЛЬФДИТРИХ ШНУРРЕ — Рассказы *(Перевод с немецкого Вальдемара Вебера)* 249

## Среди книг

### Издано в СССР

В. Оскоцкий — Время, память, судьба ◆
О. Васильев — Открывая эпоху 253

### Издано за рубежом

Польша: новые книги. Н. Смирнова — Формула преемственности ◆ «Нейтральным оставаться нельзя...» (Беседа с Анджеем Кусьневичем) ◆ К. Старосельская — История одной жизни ◆ Валентин Курбатов — Чтобы пробудить сознание 257

## Из месяца в месяц

264

*На обложке — репродукции картин художника АУГУШТУ Ф. Р. ТРИГУ (Гвинея-Бисау). Заметку Н. Дьяконовой о творчестве художника см. на стр. 208.*

© «Иностранная литература», 1980 г.

# ЖОРЖИ АМАДУ

# *Возвращение блудной дочери*

РОМАН

*Перевод с португальского ЮРИЯ КАЛУГИНА*

Луна сияет в другой стороне мира либо покоится в глубине океана, во мраке ночи холмы высятся, словно в белом одеянии невесты, усыпанные звездами, падающими с неба Манге-Сэко,— так писал Барбоза в одной из «Поэм Агресте», вспоминая о встрече с Тиетой. Чистый покров земли — твое подвенечное платье, гирлянда из звезд, роза с опавшими лепестками, распутная невеста, спрятавшаяся от взглядов черная луна!.. Старые стихи, они были хороши для декламации на празднествах в прошлые времена, Леонора читала их в те тягостные дни, когда Асканио стал похож на безумца и мечта угрожала развеяться и погибнуть.

С реки послышался шум подвесного мотора катера Пирики:

— Это он, Мамочка, сердце мне говорит.— Леонора встает, бросается к двери «Загона козла Инасио».

Она приехала сюда накануне с команданте и доной Лаурой, откликнувшись на записку Мамочки: приезжай помочь устроиться. Несмотря на аллергию, вызываемую запахом свежей краски, Тиета так торопилась, что переехала, когда двери в доме, выкрашенные в желаемый цвет, еще не совсем высохли. Она с гордостью показывает каждое помещение. Зала, две комнаты, ванная; гостеприимный домик, в нем есть все, вплоть до холодильника, работающего на керосине. Тиета не скупилась, выписала все самое хорошее, самое лучшее. В воскресенье несколько друзей приедут на завтрак и покупаться в море. Обычаи, связанные с ритуалом погребения, столь строги в Агресте, что не разрешают отпраздновать новоселье: прошло всего несколько дней после похорон Зе Эстевеса.

Тиета идет к дверям, обнимает Нору за талию:

— Воспользуйся случаем, козочка. Я буду беседовать с команданте и доной Лаурой. Если ты по-настоящему влюблена, как ты говоришь, то возьми своего козла за рога. Спеши, день отъезда не за горами...

Она оставляет на пороге Леонору, в темноте направляется к дому команданте, где горят моряцкие ацетиленовые лампы. Тиета опирается на посох, не выпускает его из рук после смерти старика. Рикардо уехал в Агресте, покинув ее в одиночестве. Ночи с субботы на воскресенье принадлежат богу. После вечерней исповеди у монаха в поселке Сако — полное воздержание, ни одного поцелуя. Только по возвращении Рикардо — в воскресенье, после мессы. В эту субботу он уехал раньше обычного, на заре отплыв на лодке Жонаса. Он должен прибыть в Агресте с таким расчетом, чтобы успеть к заказанной по случаю дня рождения Пето мессе; кроме того, он везет подарки от Тиеты и Леоноры, да еще обязался помочь падре Мариано —

Окончание. Начало см. в № 7, 8, 9.

правда, Тиета не знает точно, в какой церемонии, она не сведуща в религиозных делах.

Шаги Тиеты удаляются, близка встреча с Асканио. Взволнованная и трепещущая, Леонора ожидает, она безмолвна и бледна. Если бы Асканио согласился взять ее в служанки или любовницы, она никогда бы не уехала из Агресте, пусть Мамочка возвращается без нее. Даже будучи шлюхой, Леонора умеет вести дом, она фанатично любит чистоту, прилично готовит, с девичьих лет стирает и крахмалит белье. Среди кокосовых пальм появляется фигура с каким-то длинным футляром в руке.

— Нора!

— Асканио, любовь моя!

Крепкое объятие, горячий поцелуй, а не скромное прикосновение губ, футляр падает на землю. Падают звезды с неба, звезды поэта Барбозы, освещающие путь на холмы. Леонора предлагает руку Асканио, указывает взглядом на белесые контуры дюн:

— Пойдем?

— Надо убрать это. Потом я тебе покажу.— Он поднимает футляр с земли, передает Леоноре, та относит его в дом. Они снова целуются, шагая под звездами.

Несколько часов тому назад в «маринети» Асканио торжествующе заявил:

— Пройдет немного времени, и эта отвратительная дорога станет одной из лучших в Баие и во всей Бразилии. Две широкие асфальтированные полосы с каждой стороны — практически автострада.

Пассажиры, на которых весть произвела впечатление, попросили рассказать подробности, он сообщил точные сведения. БИПК — «Бразильская инженерно-проектная компания», которая взялась асфальтировать Грязную дорогу,— вы знаете эту Компанию, не так ли? — завершает разработку проекта для окончательного утверждения его в «Бразтанио». Асканио возвращается из столицы штата, с собой везет прогресс в дорогом черном кожаном портфеле новейшего образца и в длинном толстом металлическом футляре. Портфель, подарок доктора Розалво Лусены, оставленный ему с любезной запиской в регистратуре отеля, содержит материалы, посланные Милейшим Доктором, подробнейшую документацию. В футляре — тот превосходный рисунок художника-декоратора Руфо. Голос Асканио приобрел силу и ясность: четко произносимые слоги, тщательно подобранные и правильные слова. Все замечают происшедшую в нем перемену: усердный молодой секретарь префектуры с пустяковыми намерениями и неосуществимыми мечтами превратился в реалистически мыслящего и энергичного деятеля. В столице штата, общаясь с людьми обладающими большими способностями и большим сердцем он достиг зрелости.

Кто знает, не потому ли, что ему не понравилось известие о предстоящем асфальтировании дороги, только «маринети» Жаиро, прозванный некоторыми злопыхателями Болотным Мулом, забарахлил, произошла одна из часто случавшихся поломок. Когда они наконец прибыли в Агресте, уже начинало смеркаться, наступал романтический час. На пороге дома Перпетуи семинарист Рикардо в сутане, с часами на руке, с кольцом из нефрита на пальце, улыбаясь сообщил, что кузина Леонора уехала в Манге-Сэко. Даже не попрощавшись с ним Асканио поскорее отправился договориться о катере — поехать к ней.

Они идут холмами молча, держась за руки, пересмеиваясь. Вглядываясь в ее лицо через вуаль ночного мрака, Асканио пытается сравнить ее с Пат, с Нилсой, с Бети. Невозможно! Не только потому, что Леонора бесконечно красивее, но главным образом из-за огромной моральной дистанции, отделяющей ее от этих пираний [1]. Пи-

[1] Пиранья — хищная рыба, водящаяся в реках Бразилии.

раньи — так журналист Исмаэл Жулиан отозвался о девицах, собравшихся у бассейна; не похоже, что он — жених одной из них. Противный тип, доктор Лусена прав.

Лицо Леоноры отражает чистоту, благородство, возвышенные чувства. Сразу видно, что она из семьи с высокими моральными принципами, прекрасно воспитана. Другие, бедняжки, могут быть лишь... пираньями, чтобы не применять постыдного, но более точного слова.

Все еще держась за руки и улыбаясь, они поднимаются на самый высокий холм, ноги вязнут в песке. Леонора спотыкается о кокосовую ветвь, падает, пытается подняться, Асканио берет ее на руки, легкое, воздушное тело, сильфида — поэты дают четкие определения, никогда не ошибаются. Несет ее на руках. Леонора прижимается к его груди, лицо к лицу, дыхание их смешивается.

Когда он поставил ее на ноги, наверху, они снова поцеловались перед мрачной, зовущей пропастью. Однажды тут при полной луне Леонора коснулась губами лица Асканио. Сейчас, в безлунную ночь, пейзаж еще более насыщен тайной, огромной и темной. Когда они оторвались друг от друга после поцелуя, она произносит хрустальным голоском:

— По ту сторону — Африка. Я не забыла. Только луна, которую я заказала на сегодня, не появилась.

Они уселись перед бурным морем, стремящимся разрушить землю, проникнуть в нее. Такой мощный прибой и слабый, боязливый смех. Счастливый Асканио немеет; однако мысль его работает, в уме он составляет нужные фразы, подбирая каждое слово. Но Леонора его опережает:

— Все прошло хорошо?

— Все отлично. Потом тебе расскажу подробно.— Он решается: — Сейчас же я хочу поговорить с тобой о другом.

Леонора прерывает его, внезапно озабоченная, взгляд затерян в дали океана, она бесконечно печальна, разбивается хрусталь ее голоса:

— Асканио, я хочу тебе кое-что сказать, я должна сказать.

Он быстро зажимает ей рот рукой. Все, кроме этого. Он понимает, что Леонора хочет поделиться с ним о былом, и не может допустить, чтобы она сама созналась. Немыслимо услышать рассказ из ее уст, это было бы наибольшим из страданий. Если нужно вскрыть и разбередить едва зажившую рану, то жертвой должен стать он.

— Не говори ничего, я уже все знаю.

— Знаешь? Кто тебе рассказал?

— Дона Кармозина. Дона Антониета сказала ей, чтобы она поставила меня в известность. Чтобы узнать, не отступлюсь ли я.

— Рассказала все? — На глазах ее навернулись первые слезы.

— Все. Как твой жених, подлец, обманул тебя, воспользовался твоей невинностью. Помнишь мою поездку в Росинью? Она была связана с этим — и не помешала мне. Произошедшее с тобой не имеет значения. Ты для меня чиста, как дева Мария.

Леонора молча плачет. Асканио осушает ее слезы поцелуями, требует:

— Я прошу тебя только об одном: никогда больше не будем говорить об этом, ни слова. Хорошо?

Она соглашается, кивнув. Ведь она собиралась сказать ему совсем другое, рассказать всю правду, но теперь, после того, что она только что услышала, где набраться мужества, чтобы заговорить? Она не может совладать с рыданиями, Асканио пытается погасить их поцелуями.

— Асканио, что бы ни случилось, никогда не думай, что я хотела тебя обмануть. У меня никогда не было другой любви. До тебя я не знала, что такое любовь.

Благодарный, он нагнулся, чтобы поцеловать ее, а Леонора сжимает его в крепких объятиях, прильнув к нему; он ощущает ее грудь, бедра, живот. Теряет самообладание. Леонора шепчет:

— Прости меня, что я не такая, как ты думал. Я твоя. Или ты не хочешь меня? — Снова слезы.

— Хочу ли я...

Первый раз в жизни Леонора отдается по любви. Она плачет и смеется. Прежде была насильно отнятой от вымени козочкой, искалеченной жизнью. Теперь на самом краю родной земли, напротив далекой Африки, она стала женщиной, полноценной и счастливой... Она овладела голубым небом и черной луной.

Свадебная фата из белого песка, гирлянда из звезд, распутная невеста, роза с оборванными лепестками. Леонора теряет силы. На горизонте рождается голубое сияние, в глубине моря исчезает черная луна, слезы просохли, вспыхивает смех. Ах, любовь моя, теперь я могу умереть!

Разоблачившись после воскресной мессы, падре Мариано наблюдает за Рикардо, расхаживающим по ризнице.

— Ты не исповедовался, Рикардо. Почему?

— Вчера вечером я был занят, падре, и у меня не хватило времени исповедоваться. Я поспорил с сеу Модесто Пиресом, рассердился, оскорбил его...

— Оскорбил сеу Модесто Пиреса? Ты? — Преподобный с удивлением покачал головой.

Его подопечный сильно изменился за время отдыха в Манге-Сэко. Когда он пришел к нему после экзаменов, был совсем мальчишкой, улыбающимся и приветливым, на уме лишь рыбная ловля да футбол, если не был занят дома или в церкви. А тут вдруг стал здоровым парнем, по-прежнему улыбающимся и приветливым, однако манеры иные, и выражение лица изменилось, интересуется серьезными делами, с негодованием протестует против сооружения заводов диоксида титана, осмеливается спорить с Модесто Пиресом. Какая муха укусила его?

— Сказал ему, что думал об этом заводе и о всех, кто защищает эту идею. Я согрешил, разгневавшись, падре.

— Ты исповедуешься у брата Тимотео? Он продолжает быть твоим духовным отцом?

— Да, падре. Он проводит лето в селении.

В ту ночь акул и страха Рикардо, сидя в лодке рядом с Жонасом, понял, как нелегко командовать, особенно если приходится прибегать к жестокости и насилию, чтобы осуществить задуманное.

Все началось с приезда тетки — месяца полтора назад. На остановке «маринети» Рикардо ожидал, что встретит старуху, скорее, пожалуй, не тетку, а бабушку, вдову в слезах и в трауре. С подножки «маринети» сошла богиня!

Многое произошло с тех пор. С первой ночи на холмах с Тиетой, где он поднимался к небесам и спускался в ад, и до этого бурного вечера среди волн и акул, угрожавших напуганным служащим «Браштанио», когда он выполнил суровый долг гражданина, остался верным страшному обязательству. Во время церковной службы под Новый год, преследуемый женскими взглядами, увидел Марию Непорочную. Много произошло за короткий срок — восторг жизни, ужас смерти.

Другие опыты дались ему легче, ах, они были восхитительны! Тропинка жизни проходит среди женщин. Тетка зажгла костер в его груди, пожар разрастается, как потушить его? Недостаточно Тиеты, недостаточно Марии Непорочной, раскаленные угли жгут и воспламеняют его, как только он замечает взгляд, преисполненный желания, многообещающую улыбку. Он не умеет отказываться, да и не

думает отказывать. Зачем теперь избегать того, что дано было совершить однажды?

Он приехал из Манге-Сэко утром по случаю дня рождения Пето, вручить ему подарок от Тиеты и Леоноры, но затем, освободившись, провести всю ночь с Марией Непорочной. Перпетуа свела празднование к скромному обеду, на который пригласила падре Мариано, помимо Элизы, Астерио и вдовы Тоньи. Она жаловалась падре на отсутствие Тиеты и Леоноры, но, конечно, была неискренна. На самом деле, присутствуй они в Агресте, ей пришлось бы собрать в доме множество людей, начиная с доны Кармозины, к которой не питала симпатии, да и торжество обошлось бы дорого.

По окончании обеда и краткой беседы падре Мариано удаляется, Рикардо провожает его. В ризнице падре указывает на шкафы и говорит Рикардо:

— Украшения находятся там, старые вещи — в башне. Наши уважаемые и благочестивые церковные хранительницы станут вынимать и раскладывать вещи, ты же будешь их переписывать на этом листе бумаги.— Из числа хранительниц присутствуют трое, они уже расхаживают возле шкафов: дона Милита, дона Эулина и ее племянница Синира.

В то время, как старушки вынимают вещи и раскладывают их, Синира, заметив, как Рикардо изнывает в ожидании, спрашивает его с томным взглядом, не хочет ли тот начать перепись старья, хранящегося в башне. Она может помочь ему. Старая утварь, согласно циркуляру епископата,— самая ценная, заслуживает особой заботы, ухода и внимания.

— Отличная мысль, дона Синира.

— Только Синира. Я не какая-нибудь старуха, чтобы ты называл меня доной.

— Ну что ж, пошли, Синира.

Пошли. Она впереди, он за ней с бумагой и карандашом. На башню ведут высокие каменные ступени. Рикардо любуется упругими икрами Синиры с волнующим голубоватым пушком, он даже задерживает шаг, чтобы лучше видеть их. В тесном помещении башенного склада едва можно разминуться. Синира нагибается, чтобы поднять ту или иную вещь — старые подсвечники, сломанные фигуры святых, обветшавшие скамеечки,— и как бы нечаянно задевает Рикардо, здесь так тесно, что вольно или невольно... При каждом движении все теснее и теснее, и внезапно — как же это случилось? — попали друг другу в объятия, слились в поцелуе уста. Синира глубоко вздыхает, силы ее покидают, Рикардо поддерживает девушку. А далее вся инициатива принадлежала уже ей, более опытной.

Спустя некоторое время они молча заканчивают небольшой перечень вышедшей из употребления церковной утвари. На лестнице она еще раз подставляет губы для прощального поцелуя. Так начался марафон.

В оставшееся время до встречи с Марией Непорочной Рикардо сопровождает мать в кино. Когда они вошли, зал был полон. Лишь два свободных места. Одно — рядом с Модесто Пиресом, обычно приберегаемое на субботних сеансах для доны Аиды. Другое, двумя рядами дальше,— слева от Карол, справа от нее сидит служанка, сторожевая собака, это место почти всегда не занято. Ни одна уважающая себя женщина ни за что не сядет здесь, мужчины же с удовольствием сделали бы это, но где набраться храбрости, чтобы презреть недовольство богатея и сплетни остальных?

Перпетуа устраивается по соседству с хозяином кожевенного завода, который встречает ее любезно, встав, чтобы дать ей пройти. Рикардо садится рядом с Карол, взгляд которой сохраняется отрешенным и безразличным. Модесто Пирес косится: семинарист, правда, еще не мужчина, не опасен. Гораздо хуже, когда появляется какой-

нибудь незнакомец и, увидев свободный стул рядом с хорошенькой мулаткой, тут же его занимает. С неблаговидными намерениями.

Гаснут огни, сеанс начинается с показа киножурнала давностью в несколько месяцев. Рикардо чувствует, как носок туфли Карол дотронулся до его ноги. Соприкосновение повторяется все настойчивее, туфли прижимаются одна к другой. Потом ноги. Мягкий нажим, приятное тепло; оба действуют — с опаской, еле заметно, но обоим приятно.

Как только фильм кончается, Карол уходит в сопровождении служанки, не глядя ни на кого, тогда как Модесто Пирес провожает Перпетую и Рикардо на протяжении целого квартала. Он жалуется, что остался один в Агресте, вдали от семьи, занимаясь этим делом с кокосовой рощей, а решить его пока никак не удается. Невозможно прийти к соглашению из-за уловок нанятого претендующим на владение ею Жозефой адвоката, хитрого как лиса, и сумасбродств другого претендента, кретина Фиделио, который не долго думая уступил свои права — и кому? — команданте.

— Это абсурд, дона Кармозина! Находятся еще люди, которые высказываются против размещения в нашем муниципии крупной промышленности, а ведь она принесет нам лишь богатство. Команданте — один из них, он не похож на человека, повидавшего и познавшего свет.

Перпетуа возводит глаза к небу в немой поддержке бунта почтенного Модесто Пиреса, но Рикардо неосмотрительно ввязывается в разговор:

— Богатство? Такого рода промышленность принесет нам лишь загрязнение окружающей среды. Нищету.

Модесто Пирес, услышав непривычную дерзость, хмурится, повышает голос:

— Не вмешивайся, парень, в то, чего ты не понимаешь.

Из-за инженера и Карол — по разным причинам, но обе они важные — Рикардо не выносит хозяина кожевенного завода, продолжает:

— Если они явятся загрязнять Манге-Сэко, мы их вышвырнем отсюда коленкой под зад.— Рикардо не сообщает, что это уже было проделано, он обещал хранить тайну.

Он только повторял слова тети Антониеты, которая настроена против завода резче, чем команданте, поясняет Рикардо, посмеиваясь в душе. Оказавшись между двумя лагерями, к тому же богатыми, Перпетуа решает, что лучше придерживаться нейтралитета, и предлагает сыну не спорить с людьми, заслуживающими уважения и почтения ввиду их возраста и общественного положения.

Едва лишь Перпетуа дома тушит свечу, Рикардо тихо открывает окно спальни и выбирается на улицу. За манговым деревом его ждет Мария Непорочная.

— Ты что-то задержался, милый. Я уж думала, не придешь. А я как раз сегодня тороплюсь.

— Торопишься?

— Завтра, если хочешь, я останусь на всю ночь. Сегодня больше нельзя, не могу, дорогой. Семейное празднество в пансионе доны Зулейки — все девицы должны быть на дне рождения Пето...

Рикардо теряет голову — он мечтал провести с ней всю ночь, но... и назначает встречу на следующий день в тот же час, как погаснут огни, под манговым деревом. Безумие! Ведь он обещал тетке вернуться в Манге-Сэко сразу же после воскресной мессы. Тиета его ждет с нетерпением, она сейчас хозяйка каждой его минуты и каждого его движения Ему принадлежат лишь обязанности семинариста, долг по отношению к церкви. К счастью, инвентаризация утвари еще не закончена. Осталось немного работы, однако и это может послужить оправданием.

Через дону Кармозину он посылает записку. Дескать, не может покинуть падре Мариано в связи с важным делом — огромной работой по учету церковной утвари, задачей безотлагательной — срок назначил кардинал. Но в понедельник непременно, ранним утром. Подписал: «Твой племянник, который тебя обожает и скучает по тебе, Кардо».

Рикардо оказался в отлучке как раз в ту пору, когда Тиета более всего нуждалась в поддержке и утешении, когда триумф приобрел привкус поражения и все ей стало казаться потерянным. Тень «Бразтанио» простерлась над праздником открытия «Загона козла Инасио» и загрязнила его.

Открытие «Загона» — свидетельство успеха ее странствия, победоносного возвращения проклятой и изгнанной пастушки, символ вновь завоеванного мира, и она хочет, чтобы этот праздник прошел отлично — в атмосфере чистого и непринужденного веселья.

Веселья было мало, дружба же подверглась тяжким испытаниям, а ночь ознаменовалась отсутствием Рикардо. Довольными, как и должно было быть, выглядели только Леонора и Асканио.

Приподнятое настроение Леоноры сохранялось в течение всего воскресенья. Когда Асканио вынул рисунок Руфо из металлического футляра, чтобы положить на стол, она еще спала и не знала о разногласиях его с Тиетой.

Асканио тоже в радостном настроении улегся в гамак, подвешенный на веранде для Рикардо. Он не сразу заснул, размышляя о случившемся на холмах. Уверенность в том, что его любит самая красивая и совершенная из женщин, придала ему сил, он почувствовал себя способным завоевать мир. Чтобы положить всю вселенную к ногам Леоноры. Он проснулся на рассвете, побежал на пляж, поплавал, наслаждаясь в одиночестве. В селении он поинтересовался известиями о бригаде техников, которая, как сообщил доктор Лусена, должна была прибыть в Манге-Сэко несколько дней назад. Многолюдная группа не могла остаться незамеченной. Однако он не получил никакой информации. Жонас, посасывая свою глиняную трубку, указал локтем на море:

— Была собачья погода. Здесь никто не высаживался. Может быть, они сбились с пути, а может, и вернулись обратно.

— Возможно, они в селении?

— Возможно.

Вернувшись, он увидел Тиету на пороге «Загона». От мачехи Леоноры он рассчитывал получить одобрение своих матримониальных замыслов, водрузив вскоре на положенное место табличку с названием улицы Антониеты Эстевес Кантарелли. Однако приобщить миллионершу к делу «Бразтанио» он может и сегодня же, показав ей произведение искусства художника-декоратора Руфо. На живущую в Сан-Пауло вдову промышленника, которая сама обладает акциями заводов, несомненно произведет впечатление это «ослепительное видение будущего», как он еще раз назвал привлекательный, красочный рисунок. Основную поддержку должна оказать мачеха Леоноры. За ней пойдут все, дона Кармозина и команданте останутся в одиночестве. Что же касается поэта Барбозы, то кто обращает внимание на поэтов? Неожиданная реакция Тиеты вызывает у него шок:

— Как вы осмеливаетесь показывать мне эту гадость в день, когда я открываю свое бунгало в Манге-Сэко? Такие проекты и планы могут обмануть только растяп.— Она пробегает взором панораму зданий, заводских труб, домов и дорог.— Какой ужас! Если вы, Асканио, действительно любите Агресте, как я полагаю, то бросьте эту затею, поблагодарите бога за то, что мы имеем сейчас: кажется — мало, на самом же деле — много.

— Вы меня удивляете — вы, добившаяся освещения от гидроэлектростанции...

— Освещение — это одно, загрязнение окружающей среды — другое. Вы умный человек и должны понять: если бы это производство могло обосноваться в другом месте, оно не полезло бы в эти края. Может, вы ждете моей поддержки? Знайте, что я категорически против. Не рассчитывайте на меня.

Асканио пытается приводить всякие доводы, повторяет слова Милейшего Доктора и Розалво Лусены, но Тиета обрывает его:

— Не растрачивайте свое красноречие — вам все равно меня не убедить. Вы мне очень нравитесь, но еще больше я люблю Агресте, обожаю Манге-Сэко.

— Я люблю Агресте иначе, дона Антониета.— В его голосе зазвучали нотки Розалво Лусены: — Я — администратор, на мне лежит ответственность за город...

— Так пребывайте со своей ответственностью, я же остаюсь при своем мнении. Приберегите свои картины и речи до Агресте. У меня сегодня совершенно особый день, я не хочу слышать о ссорах и спорах, хочу большой радости. Отправляйтесь прогуляться с Леонорой, она еще не была в Сако, плохо знает Манге-Сэко. Покажите ей все, пользуйтесь, пока не поздно, Асканио, ведь остается уже мало времени.— Она думает о Рикардо, повторяет шепотом: — Очень мало...

Наступает перемирие, последнее. Лица, однако, не проясняются. Тиета сохраняет в памяти железобетонный пейзаж, изображенный на рисунке: здания заводов, трубы, домики техников и администраторов, общежития для рабочих и дальше, близ холмов, роскошный жилой дом, предназначенный, несомненно, для директоров Компании; железобетон заменит тут кокосовую рощу, землю покроет асфальт. Хижины будут снесены, селение перестанет существовать, вместо рыбачьих лодок появятся грузовые суда. Не будет ни крабов, ни рыбы, ни рыбаков.

Радостное настроение и удовлетворение, с которым Асканио начал утреннюю проповедь относительно заслуг «Бразтанио», покидают его. Что подразумевает дона Антониета, упомянув о малом времени, которое нужно хорошо использовать, имеет ли она в виду сооружение завода с неизбежными изменениями в пейзаже Манге-Сэко или неизбежность возвращения ее с падчерицей в Сан-Пауло? Мачты с проводами от гидроэлектростанции уже достигли границ муниципия — дона Антониета права, времени действительно остается мало для стольких дел.

Тиета была занята варкой кофе, когда услышала шум моторки Пирики. Она оставляет гостя одного, бежит на берег встретить Рикардо.

— Леонора проснулась, она позаботится о вас.

Из моторки выходят дона Кармозина и Элиза, а Рикардо не приехал. Тиета получает и читает записку от «племянника, который обожает и скучает», комкает бумажку, бросает на песок.

Почему он не оставил инвентаризацию заботам падре и богомолок? Как мог не явиться на празднество по случаю открытия «Загона»— дома, который они вдвоем построили, для стен которого вместе месили глину? Разве он забыл, что новая кровать из барригуды тоже поджидает их? Тиета не представляла себе, что когда-нибудь будет ревновать кого-то к храмам и алтарям, церковным службам и молитвам,— какая насмешка! Дона Кармозина тащит ее в «Тещину лачугу» — поискать команданте.

На кухне дона Лаура руководит приготовлением завтрака, Элиза идет помочь ей. На веранде дона Кармозина и команданте требуют сообща немедленного возвращения Тиеты в Агресте для сотрудничества в сборе подписей против планов «Бразтанио».

— Я попросила Асканио и вас также прошу избегать сегодня споров насчет завода. Хотелось бы не испортить праздника.

— Ладно, обещаем не спорить, но вы обещайте вернуться в Агресте. Вы нам очень нужны там,— сказал команданте.

— Дайте мне пожить хоть несколько дней в моем доме. Он мне стоил много труда и безумных денег.

— Нельзя терять ни минуты, Тиета. Если вы не возглавите кампанию протеста, мы ничего не добьемся. Все зависит от вас.

— Что «все»? В конце концов, кто я такая, чтобы воспрепятствовать сооружению проклятого завода?

— Кто ты? Как говорит Модесто Пирес, ты — новая покровительница Агресте. Если не считать бога, народ верит только в тебя,— заявляет дона Кармозина.

— Никто не любит Манге-Сэко больше меня. Летом я мало бываю в Агресте.— В голосе команданте чувствуется осуждение.— Но именно ради безумной любви к этим местам я намерен остаться в городе столько времени, сколько потребуется. Там, а не здесь можно предпринять что-то конкретное.

— Кто это вам сказал, команданте? — Тиета смотрит на молчащих друзей, понижает голос:— Если что и можно предпринять в расчете на какой-то эффект, так это уже произошло в Манге-Сэко. Я не должна была рассказывать, обещала держать в тайне. Но все равно — днем раньше, днем позже — узнают.

— О чем? — нетерпеливо спрашивает дона Кармозина.

— О той бригаде, которую разыскивает Асканио...

Объятые ужасом, они слушают рассказ о потрясающем событии. Дона Кармозина прижимает руку к груди:

— Я даже чувствую сердцебиение. Вся дрожу.

Команданте Дарио, страж закона и порядка, советует:

— Будем считать, что вы мне ничего не рассказывали.

Тиета пытается улыбнуться, но ее улыбка невесела. Она вспоминает рисунок, разложенный на столе, и уверенность в голосе Асканио: это окончательно решенное дело, дона Антониета. Какой смысл ехать в Агресте, поднимать шум против «Бразтанио»? Тиета понимает, что практически невозможно воспрепятствовать производству диоксида титана в кокосовой роще Манге-Сэко. Столь важные проблемы обсуждаются и решаются лишь в высших сферах, между сильными мира сего, остальные в счет не идут. Сколько раз Фелипе удавалось с помощью различных махинаций, взяток, пользуясь своим авторитетом, обходить законы и интересы других, огромного большинства? В «Убежище лордов», в тиши отдельных кабинетов проводились встречи, где дискутировались и утверждались габариты зданий, места строительства заводов, предоставление патентов, самых различных льгот, всевозможные сделки. Ах, команданте, никакого толка не будет от статей в газетах, обращений, сонетов с проклятиями, от протестов простых людей Агресте! Даже акулы в бурном море, Кармо, даже они не воспрепятствуют уничтожению крабов и рыбаков, концу Манге-Сэко! Остается лишь воспользоваться немногими последними днями. Она хотела было высказать все это, но удержалась. К чему печалить друзей, тем более в день праздника? И дает обещание отправиться в Агресте как можно скорее.

Оснар, Аминтас, Сейшас и Фиделио, мертвые от усталости, приехали на моторке Элиезера к часу завтрака.

— Почему не приехал Рикардо? — Тиета спрашивает Астерио, который подходит в сопровождении Элизы. Из числа приглашенных он единственный одет в соответствии случаю, выспавшийся, в хорошем настроении, довольный жизнью.

— Рикардо был в церкви с падре и хранительницами. Чем-то был занят там. Я зашел к ним узнать, поедет ли Перпетуа; она сказала, что нет, но просила передать, появится, мол, на днях вместе с падре Ма-

риано, который собирается освятить дом. Кстати, о доме — хочу сообщить тебе, мы с Элизой переезжаем завтра.

Он решил не дожидаться окончания работ в бывшей резиденции доны Зулмиры. Покраска и другие доделки могут быть произведены и в их присутствии, к тому же удобнее будет поторопить десятника Либерато. Он еще раз благодарит свояченицу-благодетельницу:

— Ты хочешь сразу занять свои апартаменты или будешь продолжать жить у Перпетуи?

— Я останусь там. У меня аллергия к свежей краске, тошнит от запаха в «Загоне», что же говорить о том домище. К тому же мне вообще нет смысла переезжать на оставшиеся немногие дни, которые я еще пробуду в Агресте. Когда приеду в другой раз, буду жить вместе с вами.— Если бы она покинула дом Перпетуи, то как могла бы провести последние ночи с Рикардо?!

Опустив голову, молча, чертя по песку веткой кокосовой пальмы, Элиза следит за разговором. Молчание сестры раздражает Тиету:

— Тебе нечего сказать, Элиза?

Элиза вздрагивает:

— Я довольна, сестра. Почему мне не быть довольной?

— Тогда отчего у тебя такое похоронное лицо?

— Элиза, бедняжка, выглядит так со времени смерти старика. Еще не пришла в себя...— объясняет Астерио.

Тиета переводит взор с сестры на шурина; во второй раз в это воскресенье у нее появляется желание высказаться без обиняков, но она спохватывается и решает промолчать: ей симпатичен бедняга Астерио, а правда почти всегда жестока, только ранит и огорчает. Несчастливое воскресенье. Праздник больше походит на панихиду.

В час возвращения, когда гости направляются к катерам, Леонора, увидев Тиету, остановившуюся на берегу с серьезным выражением лица, отпускает руку Асканио и подбегает к ней:

— Я останусь с тобой. Мамочка, не уеду от тебя.

Ответ Тиеты был резок:

— Почему это не уедешь? Какая муха тебя укусила? — Затем она смягчает голос, приглаживает белокурые волосы девушки: — Не дури, козочка. Поезжай и пользуйся оставшимся временем, хорошенько пользуйся. Не беспокойся обо мне. Скоро приедет Рикардо, как только кончит помогать падре. С меня достаточно его общества.

Команданте и дона Лаура прощаются:

— Жду вас в Агресте, Тиета. Приезжайте поскорее.

Лодки рассекают волны у отмели, удаляются по реке. Женщины идут вдоль берега моря с корзинами, в которых копошатся крабы. Приближается ночь, огромная ночь.

Рикардо — единственная, окончательная, бессмертная любовь...

## ЭПИЛОГ

## *О загрязнении земного рая диоксидом титана, или Посох пастушки*

Стоило проехать по улицам Агресте грузному, вспотевшему доктору Элио Коломбо, как события ускорились, приобретя головокружительный темп, ввергнув тихий городок в смятение.

Однако пребывание выдающейся персоны было чрезвычайно коротким. Он пробыл тут всего несколько часов, лишь считанные граждане познакомились с выдающимся юрисконсультом и узнали, какие причины привели его в эти неизведанные края. И все же нельзя преуменьшить значение его визита, нельзя отрицать, что историческое путешествие не осталось без последствий — переговоры доктора Коломбо с Асканио Триндаде в зале приемов префектуры объясняют

всю последующую шумиху, суматоху, ругань, отчаяние. Волнующие дни, вместившие столько крупных происшествий, что было даже похоже на конец света.

Неожиданно услышав шум автомобиля, остановившегося у нотариальной конторы, доктор Франклин подошел к двери, увидел и узнал прославленного маэстро, занятого трудной задачей извлечения из автомобиля своих объемистых телес с помощью шофера.

— Добро пожаловать в Сант'Ану-до-Агресте, почтенный маэстро! Доктор Франклин Линс, нотариус, к вашим услугам. Чему обязаны мы честью принять столь важного гостя?

Заслуженный преподаватель факультета права федерального университета Баии — глава крупнейшей адвокатской конторы штата, сто с лишним кило хитрости и знаний — отвечает на рукопожатие, но, к разочарованию охваченного любопытством любезного аборигена этих мест, не сообщает ничего сенсационного, что соответствовало бы его словам, и даже жестом не выдает своей осведомленности насчет предстоящего, что потрясет город и муниципий. Он отдувается, вспоминая обольстительные, но пустозвонные обещания проклятого Мирко.

— Спасибо, дорогой коллега. Я чувствую, что после этой поездки никогда не стану прежним человеком. У меня вся душа пропылилась. Навсегда... А хоть пиво здесь есть холодное?

— Входите, садитесь, маэстро. Я пошлю за пивом.

Нотариус поворачивается, чтобы позвать Бонапарте, и обнаруживает сына подслушивающим за дверью.

— Сбегай в бар, принеси несколько бутылок пива, да похолоднее. Живо! Лети.

Медлительный по натуре, потолстевший на заре юных лет, Бонапарте проявляет расторопность. Сопровождаемый шофером, он, превозмогая себя, спешит, а вернувшись, еле переводит дух. Подгоняло его не только послушание отцу, но главным образом опасение, как бы не упустить в подробностях цель визита известного адвоката, заслужившего такое почтение. Какой другой профессиональный интерес мог привести прославленного юриста в Агресте, как не кокосовая роща со столькими владельцами, кто мог быть доверителем маэстро Коломбо, как не «Бразтанио»? Бонапарте — верный друг, преданный соучастник; нотариус поощряет с похвальной щедростью небольшие пороки молодого канцеляриста: сигареты, напитки, девушки. Бонапарте старается отблагодарить за такие знаки уважения.

Жена нотариуса просит извинить ее за то, что не подала завтрака, достойного знаменитого гостя, а доктор Франклин говорит подобострастно:

— Для вас, маэстро, конечно, не существует трудных проблем. Но все же проблема кокосовой рощи дьявольски запутанна, не правда ли? Если бы не упрямство Фиделио или, вернее, команданте... Вы уже нашли выход, маэстро?

Доктор Элио Коломбо поднимает вилку:

— Проблема, хм... У меня уже начинает складываться мнение, но еще рано что-либо утверждать. Я хочу поразмыслить насчет некоторых деталей, прежде чем сформулировать заключение.

Доктор Франклин не дает себя водить за нос. Маэстро попросил у него подробнейший отчет, засыпал его вопросами, изучил старые книги и просмотрел более свежие документы. Покачивая массивной головой, он попросил Бонапарте приготовить ему кое-какие бумаги: хотел бы взять их с собой. Под конец маэстро лукаво улыбнулся, и доктор Франклин пришел к убеждению, что тот нашел решение, ибо решение, дающее выход из тупика, благоприятствующее «Бразтанио», есть, и если он сам, бедный провинциальный нотариус, пришел к этому решению, то как оно могло ускользнуть от опытнейшего крупного

адвоката? Его не удивляет сдержанность гостя — зачем тому выкладывать карты на стол, открывать свои козыри?

Доктор Коломбо начинает задавать вопросы, явно желая получить информацию об отцах города Агресте:

— Кандидат в префекты, что он собой представляет?

— Честный молодой человек.

Мимолетная тень сомнения пробегает в глазах доктора Коломбо и тут же исчезает.

— Я имею в виду молодого человека, который является кандидатом «Бразтанио», его имя...— Он вынимает бумагу из кармана, читает: — Асканио Триндаде. Он был недавно в Салвадоре.

— Он самый. Я не знал, что он кандидат «Бразтанио».

— Это у меня такая манера выражаться. Названный молодой человек проявил себя дальновидным администратором, публично объявив о своем благоприятном отношении к тому, чтобы «Бразтанио» обосновалась в муниципии. Естественно, «Бразтанио» относится к его кандидатуре с симпатией. Ничего, кроме этого.

Объяснение не убеждает доктора Франклина, в словах которого все сильнее звучат нотки подозрительности: за последние дни ему довелось слышать поразительные комментарии в адрес Асканио. Похоже, он сильно изменился после поездки в столицу штата. Говорит резко, самоуверенно, повелительным тоном. Волочится за богатой санпауловкой, падчерицей доны Антонieты Кантарелли. Когда полковник Артур де Фигейредо предложил его кандидатуру на освободившееся после смерти доктора Эноша место префекта, доктор Франклин приветствовал этот выбор. Не только он, но и все жители Агресте. А вот теперь внезапно выясняется, что Асканио — кандидат «Бразтанио», и маэстро Коломбо, видимо, прав, когда ставит под сомнение его честность.

Выдающийся профессор спрашивает:

— Как я понял, избрание этого молодого человека — дело верное, ведь он выступает в единственном числе, других кандидатов нет, не так ли?

— До настоящего момента он — единственный. Конечно, его кандидатура официально еще не выдвинута, так как дата выборов пока не назначена.

— Ошибаетесь, дорогой друг. Дата выборов установлена, правда, только что, на вечернем заседании избирательного трибунала.

Мурашки пробегают по спине доктора Франклина. Он прочел в одной столичной газете упоминание о заинтересованности «Бразтанио» в выборах в префектуру Агресте. И компания безусловно нажимала на избирательный трибунал, чтобы поскорее была назначена дата. В прежнее время никто не интересовался выборами в этом захудалом муниципии, стародавнем безраздельном владении полковника Артура де Фигейредо. Теперь же поднимается другая политическая сила, столь могущественная, что она направила в Агресте со своим поручением самого профессора Элио Коломбо, непобедимого, блистательного адвоката.

Вывешенный на почетном месте у входа в префектуру яркий рисунок — ослепительное видение будущего — привлекает всеобщее внимание. Люди покачивают головой, единодушно восхищаются талантом декоратора но расходятся в оценке содержания картины. «Великолепно! — с воодушевлением поддерживают некоторые.— Асканио — молодец, он снова возвеличит Агресте, преобразует край». Другие более осторожные, повторяют доводы команданте и доны Кармозины: если это производство так уж благодетельно, то почему оно вынуждено обосноваться в далеком захолустье, лишенном средств? Говорят, что оно заражает воду, отравляет воздух. Это пишут газеты. Его не хотят принимать нигде. Запретили в Сан-Пауло и в Рио. Пытались

разместить между Ильеусом и Итабуной, народ восстал. Асканио либо заблуждается, либо...

Что «либо»? Асканио — цельный человек, его жизнь — открытая книга, он гражданин вне всякого подозрения, выше всяческих намеков...

Никто ни на что не намекает, но широко известны его намерения относительно богатой санпауловки, наследницы комендадора, падчерицы доны Антониеты. Бедный, беднейший проситель руки миллионерши легко может потерять голову, а в этих больших предприятиях деньги текут рекой. Для Асканио строительство завода в муниципии будет весьма кстати, кто может отрицать очевидное?

Разгораются споры. Растет интерес к столичным газетам, прежде круг их читателей ограничивался привилегированными подписчиками «Тарде». По заказу Шалиты, редко упускающего возможность увеличить свои источники дохода, на «маринети» Жаиро доставляются экземпляры разных ежедневных газет, издающихся в Салвадоре. Если хозяин кинотеатра и имеет определенное мнение по поводу проблемы производства титана, то не афиширует его, он выставляет на продажу доводы «за» и «против» и собирает скромную прибыль. Полемика вокруг «Бразтанио» питается новостями и слухами, разными сплетнями, разгорается на улицах.

Читают и комментируют красноречивое интервью Асканио, он сулит «богатство и прогресс северному побережью штата». Девушки любуются его портретом, напечатанным на двух колонках,— указующий перст, молодой политический лидер с большим будущим, кандидат народа в префектуру, по выражению репортера. Сенсацию также вызвало резкое выступление «Тарде», которая комментировала заявления подобного рода в редакционной статье. Под заголовком «Кандидат народа или «Бразтанио»?» газета назвала Асканио «ловким парнем, гостем «Бразтанио» в роскошном отеле». Что касается богатства и прогресса, возвещенных «легкомысленной и веселой личностью», то на деле это нечто иное, это — загрязнение окружающей среды, по ответственному мнению представителей сержипской интеллигенции, подписавших ходатайство в поддержку заявления префекта Эстансии и ряда других видных деятелей.

Туманные слухи об угрозах лишить жизни техников из бригады, посланной «Бразтанио», которым не дали высадиться в Манге-Сэко, усугубили недоверие и страх. Возмущенному населению, поднявшемуся на защиту окружающей среды, аплодировал Джованни Гимараэнс. Международные подрывные агенты на службе безбожного коммунизма, ими командует русская, не кто иная, как большевичка Александра Коллонтай, присутствие которой в Бразилии обнаружили соответствующие компетентные учреждения! Это разоблачение появилось в той же газете, где было напечатано и интервью Асканио.

Наконец, кульминацией обильной хроники явилось сообщение о дате выборов. Почему так скоро? — спрашивал автор статьи в «Тарде». Потому что «Бразтанио» торопится, отвечал он сам себе. Каковы бы ни были разногласия, каково бы ни было личное мнение каждого относительно проблемы индустрии титана, имелся один пункт, по которому все с гордостью пришли к единодушному мнению: никогда Агресте не заслуживал такой шумихи в печати. Не менее гордился собой и Милейший Доктор. Анжело Барди позвонил из Сан-Пауло и поздравил его.

Асканио еще раз убеждается в могуществе «Бразтанио», принимая в префектуре Агресте выдающегося профессора Элио Коломбо, учеником которого ему не довелось стать, но в чьей конторе он, как и другие его коллеги по университету, мечтал работать, получив диплом. И вот маэстро сейчас здесь собственной персоной. После завтрака и сиесты, восстановив силы, он излагает решение ужасной пробле-

мы кокосовой рощи, проблемы, которая причинила Асканио столько забот.

С металлическим футляром и кожаным портфелем в руках, с обручальным кольцом в кармане, выпятив грудь, распираемую амбицией и любовью, Асканио победоносно вышел из «маринети» Жаиро. Решение «Бразильской компании титана», избравшей Сант'Ану-до-Агресте, чтобы построить там свои заводы, должно изменить лицо муниципия, а заодно и жизнь будущего префекта. Вооруженный аргументами доктора Лусены и феерическим рисунком Руфо, он рассчитывает завоевать расположение мачехи Леоноры. Оставалось лишь опровергнуть речи команданте, обвинения доны Кармозины, стихи Барбозы, большей частью ненапечатанные. Шумная и пустая трескотня.

Радостное настроение длилось недолго. Твердая отрицательная позиция Тиеты в Манге-Сэко явилась для него тяжелым ударом. Затем последовали другие причины для беспокойства и уныния.

В почтово-телеграфном агентстве дона Кармозина бросила ему в лицо:

— Хотела бы я знать, что ваши друзья собираются предпринять, чтобы построить завод в кокосовой роще. К счастью, есть еще достойные люди на этом свете.

Асканио не ответил, стремясь не вступать в дискуссии с доной Кармозиной, избежать споров, могущих привести к разрыву с давней и экзальтированной приятельницей. Но информация, которая тут же получила подтверждение, показывала, что она не ограничивается болтовней. Он не сумел найти ответ на ее вопрос: как «Бразтанио» приобретет земли кокосовой рощи? Обычно разрешение проблем, связанных с землевладением, затягивалось, бесконечные тяжбы в судах длились годы и годы.

Доктор Элио Коломбо устранил препятствие, он даже заявил, что удачное решение можно было найти и не предпринимая этого странного путешествия, впечатление от которого смягчил лишь завтрак, устроенный ему нотариусом,— маэстро до сих пор облизывается. Доктор Коломбо предписывает Асканио:

— Держите в тайне этот наш разговор. По мнению Мирко, на вас можно положиться.

Решение простое, отличное. Как только Асканио будет избран и вступит на пост, он экспроприирует всю территорию кокосовой рощи — полезная для общества акция. Но где взять деньги, чтобы оплатить экспроприацию? Экспроприированные участки затем будут проданы «Бразтанио». Префектура получит деньги для расплаты за землю и еще сэкономит кое-что за счет прибыли от сделки. Чистый бизнес.

— А если владельцы не согласятся?

— Как это не согласятся? Они еще не владельцы. Экспроприация, разумная цена — для них настоящий подарок.

— Но команданте не согласится продать свою часть ни за какую цену.

— Он не сможет воспрепятствовать экспроприации, производимой ради общественного блага. Пусть он впоследствии обратится в суд. Только потеряет время и деньги. Не беспокойтесь из-за него, идите вперед. Я позабочусь обо всем. К вашему вступлению на пост я пришлю с одним из моих помощников подготовленный документ об экспроприации с мотивировкой, со всем обоснованием. Вашей единственной заботой будет подписать его.

Единственная забота — подписать. Неприятное, беспокойное ощущение. Он сунул руку в карман, нащупал коробочку с обручальным кольцом. Когда он наденет его на палец Леоноры? Время не терпит. Что ему остается делать, как не идти вперед? Кроме того, способствуя внедрению «Бразтанио» в Манге-Сэко, он лишь служит интересам муниципия и народа. Если хорошенько поразмыслить, то где причины для угрызений совести?

Молод, здоров, влюблен. Влюблен — мало сказать: сходит с ума от любви и знает, что пользуется взаимностью. Вне всякого сомнения. Он получил неоспоримое доказательство: любимая отдалась ему безоглядно. Будучи бедным, в то время как она богата, он никогда не осмеливался заговорить с ней о браке, не делал предложения, не давал обещаний. Поступок Леоноры на холмах — проявление ее беспредельной любви.

Как объяснить, что этот живой и энергичный юноша, получив в свое распоряжение нерешительную и горячую, самую желанную и недоступную из женщин, женщину его жизни, не воспользовался этим, постаравшись избежать (или по крайней мере отсрочить) повторения волнующей ночи любви? Где видано такое? Каковы мотивы этого безумия? Неужели в самом деле есть на свете этакий болван хотя бы у черта на куличках, то есть в Агресте?

Прибыв в воскресенье на моторке, Асканио проводил Леонору до порога дома Перпетуи. Взяв ее руки, он сказал с нежностью, сквозившей в глазах и голосе:

— Я пойду домой, на сегодня прощаюсь. Тебе нужно отдохнуть, ведь ты почти не спала, устала. Если не возражаешь, завтра по дороге в префектуру я зайду повидать тебя.

Поступок Леоноры, это доказательство ее безмерной любви, был одновременно доказательством беспредельного доверия. Она чистая и цельная; даже тяжелый предшествовавший опыт не заставил ее усомниться в чувствах и характере нового претендента. Влюбленный юноша не обманет доверия Леоноры.

Он хранит в кармане обручальное кольцо. Как только дона Антониета возвратится в Агресте, он придет к ней для откровенного и решающего разговора: я люблю вашу падчерицу и хочу на ней жениться. Я бедный, но уверен в себе. Поверьте и вы в меня, я приобрету вес. Жених, кольцо на пальце Леоноры, возможно, будет назначена дата свадьбы... Не раньше, иначе это было бы подлым обманом, дурным поступком.

Дона Антониета отказалась поддержать его в кампании за размещение предприятий «Бразтанио» в Агресте. Как она отнесется к его идее жениться на Леоноре? Похоже, что на их флирт она смотрит с симпатией, возможно, считает просто развлечением на отдыхе. От ухаживаний до брака — дистанция огромного размера. Как быть, если всемогущая мачеха воспротивится?

Дни, последовавшие за неудачно проведенным в воскресенье новосельем в «Загоне козла Инасио», были самыми счастливыми за время отдыха Тиеты, одними из самых радостных в ее жизни.

Дни бурной страсти, воспеваемой как единственная и бессмертная любовь, когда существование без любимого становится немыслимым, эти дни были бы отличными, если бы не подходили к концу. Возник соблазн взять Рикардо в Сан-Паулo. Она знает, что не может и не должна делать этого: рано или поздно волшебство рассеется, нависнет тень скуки и раздражения. Именно поэтому она не допускает мысли потерять последние мгновения несравненного счастья этой любви, пока она огромна и кажется вечной. Рикардо запрещены поездки в Агресте, приостановлено выполнение им обязанностей церковного служки в храме, семинарист снял сутану, появляется на пляже почти голым, в одних плавках.

Тиета не торопится выполнить обещания, данные доне Кармозине и команданте, ей хочется остаться в Манге-Сэко до праздника Света, устраиваемого накануне отъезда. Тогда она простится со всеми — прошайте, друзья, до свидания, я буду скучать без вас, мне было так хорошо здесь.

Она не видит причины приносить себя в жертву. Ведь практически она ничего не может сделать, чтобы воспрепятствовать сооруже-

нию завода, ее присутствие в Агресте окажется просто потерянным временем, бесполезным усилием. Веселая и свободная, она переживает несравненные дни за беседой с Педро и Мартой, с Жонасом и рыбаками.

Хорошо бы остаться здесь навсегда, состариться и дожидаться тут смерти без забот, без обязательств. Зачем покидать этот рай? Но нужно срочно возвращаться в Сан-Пауло, снова брать в свои руки руководство «Убежищем», зарабатывать деньги и найти им достойное применение. Кроме того, очень скоро пейзажи Манге-Сэко сменит печальная панорама из бетона, дыма и продуктов разложения. Лучше не думать об этом, наслаждаться — пока еще есть возможность — спокойствием, красотой, любовью.

Когда утром в понедельник Рикардо наконец приехал, Тиета встретила его сердито:

— Если ты поступил так нарочно, хотел омрачить мой праздник, то тебе это удалось. Почему ты не остался тут?

— Но ты, тетя, сказала, что праздника не будет.

— С каких это пор я стала снова тетей? Может, мы разговариваем на людях?

— Извини, я никогда не видел тебя такой сердитой. Падре Мариано задержал меня из-за инвентаризации. Кардинал...

— Пошел он к черту, твой кардинал! Он, падре и все их отродье. В котором часу закончилась инвентаризация?

— После церемонии благословения.

— Поэтому ты и остался, не приехал вчера же?

— Когда благословение закончилось, был уже вечер, мне в голову не пришло...— Ему действительно не пришло в голову лучшее оправдание.— Я поел, помолился с матерью и лег спать. Видел во сне...— он поднял глаза на Тиету,— видел тебя всю ночь. В каждом сне!

Именно потому, что он не попросил прощения, Тиета поверила:

— Если ты еще раз устроишь что-либо подобное, пожалеешь. Впредь ты не будешь уезжать отсюда ни на мессу, ни на какое другое свинство. Пока я не уеду, никакого служения богу! — Голос смягчился: — Ты в самом деле видел меня во сне?

— Я видел тебя во сне молоденькой, моложе меня,— какой ты была до того, как уехала тогда из Агресте. Совсем, совсем такая, как ты мне рассказывала, в точности такая, еще девчонка...

Не правда ли это? Ведь у Марии Непорочной не хватало лишь посоха пастушки.

— Расскажи мне, козленок, подробнее.

Леонора смутно отдает себе отчет в чувствах Асканио. В прежней жизни своей она никогда не имела дела даже с похожими на него людьми и теперь боится причинить ему страдание, разочаровать, потерять его. У нее не хватает мужества отвоевать последние ночи, что у нее остались.

Прохаживаясь по тротуару на площади Главной Церкви, обычном месте для прогулок влюбленных, для нежных взглядов, беглых пожатий рук, торопливых поцелуев, видя, что время проходит, а Асканио проявляет нерешительность и еще один вечер канет в воду, Леонора побеждает колебание, справляется со смущением и решается:

— Мы никогда не выберемся отсюда, с площади. Мне хотелось бы сходить к «Бассейну Катарины». Там так красиво.

— Да, красиво. На днях сходим...

— Почему бы не пойти сегодня?

— Но ведь нет никого, кто мог бы составить нам компанию.

— Компанию, зачем?! Я хочу пойти с тобою вдвоем.

— Вдвоем? — Он слегка поглаживает ее по щеке.— Агресте не Сан-Пауло. Завтра же твое имя будет у всех на устах.

Считая, что вопрос исчерпан, Асканио начинает вновь рассуждать о своих планах администратора и о перспективах, открывающихся для муниципия с появлением «Бразтанио». Леонора слушает невнимательно, до нее издалека доносится голос Мамочки: «Схвати, козочка, своего козла за рога». Она останавливается и перебивает его:

— Ты меня любишь, Асканио? По-настоящему?

— Ты еще сомневаешься? Я...

— Тогда почему же ты избегаешь меня? Или я тебе не нравлюсь?

— Я избегаю тебя? Ты мне не нравишься? Не говори так никогда больше. Я тебя люблю и не хочу, чтобы о тебе злословили, понимаешь?

Леонора улыбается и продолжает, казалось бы, мягко и все же настойчиво:

— Понимаю, да, это то, что я думала. Пускай говорят, мне наплевать.— Она берет его руку.— Уведи меня, милый, на берег реки. Куда захочешь, ты мой повелитель.

Кто мог совершить такое? Маэстро Элио Коломбо ведь никому не говорил об экспроприации, за исключением лишь молодого человека, кандидата в префекты. Асканио Триндаде, в свою очередь, разговор с адвокатом хранил в абсолютной тайне. Тем не менее несколько дней спустя «Тарде» опубликовала «Корреспонденцию из Агреста», рассказав о визите известного юрисконсульта на правах адвоката «Бразтанио». В корреспонденции упоминалось о том, как он провел все утро в нотариальной конторе, склонившись над книгами и документами, а также о встрече во второй половине дня в здании префектуры с Асканио Триндаде, когда он приказал кандидату в префекты экспроприировать огромную территорию кокосовой рощи и перепродать ее, целиком или частично, «Бразильской компании титана», на что тут же получил согласие послушного чиновника. Экспроприация из соображений общественной пользы — решение, найденное адвокатом,— обеспечивала его доверителю приобретение земли вопреки непримиримой позиции некоторых владельцев, непреклонных в своем намерении не вступать в какие-либо сделки с предприятием сомнительной репутации, полагая, что ядовитые отходы индустрии титана смогут причинить зоне непоправимый вред. Корреспондент употребил глагол «приказать» и прилагательное «послушный». Экземпляры газеты ходили по рукам.

Так и не выяснилось, кто был этот таинственный корреспондент. Правда, доктор Элио Коломбо, перебирая в уме обстоятельства кратковременного посещения Агресте, припомнил явную заинтересованность нотариуса, каверзные вопросы во время завтрака. А он-то думал, что провел его.

Угнетенное настроение доны Кармозины усугубилось тем, что подозрение пало на нее, когда люди попытались опознать анонимного и столь информированного автора корреспонденции. Амантас пришел поздравить ее:

— Кузина, вы молодец. Как вам удалось обнаружить интригу?

Ничего она не обнаружила, заслуга разоблачения принадлежала не ей, она даже не знала о приезде профессора Коломбо, никакого отношения не имела к этому разоблачению. Помимо шока, вызванного несправедливым подозрением, она осознала себя приобщенной к этим событиям. Прежде в Агресте не могло произойти никакого пустяка без ее ведома. Сейчас она охвачена изумлением — абсурд! Близорукие глаза доны Кармозины становятся мрачными.

— Я узнала это из газеты, как и вы. И сказать, что я смеялась Асканио в лицо... Теперь уже не поможешь. Я подавлена.

Невеселый, сокрушенный, присоединяется к ним команданте, раскладывает на прилавке листы бумаги с подписями под призывом к протесту. Тиета права: обращение не даст никакого результата. Команданте пришел из нотариальной конторы, где переговорил с доктором Франклином и получил подтверждение насчет известия. Даже действуя в качестве одного из владельцев кокосовой рощи, он не сможет помешать акту экспроприации из соображений общественной пользы. Атмосфера отчаяния царит в почтово-телеграфном агентстве. Лишь Аминтас не поддается унынию и своими шутками прожигателя жизни пытается поднять настроение друзей:

— Корабль еще не утонул, команданте! Где твоя твердость, Кармо? Я никогда не видел, чтобы люди так быстро сдавали позиции. Я по-прежнему продолжаю считать, что заводу этому не бывать здесь...

— Не бывать? Они прислали в Агресте известного адвоката Элио Коломбо, вызывали Асканио в столицу штата...

— Хитрый он парень...— усмехается Аминтас.

— ...договариваются с ним, назначают выборы, и ты еще сомневаешься в их намерениях?

— Согласен, есть причины для огорчений. Но как бы то ни было, нам надо действовать...

Он внезапно меняет тему беседы, видя приближающихся сплетников, идущих из бара и из магазина и проявляющих интерес к разговору: Агресте взбудоражен, сообщение о предстоящей экспроприации земель вызвало небывалый интерес.

В доме доны Кармозины Аминтас принимает позу оратора:

— Ответьте мне, достойные соратники: чтобы иметь возможность декретировать экспроприацию земель, Асканио ведь нужно быть избранным, верно?

— Я это знаю, читаю газеты и слушаю разговоры. Однако, насколько мне известно, он еще не избран.

— Немногого не хватает,— констатирует команданте.

— Немногого или многого, все зависит...

— Зависит от чего? Вы, быть может, сомневаетесь в его избрании?

Голос команданте Дарио выражает уныние и безнадежность, дона Кармозина слушает молча.

— Сомневаюсь, почему бы нет? Все зависит от обстоятельств, даже могу держать пари, что он не будет избран.

— Как это не будет избран? Единственный кандидат, кандидат полковника Артура...

— Не окажись он кандидатом полковника или на худой конец не будь он единственным кандидатом...

— Вы хотите сказать...— прервала, заинтересовавшись, дона Кармозина.

— Достаточно появиться другому кандидату, способному победить Асканио, если полковник отдаст ему предпочтение или при голосовании на выборах...

— Я предполагал, что вы можете прийти к этому. Но не уверен в успехе. Полковник — крестный отец Асканио, в день похорон Эноша он заявил, что новым префектом станет Асканио, и все поддержали его. Почему же он должен изменить свое мнение?

— Откуда я знаю... Старик держится в стороне, никто еще не пытался узнать, что он думает о сооружении завода — он «за» или «против». Переубеждать его не стоит. Но если он поддержит Асканио, мы пойдем к урнам.

— На выборах Асканио будет непобедим.

— Непобедим? Возможно, он и был таким, Кармо, но теперь уже ситуация иная. Раньше мы видели в нем работящего и честного парня, не могло быть двух мнений об Асканио, и все хотели, чтобы он был префектом. Сегодня, справедливо или несправедливо, для многих он превратился в человека на содержании у «Бразтанио», зарящегося на

деньги Леоноры. Для нас тут, по-моему, Асканио — просто дуралей. Разве вы не видите, Кармо, что единогласию пришел конец? Начиная с нас, присутствующих здесь. Прежде все мы собирались голосовать за Асканио. Сегодня же я не отдам ему своего голоса.

— Я тоже,— соглашается команданте.

— И все же я не вижу, кто бы мог состязаться с ним.

— Ты совсем слепа, кузина.

— Ну кто? Скажи мне!

— Выдающийся гражданин, великий сын Агресте, офицер нашего славного военно-морского флота, команданте Дарио де Келуз!

— Я? Ты с ума сошел! Я не политический деятель и не собираюсь стать им.

— Правильно. Политические деятели сейчас ценятся очень невысоко, в настоящее время в стране командуют военные, не так ли? Команданте, займите свой пост.

— Я? Никогда!

Аминтас не обращает на него внимания.

— Это будет тяжело, но я считаю, что мы выиграем, если...

— Если?

— Если сможем рассчитывать на поддержку доны Антониеты. Имея на своей стороне святую Тиету из Агресте, которая будет агитировать за команданте, одержать победу нетрудно.

— Ни за что не соглашусь...— продолжал команданте, даже встав со стула, чтобы подчеркнуть свою решимость.

Дона Кармозина обращается к нему снова с нетерпеливым и таинственным видом:

— Как это не согласитесь? Патриотизм, команданте, доказывается именно в такие минуты.

Дона Милу́ приносит рюмки, наливает фиолетовый ликер. Для подобного случая нужен тост. Уважаемая сеньора почтенных лет, она становится энергичным агитатором:

— За ваше здоровье, команданте! Я начну пропаганду сегодня же. У меня уже есть лозунг для кампании: долой разложение! — Дона Милу смакует ликер, причмокивая.

Между приездом доктора Элио Коломбо в Агресте и опубликованием корреспонденции в салвадорской газете Асканио дважды оскандалился — в первый раз он потерял нить речи на митинге, во второй раз проиграл на бильярде карамболь.

Случай с речью произошел на импровизированном митинге в связи с появлением на улицах городка первых фонарей гидроэлектростанции. Когда главный инженер вышел из джипа и поднялся по лестнице префектуры, Асканио Триндаде сидел в зале заседаний и силился постичь происходившее: еще недавно казавшиеся весьма сложными решения приняты без его участия, по инициативе третьих лиц, причем ему не было позволено выразить свое мнение или оспорить их. Решения, впрочем, вполне приемлемые.

Пренебрегая его колебаниями, попирая местные предрассудки, отсталые нравы сертана, Леонора приводит его каждую ночь в рай — в «Бассейн Катарины». Другую сложную проблему разрешил знаменитый адвокат, повелев ему экспроприировать земли кокосовой рощи, как только он займет пост префекта. Он подчинился в обоих случаях — и то и другое его устраивает. Но Асканио недоволен собой, как если бы, согласившись с такими инициативами и участвуя в них, он совершил нечто, достойное порицания. Анализируя факты, он, впрочем, не находит ничего грязного или нечестного. Почему же так неспокойно на душе? Исключительно потому, что у него не хватает качеств, которые должны быть присущи лидеру. Запутавшись в круговерти провинциальной подозрительности и обид, ограниченности образа мыслей, он теряется и колеблется, когда конъюнктура требует

твердости и решительности. Маэстро Коломбо и Леонора представляют открытый и передовой образ мысли больших городов. Удивительная Леонора, такая хрупкая и такая жизнерадостная, такая скромная и такая дерзкая!

Голос инженера нарушает его размышления:

— Я должен пригласить вас на установку первого фонаря в городе. Мне хотелось бы позвать еще ту богачку, что командует в правительственных кругах штата. Таким образом я буду иметь удовольствие познакомиться с ней.

Заинтересованный сообщением, Асканио вскакивает со стула, надевает пиджак:

— Она сейчас в Манге-Сэко, вы познакомитесь с нею в день празднества. Мы уже можем назначить дату?

— Скажем, в воскресенье через две недели.

Асканио подсчитывает, получается ровно семнадцать дней. Назначив дату для большого празднества, инженер определяет тем самым день возвращения в Сан-Пауло обеих Кантарелли — вдовы и наследницы. Асканио вздрагивает: короткое время, о котором много говорилось, перестает быть чем-то неопределенным, превращается в роковой срок. Через семнадцать дней на «маринети» Жаиро уедет из Агресте самая красивая и чистая из женщин.

Известие быстро распространяется, взволновав город. Звонарь Главной церкви Вава Мурисока звонит в колокол, оповещая о благой вести. На паперти появляется падре Мариано. Усилиями и милостью преданной прихожанки, заслуженной вдовы комендадора осуществлена новая проводка электричества в храме, фасад которого, украшенный цветными лампочками, ожидает света из Пауло-Афонсо. Падре Мариано ускоряет шаг, чтобы нагнать Асканио и главного инженера.

Орудуя лопатами и кирками, рабочие выкапывают яму, из которой поднимается первый фонарь на старой Грязной дороге, будущей улице Доны Антониеты Эстевес Кантарелли. Из смежных переулков и улиц появляются люди. Последние скептики сдаются перед очевидностью: еще недели две — и Агресте будет пользоваться энергией и светом от гидроэлектростанции Сан-Франсиско. Энергия, способная приводить в движение промышленные предприятия, сильный яркий свет в течение круглых суток, а не тусклое и слабое освещение от движка, ограниченное тремя часами, и то если движок исправен. Свет Тиеты! Имя благодетельницы переходит из уст в уста с похвалой и восхищением. Все гордятся богатством и влиятельностью, престижем и могуществом землячки, покровительницы города и муниципия, блудной, любимой дочери. Ей, только ей, они обязаны этим чудом — истина, провозглашенная самим главным инженером.

Невероятное чудо, определяет он, стоя на ящике из-под керосина,— окинув взглядом столпившихся вокруг фонаря инженеров и рабочих, десятки граждан, переговаривающихся между собой, готовых аплодировать, Асканио посылал негритенка Сабино за небольшим ящиком, который и представляет теперь подобие трибуны. Открыть импровизированный митинг он просит главного инженера, «непобедимого командующего этой эпической битвой за прогресс, которому мы выражаем нашу признательность». Не обладая ораторским даром, инженер ограничивается четырьмя короткими фразами. Он поздравляет народ муниципия, но отвергает аплодисменты, он и его бригада лишь выполняли распоряжения компании, распоряжения, которые поначалу показались ему абсурдными, ибо провести электричество в Агресте — все равно что совершить «подлинное, невероятное чудо». Следует благодарить исключительно могущественное лицо, которое этого добилось и с которым он еще не имел удовольствия познакомиться. Спустившись, он был представлен нескольким членам семьи могущественной личности: сестре Перпетуе, племяннику Пето, падчерице Леоноре, которую он мысленно раздевал алчными и знающи-

ми толк в женщинах глазами. Товар самого высокого качества, отличнейший.

Леонора находит, что части аплодисментов и благодарности заслуживает Асканио, так как ради достижения победы он бился с отчаянной настойчивостью, страдая, в частности, от унижений. Ничего он еще пока не достиг, это верно, но все же его усилия не должны быть забыты.

Впрочем, ему не поскупились на аплодисменты, когда он вслед за инженером произнес речь, поднявшись на ящик. В особенности когда он коснулся деятельности доны Антониеты Эстевес Кантарелли, которой народ Агресте будет вечно признателен. Если бы она была здесь, то наверняка приобщилась бы к благодарности присутствующих на митинге, которую они выражают лицам, ответственным за провода, мачты, лампочки и освещение. Ошибкой Асканио было то, что он решил воспользоваться случаем и сделать рекламу «Бразтанио». Повелительным жестом он указал на землю, спрашивая: кому мы обязаны за асфальт, по которому ступаем и который покрыл навсегда вековую грязь при въезде в город? Кто послал машины, техников, рабочих? «Бразтанио». Ее присутствие в муниципии — провидение для Агресте, сказал он, повторив расхожую фразу из своего интервью. Аплодисменты и крики «браво!» вперемежку со свистом и репликами, мнения разделились.

— Долой загрязнение окружающей среды! — восклицает дона Кармозина.

Асканио не обращает внимания, продолжает вдохновенную и взволнованную речь, но тут же среди шумихи сборища послышался неизвестный фальцет — голос явно замаскированный:

— Заткнись, пешка «Бразтанио»! Ты же продался!

Асканио заикнулся посреди фразы, не сумев обнаружить каналью — «если ты мужчина, покажись и повтори»,— теряет уверенность и красноречие, обрывает речь. Когда он спустился с ящика, раздались аплодисменты и приветственные крики; но оказалось, что они адресованы не ему, а рабочим, которые только что установили фонарный столб — чудо века. Высоченный, железобетонный.

— Боже мой, что случилось? Посмотри на него, Кардо...— Тиета указала на команданте Дарио де Келуза, сидящего на корме лодки, причаленной к песчаному берегу,— он надевал носки и белые туфли, прежде чем ступить на пляж.

— Ведь сегодня не Седьмое сентября...— замечает семинарист, не менее удивленный.

Раз в год, в день Седьмого сентября, в честь праздника независимости Бразилии, команданте Дарио вынимает мундир из шкафа и, отряхнув нафталин, надевает его, появляется во всем великолепии на праздничном торжестве в начальной школе. В остальную часть года он носит в городе брюки и спортивную рубашку, а на побережье — шорты и майку. С какой стати он вырядился так сегодня, блистая под солнцем Манге-Сэко? Тиета никогда не видела его в форме. Он стал другим, высокомерным и суровым, внушает почтение. Должно было случиться что-то очень важное, чтобы команданте надел парадный китель и выставил напоказ медаль «За заслуги на море». Тиета и Рикардо бросились ему навстречу:

— Где Лаура? Она здорова? — спрашивает озабоченно Тиета.

— Здорова, шлет привет. Она осталась в Агресте, и я сразу же туда вернусь. Приехал поговорить с вами, Тиета.— Голос его звучит сурово.— Серьезное и секретное дело.

Рикардо с тревогой смотрит на тетку: не о нем ли будет разговор? Он хочет уйти, но команданте удерживает его:

— Не надо уходить, Рикардо, ты уже не мальчик. Но имей в виду: все, что будет здесь сказано, не подлежит огласке. Беседа секретная.

Парадная форма обусловливает сдержанность и дистанцию, суровость обхождения, почти надменность. Они приходят в «Загон», где Тиета подает им кокосовый сок, греет воду, чтобы приготовить кофе.

— Назначена дата выборов, Тиета.

— Этого ждали, не так ли? Кармо мне сказала, что газеты писали...

Команданте Дарио рассказывает о приезде доктора Элио Коломбо, профессора права, известнейшего адвоката, умнейшего и даровитого юриста, посланного в Агресте компанией «Бразтанио». «Знаете зачем?» — спрашивает он, причем глаза его горят негодованием, голос мрачный, он как бы разоблачает чудовищный заговор, страшную интригу. Впрочем, это именно то, чем он сейчас занят: пытается раскрыть ненавистную, зловещую интригу. Рикардо, негодующий и полностью сочувствующий, слушает, тараща глаза. Тиета все еще не понимает, зачем команданте напялил форму и почему так высокопарен.

— Знаете, друг мой, каков будет первый шаг Асканио по вступлении на пост? Не знаете? Так я вам скажу: он экспроприирует кокосовую рощу и затем отдаст ее «Бразтанио». Поэтому я и нахожусь здесь, Тиета, я приехал за вами.

Тиета все еще молчит, на лице у нее появляется деланная улыбка.

— И вы надели мундир ради этого? Или вы меня уведете арестованной?...

Команданте не поддерживает ее шутки:

— Не играйте с огнем, Тиета. Единственный способ предупредить катастрофу, спасти Агресте,— это помешать избранию Асканио.

— Помешать? Каким же образом?

— Выставив другого кандидата.

— Кого же? — Внезапное подозрение заставило ее повысить голос: — Не скажете же вы мне, что заодно с сумасшедшей Кармо вы избрали меня...

— Это было бы идеальным решением, если б вы не жили в Сан-Пауло.— Команданте снимает фуражку, вытирает пот, почесывает голову.— Вы меня знаете, Тиета, я не лгун. Я покинул военно-морской флот и вернулся в Агресте потому, что хочу прожить спокойно остаток жизни, спокойно, рядом со своей женой, в этом райском уголке. У меня нет других стремлений, я этим счастлив.— Он будто снял форму, стал снова простым и сердечным, без претензии.

— Кто этого не знает? Порой в Сан-Пауло мне тоже хочется бросить все и приехать навсегда в Агресте. Поэтому-то я и купила здесь дом и участок. В один прекрасный день я поступлю так же, как и вы.

— Если здесь построят завод диоксида титана, не стоит и думать об этом, наш рай превратится в помойку, как это случилось в Италии. Мы столкнулись с исключительным положением, Тиета.—Он принимает суровый вид — сдержанный голос, твердые жесты, воинственный взгляд.— Таким исключительным, что я решил согласиться с выдвижением моей кандидатуры, предложенной группой друзей. Патриотов! Но чтобы это выдвижение перестало быть лишь жестом, чтобы появилась реальная возможность победы, вам необходимо возглавить нашу кампанию. Все считают, что народ поддержит вашего кандидата. Все зависит от вас. Я приехал призвать вас во имя будущего Агресте вступить в борьбу за священное дело.

Тиета слушает, устремив взор на морщинистое лицо друга. Бедный команданте, командующий проигранным сражением. Фанатичный приверженец климата Агресте, дикой красоты Манге-Сэко, он оставил карьеру, снял форму, чтобы дожидаться здесь смерти, прожив многие и долгие годы здоровой и спокойной жизни. Всему пришел конец, команданте. Бесполезно было вытаскивать форму из гардероба, укреплять медаль на кителе.

— Неужели вы верите, что мы в Агресте можем предотвратить строительство завода здесь? Я этому не верю. Мне хорошо известно,

как делаются подобные дела. Они решаются за спиною простого народа, нашего мнения не спрашивают. Вам придется уйти со своих холмов, придется...

— Я выполню свой долг. Это наша обязанность, моя, ваша, тех, кому известно, что такое это производство. Даже если бы мне пришлось драться одному... Я вам сказал—помните?—я сделаю все, чтобы избежать загрязнения Агресте.

Рикардо вмешивается, голос его прерывается:

— Извините меня, тетя, но команданте прав. И монах, брат Тимотео, советовал нам действовать, не задаваясь вопросом, каков будет результат. Педро думает так же.

Тиета снова видит перед собой худую фигуру брата Тимотео, открытое, симпатичное лицо инженера, снова слышит ласковый и уговаривающий голос францисканского монаха, звенящий и страстный тон атеиста. Теперь появляется команданте — в мундире, с торжественным видом, требующий выполнения долга. Чтобы жить хорошо, не раз говорил Фелипе, человек сведущий, необходимо прежде всего упразднить совесть. Беда в том, что это не всегда получается.

Кипит вода, Тиета заваривает кофе, ставит чашки на стол. На этом же столе Асканио раскладывал цветной рисунок Руфо, блестящее видение будущего. Темнеют снова глаза Тиеты, представившей уложенный асфальт, жилые дома, поднявшиеся на руинах селения. Хижины, крабы, рыбаки, отроческие мечты, дни любви, погребенные в смертоносных отходах производства диоксида титана. Ни одна пастушка коз не станет больше подниматься на холмы, никогда.

Неожиданное возвращение Тиеты, которую гражданский долг вынудил прервать прекрасный отдых на побережье, было встречено Перпетуей с энтузиазмом, обильной лестью. Она уже намеревалась поехать в Манге-Сэко для решающего разговора с сестрой о будущем своих сыновей, Кардо и Пето, в чем нашли бы конкретное воплощение созревшие у нее планы, были бы поставлены точки над «и», черным по белому. Желательно в нотариальной конторе с заверенной подписью.

Она принимает сына и сестру с преувеличенной горячностью, чуждой ее натуре:

— Бог благословит тебя, сын мой, и удержит на хорошем пути, чтобы и дальше заслуживать покровительство своей тетки.— Кто видел Перпетую раньше, посмотрел бы на нее сейчас: прежде она держалась сухо и отчужденно, теперь открывает объятия Тиете, пылкая, почти раболепная.— Слава богу, что ты вернулась, сестра. Я изнывала от тоски. Пето тоже тебя обожает, твое имя не сходит у него с уст, спроси Леонору.

— Это так. Пето — прелесть...— подтверждает Леонора, все еще удивленная переменой в планах Тиеты.

— Нам нужно о многом поговорить до твоего отъезда, сестра. Я не хочу думать об этом дне. Буду очень по вас скучать...— Она собирается с духом, распространяет заискивание на падчерицу сестры: — И по тебе тоже, Нора.

— Не напоминайте о грустных вещах, дона Перпетуа.

Услышав сетования бесстыдницы, Перпетуа делает новое усилие и качает головой с видом сожаления, шипящим голосом выражает ласковое порицание:

— Представь себе, Тиета, эта дурочка втюрилась в Асканио... Красивая и богатая, она ведь имеет возможность выбрать в Сан-Паулo любого жениха, а тут теряет время, флиртуя с этим простолюдином. Я не говорю, что он плохой парень, но у него нет ни гроша за душой. Это не партия для нее, я уже предупреждала ее тысячу раз.

— Счастлива девушка, которая выйдет за Асканио, дона Перпетуа. Он чудесный человек.

— Он — бедняк, я заклинаю тебя...

— Хорошо, Перпетуа, что у тебя такое настроение, я думаю продлить немного свое пребывание... Прежде я собиралась уехать на следующий день после праздника, теперь, возможно, останусь еще на несколько дней...

В спальне, наедине с Тиетой, Леонора возбужденно рассказывает ей о своих радостях и печалях:

— Мамочка, я не знаю, как тебя благодарить за то, что ты привезла меня сюда. Мне так хорошо... Мы действительно задержимся еще на некоторое время? — Она берет руку Тиеты, целует ее, прижимает к своей щеке, благодарная и нежная.

— Вполне возможно, еще на несколько недель, сама не знаю, на сколько. Но, козочка, перестань думать о расставании, оставь такие мысли, пока не окажешься в «маринети». А сейчас используй время как можно лучше, забудь об отъезде...

— Если бы я могла...

— Забудь, я уже тебе сказала. А как на берегу реки? Расскажи мне...

— Ты не представляешь, Мамочка, как трудно было убедить Асканио. Он не хотел даже говорить об этом, я завлекла его. Он боится, что обо мне будут сплетничать как о девице легкого поведения... Бедненький, меня даже мучает совесть. Однажды, играя на бильярде, он проиграл партию Астерио, потому что ему показалось, будто дона Эдна как-то не так отозвалась обо мне в разговоре с Оснаром.

— Уверена, она действительно не так отзывалась о тебе, наглая шлюшка.

— Сказать по правде, не знаю. Мы ведь ведем себя очень осторожно, Асканио исключительно осмотрителен. Ах, Мамочка, я не могу примириться с тем, что придется уезжать. Я умру от тоски.

— Тоска — то же, что и любовь, Нора. Она не убивает, она помогает жить.

Леонора не ограничивается рассказом о своей связи, о ночных похождениях у реки, где слышатся произносимые шепотом поэмы, сдерживаемые вздохи. Она касается и неприятных эпизодов: из-за этой истории с экспроприацией кокосовой рощи Асканио не знает ни минуты покоя. Самым печальным был разрыв его отношений с Кармозиной. Вероломная предательница всячески злословила по адресу «Бразтанио», читает вырезки из газет, осуждает префектуру за поддержку планов компании, обвиняет Асканио в злоупотреблении доверием горожан. Встревоженный, полковник призвал к себе крестника, потребовал объяснить, что тот делал в Салвадоре, что это за история с экспроприацией. Асканио, возмущенный и оскорбленный, не слушая уговоров Леоноры, послал Кармозине письмо — «трогательное письмо, Мамочка, я даже плакала, когда он прочел его мне». В этом письме он заявил, что кладет конец их дружбе, «которая, как я полагал, защищена от разногласий». Не менее искусная в эпистолярном стиле, дона Кармозина отвергла обвинения в клевете и кознях в послании, написанном тоже в драматическом стиле и аналогичного содержания: «Мою дружбу, прошедшую испытания в критические моменты, вы бросили в помойку «Бразтанио».

— Что за ужас эта ссора, Мамочка. Прежде они были так дружны. Мне очень нравится Кармозина, я умираю от огорчения.

Тиета гладит золотистые волосы девушки.

— Меня удивил твой приезд, Мамочка, ведь я думала, что ты появишься только ко дню празднества.

— Так я и собиралась поступить. Если тебе нравится здесь, то мне еще больше нравится в Манге-Сэко. Там я наслаждалась преле-

стями рая, благодаря заботам моего архангела. И все же бросила все и приехала.

— И почему же, Мамочка?

— Потому что не смогла себе запретить. Я сделала все, чтобы не приезжать, а кончилось тем, что приехала. Самое худшее то, что я уверена — это ни к чему в конечном счете не приведет. Не Мамочка приехала, Нора, а Тиета, Тиета, та девчонка, пастушка коз, которая дралась с полицией вместе с рыбаками. Я не могу тебе объяснить... одним словом, если б я не приехала, то, мне кажется, никогда больше не осмелилась бы ступить сюда ногой.

Леонора тоже не уверена, что поняла. Тиета встает, подходит к окну, смотрит на улицу — бедняжка Леонора!

— Я приехала, чтобы провалить кандидатуру Асканио. Хорошо ли это, плохо ли...

— Ах, Мамочка! Что же станется со мной?

— Это не имеет отношения к твоей любви. Не вмешивайся в нашу драку, ты не из этих мест, ты приезжая, в этом деле заинтересованы только жители Агреста. Постарайся поддержать своего парня, если ты любишь его так, как говоришь. Он в этом будет нуждаться.

Асканио узнал: есть разные мнения о причинах, определивших его позицию. Горячему обсуждению подверглись его характер и честность — как это всегда бывает с лидерами. Он и возразить не мог, что возрождение Агресте («Присутствие «Бразтанио» — возрождение Агресте»,— провозгласил заголовок в газетной витрине) будет стоить ему унижения и горя. В его ушах все еще звучат оскорбительные слова вроде «компенсации» или реплики, которую выплюнули ему в лицо на импровизированном митинге по случаю установки первого фонаря: «Заткнись, пешка «Бразтанио»! Ты же продался!» Он отказался от помощи в кампании по выборам, предложенной доктором Мирко, именно ради того, чтобы остаться вне всяких подозрений, но это не спасло его.

В последние дни он стал уже привыкать к двусмысленным ситуациям, которые поначалу казались ему нетерпимыми. Услышав реплику, он прямо обезумел, вызвал труса, чтобы тот показался и повторил оскорбление. Под конец же перестал придавать значение болтовне — лидер должен быть выше таких мелочей. В особенности когда происходят действительно важные события.

Дона Кармозина, бывшая прежде его лучшим другом и сочувственно относившаяся к его ухаживаниям за Леонорой, стала держаться как-то необычно, если не сказать — недостойно. Она попыталась поссорить его с полковником Артуром, которому Асканио был обязан и службой, и выдвижением своей кандидатуры на пост префекта. И, что всего хуже, преуспела.

Восстановленный против «Бразтанио», фазендейро распорядился вызвать Асканио. «Не хочу грязи в Агресте»,— сказал он. Асканио опроверг утверждения и аргументы доны Кармозины, объяснив ее яростную оппозицию дружбой с Джованни Гимараэнсом. Он повторил слова и суждения Мирко Стефано и Розалво Лусены, резко выступил против врагов прогресса Бразилии. Полковник, полузакрыв глаза, с усталым видом выслушал его защитительную речь, но не выказал удовлетворения, бросил ему в ответ, ссылаясь на статьи, опубликованные в газете «Эстадо де Сан-Пауло»,— «а «Эстадо де Сан-Пауло» не лжет — есть приговор итальянского судьи». Он поднял глаза на крестника:

— Это я выставил твою кандидатуру, когда скончался Энош. Но говорят, что ты кандидат этой самой компании?

— Своим положением я обязан только вам, крестный. И наплевать, что меня называют кандидатом «Бразтанио», это не бесчестье. Наоборот, у нас один идеал — развитие Агресте. Пусть говорят и де-

лают что угодно, они меня не сломят. Я пойду до конца. Благодарю за все, что вы сделали для меня, но не просите, крестный, изменить мои убеждения.— Лидер выковывается в пылу борьбы.

Едва Асканио пришел в себя после этой встречи, трудной и мучительной, ибо крестный слабел прямо на глазах, он получил другой удар, хуже всех. Вернувшись из Манге-Сэко, мачеха Леоноры, достойная гражданка, Жанна д'Арк сертана, дона Антониета Эстевес Кантарелли, предлагает ему побеседовать. «Мы двое, и больше никого»,— сказала она. Он был встревожен, наверное, Тиета узнала о том, что произошло между ним и Леонорой на берегу реки, о чем шепчутся в городе. Он не станет отрицать; воспользовавшись случаем, признается в своей глубокой и честной любви, в намерении жениться. Бедный, но честолюбивый и способный, он сумеет завоевать себе место под солнцем. Так он сразу разрешит ситуацию. В кармане — обручальное кольцо. Какова бы ни была реакция доны Антониеты, он не думает отказываться от Леоноры. Он готовится к встрече.

Имя Леоноры даже не было произнесено во время беседы, об их любви не было и упоминания. Дона Антониета сообщила ему, что вернулась в Агресте из-за дела «Бразтанио». Она и некоторые ее друзья, как известно Асканио, отрицательно относятся к тому, чтобы «Бразтанио» обосновалась в муниципии, и они намерены бороться. Они не хотят, однако, действовать, не узнав его мнения, собственно, для этого она и попросила о встрече. Тиета уважает Асканио, верит в его честность. Честен, но наивен, поскольку позволил увлечь себя беспринципным предпринимателям, она хорошо знает эту публику. Для Тиеты и ее друзей идеальным было бы оказать полную поддержку кандидатуре Асканио. Но при условии, что он изменит свою позицию, выступит против производства диоксида титана, смертельно загрязняющего окружающую среду. Если он станет действовать таким образом, все будет в порядке. Асканио надо выбрать между ними и «Бразтанио». Она не просит немедленного ответа, но хочет получить его в короткий срок, время требует того.

— Благодарю вас, что пришли поговорить со мной, прежде чем предпринять что-либо. Благодарю вас, но не остальных. В городе все уже знают, что команданте хочет стать кандидатом. Насчет Кармозины...

— Мне скажите «да», и все остальные будут на вашей стороне. Я пришла поговорить с вами от имени всех. Подумайте, прежде чем ответить.

— Мне не о чем больше думать, дона Антониета. Меньше всего я хотел бы потерять ваше расположение. Просите у меня чего угодно, я тут же выполню ваше желание. Но не просите меня изменить убеждения. Даже если я останусь один, борясь за развитие Агресте, даже если вы никогда меня не простите и сделаетесь моим врагом...

— Ну что вы! Успокойтесь! Кто говорит о вражде? Мне нечего вам прощать или не прощать. Вы думаете так, я — иначе, разрешим спор на выборах, но мы не враги. Вы еще очень молоды, впадаете в панику по пустякам. Фелипе был крупнейшим противником губернатора Адемара, но он очень хорошо уживался с ним. Не мешайте все в одну кучу.

Они разошлись, заверив друг друга в дружбе, но Асканио чувствовал обиду и горечь. Он ожидал, что Тиета не станет вмешиваться, держась в стороне от спора, живя в Манге-Сэко, как она прежде объявила, до самого празднества. Он не стал говорить о готовившихся для нее почестях, опасаясь, не воспримет ли она их дурно, усмотрев в табличке с названием улицы форму подкупа. Ужасное слово «подкуп» носилось в воздухе.

После обеда Асканио, как обычно, пришел за Леонорой к дому Перпетуи. Они кружили по площади при скудном освещении от

движка, прежде чем направились в темноту плакучих ив. Он рассказал Леоноре о трудном разговоре. Она уже знала о нем от Мамочки.

— Ты тоже будешь просить меня изменить свой образ мыслей, сдать позиции? После крестного и доны Антониеты не хватает только тебя...— с горечью произнес он.

— Я прошу только, чтобы ты любил меня, ничего больше.— Она поцеловала его руку, это был покорный жест нежности и преданности.— Мамочка мне сказала: ты не из здешних мест, не вмешивайся в драку. Может быть, это эгоистично, Асканио, но я была даже рада, ведь из-за этой заварухи Мамочка отсрочила отъезд в Сан-Паулo. Он был назначен на другой день после празднества, теперь она задержится — помочь команданте. Моя бабушка всегда говорила, что все в мире имеет и свою хорошую сторону.

Она права, размышляет Асканио. Если разговор с доной Антониетой расстроил его, встреча с крестным встревожила. Полковник относился к крестнику с уважением, он мечтал отдать ему дочь в жены, сделал его секретарем префектуры, провозгласил кандидатом в префекты, когда умер доктор Энош. Не лишил его поддержки несмотря на интриги Кармозины, но вместе с тем остался глух к восхвалению достоинств «Бразтанио». Кандидатура команданте рассердит полковника, заставит позабыть бессмысленные требования, и он употребит весь свой авторитет во имя избрания Асканио. Полковник Артур де Фигейредо не привык к оппозиции, ее нет в муниципии уже много-много лет.

И к счастью — иначе Асканио был бы вынужден прибегнуть к услугам «Бразтанио» для оплаты расходов по избирательной кампании, небольших, но неизбежных,— у него самого ни гроша за душой. Он не хочет ради этого одолжаться у Компании, на карту поставлена его гордость. Сказал же он доктору Мирко: не надо, я буду избран и так. Позднее — возможно, как знать? В будущем, после выборов, когда он вступит на пост префекта и проведет экспроприацию, а производственный комплекс, воздвигнутый в Манге-Сэко, станет приумножать богатство Агресте и поднимет его престиж, все признают правоту лидера, закаленного в борьбе и вражде. Даже дона Кармозина и дона Антониета. Вот тогда, поскольку будет доказана справедливость его позиции, он согласится принять любую помощь, которая будет предложена «Бразтанио» в связи с выборами в законодательное собрание. Муж Леоноры Кантарелли не может ограничивать свои стремления постом муниципального префекта, а влияния полковника Артура де Фигейредо, даже если он доживет до тех пор, недостаточно, чтобы Асканио мог быть избран депутатом.

Сидя в одиночестве на веранде своего дома, полковник Артур де Фигейредо греется на солнце. Поблизости пасутся козы, подальше — загон. Громкий голос женщины, спрашивающей у решетчатой двери разрешения войти, нарушает его дремоту. Плохая вещь — старость: слабеют ноги, теряется вкус к еде, звуки доносятся к глухому уху тихие и далекие, для тусклого взора люди и вещи движутся как бы в тумане. Ему трудно узнать приближающуюся гостью, шагающую среди кур и уток.

— Кто там?

— Мир вам, полковник.

Голос показался ему знакомым. Он встал, опираясь на палку, вгляделся:

— Это ты, Тиета? Благословен господь! Я собирался послать тебе записку, но узнал, что ты в Манге-Сэко.

— Я вернулась, полковник, и сразу пришла вас повидать. Я не забыла про свое обещание.

— Присядем, дочь моя, я хочу, чтобы ты мне рассказала, что происходит в Агресте. Никогда в жизни я не видел такого безумия.

— Что вы имеете в виду, полковник?

— Асканио, мой крестник, моя правая рука в префектуре, не похож на того благоразумного парня, каким он был недавно, он ссорится из-за какой-то индустрии, которая намерена обосноваться в Агресте, в районе Манге-Сэко, как он мне сказал. Асканио считает, что муниципий снова будет процветать, деньги потекут рекой. Он побывал в столице штата, беседовал с предпринимателями, дал им обещания. Когда он говорил со мною в первый раз, я счел, что благодеяние слишком уж велико, но промолчал, ведь нынешние времена поистине странные, происходит такое, что сам черт не разберется...— Он сделал паузу, переменил тему: — Как это ты сумела провести электричество от Пауло Афонсо в Агресте? Даже здесь уже поставили фонарь. Сам черт не разберется... Как тебе удается командовать политиками в Сан-Пауло, не понимаю...

Тиета смеется, подбрасывает дровишек в костер старца:

— У меня свои средства, полковник, свое секретное оружие...

— Это я знаю... Ко мне заходит дона Кармозина, другая достойная особа, приносит газеты, на которые я подписываюсь; и она читает мне вслух статьи из «Эстадо де Сан-Пауло» и «Тарде», двух серьезных газет, они вот утверждают, будто индустрия эта — бедствие, и собирается она обосноваться в Агресте только потому, что никто не хочет принять ее ни в одном месте мира,— ведь она приканчивает все. Я начал думать, уж не окрутили ли они Асканио, он еще новичок, его легко надуть. Велел вызвать его сюда, поговорил с ним о статьях, об этой истории с загрязнением окружающей среды. Когда Энош умер, я поучал Асканио: поддерживай город в чистоте, раз уж нельзя вернуть ему былое. Спрашиваю, что это за разговоры о сооружении тут заводов, которых никто не хочет иметь где бы то ни было? Он мне ответил, что с заводами вернется жизнь, Агресте вновь познает процветание. А эта история с загрязнением окружающей среды — просто выдумка тех, кто не хочет, чтобы Бразилия шла вперед по пути прогресса, тех, кто против правительства, кем руководит Россия, вроде того парня Джованни, что побывал тут и близко подружился с Кармозиной. Но я ему показал «Эстадо де Сан-Пауло», она тоже осудила эту индустрию, а я никогда не слышал, чтобы «Эстадо де Сан-Пауло» имела что-нибудь общее с Россией, «Эстадо» не такая газета, чтобы заниматься выдумками. Асканио не возражал, но попросил не сомневаться — он желает лишь добра для Агресте. Я верю этому, Асканио — хороший малый. Но его могли опутать. Ты-то знаешь правду и скажешь мне.

Тиета слушает, не прерывая. Старик говорит медленно, с одышкой, обрывая фразы посередине. Он едва пригубил кофе, принесенный служанкой. Время от времени какая-нибудь коза срывается с места, и, услышав шум, полковник оглядывает стадо.

— Я пришла, полковник, повидать вас и поговорить именно обо всем этом. Мне тоже нравится Асканио, думаю, он достойный парень. Грезит прошлым, временем его деда да и вашим, считает, что «Бразтанио» вернет былое процветание, и тут он ошибается. Если бы это была текстильная или обувная фабрика, все были бы согласны. Но «Бразтанио» будет производить диоксид титана...

— Что за чертовщина этот диоксид титана?.. Кармозина мне объясняла, но она слишком ученая особа, я мало понял...

— Что это на самом деле, я и сама не знаю, полковник, не буду вам лгать. Но мне известно: это самая вредная промышленность в мире. Она испортит наш климат, который так хорош, отравит воду в реке и в море, покончит с рыбой.

— Она отравляет рыбу?

— Она отравляет все, полковник, даже коз.

— И коз?

— Поэтому, полковник, я и нахожусь здесь, я должна сказать

вам, что, если Асканио будет продолжать поддерживать «Бразтанио», мы выставим в префекты кандидатуру команданте Дарио.

Полковник Артур де Фигейредо вздрогнул, мгновенно охваченный негодованием, как будто Тиета дала ему пощечину. Вспышка гнева в глазах, голос становится резким:

— Кто это «мы»? Кто осмеливается говорить о другой кандидатуре, не посоветовавшись со мной?

— Никто, полковник, не осмеливается. Еще нет никакой кандидатуры. Команданте, Кармозина, я и другие друзья, мы хотим получить ваше согласие, для этого я и пришла. Вы, крестный Асканио, выставили его кандидатуру. Мы не против Асканио, мы против завода диоксида титана. Стоит лишь Асканио сказать, что он не имеет ничего общего с «Бразтанио», что он не будет ей покровительствовать, и ссоре конец. Но если он не согласится, у нас нет иного выхода, полковник, мы не хотим превращать Агресте... как это говорит газета?.. в помойку...

Старик опирается подбородком о набалдашник трости, гнева как не бывало; с потухшими глазами, неторопливым, низким голосом он повторяет:

— Помойка... Именно так. Кармозина читала мне... Я не сказал тебе, что говорил с Асканио? Говорил несколько дней тому назад. Знаешь, как он мне ответил? Он, мол, очень гордится тем, что его называют кандидатом компании, и пойдет до конца, что бы ни случилось. Никто не помешает ему пробудить Агресте от спячки.

Тощая рука его ищет руку Тиеты, трогает пальцы, унизанные кольцами с драгоценными камнями.

— Послушай, дочь моя: ты разговариваешь с козлом, уже ни на что не годным, выпущенным на поле умирать. Несчастный думает, что он еще хозяин, но он уже ничто, даже молодые козлята брыкают его. Полковнику Артуру де Фигейредо, который правил и командовал, пришел конец. Я больше не назначаю кандидатов, не оспариваю выборов. Разве ты не видишь? С одной стороны, предприниматели, но они ведь не из этих мест. С другой — ты, Тиета, которую я знал еще босой девчонкой, погоняющей коз, теперь твои пальцы унизаны брильянтами... Я уже слишком стар,— в голосе усталость и горечь.

Тронутая, Тиета ласково гладит его руку:

— Не говорите так, полковник. Если вы лишите Асканио поддержки, никакая компания не добьется его избрания. Вы хозяин и распоряжаетесь людьми здесь. И чтобы вы поверили в это, скажу: попросите меня или прикажите, и я покончу с кандидатурой команданте в одно мгновение, тут же. Против вас я не восстану, даже если б надо было пасти коз.

На сморщенных губах старца пробивается улыбка:

— Я не верю, что этот титан убивает коз, Тиета, ты хочешь запутать меня. Но я ни о чем не прошу тебя и ничего не приказываю. Я больше не вмешиваюсь, каждый поступает, как ему заблагорассудится. Асканио думает, что он действует правильно, ну и пусть. Ты, Кармозина, команданте, не знаю кто еще, полагаете обратное. Если бы еще у меня было стремление заработать деньги, я был бы способен поддержать эту индустрию, присоединиться к чужестранцам, за деньги ведь мы даже душу продаем. Если бы я еще сохранил любовь к жизни, то поддержал бы вас — самый плохой человек на свете может иногда совершить великий поступок. Но мне уже нечего ни выигрывать, ни терять в мире, Тиета, я даже утратил охоту распоряжаться. Но я благодарен тебе за то, что ты сказала, за уважение, которое проявила к старику. Твои слова пролились бальзамом на мое сердце в час, недалекий от смерти.

В субботу город пробудился в разгаре избирательной кампании. НА ВЫБОРАХ ПРЕФЕКТА ВЫРАЖАЙТЕ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЗАГРЯЗ-

НЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГОЛОСУЯ ЗА КОМАНДАНТЕ ДАРИО ДЕ КЕЛУЗА! — советуют четыре полотнища, развешанные в стратегических пунктах — в наиболее оживленных садах для гулянья. Одно — как раз напротив префектуры. Щиты приглашают население принять участие в большом митинге по случаю выдвижения кандидатуры команданте Дарио де Келуза; этот митинг состоится на следующий день, в воскресенье, около пяти часов дня. Кандидат выступит на митинге с речью.

Полотнища и щиты изготовлялись во дворе бунгало команданте группой граждан, старание которых прекрасная Карол приветствовала с довольным и многообещающим видом. В доме доны Милу дона Кармозина и Аминтас, две умные головы, сочинили своего рода манифест, обращенный к народу; в нем излагались причины выдвижения кандидатуры команданте. Напечатанная в Эспланаде на желтой бумаге листовка предназначена для широкого распространения в Агресте в субботу и в воскресенье. Дни всеобщего оживления, суббота сенсационных событий!

В пятницу шум мотора «маринети» не прервал деятельность преданных сторонников команданте. И Рикардо не пошел на встречу с Марией Непорочной. Поставленная им заранее в известность, девушка согласилась пожертвовать один раз кратким мигом наслаждения ради доброго дела. Фиделио, Сейшас, Рикардо, Пето и Сабино развесили полотнища и установили щиты под руководством Аминтаса и Оснара. Противник любого физического усилия — «я сохраняю свою физическую силу для любовных утех»,— Оснар отдает распоряжения. Команданте наблюдает за работами с серьезным лицом, озабоченный подготовкой речи на митинге, он чувствует страшную ответственность.

С сооружением завода вернется оживление — обещал Асканио Триндаде полковнику Артуру де Фигейредо. Прошло несколько дней, события показали, что он прав; не понадобилось даже, чтобы новая промышленность пустила корни, ярмарка в Агресте снова отличилась активностью, новым подъемом, достойным былых времен, о которых столько говорят.

В субботу, прибыв рано утром на рыночную площадь, люди заметили нечто непривычное, в частности, увидели натянутое между двумя воткнутыми в землю шестами полотнище, сообщавшее о выдвижении кандидатуры команданте, и плакат, призывающий на митинг.

Поначалу полотниша и плакат не пользовались интересом. Любопытство провинциалов было обращено к более значительным и необычным вещам — к новым фонарям освещения от гидроэлектростанции Сан-Франсиско, гигантским, красивым, производящим впечатление. Два из них уже были водружены: люди, приехавшие на рынок, вытягивали шеи, пытаясь рассмотреть лампы на высоте. Третий фонарь, еще лежавший на земле, собрал любопытных, взиравших на него с восхищением, слышались восторженные возгласы.

Некоторые, более грамотные, читали по складам слова на полотнище, однако таких, которые бы заинтересовались плакатом, было все же мало — большинство не умело читать. Таким образом рынок начал торговлю обычно, и только когда Рикардо и Пето приступили к раздаче листовок, внимание публики было завоевано. Вот тут-то и поднялась кутерьма.

В то время, как полотнища ограничивались сообщением о выдвижении кандидатуры команданте, в листовке, которую сочиняла возмущенная дона Кармозина в сотрудничестве с язвительным Аминтасом, где кратко упоминалось о загрязнении окружающей среды, сообщалось о причинах кампании за спасение Агреста — рая, которому угрожает гибель. Приведены были отрывки из статьи Джованни Гимараэнса, удар обрушивался на «Бразтанио»: «межнациональное предприятие, цель которого — набить иностранцам брюхо за счет обнищания наро-

да Бразилии». Листовка обвиняла также Асканио: «Используя занимаемый им пост, он ввязался в грязную интригу этих преступников, которые хотят превратить Агресте в помойку». Воспрепятствовать избранию этого «коварного типа, агента на содержании у предпринимателей смерти»,— долг всех граждан муниципия.

Рикардо выполнял долг, побуждаемый самым чистым идеализмом; Пето же работал за плату, обещанную Оснаром, одним из тех, кто взял на себя финансирование кампании по избранию команданте; так или иначе оба брата, один самоотверженно, а другой — за деньги, сознательно осуществляли полученное задание, не пропуская ни одного человека, раздавали листовки торговцам и покупателям.

У мешков с мукой, принадлежавших Гумерсиндо Саруэ, Пето вручил одну листовку торговцу, другую покупательнице, доне Жасинте Фейре, богомолке из числа самых вредных сплетниц. Гумерсиндо, решив, что это реклама кинофильма, бросил бумагу на землю. Дона Жасинта, прервав торг, стала читать ее громким голосом; торговцу не осталось ничего иного, как слушать. Уловив имя Асканио, он заинтересовался, попросил разъяснений. Дона Жасинта охотно удовлетворила его любопытство. Она указала на щит в центре площади, показала на полотнище, с выражением перечитала оскорбления. Не веря своим ушам, Гумерсиндо спросил:

— Неужели они хотят убрать доктора Асканио из префектуры?

— Да, чтобы поставить туда команданте Дарио. Говорят, что Асканио...

Человек действия, Саруэ ищет глазами мальчика, который распространяет эту грязную бумагу, и замечает его в сторонке отдыхающим от трудной работы и поглощающим мороженое. Гумерсиндо бросается к Пето, протягивает руки, чтобы схватить пачку листовок, ему удается вырвать несколько, которые он с яростью рвет, стремится заполучить остальные:

— Отдай мне сейчас же эту мерзость.

Как хорошо известно, Пето — решительный парень. Сочетая слово и дело, он поддал Гумерсиндо ногой по голени, осыпая его руганью.

— Что с тобой, кум? — спрашивает Нью Батиста, другой земледелец из Росиньи, глядя на друга, ослепшего от ненависти, старающегося одолеть паренька.

— Они хотят убрать доктора Асканио из префектуры.

Новость разносится, бежит, как огонь по бикфордову шнуру; скорая и ядовитая, она возбуждает рынок. Большинство торговцев, которые почти все прибыли из района Росиньи, питало искреннее уважение к Асканио. Жители с берегов реки и морского побережья — поставщики рыбы, моллюсков, крабов и раков — выступали за команданте, численность их была невелика, но они выделялись бесстрашием, некоторые славились как контрабандисты, обладали опытом борьбы с полицией.

Охота за Пето по всему рынку, сопровождаемая впечатляющими бросками, грудой разбросанных товаров, положила начало беспорядкам. Пето удирает, выпуская на волю стадо свиней. Он бежит в бар за подкреплением; последнее, что он увидел в суматохе,— Рикардо схвачен, листовки разлетаются по ветру. Бар только что был полон, а сейчас оттуда выскочили все.

Такой заварухи на рынке никогда не бывало. Не уцелели ни полотнище, ни плакат. Рыбаки, поначалу не знавшие о причине конфликта, не сразу приняли участие в схватке. Но когда они осознали, какая дерзость проявлена по отношению к команданте, началась потасовка.

Потасовка захватила всех, многие даже и не знали о ее причинах, тем не менее участвовали в ней. Ущерб солидный: множество рассыпанных мешков муки, черной фасоли, риса, маиса, растоптанные, раздавленные фрукты и овощи, валяющиеся на земле куски вяленого мяса, рыбины, ставшие оружием в драке, и живые крабы, ползающие

между дерущимися. Местный пророк Поссидонио, провозгласивший в который уже раз конец света, бил палкой и тех и других, независимо от их политических убеждений — в его глазах все были отъявленными грешниками. Асканио, поспешно прибывший из префектуры, не сумел утихомирить сражавшихся. Не достиг успеха и команданте, оторванный от сочинения своей речи. Даже падре Мариано, вмешательство которого лишь воспрепятствовало тому, чтобы команданте и Асканио сами ввязались в драку, был бессилен.

Но когда Тиета, вызванная Сабино, появилась на площади, держа посох старого Зе Эстевеса, и вошла в гущу дерущихся с криком: «Прекратите!»— все расступились перед нею и успокоились. Было уже поздно спасать полотнище и плакат, но еще можно было подобрать останки Рикардо. Как раз вовремя: едва она подняла и увела славного племянника (синяки на лице и на ногах), как на площади появились — воинственно настроенные, прибывшие с разных сторон — маленькая Мария Непорочная, благочестивая Синира, претендентка Эдна и свободная Карол. У Рикардо тоже есть контингент сторонников, вернее, сторонниц. Ограниченный численно, но высоких боевых качеств.

Крики Тиеты разбудили Перпетую. Она натягивает черную юбку на ночную рубашку, хватает подсвечник, распахивает дверь и... видит Рикардо, бегущего по коридору, спасающегося от града ударов, причем безмолвного и... совершенно голого. Ах, господи боже мой! Обезумевшая, послав к черту сдержанность, приличие, условности, пренебрегая всякой осторожностью, тоже голая, тетка преследует его до двери на улицу: посох гуляет по спине племянника, посох старого Зе Эстевеса, тот самый, которым он наказал Тиету, когда узнал от Перпетуи о коммивояжере.

Рикардо пытался было возвратиться за штанами, но фурия с поднятым посохом — в апогее душевной боли — настигает его, бьет по лицу, по ангельскому и вероломному лицу, как в то далекое утро настиг ее Зе Эстевес — у нее тоже было ангельское лицо. Одним прыжком Рикардо выскакивает на улицу. Удирая, явно не оправившись от изумления, он вмиг очутился на площади, избитый, вне себя от стыда. Дверь с шумом захлопнулась, после того как разъяренный голос вслед ему прокричал: «Убирайся прочь с моих глаз!»

Тиета украшена рогами. Она их обрела на берегу реки. Когда слабое освещение от движка отметило условный час, она была уже наготове: притаившись позади мангового дерева, она присутствовала при их встрече, проводила негодяя и девчонку в темноту «Бассейна Катарины». Подвергнув свою гордость тяжелому испытанию, она устроилась так, чтобы можно было подслушать, чтобы испить негодование, ревность каплю за каплей. Израненная, униженная, покрытая грязью, оплеванная, ничтожная, рогатая! Она слышала смех, потеряла счет вздохам, измеряла паузы во время поцелуев, узнала тысячу нюансов слова «любимый», повторяющегося как рефрен: поцелуй меня еще раз, любимый, не уходи, любимый, задержись еще... ай, любимый!

Как только Тиета вернулась из Манге-Сэко, она заподозрила наличие другого соперника помимо бога — женщины. Она стала прислушиваться, о чем судачат сплетницы, собрала сведения, но хотела убедиться лично, настолько невероятным ей это показалось. Увидела, услышала, почти стала соучастницей. Все правда! Она, Тиета, тщеславная и самоуверенная, обманута, как самая глупая и доверчивая из девчонок.

Никогда с ней не случалось ничего подобного. Надо же было вернуться в Агресте, чтобы мужчина, которого она ждала в этот вечер уже в постели, осмелился изменить ей. Мужчина? Козленок, едва оторвавшийся от вымени, одетый в сутану, боязливый мальчишка, недавно еще невинный, которого она совратила на дюнах при свете луны.

Перпетуа пытается укрыться за дверью своей комнаты, притвориться, будто она ничего не видела. Но ей не удается завершить маневр отступления. Тиета замечает мерцание пламени свечи, угадывает присутствие сестры, которая подсматривает за ней, злоба кипит, достигнув высшей точки:

— Что ты делаешь здесь, спрятавшись, выслеживаешь?

Поскольку ее обнаружили, Перпетуа показывается, выступает вперед:

— Что случилось? Что все это значит?

Шипящий голос ее выражает не возмущение и ярость, а только ужас. Еще есть возможность спасти нравственность, благопристойность. Склонная к сглаживанию конфликтов, Перпетуа оставляет лазейку для любой мало-мальски подходящей версии: Рикардо проявил своеволие и непослушание, нарушил режим, он заслуживает порицания и наказания. Ну а что оба действующих лица оказались без одежды, можно объяснить летней жарой или просто не говорить об этом, не такая это уж важная деталь. Соблюдение приличий облегчит переговоры. Но Тиета, потерявшая контроль над собой, пренебрегает этой возможностью:

— А то значит, что эта собака, твой сын, осмелился наставить мне рога с бесстыжей шлюхой, чего ни один мужчина не позволил себе в отношении меня.

Перпетуа заглушает крик, зажимает рот рукой. Делает еще шаг, прислоняется к стене.

— Ты хочешь сказать, что ты и Кардо... Какой ужас, боже мой!— Испуг и отвращение отпечатываются на ее постном лице, но рука снова зажимает рот, не допуская сетований. В Агресте сон у соседей легок — сколько их, разбуженных криками Тиеты, сейчас уже прислушивается?

Под тяжелым бременем измены Тиета бредет в комнату, садится на кровать, подогнув ноги, неприличная поза. Возмущение и злость не покидают ее, теперь они направлены против сестры:

— Не вздумай прикидываться невинной и делать вид, будто не знала, ты все отлично знала.

— Ты с ума сошла! Я тебя приняла в своем доме с распростертыми объятиями, я думала, что ты переменилась. А ты нисколько не изменилась, такая же развратница, как и раньше. Ты совратила невинного, набожного мальчика, погубила его. Он готовился стать священником, теперь его изгонят из церкви...— Она подавляет рыдание, мать, охваченная паникой, остолбеневшая от ужаса.— И ты еще смеешь говорить, что я знала. Изыди! — Не имея больше возможности что-либо исправить, она решает перейти в наступление.

— Не знала? Бесстыдница! — Тиете захотелось надавать пощечин лицемерной сестре, пройтись по ее спине посохом, как она поступила с мерзавцем.— Не ты ли послала сына ночью в Манге-Сэко, когда увидела, что я схожу с ума по нему? Ты зарилась на мои деньги, думаешь, я не поняла этого? Но ты забыла объяснить ему, что я не мужчина и потому не приспособлена носить рога.

С подсвечником в руке, Перпетуа стоит в коридоре перед дверью спальни, прислонившись к стене, холодный пот выступил на лбу, она возражает:

— Ты клевещешь, чтобы уйти от ответственности,— в голосе звучат агрессивные нотки, палец угрожает.— Тебе не удастся совратить невинного мальчика со святого пути религии, оборвать его карьеру, не...

— Не заплатив, так, что ли? Ты только и думаешь о деньгах. В прошлые времена ты помышляла только о том, чтобы найти мужчину, который бы польстился на тебя, не так ли?

— Никогда у меня не было таких мыслей, я не такая, как ты.

— Ты хуже. Ты хитро задумала все это, чтобы выманить у меня деньги. Когда ты уступила мне спальню и уложила его в комнате напротив, уже тогда ты замыслила это. Мне бы надо было догадаться.

— Ложь! Мне и в голову не приходило...

— Потом, когда ты увидела, что я заглядываюсь на него, то снарядила лодку, не правда ли?

— Твои измышления не помогут. Я хочу знать, как ты собираешься вознаградить моего сына. Я хочу знать это сейчас же.

— Вознаградить твоего сына? За что? Он был здоровым невинным парнем, я сделала из него мужчину. Будто ты верила, что священник должен быть невинным.

— Он был непорочным, на хорошем счету, почтительным, думал только о своих обязанностях. Теперь он уже не такой, закусил удила. Ты сделала из него себе подобного. Он стал таким, какой была ты, проклятая! Ты обесчестила его. Посмеешь отрицать?

— Значит, ты хочешь, чтобы я заплатила за лишение невинности твоего сыночка, так, что ли?

Она поднимается, встает с кровати. Пошатываясь, она направляется к шкафу, берет чемоданчик, где хранит деньги, отпирает, приподнимает крышку, отделяет пачку банкнот и бросает их сестре. Они рассыпаются по полу.

— Возьми, я плачу за его невинность. Мне было хорошо, а это чего-нибудь да стоит, я насытилась. Давай собирай плату, дерьмовая бандерша. Меня тошнит от тебя.

Перпетуа ставит подсвечник, входит в комнату, присаживается на корточки, подбирает деньги. С пола доносится ее голос, гнусавый, смягченный, примирительный:

— Тебе бы следовало усыновить обоих мальчиков...

— Усыновить? Как своих сыновей? — Тиета, сев снова на кровать, смотрит на Перпетую, ползающую на четвереньках, подбирающую и прячущую банкноты.— Вот чего тебе хочется... Пусть они станут моими единственными наследниками, не так ли? Неважно, что я буду матерью своего любовника? Это ты уж слишком.

При виде ее, шарящей под кроватью в поисках какой-то затерявшейся там бумажки, с обвисшей грудью, раскачивающейся под ночной рубашкой, с распустившимся пучком на голове — волосы спадают на искаженное лицо святоши,— Тиету охватывает чувство изумления и жалости, смешанное со злостью,— чертова баба, она на все способна ради сыновей.

Перпетуа поднимается с вытаращенными глазами, сжимая в руках банкноты.

Шум ключа в двери, легкие шаги по коридору. Перпетуа пытается привести себя в порядок, засовывает деньги в карманы юбки, чтобы другая бесстыдница, возвращающаяся после греха — каждый вечер она приходит все позже,— чтобы та не заметила случившегося. Обнаружив движение и свет в спальне, Леонора входит.

— Добрый вечер, дона Перпетуа.

Та объясняет:

— Мы тут беседовали,— берет подсвечник.— Завтра продолжим разговор, сестра.

Если Тиета думает, что поставила точку в деле с этими деньгами, ах, как она ошибается, как не знает свою старшую сестру. Перпетуа хочет и должна добиться получения бумаги, заверенной в нотариальной конторе, никак не меньше. Она уже почти вышла из комнаты, но поспешно возвращается подобрать замеченный банкнот около шкафа. Должно быть, там есть и еще, она вернется завтра, до того как Араси выметет комнату.

Леонора начинает скорбным голосом:

— Мамочка, ах, Мамочка! Бедный Асканио. Бедняга в отчаянии...

На рассвете Козлиный Дух продрал глаза там, где кашаса свалила его с ног накануне вечером — на пороге кинотеатра «Тупи», тут он и укрывался от дождя и ветра. Поднявшись, он побрел к «Глубокой яме». Когда переходил площадь Главной Церкви, ему бросилось в глаза какое-то движение у дверей дома Терто. Выпивоха задержался, чтобы посмотреть, кто это так рано спешит выйти из дома,— ведь Терто, преданный муж Эдны, любит долго спать утром в своем гамаке, висящем на балконе.

Каково же было изумление Козлиного Духа, когда он узнал в гражданине, одетом в старые брюки Терто, семинариста Рикардо. Дона Эдна в одной рубашке, повиснув на шее у парня, прощается, целует его. Штаны Терто, страшно узкие, видимо, малы ему, зачем он их надел? Он же был в сутане, когда Козлиный Дух встретил его направляющимся к оврагам у реки с девчонкой, живущей в пансионе Зулейки. Ранее видел его в брюках и спортивной рубашке, входившим в запретную дверь Карол,— это случилось не более четырех дней назад. В сутане его заметил еще и накануне, поднимавшимся по лестнице на колокольню, чтобы утешить непослушную старую деву. Не говоря уж...

Рикардо проходит через сад на площади, тесные штаны не позволяют ему бежать. Он стучится в дверь черного хода, Араси открывает, не может удержаться от смеха: сеу Кардо такой забавный, ах, какой красивый молодой человек! Придет день, он, бог даст, должен будет обратить на нее внимание.

Он входит, надевает сутану, укладывает чемодан, вдруг чувствует: за ним наблюдают, он поднимает голову. В черной одежде, с четками в руке, Перпетуа, собравшаяся идти в церковь. С угрожающим видом, готовая обвинить и наказать, на лице негодование и гадливость, глаза мечут молнии, пронизывающий душу шепот — приходится умерить голос, чтобы не разбудить этих двух проклятых — Тиету и Леонору:

— Что ты делаешь, окаянный?

— Уезжаю на «маринети» в Эспланаду.

— Уезжаешь на «маринети»? Это кто же тебе велел?

— Никто, мать. В Эспланаде я пересяду на автобус, сойду на дороге в Сан-Кристован.

— Ты что это задумал? Или у тебя больше нет матери, которую ты должен слушаться? Стал взрослым? Изволь-ка разобрать свои вещи и лечь спать. Позже ты мне дашь отчет, готовься.

— Я проведу несколько дней с братом Тимотео в монастыре. Он меня пригласил. После того как Тиета... как тетя уедет, я вернусь.

— Никуда ты не поедешь. Делай, что я тебе сказала.

Но она понимает — сын ее не послушается, никогда больше она не будет командовать им. Старшая сестра, она тоже никогда не командовала Тиетой, никогда та не повиновалась ей.

— Я уже сказал, мать, что еду в Сан-Кристован. Я стал не взрослым, я стал мужчиной, разве ты не видишь? Не пытайся мне препятствовать, я хочу уехать, а не сбежать. И я вернусь, не беспокойся.

— Ты не похож больше на моего сына. Ты такой же, как она. Она была нашим позором: днем с козами, ночью греховодничала. Ты хочешь занять ее место. Не боишься божьей кары?

После смерти майора ей впервые захотелось поплакать.

— Мой бог тоже изменился, мать, он не похож на твоего. Мой бог прощает, не наказывает.

— Ты не можешь уехать, не уладив всего. Она тебя сбила с пути истинного, вынудила нарушить данный мною обет. Ей придется оплатить зло, которое она причинила. Она принесла грех в этот дом, проклятая, погубила тебя.

— Нет, мать. Я был слеп, она помогла мне прозреть. Не знаю, стану ли священником, об этом рано еще говорить. Но будь уверена, если

я не постригусь — значит, бог не захотел. Не беспокойся, я буду продолжать учиться.

— Ты клянешься, что действительно едешь в монастырь?

— Я уже тебе сказал. И вот что, тетя очень хорошо относилась ко мне, я никогда не смогу отплатить ей за то, чем обязан ей.

Он берет чемодан, улыбается матери, спокойный и нежный:

— Благослови, мать.

— Ах, боже мой! — Она с видом мученицы поднимает глаза к небу.

Повернувшись к выходу, Рикардо видит Тиету в дверях спальни, любимое тело, освещенное солнечным лучом раннего утра.

— Прощай, тетя... Тиета!

— Прощай, Кардо. Можешь называть меня тетей. Скажи монаху, что я в Агресте и что предстоит жестокая схватка.

Дверь на улицу закрывается за Рикардо. Даже не взглянув на сестру, Тиета возвращается в комнату. Пастушка коз гордится племянником. Он такой же, как она,— ни убавить, ни прибавить, Перпетуа права. Молодой козел, без пут, свободно бродяший по холмам с поднятой головой, наследник ее строптивости. Что было, то было, сумасшедшая прихоть, а теперь тоска, такая тоска!

«Десять дней, которые потрясли Агресте»,— определил Аминтас, читатель книг запрещенных авторов, перефразировав Джона Рида, чтобы охарактеризовать этот короткий и бурный период. Он сам способствовал возникновению обстановки причудливого кошмара: манипулируя невидимыми нитями, как в театре марионеток, он был «за кадром» при свершении некоторых важных событий. Хотя главную ответственность обычно приписывали доне Кармозине.

— Смотри, что ты натворила, Кармозина,— обличает сборщик налогов Эдмундо Рибейро, усаживаясь на стул в почтово-телеграфном агентстве.— Каждый день новость, драка, скандал, кутерьма...

— Если не две, так три. Мы не успеваем обсудить одну заваруху, как начинается другая,— поддерживает араб Шалита, сидящий на пороге.— Все потеряли голову, хоть бы увидеть, чем это кончится.

Дона Кармозина снимает с себя ответственность за происходящее:

— Я? Кто я такая? В конце концов вы объявите, что это я придумала завод диоксида титана. Жили мы здесь у себя хорошо, спокойно...

— Если бы ты не читала прессу и не разносила последние новости...— Сборщик налогов указывает на газетную витрину, красующуюся теперь на главной стене помещения.

— Вы могли бы продать Агресте безнаказанно.

Тон и язык разговоров изменились. Исчезли сердечность, хорошее настроение, забыты ритуалы вежливости при ведении беседы — главного развлечения, бесплатного, общедоступного, доставляющего обществу изысканное удовольствие. Тон стал суровым, хитрые уловки сменились открытыми оскорблениями.

— Асканио уехал? — спрашивает озабоченно Кармозина.— Когда?

— Сегодня. Мне сказали, что он вернется завтра.

«Маринети» Жаиро делает остановку напротив кинотеатра, неподалеку от дома Шалиты, неизменно присутствующего при отправлении машины (строго по расписанию) и прибытии (непредусмотренном расписанием), следящего за посадкой и высадкой пассажиров.

— Что за козни он замышляет, зачем это он поехал? Сказал, что вернется завтра? Значит, только до Эспланады, в Салвадор ему не успеть. Он сбит с толку. Думал, что избрание будет легким, а после митинга у него поник гребешок.

— И все-таки я думаю, он будет избран,— высказывает соображение сборщик налогов.— Я не отрицаю престижа команданте, но знаете, как бывает в таких случаях... Асканио уже в префектуре, и, что важ-

нее всего, он — человек полковника Артура... А у кого действительно авторитет, так это у полковника.

— Он был человеком полковника, но уже не является таковым. Кто не знает, что полковник отказался поддержать кандидатуру доктора Диоксида?

— Доктор Диоксид, это уж слишком...— ухмыляется Шалита.

— Скажите, сеу Эдмундо, не из великодушия ли Модесто Пирес возглавил подписной лист, который и вы подписали? Или это после того, как ваш кандидат вернулся из Тапитанги с поджатым хвостом и опущенными ушами? Знаете, что ответил полковник, когда Асканио попросил у него денег на избирательную кампанию? Пусть обращается в «Бразтанио». Не станете же вы меня уверять, будто не знали об этом.

— Да, знал, дона Кармозина. Но в настоящее время столько говорят разных вещей, мы не можем верить всему так просто. Вполне возможно, полковник отказал Асканио в помощи, старик выжил из ума, становится все более скупым. Но верно и то, что он никого не призывал не голосовать за Асканио. Разве не так?

— От тех, кто побывал у него, известно, что полковник Артур говорит: каждый волен голосовать за кого хочет, как совесть подскажет. Вовсе он не выжил из ума и не по скупости не откликнулся на просьбу о деньгах. Я вам скажу больше — полковник не берется отстаивать кандидатуру команданте только потому, что ему жалко крестника. В Росинье считали, что Асканио, как будет избран, станет скупать земли муниципия по самой высокой цене. А узнав, что он намеревается экспроприировать участки кокосовой рощи, обозлились. Вы ведь знаете, Тиета ходит, агитируя, из дома в дом? На этой неделе мы устроим митинг в Росинье, она будет говорить.

— Нет сомнения...— признает сборщик налогов.— Дона Антониета — крупный козырь, только ее и боятся. Команданте, видимо, стал кандидатом против желания, под нажимом, и я знаю, под чьим...

— Моим, наверное, не так ли? Представьте, ваши подозрения оказывают мне большую честь.

— Бедняга, ездит отдыхать в Манге-Сэко. Как раз сейчас он на побережье, не так ли?

— Хочет обеспечить голоса тамошних жителей. Скоро вернется.

— Жителей Манге-Сэко? Их же не больше дюжины... Вот Тиета может нарушить баланс, если останется в Агресте до конца... А вообще-то пикантно — она выступает против кандидатуры Асканио, но, похоже, вместе с тем не противится его ухаживанию за падчерицей. Впрочем, Кармозина, что касается ухаживаний, он — мастер, перед ним надо снимать шляпу...

Дона Кармозина уклоняется от ответа, личная жизнь Асканио не подлежит обсуждению, Леонора — замечательное создание.

В группе, тщательно подобранной, выделяется элегантностью, осанкой длинноногая и стройная девушка. Более чем стройная, худенькая, похожая на манекенщицу, дефилирующую в салоне de haute-couture [1], как раз по вкусу магната Анжело Барди. Группа созвана специально для него; администрация «Убежища лордов», учитывая вкусы традиционных клиентов, завсегдатаев и патронов заведения, старается удовлетворить их прихоти. Доктор Мирко Стефано с радостью констатирует присутствие кудрявой рыжей девушки, она выглядит забавно, похожа на Бети; на предыдущей встрече Его превосходительство конфисковал ее, оставив Милейшего Доктора с носом. Не был забыт и Старый Парламентарий: ему предложена гурия с лицом и манерой держаться настолько невинными, что в иных случаях она с успехом сходила за девственницу. Как знак особого внимания новичку (в отношении которого была рекомендована высшая почтительность)

[1] Салон изящных мод *(франц.)*.

управляющая, не зная его склонностей, выделила трех девиц различного типа, но всех высшего разряда, il n'aura que l'embarras du choix [1].

Поглядывая искоса на весьма легко одетых девушек, мужчина со строгой выправкой, впервые попавший в такую обстановку, старается преодолеть неловкость. Он посещал публичные дома только в юности, однажды во время праздника побывал в доме свиданий в районе Ботафого в Рио-де-Жанейро, потом женился. Сейчас он не подвергается опасности быть узнанным, здесь он инкогнито и в штатском, анонимный партнер, с друзьями принимающий участие в веселой программе. Обслуживающей его рыжей девушке он, отводя зачарованный взгляд, заявляет:

— Я хочу виски с гуараной.

С гуараной? Наступило удивленное молчание. Худышка рядом с Барди еле удерживается от смеха. Виски этой марки — дорогое, драгоценное, в Сан-Пауло его подают только в Жокей-клубе и в «Убежище лордов». В Англии его пьют чистым, без льда. Но Старый Парламентарий, лорд по духу, с британской флегмой и неустрашимой лестью поддерживает:

— Виски с гуараной по-бразильски очень в моде. Я тоже хочу.

«На вкус и цвет товарищей нет»,— думает управляющая. Придя в себя от подобного кощунства, она подавляет отвращение и приказывает:

— Гуарану, быстро!

Доктор Анжело Барди меняет тему, спросив, есть ли новости от его дорогой подруги, которую он не видит уже довольно давно:

— Наша дорогая мадам Антуанет все еще отсутствует?

— Она во Франции. Уже собиралась возвращаться, как умер ее отец, генерал. Сердце, бедняга.

— Генерал? — Человек со строгой выправкой, поглядывающий на девушек украдкой, преодолев стеснение, проявляет внезапный интерес.

— Мадам Антуанет — дочь французского генерала и уроженки Мартиники...— Управляющая повторяет классическую информацию с видом учительницы истории, ведущей урок.

— Как это? — изумляется тот, что со строгой выправкой.

— Как императрица Жозефина, супруга Наполеона Бонапарта,— поясняет Милейший Доктор.

— А! Историческая фигура. Очень интересно.— Усаживается поудобнее и наливает в бокал побольше гуараны.

— Хотите еще чего-нибудь? — Получив отрицательный ответ, управляющая командует: — Идемте, девочки! — Она шествует впереди своего элегантного взвода.

Старый Парламентарий ставит бокал.

— Итак, мы одержали победу. Далась она нам нелегко, понадобилось немало ловкости, ведь дело взрывчатое. Я это говорю не для того, чтобы набить цену, но... не будь заключения присутствующего здесь друга... Упрямая публика морщила нос, баиянские власти не сдавались: где угодно, только не в Аремберпе, и твердо стояли на своем. Но в конце концов отступили перед доказательствами, представленными нашим уважаемым покровителем.

— Прогресс — главный аргумент, а не какие-то сентиментальные доводы вроде выбора места для размещения заводов. Я побывал там лично, установил абсурдность утверждений оппонентов, мое заключение основывается на точном знании дела. Я вкратце введу вас в курс моих соображений и выводов.— Уважаемый покровитель прочищает горло большим глотком виски с гуараной.

Он, не дожидаясь согласия, начал краткое сообщение, по сути почти доклад. Анжело Барди слушает с полузакрытыми глазами, каж-

---

[1] У него будет лишь затруднение с выбором *(франц.)*.

дое слово — на вес золота. Старый Парламентарий, казалось, упивается фразами докладчика, то и дело соглашается с ним, кивая головой. Милейший Доктор слушает внимательно, на лице его написано: какой грех совершил он, чтобы заслужить это наказание? Никто не посмел прервать оратора.

В Салвадоре в этот час Розалво Лусена, сидя в кабинете секретаря, получает хорошее известие: новые исследования, проведенные на должном уровне, привели к пересмотру проблемы. Могущественные причины экономического, социального и политического характера обусловливают расположение производства диоксида титана в Аремберпе, правительству штата пришлось совершить полуоборот — уступить, удовлетворить ходатайство «Бразтанио».

В «Убежище лордов», как только замолкает властный металлический голос, магнат Барди аплодирует:

— Хорошо еще, что у нас есть дальновидные государственные деятели, которые могут заставить местные власти подчиниться высшим соображениям, продиктованным национальными интересами, подавляя предрассудки, справляясь с подрывной деятельностью. Поздравляю вас, мой прославленный друг.

Старый Парламентарий отставляет бокал виски с гуараной, этой ужасной смесью.

— Дорогой Барди, последний вопрос, прежде чем мы расстанемся. Когда состоится собрание по расширению состава правления «Бразтанио»?

— Сразу же. Мы будем в Салвадоре завтра, немедленно распорядимся опубликовать извещение о созыве собрания.— Он обращается к автору доклада, наслаждающемуся виски с гуараной: — Нам будет очень приятно включить в состав правления «Бразтанио» доктора Жилдо Вериссимо, о способностях которого мы располагаем наилучшими отзывами...

— Не потому, что он мой зять...— соглашается прославленный друг,— но он действительно весьма компетентен. Он вам будет полезен.

— Ну, значит, мы обо всем договорились,— заключает Старый Парламентарий.

Ни разу доктор Мирко Стефано не вспомнил про Агресте и Манге-Сэко, не подумал об Асканио Триндаде. Для него Агресте и его бедные, убогие люди канули в Лету.

На митинг, состоявшийся на следующий день после конфликта, на площади собралось много народа. Поэт Барбоза занял трибуну первым, сыграв на струнах гражданской доблести и негодования своей патриотической и обвиняющей лиры. Он заслужил аплодисменты.

Выступившая впервые на митинге дона Кармозина пользовалась успехом. Без конца прерываемая репликами Асканио, она, невоздержанная на язык, дерзкая, завоевала преимущество в споре. Единственный раз, когда ее перебили, дона Кармозина разволновалась, даже потеряла равновесие — это была скорее констатация, чем полемическая реплика, и исходила она не от Асканио, а от Козлиного Духа, который еле держался на ногах: настолько оказался пьян. Услышав, как дона Кармозина заявила, что говорит «от имени матерей, озабоченных будущим своих сыновей и мужей», нищий заявил:

— Э! Нет... Ехидная старая дева не имеет права говорить от имени замужних женщин.

Протест вызвал смех аудитории, состоящей из слушателей, интересовавшихся больше обменом репликами и оскорблениями, чем обсуждением важных дел — насчет проблемы загрязнения окружающей среды и степени опасности отходов производства диоксида титана, сведений, которыми с очевидной компетенцией оперировала дона Кармозина.

Этот митинг — новость для города, где выборы проходили обычно без предварительной агитации и пропаганды, так как избирателям было достаточно указаний полковника Артура де Фигейредо. Митинг превратился в праздник и прошел с таким успехом, что здесь же Асканио Триндаде решил собрать народ в следующую субботу на Рыночной площади — на самом деле она именуется площадью Полковника Франсиско Триндаде, в честь его деда, деятельного интенданта,— чтобы обеспечить поддержку еще и посетителей ярмарки. Для организации митинга, на транспаранты, листовки, чтобы противостоять кампании команданте, нужны были деньги. Но он считал эту проблему легко преодолимой, поскольку являлся кандидатом полковника. Крестный никогда ему не отказывал. Однако на этот раз отказал, как уже известно, вынудив его обратиться к «Бразтанио». Асканио поехал в Эспланаду, чтобы оттуда позвонить Милейшему Доктору.

Команданте перед окончанием митинга представил свою избирательную платформу. Он не допускал реплик, опасаясь потерять нить импровизированного выступления, выученного с большим трудом наизусть. Он провел ночи без сна, декламируя под наблюдением и при одобрении доны Лауры отдельные части своей речи. Он заявил, что жертвует покоем и отдыхом, на которые имел право в конце жизни, отдых посвящает родине *(аплодисменты)*, снова надевает славную форму военно-морского флота *(повторные аплодисменты)*, чтобы стать на службу народу Агреста *(громкие аплодисменты)*. Даже находясь на трибуне в штатской одежде, он мысленно блистал в военной форме, готов был оказаться на передовой борьбы *(бурные аплодисменты,* крики: *«Браво!», «Очень хорошо!»)*. Его обвинили в том, что он якобы враг прогресса,— это подлая клевета. «Против лжепрогресса—да; против того, что не идет на благо общества, загрязняет и заражает окружающую среду и вместе с тем набивает карманы промышленников смерти,— да» (выкрики: *«Поддерживаем!» и «Не поддерживаем!», «Бразтанио» воскресит Агресте!»)*. Но он с энтузиазмом приветствует подлинный прогресс, тот, который благоприятствовал не полудюжине мошенников, а всему народу, прогресс, символизируемый фонарями гидроэлектростанции Сан-Франсиско *(бурные аплодисменты)*, завоевание, которым «мы обязаны исключительно нашей достойной и влиятельной землячке доне Антониете Эстевес Кантарелли, нашей дорогой Тиете» *(аплодисменты, крики: «Браво!», «Да здравствует Тиета!», овация заглушает последние слова оратора). Апофеоз.*

В нестерпимую полуденную жару «маринети» остановился на дороге из-за какой-то неисправности, пассажиры томятся в ожидании, пока заведется мотор. Падре Мариано уводит Асканио в тень автобуса, пот стекает на сутану (он не приемлет современной моды — брюк и спортивной рубашки, столь популярных у священников столицы штата).

— Не знаю, мой Асканио... эти выборы — лотерея. Если бы полковник Артур приложил усилия, была бы схватка гигантов: он — с одной стороны дона Антониета — с другой. Но наша комендадорша учла и это — устранила полковника из состязания. Как только ей удалось? — Он сочувственно покачал головой, чтобы не сказать, что кандидатура Асканио обречена на провал.— Разговаривая с помощником епископа о новой проводке электрического освещения в Главной церкви, я не преминул заметить — в Агресте появилась святая собственной персоной, она творит чудеса.

У Асканио комок в горле, он не может возразить, ведь речь идет о мачехе Леоноры. Святая? Дьявол собственной персоной, заклятый противник его кандидатуры на пост префекта, враг его личных планов — помолвки и женитьбы. Как только он затрагивает этот последний вопрос, Леонора меняет тему, уклоняется от ответа, отделываясь молчанием. Сомневаться в любви девушки невозможно, она дала ему

самое верное доказательство. Что могло бы случиться, если не категорическое несогласие мачехи, желающей брака с миллионером, достойного падчерицы? Тиета стала кошмаром для Асканио, темной силой, дьяволом, препятствующим любым его начинаниям. Два дня назад Вадеко Роза, владелец нескольких десятков голосов, раздраженно почесывая голову, сообщил:

— По-моему, кандидат должен иметь поручителя с весом, как полковник Артур или дона Антониета. Представьте поручительство полковника или доны Тиеты, и вы получите мои голоса.

Заклятый враг, дьявол, темная сила, кошмар Асканио, комендадорша, святая, поручительство команданте... Разговор падре Мариано усугубляет озабоченность кандидата. Он возвращается из Эспланады обескураженный и встревоженный. Однажды ему довелось испытать подобное — с ним плохо обошлись, оскорбили, унизили, отнеслись с пренебрежением, это случилось в Пауло-Афонсо, куда он ездил бороться за проводку линии от гидроэлектростанции. Важные лица обращались тогда с ним пренебрежительно, насмехались над ним. Впоследствии же дона Антониета разрешила дело с помощью двух телеграмм. Вечно она.

Теперь еще хуже. Он возвращается не только удрученный, но устрашенный, охваченный сомнениями. Ничего конкретного, но ему не понравилось обхождение чиновников «Бразтанио» по телефону. Больше всего его удивила Бети, любезная, рассыпающая шуточки при первом вызове накануне. Далекая, сухая и торопящаяся теперь, когда он снова позвонил ей. Он заподозрил недоброе.

Четыре раза звонил он в Салвадор, пытаясь поговорить с Милейшим Доктором, доложить о сложившейся ситуации, о предвыборной борьбе, о необходимости помощи со стороны «Бразтанио». Возможно, доктор Мирко уже в курсе дела, «Тарде» сообщила о выдвижении кандидатуры команданте. «Доктор в отсутствии»,— сказали ему накануне и соединили с Бети. Ответственный секретарь подтвердила известие — Милейший Доктор в Сан-Пауло, но он вернется в Салвадор вечером. Она предложила ему позвонить на следующий день. Обольстительница, с голосом девицы легкого поведения, она называла его «желанным», спрашивала, как поживает «красавчик», «красавчик» — это Оснар. А ведь до сих пор все шло хорошо.

На следующий день, то есть сегодня утром, Асканио позвонил сначала в отель и, назвав себя, узнал, что доктор Стефано действительно вернулся из поездки накануне вечером, но рано уехал в контору. Тогда он позвонил в «Бразтанио» — каждый вызов означал абсурдную потерю времени, бесконечное ожидание, к счастью, телефонистка Эспланады проявила доброжелательность. Он попросил соединить его с доктором Мирко Стефано: «Я, Асканио Триндаде из Сант' Аны-до-Агресте, звоню из Эспланады». Ему ответили, что соединят с кабинетом Доктора: «Минуточку!» Минуточка обернулась несколькими минутами. Асканио торопился, он боялся, что связь разъединят. Наконец послышался снова чей-то неизвестный голос: «Доктор Стефано отсутствует, он в поездке, когда вернется — неизвестно». Асканио захотел поговорить с Бети — новая задержка, прежде чем голос объявил: «Секретарь занята, не может подойти в данный момент». Полчаса спустя Асканио сумел настоять, после многочисленных просьб его соединили с Бети, которая ответила нетерпеливо и грубо: «Доктор Мирко все еще в Сан-Пауло».— «Как же так — в отеле сообщили, что он прибыл накануне вечером?» — «В конторе ничего об этом не известно, здесь он не появлялся, и его не ждут».— «Стоит ли позвонить снова, попозже?» — «Сегодня, конечно, нет». Почему он не напишет письмо и не отправит по почте? Дело срочное и важное? Она ничем не может помочь и вынуждена прекратить разговор, у нее нет времени. Он пытается задержать ее: «Послушайте, Бети, пожалуйста...» Торопясь,

она даже не дослушала фразу, положила трубку. Все это показалось ему странным, произвело неприятное впечатление, он подавлен. Написал письмо с просьбой срочно ответить, опустил в почтовый ящик.

В этот день «маринети» останавливался из-за поломок трижды. Жаиро использовал весь запас выразительных средств — от самых нежных прозвищ до самых грубых ругательств. Они прибыли в Агресте к вечеру. Шалита встретил их печальной новостью — умер старый Жардо Антунес. Он лег после обеда, закрыл глаза и больше не открыл их.

— Когда спохватились, тело было уже холодным. Бдение у гроба состоится там же, в пансионе Аморзиньо.

Прежде чем появиться на бдении, он хотел принять ванну. Сидя на пороге и покуривая трубку, Рафа сообщает:

— В доме кто-то есть.

— В доме? Кто?

— Одна особа. Она там, внутри.

Леонора? Кто может быть, кроме нее?

Вот уже несколько дней Леонора пытается убедить его встретиться у него дома ей, вне сомнения, надоели неосторожные и неудобные ночные свидания в овраге у реки. Но Асканио хочет, чтобы любимая переступила порог традиционной семейной резиденции в качестве сеньоры Асканио Триндаде среди бела дня, придя от алтаря, став его законной супругой. Он хочет, чтобы на эту кровать, где спали его родители, она легла, когда законы людей и бога освятят их отношения.

Но вот Леонора поставила его перед свершившимся фактом. Поднявшись с кровати, на которой она расположилась, девушка бросается ему на шею, ждет поцелуя:

— Автобус запоздал, Мамочка отправилась на бдение у гроба, а я пришла подождать тебя здесь. Если поступила дурно, прости меня. Я умираю от тоски, любимый.

— Я тоже. Вернулся позже. Но ты не...

— Что с тобой? — Она прерывает порицание поцелуем.

Поцелуи повторяются — более долгие, более горячие. Асканио чувствует, как тело Леоноры вздрагивает, прильнув к нему. Он хотел бы принять ванну, смыть дорожную пыль, снять раздражение, но она тянет его к постели, ласкает усталое лицо Асканио.

— Ты грустен, любовь моя? Не удалось добиться того, что ты хотел?

Асканио положил голову на плечо Леоноры:

— Мне не пришлось поговорить с доктором Мирко. Его нет в Салвадоре, по крайней мере так мне сказали. Что-то путаное, все это меня очень расстроило.

Более чем расстроило — он оскорблен, опечален, пал духом. Леонора покрывает лицо его поцелуями, стараясь подбодрить, Асканио берет руки девушки:

— Ты у меня одна на свете, Нора. Никого больше у меня нет.

Трогая ее пальцы, он вспоминает о кольце, подарке «Бразтанио» в те веселые дни близости и доверия между ним и директором Компании. Оно осталось в кармане другого костюма, он пошел за ним.

— Я хочу подарить тебе кое-что...

Он думал преподнести обручальное кольцо на праздничной церемонии в присутствии мачехи, родных и некоторых друзей, попросив руки Леоноры. Но сейчас решил отступить от протокола. Чтобы иметь право входить в этот дом, Леонора должна быть по крайней мере его невестой. Кроме того, он заслуживает радости, которая компенсировала бы пренебрежение, выказанное чиновниками «Бразтанио».

Он надевает кольцо на безымянный палец правой руки Леоноры, палец, предназначенный для обручального кольца. Второй раз в жизни он совершает этот жест любви и долга. В первый раз он вручил

кольцо и доверие, обещание и сердце недостойной невесте. Сломленный изменой, умерший для любви, он дорого заплатил за ошибку. Но в один прекрасный день случилось невозможное: из «маринети» Жаиро вышла самая прекрасная и чистая из женщин, та, которая с этого дня становится его нареченной.

— Я привез это кольцо из Салвадора, обручальное кольцо. Чтобы вручить его тебе в неповторимый день, но я не знаю, как поговорить об этом с твоей мачехой. Скажи мне, Нора, ты хочешь выйти за меня замуж?

Глаза Леоноры прикованы к кольцу, старинной драгоценности, отлично выглядящей на ее пальце. Бедняга Асканио, он считает ее девушкой из приличной семьи. Во что обойдется ему подарок? Подавленный голос, почти шепот:

— Не говори об этом...

— О чем?

— О помолвке, о женитьбе. Разве не достаточно того, что я твоя?

Асканио бледнеет, дрожащая рука его отпускает руку девушки:

— Ты не согласна? Я должен был предвидеть. Такой богатой, как ты, зачем выходить за меня замуж?

— Я тебя люблю, Асканио. Ты все для меня. Я никогда не любила никого прежде. Другие, которых я знала, были моими ошибками.

— Я так и думал. Но тогда почему же ты отказываешься?

— Я не могу выйти за тебя замуж. Есть причины...

— Это то, что ты слаба грудью? В здешнем климате ты быстро вылечишься.

— Нет, я не больна, но и не могу...

— Догадываюсь. Потому что она не позволяет, правда? Как это, будучи такой важной особой, она позволит падчерице выйти замуж за босяка, да еще к тому же осмеливающегося иметь собственное мнение...

— Мамочка тут ни при чем.

— Тогда почему же?

Леонора закрывает лицо руками, сдерживая слезы. Асканио охватывает раздражение, лицо сводит судорогой, сердце ранено:

— Бедняга из сертана, у которого нет ни кола ни двора... Он хорош для приключения на отдыхе, не больше. Для замужества есть богачи в Сан-Пауло.

— Ничего подобного, любимый, не будь несправедливым. Я тебя люблю, с ума схожу по тебе. Хочешь, я буду твоей любовницей или служанкой? Это возможно. Но твоей женой — нет.

— Почему, черт возьми?

— Я не могу поделиться, это не только моя тайна...

Асканио снова берет ее руку, гладит по голове, целует влажные глаза:

— Ты не доверяешь мне? Даже в этом? Разве я не доказал, как люблю тебя? Когда я узнал, что произошло у тебя с другим...

— Все это ложь, любовь моя. Правда...

— Скажи, доверься мне.

— Я не богата, не дочь комендадора, не падчерица Мамочки.

— Хм? Кто же ты тогда?

Рыдая, она рассказывает все. Нищий квартал, дом, населенный беднотой, голод, грязь, панель, «Убежище». Асканио отстраняется, встает — маска ужаса и смерти,— как мог он быть таким болваном! Он слушает, ошеломленный. Хуже, чем в первый раз, когда узнал об измене. Грязь разливается по комнате, топит постель, вырастает в огромную волну, захлестывающую его. Рот ее, который он воображал таким чистым, невинным, источает гной.

Леонора в конце концов умолкает. Поднимает на Асканио молящие глаза, готовая снова предложить себя в любовницы, в служанки. Но из уст Асканио вырывается мучительный рев загнанного, смер-

тельно раненного животного. Леонора понимает, что всему конец,— на лице любовника она видит лишь ненависть и отвращение. Палец указывает на улицу:

— Вон отсюда, шлюха! Твое место на улице, охоться там за мужчинами.

Когда Леонора проходит, рыдая как помешанная, и пропадает в ночи, Рафа, даже ничего не слыхав из того, что говорилось в доме, плюет черной слюной:

— Грязная сука!

Много народа собралось на отпевание Жарде, но не хватает оживления, какое обычно бывает на траурной церемонии. Несмотря на качество солений и сладостей, приготовленных доной Аморзиньо, большое количество кашасы и пива, которые Жозефа, вдова покойного, велела принести из бара, атмосфера в доме вялая. Оживления не чувствуется ни среди собравшихся в передней зале, где покоится тело, ни среди стоящих на тротуаре. В пресных разговорах преобладают серьезные темы. Тиета беседует с падре Мариано, который расспрашивает о Рикардо. «Он в Сан-Кристоване, во францисканском монастыре, по приглашению брата Тимотео? Ваш племянник, моя дорогая дона Антониета, станет светочем церкви. С божьей помощью, располагая примером матери, наставлениями брата Тимотео и щедростью тети». Преподобный пользуется случаем, чтобы расхвалить достойную прихожанку, окружая ее изящную головку нимбом святой: опора церкви, символ выдающихся достоинств. Окутанная похвалами, словно туникой, Тиета скромно улыбается. Ах! Если бы падре знал, какие примеры поданы Рикардо матерью, какие доблести внушены тетей! Хорошо еще, остаются ему божья помощь и наставления брата Тимотео.

Оснар старается поднять атмосферу бдения, прославляя, как положено, покойного. В гробу худое тело Жарде с восковым лицом. Сидя около гроба на стуле, Жозефа принимает соболезнования.

Слышатся девять ударов колокола, гаснет свет в фонарях, замолкает неровный шум движка. Кончается день семейных очагов, начинается ночь распутства. Дона Аморзиньо зажигает свечи. Из темноты появляется фигура — пьяный, больной, сумасшедший?

Даже в темноте все немедленно отмечают, в каком волнении и смятении находится Асканио Триндаде.

— Что с вами, капитан Асканио?

Капитан утренней зари из поэмы Барбозы входит в залу с искаженным лицом, с безумными глазами. Он отыскивает Тиету, стоящую рядом с падре, простирает руку, чтобы указать на нее, хрипло, с трудом выкрикивает ужасным, загробным голосом:

— Вы знаете, кто она? Вы думаете, она — вдова, владелица фабрик, мать семьи? Она всего лишь содержательница публичного дома в Сан-Паулу, этим живет. Рассказала мне все другая. Я попросил ее руки, она мне ответила: не могу, я проститутка. Она занимается своим ремеслом в доме свиданий этой отвратительной особы, которую принимают здесь за святую. Две шлюхи и один шут!

Усевшись в катер Элиезера, Тиета требует, чтобы он поторопился. Лунный свет отражается в водах реки. Тиета наклоняется вперед, как будто так она сможет придать моторке большую скорость.

Пето на площади указал ей, куда направилась Леонора. Кузина почти не могла говорить, она шла вся в слезах, послала его найти Пирику, уехала раньше, должно быть, уже прибыла в Манге-Сэко.

Элиезер показал Тиете огонек на реке, слышен далекий шум, это возвращается катер Пирики.

— Где Леонора?

— Там. Я спросил, хочет ли она, чтобы я подождал, она отказа-

лась — нет, она останется, пробудет в Манге-Сэко несколько дней. Что с ней случилось? Она без конца плачет, сердце прямо разрывается.

Элиезер причалил лодку к песчаному берегу Манге-Сэко, он помогает Тиете высадиться. При свете луны они замечают группу в конце пляжа, у подножия огромных холмов. Ночь бесподобно мягка и прекрасна, воды спокойны. Тиета бежит, за нею следует Элиезер.

Жонас, обернувшись, говорит:

— Она бросилась с высокого берега — как поднялась туда, никто не заметил. К счастью для нее, Даниэл и Будиан как раз вышли на рыбную ловлю. Услышали падение тела в воду. Будиан втащил ее в лодку.

— Идиотка!

Леонора узнала голос:

— Прости меня, Мамочка. Скажи им, чтобы они меня отпустили, я хочу умереть, никто не сможет мне помешать.

Тиета становится на колени, приподнимает голову Леоноры и бьет ее по щекам. Тяжелой рукой со злостью ударяет ее по одной, по другой щеке, рыбаки не вмешиваются, не останавливают ее. Леонора даже не защищается. По берегу бежит команданте Дарио, которому только что сообщили о происшествии. Тиета приостанавливает наказание, пытается поднять свою подопечную:

— Поехали.

— Что случилось, Тиета? Что произошло? — Команданте помогает поставить девушку на ноги.

— Нора поссорилась с Асканио, пыталась утопиться,— она протягивает руку на прощание.— Передайте доне Лауре, команданте, что я прощаюсь с ней.

— Прощаетесь? Почему?

— Я возвращаюсь завтра в Сан-Пауло.

— А как же кампания, Тиета? Вы что же, покинете нас?

— Я уже не смогу быть вам полезной, команданте. Но двигайте барку вперед, спасайте крабов, если сможете.

В лодке Тиета предупреждает Леонору:

— Если заговоришь еще раз о смерти, я тебя изобью.

Манге-Сэко теряется из виду — вода и песок, залитые лунным светом. Тиета погружена в размышления, глаза ее сухи.

Через щели жалюзи кое-кто наблюдает за двумя женщинами, пришедшими из гавани. Дона Эдна, например. Но в доме Перпетуи двери и окна заперты. На тротуаре — выброшенные чемоданы, сумки и баулы Тиеты и Леоноры.

Дона Милу и дона Кармозина опекают Леонору, переодевают ее, заставляют улечься. В доме старой акушерки слышится кипение на огне снадобий и лекарств — отвар из трав для успокоения нервов, гоголь-моголь, чтобы разогреть тело и восстановить силы. Приходит Сабино с сумками и небольшими баулами, более крупный багаж отнесен для погрузки в «маринети», прямо в гараж.

Тиета объявляет:

— Я схожу туда, сейчас же вернусь.

Дона Милу проявляет озабоченность:

— Туда, куда же это? Что ты собираешься делать?

— Не бойтесь, мама Милу, я не собираюсь ни на кого нападать.

В домах, казавшихся заснувшими, жители бодрствуют, внимательно следят за тем, что происходит на улице. Лучи света пробиваются через щели и глазки дверей. На улицу доносится то или иное слово, сказанное громким голосом. Даже бдение у гроба Жарде оживилось. Споры в переполненном баре. Горький тон в голосе Оснара:

— Завод еще не построили, а уже все отравлено.

Окна приоткрываются, как только мимо проходит Тиета. Она пересекает город, входит в переулки, идет к оврагам у реки, не торо-

пится, возможно, прощается. Прощается и кое-кого приманивает, она расхаживает не случайно. У мадам Антуанет своя цель.

— Говорят, что ее бизнес — пансион для шлюх.— Астерио приходит в неурочное время из бара, удрав оттуда.

Элиза поднимается в постели, груди ее виднеются в разрезе прозрачной ночной рубашки, унаследованной от Тиеты, ягодицы наполовину на виду. Астерио отводит взор. Вечер ужасных новостей, волнения и позора — в этом вечере нет места честным супружеским намерениям, тем более развратным мыслям.

— Ложь! Пансион для шлюх?

— Именно: публичный дом, дом свиданий.

— Что ты еще узнал?

— Они обе находятся в доме Кармозины. Уезжают завтра в Сан-Пауло.

— Что? Тиета уезжает завтра в Сан-Пауло?

Соскочив с кровати, она надевает пеньюар, тоже унаследованный от Тиеты, сандалии и направляется решительно к двери. Астерио сначала разволновался, потом растрогался: Элиза намерена проститься с сестрой, закрыв на все глаза; они многим ей обязаны, пусть сплетники чешут языки. Он тоже хочет проститься с Тиетой. Кем бы она ни была, она не перестает быть доброй сестрой, щедрой родственницей.

— Ты идешь повидаться с ней? Я тоже пойду.

Элиза оборачивается от двери:

— Я уезжаю с ней.

— Уезжаешь с ней? В Сан-Пауло? — Он не понимает.

Элиза, не отвечая, исчезает, дом доны Милу находится рядом. Когда она замечает, что Астерио следует за ней, она ускоряет шаг. Бежит, заметив Тиету, подходящую с улицы, кричит:

— Тиета! Сестра!

Тиета ожидает у двери, недвижимая, с угрюмым выражением лица, холодным, отсутствующим взглядом. Элиза протягивает руки, умоляет:

— Возьми меня с собой, сестра, не оставляй меня здесь...

— Я тебе уже сказала...

— Я хочу быть в твоем пансионе в Сан-Пауло. Мне наплевать на все!

Астерио слышит, пораженный, у него колики в животе, острая боль. Тиета переводит взор с сестры на шурина, она относится с симпатией к этому дурню:

— Позаботься о своей жене, Астерио, направь ее на путь истинный, заставь уважать себя. Однажды я уже сказала тебе, что ты должен сделать. Почему ты не послушался?

— Сестра, ради бога, не оставляй меня здесь! — Элиза опускается на колени перед Тиетой.

— Уведи ее и сделай то, что я тебе советовала, Астерио. Сейчас или никогда.— На мгновение она устремляет взор на сестру и ощущает жалость к ней.— Дом остается у вас. Если что понадобится, вам стоит лишь сказать мне.

Элиза теряет остатки достоинства, уже не сдерживается:

— Увези меня, Мамочка, возьми в свой публичный дом.

Тиета смотрит на шурина: ну так как? Астерио наконец поборол нерешительность, боль в животе, предрассудки, пелена спадает с глаз, он хватает жену за руку:

— Вставай! Пойдем!

— Пусти меня!

— Вставай! Ты что, не слышала?

Ударяет ее по лицу. Тиета одобряет его кивком головы.

— Спасибо, свояченица, за все. До свидания.

Он подталкивает растерянную Элизу к дому, одному из лучших в городе, приобретенному Тиетой, чтобы в один прекрасный день при-

ехать сюда и спокойно дожидаться смерти. Теперь этот дом предоставлен в распоряжение сестры и шурина, они будут в нем жить.

Наконец, они добираются до спальни. Элиза пытается ускользнуть.

— Не трогай меня.

Пощечина валит ее на кровать. Рука Астерио срывает нейлон.

— Хочешь быть шлюхой, не так ли? Так вот ты станешь ею.

Дрожь охватывает Элизу. Она широко открывает глаза. Отвращение, страх, ужас, любопытство, ожидание? Героиня радионовеллы, волнуемая противоречивыми переживаниями.

Тиета только что улеглась, когда испуганный поэт Барбоза стучится в дверь дома доны Милу и объявляет:

— Мир вам!

Мир и дружба. Тиета выходит из комнаты для гостей, где Леонора уснула под действием снотворного. Барбоза берет руку Тиеты и подносит ее к губам. Он растроган. Хрипловатый голос, еще более хриплый, чем когда-либо:

— Я узнал, что ты собираешься завтра уехать. Это правда?

— Завтра, в Сан-Пауло.

— Из-за того, что здесь болтают? Уезжай, если хочешь. Но если пожелаешь остаться и оказать мне честь...

— Какую честь, Барбоза?

— Стать сеньорой Грегорио Мелшиадес де Матос Барбоза...

— Ты хочешь на мне жениться? Чтобы вытащить меня из грязи?

— Я, конечно, уже не тот парень, каким был в свое время, скелет поизносился, но у меня уважаемое имя...

— ...и ты еще танцуешь танго, как никто другой...

Тиета смеется, заливается хорошим, веселым смехом, полным искреннего удовольствия, смехом, который наполняет глаза слезами.

— Сейчас это не получится, мой поэт. Я тебя слишком уважаю, чтобы видеть рогатым, тебе это не пойдет. Когда я стану старушкой, то вернусь навсегда, и мы поженимся. Береги свой скелет до тех пор и пиши для меня стихи.

Она целует его в обе щеки и позволяет себе, наконец, расплакаться.

— Хорош аппарат! — хвалит араб Шалита.— Годы идут, а ему все нипочем.

Он говорит о радиоприемнике, звучащем ранним утром, когда люди едва просыпаются. Напротив кинотеатра Жаиро с помощью Сабино налаживает мотор «маринети», пока соберутся пассажиры: отправление строго по расписанию. Довольный похвалой, он усаживается за руль.

— Мне уже предлагали в обмен новый, японский. Я отказался.

Работает популярная радиостанция столицы штата, диктор «Большой утренней радиогазеты» привлекает внимание слушателей к важному сообщению, которое будет передано после рекламных объявлений. Слышимость превосходная, без помех, подтверждает похвалы Шалиты. К слушающим присоединяется доктор Франклин Линс с полотенцем через плечо. Ежедневно в этот час, перед отправлением «маринети», нотариус купается в реке.

Звучит хорошо поставленный голос радиодиктора: «Внимание! Вчера во второй половине дня акционерному обществу «Бразильская компания титана» — «Бразтанио» выдано официальное разрешение на строительство в Аремберпе промышленного комплекса из двух заводов, производящих диоксид титана. С целью осуществления в самый короткий срок этого проекта работы практически будут начаты немедленно на обширной территории, заблаговременно приобретенной компанией». Серия ворвавшихся в эфир сильных атмосферных разрядов как бы приветствует сообщение.

— Вы слышали? — спросил доктор Франклин.

— Это ведь те заводы, которые Асканио хотел притащить в Манге-Сэко? — вспыхивает глаз араба. Как будто недостаточно вчерашних событий, теперь еще эта новость. День предвещает быть горячим.

— Вы хотите сказать, что этого производства здесь уже не будет? — Жаиро приостанавливает проверку мотора «маринети».

— Завод будет построен в Арембепе, совсем близко от столицы штата, разве вы не поняли? Это одно из известных мест,— объясняет нотариус. Он вздыхает, поправляет полотенце на плече: — Теперь мы снова можем свободно дышать...— Он закуривает сигарету и направляется с блаженным видом к реке.

День неудачный, пассажиров мало. Тиета прощается с доной Кармозиной:

— Прости за ложь, Кармо.

С опущенной головой, с мокрым от слез платком в руке, Леонора скрывается внутри «маринети» и опускается на скамью.

Прибежав с площади Главной церкви, появляется Пето, он несет посох старого Зе Эстевеса, наследство Тиеты.

— Ты забыла посох, тетя.— Понизив голос, он добавляет:— Я буду скучать по тебе.— Он поднимается в автобус поговорить с Леонорой, что вызывает у той сдавленные рыдания.— Прощай, кузина!

Пето несется домой, оставив по себе память искренней любезностью и запахом брильянтина.

Держа в руке посох, пастушка коз Тиета садится рядом с Леонорой. Она дает ей выплакаться, еще рано заводить разговор. Жаиро собирает с пассажиров плату за проезд. Тиета платит за троих:

— За нас двоих и за ту козочку там, позади.

Она указывает на Марию Непорочную на одной из скамеек в глубине, держащую жестяной чемодан. Жаиро садится за руль, заводит мотор, остается еще четыре минуты до отправления. Тиета торопит его:

— Давай нажми, Жаиро, посмотрим, способна ли эта колымага довезти нас до Эспланады.

Жаиро смотрит на часы.

— Если хотите, мы сможем доехать до Сан-Пауло, для Императрицы дорог не существует расстояний. К тому же слушая музыку...

Он настраивает русский приемник. Тиета машет на прощание доне Кармозине, стоящей на тротуаре. «Маринети» трогает так мягко, будто воздушный корабль. Презрев камни, коряги и ямы, он поднимается над дорогой мулов, взлетает в небо Агресте.

На этом кончается история возвращения блудной дочери в родные края и событий, произошедших во время ее краткого пребывания здесь.

Агресте поправляется медленно. Сняв мундир кандидата в префекты, команданте Дарио де Келуз использует каждую минуту лета в Манге-Сэко, желая компенсировать дни, утопленные в грязи политики. Что же касается Асканио, то его видели плачущим на плече у доны Кармозины.

Открытие линии электропередачи было празднеством. Старой Грязной дороге при въезде в город дали имя тогдашнего директора — президента гидроэлектростанции Сан-Франсиско. Присутствовавшие представители власти узаконили покрытую синей глазурью табличку, прихотливо написанную, несмотря на спешку, в мастерской столицы штата: УЛИЦА ДЕПУТАТА... Дай бог памяти?!

Недолго провисела синяя табличка — она исчезла ночью. Вместо нее прибили другую, деревянную, изготовленную рукою искусной и неизвестной: «УЛИЦА СВЕТА ТИЕТЫ».

Рукою искусной и неизвестной. Рукою народа.

# МАРГИТ СЕЧИ

*Перевод с венгерского Н. ГОРСКОЙ*

Видно, это и называется поэтической судьбой: Маргит Сечи отроду достался особенный удел — неутомимо (и неутолимо) жаждать гармонии. Отчаиваясь и надеясь, искать ее везде. В человеке. В обществе. В мирозданье. В дне нынешнем и дне грядущем. И потому — не знать покоя, желать одновременно и блаженного умиротворения, и возможности самое себя принести в жертву, послужить людям, «прогнать темноту», «умереть от жажды»; встречать в лицо злые и добрые ветры, слышать, как хлопает, выгибаясь, парус, видеть, как развеваются гривы вздыбленных коней. Эти «кони, наметом скачущие под ливнем», и «брызги звезд в огнедышащем небе», и «россыпи зернышек алых маков, что я закопала в ветер», и «шальные горные потоки» — постоянные, глубоко значимые, **насущные** образы в поэзии Маргит Сечи. Они накрепко влиты в самые мажорные юношеские ее стихотворения, где нетерпеливая радость бытия простирает объятия всему сущему, но не менее выразительны и позднее, когда мир в глазах поэта теряет былую однозначность, одномерность («живой, мол, жив, а мертвый мертв»), когда все мучительно усложняется и вот уже «черный парус колотит по гудящей моей голове», а костры — прежде манящие символы цыганской вольницы — становятся жертвенными огнями:

Какие костры
полыхают
умереть
на который из них
взойду
чтобы в сердце бездонной ночи
проникнуть

*(Перевод автора статьи)*

Все творчество Маргит Сечи — энергичный порыв к познанию глубинных истоков жизни, ее смысла. В этом единство ее поэзии, но и поразительная многоликость, словно бы многослойность отраженного в ней мира. Стихи Маргит Сечи импульсивно философичны, но при этом напоены земными страстями жаждущего жить живого существа; они насыщены проблемами, какие принято называть отвлеченными,— мыслями о бренности и вечности жизни («Жемчужно-живая морена»), о насущности духовной жажды человека («Жажда»), а вместе с тем переливчато красочны: такие смелые сочные краски увидишь разве что на полотнах истинных художников-колористов. Произведения Маргит Сечи словно просятся на холст, да они и впрямь картины — нарисованы словом, звучно раскрашены, богато насыщены аллитерациями:

Меня на планете-постели
качают лучи, преломляясь,
и соль тяжело оседает
на ржавое жало кинжала.

---

**МАРГИТ СЕЧИ — SZÉCSI MÁRGIT** (род. в 1928 г.).

Венгерская поэтесса, автор многих сборников стихотворений, лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Начала печататься в 1948 г. Первый поэтический сборник «Март» («Március») вышел в 1955 г. На русском языке стихотворения М. Сечи печатались в антологиях венгерской поэзии.

Публикуемые стихотворения взяты из книг «Новая геральдика» («Új heraldika», 1967), «Владения» («Birodalom», 1976), «Что несешь, река» («Mit viszel, folyó», 1978).

Все клады мои — все услады,
все слабости, жалобы, планы —
струящимся жемчугом стали...

*(Перевод Н. Горской)*

Из этих звучных — зримых — образов, удачно переданных и по-русски, рождается — тоже зримое, прозрачно-ясное и мудрое — постижение того, что человеческие будни и есть «жемчужно-живые морены» бесконечно длящегося бытия.

Романтический склад Маргит Сечи то увлекает ее с горных круч вниз, заставляя обгонять «шальные потоки», то уносит в заоблачные выси — полет в нездешних сферах, апокалипсическая символика, по-видимому, необходимы ей, вечно ищущей начал и пределов бытия. В то же время религиозные сюжеты и библейские образы ее обращены к земле, к людям.

Именно реальная жизнь людей — великое и трудное чудо — сообщает ее поэзии все звуки и краски. Камышерез и поэт, скульптор и табунщик равно влекут к себе ее испытующий художнический интерес; извечно родное тепло земли («Земля») и торжествующий, засасывающий гул города сплетаются в ее стихах то объятием, то борением.

Она пылко, жадно рвется к городу — цивилизации. «Огромный мир меня позвал и счастье расположил»: ей, дочери городской окраины и венгерских полей, нужна еще и «Земля», ее мучит боязнь оказаться «маленькой», никчемной в победно шествующей массе людей («Жажда»).

В том же волнующем двуединстве (совсем как у Державина: «Я царь — я раб — я червь — я бог!») находится и человек, лирический герой Маргит Сечи:

В царстве костяном
заперт гордый дух
он как Север бел
жарок словно Юг

Череп — боль мою —
стисну рук жгутом
Город — как венец
над моим челом

*(Перевод автора статьи)*

Каким трепетом созвучности, радостью духовного родства должно было отозваться в ней, земной, но никак не приземленной знаменитое пастернаковское:

Не спи, не спи, художник,
не предавайся сну,
ты Вечности заложник
у Времени в плену.

Более четверти века слышен в венгерской поэзии страстный, искренний голос Маргит Сечи. Каждый сборник ее стихотворений оказывался не просто новым поэтическим урожаем — по ее книгам, как по годовым кольцам деревьев, можно проследить рост, становление личности поэта. Нет, это не прямая дорога вперед и ввысь, да и может ли быть совершенно прямой, без зигзагов нетерпения, без кружений незнания, дорога неторная — своя!.. А Маргит Сечи всегда и во всем сама хочет «дойти до сути» — сознательно ли, инстинктивно ли, исповедуя первичность опыта. Именно поэтому она, в то время двадцатидвухлетняя студентка, порывисто бросилась на грандиозную стройку, участвовала трудом и душой в созидании нового города на Дунае — и писала опаленные молодой радостью стихи; потому же бесстрашно открывала сердце страданию, не боялась горьких раздумий, мучительных сомнений, и рождавшиеся в эти кризисные периоды стихотворения то потрясали трагизмом, то рассыпались мозаичными крошками, никак не складываясь в общую картину... Но опыт накапливался, вызревала мудрость — в поэзии Маргит Сечи опять появились теперь более строгие, но вполне определенные цвета надежды, вновь проснулось восхищение человеком; перед ней опять призывно замаячила «неизвестности известность — новый день...»

«Владения» — назвала она один из последних и самых значительных своих сборников. «Владения» Маргит Сечи — простая сиюминутная жизнь человека, осмысленная и согретая каждой приметой реальных будней, но ее же «владения» — и сфера высокой духовности, царство таланта и мысли, в котором Маргит Сечи смело взывает к тем, кто помогал окрепнуть в ней поэтическому ее дару: к Шандору Петефи и Эндре Ади, Аттиле Йожефу и Лайошу Кашшаку. И к Ласло Надю, большому венгерскому поэту, ее мужу, совсем недавно — и так безвременно! — унесенному болезнью в могилу... Маргит Сечи есть что сказать людям: всем своим чутким, сильным, ранимым существом она устремлена к обретению гармонии в мире, и прежде всего — к утверждению высоких нравственных ценностей. А это и есть то главное, что нужно людям. Нужно, вероятно, больше всего.

**Е. МАЛЫХИНА**

■ ■ ■

В невероятном невероятного нет:
наши белые кони белы, как снег,
ночь напролет простоят в навозе,
а на заре утопают в розах.
Даже сквозь грязь проникает свет —
кони и конюх белы как снег.

## *Шумливые воды*

Шумливые воды бушуют в лугах,
и сок, просыпаясь, в деревьях бурлит.
Эй, горный поток шальной!
Эй, вольный простор речной!

В лесах и селеньях, в лугах и сердцах
весна веселится и плачет навзрыд.
Эй, горный поток шальной!
Эй, вольный простор речной!

И я водопадом стекаю с горы
для бурного плача, для буйной игры.
Эй, горный поток шальной!
Эй, вольный простор речной!

В единственном платьишке вдаль я спешу
и — нищая — песней привольно дышу.
Эй, горный поток шальной!
Эй, вольный простор речной!

## *Камышерезы*

Небеса в воде озерной,
в небе — синяя вода.
Толчея у яслей горних —
тучек белые стада.
В камышовой оторочке
видит мир камышерез,
а на шляпе синь-цветочек —
синевы озерной блеск.

Под серпом камыш заплакал.
Будет крыша хороша,
если склеют, слепят, сплавят
вместе стебли камыша.
Ах, камыш, лучистый, легкий!..
Над малюсеньким мирком
он — закованный в известку —
станет жестким потолком.

Человек едва ли вспомнит
вольность прежнюю его
и узрит в плетенье плотном
буйной силы торжество...
Но в ночи почует кто-то,
как поет его душа —
о, мелодия полета,
колыханье камыша!

Скошен, сложен тесно, кучно,
спит измученный камыш,
и горбы вязанок скучных —
как ряды унылых крыш.
Залетят порою птицы
в этот жухлый неуют,
но гнездо в шуршащей чаще —
в камышах зеленых — вьют.

---

© Szécsi Márgit, 1967.
© Szécsi Márgit, 1976.
© Szécsi Márgit, 1978.

## *Земля*

Как вырванных из почвы с корнем,
как выброшенных из деревни тесной,
где все осталось: пашня, луг,
и плуг, и жаворонка песня,

как тех, чьи прадеды и деды
свой труд — благословляя — проклинали
и вдруг ушли с полей родимых,
гонимы нищетой неодолимой,—

манила нас земля в начале мая...
Был вечер светел и пропитан влагой,
мы прочь из города ватагой шли,
чтобы вдохнуть блаженный дух земли.

Земля! Рубцы межей, полей заплатки...
Роса на нежных всходах кукурузы.
Во рту остался горький привкус гари,
но вся душа исходит сладкой грустью.

Пышноволосые ткачихи,
парнишки-слесаря в штанах в обтяжку —
мы шли домой путем окольным,
чтоб грезу-василек увидеть в поле.

И был далек барак, пропахший газом,
и бузина цвела кудряво у канавы,
и двум обнявшимся казалось,
что их сама земля берет в объятья.

## *Жажда*

Хочу я хлеба, а не лавров,
простого хлеба, а не славы.
Мне б у дороги спать всю ночь,
да сторожа прогонят прочь.

Я в тихой радости когда-то
жила с рассвета до заката,
и превращал меня в цветок
цикады тоненький смычок.

Я под луной порой сидела,
и лунный луч молочно-белый,
в башмак войдя, как острый гвоздь,
меня прокалывал насквозь.

А лето... Время обмолота...
Кипела за полночь работа,
мальчишки бегали вокруг,
как черти, возникая вдруг.

И сноп — упавшая комета,
живой гудящий сгусток света —
раскидывал до неба хвост —
осколки золотистых звезд.

Но где ж они, цветы и травы?
Забыла... выпила отравы...
Огромный мир меня позвал
и счастье располосовал.

Он каждый миг ко мне взывает,
я на рассвете изнываю
и нищеты своей стыжусь —
в простушки больше не гожусь.

В меня вдохнул он слово божье,
но ствол прямой перекорежил,
миражем городов завлек,
мостами мне на сердце лег.

Проткнул шатучим небоскребом,
наполнил дрожью и ознобом
и сделал маленькой меня,
своим величием маня.

И бренностью стегнул, как плетью,
уж не стремлюсь ничем владеть я.
О женщины, хотите — вам
сама любимого отдам!

Я хлеб вкушаю ежедневно,
но все же голодна — без неба.
Так что ж теперь?.. Поплакать всласть —
зачем на свет я родилась?..

Я знаю, в чем-то грешен каждый.
Но если ты измучен жаждой,
не грех от жажды умереть —
воды не находя, сгореть.

## *Жемчужно-живая морена*[1]

Жемчужно-живая морена...
Текут равнодушия волны,
ворочая клады... Ой, жизнь,—
жемчужно-живая морена!
Меня на планете-постели
качают лучи, преломляясь,
и соль тяжело оседает
на ржавое жало кинжала.
Все клады мои — все услады,
все слабости, жалобы, планы —
струящимся жемчугом стали.
И мир, как в стеклянных фасетках
пчелиного глаза, дробится:
текут миллиарды рассветов
взамен настоящего утра.
И мудрость приходит на смену
всем истинам азбучным жалким,
теряя молочные зубы,
ты суть бытия постигаешь:
все то, что тебя окружает,—
жемчужно-живая морена!

[1] Морена — обломки горных пород, оставляемые на своем пути ледниками.

И вот я цепляюсь за стены,
за прах, за сверкающий траур,
за струи песчаного флага,
за берег твой зыбкий,— ой, жизнь! —
жемчужно-живая морена...

## *Шествие*

Плещущий ливень — флага атлас.
Холод течет на меня.
Влажные — флажные — руки кладу я
на моего коня.

Мордой печально ливень он рубит,
струи дробятся, звеня.
В гордой печали лбом я склоняюсь
на моего коня.

Туча и флаг мой — единой лавиной,
в черной ночи — ни огня.
Но засияли земные глубины —
манят меня и коня.

Ливень на падаль, на глину долины,
ливень — ливмя! — на меня,
на лебединую песню, на камни,
на моего коня,

ливень небесный, длинный, отвесный,
ливень на череп холма,
ливень на мрамор, спеленутый, в креслах,
и на слепые дома,

на барабан, не зовущий к побудке,
на колокольню — ливмя! —
сердце мне рвущий, жуткий, ревущий —
на моего коня!

Кольца кольчуги — последних гигантов
стальная броня,—
рис серебристый, стеклянная манна —
на моего коня...

■

**ГОРСКАЯ НАТЭЛЛА ВСЕВОЛОДОВНА.**

Советский поэт-переводчик испанской и латиноамериканской поэзии. В ее переводах публиковались стихи Антонио Мачадо, Х. Р. Хименеса, Р. Альберти и др. В нашем журнале были напечатаны переводы стихов Х. Л. Пачеко (№ 4, 1972), Х. А. Гойтисоло (№ 11, 1975). Р. Богранда (№ 3, 1980). Н. Горская занимается также переводом из венгерской и чешской поэзии, переводила И. Шимона, Л. Беньямина, А. Гидаша, В. Незвала и др.

# ИРВИН ШОУ

# *Богач, бедняк...*

РОМАН

*Перевод с английского ИДЫ БАСАВИНОЙ*

**Глава 11**

**I**

Лампочки в подвале у Бадди Вестермэна горели тускло. Ребята сделали из подвала что-то вроде притона и часто устраивали там вечеринки. Сегодня собралось человек двадцать девушек и парней. Одни танцевали, другие обнимались в темных углах, третьи просто слушали музыку.

Посреди комнаты, тесно прижавшись друг к другу, покачивались в танце Алекс Дейли и Лайла Белкамп. Все знали — в июне после окончания школы они собираются пожениться. Рудольф жалел, что не записал на пленку речь матери в тот вечер, когда отец вернулся из Элизиума,— стоило бы дать послушать Алексу. Такую речь следовало бы давать слушать всем женихам. Может, тогда они не спешили бы идти под венец.

Рудольф сидел на старом поломанном кресле в углу, а Джули устроилась у него на коленях. Некоторые другие девушки тоже сидели на коленях у парней, но Рудольфу не хотелось, чтобы это делала Джули. Ему было неприятно, что его видят в такой ситуации и еще наверняка строят догадки насчет того, какие он испытывает ощущения. Некоторые вещи слишком интимны, и их нельзя позволять себе при людях. Он не мог себе представить Тедди Бойлана, сидящего при посторонних с девушкой на коленях. Но если бы он намекнул на это Джули, она бы тут же взорвалась.

Джули подала заявление в Барнардский колледж и была уверена, что поступит. Она отлично училась. Рудольфа она убеждала идти в Колумбийский университет. Тогда они были бы в Нью-Йорке совсем рядом. Рудольф делал вид, что пока не решил, в какой университет подавать — Гарвардский или Йельский, у него не хватало мужества признаться Джули, что он вообще не будет никуда поступать.

Джули прижалась к нему, касаясь головой его подбородка, и мурлыкнула. Будь они дома, он бы рассмеялся. Он глядел поверх ее головы на ребят, собравшихся у Бадди Вестермэна. Наверное, он здесь единственный еще ни разу не переспал с женщиной. Бадди, Дейли, Кесслер, как, впрочем, и большинство остальных, конечно, уже прошли через это, хотя, может быть, кое-кто и врал. Но он отличался от всех них не только этим. Интересно, пригласили бы его на эту вечеринку, если бы знали, что его отец убил двоих людей, брат побывал в тюрьме за изнасилование, сестра беременна — она написала ему об этом, чтобы избавить от неприятного сюрприза,— и живет с женатым человеком, а мать согласна лечь в постель с отцом, только если тот заплатит ей тридцать тысяч долларов?

Да, Джордахи необычная семья. В этом сомневаться не приходится.

Почти у всех присутствовавших здесь ребят были четкие планы на будущее. У отца Кесслера была своя аптека, и Кесслер собирался окончить фармацевтическую школу, чтобы затем унаследовать дело отца. Отец Смаррета занимался куплей-продажей недвижимого имущества, и сын намеревался поступить в Гарвардский университет, а потом на коммерческие курсы. Семья Лоусонов владела промышленным

Продолжение. Начало см. в № 8, 9.

концерном, и Лоусон-младший решил изучать инженерное дело. Даже у туповатого Дейли все было уже распланировано: вместе со своим отцом он займется поставкой санитарно-технического оборудования.

Рудольф почувствовал жгучую зависть ко всем своим друзьям. С пластинки слетали серебряные кружева кларнета — играл Бенни Гудман. Рудольф завидовал ему тоже. Пожалуй, больше, чем всем другим.

Сейчас он понимал тех, кто грабил банки.

Ему захотелось уйти отсюда. Все эти дни он страшно уставал. Вдова не могла больше работать полный день, так как ей надо было приглядывать за детьми, и Рудольф теперь не только развозил по утрам булочки, но сразу после школы с четырех дня до семи вечера стоял за прилавком. Спортивные тренировки, естественно, пришлось бросить, как и дискуссионный клуб. Учить уроки не хватало сил, и отметки у него стали ниже. Ко всему прочему он после рождества простудился, и простуда до сих пор не проходила.

— Джули, пошли домой,— предложил он.

Она удивленно выпрямилась у него на коленях.

— Почему? Еще совсем рано, и такая удачная вечеринка.

— Знаю, знаю,— нетерпеливо сказал Рудольф.— Мне просто хочется уйти отсюда.

— Твое дело, я тебя не держу. До дома меня кто-нибудь проводит,— рассердилась она и вскочила с его колен.

Рудольфа подмывало излить ей все, что накопилось у него на душе. Может, тогда бы она поняла.

— Господи! — сказала Джули. На глазах у нее заблестели слезы.— Мы с тобой первый раз за столько месяцев куда-то выбрались, и едва вошли, ты уже хочешь уйти.

— Просто я отвратительно себя чувствую,— ответил он, вставая.

— Странно. Именно в те вечера, когда ты со мной, ты себя отвратительно чувствуешь. Я уверена, с Тедди Бойланом ты чувствуешь себя прекрасно.

— Оставь Бойлана в покое, Джули. Я с ним уже бог знает сколько не виделся.

— А что случилось? У него кончились запасы пергидроля?

— Очень остроумно,— устало сказал Рудольф.

Джули повернулась и отошла к группе ребят, собравшихся возле проигрывателя.

Рудольф надел пальто и, ни с кем не прощаясь, вышел за дверь. На улице лил дождь. С реки дул холодный февральский ветер. Рудольф закашлялся, поднял воротник, чувствуя, как за шиворот текут капли, и медленно пошел домой. Ему хотелось плакать.

Из оконца подвала пробивался свет. Вечный огонь. Аксель Джордах — неизвестный солдат. Догадается ли кто-нибудь потушить в подвале свет, если отец умрет? — подумал Рудольф.

С того вечера, как мать произнесла свой безумный монолог про тридцать тысяч долларов, Рудольф жалел отца. Отец теперь ходил по дому медленно и тихо, как человек, только что вышедший из больницы после тяжелой операции, как человек, услышавший первый зов смерти. Раньше он всегда казался Рудольфу сильным, очень сильным. Голос его гремел по всему дому. Двигался он резко, уверенно. Сейчас же все больше молчал, движения стали робкими, и было что-то тревожное в том, как он с виноватым видом раскладывает перед собой газету или варит себе кофе, стараясь не производить лишнего шума. Неожиданно Рудольф подумал, что отец готовится к смерти. Задумчиво стоя в прихожей, Рудольф впервые за многие годы задал себе вопрос: любит ли он отца или нет?

Он спустился в подвал.

Аксель сидел на скамейке, уставившись взглядом в печь. Рядом с ним на полу стояла бутылка виски. В углу, свернувшись, лежала кошка.

— Привет, пап,— поздоровался Рудольф.

Отец медленно обернулся и кивнул.

— Я зашел узнать, может, тебе нужно помочь?

— Нет,— ответил отец, взял бутылку и сделал маленький глоток.— Ты весь промок. Сними пальто.

Рудольф снял пальто и повесил на крючок.

— Как дела, пап? — Он никогда раньше не задавал отцу подобного вопроса. Джордах тихо хохотнул, но не ответил, а снова приложился к бутылке. Потом сказал:

— Сегодня у меня был гость. Мистер Гаррисон.

Мистер Гаррисон был владельцем дома и каждый месяц третьего числа приходил лично собирать арендную плату.

— Но ведь сегодня не третье,— удивился Рудольф.— Что ему надо?

— Дом собираются сносить. Здесь будут строить новый квартал. Первые этажи пойдут под магазин. Порт-Филип разрастается. Прогресс есть прогресс, как сказал мистер Гаррисон.

— И что ты собираешься теперь делать?

— Не знаю,— пожал плечами Аксель.— Может, пекари нужны в Кёльне... Если бы мне посчастливилось встретить у реки какого-нибудь пьяного англичанина в дождливую темную ночь, я, наверное, сумел бы вернуться в Германию.

— Ты это о чем? — настороженно спросил Рудольф.

— А я именно так приехал в Америку. В Гамбурге в одном баре в районе Сант-Паули какой-то пьяный англичанин размахивал пачкой денег. На улице я пошел за ним, догнал и пригрозил ножом. Он начал драться. Тогда я всадил в него нож, забрал деньги, а его самого спихнул в канал.

— Мне кажется, тебе не следует рассказывать об этом на всех углах,— заметил Рудольф.

— Ты что, собрался сдать меня в полицию? Ну как же. Я совсем забыл — у тебя ведь высокие принципы.

— Пап, ты должен забыть об этом. Какой смысл после стольких лет ворошить прошлое?

— О, я помню не только это,— Аксель рассеянно поднес бутылку ко рту.— Я помню, как наклал в штаны во время отступления на Маас, помню, как воняла моя нога на вторую неделю в госпитале, помню, как в Гамбургском порту таскал мешки с какао, каждый весом по сто фунтов, и рана на ноге открылась и кровоточила, я помню, как англичанин, когда я спихивал его в канал, кричал: «Ты не сделаешь этого!» Помню выражение лица человека по имени Абрахам Чейс в Огайо, когда я выложил перед ним на стол пять тысяч долларов, чтобы ему легче было перенести позор своих дочерей.— Аксель снова глотнул виски.— Двадцать лет я работал, и все ушло на то, чтобы вызволить из тюрьмы твоего брата. По мнению твоей матери, я поступил неправильно. Ты тоже так считаешь?

— Нет.

— Теперь тебе будет трудно, Руди, очень трудно. Прости меня. Я старался сделать все, что в моих силах.

— Ничего, как-нибудь выкарабкаюсь,— ответил Рудольф, хотя далеко не был в этом уверен.

— Делай деньги,— продолжал Аксель.— Не позволяй себя дурачить. Не верь всей этой газетной болтовне о других ценностях. Богачи беднякам читают проповеди о ничтожности денег лишь для того, чтобы загребать эти деньги самим и не дрожать за свою шкуру. Будь таким, как Абрахам Чейс. Сколько у тебя сейчас в банке?

— Сто шестьдесят долларов.

— Не расставайся с ними. Не давай ни цента никому. Даже если я приползу к тебе на коленях, умирая с голоду, и попрошу на кусок хлеба. Не давай мне и десяти центов.

— Ты зря так себя разбередил, папа. Пойди приляг. Я поработаю здесь за тебя.

— Нет, тебе здесь не место. Можешь заходить ко мне поболтать, но к противням не прикасайся. У тебя есть дела поинтересней. Учи уроки. Выучивай все! И обдумывай каждый свой шаг, Руди... Грехи отцов!.. Скольким же поколениям страдать? Я ничего не смогу тебе завещать, кроме грехов, но уж их-то больше чем достаточно. Два мертвеца. Все шлюхи, с которыми я спал. И то, что я сделал с твоей матерью. И то, что позволил Томасу расти как сорная трава. Да и кто знает, что теперь делает Гретхен? Похоже, матери кое-что о ней известно. Ты видишься с сестрой? Чем она занимается?

— Тебе лучше не знать об этом.

— Значит, как я и думал,— сказал отец.— Бог все видит. Я не хожу в церковь, но я знаю: бог все видит!

— Ну что ты такое говоришь,— сказал Рудольф.— Ничего он не видит.— Его атеизм был непоколебим! — Просто тебе не повезло. Завтра все может измениться.

— Расплачивайся за свои грехи. Вот что говорит бог.

Рудольфу показалось, что отец уже забыл о нем и, если бы его не было сейчас в подвале, все равно говорил бы то же самое, тем же глухим, отрешенным голосом.

— Плати, грешник,— повторил Аксель.— Я накажу тебя и детей твоих за деяния твои.— Он сделал большой глоток виски и зябко передернул плечами.— Иди ложись. Мне надо еще поработать.

— Спокойной ночи, пап,— сказал Рудольф и снял пальто с крючка. Отец молча сидел с бутылкой в руках, глядя прямо перед собой невидящим взглядом.

«Господи,— подумал Рудольф, поднимаясь по лестнице,— а я-то считал, что сошла с ума мать».

II

Аксель глотнул виски и принялся за работу. Он поймал себя на том, что напевает какой-то мотив, но не мог узнать его, и это вызвало у него беспокойство. И вдруг вспомнил: эту лесню напевала его мать, возясь на кухне.

Он тихо запел:

Schlaf, Kindlein, schlaf,
Dein Vater hüt die Schaf,
Die Mutter hüt die Ziegen,
Wir wollen das Kindlein wiegen [1].

Родной язык... Далеко же забросила Акселя судьба. А может, недостаточно далеко?

Поставив на стол последний противень с булочками, он подошел к полке и достал жестяную банку с нарисованными на ней черепом и костями. Зачерпнул маленькую ложку порошка, взял наугад булочку, раскатал ее, замесил в тесто порошок, снова слепил шарик, положил его на противень и сунул в печь. Мое последнее послание этому миру, подумал он.

Подойдя к раковине, он снял с себя рубашку, вымыл лицо, руки, ополоснул грудь. Вытерся куском мешка из-под муки и снова оделся. Потом сел на скамейку и поднес к губам почти пустую бутылку.

Глядя на печь, он мурлыкал себе под нос мотив песни, которую пела его мать на кухне, когда он был еще совсем маленьким.

Точно в положенное время Джордах вытащил противень. Все булочки выглядели одинаково. Он выключил в печи газ, надел пальто и кепку, вышел на улицу и заковылял к реке.

Подойдя к сараю, отомкнул замок и зажег внутри свет. Подхватил лодку и перенес ее на шаткие мостки пристани. Река была неспокойной, волны бежали белыми барашками и, чмокая, ударялись о берег. Аксель спустил лодку на воду, легко спрыгнул с мостков на корму, вставил весла в уключины и оттолкнулся от берега.

Течение тут же подхватило лодку и понесло. Он начал выгребать на середину реки. Волны перехлестывали через борт, а в лицо бил дождь. Вскоре лодка глубоко осела. Он продолжал мерно грести. Река мягко несла его к Нью-Йорку, к заливам, к океану.

На следующий день лодку обнаружили у Медвежьей горы. Тело Акселя Джордаха так и не нашли.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Глава I

*1949 год*

Доминик Джозеф Агостино сидел за маленьким письменным столом в комнатке позади гимнастического зала и читал заметку о себе в спортивной колонке газеты.

[1] Спи, дитя, спи,
Твой папа пасет овец,
Твоя мама пасет коз,
Мы хотим убаюкать наше дитя.

Три часа, в зале пусто. Самое прекрасное время дня. Члены клуба, в основном пожилые бизнесмены, стремящиеся похудеть, собирались только в пять.

Доминик родился в Бостоне и в свое время был известен среди боксеров под кличкой «Бостонский красавчик». Он никогда не обладал сильным ударом, и, чтобы остаться в живых, ему приходилось плясать по всему рингу. В конце двадцатых и начале тридцатых годов он одержал несколько блестящих побед в легком весе, и спортивный обозреватель, слишком молодой, чтобы помнить Доминика на ринге, не пожалел красок, расписывая его поединки со знаменитыми боксерами тех лет. Дальше в заметке сообщалось, что Доминик сейчас в хорошей форме — это не совсем соответствовало действительности,— и цитировалось его шутливое замечание о том, что некоторые молодые члены клуба уже «достают» его на тренировках и он подумывает взять себе помощника или надеть маску, чтобы сохранить красоту. Заметка была выдержана в дружелюбном тоне, и Доминик представал перед читателями ветераном золотого века спорта, за многие годы, проведенные на ринге, научившимся подходить к жизни философски. Еще бы — он потерял все до последнего цента, и ему оставалось только философствовать. Об этом он, правда, не сказал автору заметки.

На столе зазвонил телефон. Швейцар сообщил, что какой-то парень хочет видеть мистера Агостино. Доминик велел пропустить его.

Парнишке на вид было лет девятнадцать-двадцать. Линялый голубой свитер, кеды. Блондин с голубыми глазами и детским лицом. В руки въелось машинное масло, хотя было видно, что он постарался отмыться.

— Что тебе надо?— разглядывая его, спросил Доминик.

— Я вчера читал газету.

— Ну и что? — Доминик всегда был приветлив и улыбчив с членами клуба, зато отводил душу на посторонних.

— Там написано, что вам в вашем возрасте стало трудновато работать с молодыми членами клуба и еще всякое,— сказал парень.

— Ну и что?

— Я подумал, мистер Агостино, может, вам нужен помощник...

— Ты боксер?

— Не совсем. Но мне бы хотелось стать боксером. Я что-то часто дерусь.— Он улыбнулся.— Почему бы не получать за это деньги?

— Идем.— Доминик отвел парня в раздевалку, дал ему старый спортивный костюм и пару туфель и, пока тот переодевался, внимательно рассматривал его. Длинные ноги, широкие, слегка покатые плечи, мощная шея. Вес фунтов сто пятьдесят — сто пятьдесят пять. Одни мышцы. Никакого жира.

В гимнастическом зале, где в углу лежали маты, Доминик бросил пареньку боксерские перчатки.

— Посмотрим, на что ты способен.

Несколько раз он нанес довольно увесистые удары, но парнишка был подвижным, и ему удалось дважды ударить Доминика так, что тот это почувствовал. Без всякого сомнения, парень — боец. Но какой? Этого Доминик пока не знал.

— Ладно, хватит.— Доминик опустил руки.— А теперь слушай. Это не бар, а клуб джентльменов. Они приходят сюда не для того, чтобы получать синяки. Их цель — держать себя в форме и попутно обучаться мужественному искусству самообороны. Стоит тебе начать молотить их, как сейчас меня, и через день ты отсюда вылетишь.

— Понимаю,— сказал парень.— Мне просто хотелось показать, на что я способен.

— Пока не на многое. Но у тебя быстрая реакция, и ты хорошо двигаешься. Где ты работаешь?

— В гараже. Но мне бы хотелось найти такую работу, чтобы руки были чистые.

— Сколько ты там получаешь?

— Пятьдесят долларов в неделю.

— Я буду платить тебе тридцать пять. Но ты можешь поставить раскладушку в кабинете массажа и спать здесь. Будешь помогать чистить бассейн, пылесосить маты и делать прочую подсобную работу.

— Согласен.

— В таком случае считай, что ты принят. Как тебя зовут?

— Томас Джордах.

— Главное, не впутывайся ни в какие истории,— сказал Доминик.

Довольно долго все шло хорошо. Работал он быстро, был со всеми почтителен и помимо основных обязанностей охотно выполнял мелкие поручения Доминика и членов клуба. Он взял за правило всем улыбаться и быть особенно внимательным к пожилым джентльменам. Дружеская атмосфера в клубе, сдержанность и неброское богатство посетителей нравились ему.

Доминик не интересовался прошлым Тома, а тот не считал нужным рассказывать о месяцах, проведенных им на дорогах, о ночлежках в Цинциннати, Кливленде и Чикаго, о работе на заправочных станциях или о том времени, когда он был посыльным в гостинице в Сиракузах. Там он неплохо зарабатывал, приводя в номера проституток, пока однажды ему не пришлось вырвать нож из рук сутенера, полагавшего, что его девушки дают смазливому парню с детской физиономией слишком большие комиссионные. Томас ничего не рассказал Доминику и про то, как обирал пьяных клиентов и воровал деньги из номеров; он делал это не ради самих денег — к ним он был в общем-то равнодушен,— просто ему нравилось рисковать.

Иногда, когда никого из членов клуба вокруг не было и у Доминика просыпалось честолюбие, он надевал перчатки и отрабатывал с Томасом комбинации и учил его различным приемам. Через несколько недель из Томаса получился неплохой боксер, и, если случалось, кто-нибудь из менее важных членов клуба оставался без партнера, Томас выходил на ринг. Проигрывая, он не огорчался, а выигрывать старался не сразу, чтобы не обидеть противника. К концу недели у него набегало долларов двадцать — тридцать чаевых. Он сдружился с клубным поваром, найдя надежных поставщиков приличной марихуаны, и за это повар бесплатно кормил его.

У него хватало такта не вступать в разговоры с членами клуба. Это были в основном адвокаты, маклеры, банкиры и чиновники судоходных и промышленных компаний. Он научился аккуратно записывать то, что по телефону просили им передать их жены и любовницы, делая вид, будто ни о чем не догадывается.

Он не был любителем выпить, и члены клуба, сидя после тренировки со стаканом виски, похвально отзывались и об этом его качестве.

Его поведение не диктовалось какими-то определенными планами. Просто он понимал, что лучше, если солидные люди, посещающие клуб, будут относиться к нему хорошо. И потом ему надоело бродяжничать и попадать в неприятные истории, неизменно кончавшиеся дракой и бегством дальше по бесконечным дорогам Америки. Он радовался покою, надежному крову клуба и благожелательности посещавших его людей.

Конечно, не все они нравились ему, но он старался со всеми держаться ровно и приветливо. Не стоило ни с кем связываться — достаточно с него неприятностей в прошлом.

Доминик же одинаково ненавидел всех членов клуба, без исключения, только потому, что у них были деньги, а у него — нет. «Вон идет самый крупный мошенник в Массачусетсе,— шептал он Томасу, показывая глазами на входившего в раздевалку важного седого джентльмена, и тотчас громко говорил: — Наконец-то, сэр. Рады снова вас видеть. Нам вас очень не хватало».

Томас за всем наблюдал, все наматывал на ус, учась у Доминика полезному лицемерию. Ему нравился этот в душе жестокий бывший боксер, несмотря на все свои льстивые речи исповедовавший анархию и насилие.

Еще Томасу нравился мистер Рид, добродушный, веселый президент текстильного концерна, предпочитавший боксировать с Томасом, даже когда вокруг хватало свободных членов клуба, дожидавшихся своей очереди. Риду было лет сорок пять. Уже довольно полный, он тем не менее до сих пор был приличным боксером, и его поединки с Томасом по большей части кончались вничью. Как правило, в первых раундах преимущество бывало на стороне Рида, но к концу он выдыхался и начинал проигрывать. «Молодые ноги, молодые ноги»,— смеясь повторял он, шагая с Томасом в душевую и вытирая полотенцем пот с лица. После каждого боя Томас получал от него пять долларов. У Рида была одна причуда — в правом кармане пиджака он всегда носил аккуратно сложенную стодолларовую бумажку. «Однажды стодолларовая ассигнация спасла мне жизнь»,— объяснил он Томасу. Как-то раз, когда Рид был в одном ночном клубе, там случился пожар, и погибло много народу. Лежа у дверей под грудой мертвых тел, Рид не мог ни двинуться, ни позвать на помощь. Услышав, что пожарники разгребают тела, он, собрав последние силы, полез в карман, вытащил

стодолларовую бумажку, с трудом высвободил руку и слабо помахал ею. Пожарник заметил, взял деньги и вызволил его. Рид две недели пролежал в больнице. Он надолго потерял речь, но выжил. Выжил с твердой верой в могущество стодолларовой ассигнации. Томасу он тоже советовал при возможности всегда иметь в кармане стодолларовую бумажку. А еще он советовал копить деньги и вкладывать их в акции, потому что молодые ноги постепенно перестают быть молодыми.



Неприятность случилась, когда он проработал в клубе уже три месяца.

Войдя после душа в раздевалку и открыв свой шкафчик, Томас увидел приколотую к внутренней стороне дверцы записку, написанную почерком Доминика: «Зайди ко мне после закрытия. Д. Агостино».

Ровно в десять вечера, как только клуб закрылся, Томас вошел в кабинет Доминика. Тот сидел за столом, медленно читая «Лайф». Подняв глаза на Томаса, он отложил журнал, встал, выглянул в коридор — проверить, нет ли там кого, и закрыл дверь.

— Садись, малыш.

— В чем дело? — спросил Томас.

— Именно это мне хотелось бы знать,— ответил Доминик.— Ладно, я не буду ходить вокруг да около, малыш. Кто-то таскает деньги из кошельков наших клиентов. Эти жирные сволочи настолько богаты, что большинство из них не имеет представления, сколько у них в кармане денег, а если когда и хватятся какой-нибудь десятки или двадцатки, то думают, что потеряли или неправильно сосчитали в прошлый раз. Но есть среди них один тип, который уверен, что не ошибается. Я имею в виду этого гада Грининга. Он заявил, будто вчера вечером, пока он разогревался со мной, кто-то свистнул у него из шкафчика десять долларов. Сегодня он целый день обзванивал других членов клуба, и все вдруг тоже стали утверждать, что последние несколько месяцев их регулярно обворовывают.

— А при чем здесь я? — спросил Том, уже все поняв.

— Грининг считает, это началось с того времени, как ты здесь появился.

— Вот ведь дерьмо! — с горечью сказал Томас. Грининг, человек лет тридцати, с холодными глазами, работал в конторе биржевого маклера и боксировал с Домиником. В юности он выступал в полутяжелом весе за какой-то западноамериканский колледж и до сих пор был в хорошей форме. Доминика он безжалостно избивал четыре раза в неделю. Обычно они проводили три двухминутных раунда, и Доминик, не осмеливаясь отвечать на удары Грининга в полную силу, сходил с ринга измученным и в синяках.

— Да, он дерьмо, это точно,— согласился Доминик.— Он заставил меня сегодня обыскать твой шкафчик, но, к счастью, у тебя там не оказалось ни одной десятки. Тем не менее он хочет вызвать полицию, чтобы тебя взяли на учет, как подозреваемого.

— А вы что на это сказали?

— Я попросил его не делать этого и сказал, что поговорю с тобой... Скажи, это твоя работа?

— Нет. Вы мне верите?

Доминик устало пожал плечами:

— Не знаю. Но кто-то же действительно спер у него деньги.

— За день в раздевалке бывает много народу... Почему валить на меня?

— Я объяснил тебе. Это началось с того времени, как ты здесь появился.

— Чего вы от меня хотите? Чтоб я уволился?

— Да нет,— покачал головой Доминик.— Просто будь осторожен. Старайся все время быть на виду. Может, обойдется... Ох уж мне этот чертов Грининг и его проклятая десятка... Пошли, я угощу тебя пивом. Ну и денек!

Когда Томас вернулся с почты, куда его посылали с пакетом, в раздевалке было пусто. Все собрались наверху, где проходил межклубный матч. Все, кроме одного. Синклер, молодой член клуба, входил в команду, но его бой был еще впереди. Стройный, высокий Синклер недавно получил диплом юриста в Гарварде. Он был из очень богатой семьи, часто упоминавшейся в газетах. Молодой Синклер работал

в адвокатской конторе своего отца. Томас не раз слышал, как пожилые члены клуба говорили, что Синклер-сын — блестящий адвокат и далеко пойдет.

Но сейчас, когда Томас неслышно вошел в раздевалку, Синклер стоял перед открытым шкафчиком, осторожно извлекая из кармана пиджака бумажник. Томас не мог определить, чей это шкафчик, но знал точно — только не Синклера, потому что шкафчик Синклера был рядом с его собственным. Обычно приветливое, розовощекое лицо Синклера было бледным и напряженным, на лбу выступили капельки пота.

С минуту Томас колебался, гадая, сумеет ли улизнуть незамеченным. В это время Синклер наконец достал бумажник, поднял глаза и увидел Тома. Уходить было поздно. Томас быстро подошел к нему и схватил за руку. Синклер часто и тяжело дышал, словно пробежал немалое расстояние.

— Лучше положите бумажник обратно, сэр,— шепотом сказал Томас.

— Хорошо,— сказал Синклер.— Положу.— Он тоже говорил шепотом.

Продолжая держать его за руку, Томас лихорадочно соображал: если он разоблачит Синклера, то обязательно потеряет работу. Члены клуба не потерпят присутствия в клубе служащего, который опозорил человека их круга. Если же промолчать... Томас старался выиграть время.

— Вам известно, сэр, что все подозревают меня?

— Извини,— сказал Синклер. Его била дрожь, но он не вырывался.

— Вы сделаете три вещи. Вы положите бумажник обратно и пообещаете никогда больше этого не делать...

— Я обещаю, Том. Я очень благодарен...

— Вы докажите мне, насколько вы благодарны,— сказал Том.— Вы сию же минуту напишете мне долговую расписку на пять тысяч долларов и в трехдневный срок передадите их мне наличными. Мы встретимся в четверг в одиннадцать вечера в баре отеля «Турэн». Это будет вечер платежа.

— Я приду,— еле слышно прошептал Синклер.

Томас отпустил его руку, достал из кармана маленький блокнот, где записывал свои мелкие расходы при выполнении различных поручений, открыл его на чистой странице и протянул Синклеру карандаш. Конечно, будь у Синклера нервы покрепче, ему ничего не стоило повернуться и уйти. И если Томасу вздумалось бы потом рассказать кому-нибудь об этом случае, Синклер мог бы просто отшутиться. К счастью, нервы у Синклера оставляли желать лучшего. Он взял блокнот и написал расписку.

Без пяти одиннадцать в костюме и в галстуке — сегодня ему хотелось выглядеть джентльменом — Томас вошел в бар отеля «Турэн» и уселся за столик в углу, откуда хорошо просматривался вход в зал. Когда появился официант, Томас заказал бутылку пива. Пять тысяч долларов, думал он, пять тысяч! Ровно столько они взяли у его отца, а теперь он отбирает эти деньги у них. Томас ничего не имел против Синклера. Тот был симпатичным молодым человеком с дружелюбными глазами, тихим голосом и хорошими манерами. Если бы стало известно, что он страдает клептоманией, его карьера мгновенно кончилась бы крахом. Но тут уж ничего не поделаешь — такова жизнь.

В три минуты двенадцатого дверь открылась и вошел Синклер. Он неуверенно вглядывался в темный зал. Томас поднялся.

— Добрый вечер, сэр,— поздоровался он, когда тот подошел к его столику.— Что будете пить?

— Виски с водой, пожалуйста,— вежливо ответил Синклер и с жадностью выпил, когда официант поставил перед ним стакан.— К твоему сведению, я брал эти деньги не потому, что они мне нужны.

— Я знаю.

— Я болен,— сказал Синклер.— Это болезнь. Я хожу к психиатру.

— И правильно делаете.

— Тебе не стыдно, что ты так поступаешь с больным человеком?

— Нет, сэр.

— А ты, сукин сын, не промах.

— Надеюсь, что так, сэр.

Синклер расстегнул пиджак, вытащил из кармана толстый конверт и положил его на банкетку — между собой и Томасом.

— Вот. Здесь полная сумма. Можешь не пересчитывать.

— Я в этом уверен, сэр.— Томас сунул конверт в боковой карман пиджака.

— Я жду,— сказал Синклер.

Томас вынул расписку и положил ее на стол. Синклер взглянул на нее, разорвал и бросил в пепельницу.

— Спасибо за виски,— поблагодарил он, встал и вышел из бара.

Томас медленно допил пиво, расплатился, потом прошел в вестибюль отеля и снял номер на одну ночь.

Он отлично выспался на широкой двуспальной кровати, а утром позвонил Доминику и сказал, что по семейным делам вынужден поехать в Нью-Йорк и вернется только в понедельник. За три месяца работы в клубе Том не брал ни одного выходного, и Доминику пришлось согласиться, но он велел Тому в понедельник утром обязательно быть на работе.

Когда он вышел из поезда, моросил мелкий осенний дождь, что отнюдь не делало Порт-Филип более привлекательным.

Том мог взять такси, но после стольких лет отсутствия предпочел пройтись пешком. Улицы родного города исподволь подготовят его... к чему? Это было ему не совсем ясно.

По дороге он не встретил ни одного знакомого, никто с ним не поздоровался. Люди с чужими, замкнутыми лицами торопливо шагали под дождем. Вот оно — триумфальное возвращение, восторженная встреча...

За эти годы Вандерхоф-стрит очень изменилась. На улице появилось новое огромное здание, похожее на тюрьму. В нем размещалась какая-то фабрика. Многие мелкие магазины были заколочены, а на тех, что работали, висели вывески с незнакомыми фамилиями. Чтобы дождь не лил в глаза, Томас шел опустив голову и, когда наконец поднял ее, остолбенел: на месте, где стояла булочная, где был дом, в котором он родился, построили большой продовольственный магазин.

Томас неуверенно двинулся дальше. Гараж, находившийся когда-то возле булочной, был перестроен, и на вывеске красовалось имя нового владельца.... Но, подходя к углу, он увидел, что зеленная лавка Джардино осталась на прежнем месте. Он вошел и стоял, дожидаясь, пока миссис Джардино кончит торговаться с какой-то старухой, желавшей купить горох подешевле. Наконец старуха ушла, и миссис Джардино повернулась к нему. У этой маленькой бесформенной женщины был хищный крючковатый нос, а на нижней губе торчала бородавка, из которой росли два длинных толстых волоса.

— Что вам угодно?

— Миссис Джардино,— Томас опустил воротник пиджака, чтобы выглядеть более респектабельным,— вы, вероятно, меня не помните... Но я был... ну, можно сказать, вашим соседом. У нас тут была булочная... Моя фамилия Джордах.

— Вы который из них? — спросила миссис Джардино, вглядываясь в него близорукими глазами.

— Младший.

— А, помню. Маленький гангстер.

Томас попытался улыбкой задобрить миссис Джардино, но она оставалась сурова.

— Ну и чего тебе надо?

— Я давно здесь не был. Приехал вот навестить родных, а булочной уже нет.

— Ее несколько лет как нет,— раздраженно пожала плечами миссис Джардино, раскладывая яблоки так, чтобы не было видно темных пятнышек.— Тебе что, родственники об этом не сообщали?

— Я о них уже довольно давно ничего не слышал. Вы не знаете, где они сейчас?

— Откуда мне знать? Они никогда не разговаривали с грязными итальяшками.— Она демонстративно отвернулась от него и стала перебирать пучки сельдерея.

— Ну что ж, большое спасибо. Извините.— Томас направился к двери.

— Подожди-ка,— окликнула его миссис Джардино.— Когда ты уезжал, твой отец был еще жив?

— Да.

— Так вот, он умер.— В голосе ее звучало явное удовлетворение.— Утонул. В реке. После этого твоя мать уехала, а дом, где вы жили, снесли, и сейчас... Сейчас

на его месте построили этот огромный магазин, который скоро нас разорит,— с горечью закончила она.

По дороге на вокзал Томас зашел в банк, арендовал сейф и положил туда четыре тысячи девятьсот долларов, оставив сотню себе. Он подумал, что можно заглянуть на почту, и там, вероятно, ему дадут новый адрес матери и брата, но потом решил не делать этого. Он приезжал сюда не к ним, а к отцу. Чтобы расплатиться.

## Глава 2

*1950 год*

Одетый во взятые напрокат черный плащ и шапочку, Рудольф сидел среди других выпускников колледжа.

— Сейчас, в тысяча девятьсот пятидесятом году, в самой середине столетия, мы, американцы, должны задать себе несколько вопросов. Что у нас есть? Чего мы хотим? В чем наша сила и в чем наша слабость? Что ждет нас впереди? — Оратор, крупный правительственный чиновник, приехал из Вашингтона (в знак уважения) к президенту колледжа, с которым они когда-то вместе учились в Корнелле.

Сейчас, в самой середине столетия, думал Рудольф, беспокойно ерзая на стуле, что у меня есть? Чего я хочу? В чем моя сила и в чем моя слабость? Что ждет меня впереди? У меня есть диплом бакалавра, четыре тысячи долга и умирающая мать на руках. Я хочу быть богатым, свободным и любимым. Моя сила? Я могу пробежать двести двадцать ярдов за двадцать три и восемь десятых секунды. Моя слабость? Я честный человек. Глядя на Большого Человека из Вашингтона, он про себя улыбнулся. Что меня ждет впереди? А ну скажи мне, приятель.

Деятель из Вашингтона явно принадлежал к пацифистам.

— Во всем мире растет волна милитаризма,— заявил он торжественным голосом.— Единственный оплот мира — это военная мощь Соединенных Штатов. Для предотвращения войны Соединенные Штаты должны увеличить и укрепить свои вооруженные силы настолько, чтобы они, располагая возможностью нанести контрудар, служили фактором, сдерживающим военные устремления других.

Рудольф скользнул взглядом по рядам выпускников. Половина из них участвовала во второй мировой войне. Многие успели жениться, и их жены, по случаю торжества побывавшие в парикмахерской, сидели в задних рядах, некоторые с младенцами на руках, потому что их не с кем было оставить: почти все они жили в автофургонах или снимали комнаты в шумном общежитии, пока их мужья боролись за выдававшиеся сегодня дипломы. Рудольфу было интересно, что́ они думают о растущей волне милитаризма.

Рядом с Рудольфом сидел Брэдфорд Найт, круглолицый цветущий молодой человек из Талсы. Войну Найт, в ту пору пехотный сержант, провел в Европе. Он был лучшим другом Рудольфа по колледжу; несмотря на оклахомскую манеру медленно растягивать слова, он был энергичным, общительным парнем, циничным и хитроватым. Они с Рудольфом ходили на рыбалку и выпили вместе немало пива. Брэд уговаривал Рудольфа поехать в Талсу и вместе с ним и отцом заняться нефтяным промыслом. «К двадцати пяти годам ты уже станешь миллионером, сынок,— говорил Брэд.— В тех краях нефть всюду. Будешь менять «кадиллаки», как перчатки». Отец Брэда стал миллионером в двадцать четыре года, но сейчас едва сводил концы с концами. «Временные затруднения»,— говорил Брэд. Его отец не смог даже позволить себе приехать на церемонию вручения дипломов.

Тедди Бойлан тоже не присутствовал на этой церемонии, хотя Рудольф послал ему приглашение. «Я не расположен катить за пятьдесят миль в чудесный июльский день ради того, чтобы выслушать речь какого-то демократа в захудалом сельскохозяйственном колледже». Бойлан до сих пор не мог простить Рудольфу, что, когда в сорок шестом году он предложил платить за его обучение, тот отказался даже пытаться поступить в какой-нибудь из старейших университетов Новой Англии. «Однако,— писал Бойлан в своем письме,— в любом случае надо отметить такое событие. Когда все это занудство кончится, приезжай ко мне, выпьем шампанского и поговорим о твоем будущем».

Рудольф выбрал колледж в Уитби не случайно. Во-первых, поступи он в Иейльский или Гарвардский университет, его долг Бойлану составил бы гораздо больше

четырех тысяч, а во-вторых, происхождение и безденежье заставили бы его чувствовать себя чужаком среди юных лордов американского общества. В Уитби же бедность была обычным явлением. Редко кому из студентов не приходилось летом работать, чтобы осенью было чем заплатить за учебники и одежду.

Он выбрал Уитби еще и потому, что колледж находился недалеко от Порт-Филипа, и по воскресеньям Рудольф мог навещать мать, которая теперь почти никуда не выходила из своей комнаты. Он не имел права оставлять ее без присмотра — одинокая, подозрительная, полусумасшедшая, она погибла бы без него.

Летом после первого курса, начав вечерами и по субботам работать в универмаге Колдервуда, он подыскал себе в Уитби дешевую двухкомнатную квартирку с кухней и перевез мать туда. Там она сейчас и ждала его. Она сказала, что не приедет на церемонию, так как неважно себя чувствует, а кроме того, не хочет позорить его своим видом.

Позорить — пожалуй, слишком сильное слово, подумал Рудольф, оглядывая аккуратно одетых серьезных родителей своих сокурсников, но уж, конечно, она никого бы здесь не ослепила своей красотой и туалетом. Одно дело быть хорошим сыном, и совсем другое — не смотреть правде в глаза.

Итак, Мэри Пэйс Джордах, вытянув распухшие и уже почти не двигающиеся ноги, сидела сейчас в качалке у окна их убогой квартиры, посыпая шаль сигаретным пеплом, и не видела, как ее сыну вручают свернутый в трубочку диплом на искусственном пергаменте.

— Мощь военных кругов устрашающа,— гремел в динамиках голос оратора,— но на нашей стороне одно великое преимущество — стремление всех простых людей земного шара к миру...

Если Рудольф относится к простым людям, то правительственный чиновник, естественно, имел в виду и его. Наслышавшись в колледже о войне, он уже не завидовал предшествующему поколению.

В конце речи оратор, как обычно, восславил Америку — страну великих возможностей. Половине присутствовавших здесь молодых людей недавно представлялась реальная возможность быть убитыми за Америку. Но оратор сейчас смотрел не в прошлое, а в будущее и говорил о возможностях в таких областях, как наука, коммунальное обслуживание, о помощи тем народам, «которым повезло меньше, чем нам». Наверное, он был неплохим человеком, этот чиновник из Вашингтона, но его высказывания о возможностях в Америке на тысяча девятьсот пятидесятый год представлялись несколько выспренними, евангелическими и чисто вашингтонскими. Все это, конечно, вполне подходило для торжественной речи на выпускном вечере, но вряд ли соответствовало земным устремлениям трехсот с лишним сыновей бедняков, сидевших перед ним в черных мантиях; ожидая вручения дипломов об окончании маленького, финансово немощного сельскохозяйственного колледжа, они с беспокойством гадали, каким образом с завтрашнего дня начнут зарабатывать себе на жизнь.

В первом ряду, отведенном для преподавателей, профессор Дентон — заведующий кафедрами истории и экономики,— повернувшись на стуле, прошептал что-то на ухо профессору Ллойду. Рудольф улыбнулся, представив себе, как профессор Дентон комментирует ритуальное витийство члена правительства. Дентон, невысокий, желчный, седеющий человек, был разочарован в жизни, ибо уже понял, что должность заведующего кафедрой — высшая ступенька в его научной карьере. На занятиях со студентами он немало времени тратил на тирады о том, как — по его словам — крупные финансисты и бизнесмены еще во времена Гражданской войны предали американскую экономическую и политическую систему. «Американская экономика — это шулерская игра в кости,— говорил он в аудитории.— Законы тщательно продуманы таким образом, чтобы богатым выпадали только семерки, а всем остальным — только двойки».

По крайней мере раз в семестр он обязательно напоминал студентам, что в 1932 году Морган не заплатил ни одного цента подоходного налога. «Обратите внимание, джентльмены! — с горечью повторял он.— А мне, получавшему обычную преподавательскую зарплату, в том же самом году пришлось заплатить федеральному правительству пятьсот двадцать семь долларов и тридцать центов».

Однако, как заметил Рудольф, слова профессора Дентона производили совсем не тот эффект, на который профессор рассчитывал. Вместо того чтобы гореть негодованием и желанием немедленно объединиться в борьбе за преобразования, многие студенты, в том числе и сам Рудольф, мечтали о времени, когда и они достигнут

вершин богатства и власти, чтобы, как Морган, избавиться от ярма или, по выражению профессора Дентона, от «узаконенного порабощения избирателей».

Рудольф прослушал у Дентона три курса и отлично сдал экзамены, после чего тот предложил ему место преподавателя на кафедре истории.

Несмотря на свое внутреннее несогласие с позициями Дентона, которые казались ему наивными, Рудольф уважал его больше всех других преподавателей и считал, что за все время в колледже только у него и научился чему-то полезному.

Помянув напоследок бога, оратор закончил речь. Раздались аплодисменты. Затем выпускники один за другим стали получать дипломы.

Вернув взятые напрокат мантию и шапочку, Рудольф и Брэд поспешили на автостоянку к старому, довоенного выпуска «шевроле» Брэда.

— Давай проедем мимо магазина,— сказал Рудольф.— Я обещал Колдервуду заглянуть.

Небольшой универмаг Колдервуда находился на самом бойком углу главной торговой улицы Уитби. Он стоял здесь еще с девяностых годов прошлого века. Сначала это была просто лавка, удовлетворявшая несложные запросы жителей сонного городка, студентов и зажиточных фермеров из округи. Городок рос и менялся, а вместе с ним расширялся и менял свой облик магазин. Сейчас на витринах двухэтажного универмага красовалось немало разнообразных товаров. Рудольф вначале работал кладовщиком в те месяцы, когда торговля шла особенно оживленно, но так добросовестно относился к своим обязанностям и внес столько разумных дельных предложений, что Дункан Колдервуд, потомок первого владельца магазина, повысил его в должности. Но магазин по-прежнему оставался сравнительно небольшим, и один человек мог управляться здесь за нескольких. Теперь Рудольф выполнял работу продавца, декоратора витрин, автора реклам, консультанта по закупке новых товаров, и летом, когда он работал полный день, Колдервуд платил ему пятьдесят долларов в неделю.

Дункан Колдервуд, худощавый немногословный мужчина лет пятидесяти, женился поздно, но успел обзавестись тремя дочерьми. Кроме магазина ему принадлежало много земли в самом городе и за его пределами. Сколько именно — это уж его дело. Он не любил болтать языком и знал цену деньгам.

Брэд остановил машину, и Рудольф вошел в магазин.

Главный торговый зал уютно гудел женскими голосами, слегка пахло одеждой, кожей, духами — все это всегда нравилось Рудольфу. Он шел через весь магазин в кабинет Колдервуда, продавцы улыбались ему, дружелюбно махали рукой. Кто-то даже сказал «Поздравляю», и он помахал в ответ. Все его любили, особенно пожилые. Они не знали, что с ним советуются, когда кого-то увольняют или принимают на работу.

Дверь в кабинет Колдервуда, как всегда, была открыта. Колдервуд любил быть в курсе того, что происходит в магазине. Сидя за столом, он писал какое-то письмо. У него была секретарша — ее комнатка находилась рядом с его кабинетом,— но некоторые вещи он не доверял даже ей. Каждый день он писал от руки четыре-пять писем, сам наклеивал марку и сам бросал письма в почтовый ящик.

Несмотря на открытую дверь, Колдервуд не любил, когда его отвлекали от дел. Рудольф остановился на пороге.

Колдервуд дописал предложение, перечитал его, потом поднял глаза и, положив письмо чистой стороной кверху, сказал:

— Входи, Руди.— Голос у него был сухой и бесстрастный.

— Добрый день, мистер Колдервуд.

Неожиданно для Рудольфа Колдервуд встал, обошел вокруг стола и пожал ему руку.

— Ну как все прошло?

— Без неожиданностей,— ответил Рудольф.

— Присаживайся.— Колдервуд снова сел за стол на деревянный стул с прямой спинкой, а Рудольф устроился на таком же стуле справа от стола.— В Америке большинство людей, сумевших сколотить огромное состояние или уже стоящих на подступах к нему, обошлись без образования. Тебе это известно?

— Да.

— Ученых они себе нанимают,— почти с угрозой сказал Колдервуд. Сам он не окончил даже средней школы.

— Я постараюсь, чтобы мое образование не помешало мне разбогатеть,— сказал Рудольф.

Колдервуд рассмеялся, коротко и сухо.

— Уверен, это тебе удастся, Руди,— дружелюбно сказал он, открыл ящик стола, вынул оттуда бархатную коробочку и положил перед Рудольфом.— Вот тебе.

Рудольф открыл коробочку: красивые швейцарские часы на замшевой ремешке.

— Это очень любезно с вашей стороны, сэр,— поблагодарил Рудольф, стараясь скрыть свое удивление.

— Ты заслужил их.— Колдервуд смущенно поправил узкий галстук: щедрость давалась ему нелегко.— Ты много сделал для магазина,— продолжал он.— У тебя хорошая голова и настоящий талант к торговле.

— Спасибо, мистер Колдервуд,— сказал Рудольф. Вот это настоящая речь. Не то что вашингтонская чепуха насчет растущей волны милитаризма и помощи нашим менее удачливым братьям.

Колдервуд в раздумье откашлялся, встал и подошел к висевшему на стене календарю, словно перед рискованным предприятием решил в последний раз уточнить число.

— Руди, что ты скажешь, если я предложу тебе работать у меня на полной ставке?

— Это зависит от рода работы,— осторожно ответил Рудольф. Он ожидал этого предложения и для себя уже решил, на каких условиях согласится.

— Работа та же, что и раньше, только ее будет больше. Будешь заниматься всем понемногу. Тебе что — нужна определенная должность?

— Это зависит от должности.

— Зависит, зависит...— передразнил Колдервуд, но все же рассмеялся.— Тебя устроит должность помощника управляющего?

— Для начала — да.

— Наверное, мне следует просто вышвырнуть тебя из кабинета,— сказал Колдервуд. Его светлые глаза мгновенно превратились в льдинки.

— Мне не хочется казаться неблагодарным,— сказал Рудольф,— но я должен знать, на что могу рассчитывать в будущем. У меня есть другие предложения, и...

— По-видимому, тебя, как и всех других дураков, подмывает броситься в Нью-Йорк, немедленно покорить его и шататься с вечеринки на вечеринку.

— Это не совсем так,— сказал Рудольф. Он пока не чувствовал себя готовым для Нью-Йорка.— Мне нравится жить в этом городе.

— И полагаю, не без оснований,— снова садясь, почти со вздохом облегчения, сказал Колдервуд.— Послушай, Руди. Я уже далеко не молод. Доктора считают, мне надо поменьше работать. У меня нет сыновей... С тех пор как умер мой отец, все здесь делалось моими руками. Кто-то должен прийти мне на смену.— Он наклонил голову и пытливо посмотрел на Рудольфа из-под густых черных бровей.— Поначалу будешь получать сто долларов в неделю, а через год посмотрим. По-твоему, это справедливо?

— Вполне,— ответил Рудольф. Он рассчитывал всего на семьдесят пять.

— У тебя будет свой кабинет. Переоборудуем под него старый отдел упаковок на втором этаже. На дверь повесим табличку «Помощник управляющего». Но в рабочее время ты должен быть в торговом зале. Если согласен — по рукам.— Рудольф протянул руку, и Колдервуд пожал ее.— Но сначала, наверное, тебе захочется немного отдохнуть. Я понимаю. Сколько времени тебе надо? Две недели? Месяц?

— Завтра в девять утра я буду на работе,— вставая, ответил Рудольф.

Колдервуд улыбнулся, блеснув явно искусственными зубами:

— Надеюсь, я в тебе не ошибся. До завтра.

Мэри Пэйс Джордах сидела у окна и глядела вниз на улицу, поджидая Рудольфа. Он обещал приехать сразу после церемонии и показать ей свой диплом. Конечно, было бы неплохо устроить для него что-нибудь вроде вечеринки, но у нее не было на это сил. Кроме того, она не знала никого из его друзей. И не потому, что их у него не было. Телефон часто звонил, и молодые голоса говорили: «Это Чарли» или: «Это Брэд, Руди дома?» Но почему-то он никогда не приглашал никого домой.

Впрочем, оно и лучше. Разве это дом? Две темные комнаты над магазином тканей на улице без единого дерева. Видно, она обречена всю жизнь жить над магазинами. Через улицу прямо напротив них жила негритянская семья, и из окна на нее все время глазели черные лица. Похотливые дикари. В приюте она узнала о них все.

Она закурила и дрожащими руками стряхнула с шали пепел от предыдущих сигарет.

Итак, несмотря ни на что, Рудольф добился своего. Дай бог здоровья Теодору Бойлану. Она никогда не встречалась с ним, но Рудольф рассказывал, какой он умный и щедрый. Во всяком случае, ее сын заслуживал этого. С его манерами и умом... Людям было *приятно* помогать ему. Что ж, теперь он встал на ноги. И хотя не говорил ей о своих планах, она знала, они у него есть. У него всегда были планы. Конечно, если его не зацапает и не женит на себе какая-нибудь девчонка. Мэри Пэйс поежилась. Рудольф хороший мальчик, другого такого заботливого сына не найдешь. Если бы не он, бог знает, что бы с нею стало после того, как Аксель исчез в ту ночь. Но стоит на горизонте появиться девчонке, и парни точно с цепи срываются, даже лучшие из них жертвуют всем: домом, родителями, карьерой... Мэри Пэйс Джордах никогда не видела Джули, но знала, что та учится в Барнардском колледже, и знала, что Рудольф каждое воскресенье ездит к ней в Нью-Йорк,— столько миль в оба конца, возвращается чуть ли не среди ночи, бледный, под глазами синяки, взвинченный, замкнутый. И тем не менее он встречается с Джули уже пять лет! Ему пора завести себе другую. Надо поговорить с ним. Сейчас еще самое время пожить для себя. Сотни девушек будут просто счастливы броситься ему на шею.

— Из-за угла на большой скорости, скрепя тормозами, вылетела машина. Мэри увидела Рудольфа: черные волосы разметались на ветру, ну прямо юный принц!

Машина остановилась, и Рудольф выпрыгнул из нее. Ловкий, изящный. В отличном синем костюме. С его фигурой можно красиво одеваться: стройный, широкоплечий, с длинными ногами. Мэри Джордах отодвинулась от окна. Рудольф никогда не говорил ей об этом, но она знала: ему не нравится, что она целыми днями сидит у окна, глядя на улицу.

С трудом поднявшись, она вытерла глаза уголком шали и проковыляла к обеденному столу. На лестнице послышались его шаги, она быстро сунула сигарету в пепельницу.

— Вот, полюбуйся,— сказал Рудольф, входя в комнату, и развернул перед ней на столе пергаментный свиток.— Это по-латыни.

Мэри разобрала его фамилию, написанную готическим шрифтом, и на глаза у нее навернулись слезы.

— Если бы я знала адрес твоего отца... Ему бы сейчас увидеть, чего ты достиг без всякой его помощи.

— Мам,— мягко сказал Рудольф,— отец умер.

— Это ему хочется, чтобы люди так думали. Но я-то знаю его лучше. Он не умер, а сбежал. И сейчас, в эту самую минуту, смеется над всеми. Ведь тело так и не нашли, правда?

— Думай как хочешь,— вздохнул Рудольф.— Мне надо собрать сумку. Я останусь ночевать в Нью-Йорке.— Он прошел к себе в комнату и бросил в сумку бритву, кисточку, пижаму и чистую рубашку.— Тебе что-нибудь надо? — крикнул он матери.— Как у тебя с ужином?

— Открою консервы,— ответила Мэри и, кивнув в сторону улицы, спросила: — Ты поедешь с этим парнем? Мне не нравится, как он водит. Лихач. Ты хоть иногда думаешь, что я буду делать, если с тобой что-нибудь случится? Меня выбросят на помойку как собаку.

— Мам, у нас ведь сегодня праздник. Надо радоваться.

— Я закажу рамку для твоего диплома. Что ж, развлекайся. Ты это заслужил. Только не слишком задерживайся. Где ты остановишься? Дай мне телефон на всякий случай.

— Ничего не случится.

— И все-таки.

— Я буду у Гретхен.

— Блудница! — Они никогда не говорили о Гретхен, но Мэри знала, что Рудольф с ней видится.

— О, господи,— вздохнул Рудольф.

Мэри, конечно, перегнула палку и сама это знала, но не хотела сдавать позиций.

— Ты ничего не сказал о своих планах,— заметила Мэри.— Теперь ведь у тебя начинается настоящая жизнь. Я думала, ты найдешь минутку, посидишь со мной, расскажешь... Хочешь, я приготовлю чай...

— Завтра, мам. Завтра я обо всем тебе расскажу, не беспокойся.— Он еще раз поцеловал ее и исчез, легко сбежав по лестнице. Мэри Джордах встала, проковыляла к окну и села в свою качалку — старуха, проводящая все время у окна. Пусть видит.

Машина покатила прочь. Он так и не взглянул наверх.

Они все ее бросают. Все как один. И даже лучший из них.

Машина, сопя, вскарабкалась на холм и въехала в знакомые каменные ворота.

Даже в этот солнечный июньский день от обрамлявших подъездную дорожку тополей падали темные, скорбные тени. Окруженный неухоженными цветочными клумбами дом постепенно, но неуклонно ветшал.

— Падение дома Эшеров,— сказал Брэд, разворачивая машину и направляя ее во двор. Рудольф так часто бывал здесь, что у него подобных ассоциаций не возникало. Для него это был просто дом Тедди Бойлана.— Кто здесь живет? Дракула?

— Один хороший знакомый,— ответил Рудольф. Он никогда не рассказывал Брэду о Бойлане.— Друг семьи. Он помог мне получить образование. Идем, я познакомлю тебя с ним. Нас ждет шампанское.

Дверь открыл Перкинс.

— Добрый день, сэр,— поздоровался он. Из гостиной доносились звуки рояля. Рудольф узнал сонату Шуберта.— Мистер Джордах и его друг,— объявил Перкинс, распахивая дверь в гостиную.

Бойлан доиграл пассаж и встал. На столе стояла бутылка шампанского в ведерке со льдом, рядом два высоких узких бокала.

— Добро пожаловать,— он с улыбкой протянул Рудольфу руку.— Рад тебя видеть.— Бойлан два месяца провел на юге и сильно загорел, его волосы и прямые брови совсем выгорели. На секунду Рудольфу показалось, что в лице его что-то изменилось, но он пока не мог определить, что именно.

— Разрешите представить вам моего друга Брэдфорда Найта. Мы учились в одной группе.

— Здравствуйте, мистер Найт.— Бойлан пожал ему руку.— Насколько я понимаю, вас тоже можно поздравить.

— Полагаю, да,— улыбнулся Брэд.

— Нам нужен еще один бокал, Перкинс,— сказал Бойлан, крутя бутылку в ведерке со льдом, и спросил: — Ну как, речь демократа была поучительной? Он упомянул о тяготах богатства?

— Он говорил об атомной бомбе,— ответил Рудольф.

— А он не сказал, на кого мы теперь собираемся ее сбросить?

— Кажется, ни на кого.— Рудольф сам не понимал почему, но ему захотелось встать на защиту члена правительства.— В общем-то, в его словах было много здравого смысла.

— Да ну? Может, он скрытый республиканец? — ехидно заметил Бойлан.

Неожиданно Рудольф понял, что́ изменилось в лице Бойлана. Под глазами больше не было мешков. Наверно, он как следует отоспался на юге.

Бойлан наполнил бокалы.

— Итак, за будущее,— сказал он.— За эту опасную и неопределенную временную категорию.

— Это, пожалуй, повкуснее кока-колы,— сказал Брэд. Рудольф чуть нахмурился. Брэд нарочно изображал деревенщину — его коробила элегантность и рафинированность Бойлана.

— А что, если нам пойти в сад и допить бутылку на солнце? — предложил Бойлан, повернувшись к Рудольфу.— В этом всегда есть что-то праздничное — выпить на свежем воздухе.

— Спасибо, но у нас мало времени,— отказался Рудольф.

— Вот как? — удивленно поднял брови Бойлан.— А я полагал, мы вместе поужинаем. Вы тоже приглашены, мистер Найт.

— Благодарю вас, но все зависит от Руди.

— Нас ждут в Нью-Йорке,— объяснил Рудольф.

— Понимаю. Вечеринка, молодые люди...— Бойлан налил себе еще шампанского.— Все это вполне естественно в такой день... Ты с сестрой увидишься?

— Да, мы собираемся у нее.— Рудольф не имел обыкновения врать.

— Передай ей от меня привет,— попросил Бойлан.— Я надеялся, за ужином мы сможем спокойно поговорить обо всем, но раз вы торопитесь... Конечно, в такой вечер вам хочется быть среди своих сверстников. Тем не менее не уделишь ли ты мне сейчас несколько минут?

— Если хотите, я пока погуляю,— сказал Брэд.

— Вы очень деликатны, мистер Найт,— в тоне Бойлана на мгновенье прозвучала насмешка,— но нам с Рудольфом нечего скрывать. Так, Рудольф?

— Не знаю,— холодно ответил Рудольф. Он не собирался участвовать в непонятной игре, затеянной Бойланом.

— Я сделал следующее,— деловым тоном начал Бойлан.— Я купил тебе билет на круиз вокруг Европы на «Куин Мэри». Отплываешь через две недели, так что у тебя достаточно времени повидать друзей, получить паспорт и закончить все необходимые дела. Я думаю, тебе следует посмотреть Лондон, Париж, Рим и прочее, как полагается. Собственно, настоящее образование начинается после окончания колледжа.

— Я не смогу,— ставя бокал, сказал Рудольф.

— Почему? — удивился Бойлан.— Ты всегда мечтал побывать в Европе.

— Когда мне это будет по средствам.

— О, дело только в этом? — покровительственно рассмеялся Бойлан.— Ты неправильно меня понял. Это мой подарок. Мне кажется, путешествие пойдет тебе на пользу. Избавишься от некоторой провинциальности — только не обижайся. Может быть, в августе я присоединюсь к тебе где-нибудь на юге Франции.

— Спасибо, Тедди, но я не могу.

— Жаль,— пожал плечами Бойлан.— Впрочем, умный человек сам знает, когда принять подарок, а когда отказаться. Конечно, если у тебя более интересные планы...

— С завтрашнего дня я начинаю работать у Колдервуда на полной ставке.

— Бедняга, тебя ожидает скучное лето,— заметил Бойлан.— Меня удивляют твои вкусы. Ты предпочитаешь продавать кастрюли и сковородки неряшливым домохозяйкам в захолустном городке, вместо того чтобы съездить во Францию. Впрочем, тебе виднее. А что после лета? Ты решил заняться правом, как я тебе советовал, или постараешься попасть на дипломатическую службу?

Вот уже больше года Бойлан уговаривал Рудольфа выбрать одну из этих профессий. Сам Бойлан отдавал предпочтение юриспруденции. «Молодому человеку, наделенному лишь сильным характером и умом,— писал он Рудольфу,— юриспруденция открывает дорогу к власти и богатству. Америка — страна юристов. Часто хороший адвокат держит в руках компанию, которая его наняла, и постепенно становится ее хозяином. Мы живем в сложное время, и оно чем дальше, тем сложнее. Юрист, хороший юрист — единственный надежный проводник, который помогает нам пробраться сквозь дебри наших сложностей, и за это он получает соответствующее вознаграждение. Даже в политике... Посмотри, сколько юристов занимают кресла в сенате. Почему бы и тебе не сделать подобную карьеру? Видит бог, стране выгоднее пользоваться услугами человека с твоим интеллектом и характером, чем содержать на Капитолийском холме некоторых из этих клоунов-проходимцев. Или подумай о службе в госдепартаменте. Нравится нам или нет, но мы правим миром или хотя бы стремимся к этому. Мы должны поставить своих лучших людей на посты, дающие им возможность влиять на деятельность наших друзей и наших врагов».

— Ты не ответил на мой вопрос,— настаивал Бойлан.— Что же ты выбрал?

— Ни то, ни другое,— ответил Рудольф.— Я обещал Колдервуду проработать у него по крайней мере год.

— Ясно. Насколько я понимаю, ты не метишь высоко,— разочарованно сказал Бойлан.

— Нет, это не так. Но я иду своим путем.

— Что ж, значит, твоя поездка в Европу отменяется,— сказал Бойлан.— Не смею больше задерживать. Вас ждут друзья. Рад был с вами познакомиться, мистер Найт.— Он допил шампанское и вышел из комнаты.

Брэд заговорил, когда они уже выехали за ворота:

— У этого типа что-то странное с глазами. Не могу понять. Такое впечатление, будто кожу вокруг глаз...— он замолчал, подбирая подходящее сравнение.— Как будто кожу... подтянули, что ли. Ха, знаешь что? Спорим, он только что сделал пластическую операцию.

Точно, подумал Рудольф. Ну конечно. Вовсе он не отсыпался на юге.

— Возможно,— сказал он.— От Тедди Бойлана жди чего угодно.

— Выпивка на кухне,— весело объявила Гретхен вновь прибывшей паре, а сама, оглядывая маленькую гостиную, подумала: кто все эти люди? Зачем они здесь?

В комнате набилось человек тридцать, и из них она знала только половину. А сколько еще придет? Этого она никогда не могла сказать заранее. Иногда у нее возникало такое впечатление, что Вилли приглашал первых попавшихся на улице людей. Мэри-Джейн распоряжалась на кухне, заменяя бармена. У Мэри-Джейн был сейчас трудный период — она оправлялась после второго развода,— и ее надо было приглашать на все сборища.

Гретхен поморщилась, заметив, как кто-то из гостей стряхнул пепел прямо на ковер, а потом бросил тут же окурок и раздавил его каблуком.

Рудольф с Джонни Хитом, как всегда, забились вдвоем в угол и о чем-то оживленно беседовали. Говорил в основном Джонни, а Рудольф слушал. Двадцатипятилетний Хит уже был партнером в одной из маклерских фирм на Уолл-стрит и, по слухам, успел сколотить себе на бирже целое состояние. Он был обаятельным молодым человеком, скромным, уравновешенным, с живыми глазами и тихим голосом. Гретхен знала, что, приезжая в Нью-Йорк, Рудольф часто ужинает с ним и ходит на бейсбол. Когда бы ей ни доводилось случайно услышать их разговор, они говорили об одном и том же: биржевые сделки, слияние компаний, создание новых фирм, прибыли, способы снижения налогов. Ей все это представлялось ужасно скучным, но Рудольфа, кажется, безумно увлекало. Однажды она спросила его, почему из всех людей, бывающих в ее доме, он выбрал в друзья именно Джонни. Рудольф совершенно серьезно ответил: «Он единственный из твоих приятелей, кто может чему-то меня научить».

Кто поймет ее брата? Тем не менее Гретхен не собиралась устраивать в честь брата *такую* вечеринку. Но почему-то все вечеринки в их доме оказывались именно такими. Состав гостей периодически менялся: актеры, актрисы, молодые режиссеры, журналисты, манекенщицы, девушки из журнала «Тайм», продюсеры с радио, молодой человек из рекламного агентства, женщины вроде Мэри-Джейн, которые, едва разведясь, рассказывали всем, что их бывшие мужья — гомосексуалисты; похожие на мошенников молодые люди с Уолл-стрит, аппетитная секретарша, после третьей рюмки начинавшая флиртовать с Вилли; бывший пилот из эскадрильи Вилли, неизменно затевавший с Гретхен разговор о Лондоне; чей-то неудовлетворенный муж, который вначале пытался за ней ухаживать, а под конец уходил с Мэри-Джейн...

Да, состав гостей периодически менялся, но разговоры велись все те же. Устраивать такой вечер раз в месяц еще куда ни шло. Даже два раза в месяц, если бы они не засыпали пеплом всю комнату. В общем-то, все они были красивыми, образованными молодыми людьми. У всех откуда-то были деньги, и все хорошо одевались. Живя в Порт-Филипе, Гретхен мечтала как раз о таких друзьях. Но они окружали ее уже почти пять лет... И эти выпивки на кухне. Бесконечные вечеринки.

С решительным видом она прошла сквозь толпу к лестнице и поднялась в комнату на чердаке, где спал Билли. Кроме его кроватки и игрушек здесь был еще большой стол, за которым Гретхен работала.

На столе стояла пишущая машинка, высились кипы книг, газет и журналов. Гретхен любила работать рядом с сыном, а тому нисколько не мешал стрекот пишущей машинки.

Она включила настольную лампу и увидела, что он не спит. Он лежал в пижаме на своей кровати — рядом, на подушке, тряпичный жираф,— медленно водил руками по воздуху, точно рисовал какие-то узоры в сигаретном дыму, плывшем сюда снизу. Гретхен почувствовала себя виноватой. Но не запретишь же людям курить, потому что наверху спит четырехлетний ребенок, которому это может не нравиться. Она на-

гнулась и поцеловала сына в лоб. После ванны от малыша пахло мылом и чистой детской кожей.

— Когда я вырасту,— сказал он,— не буду никого приглашать в гости.

Не в отца пошел, подумала Гретхен. Хотя и точная его копия: светловолосый, на щеках ямочки. Ничего от Джордахов. Впрочем... Наверное, Томас в детстве был таким же.

— Спи, Билли.— Гретхен склонилась над кроваткой и поцеловала его еще раз. Потом подошла к столу и взяла попавшуюся под руку книгу — «Основы психологии». Она ходила на вечерние курсы при Колумбийском университете. Ее угнетало ощущение своей необразованности, и она стеснялась просвещенных друзей Вилли, а порой и его самого.

Когда родился Билли, Гретхен ушла из театра. Вернусь туда позже, когда он подрастет и я не буду нужна ему целый день, убеждала она себя тогда. Но теперь уже твердо знала, что никогда не будет актрисой. Невелика потеря. Ей пришлось подыскивать работу, которой можно было бы заниматься дома, и, к счастью, она нашла ее без труда. Она стала помогать Вилли: когда ему надоедало или он был занят другими делами, писала за него рецензии на радиопостановки, а затем и на телепрограммы. Поначалу он подписывался под ее статьями, но вскоре ему в редакции предложили административную работу с повышением жалованья, и с этих пор она ставила под рецензиями свою подпись. Редактор с глазу на глаз сказал ей, что она пишет гораздо лучше Вилли, но она к тому времени уже сама поняла, чего стоит литературное дарование мужа. Однажды, разбирая старый чемодан, она наткнулась на первый акт его пьесы. Полное убожество. То, что казалось умным и смешным, когда Вилли рассказывал, на бумаге превращалось в пошлость. Конечно, она не сказала ему о своем впечатлении, как не сказала, что вообще прочла его пьесу, но стала настойчиво склонять перейти на административную работу.

Она взглянула на листок желтой бумаги, вставленной в машинку. Сверху карандашом был выведен вариант заголовка «Песнь песней коммерсанта», и Гретхен скользнула глазами по странице. «Доверчивость,— писала она,— которая считается национальной чертой всех американцев, с выгодой используется коммерсантами, обманом или угрозами навязывающими нам свои товары независимо от того, полезны они нам, нужны или, наоборот, опасны. Нас смешат, чтобы мы покупали суповые концентраты, пугают, чтобы всучить джем для завтрака, цитируют «Гамлета», предлагая нам автомобили, несут околесицу, чтобы мы приобретали слабительное...»

Гретхен поморщилась. Недотянуто. К тому же бесполезно. Кто будет ее слушать и тем более что-то предпринимать? Американцам кажется, что они покупают то, что хотят. Большинство ее гостей там, внизу, в той или иной мере наживаются именно на том, что́ их хозяйка осуждает здесь, наверху. Она вытащила лист из машинки и бросила в мусорную корзинку — все равно эту статью никто никогда не напечатает. Об этом позаботится даже сам Вилли.

На лестнице послышались шаги. Вилли открыл дверь.

— А я-то думал, куда ты подевалась.

— Я пыталась прийти в себя.

— Гретхен,— укоризненно сказал он. Лицо его слегка разрумянилось от выпитого, а на верхней губе выступили капельки пота.— Они не только мои друзья, но и твои.

— Ничьи они не друзья,— отрезала Гретхен.— Просто любят выпить, вот и все.

— Что же, по-твоему, я должен сделать? Выгнать их?

— Да, выгнать.

— Ты же знаешь, что это невозможно. Пошли вниз, дорогая. Они бог знает что могут о тебе подумать.

— Скажи, что у меня вдруг возникло дикое желание покормить ребенка грудью. В некоторых племенах женщины кормят детей грудью до семи лет. Они там внизу всё знают. Посмотрим, знают ли и это.

— Родная.— Вилли подошел и обнял ее. На нее пахнуло запахом джина.— Успокойся, прошу тебя. Ты стала ужасно нервной.

— О, так ты это заметил?

— Конечно, заметил.— Он поцеловал ее в щеку. Пустой поцелуй, подумала Гретхен. Он не спал с ней две недели.— Ты себя совсем не жалеешь. Ребенок, рабо-

та, учеба...— Вилли все время пытался уговорить ее бросить занятия.— Что ты хочешь этим доказать? Я и так знаю, что ты самая умная женщина в Нью-Йорке.

— Я не делаю и половины того, что следует. Мне, пожалуй, стоит спуститься и подцепить подходящего кандидата в любовники. Чтобы успокоить нервы.— Она вырвалась из его объятий, повернулась и вышла из комнаты.

Рудольф, наговорившись с Джонни Хитом, стоял в углу с Джули. Джули, вероятно, приехала, пока Гретхен была наверху.

Гретхен махнула рукой Рудольфу, но не сумела привлечь его внимания. Она уже шла к нему и Джули, когда ее остановил директор одного рекламного агентства, слишком хорошо одетый и слишком красиво причесанный.

— Дорогая хозяйка,— сказал человек, похожий на английского актера. Его звали Алек Листер. Он начал свою карьеру посыльным в радиокомпании Си-Би-Эс, но это было давным-давно.— Разрешите вас поздравить. Вечер удался на славу.

— Вы — подходящий кандидат? — глядя ему прямо в глаза, спросила Гретхен.

— Что?— Листер с недоумением взял стакан в другую руку. Он не привык, чтобы с ним говорили загадками.

— Ничего,—ответила Гретхен.— Поток сознания. Рада, что вам нравится мой зверинец.

— Очень нравится,— без колебаний одобрил он.— Очень. А еще мне нравится состав гостей и ваши статьи. Если вы позволите мне высказать свое мнение,— продолжал он, зная, что может спокойно высказывать свое мнение по любому поводу,— статьи прекрасные, но... на мой взгляд, излишне колючие. В них чувствуется некоторая враждебность. Должен признаться, это придает им приятную остроту, однако их общая направленность против всего рекламного бизнеса...

— О, значит, и вы это заметили? — невозмутимо сказала Гретхен.

— Да, заметил,— сухо сказал Листер, равнодушно глядя на нее. Вся сердечность его исчезла, и лицо в одну секунду стало официальным, холодным.— И не только я. В наши дни, когда действия почти каждого расследуются и рекламодатели чертовски осторожны, чтобы не заплатить деньги людям, чьи позиции могут оказаться неприемлемыми...

— Вы меня предостерегаете?

— Можете считать — да,— сказал он.— По дружбе.

— Очень мило с вашей стороны, дорогой,— легко коснувшись его плеча и нежно улыбаясь, сказала Гретхен.— Но боюсь, уже немного поздно. Я воинствующая коммунистка на содержании у Москвы.

— Не обращай на нее внимания, Алек,— сказал Вилли, подойдя к ним, и крепко взял Гретхен за локоть.— Она сегодня на всех бросается. Идем на кухню, выпьем чего-нибудь.

— Спасибо, Вилли,— ответил Листер,— но мне пора идти. Я обещал заглянуть еще в два дома сегодня.— Он поцеловал Гретхен в щеку почти воздушным поцелуем.— До свиданья, дорогая. Надеюсь, вы запомнили, что я вам сказал.

— Я ваши слова высеку на мраморе,— сказала она.

Невозмутимый и равнодушный, он пошел к выходу, по пути поставив свой стакан на книжный шкаф. Потом на полировке останется пятно.

— В чем дело? — тихо спросил Вилли.— Ты ненавидишь деньги?

— Я ненавижу *его*.— Гретхен отодвинулась от мужа и, сияя улыбкой, стала проталкиваться в угол, где Рудольф разговаривал с Джули. Казалось, Джули вот-вот заплачет, а у Рудольфа был сосредоточенный, упрямый вид.

— По-моему, это ужасно,— говорила Джули.— Да, я так считаю.

— Ты сегодня изумительно выглядишь, Джули. Просто роковая женщина,— прервала ее Гретхен.

— Во всяком случае, я себя ею не чувствую,— голос Джули дрожал.

— А что произошло?

— Он собирается постоянно работать у Колдервуда. С завтрашнего дня.

— Ничто не постоянно,— сказал Рудольф.

— Хочет на всю жизнь застрять за прилавком в захолустном городишке,— не слушая его, продолжала Джули.— Стоило ли ради этого кончать колледж?!

— Я объяснял тебе, что нигде не собираюсь застревать на всю жизнь,— возразил Рудольф.

— Нет, ты уж расскажи сестре все,— не унималась Джули.

— А что еще? — спросила Гретхен. Признаться, ее тоже разочаровал выбор Рудольфа. В то же время она в душе вздохнула с облегчением: работая у Колдервуда, он будет продолжать заботиться о матери.

— Мне хотели сделать подарок. Лето в Европе,— ровным голосом сказал Рудольф.

— Кто это тебе предложил? — спросила Гретхен, хотя знала ответ.

— Тедди Бойлан. Я уверена, родители разрешили бы мне с ним поехать,— сказала Джули.— Это было бы самое замечательное лето в нашей жизни.

— У меня нет времени на самое замечательное лето в нашей жизни,— отчеканивая каждое слово, заявил Рудольф.

— Руди, по-моему, ты заслужил отдых после такой напряженной работы,— сказала Гретхен.

— Европа никуда не денется. Я поеду туда, когда почувствую, что созрел для этого.

— Гретхен,— подошел к ней молодой человек,— мы хотели поставить пластинку, но похоже, проигрывателю капут.

— Я с вами обоими еще поговорю,— сказала Гретхен Рудольфу и Джули.— Что-нибудь придумаем.— И вместе с молодым человеком направилась к проигрывателю.

Когда спустя некоторое время она взглянула в их сторону, то обнаружила, что они уже ушли. «Больше в этом доме целый год не будет никаких вечеров»,— решила Гретхен и прошла на кухню, где Мэри-Джейн налила ей виски.

Они шли к Пятой авеню. Джули шагала на расстоянии от Рудольфа. Ее полные губы были обиженно сжаты.

— У тебя там есть женщина,— сказала она наконец.— Поэтому ты и хочешь остаться в этой дыре.

Рудольф рассмеялся.

— Можешь смеяться, все равно меня не обманешь,— с горечью продолжала Джули.— Тебе вскружила голову какая-нибудь продавщица из галантерейного отдела, или кассирша, или еще кто-то. Ты спишь с ней, я знаю.

Он снова рассмеялся над ее беспочвенными обвинениями.

— А если нет, значит, ты какой-то неполноценный. Мы встречаемся уже пять лет, ты говоришь, что любишь меня, но мы только целуемся.

— Ты ничем не намекала, что ждешь большего.

— Что ж. Вот я и намекнула. Жду. Сейчас. Сегодня. Я остановилась в «Сент-Морице», номер девятьсот двадцать три.

— Нет,— сказал Рудольф.

— Или ты мне врешь, или ты неполноценный.

— Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Можем пожениться хоть на следующей неделе.

— И где же мы проведем наш медовый месяц? В отделе дачной мебели универмага Колдервуда? Я предлагаю тебе свое белое непорочное тело,— насмешливо продолжала она.— И не требую взамен никаких обязательств. Кому нужна свадьба? Я свободная, эмансипированная, чувственная американка! Ты хочешь похоронить меня вместе с собой в унылом провинциальном городишке. А я-то всегда считала, что ты умный, что у тебя впереди блестящее будущее. Хорошо, я выйду за тебя замуж. На следующей неделе. Но при условии, что летом мы поедем в Европу, а осенью ты начнешь изучать право. Впрочем, последнее не обязательно. Мне неважно, чем ты будешь заниматься, но мы должны жить в Нью-Йорке. Я тоже буду работать. Я хочу работать. А что мне делать в Уитби? Весь день думать, какой надеть фартук к твоему приходу домой?

— Я обещаю, что через пять лет мы будем жить в Нью-Йорке или в любом другом месте, где ты пожелаешь.

— Ты обещаешь! Обещать легко. Но я не собираюсь вычеркнуть из своей жизни целых пять лет. Я тебя просто не понимаю. Ну скажи на милость, что это тебе даст?

— Я начинаю работать на два года раньше всех, с кем я учился. И я знаю, что я делаю. Колдервуд мне доверяет. А Колдервуд скоро будет ворочать крупными делами. Магазин — лишь первый шаг, можно сказать трамплин. Колдервуд этого

не знает, но я знаю. И когда я перееду в Нью-Йорк, то буду не просто никому не известным молодым человеком, только что окончившим колледж и обивающим пороги в поисках работы. Я не буду стоять в прихожих и держать шляпу в руках, дожидаясь, пока меня примут. Когда я приеду в Нью-Йорк через пять лет, меня будут радушно встречать уже на пороге. Я слишком долго был бедным, Джули, и сделаю все, чтобы никогда не быть бедным снова.

— Ты — дитя Бойлана. Он погубил тебя. Деньги!.. Неужели они так много для тебя значат? Только деньги... Даже если так... если бы ты решил стать юристом...

— Я не могу больше ждать,— сказал он.— Я ждал слишком долго. И с меня хватит учебы. Нужен мне будет юрист, я найму его. Если хочешь быть со мной — прекрасно. Если нет...— но он не мог заставить себя продолжать и виновато повторил: — Если нет... Джули, я не знаю... Я думал, что все знаю, все понимаю. Но я не понимаю тебя.

— Я обманывала родителей, чтобы только быть с тобой,— она уже плакала.— Но ты не тот Рудольф, которого я любила. Ты — марионетка в руках Бойлана. Я не хочу больше с тобой говорить.

Безудержно рыдая, она махнула проходившему мимо такси, вскочила в него и хлопнула дверью.

Застыв на месте, он глядел вслед удалявшейся машине. Затем повернулся и медленно побрел обратно к дому сестры. У него там осталась сумка. Гретхен постелет ему на диване в гостиной.



**Глава 3**

*1950 год*

Томас набрал нужную комбинацию цифр в замке и открыл свой шкафчик. Вот уже несколько месяцев на всех шкафчиках в раздевалке висели замки. Это было сделано по настоянию Брюстера Рида после того, как у него пропала из кармана знаменитая стодолларовая ассигнация.

Томас в ту злополучную субботу находился в Порт-Филипе. В понедельник, когда Томас вернулся в клуб, Доминик с удовольствием сообщил ему эту новость. «По крайней мере теперь эти гады знают, что ты ни при чем, и не будут обвинять меня, что я нанял на работу вора»,— сказал Доминик. Более того, он даже добился, чтобы клуб повысил Томасу зарплату на десять долларов в неделю.

Когда Томас вошел в зал, Доминик и Гриннинг надевали перчатки. Доминик был простужен, а кроме того, накануне вечером слишком много выпил. Глаза у него были красные, двигался он медленно. Тренировочный костюм висел на нем как мешок. Доминик выглядел старым, сквозь растрепанные волосы поблескивала лысина. Гриннинг, слишком высокий для своей весовой категории, нетерпеливо расхаживал по залу. В ярком свете ламп глаза его казались выцветшими, а коротко подстриженные белокурые волосы — почти платиновыми. Розовощекий, с прямым носом, решительным подбородком и тяжелой челюстью, он, бесспорно, был красив и, если бы не вышел из богатой семьи, пренебрежительно относившейся к профессии актера, наверняка мог бы стать звездой в ковбойских фильмах. С того дня, как Гриннинг обвинил Томаса в краже десяти долларов, он ни разу не заговаривал с ним и сейчас, когда тот вошел в зал, даже не взглянул в его сторону.

— Помоги мне, малыш,— попросил Доминик. Томас зашнуровал ему перчатки.

Доминик взглянул на большие часы над дверью зала, чтобы засечь время и ни в коем случае не боксировать более двух минут без отдыха, потом поднял руки к груди и шагнул к Гриннингу.

— Если вы готовы, можем начинать, сэр.

И Гриннинг немедленно двинулся на него. Он боксировал в традиционной, академической манере. Длинные руки позволяли ему посылать неожиданные удары в голову Доминику. Простуда и похмелье быстро дали себя знать — Доминик начал задыхаться. Пытаясь выйти из круга ударов, он уперся головой Гриннингу в подбородок и без особого энтузиазма наносил ему вялые удары в живот. Внезапно Гриннинг шагнул назад и правой рукой нанес молниеносный апперкот, который пришелся Доминику прямо в зубы.

Дрянь, подумал Томас, но вслух не сказал ничего, и выражение его лица не изменилось.

Доминик сел на мат и непроизвольно поднес огромную перчатку к окровавленным губам. Гриннинг даже не пошевельнулся, чтобы помочь ему встать. Он отступил на шаг и задумчиво смотрел на Доминика, ожидая, когда тот поднимется. Доминик протянул руку в перчатках к Томасу.

— Сними их с меня, малыш,— хрипло сказал он.— Мне на сегодня хватит.

В полной тишине Томас нагнулся, расшнуровал перчатки и снял их с Доминика. Он знал, что старый боксер не захочет, чтобы ему помогли встать, и поэтому не предложил руку для опоры. Доминик медленно поднялся на ноги и вытер окровавленный рот рукавом.

— Извините, сэр,— сказал он Гринингу.— Я, кажется, сегодня не в форме.

— Мне такой разминки мало,— недовольно заметил Гриннинг.— Вам следовало сразу сказать, что вы плохо себя чувствуете. Я тогда не стал бы раздеваться. А как ты, Джордах? — повернулся он к Томасу.— Хочешь размяться со мной несколько минут?

Томас вопросительно взглянул на Доминика, в темных опухших глазах которого вспыхнула сицилийская ненависть.

— Ну что ж, Том, если мистер Гриннинг изъявляет такое желание,— тихо сказал он, сплевывая кровь,— я думаю, ты можешь оказать ему услугу.

Томас надел перчатки, и Доминик молча зашнуровал их. Томас ощутил знакомое напряженное чувство: страх, удовольствие, нетерпение. По рукам и ногам словно пробежал электрический ток. Он заставил себя весело, по-мальчишески улыбнуться Гринингу, который наблюдал за ним с каменным лицом. Доминик отступил в сторону.

— Порядок,— сказал он.

Гриннинг, прикрывая подбородок правой рукой, а левую выставив вперед, двинулся на Томаса. Тот легко отбил удар его левой руки и тотчас уклонился от метнувшейся к нему правой. Гриннинг был выше его, но всего на восемь-девять фунтов тяжелее. Однако двигался быстрее, чем Томас ожидал, и следующий удар пришелся Томасу повыше виска. Томас давно не дрался по-настоящему, и вежливые разминки с мирными джентльменами, тренировавшимися в клубе, были недостаточной подготовкой к такому поединку. Гриннинг сделал обманный выпад и нанес левой хук Томасу в голову. «Сукин сын не шутит»,— подумал Томас, пригнулся, ударил левой Гриннинга в бок и послал удар правой ему в подбородок. Гриннинг вошел в клинч, стал молотить его по ребрам правой. Он был сильным, очень сильным. В этом не приходилось сомневаться.

Томас бросил быстрый взгляд на Доминика, ожидая какого-нибудь сигнала, но тот бесстрастно стоял в стороне. Ну что ж, прекрасно, решил Томас, тогда начнем. Черт с ним, будь что будет...

Гриннинг дрался расчетливо и грубо, пользуясь преимуществом своего роста и веса, а Томас вкладывал в свои меткие удары всю ту злобу, которую так долго держал под спудом. «Вот тебе, капитан,— говорил он про себя, пуская в ход все известные ему приемы.— Получай, богатый красавчик. Вот тебе, полицейский, на все твои десять долларов».

У обоих уже текла кровь из носа и изо рта, когда Томас, наконец, нанес удар, который, он знал, будет началом конца. Глупо улыбаясь, Гриннинг отступил назад, слабо размахивая поднятыми руками. Томас обошел вокруг него, готовясь к последнему решающему удару, но в этот момент Доминик встал между ними.

— Пока хватит, джентльмены,— сказал он.— Это была хорошая разминка.

Гриннинг быстро пришел в себя и холодно уставился на Тома.

— Снимите с меня перчатки, Доминик,— коротко сказал Гриннинг. Он даже не подумал вытереть кровь с лица. Доминик расшнуровал ему перчатки, и Гриннинг, держась очень прямо, вышел из зала.

— Прощай моя работа в клубе,— сказал Томас.

— Очень может быть,— согласился Доминик.— Но такой бой стоит этого. По крайней мере для меня.— И он улыбнулся.

Прошло три дня, но ничего не случилось. Ни Доминик, ни Томас не сказали о поединке с Гринингом никому из членов клуба. Возможно, Гриннинг был слишком сконфужен тем обстоятельством, что его побил двадцатилетний мальчишка, уступавший ему и ростом и весом, и не решался устроить скандал.

Каждый вечер перед закрытием клуба Доминик говорил:

— Пока все тихо,— и стучал по дереву.

Но на четвертый день Чарли, уборщик раздевалки, подошел к Томасу.

— Доминик вызывает тебя к себе,— сказал он.— Иди немедленно.

Доминик сидел за письменным столом, пересчитывая лежащие перед ним деньги — девяносто долларов десятками. Когда Томас вошел в кабинет, Доминик печально взглянул на него.

— Вот тебе зарплата за две недели вперед, малыш,— сказал он.— Сегодня днем было собрание клубного комитета. Ты уволен.

— Вам следовало разрешить мне нанести тот последний удар,— заметил Томас.

— Да, наверно.

— У вас тоже будут неприятности?

— Возможно,— ответил Доминик и добавил: — Береги себя. Запомни мой совет: никогда не доверяй богачам.



## Глава 4

*1954 год*

Он проснулся ровно без четверти семь. Он никогда не заводил будильник. Обходился без него.

В комнате было холодно. На открытом окне ветер шевелил шторы, и сквозь них пробивался бледный свет раннего зимнего утра.

День сегодня должен быть необычным. Вчера перед закрытием он зашел к Колдервуду и положил ему на стол толстый конверт.

— Мне бы хотелось, чтобы вы прочли это, когда у вас будет время.

— Очередная сумасбродная идея? — спросил тот.— Снова хочешь меня на что-то подбить?

— Ага,— улыбнулся Рудольф.

— Знаешь что, молодой человек, с тех пор как ты начал работать в магазине, у меня повысился холестерин. Значительно повысился!

— Миссис Колдервуд просила меня убедить вас взять отпуск.

— Вот как? — фыркнул Колдервуд.— Она просто не знает, что я не должен оставлять тебя одного в магазине даже на десять минут.

Тем не менее, уходя домой, он захватил с собой конверт. Рудольф был уверен: стоит Колдервуду начать читать то, что лежало в конверте, он не остановится, пока не дочитает до конца.

Откинув одеяло, Рудольф встал, быстро подошел к окну и закрыл его. Стараясь не дрожать от холода, снял пижаму и надел теплый спортивный костюм, шерстяные носки и теннисные туфли. Потом накинул на плечи клетчатое драповое пальто, осторожно закрыл за собой дверь, чтобы не разбудить мать, и вышел на улицу.

Внизу у подъезда его ждал Квентин Макговерн, тоже в спортивном костюме, поверх которого был надет толстый свитер. На голове шерстяная вязаная шапочка, натянутая по самые уши. Четырнадцатилетний Квентин был старшим сыном негритянской пары, жившей в доме напротив. Каждое утро Рудольф и Квентин вместе бегали.

— Привет, Квент,— поздоровался Рудольф.

— Привет, Руди,— ответил тот.— Ужасно холодно. Мать считает, что мы оба ненормальные.

— Ничего, она заговорит по-другому, когда ты привезешь ей золотую медаль с олимпийских игр.

Рудольф открыл дверь гаража, вывел свой мотоцикл, сел и включил мотор. Квентин забрался на заднее сиденье, обхватил Рудольфа за пояс, и они помчались по улице. Холодный ветер бил им в лицо, глаза слезились.

До университетского спортивного поля было всего несколько минут езды — колледж в Уитби теперь стал университетом. Рудольф остановил мотоцикл, слез, снял пальто и бросил его поперек сиденья.

— Лучше сними свитер, если не хочешь простудиться на обратном пути,— сказал он Квентину.

Во время учебы в колледже у Рудольфа никогда не оставалось времени на спорт. Его немного забавляло, что теперь он, занятый деловой человек, находит время шесть

раз в неделю бегать утром по полчаса. Он делал это, чтобы держаться в форме, а кроме того, ему доставляла наслаждение тишина раннего утра, запах земли, ощущение перемен в природе, упругость беговой дорожки... Начал он бегать один, но как-то раз, выйдя из дома, увидел Квентина, стоявшего у его подъезда в спортивном костюме.

— Мистер Джордах,— обратился к нему мальчик,— я давно заметил, что вы каждое утро тренируетесь. Не возражаете, если я буду бегать вместе с вами?

Рудольф уже собирался ответить отказом — ему нравилось с утра побыть одному, прежде чем потом на целый день окунуться в людскую толчею в магазине,— но Квентин, точно угадав его мысль, добавил: — Я выступаю за нашу школу на дистанции четыреста сорок ярдов. Если я буду ежедневно тренироваться всерьез, то непременно улучшу свой результат. Вам совсем не обязательно со мной разговаривать, мистер Джордах. Просто разрешите бегать рядом.

Говорил он застенчиво и тихо. Рудольф понимал, каких усилий стоило мальчику собрать всю свою храбрость, чтобы обратиться с такой просьбой к взрослому белому человеку, который до этого всего лишь мимоходом здоровался с ним. Отец Квентина работал в магазине Колдервуда шофером на грузовике.

— Хорошо,— сказал Рудольф.— Пошли.

Квентин, долговязый, с длинными худыми ногами, бегал в ровном, удобном темпе. Рудольф был доволен, что они тренируются вместе,— с Квентином он бегал быстрее, чем один.

Пробежав напоследок еще два круга, они, разгоряченные и потные, оделись, сели на мотоцикл и поехали домой по просыпающимся улицам.

Рудольфу нравился парень, и он решил на время летних каникул подыскать ему какую-нибудь работу в магазине: наверняка семье Квентина не помешают дополнительные деньги.

Когда он вошел в квартиру, мать уже встала.

— Как на улице? — спросила она.

— Холодно,— ответил он.— Ты ничего не потеряешь, если сегодня посидишь дома.— Они оба, упорно поддерживая иллюзию, вели себя так, будто мать, как все другие женщины, каждый день выходит по делам.

Он вошел в ванную, принял душ: сначала пустил горячую воду, потом — ледяную. Все тело его горело. Вытираясь, он слышал, как мать включила соковыжималку, чтобы приготовить ему стакан апельсинового сока, потом принялась варить кофе. Ему были слышны ее грузные, шаркающие шаги — казалось, кто-то тащит по полу тяжелый мешок.

Рудольф надел серые шерстяные брюки, мягкую голубую рубашку, темно-красный галстук и коричневый твидовый пиджак. Получив должность помощника управляющего, он первый год ходил в темных строгих костюмах, но теперь, по мере того как его влияние росло, стал одеваться менее строго. Он был молод для занимаемого им поста и следил за тем, чтобы не выглядеть неестественно важным. Поэтому же он купил себе не машину, а мотоцикл. Когда он с ревом подкатывал к магазину, в любую погоду без шляпы, с разметавшимися на ветру волосами, никто не мог сказать, что молодой помощник управляющего много о себе мнит. Нужно действовать по-умному, чтобы тебе завидовали как можно меньше.

Он прошел на кухню, пожелал матери доброго утра и поцеловал ее. Она радостно, по-девичьи, улыбнулась. Когда он забывал поцеловать ее, за завтраком ему приходилось выслушивать длинный монолог о том, что она плохо спала и что лекарства, прописанные врачом, совсем не помогают — выброшенные деньги. Он не говорил матери, сколько зарабатывает. Не говорил и что вполне может позволить себе снять квартиру гораздо приличнее чем эта: он не собирался принимать дома гостей, а деньги нужны ему были для других целей.

Он сел за кухонный стол, выпил сок и кофе, съел бутерброд. Мать ограничилась чашкой кофе. Волосы у нее висели прямыми, жидкими прядями, под глазами были огромные фиолетовые мешки. И тем не менее Рудольфу казалось, что она выглядит сейчас ничуть не хуже, чем все последние три года, вполне возможно, проживет лет до девяноста. Впрочем, он ничего не имел против этого. Благодаря ей он был освобожден от службы в армии: единственный кормилец, на руках мать-инвалид. Последний и самый дорогой материнский подарок — спасла его от холодных окопов в Корее.

— Ночью видела во сне Томаса,— сказала она.— Он выглядел, как когда ему было восемь лет. Вошел ко мне в комнату и сказал: «Прости меня, прости меня...» — Она задумчиво отпила кофе.— Я никогда раньше не видела его во сне. Ты о нем что-нибудь знаешь?

— Нет.

— А ты ничего от меня не скрываешь?

— Нет. Зачем что-то скрывать?

— Хотелось бы мне взглянуть на него перед смертью. Все-таки он моя плоть и кровь.

— Тебе рано думать о смерти,— заметил Рудольф.

— Может быть,— согласилась Мэри.— Весной, мне почему-то кажется, я буду чувствовать себя лучше. Мы снова сможем ходить на прогулки.

— Вот это другой разговор,— улыбнулся Рудольф, допил кофе и встал.— Я сегодня сам приготовлю ужин. По дороге домой что-нибудь куплю.

— Только не говори что́,— кокетливо сказала она.— Пусть будет для меня сюрприз.

— Ладно, сделаю тебе сюрприз.— Он поцеловал ее на прощанье и вышел.

В кабинете у Рудольфа стояло два письменных стола — за вторым сидела мисс Джайлс, его секретарша, энергичная старая дева. Вдоль стен на широких полках высились симметричные стопки журналов: «Вог», «Севентин», «Гламур», «Харперс базар», «Эсквайр», «Хаус энд гарден». Из них Рудольф черпал идеи для совершенствования универмага. Уитби менялся на глазах: люди, приезжавшие сюда из Нью-Йорка, были состоятельными и тратили деньги не задумываясь. Коренные обитатели городка жили теперь гораздо лучше, чем раньше, и постепенно перенимали изощренные вкусы приезжих.

Зазвонил телефон. Рудольф снял трубку.

— Джордах? Это профессор Дентон. Простите, что я вас беспокою, но не могли бы вы уделить мне сегодня несколько минут? — Голос Дентона звучал как-то странно. Казалось, он пытается говорить шепотом, словно боится, что его подслушивают.

— Что за вопрос, профессор, разумеется,— ответил Рудольф. Он виделся с Дентоном довольно часто, когда заходил в библиотеку колледжа за книгами по делопроизводству и экономике.— Я в магазине весь день.

— А если мы встретимся где-нибудь на нейтральной территории, не в магазине? Вы могли бы со мной пообедать? — сдавленным голосом попросил Дентон.

— У меня на обед всего сорок пять минут...

— Вот и прекрасно. Мы увидимся где-нибудь поблизости от магазина;— почти задыхаясь, торопливо предложил Дентон. В аудитории он всегда говорил медленно и отчетливо.— Может быть, в «Рипли»? Это за углом от вас.

— Хорошо,— согласился Рудольф, удивленный его выбором. «Рипли» больше походил на пивную, чем на ресторан. Туда в основном приходили рабочие, и не поесть, а выпить. Не совсем подходящее место для пожилого профессора истории и экономики.— Вас устроит в четверть первого?

— Вполне. Спасибо, Джордах, большое спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. В четверть первого я буду там,— поспешно сказал Дентон.— Я даже не могу выразить, насколько я благодарен...— Он повесил трубку, не закончив фразы.

Рудольф начал первый за день обход магазина. Он шел медленно, улыбаясь продавцам; замечая какие-либо упущения, не останавливался и делал вид, что не обратил внимания. Позднее, вернувшись в кабинет, он продиктует секретарше вежливые служебные записки заведующим соответствующими отделами: галстуки, продающиеся по сниженным ценам, разложены на прилавке недостаточно аккуратно, у мисс Кейл в парфюмерном отделе слишком ярко накрашены глаза, в кафетерии душно, следует улучшить вентиляцию.

Особое внимание он уделял отделам, открывшимся в универмаге совсем недавно и по его инициативе, в частности, маленькой секции, торговавшей дешевой бижутерией, итальянскими свитерами, французскими шарфами и меховыми шапками,— секция приносила удивительно большую прибыль; кафетерию, который не только давал доход, но стал излюбленным местом встреч многих домохозяек, не уходивших после этого из магазина с пустыми руками; и лыжной секции в отделе спортивных товаров,

Отдел пластинок тоже был его идеей и привлек в магазин юнцов, сорививших родительскими деньгами. Колдервуд, не переносивший шум и крайне недоброжелательно относившийся к поведению большинства молодых людей (его собственные три дочери, две из которых были уже взрослыми, а третья, бледная, худосочная девица, еще ходила в школу, отличались унылой викторианской чопорностью), очень противился созданию этого отдела, но Рудольф, познакомив его с результатами статистических исследований ежегодных расходов американской молодежи на пластинки, пообещал установить в зале звуконепроницаемые кабины, и Колдервуд уступил. Он часто сердился на Рудольфа, но тот неизменно был со стариком вежливым и терпеливым и в большинстве ситуаций знал, как им вертеть. В кругу друзей Колдервуд хвастался своим мальчишкой-помощником и тем, что вовремя сообразил выбрать из толпы именно его. Он даже удвоил ему зарплату, хотя Рудольф никак не побуждал его к этому, а на рождество вручил премию — три тысячи долларов. «Он не только модернизирует магазин,— говорил Колдервуд, когда Рудольфа не было поблизости.— Этот сукин сын модернизирует и меня самого. Впрочем, если на то пошло, я для этого и нанимал молодого».

Раз в месяц он приглашал Рудольфа к себе домой на мрачный пуританский ужин, за которым дочери Колдервуда разговаривали, только когда к ним обращались, а самым крепким напитком был яблочный сок. Пруденс, старшая и самая хорошенькая из дочерей, несколько раз просила Рудольфа сходить с ней на танцы в загородный клуб. Вдали от родительского дома Пруденс забывала о викторианских приличиях, но Рудольф не позволял себе с ней никаких вольностей. В его планы не входила такая опасная банальность, как женитьба на дочери босса.

Он пока вообще не собирался жениться. С этим можно подождать. Три месяца назад он получил приглашение на свадьбу Джули. Она выходила замуж в Нью-Йорке за некоего Фицджеральда. Рудольф на свадьбу не поехал, но когда он составлял поздравительную телеграмму, в глазах у него были слезы. Он презирал себя за эту слабость и, с головой окунувшись в работу, умудрился почти выкинуть Джули из памяти.

Он сторонился всех других девушек. Проходя по универмагу, он ловил на себе кокетливые взгляды продавщиц, которые были бы счастливы завязать с ним роман. Конечно, это не оставляло его равнодушным, но он подавлял в себе искушение и со всеми держался одинаково любезно и бесстрастно.

Он проглядывал новые эскизы оформления витрин, когда ему позвонил Колдервуд.

— Руди, зайди ко мне на минутку. — Голос Колдервуда звучал совершенно сдержанно и не выдавал никаких эмоций.

Как всегда, дверь в кабинет Колдервуда была открыта.

— Входи, Руди, и закрой за собою дверь.— Перед ним на столе были бумаги, врученные ему Рудольфом в конверте прошлым вечером. — Должен признаться,— мягко продолжал Колдервуд,— ты самый удивительный молодой человек из всех, кого мне приходилось встречать на своем веку.

Рудольф молчал.

— Кто еще читал все это? — спросил Колдервуд, показывая на бумаги.

— Никто.

— А кто печатал? Мисс Джайлс?

— Нет, я сам, дома.

— Откуда тебе известно, что мне принадлежит тридцать акров земли рядом с озером? — спросил Колдервуд, переходя к делу.

Официально участок числился за некоей нью-йоркской корпорацией. Джонни Хиту пришлось пустить в ход всю свою изворотливость, чтобы установить, что подлинный владелец земли — Дункан Колдервуд.

— К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос, — сказал Рудольф.

— Руди, у меня до сих пор ни разу не было повода подозревать тебя во лжи, и мне бы не хотелось, чтобы ты соврал мне сейчас.

— Я не собираюсь врать.

Колдервуд ткнул пальцем в бумаги на столе:

— Что это? Хитрый ход, чтобы прибрать меня к рукам?

— Нет, сэр. Это просто рекомендация — как вам с максимальной выгодой использовать ваше положение и вашу собственность. Как приноровиться к росту города, расширить круг ваших коммерческих интересов. Как извлекать выгоду из налоговых законов и при этом оставить после себя крупное состояние жене и детям.

— Сколько тут страниц? — спросил Колдервуд. — Пятьдесят? Шестьдесят?

— Пятьдесят три.

— Ничего себе рекомендация, — фыркнул Колдервуд. — Ты все это сам придумал?

— Да,— Рудольф не собирался рассказывать, как в течение многих месяцев методически консультировался с Джонни Хитом, благодаря которому внес в свой план ряд новых разделов.— Но если позволите, сэр, я вам дам совет. Мне кажется, вам не мешает съездить в Нью-Йорк и обсудить это с вашими юристами и банкирами.

— Хорошо, предположим, изучив все это более тщательно, я соглашусь и затею эту кутерьму в точности как ты предлагаешь: организую акционерную компанию, выпущу акции, возьму займы в банках и, как идиот, построю на берегу озера этот проклятый торговый центр, да еще и театр в придачу. Допустим, я все это сделаю. Но какая от этого выгода тебе?

— Мне хотелось бы стать председателем правления компании, президентом которой будете вы, и, естественно, получать соответствующую этому положению зарплату, а также иметь возможность приобрести часть пакета акций в последующие пять лет. Я взял бы себе заместителя, чтобы он командовал здесь, когда я буду занят другими делами.— Он уже написал в Оклахому Брэду Найту о возможной вакансии.

— Ты, я вижу, все предусмотрел, Руди.— В голосе Колдервуда звучала откровенная враждебность.

— Я работал над этим проектом больше года и старался предугадать все возможные проблемы, — спокойно сказал Рудольф.

— А если я скажу «нет», что ты тогда будешь делать?

— Боюсь, что в таком случае к концу года мне придется подыскать для себя более перспективную работу, мистер Колдервуд, — твердо ответил Рудольф.

— Хорошо, можешь идти. Я сообщу тебе о своем решении.

Проект Рудольфа был очень сложен и продуман до мелочей. Город расширялся, постепенно подступая к озеру. Росло население и в Сидартоне, городке, расположенном в десяти милях от Уитби и недавно соединенном с ним автострадой. По всей Америке возникали загородные торговые центры, и люди уже привыкли делать там основные покупки. Тридцать акров Колдервуда были идеально удобным местом для будущего торгового центра, который мог бы полностью обеспечить нужды обоих городков. Если Колдервуд сам не воспользуется такой возможностью, через годдва инициативу несомненно перехватят предприимчивые бизнесмены или какая-нибудь корпорация, в результате чего резко снизятся прибыли Колдервуда и его универмага в Уитби.

В своем плане Рудольф настаивал также на постройке хорошего ресторана и театра, чтобы привлекать покупателей к торговому центру и в вечернее время. По окончании летнего театрального сезона можно было бы показывать в театре кинофильмы.

Профессор Дентон чувствовал себя в баре явно не в своей тарелке — судя по виду здешних завсегдатаев, ни один из них никогда в жизни даже близко не подходил к колледжу.

— Спасибо, спасибо, что вы пришли, Джордах, — торопливым шепотом сказал он. — Себе я взял виски. А вам заказать что-нибудь?

— Я днем не пью, — отказался Рудольф и тотчас пожалел о сказанном: его слова можно было истолковать как упрек Дентону.

— И правильно делаете, — заметил тот. — Голова должна быть ясной. Обычно я тоже не пью в это время, но... Может, мы лучше сядем? Я понимаю, вам нужно скоро возвращаться. — Он положил деньги на стойку и повел Рудольфа к столику в последней из кабинок, тянувшихся вдоль стены напротив бара. Они сели лицом друг к другу и стали изучать засаленное меню.

— Пожалуйста, суп, рубленый бифштекс и чашку кофе, — сказал Дентон официантке. — А вы что возьмете, Джордах?

— То же самое, — сказал Рудольф.

— У вас отлично идут дела, Джордах, — заметил Дентон, согнувшись над столом и глядя на Рудольфа беспокойными глазами, увеличенными до огромных размеров толстыми стеклами в стальной оправе. — Я об этом от многих слышал, в том числе и от миссис Дентон. Она ходит в ваш магазин три раза в неделю. Говорит, универмаг просто процветает. Масса новых товаров! Что ж, людям нравится покупать. И похоже, нынче у всех есть деньги. Кроме профессоров. Но это к делу не относится. Я пришел сюда не для того, чтобы жаловаться. Бесспорно, Джордах, вы правильно сделали, что отказались от места на кафедре... Научный мир! — с горечью воскликнул он.— Кругом зависть, интриги, предательство, неблагодарность... Приходится следить за каждым своим шагом. Мир бизнеса куда лучше. Ты мне, я тебе. Слабого сжирают. По крайней мере честно...

— Это не совсем так... — возразил Рудольф. — Я имею в виду бизнес.

— Конечно нет, — согласился Дентон. — Все зависит от человека. Не стоит слепо верить в теорию. Тогда теряется реальное представление о жизни. Во всяком случае, я рад вашему успеху и уверен, вы добились его без каких-либо компромиссов.

Официантка принесла суп. Когда она ушла, Дентон продолжал:

— Если бы мне пришлось все начинать сначала, я сторонился бы увитых плющом стен колледжа, как чумы. Эти стены превратили меня в ограниченного, озлобленного человека, неудачника, труса...

— Я бы ничего подобного о вас не сказал. — Рудольф был поражен характеристикой, которую дал себе Дентон. Раньше Рудольфу всегда казалось, что профессор весьма доволен собой.

— Я живу в постоянном страхе и трепете. — Дентон шумно хлебнул суп и повторил: — В страхе и трепете.

— Если я могу вам чем-то помочь, профессор, — начал Рудольф, — я бы...

— У вас доброе сердце, Джордах, доброе сердце. Я сразу же выделил вас из всех. Другие легкомысленны и жестоки, а вы — серьезный, участливый. Вы учились, стремясь к знаниям, а другие — только чтобы сделать карьеру. Да, все эти годы я внимательно наблюдал за вами. Вы далеко пойдете, поверьте моему слову. Я преподаю в колледже больше двадцати лет. Через мои руки прошли тысячи молодых людей. Я изучил их вдоль и поперек и сразу могу определить, на что они способны.— Дентон доел суп и приступил к бифштексу.— Чтобы добиться успеха, вы не пойдете по трупам. Я знаю вас, ваш ум, характер. У вас твердые принципы, вы человек благородный, утонченный и требовательный к себе. У меня наметанный глаз, я все вижу.

Рудольф молча ел, дожидаясь, когда кончится поток похвал, и понимая, что Дентон собрался попросить его о большом одолжении — иначе он не стал бы так рассыпаться.

— До войны,— продолжал Дентон, жуя бифштекс,— было больше молодых людей вашего типа: проницательных, порядочных, честных. Многих из них сейчас нет в живых — они погибли, и мы уже даже не помним, в каких краях настигла их смерть. Теперешнее же поколение... — он безнадежно пожал плечами, — хитрые, расчетливые, лицемерные. Только и думают, как бы что-нибудь урвать, не прилагая никаких усилий. Вы не поверите, сколько студентов пытается обмануть меня на экзаменах. Будь у меня деньги, я уехал бы из этой страны куда-нибудь подальше и поселился бы на каком-нибудь острове. — Дентон с беспокойством посмотрел на часы и заговорщически оглядел зал. Соседняя с ними кабина была пуста, и только у бара ближе к выходу стояли несколько мужчин, но они не могли услышать их разговор.— Пожалуй, я перейду к сути дела. — Дентон понизил голос и перегнулся через стол.— У меня неприятности, Джордах. *Большие* неприятности. Со мной хотят разделаться.

— Кто?

— Мои враги. — Дентон снова окинул зал внимательным взглядом, словно выискивал своих врагов, переодетых в рабочие спецовки.

— Когда я учился, мне казалось, все прекрасно к вам относятся, — сказал Рудольф.

— О, у нас полно своих подводных течений, о которых не подозревают студенты. Интриги, кругом интриги! В аудиториях, в кабинетах начальства, в кабинете самого президента колледжа! Моя беда в том, что я слишком прямолинеен и наивен. Я верил в миф об академической свободе. Мои враги выжидали подходящего момента.

Мне много лет назад следовало уволить моего заместителя — как ученый он безнадежная посредственность, — но я вечно жалел его и не увольнял. Непростительная слабость! Он метил на мое место и давно вел на меня досье. Записывал пьяные сплетни, отдельные фразы, вырванные вне контекста из моих лекций. Теперь меня собираются принести в жертву, Джордах. Они отыскали свою ведьму. Ею оказался я.

— Я не совсем понимаю.

— Охота на ведьм, — сказал Дентон. — Вы наверняка читаете газеты. «Гоните коммунистов из школ!»

— Вы же не коммунист, профессор, — рассмеялся Рудольф. — И вы сами это знаете.

— Говорите тише, мой мальчик. — Дентон беспокойно огляделся по сторонам.— О таких вещах не кричат во все горло.

— По-моему, вы напрасно тревожитесь, профессор,— сказал Рудольф. Он решил, что постарается обратить все в шутку. — А я-то боялся, здесь что-нибудь посерьезнее. Думал, может, какая-нибудь студентка забеременела с вашей помощью.

— Вы можете смеяться, — сказал Дентон. — Вы молоды, но сейчас ни в колледжах, ни в университетах давно никто не смеется. Мне предъявлены нелепейшие обвинения: мол, в тридцать восьмом году пожертвовал пять долларов на какую-то сомнительную благотворительность и ссылался в некоторых своих лекциях на Карла Маркса. Но боже мой, разве можно читать курс экономических теорий девятнадцатого века, не упоминая Карла Маркса! Нет, вы ничего не знаете, мой мальчик! Вы просто ничего не знаете! Университет в Уитби ежегодно получает от штата субсидию для сельскохозяйственного факультета. И вот какой-то болван из законодательной ассамблеи произносит речь, создает комитет и требует расследования ради того, чтобы его имя попало в газету. Патриот! Защитник веры! Ха! В университете — но это сугубо между нами, Джордах, — создана специальная комиссия по расследованию обвинений, выдвинутых против ряда преподавателей. Они готовы принести несколько жертв — со мной во главе,— только бы ассамблея штата не лишила университет субсидий. Теперь, надеюсь, вам ясно?

— Боже мой! — только и мог произнести Рудольф.

— Вот именно, — подхватил Дентон. — Боже мой! Я не знаю, каковы ваши политические убеждения...

— Я не занимаюсь политикой.

— Прекрасно, прекрасно! — похвалил Дентон.— Хотя было бы лучше, если бы вы состояли в республиканской партии. И подумать только, я голосовал за Эйзенхауэра! — Он глухо рассмеялся.— Мой сын воевал в Корее, а Эйзенхауэр обещал покончить с войной. Впрочем, чего только не наобещаешь перед избирательной кампанией!

— Чем конкретно я могу вам помочь, профессор? — спросил Рудольф.

— Сейчас мы подошли к этому, — сказал Дентон, допивая кофе. — Комиссия будет рассматривать мое дело ровно через неделю, то есть в следующий вторник, в два часа дня. Я знаю о выдвинутом против меня обвинении только в общих чертах — пожертвования в тридцатых годах в пользу организации, якобы служившей вывеской, прикрывавшей нелегальную деятельность коммунистов; атеистические и левые фразы на лекциях; рекомендация книг сомнительного характера для домашнего чтения студентов. Когда в стране царит такое настроение, как сейчас, когда этот Даллес орет на весь мир о ядерной войне, когда видных вашингтонских деятелей поливают клеветой и выгоняют из Белого дома, как проштрафившихся мальчишек на побегушках, — карьеру простого университетского преподавателя может погубить одно лишь сказанное шепотом слово. К счастью, у них, в университете, сохранилась совесть — хотя сомневаюсь, что им ее хватит на весь год, — и мне должны дать возможность как-то оправдаться и пригласить свидетелей, которые за меня поручатся...

— Что же вы хотите, чтобы я сказал?— прервал его Рудольф.

— Все, что сочтете нужным, мой мальчик, — ответил Дентон упавшим голосом.— Я не собираюсь вас специально натаскивать. Скажите то, что обо мне думаете. Вы прослушали три моих курса, мы с вами не раз беседовали вне аудитории, вы бывали у меня дома. Вы умный молодой человек, и вас не проведешь. Говорите то, что считаете нужным. У вас безукоризненная репутация, в колледже о вас были самого вы-

сокого мнения, вы — подающий большие надежды, ничем себя не скомпрометировавший молодой бизнесмен, и ваши показания будут иметь вес.

— Да, конечно, — сказал Рудольф. «Это предвестие неприятностей, — пронеслось у него в голове. — Начнутся нападки. И что скажет Колдервуд? Втягиваю магазин в прокоммунистическую политику». — Конечно я выступлю в вашу защиту.— «Сейчас абсолютно не подходящее время для этого», — подумал он с раздражением.

— Я не сомневался в вас, Джордах. — Дентон с чувством пожал ему руку.— Знали бы вы, сколько людей, двадцать лет называвших себя моими друзьями, отказали мне — увиливают, малодушничают! У нас теперь не страна, а логовище побитых собак. Если хотите, я поклянусь вам, что никогда не был коммунистом.

— Что за нелепость, профессор! — Рудольф посмотрел на часы. — Извините, но мне пора в магазин. На следующей неделе во вторник в два часа я буду на комиссии. — Он полез в карман за деньгами. — Позвольте, я за себя заплачу.

Дентон жестом остановил его.

— Я пригласил вас, вы мой гость. Идите, дорогой, идите. Не буду вас задерживать. — Он встал, в последний раз огляделся по сторонам и, убедившись, что никто за ними не наблюдает, снова горячо пожал ему руку.

Рудольф медленно шел по улице. Все вокруг было как обычно, и прохожие ничем не напоминали побитых собак. Бедняга Дентон! Он вспомнил, что именно на лекциях Дентона впервые получил представление, как стать преуспевающим капиталистом. Про себя он даже рассмеялся. Да, старый дурак Дентон! Ему теперь не до смеха.

В кабинете на его столе лежало короткое письмо: «Надеюсь, ты скоро приедешь в Нью-Йорк. У меня неприятности. Хочу с тобой посоветоваться. Целую, Гретхен».

— О, боже, — сказал он вслух, смял письмо и бросил его в мусорную корзинку.

Когда в четверть седьмого он вышел из магазина, накрапывал дождь. «Только дождя мне сегодня не хватало», — с досадой подумал он, лавируя между машинами на своем мотоцикле. Уже почти подъехав к дому, он вспомнил о своем обещании матери купить что-нибудь на ужин. Чертыхнувшись, он повернул назад в деловую часть города, где магазины работали до семи вечера. Сюрприз, вспомнил он просьбу матери. «Через две недели твоего любящего сына выкинут на улицу, мамочка. Как тебе понравится такой сюрприз?»

Он зашел в первый попавшийся магазин, купил курицу, картофель, банку горошка и половину яблочного пирога на десерт. Проталкиваясь между домохозяйками, вспомнил разговор с Колдервудом и мрачно ухмыльнулся: вундеркинд-финансист, окруженный восхищенными поклонницами, по дороге на изысканно приготовленный ужин в своем фамильном особняке, хорошо знакомом нашим читателям по фотографиям в журналах «Лайф» и «Хаус энд гарден». После недолгого колебания он купил бутылку виски. В такой вечер необходимо выпить.

Он лег раньше обычного, слегка захмелев, и, засыпая, подумал: единственное приятное за весь сегодняшний день — утренняя пробежка с Квентином.

Неделя прошла без всяких событий. При встрече в магазине Колдервуд, ни словом не упоминая о проекте Рудольфа, говорил с ним только о текущих делах.

Когда Рудольф позвонил Гретхен и сообщил, что сможет приехать в Нью-Йорк лишь в конце следующей недели, она, казалось, была огорчена, но не захотела объяснять по телефону, в чем дело. Это может подождать, сказала она. Рудольф немного успокоился. Если это может подождать, значит, все не так уж плохо.

Его волновало предстоящее выступление перед комиссией по расследованию дела Дентона. Не исключено, что у комиссии имеются против Дентона факты, о которых самому ему неизвестно или которые он скрыл. В таком случае Рудольф будет выглядеть его сообщником, или лжецом, или просто дураком. Но больше всего его беспокоило, что члены комиссии, твердо намеренные разделаться с Дентоном, естественно, враждебно отнесутся ко всякому, кто выступит в его защиту. Всю свою жизнь Рудольф стремился завоевывать симпатии людей, располагать их к себе, осо-

бенно пожилых и с солидным положением. И сейчас уже одна мысль о том, что ему придется предстать перед целой группой ученых мужей, которые будут смотреть на него с неодобрением, тревожила его.

Всю неделю он мысленно произносил речи, стараясь достойно защитить Дентона и в то же время очаровать судей. К концу недели он совсем потерял сон.



В понедельник, после того как он сделал обход магазина, Колдервуд пригласил его к себе.

— Итак, Руди, — начал он, — я внимательно изучил твой проект и посоветовался кое с кем в Нью-Йорке. Завтра утром мы туда едем и в два часа встретимся с моими юристами в их конторе на Уолл-стрит. Тебе хотят задать несколько вопросов. Поедем электричкой в одиннадцать ноль пять. Я ничего тебе пока не обещаю, но те, с кем я разговаривал, по-моему, находят твое предложение небезынтересным.— Он внимательно поглядел на него и недовольно сказал: — А ты как будто и не рад этому?

— О, я очень рад, сэр, очень, — Рудольф постарался улыбнуться.—«В два часа во вторник, — думал он. — Я обещал Дентону в два часа во вторник предстать перед комиссией». — Это замечательная новость, сэр. Просто немного неожиданно, и я растерялся. — Он снова улыбнулся, стараясь казаться веселым и простодушным.

Позднее, днем, в его кабинете зазвонил телефон; трубку сняла мисс Джайлс.

— Я узнаю, на месте ли он. А кто его просит? — И, закрыв трубку ладонью, сказала: — Профессор Дентон.

Поколебавшись секунду, Рудольф взял трубку.

— Добрый день, профессор, — сердечно приветствовал он Дентона.— Как дела?

— Джордах, — прохрипел Дентон, — я в «Рипли». Вы не могли бы подойти сюда на несколько минут? Мне надо с вами поговорить.

— Хорошо, профессор, сейчас буду,— ответил Рудольф. Какая разница, когда он ему скажет? Наверно, даже лучше сделать это сейчас.

Войдя в бар, он не сразу нашел Дентона. Тот сидел опять в последней кабине. Он был в пальто и шляпе. Согнувшись над столом, он держал стакан в обеих руках. Небритый, помятый, грязные стекла очков запотели. Рудольфу неожиданно пришло в голову, что профессор похож на старого алкоголика, тупо дожидающегося на скамейке в парке, пока его подберет полиция.

— Здравствуйте, профессор. — Рудольф проскользнул в кабинку и сел напротив Дентона. — Рад вас видеть. — Он улыбнулся, словно пытаясь уверить Дентона, что тот ни в чем не изменился.

Дентон безразлично взглянул на него и даже не протянул руки. Его обычно румяное лицо было сейчас серым.

— Выпейте чего-нибудь, — предложил он глухим голосом. Сам он, судя по всему, уже успел выпить. И немало.

— Виски, пожалуйста.

— Виски с содовой для моего друга, а мне еще раз бурбон, — сказал Дентон подошедшей официантке.

Дентон молча, не отрываясь, смотрел на зажатый в руках стакан. По дороге сюда Рудольф решил, как он поступит. Он скажет, что завтра в два часа дня никак не сможет появиться перед комиссией, но готов сделать это в любой другой день, если комиссия согласится отложить разбор дела. Если же заседание не отложат, он вечером зайдет к президенту университета и скажет то, что собирался. Если Дентона это не устраивает, он может сегодня же написать свое выступление в его защиту, чтобы Дентон сам зачитал текст перед комиссией. Рудольф с ужасом ждал той минуты, когда он должен будет высказать Дентону свои предложения, но о том, чтобы завтра не выехать с Колдервудом в 11.05 в Нью-Йорк, не могло быть и речи.

— Мне неудобно, что я отрываю вас от работы, Джордах, — не поднимая глаз, невнятно пробормотал Дентон, — но неприятности делают человека эгоистом. Проходя мимо кинотеатра, я увидел длинную очередь за билетами на комедию и подумал: «Неужели они не знают, что со мной происходит? Как они могут идти сейчас в кино?» — Дентон уныло рассмеялся.— Абсурд. С тридцать девятого по сорок

пятый год в Европе было убито пятьдесят миллионов человек, а я в то время ходил в кино по два раза в неделю.— Низко склонившись над столом, он жадно глотнул из стакана, держа его двумя руками. Руки дрожали.

— Скажите, что произошло? — мягко спросил Рудольф.

— Ничего. Впрочем, это неправильно. Многое... Все кончено.

— Я вас не понимаю. — Рудольф пытался скрыть в своем голосе радость. Значит, все это пустяки, буря в стакане воды. В конце концов, не могут же люди быть *такими* уж идиотами.— Вы хотите сказать, они прекратили дело?

— Я хочу сказать, что это я прекратил дело,— ответил Дентон, поднял голову и с тоской посмотрел на Рудольфа из-под полей своей старой коричневой фетровой шляпы. — Я сегодня подал в отставку.

— Не может быть! — воскликнул Рудольф.

— И тем не менее. Они сами предложили мне это, обещав тогда прекратить дело. Я просто не мог бы появиться завтра перед комиссией. И это после двадцати лет работы в колледже!.. Я слишком стар. Слишком. Вероятно, будь я моложе... Молодые проще относятся к абсурду. Они верят в возможность справедливости. Моя жена плачет уже целую неделю. Говорит, что умрет от такого позора. Конечно, это гипербола, но когда на твоих глазах женщина плачет семь дней и семь ночей подряд, это ослабляет твою волю. Так что все кончено. Мне просто хотелось поблагодарить вас и сказать, что вам не надо приходить завтра в два часа.

— Я был бы рад все сказать им,— ответил Рудольф, про себя вздыхая с облегчением. — А что же вы собираетесь теперь делать?

— Мне предложили спасительный вариант, — без энтузиазма сказал Дентон.— Один мой приятель работает в Женевской международной школе. Он пригласил меня работать с ним. Естественно, получать я буду меньше, но все-таки хоть какая-то работа. К тому же, как мне кажется, в Женеве поменьше маньяков. Да и город, говорят, милый.

— Но ведь это всего лишь средняя школа, а вы всю жизнь преподавали в колледжах,— запротестовал Рудольф.

— Я хочу уехать из этой проклятой страны, — мрачно сказал Дентон.

Рудольф никогда не слышал, чтобы кто-нибудь называл Америку проклятой страной, и его потрясла горечь в словах Дентона.

— Она не такая плохая, как вам кажется, — заметил он.

— Она даже хуже.

— Все забудется, и вас пригласят обратно.

— Никогда! — воскликнул Дентон. — Я не вернусь, даже если меня будут умолять об этом на коленях.

— Могу я вам чем-то помочь? — спросил Рудольф. — Вам нужны деньги?..

Дентон отрицательно покачал головой.

— На первое время нам хватит. Мы продаем дом. Цены на недвижимость сильно поднялись с того времени, как мы его купили. Страна процветает!.. — Он сухо рассмеялся, потом резко встал. — Ну, мне пора домой. Каждый день я даю жене уроки французского языка.

Он позволил Рудольфу расплатиться. На улице Дентон поднял воротник пальто и стал еще больше похож на старого алкоголика.

— Я буду писать вам из Женевы.— Он вяло пожал Рудольфу руку.— Самые нейтральные письма. Бог его знает, кто нынче вскрывает письма. — И, шаркая ногами, он двинулся прочь. Согбенный старый ученый в толпе граждан своей проклятой страны.

## Глава 5

— Зачем ты каждый раз приходишь за мной? — недовольно ворчал Билли, когда они шли домой. — Что я, маленький, что ли?

— Скоро уже будешь всюду ходить сам, — сказала она, машинально беря его за руку у перехода.

— Когда?

— Скоро.

— Когда?

— Когда тебе исполнится десять лет.

— Черт побери!

— Ты ведь знаешь, что нельзя так говорить.

— А папа говорит.

— Ты не папа.

— Ты тоже иногда так говоришь.

— Ты не я. И я тоже зря так говорю.

— Тогда почему все-таки говоришь?

— Потому что сержусь.

— А я тоже сейчас сержусь. Все ребята ходят домой одни, и мамы не встречают их у калитки, как маленьких.

Гретхен знала, что это правда, и понимала, что она слишком беспокойная мать и когда-нибудь поплатится за это, но ничего не могла с собой поделать. Ей страшно было даже подумать, как Билли будет ходить по Гринвич-Вилледж, где столько машин.

— Когда? — снова упрямо спросил Билли, пытаясь вырвать свою ручку из ее руки.

— Когда тебе будет десять лет, — повторила она.

— Целый год еще! — захныкал Билли. — Это бесчеловечно.

Она рассмеялась, нагнулась и поцеловала его в макушку.

Билли тут же отпрянул в сторону:

— Сколько раз я просил тебя не целовать меня при всех!

У дома их встретили Рудольф и Джонни Хит. Оба держали в руках по бумажному пакету, откуда торчала бутылка.

Последние шесть месяцев Рудольф часто приезжал в Нью-Йорк. Между Колдервудом и конторой Джонни Хита велись какие-то дела, но, как Рудольф ни старался объяснить ей их суть, она так и не могла до конца понять. Кажется, все это было каким-то образом связано с решением создать корпорацию «Д. К. Энтерпрайсиз»— двумя первыми буквами название было обязано инициалам Дункана Колдервуда. Ясно было одно: в результате ее брат станет богатым человеком, развяжется с универмагом и по крайней мере полгода будет проводить вне Уитби. Он уже попросил ее подыскать ему в Нью-Йорке небольшую меблированную квартиру.

Рудольф и Джонни выглядели возбужденными, точно уже успели выпить. По обклеенным золоченой фольгой горлышкам бутылок Гретхен догадалась, что они принесли шампанское.

— Привет, мальчики, — поздоровалась она. — Почему вы не предупредили меня, что придете?

— А мы и сами не знали, — ответил Рудольф. — Это экспромт. Решили кое-что отпраздновать. — Он поцеловал ее в щеку. От него не пахло вином.

В гостиной был беспорядок. Теперь Гретхен работала здесь, предоставив верхнюю комнату в полное распоряжение сына. На столах и даже на диване валялись книги, блокноты, исписанные листы бумаги. Гретхен не отличалась педантизмом в работе, а ее редкие попытки навести порядок лишь увеличивали царящий в комнате хаос. Она стала заядлой курильщицей, и все пепельницы были полны окурков. Даже Вилли, сам далеко не аккуратный, периодически жаловался: «Это не дом, черт побери, а редакция какой-то паршивой газетенки!»

Гретхен заметила, как Рудольф окинул комнату неодобрительным взглядом. Может быть, он осуждает свою сестру, сравнивает ее с той чистюлей, какой она была в девятнадцать лет? Ее вдруг охватила беспричинная злость на педантичного, отутюженного брата. Я веду хозяйство и еще зарабатываю на жизнь, не забывай об этом, братец.

— Билли, иди наверх и делай уроки, — сказала она, с подчеркнутой аккуратностью вешая свое пальто и шарф на вешалку.

— Ну-у... — притворяясь разочарованным, протянул тот, хотя сам был рад поскорее уйти в свою комнату.

Гретхен достала три бокала.

— Что же вы празднуете? — спросила она Рудольфа, открывавшего шампанское.

— Мы добились своего, — сказал Рудольф. — Сегодня, наконец, было подписание. Теперь мы можем всю оставшуюся жизнь пить шампанское утром, днем и вечером.

— Замечательно,— без всякого выражения сказала Гретхен. Ей было непонятно, почему Рудольф целиком отдает себя работе и только работе.

Они чокнулись.

— Итак, за процветание корпорации «Д. К. Энтерпрайсиз» и за ее председателя правления, новоиспеченного магната, — провозгласил Джонни, и оба мужчины рассмеялись. Нервы у них все еще были натянуты до предела. Они походили на людей, случайно оставшихся в живых после катастрофы и теперь истерически поздравлявших друг друга со спасением.

Рудольф не мог сидеть на месте. Он безостановочно бродил по комнате с бокалом в руке, открывал книги, поглядывал на беспорядок, царивший на письменном столе, листал газету. За последнее время он сильно похудел и выглядел нервным, глаза блестели, а щеки ввалились.

В противоположность ему Джонни, больше привыкший к деньгам и неожиданным поворотам судьбы, круглолицый, сдержанный и невозмутимый, теперь почти с сонным видом спокойно сидел на диване.

— Если у Вилли есть голова на плечах, — сказал Джонни, — ему следует выпросить, занять или просто украсть приличные деньги и вложить их в «Д. К. Энтерпрайсиз». Я говорю совершенно серьезно. У этой компании огромное будущее.

— Вилли слишком горд, чтобы попрошайничать, слишком известен, чтобы одалживать, и слишком труслив, чтобы красть, — сказала Гретхен. На столе зазвонил телефон. — Наверное, это он. Спешит сообщить, что не сможет прийти к ужину,— и, сняв трубку, заранее обиженным голосом произнесла: — Алло? — Затем озадаченно передала трубку брату. — Это тебя.

— Меня? — удивился Рудольф. — Никто не знает, что я здесь.

— Попросили мистера Джордаха.

— Да, я слушаю, — сказал он, беря трубку.

— Джордах? — голос был хриплый и таинственный.

— Да.

— Это Эл. Я поставил за тебя на сегодняшний вечер пятьсот долларов. Хорошие ставки — семь к пяти.

— Одну минутку... — начал Рудольф, но на другом ко́нце провода уже повесили трубку. — Очень странно... Какой-то Эл. Говорит, поставил за меня пятьсот долларов на сегодняшний вечер при ставках семь к пяти. Уж не играешь ли ты потихоньку на бегах, Гретхен?

— Я не знаю никакого Эла, и у меня нет пятисот долларов. К тому же спросили мистера Джордаха, а не мисс Джордах. — Гретхен печаталась под девичьей фамилией, и в телефонной книге ее телефон тоже числился под фамилией Джордах.— Наверное, перепутали номер.

— Маловероятно,— заметил Рудольф.— Сколько может быть Джордахов в Нью-Йорке? Ты когда-нибудь встречала других Джордахов?

Гретхен отрицательно покачала головой. Рудольф взял телефонную книгу и открыл ее на букву «Д».

— Т. Джордах, Девяносто третья улица. — Он медленно закрыл справочник и положил его на стол. — Т. Джордах. — Он повернулся к Гретхен: — Ты думаешь, это он?

— Надеюсь, нет, — ответила она.

— В чем дело в конце концов? — спросил Джонни.

— У нас есть брат. Томас Джордах, — сказал Рудольф.

— Самый младший ребенок в семье. Тот еще ребенок! — криво усмехнулась Гретхен.

— Мы не виделись с ним десять лет, — сказал Рудольф.

— Джордахи на редкость дружная семья, — заметила Гретхен. После утомительного дня шампанское мгновенно подействовало на нее, и она легла на диван.

— А что он делает, этот ваш братец? — поинтересовался Джонни.

— Не имею ни малейшего понятия, — ответил Рудольф.

— Если из него выросло то, что должно было вырасти, наверное, скрывается от полиции, — съязвила Гретхен.

— Я все-таки выясню. — Рудольф снова открыл справочник и набрал номер. Ему ответила женщина. Судя по голосу, молодая. — Добрый вечер, мэм, — вежливо и официально сказал Рудольф. — Могу я поговорить с мистером Томасом Джордахом?

— Нет, не можете, — отрезала женщина. У нее было высокое, почти визгливое сопрано. — А кто его просит? — В голосе звучало подозрение.

— Его друг, — ответил Рудольф. — Мистер Джордах дома?

— Он спит, — рассердилась женщина. — У него вечером матч. Ему некогда разговаривать по телефону. — И она бросила трубку.

Во время разговора Рудольф держал трубку далеко от уха, а женщина на другом конце провода говорила громко, так что Гретхен и Джонни все слышали.

— Похоже, это наш Томас, — сказала Гретхен.

Рудольф взял с кресла возле стола «Нью-Йорк таймс» и открыл на спортивной странице.

— Вот оно что, оказывается.— И он прочитал вслух: — «Гвоздь вечерней программы — поединок Томми Джордаха с Вирджилом Уолтерсом, средняя весовая категория, десять раундов, Саннисайд-Гарденз». Я пойду.

— Зачем? — удивилась Гретхен.

— Как-никак он мой брат.

— Я прожила без него десять лет и проживу еще двадцать, — сказала Гретхен. Снова зазвонил телефон. Рудольф поспешно снял трубку, но это был Вилли.

— Привет, Руди. — Судя по шумному фону, он звонил из бара. — Нет, не зови ее. Просто передай, что, к сожалению, у меня сегодня деловой ужин и я приду поздно. Пусть не дожидается и ложится спать.

— Можешь не передавать, о чем он говорил, — улыбнулась Гретхен с дивана и повернулась к Джонни. — Как ты думаешь, не пора ли нам открыть вторую бутылку?

Пока они распивали вторую бутылку, Гретхен позвонила и вызвала приходящую няню, и они выяснили, где находится Саннисайд-Гарденз, потом Гретхен причесалась и переоделась в темное шерстяное платье, хотя была не совсем уверена, что это comme il faut[1] для боксерского матча.

Когда они приехали в Саннисайд-Гарденз, состязания уже начались. Билетер провел их к местам в третьем от ринга ряду. Гретхен заметила, что в зале очень мало женщин и нет ни одной в черном платье.

Она до этого ни разу не была на боксе и выключала телевизор, когда передавали репортажи с рингов. Сама мысль о том, что взрослые люди могут бессмысленно мордовать друг друга за деньги, казалась ей скотской. У людей, окружавших ее сейчас в зале, были лица, вполне подходящие для любителей подобных зрелищ. Гретхен была уверена, что никогда в жизни не видела столько уродов сразу.

Во втором поединке противник разбил боксеру бровь, и оба мужчины вымазались в крови. При виде крови толпа взвыла, и от этого воя Гретхен чуть не вырвало. К моменту, когда объявили главный бой, она сидела бледная, едва сдерживая тошноту. Сквозь слезы и застилавший глаза сигаретный дым она увидела, как на ринг ловко поднялся мужчина в красном халате, и узнала Томаса.

Удивительно, но Томас внешне почти не изменился. Разве что литые тренированные мышцы выдавали в нем бойца-профессионала. А лицо оставалось все тем же: чистым, привлекательным, мальчишеским. Пока рефери объявлял условия боя, Томас непрестанно улыбался, но Рудольф видел, как он раза два нервно облизнул губы.

Его противник, поджарый негр, был значительно выше Томаса, и руки у него были гораздо длиннее. Он переминался с ноги на ногу, будто отплясывал боевой танец, и кивал своему тренеру, нашептывавшему ему на ухо последние советы.

С застывшей на лице страдальческой гримасой Гретхен не сводила глаз с брата. За его мальчишеской улыбкой она угадывала скрытую злобу, желание причинить боль, предвкушение удовольствия от страдания другого — все то, что отталкивало ее от Томаса, когда они жили в Порт-Филипе. Конечно, думала она, этого и следовало ожидать. Именно так он и должен был кончить — зарабатывать на жизнь кулаками.

Оба были сильными, оба одинаково быстро двигались. Негр действовал менее агрессивно, но длинные руки помогали ему лучше защищаться. Томас постоянно наступал, наносил удар за ударом, заставляя негра пятиться, а загнав в угол и прижав к канатам, просто избивал.

[1] Здесь: подходящий туалет *(франц.)*.

«Убей черномазого!» — выкрикивал какой-то голос из задних рядов каждый раз, когда Томас наносил серию ударов подряд. Гретхен морщилась — ей было стыдно находиться здесь, стыдно за всех, кто сидел в этом зале. Ах, Арнольд Симс, ты, что ковылял в больничном халате и говорил: «У вас красивые ноги, мисс Джордах», ах, Арнольд Симс, мечтавший о Корнуолле, прости меня за сегодняшний вечер!

Матч продлился не десять, а всего восемь раундов. У Томаса текла кровь из носа и была разбита бровь, но он не отступал и, неуклонно надвигаясь на противника, как бездушный, жестокий робот, выматывал негра. В восьмом раунде негр уже едва шевелил руками. Сильным ударом в лоб Томас бросил его на пол. Когда судья досчитал до восьми, негр, шатаясь, еле поднялся на ноги, и Томас — лицо в крови, но на губах улыбка — тотчас снова безжалостно бросился вперед и обрушил на негра град ударов. Гретхен показалось, что он успел ударить его в эти считанные секунды по меньшей мере раз пятьдесят. Негр свалился лицом вниз под оглушительный рев зала. Он попытался подняться, даже привстал на одно колено. Томас, чуть пригнувшись, ждал в углу, настороженный, окровавленный, неутомимый. Казалось, он хочет, чтобы противник поднялся, хочет продолжить бой, и Гретхен готова была поклясться, что в глазах Томаса мелькнуло разочарование, когда негр беспомощно рухнул на пол и рефери досчитал до конца.

Ее тошнило. Прижав ко рту платок, она с удивлением ощутила аромат духов, такой чуждый в пропитанном зловоньем зале. Съежившись и глядя в пол, она сидела, не в силах поднять глаза. Ей было страшно, что она упадет в обморок и тем самым объявит всему миру о своем роковом родстве со зверем, одержавшим победу на ринге.

Рудольф на протяжении всего матча не произнес ни слова, и только губы у него порой неодобрительно кривились — грубая кровавая драка, ни стиля, ни красоты.

Боксеры покинули ринг. Негру, замотанному в полотенца и халат, помогли пролезть между канатами. Том ушел, улыбаясь и победоносно махая зрителям рукой. Окружавшие его люди одобрительно похлопывали его по спине.

Публика начала расходиться, но Гретхен и Рудольф продолжали молча сидеть, избегая смотреть друг на друга. Наконец, все еще боясь поднять глаза, Гретхен глухо сказала:

— Идем отсюда.

— Мы должны сходить к нему.

— Зачем?

— Мы пришли сюда, мы видели его на ринге, мы обязаны с ним встретиться,— твердо сказал Рудольф.

— Он не имеет к нам никакого отношения. — Она сама знала, что говорит неправду.

Томас, обмотанный вокруг пояса полотенцем, сидел на грязном топчане для массажа. Врач накладывал ему швы на разбитую бровь. Рядом стояло несколько мужчин — Рудольф узнал их: они окружали Томаса в его углу на ринге. Какая-то молодая женщина в плотно облегающем крутые бедра платье тихонько вздыхала каждый раз, как врач вонзал иголку в кожу. У нее были абсолютно черные волосы. На полных ногах — черные нейлоновые чулки. Выщипанные высокие брови — две тонкие, словно нарисованные карандашом, ниточки — придавали лицу удивленное кукольное выражение. В комнате висел застоявшийся запах пота, массажной мази, сигарного дыма и мочи — дверь из раздевалки в уборную была открыта.

— Ну, вот и все,— сказал врач, отступая назад, и, склонив голову набок, полюбовался своей работой. — Через десять дней снова можешь драться.

— Спасибо, док,— ответил Томас и открыл глаза. Он увидел Рудольфа и Гретхен.— Господи Иисусе! — Он криво усмехнулся.— А вам какого черта здесь надо?

— Сегодня днем мне позвонил какой-то Эл и сообщил, что поставил за тебя на сегодняшний вечер пятьсот долларов при ставках семь к пяти, — сказал Рудольф.

— Молодец старина Эл, — буркнул Томас и с беспокойством взглянул на фигуристую брюнетку, точно хотел скрыть от нее это известие.

— Поздравляю с победой,— сказал Рудольф, шагнул вперед и протянул руку. Секунду Томас колебался, затем улыбнулся и тоже протянул брату свою покрасневшую, опухшую руку.

— Я рада за тебя, Том,— сказала Гретхен. Она не могла заставить себя произнести «поздравляю».

— Да? Спасибо,— с веселым удивлением глядя на нее, ответил Томас.— Давайте-ка я вас всех познакомлю... Это мой брат Рудольф и моя сестра Гретхен. А это моя жена Тереза, мой менеджер Шульц, тренер Пэдди... ну и все остальные,— он небрежно махнул в сторону собравшихся мужчин.

— Очень приятно познакомиться,— сказала Тереза. В ее голосе звучало подозрение, как и днем, когда она отвечала Рудольфу по телефону.

— А я и не знал, что у тебя есть родственники,— удивился Шульц.

— До сегодняшнего дня я и сам не был в этом уверен,— ответил Томас.— Как говорится, наши пути разошлись.

— Ну что ж, вероятно, у вас есть о чем поговорить, обменяться новостями. Пошли, ребята,— Шульц надел пиджак, с трудом застегнул пуговицу на выпиравшем животе.— Ты сегодня отлично работал, Томми,— сказал он напоследок, выходя за дверь вместе с врачом и остальными.

— Итак, милая семейка вновь воссоединилась,— улыбнулся Томас.— Полагаю, такое великое событие надо отпраздновать. Как по-твоему, Тереза?

— Ты никогда не говорил мне, что у тебя есть брат и сестра,— визгливым обиженным голосом ответила Тереза.

— Я просто как-то забыл о них за эти несколько лет,— сказал Томас и спрыгнул с топчана.— А теперь, если дамы выйдут, я оденусь.

Женщины вышли в коридор. Гретхен была рада уйти из душной, смрадной комнаты.

— Если дамы выйдут,— передразнила Тереза, на ходу сердито надевая старое манто из рыжей лисицы.— Можно подумать, я никогда не видела его голым.— Она с явной враждебностью оглядела строгое черное платье Гретхен, ее туфли на низком каблуке и простое спортивное пальто с поясом. Она, вероятно, сочла туалет Гретхен вызовом своему собственному стилю — своим крашеным волосам, обтягивающему платью, слишком чувственным и слишком полным ногам, броско намазанному лицу.— Я и не знала, что Томми вышел из такой благородной семьи,— ехидно заметила она.

— Мы не такие уж благородные, не беспокойтесь,— ответила Гретхен, направляясь к единственному стулу в надежде прекратить этот разговор.— Если вы не возражаете, я присяду. Я очень устала.— Тереза раздраженно повела плечами под рыжей лисой, потом начала нервно расхаживать по коридору. Ее высокие каблуки-шпильки нетерпеливо цокали по бетонному полу.

Томас одевался медленно. Время от времени он с улыбкой поглядывал на брата и, удивленно качая головой, повторял: «Черт возьми».

— Как ты себя чувствуешь, Томми?— спросил Рудольф.

— Нормально. Правда, завтра утром буду мочиться кровью. Этот мерзавец два раза здорово саданул меня по почкам. А в общем-то матч прошел неплохо, как ты думаешь?

— Да,— сказал Рудольф. У него не хватило духу признаться, что, на его взгляд, это была заурядная, грубая драка.

— Я с самого начала знал, что уложу его. Хотя ставили не на меня,— продолжал Томас.— Семь к пяти! Недурно. Я на этом заработал семьсот долларов.— Он сейчас походил на хвастливого мальчишку.— Жаль, правда, ты сказал об этом при Терезе. Теперь она знает, что у меня завелись деньги, и вцепится мне в горло мертвой хваткой.

— Вы давно женаты?— спросил Рудольф.

— Официально два года. Она забеременела, и я решил: черт с ним, женюсь. Она вообще-то ничего. Немного глуповата, но ничего. Зато парень получился мировой!— он недоброжелательно взглянул на Рудольфа.— Может, я пошлю мальчишку к дяде Руди, чтобы тот сделал из него джентльмена, а то вырастет нищим, тупым боксером вроде отца.

— Мне бы хотелось на него взглянуть,— сухо сказал Рудольф.

— Пожалуйста, приходи к нам в любое время,— ответил Томас, натягивая черный свитер.— А ты женат?

— Нет.

— Как всегда, самый мудрый в семье. А Гретхен замужем?

— Давно. Ее сыну уже девять лет.

— Этого следовало ожидать,— кивнул Томас.— Она и должна была выскочить замуж рано. Сногсшибательная дамочка! Стала еще красивее. И все такая же дрянь, как раньше?

— Не надо, Том, — попросил Рудольф. — Она была замечательной девушкой и стала очень хорошей женщиной.

— Вероятно, в этом я должен положиться на твое слово, — рассмеялся Томас, тщательно причесываясь перед треснувшим зеркалом на стене. — Откуда мне знать? Я всегда был в семье чужим.

— Ты никогда не был чужим.

— Кому ты это рассказываешь, братишка?! — Томас положил расческу в карман и в последний раз критически взглянул в зеркало на свое опухшее, в синяках и шрамах лицо с заклеенной пластырем бровью.— Да, я сегодня красив. Если б я знал, что ты придешь, обязательно бы побрился. — Он отошел от зеркала и надел поверх свитера светлый твидовый пиджак. — Судя по твоему виду, Руди, у тебя дела — порядок. Ты похож на какого-нибудь вице-президента банка.

— Не жалуюсь, — сказал Рудольф, хотя ему не понравилось сравнение с вице-президентом.

— Да, между прочим, — продолжал Томас, — несколько лет назад я ездил в Порт-Филип и узнал, что отец умер.

— Он покончил жизнь самоубийством.

— Знаю. Мне рассказала миссис Джардино из овощной лавки. Наш дом снесли. В подвале свет не горел, и никто не встречал блудного сына, — добавил он насмешливо. — А как мама, еще жива?

— Да. Она живет со мной.

— Тебе повезло, — усмехнулся Томас.

Пока брат одевался, Рудольф следил за неторопливыми движениями его прекрасного, наводящего страх своей силой тела и испытывал странное чувство, сочетавшее в себе жалость и любовь, желание каким-то образом спасти этого смелого, мстительного человека, еще почти мальчишку, от других таких вот вечеров, от стервы жены, от орущей толпы, от бодрых врачей, накладывающих швы, — от всех этих случайных людей, окружающих его и живущих за его счет.

Дверь широко распахнулась, и в комнату ворвалась Тереза. Ее покрытое толстым слоем тона лицо дышало злобой.

— Вы что, намерены здесь всю ночь разговаривать? — сердито осведомилась она.

— Сейчас, сейчас, дорогая, мы уже готовы, — ответил Томас и, повернувшись к Рудольфу, добавил: — Мы собирались где-нибудь поужинать. Может, вы с Гретхен присоединитесь к нам?

— Мы идем в китайский ресторан. Я обожаю китайскую кухню, — заявила Тереза.

— Боюсь, сегодня не получится, Том. Гретхен надо домой, чтобы отпустить няньку,— сказал Рудольф и, заметив, как Томас покосился на жену, понял — он думает: брату стыдно показываться на людях с моей женой.

— Ничего не поделаешь, — Томас добродушно пожал плечами, — как-нибудь в другой раз, — и уже в дверях вдруг резко остановился, точно что-то вспомнил: — Да, завтра случаем ты не будешь в городе около пяти?

— Томми,— громко сказала его жена,— мы идем ужинать или нет?

— Помолчи, — оборвал ее Томас. — Так как, Руди?

— Да, — ответил Рудольф. Завтра ему предстояла встреча с архитекторами и юристами. — Я буду у себя в гостинице. Отель «Уорвик» на...

— Я знаю, где это, — сказал Томас. — Я приду.

Они вышли в коридор. У Гретхен было бледное, напряженное лицо, и Рудольф на какое-то мгновение пожалел, что привел ее с собой. Но жалость тотчас исчезла. В конце концов она взрослый человек, подумал он, нельзя же ей вечно прятаться от всего. Достаточно уже того, что она умудряется десять лет избегать встреч с матерью.

Проходя мимо дверей другой раздевалки, Томас снова остановился.

— Мне надо заглянуть сюда на минутку, попрощаться с Вирджилом. Пойдем со мной, Руди. Скажи, что ты мой брат, и похвали его. Ему станет немного легче.

— Мы, кажется, никогда не уйдем отсюда,— буркнула Тереза.

Томас, не обращая на нее внимания, открыл дверь и пропустил Рудольфа вперед. Негр все еще не переоделся.

Свесив руки между колен, он понуро сидел на топчане, а рядом на складном стуле молча сидела хорошенькая цветная девушка, вероятно, его жена или сестра. Белый ассистент-угловой осторожно прикладывал пузырь со льдом к огромной шишке над глазом боксера. Глаз совсем заплыл.

— Как ты себя чувствуешь, Вирджил? — спросил Томас, сочувственно обнимая своего противника за плечи.

— Да не очень, — ответил тот. Рудольф увидел, что ему не больше двадцати лет.

— Вирджил, познакомься с моим братом Руди. Он пришел сказать тебе, что ты отлично дрался.

— Да, это был замечательный бой, — подтвердил Рудольф, пожимая негру руку и преодолевая желание сказать: «Бедняга, никогда больше не надевай боксерские перчатки».

— Он ужасно сильный, этот ваш брат,— заметил Вирджил.

— Просто мне повезло, — сказал Томас. — Здорово повезло. Пришлось наложить на бровь пять швов.

— Я не нарочно, Томми. Честное слово, не нарочно...

— Конечно. Я знаю,— успокоил его Томас.— Никто и не говорит, что нарочно. Я просто заглянул попрощаться с тобой и убедиться, что у тебя все в порядке.— Он снова крепко обнял его за плечи.

— Спасибо, большое спасибо, — поблагодарил Вирджил.

— Проклятые менеджеры! — выходя в коридор, выругался Томас. — Ты заметил, этого мерзавца не было в раздевалке. Он даже не подождал, чтобы узнать, куда отправят Вирджила — домой или в больницу! Бокс — дерьмовая профессия!

На улице они остановили такси. Гретхен настояла на том, чтобы сесть рядом с шофером, а Тереза устроилась сзади между Томасом и Рудольфом. От нее исходил сильный запах духов, но когда Рудольф опустил стекло, она запротестовала:

— Ради бога! Ветер испортит мне прическу.

Рудольф извинился и закрыл окно.

Они молча ехали в сторону Манхэттена. Тереза то и дело подносила к губам руку Томаса и целовала ее, словно закрепляя этим свое право собственности.

Когда они пересекли мост, Рудольф сказал:

— Мы выйдем здесь, Том.

— Вы правда не можете с нами поужинать? — снова неуверенно спросил Томас.

— Там лучшие китайские блюда в городе, — сказала Тереза. Поездка прошла спокойно, она больше не чувствовала никакой опасности и могла позволить себе быть гостеприимной: кто знает, может, в будущем ей это пригодится. — Вы просто не понимаете, какого удовольствия себя лишаете.

— Мне надо домой, — заявила Гретхен. Голос ее дрожал, она была на грани истерики. — Я обязательно должна вернуться домой.

Если бы не Гретхен, Рудольф остался бы с братом. После такого шумного триумфального вечера было жаль, что Томас останется в печальном одиночестве с болтливой женой там, где никто не будет его знать, никто не будет приветствовать. Надо когда-нибудь обязательно восполнить это сегодняшнее упущение.

Шофер остановил машину, и Гретхен с Рудольфом вышли.

— Пока, родственнички, — засмеялась Тереза.

— Значит, завтра в пять, Руди, — сказал Томас, и Рудольф утвердительно кивнул.

— Спокойной ночи, — еле слышно прошептала Гретхен. — Береги себя.

Когда такси отъехало, Гретхен схватила Рудольфа за руку, точно боялась упасть. Рудольф остановил другое такси и сказал шоферу адрес. В машине Гретхен не выдержала, прижалась к Рудольфу и разрыдалась. У него на глазах тоже навернулись слезы. Он крепко обнял сестру и гладил ее по голове.

Наконец, перестав плакать, Гретхен выпрямилась и вытерла платком слезы.

— Извини. Нельзя быть таким жутким снобом, как я... Бедный мальчик, бедный мальчик...

Когда они вошли, приглашенная нянька спала на диване в гостиной. Вияли еще не пришел. Никто не звонил, сказала нянька, а Билли читал, пока не заснул, тогда она поднялась к нему и тихонько, стараясь не разбудить, погасила свет.

Гретхен налила в два стакана виски с содовой и села на диван, поджав под себя ноги. Рудольф устроился в большом кресле. Горела только одна настольная лампа. Измученные, они медленно пили, благословляя тишину.

— Ему это *доставляло удовольствие*,— наконец нарушила молчание Гретхен.— Тот парень был уже совсем беспомощным, когда он ударил его столько раз подряд... Раньше я думала, что это просто несколько необычный способ зарабатывать на жизнь — не более того... Но сегодня все было совсем не так, правда?

— Да, это необычная профессия, — согласился Рудольф. — Трудно сказать, о чем думает человек, когда он дерется на ринге.

— А тебе не было стыдно?

— Я бы сказал, что мне не было радостно. Но в Америке по меньшей мере десять тысяч боксеров. И каждый из них чей-то сын, брат.

— А мне почему-то кажется, это мы виноваты: ты, я, наши родители — в том, что он варится в этом котле... Боже, как все запуталось! Как мы все запутались! Да, все. И ты тоже. Скажи, хоть что-нибудь в жизни доставляет тебе удовольствие?

— У меня другой подход к жизни.

— Ты — монах-коммерсант, — резко сказала Гретхен. — Вместо обета нищеты ты дал обет богатства. В конечном счете так, наверное, лучше, да?

— Не говори глупостей.— Рудольф теперь жалел, что поднялся с ней в квартиру.

— А два другие обета, — продолжала Гретхен, — обет целомудрия и обет послушания. Целомудрия во имя нашей девы-матери, так, что ли? А послушания — Дункану Колдервуду, преподобному настоятелю торговой палаты Уитби?

— Теперь все будет иначе, — ответил Рудольф, хотя ему было неприятно защищать себя и что-то объяснять.

— Ты хочешь сбежать из монастыря, святой отец? Собираешься жениться, погрязнуть во грехе и послать Дункана Колдервуда ко всем чертям?

— Глупо срывать на мне свое раздражение, Гретхен, — стараясь говорить спокойно, заметил Рудольф и встал.

— Прости, — извинилась Гретхен, но голос ее был по-прежнему жестким. — Я гораздо хуже всех в нашей семье. Я живу с человеком, которого презираю, я занимаюсь сволочной, мелкой и бесполезной работой, я самая доступная женщина во всем Нью-Йорке... Тебя это шокирует, братец?

— Мне кажется, ты незаслуженно присвоила себе этот титул.

— Шутка. Тебе нужен список? Начнем с Джонни Хита. По-твоему, он так хорошо относится к тебе только за твои прекрасные глаза?

— А что обо всем этом думает Вилли? — спросил Рудольф, пропуская мимо ушей ее колкость. Неважно, как и почему начались их отношения — сейчас Джонни Хит его друг.

— Вилли не думает ни о чем. Ему бы только ходить по барам да изредка побарахтаться в постели с какой-нибудь пьяной девицей. Он довольствуется в этой жизни минимумом работы и минимумом порядочности. Если бы у него каким-то образом оказались скрижали с текстом десяти заповедей, первое, о чем бы он подумал, это — какому туристическому агентству можно загнать их подороже для рекламы экскурсий на гору Синай.

Рудольф расхохотался. Гретхен тоже невольно рассмеялась:

— Неудачный брак, как ничто другое, развивает в человеке красноречие.

— А Вилли знает твое мнение о нем?

— Да, и полностью согласен. В том-то и весь ужас! По его собственным словам, никто и ничто в этом мире не вызывает у него восхищения, а меньше всего он сам.

— Почему же ты тогда живешь с ним? — напрямик спросил Рудольф.

— Помнишь, я как-то послала тебе письмо, просила приехать в Нью-Йорк? В то время я почти решила развестись и хотела спросить у тебя совета.

— Что же заставило тебя передумать?

Гретхен пожала плечами.

— Заболел Билли. В общем-то пустяк. Вначале врач думал, у него аппендицит. Мы с Вилли просидели у его постели всю ночь. И когда я увидела, как Билли лежит

бледный и страдает, а Вилли суетится вокруг него, и поняла. как он любит мальчика, мне вдруг стало страшно. Я не могла вынести мысли, что и мой сын попадет в эту печальную графу статистических исследований — несчастный ребенок из разбитой семьи, вечно тоскующий по нормальному дому, в будущем неизбежно вынужденный обратиться к психоаналитикам. Но... — голос ее вновь стал сухим, — этот очаровательный приступ материнской сентиментальности прошел. Если бы наши родители разошлись, когда мне было девять лет, возможно, я была бы лучше, чем сейчас...

— Короче говоря, сейчас ты решила развестись?

— Если суд оставит Билли со мной,— ответила Гретхен.— Но именно на это Вилли никогда не согласится.

Рудольф помолчал, отпил виски.

— Ты хочешь, чтобы я узнал, можно ли его как-то заставить? — Он никогда бы не предложил вмешательства, если бы не видел сегодня, как она рыдала в такси.

— Если ты думаешь, что это поможет, — пожала плечами Гретхен. — Я хочу спать с одним мужчиной, а не с десятью. Мне хочется быть честной и делать что-нибудь полезное, нужное.

Где-то вдалеке часы пробили час ночи.

— Что же, — сказала Гретхен, — наверняка Томми и та особа уже доели свой китайский ужин. Неужели в истории Джордахов этот брак окажется первым счастливым? Неужели он и его жена любят, уважают и лелеют друг друга, преломляя вместе китайский хлебец и согревая своими телами пышное брачное ложе?

Щелкнул замок входной двери.

— А-а,— протянула Гретхен.— Увешанный медалями ветеран вернулся домой.

— Привет, дорогая, — держась подчеркнуто прямо, Вилли вошел в комнату и поцеловал Гретхен в щеку. — А как поживает наш принц коммерции? — Он помахал Рудольфу рукой.

— Поздравь его, — сказала Гретхен. — Он сегодня подписал соглашение.

— Поздравляю.— Вилли, прищурившись, оглядел гостиную.— Боже, какая темень! О чем вы тут говорили? О смерти? О могилах? О черных делах, совершаемых в ночи? — Он подошел к бару и налил себе виски.— И как же вы провели сегодняшний вечер?

— У нас была семейная встреча,— сказала Гретхен с дивана.— Мы ходили на бокс.

— Что? — недоуменно спросил Вилли. — О чем она говорит, Руди?

— Она тебе потом расскажет.— Рудольф встал.— Мне пора идти.— Он чувствовал себя неловко в присутствии Вилли, и ему не хотелось притворяться, словно этот вечер ничем не отличается от других, делать вид, что Гретхен ничего ему не сказала. Он нагнулся над диваном и поцеловал сестру. Вилли пошел проводить его до дверей.

— Спасибо, что зашел и составил компанию моей старушке, — сказал он, — я теперь чувствую себя не таким дерьмом — как ни говори, оставил ее одну на весь вечер. Но, понимаешь, это было совершенно необходимо.

Рудольф слышал, как Вилли закрыл за ним дверь на цепочку, и ему хотелось сказать: «Опасность не снаружи, Вилли. Ты запираешь ее сейчас в квартире вместе с собой».

## Глава 6

### I

Утром он мочился кровью, но больно не было. Когда электричка шла через тоннель, он взглянул на свое отражение в окне. Повязка над глазом придавала ему несколько зловещий вид, но в общем-то, подумалось ему, он ничем не отличался от любого другого человека, направляющегося в банк.

Тереза устроила ему скандал за то, что он ничего не сказал ей про поставленные в тотализаторе деньги и про своих, как она выразилась, спесивых родственников.

«Эта твоя сестра смотрела на меня, как на какую-нибудь мразь, а твой воображала братец открыл окно, точно от меня воняло, как от лошади. И еще забился в угол — можно подумать, если бы он до меня дотронулся, то немедленно подхватил бы триппер. Не видели родного брата десять лет и даже не пожелали выпить с ним чашку кофе! А ты, великий боксер, не мог сказать им ни слова, будто так и полагается!»

Ее слова всю ночь звенели у него в ушах, и он плохо спал. Но самое ужасное, что она права. Ведь он уже совсем взрослый человек, но стоило появиться брату и сестре, и в их присутствии он опять почувствовал себя, как в детстве — противным, глупым, никчемным и дрянным мальчишкой.

На секунду ему в голову пришла сумасбродная мысль. Может, не сходить с электрички до Олбани, а там пересесть на другой поезд и поехать в Элизиум к той единственной в мире, которая прикасалась к нему с любовью, к той, с кем он чувствовал себя настоящим мужчиной, хотя ему было тогда всего шестнадцать лет, — к Клотильде, горничной дяди.

Но когда поезд остановился в Порт-Филипе, Томас вышел и, как собирался, направился в банк.

## II

Колин Берк жил на Пятьдесят шестой улице, между Мэдисон и Парк авеню.

Она вошла в знакомый белый вестибюль и нажала кнопку звонка. Сколько раз она уже приходила сюда? Сколько раз нажимала в полдень эту кнопку? Двадцать? Тридцать? Шестьдесят? Когда-нибудь она сосчитает.

Автоматический замок щелкнул, она толкнула дверь, прошла к лифту и поднялась на четвертый этаж.

Он стоял в дверях — босиком, поверх пижамы наброшен халат. Они коротко поцеловались — не надо, не надо торопиться.

В большой захламленной гостиной на столике, заваленном папками с пьесами, стояла тарелка с остатками завтрака и недопитая чашка кофе. Берк был театральным режиссером и жил по театральному расписанию — он редко ложился спать раньше пяти утра.

Их познакомил на каком-то обеде редактор журнала, в котором она иногда печаталась. Предполагалось, что она напишет о Берке статью, так как похвально отозвалась о поставленной им пьесе. Тогда, на обеде, он ей не понравился, показался заносчивым, догматиком и слишком самоуверенным. Статью она так и не написала, но спустя три месяца, после нескольких случайных встреч, отдалась ему — то ли потому, что ей этого хотелось, то ли, чтобы отомстить Вилли, то ли от скуки, то ли на нервной почве, а может, потому, что просто случайно ей было все равно... Она давно уже бросила анализировать причины.

Берк, стоя, медленно пил кофе и глядел на нее ласковыми темно-серыми глазами из-под густых черных бровей. Ему было тридцать пять лет. Он был невысоким, ниже ее, но его всегда напряженное, умное, волевое и открытое лицо — сейчас заросшее черной щетиной — заставляло собеседников забывать о его малом росте. Профессия режиссера приучила его командовать сложными и тонкими людьми, и властность чувствовалась во всем его облике. Настроение у него быстро менялось, и иногда даже с ней он говорил резко. Берк мучительно переживал как собственное несовершенство, так и несовершенство людей вообще, легко обижался и порой пропадал на несколько недель, не сказав никому ни слова. Он развелся с женой и слыл бабником. Вначале Гретхен чувствовала, что нужна ему лишь для удовлетворения простейшей и вполне понятной потребности, но сейчас, глядя на этого худого, невысокого мужчину в мягком синем халате, она знала наверняка, что любит его и никого другого ей не надо — она готова пойти на любые жертвы, лишь бы всю свою жизнь быть рядом с ним.

— Прекрасная Гретхен, восхитительная Гретхен, великодушная Гретхен, — сказал он, отнимая чашку от губ. — О, если б ты каждое утро входила ко мне, неся на подносе завтрак!..

— Подумать только! У тебя сегодня хорошее настроение.

— Не совсем. — Колин Берк поставил чашку на стол, подошел к Гретхен, и они обнялись.— У меня впереди кошмарный день. Час назад позвонил мой театральный агент — в два тридцать я должен быть в компании «Коламбиа». Мне предлагают поехать на Запад и снять фильм.

— Вот как! — Она рассеянно закурила сигарету. — Я думала, в этом году ты собираешься ставить пьесу.

— Брось сигарету, — сказал Берк. — Когда плохой режиссер хочет показать зрителю, что отношения персонажей становятся напряженными, он непременно заставляет актеров закуривать.

Она засмеялась и потушила сигарету.

— Пьеса еще не готова и, судя по тому, в каком темпе автор ее переписывает, не будет готова раньше чем через год. А все другое, что мне пока предложили,— ерунда... Ну, не смотри же на меня так грустно.

— Нет, ничего. Просто мне хотелось лечь с тобой в постель, и вот я разочарована.

Теперь засмеялся он.

— Ну и лексикон у нашей Гретхен. Все в лоб, без обиняков... Я вел переговоры с «Коламбиа пикчерс» больше месяца. Они дают мне полную свободу: сценарий, какой я захочу, автор диалогов — по моему усмотрению, никакого контроля, все съемки на натуре, право на окончательный вариант монтажа — в общем, все, с условием, что я не превышу смету, а смета вполне приличная. Если фильм получится у меня хуже, чем постановки на Бродвее, то в этом буду виноват только я сам. Приезжай на премьеру. Мне будет нужна твоя поддержка.

Она улыбнулась, но улыбка получилась вымученной.

— Ты не говорил мне, что все это так серьезно. А сам вел переговоры больше месяца.

— Я не люблю трепаться,— сказал он.— И я не хотел тебе говорить, пока ничего не было известно наверняка.

Она закурила сигарету, чтобы чем-то отвлечь себя. Наплевать на режиссерские штампы с напряженной ситуацией.

— А как же я? Буду сидеть здесь и ждать? — выпуская дым, спросила она, хотя знала, что не нужно было задавать этот вопрос.

— Как ты? — переспросил он, задумчиво глядя на нее.— Самолеты летают каждый день...

— Если я прилечу туда с Билли, мы сможем жить у тебя? — осторожно спросила она.

Он подошел к ней, обхватил ее голову обеими руками и поцеловал в лоб. Ей пришлось слегка нагнуться.

— Ну, мне пора бриться и одеваться. Я уже опаздываю.

Она ждала, пока он брился, принимал душ и одевался, потом они поехали на такси на Пятую авеню, где находилась дирекция кинокомпании. Он так и не ответил на ее вопрос, но попросил позвонить ему вечером — он расскажет ей, чем кончился разговор в «Коламбиа пикчерс».

## III

К концу дня он очень устал. Все утро он провел с юристами, а они, как выяснилось, самые нудные и утомительные люди на свете. После них пришли архитекторы и тоже отняли у него немало сил. Он работал над планом торгового центра, и его номер был завален чертежами. По совету Джонни Хита он заключил контракт с фирмой молодых архитекторов, которые уже получили несколько почетных премий за свои работы, но еще горели энтузиазмом. Они, бесспорно, были талантливыми и увлеченными, но работали в основном в больших городах и привыкли облекать свои идеи в стекло и сталь или пористый цемент. Рудольф знал, что они считают его безнадежным консерватором, но настаивал на более традиционных формах и материалах. Сам он тоже предпочитал более современные варианты, но понимал, что традиционная архитектура будет больше импонировать вкусам людей, которые станут покупателями в новом центре, ну и, конечно, только традиционный стиль мог заслужить одобрение Колдервуда.

Зазвонил телефон. Рудольф взглянул на часы — почти пять. Том обещал прийти в это время. Он снял трубку. Но это был Хит.

— Я выяснил то, о чем ты просил. У тебя есть под рукой карандаш? Записывай.— Он продиктовал адрес и название частного детективного агентства. — По моим сведениям, они заслуживают доверия. — Он не поинтересовался, зачем Рудольфу понадобился частный детектив. По-видимому, догадывался.

Повесив трубку, Рудольф почувствовал себя еще более усталым и решил отложить звонок детективам на завтра. Никогда раньше он так не уставал к пяти часам. Может быть, возраст? Он рассмеялся. Ему недавно исполнилось двадцать семь. Взглянул на себя в зеркало. В гладко зачесанных черных волосах ни намека на седину. Никаких мешков под глазами. Чистая смугловатая кожа, не испорченная никакими

излишествами или скрытыми болезнями. Если он и перенапрягается, это никак не сказывается на его молодом, гладком, сдержанном лице.

Снова зазвонил телефон. На этот раз швейцар.

— К вам пришел ваш брат, мистер Джордах.

— Попросите его подняться. — Рудольф торопливо запихнул в шкаф все эскизы архитекторов. Ему не хотелось производить на брата впечатление важного человека, ворочающего большими делами.

Раздался стук в дверь, и он открыл. Что ж, по крайней мере надел галстук, ехидно подумал Рудольф, небось решил не ударить лицом в грязь перед портье и швейцаром. Он пожал брату руку.

— Проходи, садись. Выпить хочешь? У меня здесь есть бутылка виски, но если хочешь что-нибудь другое, могу позвонить и попросить принести.

— Не надо. Меня вполне устраивает виски, — ответил Том. Он сидел напряженно, свесив между колен руки. Пальцы у него были уже деформированные, шишковатые. Пиджак туго обтягивал мощные плечи.

— В утренней газете были хорошие отзывы о вчерашнем бое,— заметил Рудольф.

— Угу. Я читал... Знаешь, давай не будем терять времени, Руди. — Он вынул из кармана толстый конверт, встал, подошел к кровати и, открыв конверт, перевернул его. Посыпались стодолларовые купюры. — Здесь пять тысяч. Они твои.

— Не понимаю, о чем ты. Ты ничего мне не должен.

— Это за обучение в колледже, которого я лишил тебя, когда пришлось заплатить тем подлецам в Огайо. Мне хотелось отдать деньги отцу, но он умер. Теперь они твои.

— Тебе они слишком дорого достаются, чтобы так ими швыряться, — сказал Рудольф, вспоминая вчерашнюю кровавую драку.

— Эти деньги я не заработал, — ответил Томас. — Мне они достались легко. Я их отнял, как когда-то их отняли у отца. Шантажом. Это было давно. Несколько лет они пролежали в сейфе. Не беспокойся, я за это не сидел.

— Это же дурацкий жест.

— А я дурак и веду себя по-дурацки. Возьми их. Теперь я с тобой в расчете. — Он отвернулся от кровати и залпом допил виски. — Ладно, я пошел.

— Подожди минутку. Сядь. — Рудольф слегка толкнул его в плечо и даже при этом мимолетном прикосновении почувствовал силу железных мышц.— Мне они не нужны. Я хорошо зарабатываю. Я только что заключил одну крупную сделку и скоро стану богатым... Я...

— Рад за тебя, — прервал его Томас, — но это к делу не относится. Я хочу вернуть долг моим поганым родственникам, вот и все.

— Я не возьму их, Том. Положи их в банк, хотя бы на имя своего сына.

— О нем я как-нибудь позабочусь, не волнуйся. — В его голосе прозвучала злоба.

— Но это не мои деньги, — беспомощно сказал Рудольф. — Что мне с ними делать, черт побери?

— Спусти их в сортир. Просади на баб. Пожертвуй на благотворительность. Я их обратно не возьму.

— Да сядь же ты наконец. Нам надо поговорить. — Рудольф снова подтолкнул брата к креслу, на этот раз более уверенно. Наполнил стаканы и сел напротив. — Послушай, Том, — начал он, — мы уже не те дети, которые спали в одной кровати и действовали друг другу на нервы. Мы взрослые люди, и мы братья.

— Где же ты был все эти десять лет, *брат*? Ты и принцесса Гретхен? Вы даже открытки мне ни разу не послали.

— Прости меня, — сказал Рудольф. — Если ты будешь говорить с Гретхен, она тоже попросит у тебя прощения. Вчера вечером, глядя на тебя на ринге, мы вдруг поняли, что мы — одна семья и наш долг — думать друг о друге.

— Мой долг — пять тысяч долларов. Вот они, на кровати. А больше никто никому ничего не должен. — Томас сидел, опустив голову, почти касаясь подбородком груди.

— Что бы ты ни говорил, что бы ни думал о том, как я вел себя все эти годы, сейчас я хочу тебе помочь.

— Мне не нужна ничья помощь.

— Нет, нужна, — упрямо сказал Рудольф. — Послушай, Том, я, конечно, не спе-

циалист, но видел достаточно матчей, чтобы разбираться в возможностях того или иного боксера. Когда-нибудь тебя побьют, здорово побьют. Ты — любитель. Одно дело быть чемпионом среди любителей и совсем другое — драться с профессионалами, тренированными, способными, честолюбивыми боксерами. Придет день, и тебя превратят в котлету. Я уж не говорю о травмах: сотрясениях мозга, увечьях, отбитых почках...

— Я плохо слышу на одно ухо, — прервав его, неожиданно признался Том. Профессиональный разговор расположил его к откровенности.— Вот уже больше года. Ну и черт с ним, я не музыкант.

— Дело не только в травмах, — продолжал Рудольф, — рано или поздно ты начнешь больше проигрывать, чем побеждать, или неожиданно почувствуешь, что выдохся навсегда, и тут-то тебя побьет какой-нибудь юнец. Тебе это известно лучше, чем мне. И что тогда? Как ты будешь зарабатывать себе на жизнь? В тридцать— тридцать пять лет начнешь все сначала?

— Не каркай.

— Я просто трезво смотрю на вещи. — Рудольф встал и снова наполнил стакан Томаса, чтобы подольше задержать брата.

— Ты все тот же, прежний Руди. Всегда счастлив дать дельный практический совет младшему брату, — усмехнулся Том.

— Сейчас я стою во главе большой организации, — сказал Рудольф. — Я буду набирать работников. Вакансий много, и я мог бы подыскать для тебя какую-нибудь постоянную работу...

— Какую? Водить грузовик за пятьдесят долларов в неделю?

— Нет, получше. Ты не дурак и мог бы в конце концов стать заведующим сектором или отделом, — сказал Рудольф, сам не зная, лжет он или верит в то, что говорит. — Все, что для этого требуется — немного здравого смысла и желание научиться.

— У меня нет здравого смысла и нет желания ничему учиться. Разве ты не знаешь? — отрезал Том, вставая. — Ну, ладно, хватит. Мне пора идти. Меня семья ждет.

— Что ж, поступай как знаешь. Может, наступит время и ты передумаешь...

— Я не передумаю.

— Послушай, может, я сегодня вечером заеду к вам посмотреть на твоего сынишку, а потом приглашу тебя с женой куда-нибудь поужинать? Что ты на это скажешь?

— Я на это скажу — шиш! — открывая дверь, ответил Томас. — Приходи как-нибудь снова посмотреть меня на ринге. Прихвати с собой Гретхен. Болельщики мне не помешают. Но не затрудняйте себя и не заходите ко мне в раздевалку.

— И все же подумай о моем предложении. Ты знаешь, где меня найти, — устало сказал Рудольф. — Кстати, ты мог бы приехать в Уитби и навестить мать. Она спрашивала о тебе.

— А что она спрашивала? Не повесили ли меня еще? — криво усмехнулся Томас.

— Она говорила, что хочет хотя бы раз увидеть тебя перед смертью.

— Маэстро, пусть вступают скрипки! — саркастически сказал Томас.

Рудольф написал на листке бумаги свой адрес в Уитби и номер телефона.

— На случай, если ты передумаешь, вот наш адрес.

Томас секунду колебался, потом небрежно засунул листок в карман.

— Увидимся через десять лет, братик... может быть... — Он вышел и захлопнул за собой дверь.

Рудольф уставился на закрытую дверь. Сколько живет ненависть? В семье, наверное, вечно. Он подошел к кровати, собрал деньги в конверт и заклеил его. Завтра он вложит эти деньги в акции «Д. К. Энтерпрайсиз» на имя своего брата. Придет время, и Томасу они понадобятся, но тогда их будет уже не пять тысяч, а гораздо больше.

## Глава 7

### I

«Дорогой сын, — читал Томас строчки, написанные круглым детским почерком.— Рудольф дал мне твой нью-йоркский адрес, и я решила воспользоваться возможностью, чтобы после стольких лет восстановить связь с моим пропавшим мальчиком».

В комнату вошла Тереза. Она была в фартуке, покрытое тоном лицо слегка блестело от пота. Следом за ней на четвереньках полз малыш.

— Письмо получил, — проворчала она. После того как он сообщил, что его пригласили поехать выступать в Англию, и она поняла, что ее он с собой не возьмет, она была настроена не слишком дружелюбно. — Почерк женский.

— Господи, это от моей матери.

— Так я тебе и поверила.

— На, посмотри сама,— он сунул письмо ей под нос.

— Теперь у тебя еще и мать объявилась. Твоя семья растет не по дням, а по часам. — И, взяв ребенка на руки, она ушла на кухню.

Назло Терезе Томас решил дочитать письмо до конца и узнать, что надо старой ведьме.

«Рудольф рассказал, при каких обстоятельствах вы встретились, и должна признаться, я была очень огорчена твоим выбором профессии. Впрочем, учитывая характер твоего отца, в этом нет ничего удивительного. Во всяком случае, это, вероятно, честный способ зарабатывать на жизнь. Твой брат говорит, ты остепенился, женат, и у тебя есть ребенок. Надеюсь, ты счастлив.

Рудольф не рассказал мне, какая у тебя жена, но я надеюсь, что ты с ней живешь лучше, чем жила я с твоим отцом. Не знаю, говорил ли тебе Рудольф, но твой отец в один прекрасный вечер взял и куда-то исчез. Вместе с кошкой. Я болею, и, по-видимому, дни мои сочтены. Хотела бы съездить в Нью-Йорк поглядеть на моего сына и маленького внука, но мне такая поездка не под силу. Если бы Рудольф счел нужным купить машину, а не мотоцикл, может, я бы и приехала. Была бы у него машина, он, может, иногда возил бы меня по воскресеньям в церковь, и я смогла бы постепенно искупить свою вину за годы, прожитые в безбожии, на которое меня обрек твой отец. Впрочем, мне грех сетовать. Рудольф очень добр, заботится обо мне и даже купил для меня телевизор, который помогает мне кое-как коротать длинные дни. Рудольф так много работает над своим проектом, что почти не бывает дома. Приходит только ночевать. Судя по всему, особенно по тому, как он одевается, дела у него идут хорошо. Но он всегда умел хорошо одеваться и всегда умудрялся иметь карманные деньги.

Не буду кривить душой — я не мечтаю о воссоединении всей нашей семьи, так как я выбросила твою сестру из своего сердца. Для этого у меня было достаточно веских причин. Но если бы я снова увидела обоих моих сыновей вместе, то заплакала бы от радости.

Всю жизнь я очень много работала, ужасно уставала и не уделяла тебе достаточно внимания. Но сейчас, на закате моих дней, может быть, мы сумеем восстановить между нами мир.

Насколько я поняла, ты не очень-то был приветлив со своим братом. Наверно, у тебя есть на то основания. Он превратился в довольно холодного человека, хотя я не могу жаловаться на его невнимание ко мне. Если тебе не хочется с ним встречаться, я сообщу, когда его не будет дома, а это случается все чаще и чаще, и нам никто не помешает.

Поцелуй за меня моего внука.

Любящая тебя мама».

Боже милостивый, подумал Томас, — голос с того света.

Он долго сидел неподвижно, глядя в пространство и не слыша, как на кухне его жена бранит за что-то ребенка. Он вспоминал те годы, когда они все вместе жили над булочной и он ощущал себя сосланным в изгнание — ощущал это даже в большей степени, чем когда его действительно выслали из города и велели никогда не возвращаться обратно. Кто знает, может, стоит съездить навестить старуху и послушать запоздалые жалобы на ее дорогого Рудольфа, ее любимчика.

Он возьмет у Шульца машину и свозит мать в церковь. Да, вот именно. Пусть они все увидят, как заблуждались на его счет.

## II

Бывший полицейский, а ныне частный детектив мистер Маккенна положил на стол перед Рудольфом отчет и заметил:

— Я абсолютно уверен, что здесь собрана вся необходимая информация об ин-

тересующем вас субъекте. Любой компетентный адвокат без труда добьется развода для истицы. Совершенно очевидно, что именно она — потерпевшая сторона.

Рудольф с отвращением взглянул на аккуратно отпечатанные страницы. Похоже, нынче подслушать телефонный разговор так же просто, как купить буханку хлеба. За какие-нибудь пять долларов гостиничный портье разрешит вам установить микрофон в любом номере. За приглашение в ресторан секретарши выудят из мусорной корзинки клочки любовных писем и аккуратно их склеют. Отвергнутые любовницы с готовностью выдадут все секреты своих бывших любовников. Архивы полиции и секретные показания свидетелей за небольшую сумму доступны каждому.

Рудольф снял трубку и позвонил Вилли.

— Привет, принц коммерции. Чему обязан такой честью? — весело спросил тот. Судя по его голосу, он уже успел выпить по крайней мере три мартини.

— Вилли, ты должен немедленно ко мне приехать.

— Послушай, дружище, я, можно сказать, на приколе...

— Вилли, предупреждаю: тебе же будет лучше, если ты сразу приедешь.

— Хорошо, — послушно ответил Вилли. — Закажи мне чего-нибудь выпить.

Вилли, расположившись в том самом кресле, где недавно сидел бывший полицейский, внимательно читал отчет детектива.

— Получается, я не терял зря времени, — заметил он и, похлопав по папке, спросил: — Что ты собираешься с этим делать?

Рудольф протянул руку, взял подколотые вместе страницы, разорвал на мелкие клочки и бросил в мусорную корзинку.

— Что это значит? — удивился Вилли.

— Это значит, что я не могу дать ход этим сведениям. Никто больше этого не увидит и не будет ничего знать. Если твоя жена хочет получить развод, ей придется добиваться его как-то иначе.

— Ах, вот в чем дело. Значит, это идея Гретхен?

— Не совсем. Она сказала мне, что собирается уйти от тебя, но хочет, чтобы ребенок остался с ней, и я предложил ей помочь.

— Интересно, во сколько же это тебе обошлось?

— В пятьсот пятьдесят долларов.

— Жаль. Тебе следовало обратиться ко мне. Я бы дал тебе всю эту информацию за полцены. Ты хочешь, чтобы я возместил твои расходы?

— Не надо. Я ничего не подарил тебе на свадьбу. Считай, что это мой свадебный подарок, — ответил Рудольф.

## III

Томас вошел в слабо освещенный вестибюль и позвонил в звонок над табличкой «Джордах». Несколько дней назад он по телефону сообщил матери, когда приедет. Она обещала быть дома. Подождав некоторое время, он снова нажал кнопку. Никаких признаков жизни. Вероятно, в последнюю минуту Рудольф попросил ее приехать в Нью-Йорк почистить ему ботинки или сделать еще что-нибудь в этом же роде, и она, вне себя от радости, помчалась на его зов, с горечью подумал Томас.

Он уже повернулся, чтобы уйти, почти довольный, что все так получилось — по правде говоря, он не горел желанием встретиться с ней,— когда вдруг услышал щелчок замка. Он снова толкнул дверь и прошел из вестибюля на лестницу. Мать стояла на площадке второго этажа. На вид ей было лет сто. Она сделала несколько шагов к нему, и только тогда он понял, почему ему пришлось так долго ждать: судя по тому, с каким трудом она двигалась, ей понадобилось минут пять, чтобы добраться до двери. По щекам ее уже текли слезы.

— Мой сын, мой сын, — повторяла она, обнимая Томаса своими тонкими, как палки, руками. — Я уж и не надеялась тебя увидеть.

От нее сильно пахло каким-то одеколоном. Томас осторожно поцеловал ее в мокрую щеку, сам не понимая, что же он чувствует.

Опираясь на его руку, она провела его в квартиру. Крошечная темная гостиная была обставлена мебелью, которую Томас помнил еще с тех пор, когда они жили на Вандерхоф-стрит. Уже тогда она была старой и потертой, а сейчас вообще просто

разваливалась. Сквозь открытую дверь в соседнюю комнату он увидел узкую кровать, письменный стол и бесчисленное множество книг. Если Рудольф позволяет себе покупать столько книг, то наверняка мог бы купить и новую мебель, подумал Томас.

— Садись, садись, — взволнованно сказала мать, подводя его к единственному ветхому креслу. — Какой замечательный день. — Голос у нее был тонкий и пронзительный от многолетней привычки жаловаться. Распухшие бесформенные ноги обуты в широкие мягкие тапочки, какие носят инвалиды. Передвигалась она так, словно много лет назад попала в автомобильную катастрофу. — Ты выглядишь великолепно, просто великолепно! Я боялась, что у моего мальчика все лицо изуродовано, а ты, оказывается, красивый. В тебе больше моей породы. На ирландца похож, сразу видно. Не то что те двое. — Томас неподвижно сидел в кресле, а мать медленно, неуклюже ходила взад-вперед. Широкое цветастое платье висело на ее худом теле мешком.— Какой симпатичный костюм, — продолжала она, дотрагиваясь до его рукава. — Как у настоящего джентльмена. Я боялась, ты по-прежнему ходишь в свитерах. — Мать весело рассмеялась: теперь его детство было в ее глазах окутано романтической дымкой. — О, я знала, судьба не может быть жестока ко мне настолько, чтобы не дать перед смертью хоть разок взглянуть на моего сыночка. Покажи-ка мне моего внука. У тебя наверняка есть с собой его карточка. Я уверена, что ты носишь ее в бумажнике, как любой счастливый отец.

Томас вынул фотографию сына.

— Как его зовут? — спросила мать.

— Уэсли.

Мэри со слезами на глазах долго смотрела на фотографию, затем поцеловала ее.

— Милый, прелестный малыш.

Томас не помнил, чтобы мать когда-нибудь целовала его, когда он был ребенком.

— Ты должен свозить меня посмотреть на него, — сказала она.

— Обязательно. Когда вернусь из Англии.

— Из Англии? Мы только что нашли друг друга, а ты уже собираешься уезжать на край света!

— Всего на пару недель.

— Ты, должно быть, хорошо зарабатываешь, если можешь позволить себе такое путешествие, — заметила мать.

— Я еду туда работать, — Томас умышленно избегал слова «бокс». — Дорогу мне оплачивают.— Ему не хотелось, чтобы у матери создалось впечатление, что он богат: во-первых, это не соответствовало действительности, а во-вторых, в семье достаточно одной женщины, которая прибирает к рукам все до последнего цента.

— Надеюсь, ты откладываешь деньги на черный день? — тревожно спросила мать. — При твоей профессии...

— Конечно, — сказал он. — Не беспокойся за меня. — И, обведя взглядом комнату, добавил: — А уж Руди-то копит наверняка.

— Ты это про квартиру? Да, она у нас не слишком шикарная, но я не жалуюсь. Руди платит одной женщине за ежедневную уборку и покупку в магазинах в те дни, когда мне трудно подниматься по лестнице. Он говорит, что уже подыскивает квартиру побольше и на первом этаже, чтобы мне было полегче. Он почти ничего мне не рассказывает про свою работу, но в прошлом месяце о нем была статья в газете, о том, что он один из самых предприимчивых и многообещающих молодых бизнесменов в городе, так что, полагаю, дела у него идут неплохо. Но он правильно делает, что экономит. Деньги — причина всех несчастий в нашей семье. Из-за них я раньше времени превратилась в старуху.— Она вздохнула от жалости к себе.— Твой отец был помешан на деньгах. Без скандала я не могла получить от него и десяти долларов на самое необходимое. Когда будешь в Англии, поспрашивай, не видел ли его кто там. Этот человек может оказаться *где угодно.* Ведь он сам родом из Европы, так что, вполне естественно, мог вернуться туда и сейчас там скрывается.

Совсем помешалась, подумал он. Несчастная старуха. Руди не подготовил его к этому.

— Обязательно поспрашиваю, — все же ответил он.

— Ты хороший, — сказала она. — В глубине души я всегда знала, что ты хороший. Просто на тебя дурно влияли твои приятели... Будь у меня больше свободного времени, я могла бы быть хорошей матерью и уберегла бы тебя от многих неприятно-

стей. Ты должен быть строгим со своим сыном. Люби его, но воспитывай в строгости. Твоя жена хорошая мать?

— Ничего, — сказал он. Ему не хотелось говорить о Терезе. Он взглянул на часы. Этот разговор и темная квартира тяготили его. — Знаешь, уже почти два часа. Давай поедем и где-нибудь пообедаем. У меня внизу стоит машина.

— Пообедаем? В ресторане? Это просто замечательно, — радостно, словно маленькая девочка, воскликнула Мэри. — Мой взрослый сильный сын повезет свою старую мать обедать в ресторан!

— Мы поедем в лучший ресторан города, — заверил ее Томас.

Возвращаясь на машине Шульца обратно в Нью-Йорк, он вспоминал прошедший день и думал, захочется ли ему еще раз навестить мать. Его юношеское представление о ней как о ворчливой, вечно чем-то недовольной, суровой женщине, фанатически любящей одного сына в ущерб другому, сейчас изменилось. Теперь мать казалась ему безобидной жалкой старухой, плачевно одинокой, радующейся малейшему знаку внимания и жаждущей сыновней любви.

За обедом он заказал ей коктейль, и она, слегка опьянев, хихикнула:

— Я чувствую себя ужасной озорницей!

После обеда он повозил ее по городу, удивляясь тому, что, прожив здесь уже несколько лет, она почти не знала Уитби и даже не видела университета, в котором учился ее сын.

— Я и не думала, что город такой красивый, — то и дело повторяла она, а проезжая мимо универмага Колдервуда, воскликнула: — Какой большой! Знаешь, я ни разу в нем не была. И подумать только, ведь это Руди всем здесь заведует!

Томас поставил машину на стоянку и, медленно пройдя с матерью по первому этажу универмага, купил ей замшевую сумку за пятнадцать долларов. Она попросила продавщицу положить ее старую сумку в бумажный пакет, а новую, пока они ходили по магазину, с гордостью носила на руке.

В тот день она болтала без умолку. Впервые рассказала ему о своей жизни в приюте, о том, как работала официанткой и как стыдилась, что была незаконнорожденной, как посещала вечернюю школу в Буффало, чтобы получить образование, и даже о том, что до замужества ни разу ни с кем не целовалась. А еще о своей мечте открыть маленький уютный ресторан и о надеждах, которые она возлагала на своих детей...

Когда он привез ее домой, она попросила его дать ей фотографию его сына. Чтобы вставить в рамку и держать на тумбочке в спальне, сказала она. Когда он дал ей карточку сына, она проковыляла в свою комнату и вынесла оттуда старое пожелтевшее от времени фото: она в возрасте девятнадцати лет — стройная серьезная красивая девушка в длинном белом платье.

— А это тебе. — Она молча смотрела, как он аккуратно кладет ее фотографию в бумажник, туда, где раньше лежала карточка сына. — Знаешь, ты мне почему-то ближе всех. Мы с тобой одинаковые. Мы — простые. Не то что твоя сестра или брат. Я люблю Руди. Во всяком случае, мне так кажется. И должна любить. Но я не понимаю его, а иногда просто боюсь. А ты...— Мэри засмеялась.— Ты такой большой и сильный. Зарабатываешь на жизнь кулаками... С тобой мне легко, будто мы ровесники, будто ты мой брат. И сегодня... Сегодня все было так замечательно. Я чувствую себя как человек, который долго сидел в тюрьме и наконец вышел на свободу.

Томас обнял ее и поцеловал. Она на секунду доверчиво прижалась к нему.

— Знаешь, с той минуты, как ты пришел, я не выкурила ни одной сигареты.

По дороге домой Томас остановил машину, зашел в закусочную и заказал виски. Вытащил из бумажника фотографию и долго смотрел на молодую девушку, превратившуюся в его мать. Он был рад, что навестил ее. Сейчас, сидя в одиночестве в пустом баре, он испытывал необычное для себя чувство умиротворения: с сегодняшнего дня людей, которых он должен ненавидеть, стало на одного меньше.

## Глава 1

Утро было довольно приятным, если не считать смога, жидким серым супом наполнявшего чашу низины, в которой лежал Лос-Анджелес. Босиком, в ночной рубашке, проскользнув в щель между занавесями, Гретхен вышла на веранду и взглянула вниз на закопченный, но залитый солнцем город, на поблескивавшее вдали неподвижное море. Она глубоко вдохнула утренний сентябрьский воздух, наполненный запахами влажной травы и раскрывающихся цветов. Сюда, на гору, не доносился городской шум, и тишину раннего утра нарушало лишь квохтанье куропаток, бродивших по лужайке.

Насколько здесь лучше, чем в Нью-Йорке, подумала она уже в который раз. Гораздо лучше.

Будить сына было еще слишком рано, к тому же его ждет необычный день. И уж конечно, не стоит сейчас подымать Колина. Когда она оставила его одного в их широкой кровати, он спал на спине: брови нахмурены, руки скрещены на груди — словно во сне ему показывали спектакль, который он при всем желании не мог похвалить.

С удовольствием ступая босыми ногами по мокрой от росы траве, Гретхен обогнула дом. В калитку была воткнута свернутая в трубку свежая газета.

На первой странице красовались портреты Никсона и Кеннеди, суливших своим избирателям исполнение всех их желаний.

Мысленно она напомнила себе, что надо взять открепительные талоны — они с Колином в ноябре будут в Нью-Йорке, а каждый голос против Никсона очень важен. Вообще-то с тех пор, как она перестала писать статьи, политика не слишком ее волновала. Период маккартизма уменьшил ее веру в значимость личной правоты и внушил страх к публичным выступлениям. Колин вообще не имел определенных политических убеждений и в зависимости от того, с кем в данный момент спорил, объявлял себя то отчаявшимся социалистом, то нигилистом, то сторонником системы единого налогообложения, то даже монархистом. Но каждый раз все кончалось тем, что он голосовал за демократов. Ни он, ни Гретхен не участвовали в бурной политической деятельности Голливуда — не чествовали кандидатов, не подписывали петиций и не ходили на коктейли, устраиваемые для сбора денег в фонды избирательной кампании. Да и вообще они почти нигде не бывали. Колин пил мало и не выносил пьяных пустых разговоров на голливудских сборищах. После многих лет безалаберной богемной жизни с Вилли Гретхен радовалась своим заполненным домашними заботами дням и нежным спокойным ночам с Колином, ее вторым мужем.

Отказ Колина, как он говорил, «выходить на люди» не отражался на его карьере. «Только бездарности вынуждены плясать под дудку Голливуда»,— утверждал он. Его талант проявился уже в первой его картине. Вторым фильмом он подтвердил свое дарование, а сейчас, когда снимал третью за пять лет картину, считался одним из самых блестящих режиссеров своего поколения. Единственной его неудачей была постановка пьесы в Нью-Йорке, куда он вернулся после съемки своей первой картины. Спектакль был показан всего восемь раз. Когда пьесу сняли, Колин исчез на три недели. Объявившись снова, казался замкнутым, молчаливым, и потребовалось несколько месяцев, прежде чем он почувствовал, что может взяться за новую работу. Он был не из тех, кто в состоянии смириться с неудачей, и он заставлял Гретхен страдать вместе с ним, хотя она заранее предупреждала его, что пьеса еще не готова для постановки. Однако Колин продолжал спрашивать ее мнение о всех своих работах, требуя абсолютной искренности. Как раз сейчас ее немного беспокоил один эпизод в его новом фильме, который вчера вечером они просматривали вместе с режиссером по монтажу Сэмом Кори. Что-то в этом эпизоде было не так, но что именно? После просмотра она ничего не сказала Колину, но знала, что за завтраком он обязательно будет расспрашивать, и теперь методически, кадр за кадром, пыталась восстановить эпизод в памяти.

Накинув халат, Гретхен прошла в гостиную, надела очки и села за стол досматривать газету. Она уже собралась отложить ее, как вдруг на спортивной странице увидела фотографию двух боксеров на тренировке. «Господи, опять он»,— подумала Гретхен. Под фотографией было написано: «Генри Куэйлс со своим спарринг-парт-

нером Томми Джордахом готовится в Лас-Вегасе к матчу, который состоится на следующей неделе».

С того вечера в Нью-Йорке, когда они с Рудольфом зашли к Томасу в раздевалку, Гретхен ничего не слышала о брате и не видела его. Хотя она почти совсем не разбиралась в боксе, ей все же было понятно, что раз Томас стал чьим-то партнером для тренировки, значит, его спортивная карьера пошла под уклон. Она аккуратно сложила газету, встала и пошла будить сына.

Билли, скрестив ноги, сидел на кровати и тихо перебирал струны гитары. Очень светлые волосы, задумчивые глаза и покрытые пушком румяные щеки, нос — слишком большой на еще детском лице, тонкая мальчишеская шея, длинные, как у жеребенка, ноги... Сосредоточенный, неулыбчивый, родной.

Рядом с ним на стуле лежал тщательно уложенный чемодан — несмотря на безалаберность своих родителей, а может быть как раз потому, что постоянно видел в доме беспорядок, Билли вырос большим аккуратистом.

Гретхен поцеловала его в макушку. Никакой реакции. Ни враждебности, ни любви. Он взял последний аккорд и спросил:

— Ну, ты готова?

— Все упаковано,— ответила она.— Осталось только закрыть чемоданы.— У Билли была почти патологическая боязнь опоздать куда бы то ни было: в школу, на поезд, на самолет, на вечеринку. Гретхен знала об этом и всегда старалась все подготовить заранее.

Билли встал и отправился в ванную, а она пошла будить Колина. Тот беспокойно ворочался и что-то бормотал во сне. Она поцеловала его за ухом. Он проснулся, открыл глаза, некоторое время лежал неподвижно, уставившись невидящим взглядом в потолок, и, наконец, сказал:

— Господи, еще совсем ночь! — Гретхен снова поцеловала его.— Ладно, ладно, уже утро,— проворчал он, взъерошил волосы, попытался встать, но опять со стоном повалился на спину и протянул руки к жене.— Помоги бедному старику подняться.— Гретхен схватила его за руки и потянула. Колин сел на край кровати, потер глаза, затем вдруг настороженно взглянул на нее.— Послушай, вчера на просмотре тебе что-то не понравилось в предпоследней части.

«Не мог дождаться завтрака»,— подумала она.

— Я ничего такого не говорила.

— А тебе и не обязательно что-то говорить,—заметил Колин.— Достаточно того, как ты начинаешь дышать.

— Ну хорошо, мне действительно кое-что не понравилось, правда, тогда я не могла разобраться, в чем дело.

— А теперь?

— Теперь, кажется, понимаю.

— Выкладывай.

— Это в том эпизоде, когда он получает известие и начинает верить, что это его вина... Понимаешь, у тебя он ходит по дому и поглядывает то в одно зеркало, то в другое: в ванной, в большое зеркало в шкафу, в темное — в гостиной, в увеличительное зеркальце для бритья, наконец, в лужицу на крыльце...

— Все очень просто,— раздраженно перебил ее Колин.— Он изучает себя. Если говорить банально, заглядывает себе в душу — при разном освещении с различных точек,— чтобы понять... Короче, что же тебе не понравилось?

— Две вещи,— спокойно сказала она.— Во-первых, темп. До этого момента все события в картине развертываются быстро, динамично — в этом общий стиль фильма. И вдруг, словно только для того чтобы показать зрителю, что наступил кульминационный момент, ты резко снижаешь темп. Это слишком очевидно.

— Так и задумано,— отчетливо выговаривая каждое слово, сказал Колин.— И должно быть очевидно.

— Если ты будешь злиться, я ничего больше не скажу.

— Я уже разозлился, так что лучше говори. Ты сказала «две вещи». Какая же вторая?

— Ты безумно долго показываешь его крупным планом, и предполагается — зритель должен видеть, что он мучается, сомневается, запутался...

— Слава богу, хоть это до тебя дошло...

— Мне продолжать или пойдем завтракать?

— В следующий раз ни за что не женюсь на такой умной бабе. Продолжай.

— Так вот, ты думаешь, что этот эпизод показывает, как он мучается и сомневается, и актер тоже, вероятно, думает, что передает сомнения и страдания, но зритель-то видит совсем другое — красивый молодой человек любуется собой в зеркалах и обеспокоен лишь тем, удачно ли подсвечиваются его глаза.

— Черт! Ты стерва. Мы над этим эпизодом корпели четыре дня.

— На твоем месте я бы его вырезала,— сказала она.

— В таком случае следующую картину снимать будешь ты, а я останусь дома готовить обед.— Колин спрыгнул с кровати и зашагал в ванную. Подойдя к двери, он обернулся.— Все женщины, которых я знал, всегда считали, что все, что я делаю, великолепно, а я взял и женился на тебе.

— Они так не считали,— ласково сказала она.— Просто говорили.— И, подойдя к нему, поцеловала в щеку.

— Мне будет недоставать тебя,— прошептал Колин.— Ужасно.— Затем он резко оттолкнул ее.— А теперь иди, и чтоб кофе был действительно черным!

Бреясь, он что-то весело напевал. Чтобы Колин пел утром — неслыханно! Но она понимала: его тоже с самого начала беспокоил этот эпизод, а теперь, зная, в чем кроется неудача, он испытывает облегчение и сегодня же с огромным удовольствием вырежет из фильма результат напряженной четырехдневной работы, обошедшейся студии в сорок тысяч долларов.

В аэропорт они приехали рано, и, когда их чемоданы скрылись за багажной стойкой, с лица Билли исчезло напряжение.

На Билли был серый твидовый костюм, розовая рубашка и голубой галстук. Волосы тщательно приглажены, кожа чистая, без юношеских прыщиков. Гретхен подумалось, что ее сын очень привлекательный парень и выглядит сейчас намного старше своих четырнадцати лет. Ростом он был уже с нее и, значит, выше Колина.

Всю дорогу до аэропорта Гретхен пришлось держать себя в руках, потому что манера Колина водить машину нервировала ее. Пожалуй, это единственное, что он делает плохо, подумала она. То он ехал очень медленно, точно во сне, углубившись в свои мысли, то вдруг начинал обгонять всех подряд и ругал других водителей, проскакивая у них перед носом или не давая им вырваться вперед. Но каждый раз, как она не выдерживала и предупреждала его об опасности, он огрызался: «Не будь типично американской женой!» Сам он был убежден, что водит машину превосходно.

— У нас еще масса времени,— сказал Колин.— Пойдем выпьем кофе.

В ресторане она и Колин заказали по чашке кофе, а Билли — кока-колу, которой он запил таблетку драмамина, чтобы не тошнило в самолете.

— Меня до восемнадцати лет укачивало в автобусе,— наблюдая за мальчиком, сказал Колин,— но стоило мне первый раз переспать с девушкой, как это кончилось.

Билли бросил на него короткий оценивающий взгляд. Колин всегда разговаривал с ним как со взрослым, и Гретхен иногда сомневалась, правильно ли это. Она не знала, любит Билли своего отчима или просто терпит. А может, ненавидит. Билли никогда не проявлял своих эмоций. Колин же вроде и не прилагал особых усилий, чтобы завоевать симпатию мальчика. Порой бывал с ним резок, порой проявлял большой интерес к его школьным делам и помогал готовить уроки, иногда играл с ним и был очень ласков, а иногда вел себя отчужденно. Колин же платил за обучение пасынка, так как Вилли Эббот переживал трудные времена и сидел без денег. Колин запретил Гретхен говорить Билли, кто платит за его учебу, но Гретхен была уверена, что сын сам давно догадался.

— В твоем возрасте — продолжал Колин,— меня тоже отправили учиться в другой город. Всю первую неделю я ревел. Весь первый год ненавидел школу. На второй год стал относиться к ней терпимо. На третий — уже был редактором школьной газеты и впервые испытал приятное чувство власти и, хотя никому в этом не признавался, полюбил школу. А в последний год я плакал, потому что не хотел с ней расставаться.

— Я ничего не имею против,— сказал Билли.

— Вот и прекрасно. Это хорошая школа, если, конечно, таковые вообще сейчас существуют. В худшем случае ты выйдешь из нее, зная, как написать по-английски

простое, нераспространенное предложение. На,— он протянул мальчику конверт.— Спрячь его и ни в коем случае не говори матери, что внутри.

— Спасибо,— поблагодарил Билли, засовывая конверт во внутренний карман пиджака.

Самолет еще только начинали загружать, когда они второй раз подошли к выходу на посадку.

— Иди садись, Билли,— сказала Гретхен.— Я хочу попрощаться с Колином.

— Если что-нибудь понадобится, позвони мне. За мой счет.— И Колин крепко пожал Билли руку.

Пока Колин разговаривал с ее сыном, Гретхен смотрела на лицо мужа и видела за резкими чертами искреннюю нежность и заботу. Грозные глаза под густыми черными бровями ласково светились любовью. Нет, я не ошиблась в нем, подумала она.

Билли сдержанно улыбнулся и направился к самолету, неся гитару, как винтовку.

— Не беспокойся,— глядя ему вслед, сказал Колин.— У него все будет в порядке.

— Надеюсь,— ответила Гретхен.— В конверте деньги?

— Несколько долларов,— небрежно сказал Колин.— На мелкие расходы. Чтобы учиться было не так тяжко. Бывают моменты, когда мальчишке не выжить без лишнего молочного коктейля или свежего номера «Плейбоя». Вилли вас встретит?

— Да.

— Вы вместе повезете парня в школу?

— Да.

— Наверное, это правильно,— решительно заявил Колин.— При важных событиях в жизни подростка должны присутствовать оба родителя. Ну что ж, увидимся в Нью-Йорке через две недели. Без меня не развлекайся и никуда не ходи.

— Об этом можешь не беспокоиться,— улыбнулась Гретхен, целуя его в щеку.

Вилли Эббот стоял в небольшой толпе встречающих рейс из Лос-Анджелеса. Он был в темных очках. День выдался пасмурный и влажный, и, едва увидев Вилли, Гретхен догадалась, что всю ночь накануне он пил и темные очки предназначались для того, чтобы скрыть от нее и от сына покрасневшие, воспаленные глаза. «Хоть бы раз удержался,— подумала она,— хоть бы один вечер не пил перед приездом сына, которого не видел несколько месяцев». Но она подавила в себе раздражение. Дружеские безмятежные отношения между разведенными родителями в присутствии своего отпрыска — вынужденное лицемерие неудавшейся любви.

Заметив отца, Билли бросился к нему навстречу, обнял и поцеловал. Гретхен нарочно шла медленно, чтобы не мешать им.

— Привет, дорогая,— поздоровался Вилли, целуя ее в щеку и продолжая обнимать Билли за плечи. Он широко (глупо?) улыбался, довольный продемонстрированной сыном любовью.

Во время развода Вилли вел себя во всех отношениях прекрасно, и она не могла сейчас не позволить ему называть ее «дорогая» или лишить права на жалкий поцелуй. Она не сказала ни слова о его темных очках и сделала вид, что не чувствует запаха перегара. Одет он был аккуратно и строго, как и полагалось отцу, собирающемуся представить своего сына директору хорошей школы в Новой Англии. Завтра, когда они поедут в школу, она сумеет как-нибудь удержать его от пьянства.

Она сидела одна в маленькой гостиной номера-люкс. За окном светились огни вечернего Нью-Йорка, и с улицы доносился знакомый будоражащий шум большого города. Она наивно полагала, что сын переночует в отеле вместе с ней, но еще по дороге из аэропорта Вилли сказал ему:

— Надеюсь, ты согласишься лечь на диване? У меня только одна комната, но там есть диван. Правда, пара пружин лопнула, но, думаю, в твоем возрасте это не помешает выспаться. Так как? Согласен?

— Конечно! — отозвался Билли. В его тоне не было и намека на фальшь. Он даже не обернулся, даже не посмотрел на мать. А впрочем, что она могла бы ему сказать?

В отеле ей вручили записку от Рудольфа. Накануне она телеграфировала ему о своем приезде и просила поужинать с ней. Брат сообщал, что сегодня очень занят и позвонит ей завтра утром.

У себя в номере она распаковала вещи, приняла ванну и начала думать, что ей надеть. В конце концов просто накинула халат — она понятия не имела, как ей убить этот вечер. Все, кого она знала в Нью-Йорке, были либо друзьями Вилли, либо ее бывшими любовниками, либо случайными людьми, с которыми ее мимоходом познакомил Колин три года тому назад, когда она приезжала на премьеру его потерпевшего фиаско спектакля. Разумеется, никому из них она звонить не собиралась.

Она была уже готова позвонить Вилли: можно сделать вид, что она волнуется о самочувствии сына — несмотря на драмамин, его тошнило в самолете,— и Вилли, наверно, пригласил бы ее поужинать вместе с ними. Она уже даже подошла к телефону, но вовремя остановила себя: «Брось свои женские штучки. Имеет же право сын провести хотя бы один спокойный вечер с отцом, не чувствуя на себе ревнивого взгляда матери!»

Она беспокойно расхаживала по маленькой, старомодно обставленной комнате. Подумать только, ведь когда-то, приехав в Нью-Йорк впервые, она чувствовала себя здесь такой счастливой. Каким привлекательным и заманчивым казался тогда ей этот город. Она была молода, бедна, одинока, и Нью-Йорк принял ее радушно — свободно и без страха бродила она по его улицам. Сейчас же, став мудрее, старше и богаче, она чувствовала себя здесь узницей. Муж — за три тысячи миль от нее, сын — за несколько кварталов, но оба связывают ее невидимыми путами. По крайней мере она может спуститься вниз и поужинать в ресторане отеля. Что ж, еще одна женщина будет сидеть над рюмкой за маленьким столиком, стараясь не прислушиваться к чужим разговорам, и, постепенно пьянея, будет слишком громко и слишком много разговаривать с метрдотелем. Боже, до чего иногда утомительно быть женщиной.

Гретхен пошла в спальню и, вынув из шкафа свое самое скромное черное платье — это произведение модельера стоило, пожалуй, чересчур дорого и абсолютно не нравилось Колину,— начала одеваться. Небрежно накрасившись и проведя щеткой по волосам, она уже собиралась выходить, когда зазвонил телефон.

Она почти бегом вернулась. «Если это Вилли,— подумала она,— наплевать на все — поужинаю с ним». Но это был не Вилли, а Джонни Хит.

— Привет,— сказал он.— Рудольф говорил, что ты остановишься здесь, а я сейчас как раз проходил мимо и подумал, может, тебя застану...

«Врун,— подумала она,— никто вечером без четверти девять не проходит просто так мимо гостиницы «Алгонквин». Но вслух радостно воскликнула:

— Джонни! Какой приятный сюрприз!

— Я здесь, внизу, и если ты еще не ужинала...— его голос звучал эхом прежних лет.

— Видишь ли,— сказала она уклончиво и в то же время презирая себя за притворство,— я не одета и собиралась заказать ужин в номер. Я ужасно устала в самолете, а завтра мне рано вставать...

— Жду тебя в баре,— сказал Джонни и повесил трубку.

Холеный, самоуверенный уолл-стритский подонок, подумала она. Потом пошла в спальню и переоделась в другое платье. Она заставила его ждать в баре целых двадцать минут.

— Рудольф ужасно огорчен, что не может сегодня с тобой увидеться,— сказал Джонни.

Они сидели в маленьком французском ресторане на Пятидесятой улице. Народу было мало. «Осторожный,— подумала Гретхен,— в таком месте вряд ли встретишь знакомых. Идеально подходит для ужина с замужней женщиной, которая когда-то была твоей любовницей» Как только они вошли, метрдотель приветливо улыбнулся им и посадил за столик в углу, чтобы никто не подслушал их разговор.

— Он очень к тебе привязан,— продолжал Джонни. Сам он за всю свою жизнь ни к кому не испытал настоящей привязанности.— Ты единственная женщина, которую он боготворит, и не исключено, именно из-за тебя до сих пор не женат: он восхищается тобой и не может найти себе женщину, похожую на тебя.

— Он так мною восхищается, что даже не мог уделить мне одного вечера после того, как мы не виделись почти год.

— На следующей неделе он открывает новый торговый центр в Порт-Филипе. Один из самых крупных. Разве он ничего не писал тебе об этом?

— Писал,— призналась она.— Наверно, я просто не обратила внимания на дату.

— В последнюю минуту у него, как всегда, еще тысяча дел. Он работает по двадцать четыре часа в сутки. Не представляю, как только Руди это выдерживает. Да ты сама знаешь, какой он, когда дело касается работы.

— Да, знаю,— согласилась Гретхен.— Работа у него на первом месте. Он просто одержим ею.

— А разве твой муж не такой? Разве он меньше работает? Наверно, он тоже восхищается тобой, но я что-то не вижу, чтобы он выкроил время приехать в Нью-Йорк.

— Он будет здесь через две недели. К тому же у него совсем другая работа.

— Конечно, снимать картину — святое дело, и женщина может гордиться, когда ее приносят этому в жертву. А большой бизнес — занятие презренное и омерзительное, и человек должен с радостью бросить всю эту грязь и кинуться в Нью-Йорк, чтобы встретить у трапа свою одинокую, невинную, чистую сестричку и повести ее ужинать.

— Ты защищаешь не Рудольфа, а себя,— сухо сказала Гретхен.

— Обоих,— ответил Джонни.— И его и себя. Впрочем, мне незачем кого-либо защищать. Если художник считает себя единственным ценным продуктом современной цивилизации — это его дело. Но ожидать, что такой ничтожный, развращенный деньгами тупица, как я, согласится с ним, по меньшей мере идиотизм. Искусство — хорошая приманка для девиц и приводит многих начинающих художников и будущих Толстых к ним в постель. Но меня не проведешь. Держу пари, если бы я работал не на Уолл-стрит, в офисе с кондиционером, а на какой-нибудь мансарде в Гринвич-Виллидж, ты вышла бы за меня замуж задолго до того, как познакомилась с Берком.

— А вот и не угадал,— усмехнулась Гретхен.— Налей мне еще вина.— Она протянула ему бокал.

Хит наполнил ее бокал почти до краев, потом подозвал официанта и заказал вторую бутылку. Он сидел молча, погрузившись в свои мысли. Гретхен была удивлена его недавней вспышкой — это было совсем на него не похоже.

— Я дурак,— наконец тихо сказал он.— Мне следовало сделать тебе предложение.

— Ты, вероятно, забыл, что в то время я уже была замужем,— заметила Гретхен.

— А ты, вероятно, забыла, что, когда познакомилась с Колином Берком, тоже была замужем,— ответил Джонни.

— Тогда был совсем другой год, а он — совсем другой человек,— пожала плечами Гретхен.

— Послушай,— Джонни слегка дотронулся до нее своей мягкой рукой с гладкими круглыми пальцами,— ответь мне на один вопрос: чем ты, удивительная женщина, созданная для Нью-Йорка, ухитряешься заполнять свои дни в такой дыре, как Лос-Анджелес?

— Большую часть времени возношу богу молитвы, благодарю его за то, что я не в Нью-Йорке.

— А остальное время? Пожалуйста, не говори мне, будто тебе нравится сидеть дома и заниматься хозяйством в ожидании, когда папочка вернется из студии и расскажет, что Сэм Голдвин сказал за обедом.

— Если хочешь знать,— его слова задели ее, и она повысила голос,— я очень мало рассиживаюсь. Я — часть жизни человека, перед которым преклоняюсь, я помогаю ему, и это гораздо лучше того, чем я занималась здесь, напуская на себя важный вид, тайком изменяя мужу, печатая статьи в журналах и живя с человеком, который три раза в неделю напивался в стельку.

— О, новый вариант женской революции: церковь, дети, кухня... Боже мой, уж кто-кто, но ты...

— Если отбросить церковь, твое описание моей жизни абсолютно правильно. Ты доволен? — Она встала и направилась к выходу.

— Гретхен! — крикнул он вслед ей. В голосе его звенело искреннее удивление. То, что сейчас произошло, было совершенно невероятным и не допускалось четко установленными правилами знакомых ему игр. Но Гретхен, даже не обернувшись, вышла из ресторана.

Она быстро зашагала в сторону Пятой авеню, потом, по мере того как остывал ее гнев, пошла медленнее. Глупо принимать это близко к сердцу, решила она. Собственно, какое ей дело до того, что думает Джонни Хит о ее жизни? Он делает вид, что ему нравятся так называемые «свободные» женщины, потому что с ними он тоже может вести себя свободно. Разве ему понять, что значит для нее проснуться утром и увидеть в постели рядом с собой Колина? Да, она не свободна от мужа, а он — от нее, и именно поэтому они оба стали только лучше и счастливее. Все эти разговоры о свободе — ерунда!

На следующее утро ее разбудил телефон. Звонил Вилли.

— Через полчаса мы за тобой заедем. Мы уже позавтракали,— сказал он.

Главное здание школы было колониальным особняком из красного кирпича с белыми колоннами. Чуть поодаль от него были раскиданы старые деревянные домики — общежития учеников. Густые деревья, спортивные площадки.

Они поднялись по лестнице в актовый зал, где уже собрались родители и школьники. За столом, приветливо улыбаясь, пожилая женщина регистрировала новеньких. Она дала Билли цветной жетон, который он должен был приколоть к лацкану пиджака, и, повернувшись к группе мальчиков постарше, крикнула: «Дэвид Крофорд!» Высокий паренек лет восемнадцати, в очках, быстро подошел к столу.

— Уильям, это Дэвид,— сказала женщина.— Он проводит тебя в твою комнату. Если сегодня или вообще в течение учебного года у тебя возникнут какие-либо сложности, обращайся прямо к нему.

— Совершенно верно, Уильям,— авторитетным голосом старшеклассника подтвердил Крофорд.— Я всегда к твоим услугам. Где твои вещи? Пошли, я провожу тебя.

— Уильям,— прошептала Гретхен, следуя рядом с Вилли за сыном и Дэвидом.— Вначале я даже не поняла, к кому она обращается.

— Это хороший признак,— ответил Эббот.— Когда я поступил в школу, все называли друг друга только по фамилии. Нас тогда готовили к армии.

Комната, отведенная Билли, была небольшой. В ней стояло две кровати, два небольших письменных стола и два платяных шкафа.

— Твой сосед по комнате уже приехал. Ты с ним еще не познакомился? — спросил Крофорд.

— Нет,— ответил Билли таким сдержанным, необычным даже для него тоном, что Гретхен вдруг почувствовала себя совершенно беспомощной: жизнь сына больше не зависела от нее.

Раздался звонок на обед.

— Столовая в главном здании, где ты регистрировался, Уильям,— сказал Крофорд.—,А теперь, если не возражаешь, я пойду мыть руки. И помни: если что, обращайся ко мне.— Подтянутый и вежливый, в цветном фланелевом пиджаке и потрепанных за три года пребывания в школе белых ботинках, он вышел в коридор.

— Видно, очень симпатичный мальчик,— сказала Гретхен.

— Посмотрим, каким он будет, когда вы уедете,— заметил Билли.

— Ну, тебе пора идти обедать,— сказал Эббот.

— Мы проводим тебя до столовой,— подхватила Гретхен. К горлу у нее подступал ком, но она не имела права расплакаться при Билли.

Не доходя до главного здания, Гретхен остановилась. Пришло время прощаться, а ей не хотелось делать это в толпе родителей и школьников. Билли обнял мать и быстро поцеловал. Она сумела даже улыбнуться. Потом он пожал руку отцу.

— Спасибо, что привезли меня,— сказал он, повернулся и неторопливо направился к ступенькам, ведущим в здание школы. Он слился с толпой других мальчишек и исчез из виду. Худенькая, долговязая детская фигурка безвозвратно ушла из-под материнской опеки, чтобы присоединиться к братству мужчин, до которых теперь только издалека будут доноситься материнские голоса, что когда-то утешали, баюкали и предостерегали.

Гретхен смотрела ему вслед сквозь пелену слез. Вилли обнял ее за плечи, и, благодарные друг другу за теплоту, они молча пошли к машине.

Она сидела на переднем сиденье, сосредоточенно глядя прямо перед собой, и вдруг услышала какие-то странные звуки. Вилли резко остановил машину. Он всхлипывал, не пытаясь сдержаться, и Гретхен тоже больше не могла держать себя в руках. Она потянулась к нему, и они обнялись, оплакивая Билли, его будущее, себя, свою любовь, все свои ошибки и прежнюю, неполучившуюся жизнь.

— Не обращайте на меня внимания,— повторяла Рудольфу обвешанная фотоаппаратами девушка, когда Гретхен и Джонни Хит, выйдя из машины и пройдя через стоянку, приблизились к тому месту, где под огромным плакатом с надписью «Колдервуд» стоял Рудольф. Был день открытия нового торгового центра на северной окраине Порт-Филипа — Гретхен прекрасно знала этот район, так как через него проходила дорога к усадьбе Бойлана.

Гретхен и Джонни пропустили церемонию открытия, потому что Хит освободился только к обеденному перерыву. Джонни всячески старался загладить свою вину перед Гретхен как за опоздание, так и за недавний разговор в ресторане, и, пока они ехали в Порт-Филип, между ними почти восстановились дружеские отношения. В машине в основном говорил Джонни — но не о себе и не о Гретхен. Он подробно и с восхищением объяснял ей, каким образом Рудольф превратился в преуспевающего менеджера и предпринимателя. По словам Джонни, Рудольф намного лучше остальных бизнесменов его возраста разбирался в сложной механике современного предпринимательства.

Увидев сестру и Джонни, Рудольф широко улыбнулся и шагнул им навстречу. Человек, ворочающий миллионами, жонглирующий пакетами акций, знающий, как распорядиться страховым капиталом, он был для Гретхен просто ее братом, загорелым, красивым молодым человеком в отлично сшитом скромном костюме. И Гретхен снова поразилась тому, насколько они разные — ее брат и ее муж. Из рассказов Джонни ей было понятно, что Рудольф во много раз богаче Колина и Колину не снилась та реальная власть над огромным числом людей, которую сосредоточил в своих руках Рудольф,— но при всем этом Колина даже родная мать не могла бы упрекнуть в скромности. Он выделялся в любой компании, держался самоуверенно и заносчиво, легко наживая себе врагов. Рудольф же в любом обществе был своим и мягкостью обращения и доброжелательностью располагал к себе всех.

— Отлично,— делая один снимок за другим, приговаривала девушка-фотограф, присевшая на корточки возле Рудольфа.— Прекрасно.

— Разрешите вас познакомить,— повернулся к ней Рудольф.— Моя сестра миссис Берк, мой коллега мистер Хит, а это... э-э, мисс... Ради бога, извините.

— Прескотт. Можно просто Джин. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания.— Девушка застенчиво улыбнулась и выпрямилась. Она была маленького роста, с прямыми длинными каштановыми волосами, собранными в свободный узел на затылке. Лицо в веснушках, никакой косметики. Несмотря на висевшие на плече три фотоаппарата и тяжелую сумку с пленками, двигалась она легко и свободно.

Рудольфа повсюду останавливали, пожимали ему руки, поздравляли, восхищенно говорили, что он сделал для города большое дело. Он скромно улыбался, отвечал: «Очень рад, что вам все понравилось», при этом демонстрировал блестящую память, называя всех по имени, а мисс Прескотт неутомимо щелкала фотоаппаратом.

— Похоже, сегодня здесь собрался весь город,— заметила Гретхен.

— Почти,— ответил Рудольф и добавил: — Кто-то мне сказал, что даже Тедди Бойлан приехал Мы, наверно, его увидим.— И он внимательно посмотрел на сестру.

— Тедди Бойлан,— повторила Гретхен без всякого выражения.— Он еще жив?

— По крайней мере, так утверждают. Сам я давно с ним не встречался. Подождите меня здесь минутку, я поговорю с дирижером. Они играют слишком мало старых мелодий.

Вернулся он вместе со стройной, очень хорошенькой молодой блондинкой в накрахмаленном белом полотняном платье и с лысеющим потным мужчиной в мятом полосатом костюме. Мужчина был несколько старше Рудольфа.

— Вирджиния Колдервуд, младшая дочь моего босса,— представил Рудольф девушку.— И ты, Гретхен, конечно, помнишь Брэдфорда Найта?

— Помните, я приезжал к вам вместе с Руди после окончания колледжа и выпил тогда у вас все вино? — сказал Брэд.

И тут Гретхен его вспомнила: бывший сержант с оклахомским акцентом, тот, что ухаживал в ее квартире за всеми женщинами подряд. Акцент у него за это время немного стерся, и, к сожалению, бывший сержант начал лысеть. Она вспомнила также, как несколько лет назад Рудольф пригласил его в Уитби и сделал помощником директора в универмаге Колдервуда. Рудольфу этот человек нравился, хотя сейчас, глядя на Найта, она не понимала, чем он привлекает ее брата. Рудольф говорил ей, что Брэд Найт умен, прекрасно ладит с людьми и выполняет все приказания с неукоснительной точностью.

— Конечно, я вас помню, Брэд,— сказала Гретхен.— Я слышала, вы незаменимый человек.

— Вы заставляете меня краснеть, мэм,— ответил Найт.

— Мы все незаменимые люди,— улыбнулся Рудольф.

— Нет, не все,— серьезно возразила девушка, не отрывая взгляда от Рудольфа. Гретхен было понятно выражение в ее глазах.

Все, кроме девушки, рассмеялись. Бедняжка, подумала Гретхен, лучше бы тебе смотреть так на кого-нибудь другого.

— А где же ваш отец? — спросил Рудольф у Вирджинии.— Я хочу представить ему мою сестру.

— Он уехал домой,— сказала девушка.— Ему не понравилось что-то в речи мэра. Мэр говорил только о вас и ни слова о нем.

— Просто я родился здесь, и, по-видимому, мэр считает это своей заслугой,— пошутил Рудольф.

— И потом, ему не понравилось, что *она* все время снимает только вас,— Вирджиния махнула рукой в сторону мисс Прескотт, которая, отойдя на несколько шагов, сосредоточенно снимала их группу.— Вам лучше позвонить ему и успокоить.

— Позвоню позже, если будет время,— беспечно сказал Рудольф.— Кстати, мы все собираемся через часок пойти куда-нибудь выпить. Может, вы с Брэдом составите нам компанию?

— Мне нельзя появляться в барах, вы же знаете,— сказала Вирджиния.

— Пошли, Вирджиния,— сказал Найт,— я угощу тебя апельсиновой шипучкой, бесплатно предлагаемой гостям фирмой твоего отца.

Очень неохотно Вирджиния позволила Найту увести себя.

— Он мужчина не ее мечты, это совершенно очевидно,— глядя им вслед, заметила Гретхен.

— Не вздумай заикнуться об этом Брэду,— сказал Рудольф.— Он спит и видит, как бы жениться на ней, войти в их семью и создать новую империю... Так как, мы пойдем выпить?

— Боюсь, мне придется отказаться.— Гретхен взглянула на часы.— В восемь позвонит Колин и страшно рассердится, если меня не будет в отеле. Джонни, ты не против, если мы поедем сейчас?

— К вашим услугам, мэм,— галантно ответил тот.

Когда она открывала дверь в свой номер, там уже вовсю заливался телефонный звонок. Звонили из Калифорнии, но это был не Колин. Звонил директор студии, чтобы сообщить, что сегодня в час дня Колин погиб в автомобильной катастрофе. Ее муж уже полдня, как мертв, а она ничего не знала об этом...

Она сдержанно поблагодарила директора за его несвязные соболезнования, повесила трубку и долго сидела одна в номере, не зажигая света.

## Глава 2

*1960 год*

Прозвучал гонг, возвестивший начало последнего раунда тренировочного матча, и Шульц крикнул: «Постарайся побольше прижимать его к канатам, Томми». Боксер, с которым Куэйлс должен был встретиться через пять дней, славился тем, что прижимал противника к канатам, и Томасу, как спарринг-партнеру, полагалось имитировать его стиль. Но Куэйлса не так-то легко было прижать к канатам. Быстрый и неуловимый, он почти танцевал на ринге и, молниеносно работая руками, наносил

короткие, точные удары. Предстоящий матч собирались показывать по телевидению на всю страну, и за участие в нем Куэйлс получал двадцать тысяч, а Томасу, как его спарринг-партнеру, причиталось шестьсот долларов. Ему хотели заплатить меньше, но Шульц, будучи менеджером обоих боксеров, нажал на организаторов матча. Встречу негласно финансировала мафия, а мафиози не увлекаются благотворительностью.

Из-под кожаного шлема со злого, плоского лица Куэйлса смотрели на Томаса холодные, бесцветные глаза. Когда Куэйлс тренировался с Томасом, на губах его всегда играла насмешливая улыбка, точно само присутствие Томаса на одном с ним ринге было абсурдом. За все время тренировок с Томасом Куэйлс не сказал ему ни слова, даже не здоровался с ним. Во всей этой ситуации Томаса утешало только то, что он регулярно спал с женой Куэйлса и собирался в один прекрасный день рассказать ему об этом.

Спарринг-партнерам не полагалось наносить травмы основным участникам встречи, но шел последний раунд тренировочного матча, и Томас, не думая о ждущем его наказании, упорно наступал, чтобы нанести хотя бы один хороший удар и посадить мерзавца на пол. Куэйлс догадался об этом намерении, и улыбка его стала еще более надменной. Он резко уходил в сторону, в воздухе отбивал удары Томаса, не давая им достигнуть цели, и к концу раунда даже не вспотел, а на теле его не было ни одного синяка, хотя Томас все две минуты упорно пытался «достать» его.

— Ты должен заплатить мне за урок бокса, бездельник,— сказал Куэйлс, когда прозвучал гонг.

— Надеюсь, в пятницу тебя убьют, дешевка,— ответил Томас, перелез через канаты и пошел в душевую, а Куэйлс еще попрыгал через скакалку, сделал несколько гимнастических упражнений и поработал с легкой тренировочной грушей. Этот негодяй никогда не уставал, работал как одержимый, и, судя по всему, его в конце концов ждал титул чемпиона в среднем весе и миллион на счете в банке.

Получив от Шульца конверт с пятьюдесятью долларами за два раунда, Томас быстро протиснулся сквозь толпу и вышел в палящую жару Лас-Вегаса. После прохлады оборудованного кондиционерами театра жара казалась искусственной и зловещей, словно какой-то маньяк-ученый специально поджаривал город, чтобы уничтожить его самым болезненным способом.

После тренировки Томасу страшно хотелось пить, и, пройдя через раскаленную улицу, он вошел в какой-то большой отель. В вестибюле был прохладный полумрак. Дорогие проститутки прохаживались в ожидании клиентов, пожилые дамы стояли у игорных автоматов. Он прошел в бар мимо столов, за которыми играли в рулетку и кости, и заказал пива. Вес у него сейчас в норме, а Шульца рядом нет, значит, вопить никто не будет. Впрочем, Шульцу стало на него наплевать с тех пор, как появился Куэйлс, верный претендент на чемпионский титул.

Выпив еще пива, Томас встал и направился к выходу, но задержался посмотреть, как играют в кости. Игра шла по-крупному. Томас вынул из кармана конверт с деньгами и купил фишек. Через десять минут от его денег осталось всего десять долларов, и у него хватило здравого смысла на этом остановиться.

Он вернулся в обшарпанную гостиницу. Куэйлс жил в фешенебельном отеле «Сэндз», где останавливались все кинозвезды. Его жена целый день загорала у бассейна, но неизменно улучала полчасика, чтобы тайком заскочить к Томасу. У нее страстная натура, объясняла она Томасу, а Куэйлс спит отдельно, потому что он серьезный боксер и ему предстоит важный матч. Томас больше не был серьезным боксером, и ему не предстояли важные матчи, так что он мог позволять себе все.

В гостинице его ждало письмо от Терезы, но он даже не стал его распечатывать. Он и так знал содержание — очередное требование выслать деньги. Тереза теперь работала и зарабатывала больше, чем он, но это ее не останавливало. Она устроилась в какой-то ночной клуб — продавала там сигареты, виляя задом и демонстрируя ноги, оголенные до еще допустимого законом предела, и получала щедрые чаевые. Она заявила, что ей обрыдло сидеть с ребенком дома, когда муж все время в разъездах, и она желает сделать собственную карьеру. В ее представлении торговля сигаретами в ночном клубе была чем-то вроде шоу. Сына она сплавила своей сестре в Бронкс и, даже когда Томас бывал в Нью-Йорке, возвра-

щалась домой в пять-шесть утра с сумочкой, набитой двадцатидолларовыми бумажками. Бог знает, как она их зарабатывала. Но Томаса это уже не волновало.

Он поднялся к себе в номер и лег на кровать. Ему нужно было придумать, как на десять долларов дотянуть до следующей пятницы. Кожа на скулах саднила от недавних ударов Куэйлса. Кондиционер в комнате почти не работал, и от жары Томас обливался потом.

Он закрыл глаза и заснул тяжелым, нездоровым сном. Ему снилась Франция. Там прошло лучшее в его жизни время, и ему часто снилась та короткая пора на берегу Средиземного моря, хотя все это было почти пять лет назад и яркость воспоминаний стерлась.

Он проснулся, все еще продолжая видеть свой сон, и когда море и белые здания скрылись, перестали маячить перед его мысленным взором, тяжело вздохнул, поглядев на окружавшие его потрескавшиеся стены захудалой гостиницы в Лас-Вегасе.

На Лазурный берег он приехал после победы на матче в Лондоне. Победа была легкой, а следующий матч, о котором договорился Шульц, должен был состояться в Париже через месяц, и возвращаться в Нью-Йорк на такой короткий срок не имело смысла. Том подцепил в Лондоне лихую девчонку, которая сказала, что знает отличный укромный отель в Канне, а так как после победы Томас впервые купался в деньгах и возомнил, будто теперь ему ничего не стоит уложить любого боксера в Европе одной рукой, он покатил с ней на два дня в Канн. Два дня растянулись на десять. Шульц слал отчаянные телеграммы, а Томас валялся на пляже, много ел, успел полюбить местное розовое вино и прибавил лишних пятнадцать фунтов. Когда он наконец добрался до Парижа, французский боксер чуть не убил его на ринге. Впервые в жизни Томас был нокаутирован, и неожиданно выяснилось, что больше его никто не приглашает выступать в Европе. Почти все деньги, полученные за предыдущий матч, он просадил на лихую лондонскую девчонку, которая помимо своих прочих достоинств отличалась любовью к драгоценностям, и Шульц, когда они летели в Нью-Йорк, с ним не разговаривал.

Французский боксер лишил Томаса чего-то, что уже было не восполнить, и теперь матчи предлагались ему все реже, а платили за них все меньше.

Лежа на измятой постели в душной комнате, он раздумывал обо всем этом, и на память ему пришли слова, сказанные его братом в тот далекий день в отеле «Уорвик». Если Рудольф следил за его карьерой, то, наверно, сейчас он говорит их надменной сестрице: «Я предупреждал его, что так и будет».

А, плевать ему на брата!

Кто знает, может, в следующий раз у него появится прежний задор и он одержит блестящую победу. Вокруг него снова начнут увиваться, и он вернет былую славу. Бывало же такое с многими другими боксерами, даже гораздо старше его.

От этой мысли у Томаса улучшилось настроение, и он уже собрался спуститься вниз и на последние десять долларов поиграть в кости, как вдруг зазвонил телефон.

Звонила Кора, жена Куэйлса. Истерически рыдая, она визжала в трубку как оглашенная:

— Ему все известно! Все известно! — повторяла она.— Какой-то продажный коридорный донес ему. Он чуть меня не убил. Кажется, сломал мне нос. Тебе лучше смыться из города. Сию же минуту! Он поехал к тебе. Один бог знает, что он сделает с тобой, а потом и со мной! Но я не собираюсь ждать! Я сейчас же еду в аэропорт и беру себе билет. Советую тебе сделать то же самое. Ты его не знаешь. Он убийца!..

Томас, не дослушав ее панические визги, повесил трубку. Потом подошел к двери проверить, открыта ли она. Он никогда не уклонялся от драк, а эта, кажется, доставит ему самое большое удовольствие в его боксерской жизни. Маленький гостиничный номер не позволит противнику плясать по углам и уворачиваться от ударов.

Он надел кожаную куртку, застегнул молнию до конца и поднял воротник, чтобы защитить горло. Через минуту в коридоре послышались шаги, затем дверь распахнулась и в комнату ворвался Куэйлс.

— Привет,— сказал Томас.

Куэйлс закрыл за собой дверь и повернул ключ в замке.

— Я все знаю про это, Джордах,— сказал Куэйлс.

— Про что? — невинно спросил Томас, глядя Куэйлсу на ноги, чтобы не пропустить первого выпада.

— Про тебя и мою жену.

— А-а... да-да,— сказал Томас.— Я иногда сплю с ней. Разве я тебе не говорил об этом?

Он был готов к его нападению и чуть не засмеялся, когда Куэйлс, этот денди ринга, этот приверженец стильного бокса, вслепую стрельнул в него правой — типичный удар неопытного сопляка. И именно потому, что Томас ждал этого, он, с легкостью ускользнув от удара, перешел в ближний бой. Рядом не было рефери, растащить их было некому, и Томас избивал Куэйлса со сладостной, неистовой яростью. Старый уличный боец, знающий все приемы, он припер Куэйлса к стене и, отступив немного назад, нанес жестокий апперкот, а потом снова прижал его и бил локтями, коленями, головой, бил, прислонив его к стене, держа его левой рукой за горло, чтобы тот не упал, а правой наносил зверские удары по лицу. Когда он наконец шагнул назад, Куэйлс свалился на забрызганный кровью ковер и остался лежать вниз лицом, без сознания.

В дверь заколотили, и раздался голос Шульца. Томас отпер дверь и впустил его. Шульц с первого взгляда оценил ситуацию.

— Болван,— сказал он.— Я видел эту его припадочную жену, и она мне все рассказала. Я думал, что успею. Ты великий боксер, Томми, когда бой идет при закрытых дверях, а? За деньги ты не сумел бы побить и собственную бабушку, а за бесплатно готов развернуться во всей красе и мощи.— Он встал на колени у неподвижного тела Куэйлса, перевернул его, внимательно осмотрел разбитый лоб, затем ладонью провел по его подбородку.— Кажется, ты сломал ему челюсть. Два идиота! Теперь он не сможет выйти на ринг не только в пятницу, но и через тридцать пятниц. Да, кое-кому это очень понравится. Очень! Ребята поставили немалые деньги на эту лошадиную задницу.— Шульц свирепо пнул ногой неподвижное тело Куэйлса.— Вот уж они обрадуются, узнав, как ты его разделал. Мой тебе совет: сейчас же, не теряя ни минуты, убирайся отсюда поскорее, пока я не доставил этого... этого *мужа* в больницу. На твоем месте я бежал бы без оглядки до океана, а добежав, тотчас пересек бы его, и, если бы мне была дорога жизнь, я бы не возвращался сюда минимум лет десять. Кстати, не вздумай никуда лететь самолетом: как только ты сойдешь с него где бы то ни было, тебя уже будут поджидать и, конечно, не с розами.

— Что же ты мне предлагаешь? Идти пешком? — спросил Томас.— У меня всего десять долларов.

— Давай выйдем в коридор,— Шульц с беспокойством поглядел на шевельнувшегося Куэйлса, вынул ключ из замка, а когда они вышли в коридор, закрыл за собой дверь на ключ.— Ты, конечно, заслужил, чтобы тебя изрешетили пулями, но мы проработали вместе слишком долгое время, и...— Он нервно огляделся по сторонам, затем достал бумажник, вытащил из него деньги и протянул их Томасу.— Вот. Все, что у меня при себе. Здесь сто пятьдесят долларов. Возьмешь мою машину. Она внизу. Оставишь ее на стоянке в аэропорту в Рено, а оттуда поезжай автобусом на восток. Я скажу, что ты украл машину. Ни в коем случае не вступай в контакт с женой. За ней будут следить. Я сам ей позвоню. Скажу, что ты сбежал неизвестно куда и пусть не ждет от тебя вестей. И я не шучу, тебе действительно нужно убраться из этой страны подальше. Здесь, в Соединенных Штатах, где бы ты ни был, за твою жизнь никто не даст и цента.— Шульц сосредоточенно нахмурил обезображенные шрамами брови.— Самое безопасное для тебя — это наняться на какой-нибудь пароход. Когда доберешься до Нью-Йорка, зайди в гостиницу «Эгейский моряк». Там полно греческих матросов. Спроси администратора. У него какое-то длинное греческое имя, но все зовут его Пэппи. Скажешь, что это я прислал тебя и прошу как можно скорее вывезти тебя из Америки. Он не будет ни о чем спрашивать. Когда-то во время войны я служил в торговом флоте и оказал ему большую услугу. И не считай, что ты всех умней, не думай, что тебе удастся подзаработать боксом где-нибудь в Европе или Японии, даже под другой фамилией. Запомни, с этой минуты ты просто матрос и больше никто. Ясно?

— Ясно, Шульц,— ответил Томас.

— И я не желаю никогда больше ничего о тебе знать. Понял?

— Понял.— Томас шагнул к двери своего номера.

— Ты куда?! — остановил его Шульц.

— У меня там остался паспорт. Он мне может понадобиться.

— Где он?

— В верхнем ящике тумбочки.

— Подожди здесь,— сказал Шульц,— я сам его принесу.— Он открыл дверь, вошел в комнату и через минуту вернулся с паспортом.— Вот, бери и постарайся в дальнейшем думать головой, а не тем, что нравилось жене Куэйлса. А теперь убирайся. Мне надо заново собрать по частям этого идиота.

## Глава 3

Они договорились встретиться в одиннадцать, но Джин позвонила и предупредила, что на несколько минут опоздает.

Рудольф сказал, что это не страшно — ему все равно надо сделать несколько звонков. Было субботнее утро. Всю неделю у него было столько дел, что он не сумел позвонить сестре, и его мучила совесть. После возвращения из Калифорнии с похорон он обычно звонил сестре по меньшей мере два-три раза в неделю. Он предложил Гретхен переехать в Нью-Йорк и жить в его квартире — в основном квартира была бы целиком в ее распоряжении, так как Колдервуд отказался перевести контору в Нью-Йорк и Рудольф жил в городе всего около десяти дней в месяц. Но Гретхен решила, что пока ей необходимо быть в Калифорнии. Берк не оставил завещания — во всяком случае, пока никто не сумел его найти,— и его бывшая жена через суд требовала большую часть его недвижимого имущества и пыталась выселить Гретхен из дома.

Заказав междугородный разговор, Рудольф сел за стол в маленькой гостиной и попытался докончить разгадывать кроссворд в «Таймс», не решенный им у него за завтраком.

Эту меблированную квартиру, безвкусно выкрашенную в яркие тона и обставленную металлическими угловатыми стульями, он снял временно. Главным ее достоинством была маленькая хорошая кухня с холодильником, где не иссякал лед. Рудольфу нравилось стряпать самому и есть в одиночестве, читая газету. Иной раз приходила Джин и готовила завтрак на двоих. Она никогда не соглашалась остаться на ночь и никогда не объясняла почему.

Зазвонил телефон. Рудольф снял трубку, но звонила не Гретхен, в трубке раздался невыразительный старческий голос Колдервуда.

— Руди,— сказал он, как обычно без всяких вежливых предисловий,— ты сегодня к вечеру вернешься в Уитби?

— Откровенно говоря, не собирался, мистер Колдервуд,— ответил Рудольф.— У меня здесь есть кое-какие дела в выходные, а в понедельник намечено совещание, и...

— Мне срочно нужно тебя видеть,— раздраженно продребезжал Колдервуд. С годами он становился все более нетерпеливым и вспыльчивым.

— Я буду в конторе во вторник утром, мистер Колдервуд. Это дело может подождать до вторника?

— Нет, не может. И я хочу видеть тебя не в конторе, а у себя дома.— Голос у него был резким и напряженным.— Жду тебя завтра после ужина.

— Хорошо, мистер Колдервуд,— сказал Рудольф, и Колдервуд, даже не попрощавшись, бросил трубку.

Рудольф хмуро посмотрел на телефон. На воскресенье он купил два билета на футбол, для себя и Джин, а теперь из-за срочного вызова Колдервуда придется пропустить матч. Пора бы уже старику лечь в постель и спокойно умереть.

Снова зазвонил телефон. На этот раз Гретхен. После смерти Берка живость, звонкость и мелодичность, отличавшие ее голос с юности, куда-то пропали. Чувствовалось, что она рада слышать Рудольфа, но это была вялая радость — так больные разговаривают со знакомыми, навещающими их в больнице.

Она сказала, что у нее все в порядке, что она разбирает бумаги Колина, отвечает на бесконечные соболезнования и консультируется с юристами по вопросам наследства. Поблагодарила за чек, который он послал ей на прошлой неделе, и ска-

зала, что как только тяжба о наследстве будет улажена, полностью вернет все деньги, которые он ей то и дело переводит.

— Об этом не беспокойся,— сказал Рудольф.— Не надо ничего мне возвращать.

— Хорошо, что ты позвонил,— продолжала Гретхен, словно не слыша его.— Я сама собиралась позвонить тебе и попросить еще об одном одолжении. Вчера я получила письмо от Билли. И мне не понравилось настроение, с которым оно написано. Вроде бы ничего особенного в письме нет, ни к чему не придерешься, но Билли ведь вообще такой: никогда не скажет прямо, что его беспокоит. И все же у меня возникло ощущение, что Билли в отчаянии. Не мог бы ты выкроить время и съездить к нему, выяснить, в чем дело.

Рудольф замялся. Едва ли племянник благоволит к нему настолько, чтобы откровенно в чем-то признаться. Как бы своим визитом в школу не сделать только хуже.

Раздался звонок в дверь.

— Подожди минутку,— попросил Рудольф.— Кто-то пришел.— И поспешил к двери.

— Я говорю по телефону,— сказал он вошедшей Джин и снова взял трубку.— Да, Гретхен. Я, пожалуй, сделаю так: завтра с утра съезжу к нему, поведу куда-нибудь пообедать и попробую во всем разобраться.

— Мне очень неприятно тебя беспокоить,— сказала Гретхен,— но письмо такое... такое мрачное.

— Наверняка какие-нибудь пустяки. Может, он просто занял только второе место на соревнованиях, или завалил экзамен по алгебре, или еще что-нибудь в этом роде. Ты знаешь, как это бывает у ребят.

— Да, но не у Билли,— ответила Гретхен.— Я говорю тебе, он в отчаянии.— Чувствовалось, что она едва сдерживает слезы.

— Хорошо, я позвоню тебе завтра вечером, после того, как повидаюсь с ним,— пообещал Рудольф.— Ты будешь дома?

— Да, буду.

Он медленно повесил трубку и представил себе, как сестра ждет телефонного звонка в пустом доме, перебирая бумаги покойного мужа. Он тряхнул головой. Об этом подумаем завтра. И улыбнулся Джин, которая скромно сидела на стуле с жесткой деревянной спинкой. На ногах у нее были красные шерстяные чулки и мокасины. Гладко зачесанные волосы, перехваченные чуть пониже затылка черной бархоткой, свободно свисали вдоль спины. Лицо ее, как всегда, казалось тщательно вымытым, и вся она походила на школьницу. Хрупкое тело утопало в просторном спортивном пальто из верблюжьей шерсти. Джин было двадцать четыре года, но в такие минуты, как сейчас, ей нельзя было дать больше шестнадцати. Она пришла прямо с работы, и на полу возле двери лежали небрежно брошенные ею фотоаппараты и сумка с пленками.

— Ты сейчас похожа на ребенка. Я, наверно, должен предложить тебе стакан молока и пирожное,— улыбнулся Рудольф.

— Можешь предложить мне что-нибудь покрепче. Я на ногах с семи утра и все время на улице.

Он подошел к ней и поцеловал в лоб. Она наградила его улыбкой.

Потягивая виски, Джин проглядывала в воскресном «Таймсе» список картинных галерей. Когда Рудольф бывал свободен в субботу, они обычно ходили по музеям. Она была «вольным» фотографом и часто выполняла заказы журналов по искусству и издателей каталогов.

— Надень туфли поудобнее,— сказала она.— Нам сегодня предстоит много ходить.— Для ее роста у нее был необычно низкий, слегка хрипловатый голос.

— За тобой — на край света,— шутливо ответил он.

Они уже выходили, когда зазвонил телефон. Звонила мать Рудольфа из Уитби. По тому, каким тоном она произнесла его имя, он понял, что разговор будет не из приятных.

— Рудольф, я не хочу портить тебе выходной,— Мэри была убеждена, что он ездил в Нью-Йорк только ради тайных порочных развлечений,— но отопление не работает, я замерзаю и погибаю от сквозняков в этой продуваемой насквозь развалине.

Три года назад Рудольф купил на окраине Уитби фермерский домик восемнадцатого века, довольно милый, с уютными низкими потолками, но мать называла

его не иначе как «этот старый темный погреб» или «эта продуваемая насквозь развалина».

— А Марта не может ничего сделать? — спросил Рудольф. Прислуга Марта жила вместе с ними, вела все хозяйство, готовила и ухаживала за матерью; Рудольф понимал, что за такую работу он ей должен был бы платить гораздо больше.

— Марта! — возмущенно фыркнула мать.— Я готова уволить ее сию же минуту.

— Мам...

— Да, да. Когда я велела ей спуститься в котельную и посмотреть, что случилось, она отказалась наотрез.— Голос матери поднялся на пол-октавы.— Она, видите ли, боится подвалов! Вместо этого она посоветовала мне надеть свитер. Будь ты с ней построже, она не позволяла бы себе давать мне советы, уверяю тебя. Сама-то она так растолстела на наших харчах, что не замерзнет и на Северном полюсе. Когда вернешься домой, если вообще соизволишь вернуться, я прошу тебя, поговори с этой женщиной.

— Завтра днем я буду в Уитби и поговорю с ней,— сказал Рудольф. Он заметил, что Джин смотрит на него со злорадной усмешкой. Еще бы! Ее родители жили где-то далеко на Среднем Западе, и она не видела их уже два года.— А пока что позвони нам в контору. Сегодня там дежурит Брэд Найт. Скажи ему, что я прошу прислать к нам какого-нибудь техника.

— Ты даже не представляешь себе, как здесь холодно,— не унималась мать.— Ветер дует изо всех щелей. Не понимаю, почему мы не можем жить в приличном новом доме, как все нормальные люди.

Это была старая песня, и Рудольф не счел нужным отвечать. Когда мать, наконец, поняла, что он много зарабатывает, у нее вдруг прорезалась необузданная тяга к роскоши. Каждый месяц, получая из универмага счета за ее покупки, он невольно морщился.

— Скажи Марте, чтобы затопила камин в гостиной и закрыла дверь,— посоветовал Рудольф.— Тогда тебе сразу станет тепло.

— Чтобы Марта затопила камин?! — повторила мать.— Если она снизойдет до этого. Ты завтра приедешь к ужину?

— Боюсь, что нет. Я должен поехать к Колдервудам.— Это была полуложь: он не собирался ужинать у него, но встретиться с ним действительно собирался. В любом случае ужинать с матерью ему не хотелось.

— Колдервуд, Колдервуд! Иногда мне кажется, я просто закричу, если еще хоть раз услышу это имя.

— Мам, я должен идти, меня ждут,— сказал Рудольф и, вешая трубку, услышал, как мать заплакала.

— Пора уже старушкам лечь в постель и умереть,— сказал он Джин.— Пошли скорее, пока еще кто-нибудь не позвонил.

Выйдя за дверь, Рудольф с радостью заметил, что Джин оставила свои фотоаппараты в квартире. Это означало, что она намерена вернуться сюда сегодня. Заранее предсказать ее поведение было просто невозможно. Иногда она после их походов возвращалась вместе с ним, точно это само собой разумелось. В другие разы, ничего не объясняя, брала такси и уезжала к себе в квартиру, которую снимала вместе с одной девушкой. А порой появлялась у него без всякого предупреждения, когда вообще было мало вероятности застать его дома.

Джин жила своей собственной жизнью и жила так, как ей нравилось. Он ни разу не был у нее дома. Они встречались либо у него, либо в каком-нибудь баре. Почему ей так было удобнее, она не объясняла. Несмотря на молодость, она производила впечатление вполне уверенного в себе и независимого человека. Работала она, как убедился Рудольф, увидев снимки, сделанные на открытии торгового центра в Порт-Филипе, очень профессионально, и ее фотографии поразили его смелой манерой, несколько неожиданной для застенчивой молоденькой девушки, какой она показалась ему при первой встрече.

Джин не принадлежала к категории девиц, которые немедленно обрушивают на любовника подробности своей биографии. Он знал о ней очень мало. Она родилась в каком-то западном штате. У нее были плохие отношения с родными. Ее старший брат работал в принадлежавшей семье фирме, занимавшейся, кажется, производством лекарств. В двадцать лет она окончила колледж. Специализировалась в со-

циологии. Фотографией увлекалась с детства. Чтобы чего-то добиться, надо начинать в Нью-Йорке, поэтому она и приехала в этот город.

В ее жизни были и другие мужчины. На эту тему она не распространялась. Прошлое лето посвятила морским круизам. Названия пароходов она не сообщала. Побывала и в Европе. Ей понравился какой-то югославский остров, и она не прочь посетить его еще раз.

Одевалась она по-молодежному и выбирала неожиданные цвета, которые на первый взгляд никак не сочетались, но стоило присмотреться к ним, и становилось ясно, что они отлично дополняют друг друга. У нее не было дорогих вещей, и уже после первых трех встреч с ней Рудольф был уверен, что видел весь ее гардероб.

Она разгадывала кроссворды в воскресной «Нью-Йорк таймс» быстрее его. Почерк у нее был мужской, без завитушек. Любила современную живопись, которую Рудольф не понимал. «А ты все равно смотри на эти картины,— говорила она,— и наступит день, когда барьер рухнет».

Она не ходила в церковь. Никогда не плакала в кино. Джонни Хит не произвел на нее никакого впечатления. Она не обращала внимания на дождь и не боялась испортить прическу. Никогда не жаловалась на погоду или пробки на улицах. Никогда не говорила: «Я люблю тебя».

— Я люблю тебя,— сказал он. Они лежали рядом на кровати, натянув одеяло до подбородка. Было семь часов вечера, и в комнате стоял полумрак. Они обошли двадцать картинных галерей. Никакой барьер в его восприятии не рухнул. Потом поужинали в итальянском ресторанчике, владелец которого ничего не имел против девушек в красных шерстяных чулках. За обедом Рудольф сказал ей, что не сможет завтра пойти с нею на футбол, и объяснил почему. Джин приняла это спокойно и взяла у него билеты. Она сказала, что пойдет с одним знакомым, который когда-то играл полузащитником в команде «Колумбия».

Когда они вернулись после долгих хождений по городу, оба почувствовали, что продрогли,— декабрьский день выдался пронзительно-холодный. Рудольф поставил чайник, и они выпили по чашке горячего чая с ромом. Потом легли в постель. Им было хорошо друг с другом.

— Таким и должен быть субботний вечер зимой в Нью-Йорке,— сказала она, когда, устав от ласк, они умиротворенно лежали рядом.— Искусство, спагетти, постель.

— Я люблю тебя,— сказал он.— Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.

Минуту она лежала молча, потом отодвинулась от него, откинула одеяло, встала и начала одеваться. «Я все испортил»,— подумал он.

— Ты что?

— Эту тему я никогда не обсуждаю голой,— серьезно ответила она.

Рудольф рассмеялся, но ему было далеко не весело. Сколько же раз эта красивая, уверенная в себе девушка, со своими собственными загадочными правилами поведения, обсуждала вопрос о замужестве? И со сколькими мужчинами? Никогда раньше он не испытывал ревности. Бесполезное, нерентабельное чувство.

Он вылез из постели и быстро оделся. Джин сидела в гостиной и настраивала приемник. Голоса дикторов звучали исключительно доброжелательно, вежливо и сладко. Произнеси такой голос: «Я люблю тебя»,— никто бы не поверил.

— Налей чего-нибудь,— сказала она не поворачиваясь.

Он налил ей и себе виски. Она пила как мужчина. Какой предыдущий любовник научил ее этому?

— Ну, так как? — Он стоял перед ней, чувствуя, что положение складывается не в его пользу и он похож на просителя. Он пришел из спальни босиком, без пиджака и без галстука. Не самый подходящий вид для мужчины, делающего предложение.

— У тебя на голове настоящий ералаш,— сказала она.— Ты гораздо симпатичнее такой взъерошенный.

— Может, у меня и в словах ералаш? Или ты не поняла, что я сказал в спальне?

— Почему же, поняла. Ты хочешь на мне жениться.

— Совершенно верно.

— Давай пойдем в кино. Тут за углом идет картина, которую мне хочется посмотреть.

— Не увиливай.

— Завтра ее показывают последний день, а тебя завтра здесь не будет.

— Я жду ответа.

— Я должна быть польщена? Ну что же, я *действительно* польщена. А теперь пошли в кино.

— Если ты скажешь «нет», это меня убьет.

— Ты в этом убежден? — Наклонив голову, она смотрела в свой стакан и помешивала виски пальцем. Ему была видна только ее макушка и поблескивающие в свете лампы распущенные по плечам волосы.

— Да.

— А если правду?

— Отчасти,— сказал он.— Я отчасти убежден. Меня это отчасти убьет.

Теперь рассмеялась она:

— По крайней мере ты будешь честным мужем.

— Я жду ответа,— настаивал Рудольф. Он взял ее за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. В ее взгляде было сомнение и испуг, маленькое личико побледнело.

— В следующий раз, когда приедешь в Нью-Йорк, позвони мне,— сказала она.

— Это не ответ,— заметил Рудольф.

— В какой-то мере — ответ, что мне надо подумать.

— Почему?

— Потому что я позволила себе нечто отнюдь не делающее мне чести и теперь должна сообразить, как сделать, чтобы я вновь могла себя уважать.

— Что же ты такого наделала? — Он не был уверен, что ему хочется узнать правду.

— Когда мы познакомились с тобой, у меня был роман. Он до сих пор продолжается. И все это время я думаю: «Что же это такое? Впервые в моей жизни я сплю сразу с двумя мужчинами!» И тот тоже хочет на мне жениться.

— Ты поэтому никогда не приглашала меня к себе? Он живет с тобой?

— Нет.

— Но он бывал у тебя? — Рудольф с удивлением почувствовал, что это его глубоко ранило, и тем не менее ему хотелось разбередить в себе эту рану еще больше.

— Знаешь, что делало тебя особенно милым? — сказала Джин.— То, что ты был слишком уверен в себе и поэтому не задавал никаких вопросов. Если любовь меняет тебя в худшую сторону, то уж лучше не люби никого.

— Что за паршивый день,— пробормотал Рудольф.

— Насколько я понимаю, вот все и решилось.— Джин встала и осторожно поставила стакан на стол.— Кино отменяется.

Он смотрел, как она надевает пальто. «Если она сейчас уйдет,— подумал он,— я больше никогда ее не увижу». Он подошел к ней, обнял и поцеловал.

— Ты ошибаешься. Кино не отменяется.

Она улыбнулась ему, но губы ее дрожали, словно улыбка далась ей с трудом.

— Тогда поскорее одевайся. Терпеть не могу опаздывать к началу.

На следующее утро, ведя машину по мокрому от дождя шоссе, Рудольф думал не о Билли, к которому сейчас ехал, а о Джин. Они сходили в кино. Картина оказалась отвратительной. Потом ужинали в забегаловке на Третьей авеню и говорили о вещах едва ли интересных им обоим: о только что виденном фильме, о других фильмах, о спектаклях, о книгах, о журнальных статьях, о политических сплетнях. Это был разговор плохо знакомых между собой людей. Оба избегали упоминать о женитьбе и о любви втроем. Пили больше обычного. Когда они доели бифштекс и выпили напоследок по рюмке коньяку, он с облегчением посадил ее в такси, а сам пошел домой пешком. Спал он тяжело, а когда, проснувшись, вспомнил вчерашний вечер и дела, ждущие его сегодня, грязный декабрьский дождь за окном показался ему вполне соответствующим оформлением воскресного утра.

Он остановил машину у главного здания школы, вышел и неуверенно огляделся, не зная, где искать племянника. Из стоявшей неподалеку часовни доносились молодые голоса, дружно певшие: «Вперед, вперед, воинство Христово».

Воскресенье. Обязательное присутствие на церковной службе, подумал он. Неужели в частных школах это до сих пор сохранилось? Когда ему было столько же лет, сколько Билли, от него требовали лишь каждое утро отдавать салют флагу и

клясться в верности Соединенным Штатам. Вот оно, преимущество бесплатного обучения — церковь отделена от государства.

Рядом с ним остановился шикарный «линкольн континентал». Школа дорогая. Здесь воспитываются будущие правители Америки. Сам он приехал на «шевроле». Интересно, что бы говорили о нем в учительской среде, если бы он приехал на мотоцикле, который у него до сих пор сохранился, но теперь по большей части стоял без дела в гараже. Из «линкольна» вышел важного вида мужчина в элегантном плаще, его спутница осталась сидеть в машине. Судя по его манерам, мужчина был по крайней мере президентом какой-нибудь компании — румяный, энергичный, в хорошей спортивной форме. Рудольф уже давно научился распознавать этот тип.

— Доброе утро, сэр,— поздоровался Рудольф тем голосом вежливого автомата, каким обычно обращался к президентам компаний.— Не скажете ли вы, где «Силлитоу Холл»?

— Доброе утро, доброе утро,— приветливо ответил тот, широко улыбаясь и показывая прекрасные искусственные зубы, стоимостью в пять тысяч долларов.— Сейчас я вам его покажу. Мой сын жил там в прошлом году. Это, пожалуй, лучший дом на всей территории школы. Вон там.— Он махнул рукой на коттедж, стоявший примерно в четырехстах ярдах от них.— Вы можете к нему подъехать. Поезжайте по этой же дороге.

Переступив порог погруженного в тишину коттеджа, Рудольф увидел девочку лет четырех в голубом комбинезончике. Она ездила на трехколесном велосипеде по просторному холлу. Бегавший вокруг девочки большой сеттер залаял на него. Рудольф был немного озадачен. Он не ожидал увидеть в мужской школе четырехлетнюю девочку.

Дверь открылась, и в холл вошла миловидная круглолицая молодая женщина.

— Замолчи, Бонни,— приказала она собаке и улыбнулась Рудольфу.— Не бойтесь, он не кусается. Вы чей-нибудь отец?

— Не совсем,— ответил он.— Я дядя Билли Эббота. Я звонил сегодня утром.

На приятном круглом лице появилось странное выражение. Сочувствие?.. Подозрение?.. Облегчение?..

— Да, да, он вас ждет. Я — Молли Фервезер, жена старшего воспитателя. Мальчики должны вот-вот вернуться из часовни. Может, вы пока зайдете к нам и чего-нибудь выпьете?

— Мне не хочется доставлять вам беспокойство,— сказал Рудольф, но все же последовал за ней.

Гостиная была просторной и уютной. Старая мебель, множество книг.

— Мой муж тоже в часовне,— объяснила миссис Фервезер.— По-моему, у меня где-то осталось немного хереса.— Из другой комнаты донесся детский плач.— Это мой младший о себе напоминает,— сказала она и торопливо налила Рудольфу рюмку хереса.— Извините, я сейчас.— Она вышла, и плач тотчас стих. Вернувшись, она поправила волосы и налила себе хереса.— Да вы присаживайтесь.

Наступила неловкая пауза. Глядя на эту женщину, Рудольф подумал, что хотя миссис Фервезер познакомилась с Билли всего несколько месяцев назад, она должна знать мальчика гораздо лучше, чем он, приехавший сюда в полном неведении, с поручением спасти племянника.

— Билли очень хороший мальчик,— наконец нарушила молчание миссис Фервезер.— Такой красивый и воспитанный. У нас здесь есть и сорвиголовы, поэтому мы ценим тех, кто умеет себя вести.

— Его мать очень о нем беспокоится...— начал Рудольф.

— Правда? — Ее реакция была слишком быстрой. Значит, неладное почувствовала не только Гретхен.

— На этой неделе она получила от него письмо. Конечно, матери склонны преувеличивать... однако у нее сложилось впечатление, что Билли в полном отчаянии.— Не имело смысла утаивать цель своего приезда от этой явно рассудительной и доброжелательно настроенной женщины.— Слово «отчаяние» мне лично кажется слишком сильным, но я все же приехал выяснить, в чем дело. Его мать живет в Калифорнии, и...— он замялся.— В общем, она недавно вышла замуж, второй раз.

— О, в нашей школе этим никого не удивишь,— рассмеялась миссис Фервезер.— Родители многих наших учеников разводятся и женятся по второму разу.

— Ее муж несколько месяцев тому назад погиб.

— Вот оно что,— сочувственно сказала миссис Фервезер.— Какое горе. Может, поэтому Билли...— Она замолчала на полуслове.

— Вы тоже заметили, что с ним что-то происходит? — спросил Рудольф.

— Пожалуй, вам лучше побеседовать об этом с моим мужем,— она неуверенно провела рукой по коротко остриженным волосам.— Это, как говорится, по его части.

— Я знаю, вы не скажете ничего такого, с чем ваш муж не согласился бы,— заметил Рудольф. Он не сомневался, что в отсутствии мужа она будет держаться менее настороженно и не станет так уж выгораживать школу, если школа в чем-то виновата.— У него плохие отметки? Или, может, кто-нибудь из ребят почему-то над ним издевается?

— Нет,— ответила миссис Фервезер, наливая ему вторую рюмку хереса,— занимается он хорошо и, по-моему, учеба не представляет для него трудностей. И мы никогда не разрешаем здесь ребятам издеваться друг над другом. Просто...— она пожала плечами,— он необычный мальчик. Мы с мужем пытались понять, в чем дело, но безуспешно. Он... он очень замкнутый. У него ни с кем нет контакта — ни с ребятами, ни с учителями. Его сосед по комнате попросил перевести его в другой коттедж...

— Они дерутся?

— Нет,— отрицательно покачала головой миссис Фервезер.— Он утверждает, будто Билли с ним совсем не разговаривает. Никогда! Ни о чем! Он аккуратно убирает свою половину комнаты, в положенные часы готовит уроки, ни на что не жалуется, но, когда с ним заговаривают, отвечает только «да» или «нет». Физически он хорошо развит, но не участвует ни в каких играх. По субботам у нас проводятся спортивные соревнования с другими школами и все ребята собираются на стадионе, а он сидит в своей комнате и читает.— Голос миссис Фервезер звучал сейчас так же тревожно, как голос Гретхен.— Будь он взрослым, я бы, пожалуй, сказала, что он страдает меланхолией. Я понимаю, это ничего не объясняет...— Она виновато улыбнулась.— Это лишь описание симптомов, а не диагноз, но это единственный вывод, к которому пришли мы с мужем. Если вам удастся узнать что-нибудь более определенное, что-то такое, чему школа может помочь, мы будем очень признательны.

— Могу я пройти в комнату Билли? — спросил Рудольф.— Я подожду его там.— Может, что-нибудь в комнате подскажет ему, как вести себя с мальчиком?

— Пожалуйста. Она на третьем этаже. Последняя дверь налево.

Казалось, комната разделена пополам невидимой стеной. С одной стороны — измятая постель, заваленная пластинками. Рядом, на полу, куча книг, а на стене — вымпелы и фотографии девушек и спортсменов, вырезанные из журналов. На другой половине комнаты кровать была тщательно заправлена, а стена совершенно голая. Только на письменном столе две фотографии: Грехтен и Берка. Гретхен на снимке сидела в шезлонге в саду своего калифорнийского дома, а фотография Берка была вырезана из какого-то журнала. Карточки Вилли Эббота на столе не было.

Если исключительная аккуратность считается признаком юношеской неврастении, то Билли был явным неврастеником. Рудольф помнил, каким аккуратным был он сам в этом возрасте, но никто тогда не считал это ненормальным.

И все же комната произвела на него угнетающее впечатление. Ему не хотелось встречаться с соседом Билли, и поэтому он спустился вниз и встал у входа в коттедж. Солнце сейчас светило ярче, из часовни шли группами причесанные и умытые ребята, и все вокруг утратило ту тюремную мрачность, которая вначале неприятно поразила Рудольфа Большинство мальчиков были гораздо выше, чем в их же возрасте одноклассники Рудольфа. Американцы прибавляют в росте. Все считали само собой разумеющимся, что это хороший признак. Но так ли это? Им будет легче смотреть на тебя сверху вниз, приятель.

Билли он увидел издали. Единственный из всех, Билли шагал совершенно один. Он шел медленно и вполне непринужденно, с высоко поднятой головой. В его виде не было ничего вызывающего или отталкивающего. Рудольф вспомнил, как сам в этом возрасте отрабатывал походку, стараясь не двигать плечами и ходить легкими скользящими шагами, чтобы казаться старше и изящнее своих сверстников.

— Привет, Руди, — без улыбки поздоровался Билли. — Спасибо, что приехали навестить меня.

— К вечеру я должен быть в Уитби, — сказал Рудольф, — а так как это по пути, я решил заскочить к тебе, чтобы вместе пообедать.

Билли бесстрастно смотрел на него, и Рудольф был уверен: парень знает, что этот визит вовсе не случаен.

— Здесь поблизости есть какой-нибудь приличный ресторан? Я умираю от голода.

— Отец в прошлый раз водил меня обедать в довольно пристойное место.

— Когда это было?

— Месяц назад. Он собирался снова приехать на прошлой неделе, но потом написал, что в последнюю минуту человек, у которого он обычно берет машину, должен был срочно выехать за город.

Вероятно, фотография Эббота вначале стояла на столе рядом с карточками Гретхен и Колина, подумал Рудольф; скорее всего, Билли убрал ее оттуда после этого письма.

— Тебе надо сообщить кому-нибудь, что ты поедешь обедать со своим дядей?

— Мне никому ничего не надо сообщать, — сухо ответил Билли.

Только сейчас Рудольф обратил внимание, что ребята, смеясь и дурачась, шагают мимо них, но Билли ни с кем даже не заговаривает и никто не подходит к нему. Наверно, все действительно так, как предполагает Гретхен, подумал он, а может быть и хуже.

— Тогда поехали. Покажешь мне дорогу, — Рудольф обнял его за плечи, но племянник, казалось, остался к этому равнодушен.

— Я знаю, почему тот человек отказался одолжить отцу машину, — сказал Билли, уплетая бифштекс. — В прошлый раз, выезжая со стоянки, он врезался в дерево и помял крыло. Он перед обедом выпил три мартини, а после обеда — две рюмки коньяка и бутылку вина.

Нетерпимая юность. Рудольф был рад, что пьет сейчас только воду.

— Может, отец был чем-нибудь расстроен? — сказал он. Не для того он сюда приехал, чтобы разрушить любовь, возможно существующую между сыном и отцом.

— Наверно. Он всегда чем-нибудь расстроен, — заметил Билли, продолжая жевать. Если он и страдал от чего-то, это никак не отражалось на его аппетите.

— В школе хорошо кормят? — спросил Рудольф, просто чтобы нарушить затянувшуюся паузу.

— Прилично.

— А как ребята, хорошие?

— Ничего. А... впрочем, не такие уж они и хорошие. Слишком любят хвастаться, мол, отец у меня большая шишка, обедает с самим президентом и дает ему советы, как управлять страной, а я на каникулы летом езжу не куда-нибудь, а в Ньюпорт, а у нас собственная конюшня, а у меня родители бухнули двадцать пять тысяч на бал по случаю совершеннолетия моей сестры...

— А ты что говоришь в таких случаях?

— Я молчу.— Билли посмотрел на него с неприязнью.— Что я должен говорить? Что мой отец живет в однокомнатной квартире и за последние два года его три раза увольняли? Или, может, мне рассказать, как он замечательно водит машину после обеда? — Все это он произнес ровным, обычным тоном, слишком по-взрослому.

— Ты бы мог рассказать им про твоего отчима.

— А что он? Его уже нет. И даже когда он был жив, во всей школе не нашлось бы и шести парней, которые слышали о нем. Они здесь считают тех, кто пишет пьесы или снимает кино, вроде как придурками.

— А как учителя? — спросил Рудольф, тщетно надеясь, что хоть что-то в школе Билли нравится.

— Какое мне до них дело? — ответил мальчик, намазывая маслом печеную картофелину. — Я готовлю, что задают, и все.

— В чем дело, Билли? — Пришло время спросить напрямик. Он слишком плохо знал племянника, чтобы подходить к этому вопросу окольными путями.

— Это мать просила вас приехать ко мне, да? — Билли смотрел на него пытливо и вызывающе.

— Если тебе непременно нужно это знать, да.

— Зря я ее встревожил. Мне не нужно было посылать то письмо.

— Нет, ты совершенно правильно сделал. Так все же, Билли, в чем дело?

— Я сам не знаю. — Билли перестал есть. Рудольф видел, как он старается держать себя в руках и говорить спокойно. — Все плохо. У меня такое чувство, что я умру, если останусь здесь.

— Ничего ты не умрешь, — резко сказал Рудольф.

— Да, конечно, наверно, не умру. Просто у меня такое *чувство*. Это место не для меня. Мне совсем не хочется стать таким, какими станут все эти парни. Я видел их отцов. Многие из них двадцать пять лет назад тоже учились в этой школе. Они такие же, как их дети, только старше — указывают президенту, что делать, но не понимают, что Колин Берк был великим человеком, и даже не знают, что он умер. Я здесь чужой, Руди. И мой отец здесь чужой. Колин Берк тоже был бы здесь чужим. Если я тут останусь, то к концу четвертого года буду таким же, как все они, а я не хочу этого. В общем, не знаю... — Он уныло покачал головой, и прядь светлых волос упала на высокий лоб, унаследованный им от отца. — Вы, наверно, считаете, что я говорю чепуху. Наверно, думаете, я просто соскучился по дому, или расстроен оттого, что меня не выбрали капитаном команды, или еще что-нибудь в этом роде...

— Я совсем так не думаю, Билли. Не знаю, прав ли ты или нет, но у тебя определенно есть свои причины, — сказал Рудольф. «Соскучился по дому», — мысленно повторил он про себя слова Билли. Но по какому дому?

— Ходить на службы в часовню обязательно, — продолжал Билли. — Семь раз в неделю притворяться, будто я христианин. А я не христианин. Моя мама не христианка, отец не христианин. Колин тоже им не был. Почему я должен отдуваться за всю семью и выслушивать эти бесконечные проповеди? «Будь честным, гони прочь нечистые помыслы, не думай о сексе. Господь наш Иисус Христос умер во искупление грехов наших...» Вам понравилось бы семь раз в неделю слушать всю эту дребедень?

— Нет, не очень, — согласился Рудольф.

— А деньги? — Мимо прошла официантка, и Билли понизил голос, но говорил все так же горячо. — Откуда возьмутся деньги на мое шикарное респектабельное образование сейчас, когда Колин умер?

— Об этом не беспокойся, — сказал Рудольф. — Я уже говорил твоей матери, что это я беру на себя.

Билли взглянул на него со злостью, словно Рудольф признался, что готовит против него заговор.

— Вы мне недостаточно нравитесь, дядя Рудольф, чтобы я мог принять от вас такой подарок.

Рудольф был потрясен, но постарался не показать виду: как бы там ни было, а Билли еще совсем ребенок, ему лишь четырнадцать лет.

— А почему я тебе недостаточно нравлюсь? — спокойно спросил он.

— Потому что эта школа для таких, как вы. Можете посылать сюда своего собственного сына.

— На это я, пожалуй, отвечать не буду.

— Извините, что я так сказал, но я действительно так думаю. — Окаймленная длинными ресницами голубизна влажно заблестела. Глаза Эббота.

— Я уважаю тебя за прямоту, — сказал Рудольф. — В твои годы ребята обычно уже умеют скрывать свои истинные чувства от богатых дядюшек.

— Как я могу здесь оставаться, когда на другом конце страны моя мать сидит совершенно одна в пустом доме и каждую ночь плачет? — Билли говорил торопливо, захлебываясь. — Погиб такой человек, как Колин, а я, значит, должен орать во всю глотку на идиотских футбольных матчах или слушать, как какой-то бойскаут в черном костюме сообщает, что спасение в Иисусе Христе? Так, что ли? — По его щекам текли слезы, и он вытирал их платком, не прекращая свой гневный монолог. — Я вот что вам скажу. Если вы не заберете меня отсюда, я сбегу и уж как-нибудь сумею добраться домой к матери и постараюсь помочь ей, чем смогу.

— Хорошо, — сказал Рудольф. — Хватит об этом. Я пока не знаю, что мне удастся сделать, но обещаю что-нибудь предпринять. Это тебя устраивает?

Билли с несчастным видом кивнул, еще раз вытер слезы и положил платок в карман.

— А сейчас давай разделаемся с обедом, — сказал Рудольф. Сам он почти не ел, просто смотрел, как Билли подчистил свою тарелку, заказал себе яблочный

пирог и так же успешно с ним расправился. Четырнадцать лет — всеядный возраст. Слезы, смерть, жалость, яблочный пирог и мороженое перемешиваются без угрызений совести.

После обеда, когда они ехали в школу, Рудольф сказал:

— Иди к себе в комнату. Собери вещи и жди меня внизу в машине.

Он позвонил в квартиру Фервезеров. Дверь открыл высокий сутуловатый мужчина. На лоб его падал завиток волос, чистое розовое лицо светилось приветливой улыбкой. Какие же нервы должен иметь человек, чтобы жить среди мальчишек?!

— Мистер Фервезер, простите, что я вас беспокою, но это всего на несколько минут. Я дядя Билли Эббота и...

— А, да-да, — Фервезер протянул ему руку. — Жена мне говорила, что вы к нам заходили перед обедом. Проходите, пожалуйста. — Он провел Рудольфа в гостиную. — Прошу вас, садитесь. Хотите кофе?

— Нет, спасибо. Кофе я только что пил, и я всего на минутку, — сказал Рудольф, чувствуя себя неловко от того, что он не отец, а лишь дядя Билли. — Я поговорил с ним, мистер Фервезер. Не знаю, насколько этот разговор мне удался. Но я хочу забрать Билли отсюда. По крайней мере на несколько дней. На мой взгляд, это совершенно необходимо.

— Неужели действительно все так плохо?

— Да, плохо.

— Мы пытались сделать все, что в наших силах, — сказал Фервезер. По его тону чувствовалось, что он не собирается оправдываться.

— Я в этом не сомневаюсь. Просто Билли не совсем обычный мальчик, и за последнее время, притом очень короткое, в его жизни произошло много не совсем обычных событий... Сейчас нет смысла говорить об этом.

— Значит, вы хотите его забрать? И надолго?

— Трудно сказать. Может, на несколько дней, может, на месяц, а может, и насовсем.

— Казалось бы, спокойная у нас, учителей, профессия, а сколько бывает поражений, — вздохнул Фервезер. — Скажите Билли, что мы всегда готовы принять его обратно. Он способный мальчик и легко нагонит пропущенное. Надеюсь, через день-два вы сообщите нам о своем решении?

— Обязательно, — ответил Рудольф. — Спасибо вам за все.

Когда они выехали за ворота школы, Билли, сидевший рядом с Рудольфом на переднем сиденье, сказал:

— Я больше никогда сюда не вернусь. — Он даже не спросил, куда они едут.

В Уитби они приехали в половине шестого. Уличные фонари уже горели в ранних зимних сумерках. Добрую часть пути Билли спал. Рудольф со страхом думал о той минуте, когда ему придется представить матери ее внука. С присущей ей изысканностью слога мать вполне могла сказать что-нибудь вроде: «Отродье блудницы!»

На секунду ему в голову пришла мысль отвезти Билли в гостиницу, но он тотчас отказался от этой идеи: было бы слишком жестоко после такого дня оставить мальчика одного. К тому же это было бы еще и трусостью. Нет, придется, наконец, поставить старуху на место.

И все же Рудольф, проведя Билли за собой в дом, почувствовал облегчение, когда увидел, что в гостиной матери нет. Он скользнул взглядом по коридору — дверь в ее комнату была закрыта. Вероятно, она поскандалила с Мартой и сейчас дуется. Так лучше, теперь он сможет поговорить с ней наедине и подготовить к первой встрече с внуком.

Они с Билли прошли на кухню. Из духовки пахло чем-то вкусным. Марта сидела за столом и читала газету. Она вовсе не была толстой, как злословила о ней мать. Угловатая, худая пятидесятилетняя старая дева, она знала, что в этой жизни добра ждать не от кого, и всегда была готова платить за свои обиды той же монетой.

— Марта, — сказал он, — это мой племянник Билли. Он поживет с нами несколько дней. Он устал с дороги, ему надо приготовить ванну и покормить чем-нибудь горячим. Вы могли бы это сделать? Спать он будет в комнате рядом с моей.

— Она ничего не говорила мне ни о каком племяннике, — сказала Марта, свирепо кивнув в ту сторону, где была комната матери.

— Она еще сама о нем не знает,— ответил Рудольф, стараясь говорить бодро, чтобы Билли ничего не понял.

— Сегодня ей только не хватает выяснить, что у нее есть внучек,— заметила Марта.

Билли молча стоял в стороне. Он не понимал, в чем дело, но все это ему уже не нравилось. Марта встала из-за стола. На лице у нее было неодобрение, но такое лицо у нее было всегда. Правда, откуда об этом знать Билли?

— Идем, молодой человек, — сказала она. — Думаю, у нас хватит места для такого тощенького, как ты.

Рудольф был поражен: на языке Марты это означало почти любезное приглашение.

Он налил себе виски, бросил в стакан побольше льда и уселся в мягкое кресло.

Пил он не спеша — его не прельщала сцена, ожидавшая впереди. Наконец, допив, заставил себя вылезти из кресла, прошел по коридору и постучал в дверь. Комната матери была на первом этаже, чтобы старухе не приходилось подниматься по лестнице. Впрочем, сейчас, после двух операций — первая избавила ее от флебита, а вторая от катаракты,— она передвигалась вполне свободно.

— Кто там? — резко спросила она из-за двери.

— Это я, мам, ты не спишь?

— Теперь уже не сплю.

Он открыл дверь.

— Разве тут уснешь, когда по дому словно стадо слонов топает, — сказала она с кровати. Мэри сидела, откинувшись на подушки в кружевных наволочках. На ней была розовая ночная кофта, отделанная чем-то вроде розоватого меха, на глазах — очки с толстыми стеклами, прописанные врачом после операции. Она могла теперь читать, смотреть телевизор и ходить в кино, но очки придавали ее увеличенным до огромных размеров глазам ненормальное, тупое и бездушное выражение.

За время, прошедшее с их переезда в новый дом, врачи сумели сделать с ней чудеса. Еще когда они жили над магазином, Рудольф уговаривал ее согласиться на операции — он видел, что ей это необходимо, — но она категорически отказывалась. «Не хочу лежать в палате для бедных, чтобы на мне экспериментировали медики-недоучки, которых нельзя подпускать с ножом и к собаке», — говорила она, пропуская все доводы Рудольфа мимо ушей. Пока они жили в убогой квартире, ее невозможно было убедить, что она не бедна и ей не грозит судьба бедняков, доверившихся бездушной заботе благотворительных больниц. И только переехав в новый дом, только после того, как Марта прочитала ей вслух, что пишут газеты об успехах Руди, только прокатившись на купленной сыном новой машине, она, наконец, позволила себя уговорить и, предварительно удостоверившись, что ее будут оперировать самые лучшие и самые дорогие хирурги, смело вошла в операционную.

Вера в деньги буквально возродила ее, вернула с края могилы. Рудольф рассчитывал, что заботы опытных врачей помогут матери сносно дожить ее последние годы. А она, можно сказать, обрела вторую молодость. Теперь, когда машина бывала ему не нужна, за руль мрачно садилась Марта и возила мать, куда той вздумается. Она часто ездила в парикмахерскую и салоны красоты (волосы у нее теперь были завиты и выкрашены в почти голубой цвет); стала завсегдатаем городских кинотеатров; не думая о расходах, вызывала такси; посещала службу в церкви; два раза в неделю играла в бридж со своими новыми знакомыми из церковного прихода; когда Рудольфа не было дома, приглашала на ужин священников; купила себе новое издание «Унесенных ветром».

Ее шкаф ломился от платьев, костюмов и шляпок на все случаи жизни, а заставленная мебелью комната походила на антикварный магазин: позолоченные столики, шезлонг, трельяж с десятком флаконов разных французских духов. Впервые в жизни она стала ярко красить губы. Рудольфу казалось, что с намалеванным лицом, в кричаще безвкусных туалетах мать похожа на страшное привидение, хотя, бесспорно, жизни в ней было куда больше, чем раньше. Но если таким образом она восполняла лишения своего беспросветного детства и долгие мучения замужества, он был не вправе лишать мать ее игрушек.

Одно время он подумывал снять ей квартиру в городе и перевезти ее туда вместе с Мартой, но отказался от этой мысли, представив себе, какое будет у матери лицо, когда он в последний раз выведет ее за порог дома; как она будет потрясена неблагодарностью сына, которого любила больше всего на свете, которому по ночам, отстояв на ногах двенадцать часов в булочной, гладила рубашки, ради которого пожертвовала своей молодостью, мужем, друзьями и двумя другими детьми.

И потому она оставалась здесь. Рудольф был не из тех, кто забывает платить долги.

— Кто там наверху? Ты привел в дом женщину? — осуждающе спросила она.

— Ты знаешь, я никогда не приводил, как ты говоришь, в дом женщину, хотя не понимаю, почему, если бы мне захотелось, я не мог бы это себе позволить, — ответил Рудольф.

— В тебе течет кровь твоего отца, — сказала мать. Ужасное обвинение.

— Там твой внук. Я привез его из школы.

— Шестилетние дети так не топают, — сказала она. — Я еще не глухая.

— Это не ребенок Томаса. Это — сын Гретхен.

— Слышать не хочу этого имени, — мать заткнула уши пальцами: сидение у телевизора обогатило ее жестикуляцию.

Рудольф сел на край кровати. Осторожно взял мать за руки и опустил их вниз. «Я был слишком слабохарактерным,— подумал он, продолжая держать ее руки в своих. — Этот разговор должен был состояться еще много лет назад».

— А теперь послушай меня, мам, — начал он. — Билли хороший мальчик. Сейчас у него неприятности и...

— Я не потерплю в своем доме ублюдка этой шлюхи, — заявила мать.

— Гретхен не шлюха, и ее сын не ублюдок, — сказал Рудольф. — А этот дом не твой.

— О, я знала, что придет день и ты все-таки скажешь мне эти слова.

Рудольф оставил без внимания эту прелюдию к мелодраме.

— Мальчик поживет у нас всего несколько дней. Он сейчас нуждается в заботе и душевной теплоте. Я, Марта и ты дадим ему это.

— Не желаю терпеть его присутствия рядом с собой, — сказала она, цитируя какую-то из своих любимых книг. — Я запру эту дверь, и пусть Марта приносит мне еду сюда на подносе.

— Поступай как знаешь, мама, — спокойно сказал Рудольф, — но если ты так сделаешь — все, конец. Не будет тебе больше ни машины, ни вечеров за бриджем, ни кредита в магазинах, ни салонов красоты, ни ужинов с отцом Макдоннеллом. Подумай об этом. — Он встал. — А сейчас мне пора идти. Марта собирается кормить Билли ужином. Советую тебе пойти к ним.

Когда он выходил из комнаты, по щекам матери текли слезы. «Дешевый это трюк — пугать старуху», — подумал он. Ну почему бы ей просто не умереть? Достойно. Незавитой, ненадушенной, ненарумяненной.

Когда Рудольф позвонил, дверь открыл сам Колдервуд. Он провел его в мрачную комнату, отделанную дубовыми панелями, которую называл своим кабинетом. Здесь стояли письменный стол красного дерева и несколько кожаных кресел с потрескавшимися дубовыми ручками. Застекленные книжные шкафы были битком набиты папками с оплаченными счетами и протоколами деловых операций.

— Садись, Руди, — пригласил он, указав на одно из кресел, и скорбно заметил: — Я вижу, ты уже успел выпить. Мои зятья, к сожалению, тоже пьют. — Две старшие дочери Колдервуда уже вышли замуж, и одна жила теперь в Чикаго, а другая — в штате Аризона. Рудольф подозревал, что обеих девушек побудила к замужеству не столько любовь, сколько география: лишь бы уехать подальше от отца. — Но я пригласил тебя не за тем, чтобы беседовать на эту тему, — продолжал Колдервуд.— Мне хочется поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной... Миссис Колдервуд и Вирджинии нет дома. Они пошли в кино, так что мы можем говорить свободно. — Такие долгие предисловия были не в характере старика. Держался он несколько смущенно, что тоже было на него не похоже. — Рудольф, — он зловеще откашлялся. — Признаться, меня удивляет твое поведение.

— Мое поведение? — на секунду у Рудольфа мелькнула нелепая мысль, что Колдервуд каким-то образом пронюхал о нем и Джин.

— Да, твое поведение,— повторил Колдервуд и огорченно продолжал: — Это на тебя совсем не похоже. Ты для меня был все равно что сын. Больше чем сын. Я всегда считал тебя честным, открытым и полностью доверял тебе. И вдруг на тебя как будто что-то нашло. Ты начал действовать за моей спиной, притом без всяких на то оснований. Ты ведь знаешь, что мог просто позвонить в дверь моего дома, и я бы с радостью тебя принял.

— Простите, мистер Колдервуд, но я не понимаю, о чем вы говорите,— сказал Рудольф. Старость есть старость. Значит, и Колдервуд не исключение.

— Я говорю о чувствах моей дочери Вирджинии, Руди. И не отрицай!

— Но, мистер Колдервуд...

— Ты играешь ее чувствами. Неизвестно зачем. Ты украл там, где имел право требовать, — гневно закончил Колдервуд.

— Уверяю вас, мистер Колдервуд, я...

— Не в твоем характере лгать, Руди.

— Я не лгу. Я просто не знаю...

— Хорошо, в таком случае я должен сообщить тебе, что она во всем призналась! — прогремел Колдервуд.

— Да ведь ей не в чем признаваться! — Рудольф чувствовал свою беспомощность, но в то же время его разбирал смех.

— А моя дочь говорит совсем другое. Она объявила матери, что любит тебя и собирается ехать в Нью-Йорк учиться на секретаршу, чтобы вы могли свободно встречаться.

— Господи помилуй!

— В этом доме не упоминают имя господне всуе, Руди.

— Мистер Колдервуд, мои отношения с Вирджинией исчерпываются тем, что я приглашал ее перекусить или угощал лимонадом и мороженым, когда случайно сталкивался с ней в магазине.

— Ты ее околдовал,— сказал Колдервуд.— Она из-за тебя плачет пять раз в неделю. Невинная молодая девушка не станет так себя вести, если она не попала в силки, искусно расставленные мужчиной. Так вот, молодой человек, я хочу знать, что ты намерен теперь делать?

Когда Колдервуд произносил «молодой человек», это было уже опасно. Рудольф лихорадочно соображал, чем ему это грозит. У него твердое положение в компании, и все же основная власть в руках Колдервуда. Можно бороться, но в конечном счете тот, вероятно, победит. Ну и дура же эта Вирджиния!

— А что, по-вашему, я должен сделать, сэр? — спросил Рудольф, пытаясь выиграть время.

— Все очень просто, — сказал Колдервуд. Было очевидно, что он обдумывал эту проблему с того самого момента, как миссис Колдервуд сообщила ему «счастливую» новость о позоре их дочери. — Женись на Вирджинии. Я сделаю тебя своим полноправным партнером. А в завещании, после того как должным образом позабочусь о миссис Колдервуд и дочерях, оставлю тебе основную часть моих акций, и корпорация будет у тебя в руках. Об этом разговоре мы забудем, и я никогда не буду тебя упрекать. Руди, для меня большое счастье, что такой парень, как ты, станет членом моей семьи. Я мечтал об этом много лет, и мы с миссис Колдервуд были разочарованы тем, что, бывая в нашем гостеприимном доме, ты внешне не проявлял никакого интереса к моим дочерям, хотя они по-своему миловидны, хорошо воспитаны и, позволю себе заметить, вполне обеспечены. И мне совершенно непонятно, почему, сделав выбор, ты не мог прямо сказать мне обо всем.

— Никакого выбора я не сделал! — в смятении воскликнул Рудольф.— Вирджиния очаровательная девушка, и я уверен, она будет кому-нибудь прекрасной женой. Но я и понятия не имел, что нравлюсь ей.

— Руди, — сурово сказал Колдервуд, — я знаю тебя много лет. Ты один из самых умных людей, с которыми мне довелось встречаться. И сейчас у тебя хватает наглости сидеть здесь и утверждать...

— Да, хватает! — К черту бизнес, подумал он. — Я скажу вам, что я сейчас сделаю. Я буду сидеть здесь с вами, пока не вернутся миссис Колдервуд и Вирджиния, и тогда при вас и вашей жене спрошу Вирджинию в лоб, ухаживал ли я за ней когда-

нибудь и пытался ли хотя бы поцеловать. Если она скажет «да», она солжет, но мне на это наплевать. Я тут же встану и уйду, и вы можете делать что хотите с вашей чертовой корпорацией, вашими чертовыми акциями и вашей чертовой дочерью!

— Руди! — Колдервуд был явно шокирован, но Рудольф заметил, что уверенность старика в прочности своих позиций поколебалась.

— Если бы она догадалась раньше признаться мне в своей любви, — продолжал Рудольф, искусно используя возникшее преимущество и уже не думая о последствиях, — из этого, возможно, что-нибудь и получилось бы. Мне она действительно нравится. Но сейчас слишком поздно. Вчера я сделал предложение другой девушке.

— Я вижу, ты говоришь правду. Не знаю, что нашло на эту дуреху, — раздраженно отодвигая в сторону пепельницу, сказал Колдервуд. — Хм, представляю, что будет говорить мне жена: «Ты ее неправильно воспитал, из-за тебя она выросла слишком застенчивой, ты ее слишком берег!» Знал бы ты, какие бои приходилось мне выдерживать с этой женщиной! Нет, в мое время было иначе. Девушки не докладывали матерям, что они влюблены в мужчин, которые на них и не смотрят. Это все из-за вина. У женщин оно последний ум отшибает. Ладно, можешь их не дожидаться. Я сам улажу. Иди. Мне нужно успокоиться.

Рудольф встал, и Колдервуд тоже поднялся на ноги.

— Хотите, я вам дам совет? — сказал Рудольф.

— Ты только и знаешь, что давать мне советы, — раздраженно буркнул Колдервуд. — Я даже во сне вижу, как ты нашептываешь мне на ухо советы. И уже сколько лет подряд. Иногда я жалею, что ты вообще появился в моем магазине в то лето. Какой еще совет?

— Отпустите Вирджинию в Нью-Йорк, пусть она выучится на секретаря и поживет одна год или два.

— Прекрасный совет, — горько сказал Колдервуд. — У тебя нет дочерей, тебе легко советовать. Идем, я провожу тебя до двери.

Когда Рудольф открыл входную дверь, из кухни доносились голоса. Он тихо прошел через гостиную и столовую и, остановившись у двери кухни, прислушался.

— Ты растешь и должен есть как следует. Я люблю, когда у мальчиков хороший аппетит, — говорила мать. — Марта, положи ему еще кусок мяса и добавь салата. Молчи, Билли! В моем доме все дети едят салат.

«Господи помилуй», — подумал Рудольф.

— Хоть я уже стара, — продолжала мать, — и мне пора бы забыть о такой женской слабости, но я люблю, когда мальчики красивы и хорошо воспитаны.— Голос ее звучал кокетливо и игриво.— Знаешь, на кого ты, по-моему, похож? Я, конечно, никогда не говорила ему это в глаза, боясь испортить — нет ничего хуже тщеславного ребенка,— так вот, ты напоминаешь мне твоего дядю Рудольфа. А он, как все считали, был самым красивым мальчиком в городе, да и теперь он самый красивый молодой человек.

— Все говорят, что я похож на отца, — заявил Билли с прямотой четырнадцатилетнего, но без враждебности. Судя по его тону, он чувствовал себя как дома.

— К сожалению, я не имела счастья познакомиться с твоим отцом. — В голосе матери почувствовался холодок. — Но, конечно, у тебя наверняка должно быть какое-то сходство с ним, хотя в основном в тебе больше от нашей линии и, в частности, ты похож на Рудольфа. Правда ведь, Марта? Такие же глаза, такой же волевой рот. Только волосы другие. Но я считаю, что волосы — это второстепенная деталь. Они почти не отражают характер человека.

Рудольф толкнул дверь и вошел в кухню. Билли сидел в конце стола, а женщины — по обе стороны от него. С гладко зачесанными и еще мокрыми после ванны волосами, он, казалось, блестел от чистоты. Довольно улыбаясь, Билли уплетал за обе щеки. Мать в скромном коричневом платье разыгрывала роль доброй бабушки. Марта выглядела менее сердитой, и губы ее не были, как обычно, поджаты — казалось, ей было приятно, что в доме повеяло юностью.

— Все в порядке? — спросил Рудольф. — Они хорошо тебя покормили?

— Ужин — блеск, — ответил Билли. На лице его не осталось и следа от недавних переживаний.

— Надеюсь, ты любишь шоколадный пудинг, Билли? — спросила мать, лишь

мельком взглянув на стоявшего в дверях сына.— Марта готовит изумительно вкусный шоколадный пудинг.

— Ага, — кивнул Билли. — Очень люблю.

— Рудольф в детстве тоже его любил больше всего. Правда, Рудольф?

— Э... да, — согласился он, хотя не помнил, чтобы ел его чаще раза в год, и уж тем более не припоминал, чтобы когда-нибудь хвалил. Но не стоило сейчас мешать полету мамашиной фантазии. Чтобы лучше войти в роль бабушки, она даже не стала румянить щеки — за это ее тоже следовало похвалить. — Билли, — повернулся он к мальчику, — я разговаривал с твоей мамой.

Билли мрачно и с опаской поглядел на него, словно ожидая удара.

— Что она сказала?

— Она ждет тебя. Во вторник или в среду я посажу тебя на самолет.

— А какое у нее настроение? — дрожащим голосом спросил Билли.

— Она счастлива, что увидит тебя, — ответил Рудольф.

— Бедная девочка. Боже, что у нее была за жизнь: столько ударов судьбы! — вздохнула мать. Рудольф старался не смотреть на нее. — Но как это неудачно, Билли, — продолжала она. — Мы только что нашли с тобой друг друга, а ты не можешь даже немного побыть со своей старой бабушкой. Впрочем, сейчас, когда первый шаг сделан, я, наверно, смогу навестить тебя в Калифорнии. Это было бы замечательно, правда, Рудольф?

— Разумеется, — подтвердил он.

— Калифорния, — мечтательно произнесла мать. — Мне всегда хотелось побывать там. Я слышала, это настоящий рай. Прежде чем я умру... Марта, пожалуй, пора дать Билли пудинга.

— Сейчас, мэм, — сказала Марта, подымаясь из-за стола.

— Ну, а мне пора спать, — мать тяжело встала. — В моем возрасте надо рано ложиться. Но я надеюсь, после ужина ты зайдешь поцеловать свою бабушку на сон грядущий, да, Билли?

— Да, мэм, — ответил он.

— Бабушка, — поправила его мать.

— Да, бабушка. — послушно повторил Билли.

И Мэри, бросив торжествующий взгляд на сына, вышла из кухни.

### Глава 4

Задергивай шторы, когда заходит солнце. Не сиди по вечерам на веранде и не смотри на огни распростертого внизу города. Колин любил сидеть рядом с тобой и смотреть на город с веранды. Он говорил, что этот вид нравится ему больше всего на свете, потому что Америка прекрасна ночью.

Не одевайся в черное. Траур — не в одежде.

Не пиши взволнованных писем в ответ на соболезнования друзей и незнакомых и не употребляй в письмах слова типа «гений», «незабвенный», «щедрый», «сильный духом». Отвечай вежливо и кратко. Не более.

Не плачь в присутствии сына.

Не принимай приглашений на ужин от друзей или коллег Колина, желающих избавить тебя от одиноких страданий.

Когда возникнет какая-нибудь трудность, не протягивай руку к телефону, чтобы позвонить Колину на студию. Его кабинет там заперт.

Не поддавайся искушению и не подсказывай людям, заканчивающим его последнюю картину, как ему хотелось ее сделать.

Не давай интервью и не пиши статей. Не будь источником биографических подробностей. Не становись вдовой великого человека. Не гадай, как бы он поступил в том или ином случае, если бы был жив.

Не отмечай его дни рождения и годовщины вашей свадьбы.

Не ходи ни на какие просмотры или премьеры.

Когда низко над головой пролетают самолеты, поднявшиеся с аэродрома, не вспоминай ваши совместные путешествия.

Не пей в одиночестве или в компании, как бы тебе этого ни хотелось. Избегай снотворного. Сноси все молча.

Убери со стола в гостиной все книги и сценарии. Теперь это выглядит фальшью.

Оставь в доме лишь одну, любительскую фотографию мужа. Все остальные собери, сложи в коробку и спрячь в подвал.

Когда готовишь ужин, не выбирай блюда, которые любил твой муж.

Одеваясь, не стой у шкафа, не гляди на свои платья и не говори себе: «Он любил меня больше в этом».

С сыном держись спокойно и просто. Не льни к нему и не позволяй ему льнуть к тебе. Когда его приглашают друзья в бассейн, или на бейсбол, или в кино, говори: «Конечно иди. У меня ужасно много дел по дому, и одна я управлюсь быстрее».

Не пытайся заменить ему отца. То, чему положено учиться у мужчин, он должен узнать от мужчин. Не старайся развлекать его, боясь, что ему скучно одному с убитой горем женщиной, здесь, в этом доме на холме, вдали от тех мест, где веселится молодежь.

Не думай о сексе. Не удивляйся, если будешь об этом думать.

Ни в коем случае не попадись на удочку, когда позвонит твой бывший муж и в порыве сострадания предложит снова на тебе жениться. Если даже когда вы любили друг друга, ваш союз был так недолог, то брак, в основе которого лежит смерть, будет катастрофой.

Работай в саду, загорай, мой посуду, аккуратно веди хозяйство, помогай сыну готовить уроки, не подавай виду, что ты ждешь от него больше, чем другие родители от своих детей. Не целуй его слишком часто.

Будь снисходительной к собственной матери, которую сын собирается навестить на летних каникулах. Говори себе: «До лета еще далеко».

Старайся все время чем-то заниматься. Но чем?..



— Вы абсолютно уверены? Вы всюду посмотрели, миссис Берк? — спросил мистер Гринфилд, адвокат, к которому ее направил агент Колина.

— Я перевернула весь дом, мистер Гринфилд,— ответила Гретхен.— Нашла сотни рукописей, сотни счетов, многие из которых еще не оплачены, но никакого завещания.

— Со своей стороны мы тоже предприняли тщательный розыск,— вздохнул Гринфилд. — Это совершенно невероятно, но у вашего мужа даже не было своего постоянного юриста. Все контракты для него составлял его агент, и, как этот агент утверждает, ваш муж зачастую даже не читал условия контрактов. А во время развода со своей первой женой он позволил ее адвокату составить бракоразводное соглашение.

Гретхен никогда не приходилось встречаться с бывшей миссис Берк, но сейчас, после смерти Колина, она узнала о ней немало. Когда-то та была стюардессой, потом манекенщицей. Страшно любила деньги, но зарабатывать их считала не женским и отвратительным занятием. После развода она получала от Колина двадцать тысяч долларов в год и как раз незадолго до его смерти затеяла судебный процесс с целью добиться увеличения алиментов до сорока тысяч, так как доходы Колина, с тех пор как он начал работать в Голливуде, резко возросли. Много времени проводила за границей, а в Америке жила с каким-то молодым человеком, то в Нью-Йорке, то в Палм-Бич, то в Солнечной долине. Замуж за своего любовника выходить не собиралась, и это было разумно: единственный пункт, который Колину удалось вставить в контракт о разводе, предусматривал автоматическое прекращение выплаты алиментов в случае ее второго замужества. Судя по всему она и ее адвокаты отлично разбирались в законах, и сразу же после похорон, на которые она не приехала, на счет Колина в банке и на его недвижимое имущество был наложен арест, чтобы воспрепятствовать Гретхен продать дом.

Поскольку у Гретхен не было отдельного счета в банке — при необходимости она брала деньги у Колина, а его секретарь оплачивал счета, — она осталась без единого цента и полностью зависела от Рудольфа. Колин не был застрахован, он считал американские страховые компании величайшими грабителями, поэтому Гретхен не получила после его смерти страховки. Катастрофа произошла исключительно по вине Колина — он врезался в дерево из-за собственной небрежности, — поэтому Гретхен не могла возбудить судебного дела и потребовать компенсации. Более того, власти округа Лос-Анджелес собирались предъявить иск за сломанное дерево.

— Мне необходимо уехать из этого дома, мистер Гринфилд, — сказала Гретхен. Особенно тяжело ей было здесь по вечерам: неясные шорохи в темных углах, смут-

ная надежда, что в любую минуту откроется дверь и войдет Колин, на ходу ругая какого-нибудь актера или оператора.

— Я хорошо вас понимаю, — ответил мистер Гринфилд. Он действительно оказался порядочным человеком. — Но если вы освободите дом, если просто перестанете здесь жить, бывшая жена мистера Берка, вероятно, сумеет найти какой-нибудь удобный для нее параграф в законе и въедет сюда. У нее хорошие адвокаты. Очень хорошие. И если существует какая-то лазейка, они непременно ее отыщут. А в законах — стоит только как следует покопаться — почти всегда можно найти удобную лазейку.

— Удобную только не для меня, — безнадежно сказала Гретхен.

— Это вопрос времени, дорогая миссис Берк. Дело слишком запутанное. Дом был записан на имя вашего мужа. По закладной деньги за него полностью пока не выплачены. Размеры состояния не определены и, возможно, еще много лет не будут определены. Мистер Берк получал солидные, весьма солидные проценты с доходов от проката поставленных им трех фильмов, его авторские права предусматривали долгосрочное участие в прибылях кинокомпании, гонорары за прокат его картин за границей, а также за возможную экранизацию пьес, к которым он имел непосредственное отношение.

Гретхен поднялась с кресла.

— Спасибо вам за все, мистер Гринфилд,— сказала она.— Извините, что отняла у вас столько времени.

— Ну что вы, — с положенной адвокату любезностью ответил мистер Гринфилд. — Я, естественно, буду держать вас в курсе дел.

## Глава 5

На палубе было холодно, но Томасу нравилось стоять здесь в одиночестве и глядеть на гряду серых волн Атлантики. Даже когда была не его вахта, он часто приходил сюда и в любую погоду, молча стоял рядом с вахтенным, часами наблюдая, как нос парохода то резко ныряет вниз, то вздымается ввысь, омытый белым водяным кружевом,— Томас чувствовал себя умиротворенным, не думая ни о чем, и не испытывал ни желания, ни необходимости о чем-либо думать.

Пароход плавал под либерийским флагом, но за два рейса ни разу даже близко не подходил к берегам Либерии. Пэппи, администратор гостиницы «Эгейский моряк», как и обещал Шульц, очень помог Томасу. Он снабдил его одеждой и сумкой старого норвежского матроса, умершего в этой гостинице, и устроил на принадлежавшей греческой компании пароход «Эльга Андерсон», который возил грузы из Хобокена в Роттердам, Альхесирас, Геную, Пирей. Все те восемь дней, что Томас оставался в Нью-Йорке, он просидел в своем номере, и Пэппи приносил ему еду, так как Томас заявил, что не желает, чтобы его видела прислуга, — ему были ни к чему расспросы. Накануне отплытия «Эльги Андерсон» Пэппи отвез его в порт Хобокена и оставался на пирсе до тех пор, пока Томас не поднялся на палубу. По-видимому, услуга, которую Шульц в годы войны, когда он служил в торговом флоте, оказал Пэппи, действительно была немаловажной.

«Эльга Андерсон» (водоизмещение десять тысяч тонн, тип «Либерти») была построена в 1943 году и знавала лучшие времена. Судно переходило из рук в руки; его часто менявшихся владельцев интересовала быстрая нажива, и о ремонте никто не думал — делалось лишь самое необходимое, чтобы посудина держалась на воде и хоть как-то двигалась. Корпус оброс ракушками, механизмы скрипели и тарахтели, судно много лет не красили, все покрывала ржавчина; кормили на «Эльге Андерсон» отвратительно, капитаном был старый религиозный маньяк, который в шторм опускался на колени прямо на своем мостике и молился и которого во время войны списали на берег за симпатии к нацистам. Офицеры с документами, выданными в десяти разных странах, были уволены с других кораблей — кто за пьянство, кто за профессиональную непригодность, кто за воровство. Команда — пестрый сброд почти из всех стран, омываемых Атлантическим океаном и Средиземным морем: греки, югославы, норвежцы, итальянцы, марокканцы, мексиканцы, американцы — документы большинства из них при проверке наверняка оказались бы фальшивыми. В кают-компании, где ни на минуту не прекращалась игра в покер, чуть ли не каждый день затевались драки, но офицеры предпочитали не вмешиваться.

Томас за покер не садился, в драки не ввязывался, разговаривал только в случае необходимости, ни на какие вопросы не отвечал, и у него было спокойно на душе. Он чувствовал, что, бороздя бесконечные водяные просторы мира, наконец-то нашел свое место на планете — ни забот о том, чтобы не набрать лишний вес, ни крови в моче по утрам, ни судорожных поисков денег в конце каждого месяца. Когда-нибудь он вернет Шульцу те 150 долларов, которые получил от него в Лас-Вегасе. Вернет с процентами

Он услышал позади себя шаги, но не обернулся.

— Ночка будет тяжелая, — сказал подошедший к нему человек. — Плывем прямо навстречу шторму.

Томас хмыкнул. Он узнал голос Дуайера, парня родом со Среднего Запада. Иногда в его интонациях проскальзывало что-то немужское. Зубы у Дуайера торчали вперед, и на судне за ним закрепилась кличка Кролик.

— Надеюсь, что хоть не в очень сильный шторм попадем,— сказал Дуайер.— А то многие посудины, вроде нашей, тоже типа «Либерти», в шторм просто раскалываются пополам. К тому же загрузили нас будь здоров. Ты заметил, какой у нас крен на левый борт?

— Нет.

— Чертова галоша! Я нанялся сюда только потому, что мне тут кое-что светит.

Томас знал: Дуайер хочет, чтобы он спросил его, что тот имеет в виду, но молчал, вглядываясь в темнеющий горизонт.

— Понимаешь, — продолжал Дуайер, поняв, что Томас не собирается поддерживать разговор, — у меня диплом третьего помощника. На американских судах мне пришлось бы ждать повышения много лет. А на корыте вроде этого, глядишь, кто-нибудь из наших подонков по пьянке свалится за борт или в каком-нибудь порту угодит в полицию, и вот тут-то у меня появится шанс, понял?

Томас промычал в ответ что-то невразумительное. Он ничего не имел против Дуайера, но и не испытывал к нему особой симпатии.

— Ты тоже собираешься сдать на помощника, да? — спросил Дуайер.

— Я об этом не думал, — нехотя ответил Томас.

— Это единственный стоящий вариант. Я это понял сразу, как только вышел в море в первый раз. Простой матрос остается ни с чем. Пока плавает, живет, как собака, а в пятьдесят лет уже развалина. Даже на американских пароходах, где тебе и профсоюзы, и еще не знаю что, и свежие фрукты. Большое дело — свежие фрукты! Надо думать о будущем. Офицерская нашивка на погонах не помешает. После этого рейса я поеду в Бостон держать экзамен на второго помощника.

Томас взглянул на него с любопытством. На Дуайере была белая матросская шапочка, натянутая поверх желтой зюйдвестки, и высокие тяжелые рабочие сапоги на резиновой подошве. Он был небольшого роста и походил на мальчика, нарядившегося на карнавал в новый аккуратный костюмчик матроса дальнего плавания. От морского ветра его лицо приобрело красноватый оттенок, но не такой, как у людей, проводящих целые дни на воздухе, а скорее как у непривычной к холоду девушки, разрумянившейся на морозе. Длинные темные ресницы окаймляли мягкие черные глаза, в которых застыло почти просительное выражение. Рот у него был слишком большой, а беспокойные губы — слишком пухлые. Дуайер то совал руки в карманы, то вынимал их.

Черт, подумал Томас, он неспроста поднялся ко мне на палубу и заговорил. И вообще, чего это он всегда улыбается мне, когда проходит мимо? Лучше сразу показать ему, что не на того напал.

— Если ты такая образованная шишка с дипломом помощника в кармане и все такое, чего ради торчишь тут с нами, простыми матросами? — грубо сказал Томас. — Может, твое место на шикарном теплоходе? Нацепил бы офицерский белый китель и танцевал бы с какой-нибудь богатой наследницей!

— Я нисколько не задаюсь, Джордах, — виновато сказал Дуайер. — Честное слово, не задаюсь. Просто иногда хочется с кем-нибудь поговорить, а ты вроде одного со мной возраста, к тому же американец, и потом — знаешь себе цену, я это сразу заметил. Все остальные на этом пароходе — просто скоты. Вечно надо мной насмехаются. А я не такой, как они, у меня есть честолюбие. Я не играю с ними в их шулерский покер. Ты наверняка это заметил.

— Ничего я не заметил, — сказал Томас.

— Они думают, что я гомик. Ты и этого не заметил?

— Нет, не заметил, — ответил Томас. В кают-компании он бывал только во время завтрака, обеда и ужина.

— Это будто проклятье какое,— сказал Дуайер.— Куда бы я ни пришел наниматься третьим помощником, всюду повторяется одно и то же. Сначала проверяют мои документы и рекомендации, потом пару минут со мной разговаривают, потом начинают этак странно на меня поглядывать и говорят, что вакансий нет. А я уже наперед знаю, что вот сейчас опять на меня так посмотрят. Но только я вовсе не гомик, Джордах! Клянусь тебе!

— Тебя никто не заставляет ни в чем клясться, — сказал Томас. От этого разговора ему стало не по себе. Он не желал ничего знать о чужих секретах и неприятностях. Ему хотелось просто выполнять свою работу, вместе с пароходом наведываться в разные порты и плавать по морям, ни о чем не думая.

— Да у меня, черт побери, невеста есть! — крикнул Дуайер, вытащил из заднего кармана брюк бумажник и вынул из него фотографию. — На, посмотри. — Он сунул фотографию Томасу под нос.— Это моя девушка и я прошлым летом.— На снимке очень хорошенькая пухлая девушка со светлыми кудряшками стояла рядом с Дуайером, невысоким, но поджарым и мускулистым, как боксер в весе петуха.

Волна, ударившись о нос парохода, обдала фотографию брызгами.

— Спрячь лучше,— сказал Томас.— А то от воды испортится.

Дуайер достал носовой платок, вытер карточку и убрал ее в бумажник.

— Я просто хотел, чтоб ты знал, — сказал он, — что, если я иногда подхожу к тебе поговорить, в этом ничего такого нет.

— Ладно, — сказал Томас. — Буду знать.

— Главное, чтоб была ясность, — почти враждебно сказал Дуайер. — Вот и все. — Он резко повернулся и зашагал прочь.

Томас тряхнул головой, почувствовав на лице холодные брызги. У всех свои заботы. Полный пароход забот. Но если каждый будет рассказывать тебе о том, что его гложет, впору сигануть за борт.

Они были уже в Средиземном море и шли через Гибралтар, но погода стояла — хуже некуда. Капитан, без сомнения, возносил на мостике молитвы господу богу и Адольфу Гитлеру. Никто из офицеров не свалился по пьянке за борт, и Дуайер пока не получил повышения. Он и Томас сидели за металлическим столом, привинченным к палубе в кубрике на корме. Шторм был настолько сильный, что пароход бросало с волны на волну и гребной винт то и дело выныривал из воды, а корма моталась из стороны в сторону и трещала — Дуайеру и Томасу приходилось хватать разложенные на столе бумаги, книги и карты, чтобы все это не свалилось на пол. Они занимались каждый день по меньшей мере два часа, и Томас, никогда не утруждавший себя в школе, удивлялся, как быстро он схватывает объяснения Дуайера о правилах навигации, о работе с секстантом. о звездных картах, о погрузке, — все это Томас должен знать как свои пять пальцев, когда будет сдавать экзамен на третьего помощника. А еще его удивляло, какое удовольствие доставляют ему эти занятия. Размышляя об этом на своей узкой койке и прислушиваясь к храпу двух других матросов, спавших с ним в одной каюте, он чувствовал, что понимает, почему в нем произошла такая перемена. Дело не только в возрасте. Он по-прежнему ничего не читал, даже газеты, даже спортивные колонки. Но морские карты, технические проспекты, чертежи двигателей и формулы обещали ему помочь найти выход из этой гнусной жизни. Долгожданный выход.

Дуайер за свою жизнь успел поработать и палубным матросом, и в машинном отделении, и у него было, может, не слишком глубокое, но достаточное представление о корабельной технике, а Томасу опыт работы в гараже помогал легче улавливать, о чем ведет речь Дуайер.

Он никогда не расспрашивал Томаса о его прошлом, а сам Томас предпочитал помалкивать. Благодарность за уроки Дуайера постепенно зарождала в Томасе симпатию к этому человечку.

Эта мысль пришла Томасу в Марселе. Была почти полночь. Они с Дуайером только что поужинали в рыбном ресторанчике в Старом Порту. Томас вспомнил, что они

не где-нибудь, а на южном побережье Франции, и они вдвоем выпили три бутылки розового вина, а почему бы и нет — они все-таки на южном побережье Франции, пусть даже Марсель не назовешь туристским курортом. «Эльга Андерсон» должна была поднять якорь в пять утра, и если они к тому времени успеют вернуться на борт, об остальном можно не беспокоиться.

После ужина они побродили по городу, ненадолго заходя то в один бар, то в другой, и сейчас напоследок заглянули в маленький темный бар неподалеку от набережной. Играл музыкальный автомат, несколько толстых проституток у стойки поджидали, когда им предложат выпить. Томас не отказался бы переспать с девчонкой, но у этих был слишком замызганный вид, к тому же не исключено, что они могут наградить триппером, да и вообще они не соответствовали его представлению о женщинах, с которыми приятно развлечься на южном побережье Франции.

Попивая вино за столиком у стены и поглядывая затуманенными глазами на толстые ноги одетых в яркие вискозные платья проституток, Томас вспоминал десять лучших дней в его жизни, те десять дней, что он провел в Канне с лихой англичанкой, любившей драгоценности.

— Слушай, — сказал он Дуайеру, который сидел напротив него и пил пиво. — У меня есть идея.

— Какая еще идея? — Дуайер настороженно косился на девиц у стойки, боясь, что какая-нибудь из них подсядет за их столик и положит руку ему на колено.

— Давай наплюем на этот проклятый пароход.

— Ты с ума сошел! Какого черта мы будем делать в Марселе? Нас тут же упекут в тюрьму.

— Никто никуда нас не упечет. Я же не предлагаю удрать с парохода навсегда. У него следующий заход в какой порт? В Геную, если я не ошибаюсь. Так?

— Ну, так, — неохотно подтвердил Дуайер.

— В Генуе мы его и нагоним. Скажем, напились и проспали отплытие. Что они нам сделают? Ну, вычтут зарплату за несколько дней. У них все равно не хватает рабочих рук.

— Хорошо, а что мы все это время будем делать? — с беспокойством спросил Дуайер.

— Путешествовать. Устроим себе грандиозное турне! Сядем на поезд и поедем в Канн. В этот приют миллионеров, как любят писать в газетах. Я однажды там был. Лучшее время в моей жизни. Будем валяться на пляже, найдем себе женщин. Деньги мы еще не истратили...

— Я коплю деньги, — сказал Дуайер.

— В кои-то веки можно позволить себе пожить по-человечески, — нетерпеливо перебил Томас. Сейчас, когда Канн был так близок и доступен, он не представлял себе, как можно вернуться к тоскливой жизни на обшарпанном пароходе, стоять вахты и есть помои, которыми там кормили матросов.

— У меня с собой нет даже зубной щетки, — сказал Дуайер.

— Куплю я тебе зубную щетку! Разве ты сам не прожужжал мне все уши, какой ты замечательный моряк и как ты еще мальчишкой гонял плоскодонку по озеру Верхнему?..

— Какое отношение имеет Верхнее к Канну?

— Какое? — переспросил Томас.— Я тебе объясню какое. Значит, если тебе верить, ты отлично водил парусники по Верхнему...

— Бога ради, Томми, — взмолился Дуайер. — Я же никогда не говорил, что я Христофор Колумб или еще какой-нибудь великий мореплаватель. Просто в детстве я действительно плавал на плоскодонке и катерах и...

— Короче, ты умеешь с ними обращаться, так или нет? — настаивал Томас.

— Да, конечно, умею, — признал Дуайер. — Но я пока не понимаю...

— В порту в Канне можно взять напрокат яхту, — прервал его Том. — Мне хочется собственными глазами поглядеть, на что ты годишься. По части теории, карт и книг ты дока. А вот как у тебя дело обстоит на практике? Или я должен просто принять твои слова на веру? Ты мог бы поучить меня. Я хочу перенять опыт настоящего специалиста. А впрочем, черт с тобой. Если ты такой трус, я поеду один. Возвращайся, как паинька, на пароход.

— Ладно, пусть будет по-твоему,— сказал Дуайер.— Я никогда в своей жизни

ничего подобного не делал, но я согласен. К чертовой матери пароход! — И он залпом осушил кружку пива.

Все было не так замечательно, как в запомнившуюся ему далекую пору, потому что на этот раз рядом с ним был Дуайер, а не та лихая англичанка. Но тем не менее это было хорошо. И уж куда лучше, чем стоять вахту на «Эльге Андерсон», жрать всякую дрянь и спать в вонючей каюте с двумя храпящими марокканцами.

Они сняли номер в маленькой дешевой, но не слишком плохой гостинице и пошли купаться, хотя еще стояла весна и вода была такой холодной, что долго в ней не просидишь. Но белые здания были такими же, как и тогда; такое же розовое вино, такое же голубое небо, а в порту, как и тогда, застыли на воде роскошные яхты.

Они взяли напрокат маленький парусник. Дуайер не врал — он действительно умел управлять мелкими суденышками. За два дня Томас многому у него научился и уже почти уверенно ставил парусник на якорь, спускал паруса, плавно подходил к причалу и швартовался.

Но большую часть времени они проводили в порту: медленно бродили по пирсам и молча восхищались застывшими у причалов и отдраенными к предстоящему летнему сезону парусниками, шхунами, большими яхтами и катерами.

— Подумать только, в мире такая уйма денег, а нам ничего не перепало, — качал головой Томас.

Они облюбовали бар на набережной Сен-Пьер, куда часто захаживали матросы и капитаны прогулочных катеров. Среди них были англичане, а многие другие знали английский. Том и Дуайер при любой возможности вступали с моряками в разговоры.

Одним из постоянных посетителей бара был невысокий загорелый седой англичанин Дженнингс, во время войны служивший в британском флоте, а сейчас владевший — на самом деле владевший — яхтой с пятью каютами. Яхта старая и капризная, сказал им англичанин, но он знает ее как свои пять пальцев, ходит на ней по всему Средиземноморью: на Мальту, в Грецию, на Сицилию — куда угодно. Ему просто повезло, сказал он. Бывший владелец этой яхты, у которого когда-то работал Дженнингс, ненавидел свою жену и перед смертью, назло ей, завещал яхту Дженнингсу.

Дженнингс самодовольно потягивал пастис. Его яхта «Гертруда П», приземистая, но чистенькая и удобная, стояла на якоре, как раз напротив бара, и, попивая пастис, Дженнингс ласково глядел на нее — все, что доставляло ему удовольствие, было, можно сказать, под рукой.

— Когда у человека своя яхта, это совсем другая жизнь, — сказал Дженнингс. — Признаюсь вам, я здесь живу отлично. Мне не приходится за пару монет в день надрываться на погрузке в доках Ливерпуля или обливаться кровавым потом, смазывая двигатели на каком-нибудь корыте в Северном море в зимние штормы. Не говоря о том, что здесь и налоги ниже. А уж климат,— он махнул рукой, показывая на раскинувшийся за окном бара порт, где мягкое солнце ласково поглаживало мачты качавшихся на якоре судов,— погода для богатых. Да-а, погода для богатых.

— Скажи, Дженнингс, сколько может стоить приличная яхта, скажем, такая, как у тебя? — спросил Томас. Дженнингс пил за его счет, и он имел право задавать ему вопросы.

Дженнингс не торопясь раскурил трубку.

— На этот вопрос трудно ответить, янки, — после некоторого раздумья сказал он.— Яхты — они как женщины. Одни стоят дорого, другие — дешево, но цена еще не гарантирует, что ты испытаешь настоящее наслаждение.— Дженнингс рассмеялся, довольный собственной мудростью.

— Назови минимум, — настаивал Томас. — Самый минимум.

Дженнингс почесал в затылке и допил свой пастис. Томас тут же заказал еще.

— Все дело случая. Как повезет, — сказал Дженнингс. — Допустим, человек купит хорошее небольшое судно за двадцать — тридцать тысяч фунтов. А потом оказывается, его жена страдает морской болезнью, или целый год плохо идут дела и кредиторы наступают на пятки, или им заинтересуются налоговые инспекторы: может, он не сообщил, что купил яхту на деньги, тайно положенные в какой-нибудь швейцарский банк, — и тут он понимает, что дело плохо. В этих случаях ему надо срочно избавиться от судна, а на этой неделе, как назло, никто не собирается покупать яхты... Ты понимаешь, к чему я веду, янки?.. Итак, он в отчаянии. Может, ему нужно к

понедельнику во что бы то ни стало добыть пять тысяч гиней, иначе пиши пропало. И если в это время ему подвернешься ты и у тебя есть пять тысяч гиней...

— Гинея — это сколько? — спросил Дуайер.

— Пять тысяч гиней — это пятнадцать тысяч долларов,— сказал Томас,— так?

— Приблизительно, — ответил Дженнингс и продолжал: — Или вы, например, услышали, что с аукциона продается какое-то военное судно или судно, конфискованное таможенниками за перевоз контрабанды. Конечно, потребуется его переоборудовать. Но если все делать своими руками, а не платить этим грабителям, которые ошиваются вокруг верфи, то за каких-нибудь восемь — десять тысяч фунтов ты покупаешь яхту, приводишь ее в порядок и можешь выходить в море.

— Восемь — десять тысяч фунтов,— повторил Дуайер.— Для нас это все равно что восемь — десять миллионов долларов...

— Замолчи, — оборвал его Томас. — Есть разные способы заработать деньги.

— Да? Интересно.

— Способы есть. Как-то раз я за один вечер зашиб три тысячи долларов.

— Как? — От удивления у Дуайера перехватило дыхание.

Томас впервые с тех пор, как уехал из «Эгейского моряка», обмолвился о своем прошлом и теперь жалел, что сказал это.

— Неважно как,— резко ответил он и снова повернулся к Дженнингсу: — Послушай, ты можешь сделать мне одно одолжение?

— Все, что в моих силах. При условии, что мне это не будет стоить денег, — ухмыльнулся тот.

— Если услышишь что-нибудь... Только чтоб хорошая яхта и дешевая... Дай нам знать, ладно?

— Буду рад помочь, — сказал Дженнингс. — Оставь мне свой адрес.

Томас заколебался. У него был единственный адрес — гостиница «Эгейский моряк», и знала этот адрес только мать. До драки с Куэйлсом он довольно регулярно навещал старуху, когда был уверен, что не столкнется с Рудольфом. Потом он писал ей из портов, куда заходил их пароход, и посылал открытки, притворяясь, будто дела у него идут хорошо.

— Оставь мне адрес, приятель, — повторил Дженнингс.

— Дай ему твой адрес, — сказал Томас Дуайеру.

— Ты когда-нибудь выкинешь из головы всякие пустые мечты? — сказал Дуайер.

— Делай, что я тебе говорю.

Дуайер пожал плечами и написал Дженнингсу свой адрес.

— Буду глядеть в оба и держать ухо востро, — пообещал Дженнингс, кладя клочок бумаги с адресом в старый потертый кожаный бумажник.

Томас расплатился, и они с Дуайером зашагали вдоль причала, внимательно разглядывая суда.

— Сколько у тебя денег? — неожиданно спросил Томас.— Я имею в виду в банке. Ты говорил, что копишь.

— Две тысячи двести долларов, — неохотно ответил Дуайер. — Послушай, Томми, перестань фантазировать. Все равно нам никогда...

— Главное, помалкивай,— сказал Томас.— В один прекрасный день у нас с тобой будет собственная яхта. И она будет швартоваться в этом порту. А здесь погода для богатых. Деньги мы как-нибудь раздобудем.

— Я не собираюсь шутить с законом, — в голосе Дуайера звучал испуг. — Я за всю жизнь не совершил ни одного преступления и не хочу становиться на такой путь.

— А кто говорит о преступлении? — сказал Томас, хотя у него и мелькнула такая мысль. За время своей боксерской карьеры он встречал немало людей, которых Дуайер назвал бы преступниками, — они ходили в дорогих костюмах, ездили в роскошных автомобилях, разгуливали под ручку с шикарными девками, и все вокруг обращались с этими людьми почтительно, их были рады видеть и полицейские, и политики, и бизнесмены, и кинозвезды. Они почти ничем не отличались от других людей. Ничего особенного в них не было. Преступление — лишь один из способов зарабатывать на жизнь. Может быть, более легкий, чем остальные. Но ему не хотелось отпугивать Дуайера. По крайней мере пока. Если когда-нибудь его мечта сбудется, Дуайер ему пригодится — он будет водить яхту. Одному не справиться. Так что пока он не будет его отпугивать. Он не такой идиот.

На следующий день они рано утром сели на поезд и поехали в направлении Генуи. Они оставили в запасе один день, потому что хотели по дороге остановиться в Монте-Карло. Может, им повезет в казино?

Если бы Томас прошел в другой конец платформы, то увидел бы, как из парижского экспресса вышли с многочисленными новенькими чемоданами его брат Рудольф и стройная хорошенькая девушка.

**Глава 6**

Носильщик погрузил вещи в машину, сказал «мерси», получив чаевые, и улыбнулся, хотя сразу было видно, что они американцы. Судя по американским газетам, в этом году французы не улыбались американцам.

Рудольф еще в Париже купил карту Приморских Альп, и, изучив ее, они проехали в открытом «пежо» под ласковыми лучами средиземноморского солнца через белый город, вдоль кромки моря, через Гольф де Жуан, где некогда высадился Наполеон, через Жуан-де-Пэн с его еще погруженными в предсезонный сон большими отелями к роскошному кремовому отелю «Дю Кап», расположившемуся среди сосен на пологом холме.

Их женитьба чуть было вообще не расстроилась. Джин долго колебалась, не говоря ни да ни нет, и он каждый раз, когда они виделись, был почти готов предъявить ей ультиматум — виделись же они безумно редко. Большую часть времени у него отнимала работа в Уитби и Порт-Филипе, а когда он, наконец, вырывался в Нью-Йорк, его нередко ожидала там записка от Джин, в которой сообщалось, что она уехала снимать очередной репортаж за город. Однажды вечером он видел ее в ресторане в компании худосочного молодого человека с маленькими, круглыми, как бусинки, глазами, длинными спутанными лохмами и недельной давности темной щетиной на подбородке. При следующей встрече он спросил ее, кто это такой, и она призналась, что он — тот самый парень, с которым у нее был роман. А когда Рудольф спросил, продолжает ли она с ним спать, она ответила, что это не его дело.

Рудольфу было унизительно сознавать, что его соперник так неказист собой, и, когда Джин сказала, что парень считается одним из лучших рекламных фотографов страны, это ничуть его не утешило. В тот вечер он хлопнул дверью и ушел, решив ждать, пока она сама ему позвонит, но она не звонила, и в конце концов, когда ему стало совсем невмоготу, он позвонил ей, мысленно клянясь, что будет с ней только спать, но ни за что на ней не женится.

Джин существенно поколебала его представление о себе, и лишь в постели, где им было так хорошо друг с другом, пропадало гложущее его смутное ощущение, что вся эта ситуация для него оскорбительна.

Все знакомые ему мужчины уверяли, что все знакомые им девушки только и думают, как бы окрутить парня и выйти замуж. Какой же изъян в его характере, какой недостаток в нем как любовнике — какая вообще неприятная черта в нем заставила обеих девушек, которым он рискнул сделать предложение, отвергнуть его?

История с Вирджинией Колдервуд ничуть не улучшила его настроения. Старый Колдервуд последовал его совету и отпустил дочь в Нью-Йорк, где она поступила на курсы секретарей. Но если Вирджиния теперь и занималась стенографией и машинописью, то у нее было по меньшей мере странное расписание, потому что каждый раз, как Рудольф приезжал в Нью-Йорк, он обязательно видел ее возле своего дома: она или пряталась в парадном напротив, или делала вид, что случайно проходит мимо. Она звонила ему среди ночи, иногда по три, а то и по четыре раза, чтобы сказать: «Руди, я люблю тебя. Я люблю тебя! Я хочу тебя!»

Все это отражалось на его работоспособности: с удивлением он обнаружил, что ему приходится по нескольку раз перечитывать простые отчеты, прежде чем до него доходит смысл. Спал он беспокойно и просыпался разбитым. Впервые в жизни у него появились прыщики на подбородке.

Он звонил ей целый день, десять раз, двадцать, но никто не снимал трубку. Ну еще, последний раз, решил он, уныло сидя в гостиной своей нью-йоркской квартиры. Еще последний, самый последний раз, и пойду напьюсь до чертиков, буду при-

ставать к девкам и с кем-нибудь подерусь в баре, вернусь домой, если увижу в подъезде Вирджинию Колдервуд, приведу ее сюда, пересплю с ней, а потом позвоню в психиатричку, чтобы приехали со смирительными рубашками и забрали нас обоих.

Гудки, гудки — он уже собирался повесить трубку, как вдруг на другом конце провода раздался тихий, по-детски вкрадчивый голос Джин.

— Алло?

— У тебя был испорчен телефон? — спросил он.

— Не знаю. Меня весь день не было дома.

— Может, тебя не будет дома и всю ночь?

После паузы она ответила:

— Нет.

— Мы увидимся? — Он был готов бросить трубку, если она скажет «нет». Однажды он сказал ей, что она вызывает у него только два чувства — либо ярость, либо восторг.

— А ты хочешь?

— Значит, в восемь? Не пей ничего дома. Приедешь и выпьешь у меня.— Он выглянул в окно — Вирджинии Колдервуд нигде не было видно.

— Я должна принять ванну, и мне не хочется никуда лететь сломя голову. Может, ты приедешь ко мне и выпьешь у меня?

— Звенят литавры, трубят фанфары! — сказал он.

— Пожалуйста, не пытайся блистать красноречием,— сказала она, но фыркнула.

— Какой этаж?

— Четвертый. Лифта нет. Побереги свое сердце, — она повесила трубку.

Он принял душ и переоделся. Руки у него дрожали, и, бреясь, он здорово порезался. Кровь долго не останавливалась, и лишь в пять минут девятого он нажал кнопку ее звонка в доме на Восточной Сороковой улице.

Дверь открыла незнакомая ему девушка в джинсах и свитере.

— Привет. Меня зовут Флоренс, — сказала она и крикнула: — Дженни, кавалер прибыл.

— Спасибо, Флоренс, — поблагодарил Рудольф и прошел в комнату Джин. Она совершенно голая сидела за столом перед маленьким зеркалом и красила ресницы. Он никогда даже не догадывался, что она красит ресницы. Но ничего не сказал ей. Ни о ее ресницах, ни о том, что она сидит голая. Он в изумлении оглядывал комнату. Стены почти сплошь были оклеены его фотографиями: Рудольф улыбающийся, хмурящийся, щурящийся, что-то пишущий в блокноте. Некоторые снимки маленькие, другие увеличены до невероятных размеров. И на всех он был в самом выгодном ракурсе. Все позади, благодарно подумал он. Все позади. Она решилась.

— Я откуда-то знаю этого человека, — сказал он.

— Я так и думала, что ты его узнаешь,— сказала Джин. Изысканная в своей упругой розовой наготе, она продолжала спокойно красить ресницы.

За ужином они говорили о свадьбе. К тому времени, когда принесли десерт, они чуть было не решили все отменить.

— Мне лично, — горько сказал Рудольф, — нравятся девушки, которые знают, чего они хотят.

— Что ж, я знаю, чего я хочу, — сказала Джин. Во время их спора она все больше мрачнела. — Мне кажется, я уже знаю, как проведу выходные, — продолжала она. — Я останусь дома, обдеру эти фотографии все до одной и побелю стены.

Прежде всего она упорно настаивала на том, чтобы об их женитьбе никто не знал. Он хотел немедленно сообщить о свадьбе всем, но она покачала головой.

— Никакой огласки.

— Но у меня есть сестра и мать, — сказал Рудольф. — А кстати, еще и брат.

— В этом-то все и дело. У меня есть отец и брат. И я не позову обоих. Если они узнают, что своим ты сообщил, а им я ничего не сказала, они будут целых десять лет метать громы и молнии. А после того, как мы поженимся, я не хочу иметь никаких отношений с твоей родней и не хочу, чтобы ты общался с моими родственниками. Никакой родни. Семейные обеды в день благодарения у очага! Только этого не хватало!

Рудольф согласился, не особенно сопротивляясь. Его женитьба не будет таким уж счастливым событием для Гретхен, всего несколько месяцев назад потерявшей му-

жа. А мысль о присутствии на свадьбе всхлипывающей матери в каком-нибудь невообразимом платье из тех, в которых она ходила в церковь, тоже не наполняла его радостью. И конечно же, он вполне мог обойтись без сцены, которую закатит Вирджиния Колдервуд, едва до нее донесется эта новость. Но в то же время, если он утаит свое намерение от Джонни Хита и Брэда Найта, это может вызвать осложнения на работе, тем более что он собирается немедленно после женитьбы уехать в свадебное путешествие. Они с Джин пришли к соглашению о том, что не будет никакого званого вечера, что они тотчас уедут из Нью-Йорка, что обойдутся без венчания в церкви и что медовый месяц проведут в Европе.

Но им не удалось прийти к соглашению о том, как они будут жить после возвращения из Европы. Джин отказывалась бросить работу и отказывалась жить в Уитби.

— Я не домоседка и не люблю маленькие города,— упрямо заявила она.— Здесь у меня есть работа, есть перспективы. И я не собираюсь от всего этого отказываться только потому, что кто-то хочет на мне жениться.

— Джин, — предостерегающе сказал он.

— Хорошо, хорошо. Только потому, что я хочу выйти замуж.

— Это уже лучше, — сказал он.

— Я больше буду тебе нравиться, если мы не будем все время жить вместе.

— Нет, наоборот.

— Ну хорошо, ты мне тогда будешь больше нравиться.

Он согласился и на это. Но неохотно.

— Это моя последняя уступка, — сказал он.

День ото дня становилось все теплее. Они подолгу лениво лежали на солнце. Оба сильно загорели, и волосы Джин от солнца и соленой воды стали совсем светлыми. Она давала ему уроки тенниса на кортах отеля и говорила, что он способный. Она очень серьезно относилась к этим урокам и, когда он допускал ошибки, делала ему резкие замечания. Она научила его кататься на водных лыжах. Он не переставал удивляться, как много разных вещей она умела делать отлично.

Куда бы они ни шли, Джин брала с собой фотоаппараты и без конца снимала его на фоне мачт, крепостных валов, пальм, волн. «Я хочу сделать из твоих фотографий обои для нашей спальни в Нью-Йорке», — говорила она.

Они собирались посетить Италию, когда им надоест Антибский мыс. На карте они обвели кружками Ментону, Сан-Ремо, Милан (там надо будет посмотреть «Тайную вечерю»), Рапалло, Санта Маргериту, Флоренцию (там Микеланджело и Боттичелли!), Болонью, Сиену, Ассизи, Рим. Эти названия звенели на солнце как колокольчики. Джин уже всюду там побывала. Раньше. Пройдет еще много времени, пока он узнает о ней все.

Им не надоедало на Антибском мысе.

Они послали телеграмму Колдервуду, что задержатся на неопределенное время.

В отеле они не заговаривали ни с кем, кроме одной итальянской киноактрисы, которая была так красива, что с ней нельзя было не заговорить. Джин потратила целое утро, фотографируя актрису, и отослала снимки в «Вог» в Нью-Йорк. Из «Вога» пришла телеграмма, что фотографии будут опубликованы в сентябрьском номере.

Этот месяц не могло омрачить ничто.

И хотя Антибский мыс им еще не надоел, они сели в машину и поехали на юг посмотреть те города, что обвели кружками на карте. И нигде не испытали разочарования.

Они сидели в кафе на вымощенной булыжником площади в Портофино и ели шоколадное мороженое, лучшее шоколадное мороженое в мире, и разглядывали женщин, продававших туристам открытки, кружева и вышитые скатерти, а еще она смотрела на яхты, стоявшие на якоре в порту.

Среди них выделялась одна — изящная, белая, футов шестьдесят в длину, с прекрасными, чистыми, типично итальянскими линиями.

— Тебе хотелось бы иметь такую? — спросила Джин, ковыряя ложечкой мороженое.

— А кому бы не хотелось?

— Я куплю ее тебе, — сказала она.

— Спасибо,— ответил он.— А может, в придачу и «феррари», и пальто на норковой подкладке, и дом из сорока комнат на Антибском мысе, если уж ты такая щедрая.

— Нет, я не шучу,— продолжая есть мороженое, сказала Джин.— Если ты действительно хочешь.

Он внимательно посмотрел на нее. Она была спокойна и серьезна.

— Что-то не понимаю, — сказал он. — «Вог» платит тебе не *такие* деньги.

— Я и не рассчитываю на «Вог». Я *жутко* богата. После смерти матери мне осталось совершенно неприличное количество ценных бумаг. Ее отец владел одной из крупнейших фармацевтических фирм в США.

— Как называется фирма? — с подозрением спросил Рудольф.

Она сказала, и он, присвистнув, отложил ложку.

— Пока мне не исполнится двадцать пять лет, отец и брат считаются моими опекунами, и я не распоряжаюсь всем своим состоянием, но даже сейчас мой годовой доход по крайней мере в три раза больше твоего. Надеюсь, я не испортила тебе настроение на весь день?

Рудольф разразился хохотом.

— Черт побери! Вот это медовый месяц!

В тот день они пошли на компромисс: она купила ему не яхту, а рубашку пронзительного розового цвета, которую выбрала в сомнительном магазинчике у порта.

Позднее, когда Рудольф поинтересовался, почему она раньше не сказала ему об этом, Джин не ответила на его вопрос прямо.

— Я ненавижу разговоры о деньгах, — сказала она. — В нашей семье только о них и говорили. Уже в пятнадцать лет я пришла к выводу, что деньги растлевают душу, если думать о них все время. Я ни разу не приезжала домой на летние каникулы с тех пор, как мне исполнилось пятнадцать. После окончания колледжа я не потратила ни одного цента из оставленных матерью денег. Я разрешила отцу и брату пустить их в дело. Они хотят, чтобы я позволила им распоряжаться доходами с моего капитала, когда я выйду из-под их опеки, но их ожидает большой сюрприз. Они постараются надуть меня при первой возможности, а я не хочу, чтобы меня надували. И уж тем более они.

— Хорошо, ну а *что* ты собираешься делать с этими деньгами?

— Ты будешь распоряжаться ими в моих интересах, — сказала она, но тут же поправилась: — Извини, в *наших*. Делай с ними все, что сочтешь нужным. Но только не говори со мной об этом. И не трать их на то, чтобы превратить нашу жизнь в ленивое, роскошное, бесполезное существование.

— Между прочим, последние несколько недель мы живем довольно роскошно, — заметил Рудольф.

— Мы тратим твои деньги, заработанные твоим собственным трудом. К тому же это медовый месяц, а не настоящая жизнь, — возразила Джин.

В отеле в Риме Рудольфа ожидала телеграмма от Брэдфорда Найта: «Твоя мать в больнице тчк Доктор опасается, ей осталось недолго тчк Полагаю тебе нужно срочно вернуться».

Рудольф протянул телеграмму Джин. Они только что сдали паспорта администратору и еще стояли в вестибюле. Джин молча прочла телеграмму и вернула ее Рудольфу.

— Надо выяснить, есть ли вечером рейс в Нью-Йорк, — сказала она. В отель они прибыли, когда было уже почти пять часов.

— Нет, — сказал Рудольф. — Мы не будем выяснять, есть ли вечером рейс. Старухе не удастся вытащить меня из Рима сегодня. Полетим завтра. Один день поживем для себя. Мать продержится до моего приезда. Она ни за что на свете не лишит себя удовольствия умереть на моих глазах.

### Глава 7

Стоило ему в Генуе вновь подняться на борт «Эльги Андерсон», как он тотчас понял, что его ждет стычка с Фальконетти.

Фальконетти, здоровенный бугай, с красными, как ветчина, ручищами и маленькой, похожей на редьку головой, в свое время отсидел срок за вооруженное ограб-

ление, а на пароходе держал в страхе всю команду. Он передергивал в карты, но когда однажды смазчик из машинного отделения уличил его в этом, Фальконетти, пока остальные матросы, находившиеся в кубрике, оттаскивали его, чуть не задушил беднягу. Он взял за правило в начале каждого рейса, придравшись к какому-нибудь пустяку, жестоко избивать нескольких матросов, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, кто хозяин на кубрике. Когда он сидел в кубрике, никто не осмеливался прикоснуться к радиоприемнику, и все, нравилось им это или не нравилось, слушали те передачи, которые выбирал Фальконетти. В команде был один негр по имени Ренвей, который, завидев входящего Фальконетти, тотчас выбирался из кубрика. «Я не намерен сидеть в одной комнате с черномазым,— объявил Фальконетти, впервые увидев Ренвея в кубрике. — Ренвей промолчал, но не двинулся с места. — Эй, черномазый, ты что, оглох?» — сказал Фальконетти, подошел к нему, схватил под мышки и, донеся до двери, шваркнул о переборку. Никто ничего не сказал и не сделал. На «Эльге Андерсон» каждый заботился лишь о себе.

Фальконетти занимал деньги у половины команды. Теоретически он брал в долг, но никто не надеялся получить их обратно. Когда кто-нибудь отказывался дать ему пять — десять долларов, он вначале никак на это не реагировал, но дня через два-три обязательно затевал драку, и потом люди ходили с подбитым глазом, сломанным носом или с выбитыми зубами.

Фальконетти ни разу не затевал ссор с Томасом, хотя был намного крупнее его. А Томас не напрашивался на неприятности и сторонился Фальконетти, но, хотя он вел себя спокойно и держался особняком, в нем было нечто такое, что заставляло Фальконетти выбирать жертвы попроще.

Однако в первый же вечер после отплытия из Генуи, когда Томас с Дуайером вошли в кают-компанию, Фальконетти, сдававший в это время карты, сказал:

— А, вот и наши любовнички! — И чмокнул губами, изображая поцелуй.

За столом рассмеялись, так как было опасно не смеяться шуткам Фальконетти. Дуайер покраснел, а Томас спокойно налил себе кофе, взял лежавшую на столе газету и принялся читать.

— Вот что, Дуайер, — продолжал Фальконетти, — хочешь, я буду твоим импресарио? Домой мы вернемся еще не скоро, и многие из наших парней могли бы воспользоваться твоими услугами в часы одиночества. Так ведь, ребята?

Томас как ни в чем не бывало читал и пил кофе. Он чувствовал на себе умоляющий взгляд Дуайера, но пока дело не зашло слишком далеко, он не собирался лезть в драку.

— Какой смысл ублажать кого-то задаром, когда на этом можно хорошо подзаработать и к тому же осчастливить многих, — не унимался Фальконетти. — Я буду брать с тебя десять процентов, как обычный голливудский агент. Что ты на это скажешь, Дуайер?

Дуайер вскочил на ноги и выбежал из кают-компании. Матросы за столом снова рассмеялись. Томас продолжал читать, хотя у него дрожали руки. Он должен сдерживать себя. Если он изобьет такого верзилу, как Фальконетти, который в течение нескольких лет терроризировал всю команду, матросы могут заинтересоваться им и тем, откуда он научился так драться, и наверняка кто-нибудь вспомнит, что когда-то видел его на ринге. А в портах полно всякого сброда и прихлебателей, готовых броситься к гангстеру поважнее с этой новостью.

— Эй, любовничек, — Фальконетти снова влажно чмокнул губами, — неужто ты допустишь, чтоб твой приятель одиноко уснул в слезах?

Томас аккуратно свернул газету и положил ее на место. Затем, держа в руке чашку с кофе, медленно двинулся через комнату. Фальконетти следил за ним из-за стола, улыбаясь. Томас выплеснул кофе ему в лицо. Фальконетти даже не пошевелился. В кубрике повисла мертвая тишина.

— Если ты еще так же чмокнешь губами, — сказал Томас, — каждый раз, как я буду проходить мимо тебя, ты будешь получать по зубам. И так до самого Хобокена.

Фальконетти встал.

— С тобой хоть на край света, любимый, — сказал он и снова чмокнул.

— Я жду тебя на палубе, — сказал Томас. — Одного.

— А мне помощь не нужна, — ответил Фальконетти.

Томас повернулся и пошел на корму. Там хватит места для драки. Не стоит схватываться с таким здоровяком, как Фальконетти, в тесном кубрике.

Море было спокойное, воздух чистый, в небе ярко светили звезды. Мои чертовы кулаки, простонал про себя Томас, вечно все решают мои кулаки.

Фальконетти вышел на палубу. Он был один.

Может, обойдется, подумал Томас. Никто не увидит, как я с ним расправлюсь.

— Шевелись, жирная скотина, — крикнул он. — Я не собираюсь ждать всю ночь.

— Ладно, сам напросился, Джордах, — сказал Фальконетти и тут же бросился на него с кулаками, замахиваясь, как в уличной драке. Томас отступил в сторону и, вложив в кулак всю силу, нанес удар правой ему под ложечку. Фальконетти, судорожно охнув, точно его душили, отпрянул назад. Томас шагнул вперед и снова ударил его в живот. Фальконетти упал и забился в судорогах на палубе. В горле у него что-то клокотало. Он не потерял сознания, и его глаза с ненавистью смотрели на стоящего над ним Томаса, но он был не в силах произнести ни слова.

Сработано чисто и быстро, с удовлетворением подумал Томас. На верзиле не останется никаких следов, и если он не проболтается, никто из команды никогда не узнает, что произошло на палубе. Сам Томас, естественно, будет молчать, а Фальконетти получил хороший урок, и не в его интересах трепать языком.

— Ладно, скотина,— сказал Томас.— Теперь ты знаешь, что к чему, и впредь держи свою помойку закрытой.

Фальконетти неожиданно рванулся вперед, и Томас почувствовал, как огромная ручища схватила его за щиколотку и потянула вниз. В другой руке Фальконетти что-то блеснуло. Томас увидел нож. Согнув ноги, Томас резко упал на колени, придавил лицо Фальконетти и начал выкручивать руку, державшую нож. Фальконетти все еще задыхался, и пальцы, сжимавшие рукоятку ножа, быстро ослабели. Томас, прижав коленями обе руки Фальконетти, выхватил у него нож и отбросил в сторону. Потом минуты две методично месил кулаками физиономию распластанного на палубе противника.

Наконец он выпрямился, Фальконетти неподвижно лежал. Вокруг его головы по залитой звездным светом палубе темным пятном растекалась кровь. Томас подобрал нож и выбросил за борт.

Он тяжело дышал, но не от усталости, а от возбуждения. «Черт побери, — подумал он, — а я ведь получил истинное удовольствие».

Он вошел в кубрик. Игра в покер тут же прекратилась.

Томас взял кофейник и налил себе кофе.

— У меня полчашки пропало,— сказал он, сел и снова развернул газету.

С заработанными деньгами в кармане и с болтающейся через плечо сумкой покойного норвежца он спустился по трапу. Дуайер шел следом. Никто не попрощался с Томасом. С той ночи, когда во время шторма Фальконетти выбросился за борт, матросы перестали разговаривать с Томасом. Ну и черт с ними! Фальконетти сам виноват. Он обходил Томаса стороной, но, когда раны на лице зажили, начал срывать злость на Дуайере, если Томаса не было поблизости. Дуайер говорил, что Фальконетти при каждой встрече с ним непременно чмокает губами, а однажды, возвращаясь с вахты, Том услышал из каюты Дуайера крик. Дверь была не заперта, и, войдя, Томас увидел, что Дуайер лежит на полу, а Фальконетти стаскивает с него брюки. Томас двинул Фальконетти кулаком в нос, а затем пинком в зад вышвырнул из каюты.

— Я предупреждал тебя, — сказал он. — Теперь лучше не попадайся мне на глаза. Потому что всякий раз, как я увижу тебя, будешь получать еще порцию.

— Господи, Томми, — со слезами на глазах сказал Дуайер. — Я никогда не забуду, что ты для меня сделал! Тысячу лет буду помнить!

— Не распускай нюни! Больше он тебя не тронет, — ответил Томас.

Фальконетти больше не задевал никого. Он всячески старался избегать Томаса, но хотя бы раз в день им все равно приходилось где-нибудь сталкиваться. И каждый раз Томас говорил: «Подойти-ка сюда, скотина»,— лицо у Фальконетти нервно дергалось, волоча ноги, он послушно подходил к Томасу, и тот с силой бил его под дых. Делал он это нарочито демонстративно на виду у матросов, но ни в коем случае не в присутствии офицеров. Скрывать что-то от команды не имело смысла: увидев,

во что в тот вечер он превратил физиономию Фальконетти, матросы обо всем догадались. Более того, Спинелли, палубный матрос, как-то сказал Томасу: «А я все думал, где я тебя раньше видел?» — «А ты меня раньше и не видел», — возразил Томас, хотя знал, что отрицать уже бесполезно. «Говори, говори, — сказал Спинелли. — Лет пять-шесть назад я видел, как ты нокаутировал одного негритоса на ринге в Куинсе».— «Я ни разу в жизни не был в Куинсе».— «Это твое дело,— примирительно замахал руками Спинелли, — меня это не касается».

Томас не сомневался, что Спинелли расскажет команде о своем открытии, а в профессиональном боксерском журнале «Ринг мэгэзин» любой без труда отыщет сведения о его карьере, но в открытом море ему беспокоиться не о чем. А вот на берегу надо держать ухо востро. Пока же он с удовольствием продолжал морально уничтожать Фальконетти. Как ни парадоксально, матросы, которых еще недавно Фальконетти терроризировал и которые теперь презирали его, возненавидели Томаса за его обращение с итальянцем. Им было унизительно сознавать, что они долгое время терпеливо сносили выходки ничтожества, с которого за десять минут сумел сбить всю спесь человек, доставававший многим из них лишь до плеча и за два рейса ни разу не повысивший голоса.

Фальконетти старался не заходить в кубрик, если знал, что Томас там. Однажды, когда он не сумел вовремя улизнуть, Томас не ударил его, но сказал:

— Сиди здесь, скотина. Я приведу тебе компанию.

Он спустился в каюту Ренвея. Негр был один.

— Идем со мной, — сказал Том.

Напуганный Ренвей последовал за ним. Увидев Фальконетти, он попятился назад, но Томас втолкнул его в кубрик.

— Мы просто посидим как воспитанные джентльмены рядом с этим джентльменом и послушаем музыку, — сказал Томас. В кубрике играло радио.

Томас сел справа от Фальконетти, а Ренвей — слева. Фальконетти не шелохнулся. Тупо сидел, опустив глаза на неподвижно лежащие на столе здоровенные ручищи.

— Ну, ладно, на сегодня хватит. Теперь можешь идти, скотина, — наконец сказал Томас.

Фальконетти встал, не глядя на наблюдавших за ним матросов, вышел на палубу и прыгнул за борт. Второй помощник капитана, который находился в ту минуту на палубе, видел это, но был слишком далеко и не мог помешать ему. Пароход развернулся, и с полчаса они без особого усердия кружили на месте в поисках, но море было слишком бурным, а ночь слишком темной, и найти Фальконетти не удалось.

У пирса Томас и Дуайер взяли такси. «Угол Бродвея и Девяносто шестой», — сказал Томас шоферу. Он сказал первое, что ему пришло в голову, но когда они уже подъезжали к тоннелю, он сообразил, что угол Бродвея и Девяносто шестой — совсем рядом с домом, где он когда-то жил с Терезой и сыном. Его совершенно не волновало, что он, быть может, больше никогда в жизни не встретится с Терезой, но тоска по сыну подсознательно заставила его дать шоферу этот адрес — а вдруг он случайно увидит мальчика!

Пока они ехали по Бродвею, Томас вспомнил, что Дуайер собирается остановиться в общежитии Христианской ассоциации молодых людей на Шестьдесят шестой улице и будет там ждать от него вестей. Томас ничего не говорил Дуайеру про гостиницу «Эгейский моряк».

— Ты ведь скоро сообщишь о себе, Томми, да? — беспокойно спросил Дуайер, вылезая из такси.

— Не знаю, это не от меня зависит,— и Томас захлопнул дверцу машины. Ему сейчас было не до Дуайера с его слюнявыми благодарностями.

Выйдя на углу Парк авеню и Девяносто шестой улицы, Томас подождал, пока машина скроется из виду, поймал другое такси и велел шоферу остановиться на перекрестке Восемнадцатой улицы и Четвертой авеню. Когда они туда прибыли, он прошел один квартал, повернул за угол, затем возвратился назад и только после этого зашагал к гостинице.

Пэппи стоял за конторкой. Увидев Томаса, он ничего не сказал, а просто дал ему ключ. Томас быстро поднялся на третий этаж в номер, указанный на ключе, бросил на пол сумку, лег на продавленную кровать, застланную горчичного цвета покрывалом, и уставился на трещины в потолке.

Через десять минут раздался стук в дверь. Так стучал только Пэппи. Томас встал и открыл ему.

— Есть какие новости? — спросил он.

Пэппи пожал плечами. За темными очками, которых он не снимал ни днем, ни вечером, трудно было определить выражение его глаз.

— Кому-то известно, что ты здесь, — сказал Пэппи. — Вернее, кто-то пронюхал, что ты останавливаешься здесь, когда бываешь в Нью-Йорке.

Кольцо замыкалось. У Томаса пересохло в горле.

— Ты это о чем, Пэппи? — хрипло спросил он.

— Дней семь-восемь назад сюда приходил какой-то тип. Спрашивал, не здесь ли ты.

— Что ты ему сказал?

— Сказал, что в первый раз о тебе слышу.

— А он?

— А он сказал, что знает, что ты останавливаешься здесь. И еще сказал, что он твой брат.

— Как он выглядит?

— Выше тебя, стройный, брюнет, коротко пострижен, глаза зеленоватые, кожа смуглая, загорелый, отличный костюм, разговаривает как образованный, маникюр...

— Точно, это мой чертов братец, — сказал Томас. — Наверняка адрес ему дала мать. Она поклялась никому не говорить. Ни единой душе. Хорошо еще, что пока не весь город знает. Чего моему брату было надо?

— Хотел поговорить с тобой. Я сказал: передать, если сюда заглянет кто-нибудь с такой фамилией? Он оставил свой телефон. Живет в каком-то Уитби.

— Да, это он,— повторил Томас.— Ладно, позвоню, когда сочту нужным. У меня пока есть другие дела. А от него я еще ни разу не слышал хороших новостей. Я хочу тебя кое о чем попросить, Пэппи.

Пэппи молча кивнул. За те деньги, которые ему платили в таких случаях, он готов был всегда услужить.

— Первое — принеси мне бутылку виски,— сказал Томас.— Второе — раздобудь пистолет. Третье — свяжись с Шульцем и спроси от моего имени, держится ли накал. Заодно узнай, могу ли я, по его мнению, рискнуть повидаться с сыном. Четвертое — устрой мне девчонку. Сделай все именно в этой последовательности.

— Сто долларов,— лаконично сказал Пэппи.

Томас достал бумажник и дал Пэппи две ассигнации по пятьдесят долларов. Потом протянул ему бумажник.

— Положи в сейф.— Когда он напьется и незнакомая девка будет шарить по карманам, не надо, чтобы там лежали все деньги, заработанные им в море.

Пэппи взял бумажник и вышел. Он открывал рот только тогда, когда это действительно требовалось, и его молчаливость вполне себя окупала. На пальцах у него блестели два бриллиантовых кольца, а на ногах были туфли из крокодиловой кожи. Томас закрыл за ним дверь, снова лег и не вставал до тех пор, пока Пэппи не вернулся с бутылкой виски, тремя банками пива, тарелкой с бутербродами и английским армейским пистолетом «смит-вессон» со спиленным серийным номером.

— Случайно оказался у меня под рукой,— сказал он, передавая пистолет Томасу. У Пэппи немало чего «случайно» оказывалось под рукой.— Только не пускай его в ход в гостинице.

Виски не помогало, хотя он прикладывался к бутылке поминутно. Перед глазами неотступно стояли лица матросов, молча застывших у поручней палубы, наблюдая, как они с Дуайером спускались по трапу. Глаза их горели ненавистью. Может, они и правы? Поставить на место распущенного крикуна и бывшего уголовника — это одно, а довести его до самоубийства — совсем другое. В глубине души Томас понимал, что человек, если он считает себя человеком, обязан знать, когда надо остановиться и оставить другому место под солнцем. Конечно, Фальконетти был настоящей свиньей и заслуживал, чтобы его проучили, но этот урок должен был кончиться где угодно, только не на дне Атлантического океана.

Он снова глотнул виски, чтобы забыть, какое было лицо у Фальконетти, когда Томас сказал ему: «Теперь можешь идти, скотина», чтобы забыть, как Фальконетти, поднявшись из-за стола, вышел из кубрика, провожаемый взглядами матросов.

Виски не помогало.

В детстве ему было горько и обидно, когда брат называл его зверюгой, а сейчас, назови его кто-нибудь так, имеет ли он право обидеться? Он действительно верил, что, если бы люди оставили его в покое, он бы тоже их не трогал. Его душа жаждала покоя. Ему казалось, что море освободило его от бремени жестокости; будущее, о котором мечтали они с Дуайером, должно было быть спокойным и безупречным: мягкое море, мягкие люди... А вместо этого у него на совести смерть человека, и он прячется с пистолетом в убогом гостиничном номере — изгнанник в собственной стране. Господи, почему он не умеет плакать?

Когда Пэппи снова постучал в дверь, бутылка была пуста уже наполовину.

— Я говорил с Шульцем,— сказал Пэппи.— Накал еще держится, и тебе лучше поскорее убраться отсюда.

— А он не сказал, могу я хоть издали взглянуть на своего сына?

— Он не советует,— ответил Пэппи.— В этот раз не стоит.

— Он не советует,— повторил Томас.— Эх, старина Шульц. Конечно, это ведь не его ребенок. Обо мне ходят какие-нибудь разговоры?

— В гостиницу только что въехал один грек с «Эльги Андерсон». Много болтает. Рассказывает, как ты убил какого-то Фальконетти. Ему известно, что ты бывший боксер. Пока я не устрою тебя на какой-нибудь пароход, лучше не высовывай носа из комнаты.

— А я никуда и не собираюсь. Где девчонка, о которой я просил?

— Будет через час.

Томас никуда не выходил из номера всю неделю. За это время Пэппи принес ему шесть бутылок виски. Девок Томас больше ему не заказывал. Он потерял вкус к шлюхам. Для тренировки заряжал и разряжал пистолет. Старался не вспоминать лицо Фальконетти. Целыми днями ходил из угла в угол, как заключенный по камере. У него был с собой учебник по навигации, который ему одолжил Дуайер, и он заставлял себя часа по два в день читать. Сам стелил кровать и сам прибирал в комнате, чтобы его не видела горничная. Он платил Пэппи десять долларов в день — в эту сумму входило все, кроме, конечно, спиртного,— и его ресурсы приближались к концу. Орал на Пэппи, ругал его за то, что тот до сих пор не устроил его ни на какой пароход, но Пэппи лишь пожимал плечами и говорил, что сейчас не сезон и надо набраться терпения. Пэппи хорошо говорить про терпение — сам-то свободный человек, ходит куда хочет.

Пэппи постучал к нему в три часа. Это было неурочное время для его визитов. Обычно он заходил всего три раза в день: приносил завтрак, обед и ужин.

— Сейчас здесь был твой брат,— сообщил Пэппи.

— Что ты ему сказал?

— Сказал, что, кажется, знаю, где тебя найти. Он вернется через полчаса. Ты хочешь его видеть?

Томас немного подумал, потом сказал:

— А почему бы и нет? Если это доставит сукину сыну удовольствие, то пожалуй.

Пэппи кивнул:

— Я приведу его к тебе, когда он придет.

Полчаса тянулись долго.

В дверь постучали, но стучал явно не Пэппи.

— Кто там? — прошептал Томас.

— Это я, Руди.

Томас отпер дверь. В комнату вошел Рудольф, и Томас прежде, чем пожать брату руку, снова закрыл дверь на ключ. Он не предложил брату сесть. На Рудольфе был хорошо отутюженный костюм из легкой полосатой ткани — в эти дни потеплело. «Наверное, ему из прачечной каждый раз присылают счет длиной в целый ярд»,— подумал Томас.

Рудольф натянуто улыбнулся.

— Этот человек внизу, когда я спрашивал о тебе, вел себя весьма загадочно.

— Он знает свое дело,— сухо ответил Томас.

— Я уже заходил сюда недели две назад.

— Я знаю.

— Ты мне не звонил?

— Нет.

Рудольф с любопытством оглядел комнату. У него было странное выражение лица: точно он не вполне верил собственным глазам.

— Насколько я понимаю, ты от кого-то скрываешься?

— Я отказываюсь комментировать этот вопрос, как пишут в газетах.

— Могу я чем-нибудь тебе помочь?

— Нет.— Что он мог сказать своему брату? Иди поищи человека по имени Фальконетти и долгота 26° 24′, широта 38° 31′, глубина десять тысяч футов? Поди скажи гангстеру из Лас-Вегаса, у которого в багажнике машины спрятан обрез, что, дескать, Томас жалеет, что избил Генри Куэйлса и больше не будет так делать?

— Я рад видеть тебя, Том, хотя в общем-то пришел не просто с визитом,— сказал Рудольф.

— Это я уже понял.

— Мама умирает. Она хочет увидеть тебя.

— Что значит умирает? Умрет сегодня? Через неделю? Через пару лет?

— Это может случиться в любую минуту. У нее было уже два инфаркта.

— Господи! — Томасу никогда не приходило в голову, что мать может умереть. У него в сумке даже лежал для нее подарок — шарф, который он купил в Канне. На шарфе была изображена древняя карта Средиземного моря. Трехцветная. Люди, которым везешь подарки, не умирают.

— Я знаю, что ты иногда виделся с ней,— продолжал Рудольф,— и написал ей несколько писем. Понимаешь, она стала очень набожной и хочет перед смертью со всеми помириться. Она просила, чтобы и Гретхен тоже приехала.

— Ей нечего со мной мириться,— сказал Томас.— Я ничего против нее не имею. Она была ни при чем. Я сам доставил ей немало горя. А уж от нашего милого папочки...

— Короче, ты хочешь поехать со мной? Моя машина стоит у гостиницы.

Томас утвердительно кивнул.

— Прихвати с собой сумку с самым необходимым,— сказал Рудольф.— Никто не знает, сколько дней это может продлиться, и...

— Дай мне десять минут,— перебил Томас,— и не жди меня у входа. Поезди пока где-нибудь вокруг. А через десять минут выезжай на Четвертую авеню и двигайся на север. Я буду идти в этом же направлении по краю тротуара. Если меня не увидишь, вернись на два квартала назад, потом снова поезжай по Четвертой авеню. Проверь, чтобы дверь с правой стороны была открытой. Старайся ехать медленно. Какая у тебя машина?

— Зеленый «шевроле» шестидесятого года.

Томас открыл дверь.

— В гостинице ни с кем не разговаривай.

Заперев за братом дверь, Томас положил в несессер бритву и зубную щетку. У него не было чемодана, поэтому он взял пакет, в котором Пэппи принес ему последнюю бутылку виски, и запихнул туда две рубашки, кое-какое нижнее белье, носки и шарф, завернутый в тонкую папиросную бумагу. Чтобы успокоить нервы, сделал еще глоток виски. Подумав, оставшиеся полбутылки положил в другой пакет: в дороге может понадобиться. Затем повязал галстук и надел синий костюм, купленный в Марселе. Когда умирает твоя мать, надо быть одетым должным образом. Он вынул из тумбочки «смит-вессон», проверил предохранитель, засунул пистолет за ремень под пиджак и отпер дверь. Выглянул в коридор, там никого не было. Вышел из комнаты, запер ее и опустил ключ в карман.

На улице солнце ослепило его, и он заморгал. Шел он быстро, но так, чтобы не создалось впечатления, будто он пытается от кого-то скрыться.

Он прошел по Четвертой авеню всего полтора квартала, когда сзади подъехал «шевроле». Быстро оглядевшись по сторонам, он впрыгнул в машину.

Как только они выехали за город, у него поднялось настроение и он уже испытывал удовольствие от поездки. Дул свежий ветерок, за окнами мелькала молодая зелень полей. Он достал из пакета бутылку и предложил Рудольфу, но тот отрицательно покачал головой. Говорили они мало. Рудольф рассказал, что Грехтен вторично вышла замуж и что ее второй муж недавно погиб в автомобильной катастрофе.

Еще он сказал Томасу, что сам тоже женился. Джордахов могила исправит, подумал Томас.

Они шли со скоростью семьдесят миль в час, когда вдруг сзади завыла сирена.

— Черт возьми,— ругнулся Рудольф, останавливая машину на обочине.

К ним подошел полицейский.

— Добрый день, сэр,— сказал он. Рудольф относился к разряду людей, которым полицейские обязательно говорили: «Добрый день, сэр».— Ваши права, пожалуйста,— попросил полицейский, но прежде чем проверить права, пристально взглянул на бутылку, лежавшую на переднем сиденье между Рудольфом и Томасом.— Вы ехали со скоростью семьдесят миль в зоне, где запрещено превышать пятьдесят,— сказал он, холодно глядя на красное обветренное лицо Томаса, на его перебитый нос и на синий марсельский костюм.

— Боюсь, вы правы,— сказал Рудольф.

— Вы, молодые люди, пили.— Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение.

— Я не пил ни капли,— сказал Рудольф.— А машину веду я.

— Кто он? — полицейский махнул зажатыми в руке правами на Томаса.

— Мой брат,— ответил Рудольф.

— У вас есть какие-нибудь документы? — резко и подозрительно спросил полицейский Томаса. Томас вытащил из кармана паспорт. Полицейский раскрыл его с такой осторожностью, словно паспорт мог взорваться.

— Почему вы носите с собой паспорт?

— Я моряк.

Полицейский вернул Рудольфу права, а паспорт Томаса сунул в карман.

— Это я пока оставлю у себя. И это я тоже возьму,— он показал на бутылку, и Рудольф отдал ее ему.— А теперь разворачивайтесь и поезжайте за мной.

— Послушайте,— сказал Рудольф,— может, вы просто оштрафуете меня за превышение скорости и отпустите нас. Нам совершенно необходимо...

— Я сказал: разворачивайтесь и поезжайте за мной,— оборвал его офицер и зашагал к своей машине, где за рулем сидел второй полицейский.

Им пришлось повернуть обратно. До полицейского участка было больше десяти миль. Томасу удалось незаметно от Рудольфа вытащить пистолет из-под пиджака и сунуть его под сиденье. Если полицейские обыщут машину, можно загреметь на срок от шести месяцев до года. Сокрытие незаконно приобретенного оружия.

Задержавший их полицейский объяснил в участке сержанту, что они превысили скорость, а кроме того, повинны и в другом нарушении — в машине обнаружена начатая бутылка спиртного, и поэтому необходимо сделать экспертизу на степень опьянения. Рудольф явно произвел впечатление на сержанта, с ним он говорил почти заискивающе, но тем не менее попросил обоих подышать в пробирку, а Томаса заставил сдать мочу на анализ.

Уже стемнело, когда они наконец вышли из полицейского участка, оставив там виски, получив квитанцию на уплату штрафа за превышение скорости. Сержант пришел к выводу, что ни один из них не был пьян, однако задержавший их полицейский, прежде чем вернуть паспорт, долго и внимательно изучал его. Томаса это насторожило — немало полицейских связано с мафией. Но тут уж ничего не поделаешь.

— Ты должен был сообразить, что не стоит брать меня с собой,— сказал Томас, когда они отъехали от участка.— Меня арестовывают уже за одно то, что я дышу.

— Ерунда,— коротко сказал Рудольф и нажал на газ.

В больницу они приехали в начале десятого.

У входа Рудольфа остановила медсестра и что-то ему зашептала.

— Спасибо,— сказал ей Рудольф каким-то странным, чужим голосом, потом подошел к Томасу:— Мама умерла час назад.

## II

— Последние ее слова,— рассказывала Грехтен,— были: «Передай отцу, где бы он ни был, что я его простила». Потом она впала в состояние комы и больше уже не приходила в себя.

— У нее был сдвиг на эту тему,— сказал Томас.— Она просила меня поискать отца в Европе.

Был уже поздний вечер, они втроем сидели в гостиной дома, в котором Рудольф жил с матерью последние несколько лет. Билли спал в комнате наверху, а Марта сидела на кухне и плакала, скорбя о смерти женщины, которая тиранила и мучила ее изо дня в день. Билли упросил мать разрешить ему тоже поехать в Уитби, чтобы в последний раз взглянуть на бабушку, и Гретхен, решив, что знакомство со смертью поучительно, взяла его с собой. Незадолго перед тем, как Мэри положили в последний раз в кислородную палатку, она простила дочь.

Рудольф уже отдал все необходимые распоряжения насчет похорон. Он поговорил с отцом Макдоннеллом и согласился устроить «весь этот дурацкий фарс», как он потом сказал Джин, позвонив ей в Нью-Йорк. Надгробное слово, заупокойная месса — в общем, все как полагается. Но закрывать в доме все окна и опускать занавески — увольте. Он не собирался баловать мать чрезмерно. Джин мрачно сказала, что, если он хочет, она приедет, но он сказал, что это ни к чему.

Телеграмма, заставшая их в Риме, вывела ее из равновесия. «Родня! — повторяла она.— Всегда эта чертова родня!» В тот вечер и потом, в самолете, она много пила. Если бы он не поддержал ее, она наверняка свалилась бы с трапа. Когда он уезжал из Нью-Йорка, она лежала в постели — хрупкая и обессиленная. Сейчас, сидя с братом и сестрой в замершем доме, где он столько лет жил с покойной, Рудольф был рад, что его жена не с ним.

— После всего, что было,— горько сказал Томас,— у тебя умирает мать, а ты в это время сдаешь мочу на анализ полицейскому!— Томас один из всех пил, но не пьянел.

В больнице Гретхен поцеловала его и обняла; в своем горе она была сердечной, любящей, близкой и уже не казалась той важной и высокомерной дамой, какой он ее помнил. Томас чувствовал: наступит время, когда они забудут прошлое и наконец помирятся. У него и без родственников хватало в этом мире врагов.

— Извините, я сейчас,— он вышел из гостиной и поднялся в комнату, отведенную ему и Билли.

— Он, пожалуй, изменился, да? — сказала Гретхен, когда они с Рудольфом остались наедине.

— Да.

— Как-то присмирел. Словно его побили.

— Во всяком случае это только к лучшему,— заметил Рудольф.

Услышав на лестнице шаги брата, они замолчали. Томас вошел в гостиную, держа в руке что-то мягкое, завернутое в папиросную бумагу.

— Это тебе,— сказал он, протягивая сверток Гретхен.

Она развернула подарок — шарф со старинной картой Средиземного моря. В три цвета.

— Спасибо,— сказала она.— Какая прелесть! — Встала и поцеловала его. Этот поцелуй почему-то странно на него подействовал. Он почувствовал, что может сейчас выкинуть какую-нибудь глупость: разреветься, что-нибудь сломать или пойти наверх, схватить пистолет и начать палить из окна в луну.

— Я купил его в Канне, для мамы.

— В Канне? — переспросил Рудольф.— Когда ты был в Канне?

Томас сказал, и они, прикинув, выяснили, что были там примерно в одно время.

— До чего все это нелепо,— заметил Рудольф.— Родные братья проходят мимо друг друга, как чужие. Впредь мы не должны терять друг друга из виду, Том.

— Ага,— ответил Томас. Ему действительно хотелось видеться с Гретхен, но Рудольф... это совсем другое дело. Из-за Рудольфа ему пришлось слишком много страдать.

— Конечно,— сказал он.— Я велю своей секретарше посылать тебе перечень моих планов и маршрутов.— Он встал.— Ну, ладно, я пошел спать. Сегодня я с раннего утра на ногах.

Он поднялся на второй этаж. Нет, он вовсе не так уж и устал. Просто ему не хотелось быть в одной комнате с Рудольфом. Если б он знал, где установлен гроб с телом матери, то сбежал бы сейчас отсюда и всю ночь просидел бы возле покойницы. Он не помнил, чтобы хоть раз в жизни обнял мать.

## III

На похороны пришел Тедди Бойлан. Вообще пришло много народа. Газеты Уитби и Порт-Филипа сочли смерть матери такого выдающегося человека, как Рудольф Джордах, важным событием и поместили некролог на видном месте. О Мэри Джордах писать было почти нечего, но газеты компенсировали это перечислением достижений и титулов ее сына. Председатель правления корпорации «Д. К. Энтерпрайсиз», сопредседатель торговой палаты Уитби, выпускник «cum laude»[1] университета Уитби, член совета попечителей университета, член комиссии по благоустройству Уитби и Порт-Филипа, энергичный и многообещающий коммерсант и бизнесмен.

Бедная мама, подумал Рудольф, оглядывая переполненную церковь,— она была бы наверху блаженства, если бы видела, сколько людей пришло почтить ее память.

На кладбище в ветвях деревьев щебетали птицы, радуясь натиску лета. Когда гроб под всхлипывания партнерш Мэри по бриджу опускали в могилу, Рудольф, Томас и Гретхен стояли рядом. Гретхен держала за руку Билли.

Бойлан нагнал их, когда они уже подходили к выстроившимся в ряд черным лимузинам.

— Извините за назойливость,— сказал он,— но мне просто хочется выразить вам свое сочувствие. Совсем еще молодая женщина...

Рудольф на минуту растерялся. Ему мать казалась древней старухой, да она и *была* древней. Она была старухой уже в тридцать, а умирать начала и того раньше. Сейчас впервые до него дошло, что ей было всего пятьдесят шесть лет, почти столько же, сколько Бойлану. Неудивительно, что он сказал: «Совсем еще молодая».

— Спасибо, Тедди,— поблагодарил он и пожал Бойлану руку. Судя по виду, Бойлан пока не собирался умирать. Волосы его были того же цвета, что и всегда, лицо загорелое, без морщин, держался он все так же прямо, туфли, по обыкновению, начищены до блеска.

— Как дела, Гретхен? — спросил он.

— Очень хорошо, Тедди, спасибо,— ответила она.

— Насколько я понимаю, это твой сын.— Бойлан улыбнулся насупившемуся Билли.

— Билли, это мистер Бойлан,— сказала Гретхен,— наш старый приятель.

— Рад с тобой познакомиться, Билли,— Бойлан пожал мальчику руку.— Надеюсь, в следующий раз мы с тобой встретимся при более радостных обстоятельствах.

Билли ничего не ответил. Томас, прищурившись, рассматривал Бойлана. Как показалось Рудольфу, он прятал под полуопущенными веками желание расхохотаться. Может, он вспоминал тот вечер, когда видел, как Бойлан расхаживал голым по дому на холме и наливал в стакан виски, чтобы отнести его Гретхен, лежавшей в постели наверху. О чем только не думают люди на кладбище.

— Мой брат,— представил Рудольф Томаса.

— А, да-да,— Бойлан мельком взглянул на Томаса, но не протянул ему руки и снова повернулся к Рудольфу: — Если у тебя при всей твоей многообразной деятельности найдется время, Руди, позвони. Мы могли бы как-нибудь вместе поужинать. Должен признаться, ты был прав, выбрав себе эту карьеру. И захвати с собой Гретхен, если она будет свободна.

— Я уезжаю в Калифорнию,— сказала Гретхен.

— Какая жалость. Ну ладно, не буду вас больше задерживать.— Он чуть заметно поклонился и направился к своей машине, изящный, холеный и даже в своем темном костюме — белая ворона в унылой похоронной процессии жителей маленького провинциального города.

Гретхен была почти потрясена, неожиданно сообразив, насколько Рудольф и Бойлан походят друг на друга — не внешностью, конечно, и, она надеялась, не характером, а отношением к людям, манерой говорить, жестами, стилем одежды, походкой. Ей было интересно, понимает ли Рудольф, как многим он обязан этому человеку, и будет ли брату приятно, если она упомянет об этом.

Приехав домой, они все решили, что им необходимо выпить. Билли, побледневший и осунувшийся, пожаловался на головную боль и ушел наверх. Марта, не переставая всхлипывать, пошла на кухню приготовить что-нибудь перекусить.

---

[1] С отличием *(лат.)*.

Рудольф смешал себе и Гретхен по мартини, а Томасу налил виски со льдом. Томас снял тесный в плечах пиджак, расстегнул воротничок и сидел на жестком деревянном стуле, немного подавшись вперед и свесив руки между колен. Где бы и на чем он ни сидел, подумал Рудольф, передавая брату стакан с виски, всегда кажется, что он примостился на табуретке в углу ринга.

— Что ты собираешься делать с домом? — спросила Гретхен Рудольфа.

Рудольф пожал плечами:

— Наверно, оставлю себе. Мне все равно часто придется бывать в Уитби. Конечно, для меня одного дом слишком велик... Может, ты хотела бы переехать сюда жить?

Гретхен отрицательно покачала головой. Спорам с адвокатами не видно было конца.

— Я прикована к Калифорнии.

— А как ты? — спросил Рудольф Томаса.

— Я? — удивился тот.— Какого дьявола я буду здесь делать?

— Ты мог бы найти себе здесь работу,— Рудольф намеренно не сказал: «Я тебя устрою».— Ты ведь не станешь отрицать, что этот дом лучше, чем гостиница, в которой ты остановился в Нью-Йорке.

— Нет, я не собираюсь здесь задерживаться. И вообще, это место не для меня. Люди тут глазеют на меня, как на обезьяну в зоопарке.

— Ты преувеличиваешь,— сказал Рудольф.

— Твой дружок Бойлан не захотел даже подать мне руку. Если тебе на кладбище не подают руки, то чего еще ждать?

— Ну, он особый случай.

— Это уж точно.— Том засмеялся. Смех был негромкий, но от него в комнате почему-то стало тревожно.

— Чему ты смеешься? — спросил Рудольф, а Гретхен озадаченно посмотрела на Томаса.

— В следующий раз, когда увидишь его, скажи, что он правильно сделал, не пожав мне руку.

— О чем это ты, Том?

— Спроси, помнит ли он день Победы в Европе, тот вечер, когда в его имении подожгли крест и потом начался пожар.

— Ты хочешь сказать... это сделал ты? — резко спросил Рудольф.

— Я и один мой приятель.

— Почему ты это сделал? — спросила Гретхен.

— Мальчишеский азарт. Мы ведь только что победили.

— Но почему ты выбрал именно его?

Томас помолчал и, не поворачиваясь к Гретхен, ответил:

— У него тогда был роман с одной девушкой, которую я в то время хорошо знал. И мне это не нравилось. Сказать, как звали эту девушку?

— В этом нет необходимости,— спокойно ответила Гретхен.

— Кто был твой приятель? — спросил Рудольф.

— Какая разница?

— Его звали Клод. Не помню сейчас его фамилии. Ты часто шатался с ним по городу. Так это был он, да?

Томас улыбнулся, но не ответил.

— Сразу после этого он куда-то исчез,— сказал Рудольф.— Я теперь припоминаю.

— Да, он исчез, а вслед за ним исчез и я. Это ты тоже припоминаешь?

— Значит, кто-то узнал, что это сделали вы?

— Да, кое-кто узнал,— иронически кивнул Томас.

— Тебе еще повезло, что ты не загремел в тюрьму,— сказала Гретхен.

— Именно на это намекал отец, когда выставил меня из города. Да, ничто так, как похороны, не заставляет людей вспоминать старые добрые времена.

— Том, ты теперь ведь не такой, правда? — сказала Гретхен.

Томас подошел к ней, наклонился и нежно поцеловал в лоб.

— Надеюсь, что не такой.— Он выпрямился и продолжал: — Я поднимусь наверх, посмотрю, как там Билли. Хороший он парень. Ему, наверно, станет полегче, если он будет не один.

Рудольф снова смешал себе и Гретхен по мартини. Он был рад чем-то занять себя.

С таким человеком, как его брат, нелегко. Даже после того, как Томас вышел из гостиной, в комнате висело тревожное напряжение.

— Господи,— наконец нарушила тишину Гретхен,— неужели у всех нас одни и те же гены?

— Кто же из нас тот урод, без которого не бывает семьи? Кто? Ты, я, он?

— Мы были монстрами, Руди, и ты, и я.

Рудольф пожал плечами.

— Наша мать была монстром. Наш отец был монстром. Ты знаешь, почему они были такими, или, по крайней мере, раньше думала, что знаешь,— но разве это что-то меняло? Я *стараюсь* не быть монстром.

— Тебя спасает твое везенье,— заметила Гретхен.

— Я много работал,— запальчиво сказал Рудольф.

— Колин тоже. Но ты не Колин, ты никогда не врежешься в дерево.

— В таком случае извини меня, что я еще жив.— В голосе его звучала обида.

— Пожалуйста, не пойми меня превратно. Я рада, что в нашей семье есть человек, который никогда не врежется в дерево. Этот человек не Том. И уж конечно не я. Я, наверное, хуже нас всех. Я одна решила судьбу всей нашей семьи. Не окажись я как-то раз в субботу на одном из шоссе близ Порт-Филипа, у нас всех жизнь сложилась бы совершенно иначе. Знал ли ты это?

— О чем ты?

— О Тедди Бойлане,— сказала Гретхен таким тоном, словно это разумелось само собой.— Он тогда подцепил меня, и я стала тем, что я есть, в основном из-за него. Мужчины, с которыми я спала, попадали в мою постель из-за него. В Нью-Йорк я убежала из-за него. Из-за Тедди Бойлана я встретила Вилли Эббота, которого в конце концов стала презирать, потому что он мало чем отличался от Тедди Бойлана, и я любила Колина, потому что он был полной противоположностью Тедди Бойлану. Мои гневные статьи, которые все считали такими умными, были выпадами против Америки, потому что она породила таких, как Тедди Бойлан, и дала им легкую жизнь.

— У тебя навязчивая идея... Судьба семьи! Может, тебе сходить к цыганке, выспросить ее о себе, повесить на шею амулет и, наконец, успокоиться?

— Мне не нужно ходить ни к какой цыганке. Если бы я не познакомилась с Тедди Бойланом и не переспала с ним, по-твоему, Том поджег бы крест на холме? По-твоему, его выслали бы, как преступника, если бы на свете не было Тедди Бойлана? По-твоему, он бы стал тем, что он есть, если бы остался в Порт-Филипе и жил бы дома?

— Может быть, и не стал бы,— признал Рудольф.— Но тогда случилось бы что-нибудь другое.

— И тем не менее случилось то, что случилось. Был Тедди Бойлан, который спал с его сестрой. Что же касается тебя...

— О себе я сам все знаю,— прервал ее Рудольф.

— Так ли? Ты думаешь, ты бы окончил колледж, если бы Тедди Бойлан не одолжил тебе денег? Одевался так, как сейчас, если бы не он? И был бы так же помешан на успехе и деньгах и ломал бы себе так же голо́ву над тем, как достигнуть вершины кратчайшим путем?

Она допила второй мартини.

— Ладно,— сказал Рудольф.— Я воздвигну монумент в его честь.

— Кстати, может быть, тебе и следует это сделать. При деньгах твоей жены ты вполне можешь это себе позволить.

— Это уже удар ниже пояса,— сердито сказал Рудольф.— Ты ведь знаешь, что я и понятия не имел...

— Об этом-то я и говорила. Твое вечное везение превратило твое джордаховское уродство во что-то другое.

— А как насчет твоего собственного джордаховского уродства?

Гретхен вдруг переменилась: ее голос утратил резкость, лицо стало печальным, мягким и молодым.

— Когда я была с Колином, я не была монстром,— сказала она.— Мне никогда уже не найти второго Колина.

Он ласково дотронулся до ее руки — весь гнев Рудольфа исчез, стоило ему почувствовать, как безутешна сестра в своем горе.

— Ты ведь не поверишь мне, если я скажу, что найдешь?

— Не поверю.

— А как же ты собираешься жить дальше? Сидеть дома и всю жизнь носить траур?

— Нет.

— А что же ты решила делать?

— Пойду учиться.

— Учиться? — пораженно переспросил Рудольф.— В твоем-то возрасте?

— Поступлю на вечерние курсы Калифорнийского университета, там же, в Лос-Анджелесе, тогда я смогу жить дома и приглядывать за Билли. Я уже заходила туда, разговаривала. Меня примут.

— И чему же ты будешь учиться?

— У Билли в классе есть один мальчик. Его отец психиатр. Он-то и подал мне эту идею. Несколько раз в неделю он по совместительству работает в клинике с непрофессиональными психоаналитиками. У них нет диплома врача, но они прослушали курс по психоанализу, сдали экзамен и имеют право браться за случаи, не требующие слишком глубоких знаний психиатрии. Они применяют групповую терапию, занимаются детьми, почему-то не желающими учиться читать и писать, детьми, ведущими себя намеренно агрессивно, замкнутыми детьми из распавшихся семей, негритянскими и мексиканскими детьми, которые начинают ходить в школу позже других, не могут догнать остальных учеников и теряют веру в себя...

— Короче говоря,— нетерпеливо прервал ее брат,— вооружившись клочком бумаги, который тебе выдадут после окончания университета, ты собираешься в одиночку решить целую кучу проблем: и негритянскую, и мексиканскую, и...

— Я буду пытаться решить хоть одну проблему или, может быть, две, может, и сотню,— сказала Гретхен.— И при этом я буду решать свою собственную проблему. Я буду занята и кому-то полезна.

К отелю «Алгонквин» они подъехали в начале восьмого вечера. Гретхен и Билли остановились там, потому что в квартире Рудольфа, где его ждала Джин, была только одна спальня.

Томас вылез из машины следом за Билли, обнял мальчика за плечи.

— У меня тоже есть сын, Билли,— сказал он.— Гораздо младше тебя. Если он вырастет хоть в чем-то похожим на тебя, я буду им гордиться.

Впервые за эти три дня мальчик улыбнулся.

— Том, я еще увижу тебя когда-нибудь? — спросила Гретхен.

— Конечно,— ответил он.— Я знаю, как тебя найти. Я позвоню.

Гретхен и Билли вошли в гостиницу, носильщик нес за ними два чемодана.

— Я поеду дальше на такси, Руди,— сказал Томас.— Ты наверняка спешишь домой, к жене.

— Я бы не прочь чего-нибудь выпить,— сказал Рудольф.— Давай зайдем в бар и...

— Спасибо, мне некогда,— отказался Том. Через плечо брата он поглядывал на поток машин, двигавшихся по Шестой авеню.

— Том, мне надо с тобой поговорить,— настаивал Рудольф.

— По-моему, мы уже обо всем переговорили. Ты уже все мне сказал.

— Да? Ты так думаешь? — со злостью сказал Рудольф.— А если я скажу, что у тебя сейчас есть около шестидесяти тысяч долларов? Может, тогда передумаешь?

— Ты большой шутник, Руди,— ухмыльнулся Томас.

— Я не шучу. Зайдем в бар.

Томас пошел за ним следом.

— Ну что ж, послушаем,— сказал Том, когда официант подал им виски.

— Помнишь те злосчастные пять тысяч долларов, которые ты мне тогда дал? — спросил Рудольф.

— Те проклятые деньги? Конечно, помню.

— Ты тогда заявил, что я могу распоряжаться ими как захочу. Я даже помню твои слова: «Спусти их в сортир, просади на баб, пожертвуй на благотворительность...»

— Да, это на меня похоже,— снова ухмыльнулся Томас.

— Так вот, я вложил их в акции моей компании. На твое имя. Теперь твой пай стоит приблизительно шестьдесят тысяч долларов.

Томас залпом выпил виски, зажмурился и потер глаза. Рудольф продолжал:

— Два последних года я регулярно пытался связаться с тобой, но в телефонной компании мне сообщили, что твой телефон отключен, а письма возвращались обратно со штампом «адресат выбыл». Мама же, пока не попала в больницу, не говорила мне, что вы переписываетесь. Я просматривал в газетах спортивные разделы, но о тебе нигде не было ни слова — ты словно провалился.

— Я выступал перед избирателями западных штатов,— сказал Томас, открывая глаза. Все было как в тумане.

— Вообще-то я был даже рад, что не мог найти тебя,— продолжал Рудольф.— Я знал, что курс наших акций будет подниматься, и не хотел, чтобы ты, не удержавшись, продал их до времени. И, кстати говоря, я считаю, что сейчас тебе тоже не следует их продавать.

— Ты хочешь сказать, что, если завтра я пойду и заявлю, что у меня есть акции, которые я хочу сбыть, мне дадут за них шестьдесят тысяч долларов *наличными?*

— Да, только я не советую тебе...

— Руди, ты мировой парень, просто мировой парень, и, может, я был неправ, плохо думая о тебе все эти годы, но сейчас я не собираюсь выслушивать ничьи советы. Все, что мне от тебя нужно, это адрес того человека, который ждет меня, чтобы вручить шестьдесят тысяч наличными.

Рудольф понял, что спорить бесполезно. Он написал на листке адрес конторы Джонни Хита и отдал Томасу.

— Иди туда завтра,— сказал Рудольф.— Я позвоню Хиту, и он будет тебя ждать. Только, пожалуйста, Том, веди себя разумно.

— Не беспокойся обо мне, Руди. С сегодняшнего дня я буду таким разумным, что ты меня просто не узнаешь.

Томас заказал себе и Рудольфу еще виски. Когда он поднял руку, чтобы подозвать официанта, пиджак его распахнулся, и Руди увидел засунутый за ремень пистолет. Но он ничего не сказал. Он сделал для брата все, что мог, остальное не в его силах.

— Подожди меня здесь минутку, ладно? Мне нужно позвонить.

Томас вышел в холл, нашел автомат, позвонил в справочную аэропорта и спросил о завтрашних рейсах на Париж.

Потом позвонил в общежитие Христианской ассоциации молодых людей и попросил позвать Дуайера. Тот долго не подходил, и Томас уже был готов повесить трубку, когда на другом конце провода раздалось: «Алло, кто это?»

— Это я, Том. Слушай...

— Том! — радостно воскликнул Дуайер.— А я все жду и жду твоего звонка. Господи! Я уже начал волноваться. Думал, может, ты умер...

— Ты когда-нибудь закроешь рот?! — оборвал его Томас.— Слушай меня. Завтра в восемь вечера из аэропорта Айдлуайлд летит самолет в Париж. Жди меня в шесть вечера у кассы предварительного заказа. С вещами.

— Хорошо, Том, я понимаю.

— Главное, не опаздывай.

— Буду вовремя, можешь не сомневаться.

Томас повесил трубку.

Вернувшись в бар, он настоял на том, что заплатит за выпивку, а когда они вышли на улицу, прежде чем сесть в подъехавшее такси, пожал брату руку.

— Слушай, Том,— сказал Рудольф,— давай пообедаем вместе на этой неделе. Я хочу познакомить тебя с моей женой.

— Отличная мысль. Я позвоню тебе в пятницу,— ответил Томас. Сев в такси, он сказал шоферу: — Угол Четвертой авеню и Восемнадцатой.

Он сидел на заднем сиденье, вальяжно развалившись, и держал на коленях бумажный пакет со своими вещами. Когда у человека заводятся шестьдесят тысяч долларов, его все приглашают пообедать. Даже собственный брат.

*(Окончание следует)*

# Литературное наследие

# МИХАИЛ САДОВЯНУ

# Медвежий глаз

ПОВЕСТЬ

*Перевод с румынского и вступление*
*МИХАИЛА ФРИДМАНА*

Больше чем когда бы то ни было человечество задумывается сегодня над последствиями своего общения с окружающим миром. Государственные деятели, ученые, художники с тревогой говорят о «кризисе среды», о том уроне, который наносит Земле техногенез, о необходимости, пока еще не поздно, разработать новую стратегию «партнерства человека с природой и техникой».

Вспомним, однако: задолго до появления первых «красных книг» с траурными перечнями погибших и погибающих биологических видов выходили другие книги, говорившие набатным языком искусства о близкой беде. Они не остановили, не могли остановить эпидемии всепланетного хищничества, но во многом подготовили почву для тех спасительных мер, которые — и прежде всего в социалистическом мире — предпринимает сегодня человек во имя своего будущего.

К таким книгам можно с полным правом отнести и многие произведения Михаила Садовяну, большого румынского писателя, столетие со дня рождения которого широко отмечается в эти дни. И среди них — помещенную в этом номере повесть «Медвежий глаз», одно из наиболее выношенных и емких довоенных творений румынского художника. Но чтобы глубже вникнуть в суть садовяновских воззрений, воплощенных с удивительным мастерством в этой повести, прежде всего нужно открыть последнюю страницу и взглянуть на дату, обозначенную на ней.

Февраль 1938 года... Следовательно, повесть создавалась в дни пребывания у власти фашистского правительства Румынии... Безжалостные антирабочие законы, травля левых деятелей культуры, запрещение демократических изданий — и одновременно пышное открытие национал-социалистского «коричневого дома» в центре Бухареста. Костры на площадях — в них сжигают книги Садовяну и других писателей-демократов; разгромленные газетные киоски — там продавались демократические издания, в

---

МИХАИЛ САДОВЯНУ — MIHAIL SADOVEANU (1880—1961).

Румынский писатель, академик, Герой Социалистического Труда СРР, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Автор более ста книг — романов, повестей, рассказов, эссе.

На русский язык переведены романы «Племя Шоймару», «Улица Лэпушняну», «По Серету мельница плыла», «Братья Ждер», «Митря Кокор», «Никоарэ Подкова», повести и рассказы «На постоялом дворе Анкуцы», «Кроты», «Вэлинашев омут», «Чудесная дубрава», «24 июня» и многие другие. Статьи и эссе М. Садовяну публиковались на страницах советских журналов и газет.

Перевод предлагаемой вниманию читателей повести «Медвежий глаз» выполнен по тексту 15 тома собрания сочинений М. Садовяну (Opere, v. 15, Bucureşti, Editura de stat pentru literatura şi arta, 1959).

том числе газеты, которыми руководил Садовяну. Молодчики в зеленых рубашках навязывают прохожим на улицах мистические, откровенно шовинистические писания «апостолов» фашизма, певцов иррационализма.

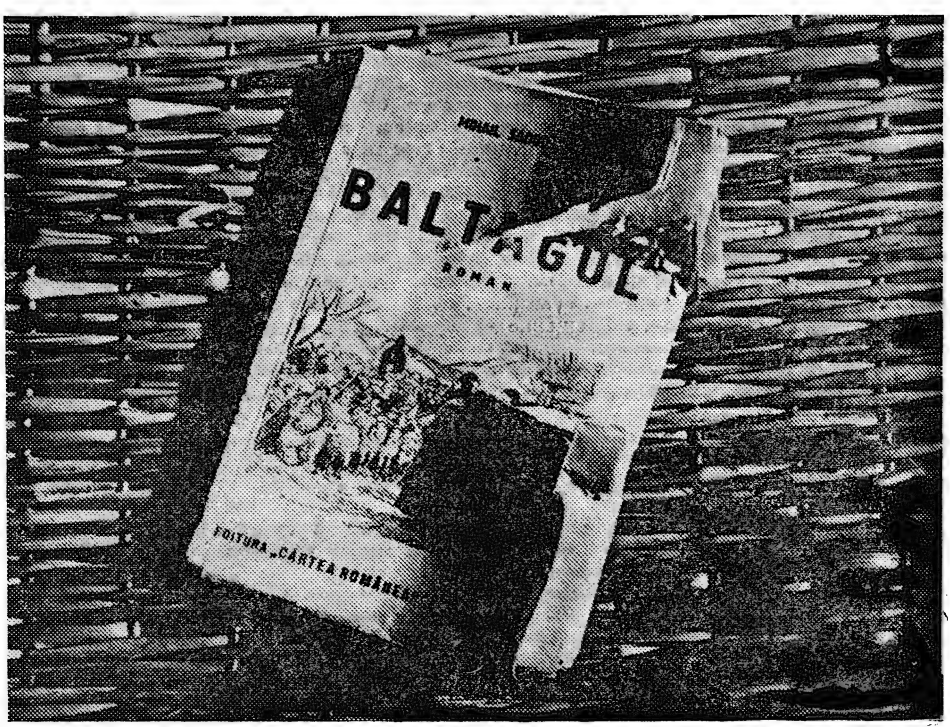
И то, что М. Садовяну, прошедший к тому времени сорокалетний творческий путь и остававшийся на всем его протяжении далеким от политической борьбы, вдруг окунулся в самую ее гущу, став одним из активных противников фашизма, было для многих неожиданностью. Но никакой неожиданности тут не было.

Сын крестьянки из рода Урсаке, племянник горного пастуха, внук барщинника, Садовяну связывал начало своего литературного пути с тем «прозрением», которое пережил в юности после смерти матери, когда он «вернулся к духовному миру дедов», когда стал «союзником тех, кто исповедовал тот же «закон», что и мать». Ведь она передала ему «зрение, слух и улыбку древних пастухов» — и начинающий писатель был до глубины существа пронизан сознанием своего долга перед ее памятью, перед памятью тысяч и тысяч ее братьев и сестер. Он должен был «искупить их загубленную, бессмысленно прожитую жизнь» неустанным писательским поиском, дабы посвятить читателей своих произведений в сокровенные истины народной жизни.

И стало это возможным, очевидно, потому, что он был наделен уникальным даром художественного восприятия мира, который он сам определил как «способность участвовать в таинственной жизни скал, деревьев, кустов, папоротников, а главное, в жизни пернатых, насекомых и зверей...». Так определился путь познания писателем нерасторжимых связей человека с окружающим миром. «От цветов я пришел к косулям, а от косуль и оленей — к человеку». Человек для него — органическая часть жизни, включенная в целостную систему макрокосма. Разумное бытие его, счастье возможны лишь при условии гармонического развития этой целостной системы. В понимании художника это предполагало единство технического и духовного прогресса, приобщение труженика к современной цивилизации при сохранении устоев народной этики, «цветов души поколений».

Все сорокалетнее творчество Садовяну было трагическим открытием невозможности такой гармонии в мире классовых антагонизмов и «цивилизации корысти». Он создавал яркие, незабываемые образы крестьян, сильных духом, поэтически одаренных, умудренных опытом и трудом поколений. Он искусно открывал «под суровым обликом даков», о котором писал Ромен Роллан, «веселый огонек иронии румынских Кола Брюньонов». И находил в них неизбывную жажду обновления, приобщения к достижениям цивилизации двадцатого века. Но действительность буржуазного мира по-прежнему возводила на пути его героев непреодолимые преграды. Лучшие произведения этих лет написаны под знаком чекана, горского топорика, одинаково пригодного и для защиты, и для справедливой мести.

На снимке: эта изрубленная фашистским топором книга — один из самых популярных довоенных романов М. Садовяну — роман «Чекан».



В произведениях Садовяну всегда ощущается теснейшая соотнесенность прошлого с настоящим. Исторические рассказы, повести и романы Садовяну довоенной поры — прочный мост, перекинутый из древней баллады, из легенды в сегодняшний день. По этому мосту он не только уходил в прошлое искать своих «ближних». История оказывалась средством познания современности, поиска путей в будущее, нравственным обязательством помочь поступательному движению поколений по пути прогресса. Великий румынский поэт Эминеску мечтал о создании национальной эпопеи. Садовяну ее осуществил. Но задуманная как памятник духовному величию труженика земли, эпопея Садовяну оказывалась печальной летописью страданий и поражений любимого героя в борьбе с притеснителями — иноземными и собственными.

Великолепный мастер пейзажа, создатель поэтической географии Румынии, Садовяну до предела насытил ее дыханием времени, одушевил присутствием человека, его самобытно-неповторимым бытием, жаждой социального обновления. Он, как никто другой в румынской литературе, открыл жителям гор очарование придунайской степи, плавней, добруджских просторов, а обитателям равнин — величественную, очищающую красоту горных заказников, рек, лесов, лугов. Но сегодня особенно значимо другое: творения Садовяну были (и остаются) постоянным напоминанием о том, что бездумное уничтожение природы равноценно уничтожению памятников искусства, истории, духа. Они — один нескончаемый рассказ о хрупкости этой природы, ее ранимости и исчерпаемости, о смертельной опасности, грозящей человеку прежде всего его собственным духовным оскудением. И вместе с тем это постоянный поиск спасения — того же человека — от страшного одиночества, на которое он себя обрекает, создавая свою погибельную «цивилизацию корысти».

Главное средство защиты виделось ему в духовном сознании человека труда — крестьянина ли, интеллигента ли,— к нему он обращал каждую страницу своих книг. Этим обусловлены и особенности неповторимого садовяновского письма — этого сплава тончайшего лиризма и эпической широты, гражданского пафоса и элегического раздумья; и языка — ясного, прозрачного, предельно насыщенного поэзией, овеянного чуть уловимым ароматом летописной речи или восточного сказания.

Чем больше «прозревает» он сущность общественных процессов в буржуазной Румынии 20-х и 30-х годов, тем более наглядным становится для него разительный контраст между великолепием природных и духовных сокровищ, накопленных жизнью, и убогим существованием потомков древних жителей страны, носителей ее самобытной цивилизации. Отказавшись от либеральных рецептов, поняв всю иллюзорность обещаний буржуазных политиков, он все больше утверждается в мысли, что единственной жизнедеятельной, прочной силой остается крестьянская этика, давний уклад народной жизни, в нем — «больше благородства, чем в разрушительной цивилизации наших дней». Перед нашествием этой цивилизации герои Садовяну удаляются в горы, в «царство вод», в «страну за туманами». В новую «модель» жизни, которую утверждает в эту пору писатель, входит уже не иллюзия «рая для обездоленных», а те уединенные райские уголки, которые в Румынии называют красивым старославянским словом «браниште», что означает заказник, лесное угодье, где *возбраняется* хищничество — и по отношению к человеку, и по отношению к природе.

На страницах новых книг читатель встречает множество пастухов, гайдуков, егерей, лесничих, монахов, жителей дальних горных селений, отшельников. И разумеется, охотников, ибо «творец создал эти места, следуя фантазиям охотников и рыболовов». И живут здесь или наезжают сюда люди, помнящие давние традиции добра и бережного общения с матерью-природой, относящиеся с совестливой чуткостью к ее многообразному миру.

Было ли это уходом от действительности, отступлением, поиском «утерянного золотого века», о котором пишут и сегодня иные критики? Повесть «Медвежий глаз» — убедительное тому опровержение. Это был поиск новых позиций для продолжения борьбы за душу человека в мире чистогана и мелочных интересов. Но и в благословенном уголке на берегах Фрумоасы (реки Красивой) нет покоя и мира: жители гибнут из-за отсутствия человеческих условий жизни и медицинской помощи, а радио доносит вести о трагедии Герники, о бесчинствах фашистов-зеленорубашечников, о новых откровениях идеологов легионерского мистицизма.

Против этого «черного наваждения», помрачения умов, обманутых апостолами мракобесия, и направляет Садовяну всю свою силу публициста, зрелого, многоопытного художника. Невзирая на протесты родных, он берет на себя руководство либерально-демократическими изданиями «Адевэрул» («Правда») и «Диминяца» («Утро»). Ему присылают в конвертах пепел сожженных книг, экземпляры романа «Чекан», изрубленные топором, угрожают по телефону, напоминая, что он среди первых в списке обреченных на смерть; его лишают почетных званий, многие литераторы отшатываются от него...

И вот, казалось бы, парадоксальное явление: чем больше уединяются его герои, чем дальше уходят они в «забытый мир», тем яростнее голос публициста, тем непримиримее тон его статей. В каждой из них слышен отзвук слов, брошенных писателем однажды с трибуны в толпу беснующихся громил: «Что вам здесь надо, в нашем мире, вы, потомки пещерных людей, пожиравших собственных родителей? Назад, в пещеры!»

Но и художественные произведения этих лет дышат тем же неукротимым неприятием изуверства, иррационализма, мистики. «Да, я враг национал-социалистского режима!» — откровенно заявляет писатель в одном из своих публичных выступлений. А художественные произведения, написанные в эти же месяцы — в том числе и «Медвежий глаз»,— воспринимались читателями как некие притчи о кратковременности фашистского «наваждения», о неминуемом торжестве разума.

На снимке: академик Д. В. Скобельцын, М. Садовяну, Пабло Неруда, Луи Арагон, Борис Полевой, Анна Зегерс на заседании Комитета по международным Ленинским премиям «За укрепление мира между народами».

Война 1941—1945 годов до предела обнажила глубину той пропасти, в которую толкал человека фашизм. Укрывшись в горах, Садовяну работает над книгой воспоминаний «Годы ученичества». Задуманная как рассказ о далекой поре юности, книга становится поэтической исповедью, итогом писательского пути. Садовяну публично отрекается от последних иллюзий относительно «цивилизации», завершавшей свое существование в этой части света гибелью миллионов людей, тысяч сел и городов, неисчислимых ценностей культуры. «Теперь я вижу, как далеки мы, я и пастух из древней баллады, от варварской цивилизации...»

Но именно пастушьи трубы оповестили в августе 1944 года жителей гор о том, что фашистское иго сброшено. Садовяну спешит из «твердыни устоев» к людям, и вместе с ним спешат и герои будущих книг. Уже в следующем, 1945 году он едет в Советский Союз — воочию убедиться в преимуществах победоносного социализма. Если первая «вспышка света» в годы отрочества открыла ему главную тему творчества, основную его направленность, то вторая, о которой он поведал читателям и слушателям в книге «Свет идет с востока», дала ему решение мучительной дилеммы. Именно тем и бесценен художнический подвиг Садовяну, что он честно исчерпал в трудном поиске различные возможности, прежде чем понять, что социализм — единственная альтернатива, предлагающая реальные пути для гармонического проявления триады «природа — человек — техника». И главную свою задачу он видит теперь в том, чтобы это «прозрение» сделать достоянием всего народа. Он добивается этого всеми доступными ему средствами: и ярким словом агитатора, народного депутата, первого вице-президента молодой республики, и настойчивыми обращениями к собратьям по перу: «Пока мы не выполним наш долг до конца, отменяется действие любых теорий искусства!» И сам он согласен на любую работу — «составить афишу, написать лозунг». Критиков он призывает «сделаться соратниками писателей в борьбе за прогресс». Молодым писателям советует учиться на опыте классики и современной советской литературы. Он руководит Союзом писателей, Советом борцов за мир, он — один из основателей Общества румыно-советской дружбы (АРЛУС), позднее — член Комитета по международным Ленинским премиям (а затем и лауреат этой премии и медали Мира). Садовяну в эти годы неутомимо использует все открывшиеся перед ним возможности для решения одной-единственной задачи — приобщения народных масс Румынии к социалистической правде. Расстояние, отделяющее героев довоенных книг от новых, «вернувшихся к людям» героев «Митри Кокора», «Острова цветов», «Никоарэ Подковы», равно тому пути, который прошел писатель от либерально-народнических иллюзий к вере в жизненность дела социализма.

Ощущение счастливой завершенности долгого пути, которым дышат его последние выступления, оставшиеся рукописи,— это высшая награда, которая выпадает на долю подлинного творца. Садовяну эту награду заслужил как немногие. Потому что девизом всей его жизни оставались слова: «Надо быть прежде всего человеком, а уж потом писателем. Верую в двойную поэзию жизни — поэзию творчества и поэзию труда. И еще верую в то, что писатель должен быть тесно связан с жизнью, с ее страданиями, поражениями, с ее радостями».

*Вам, други мои в Браниште, эту повесть из страны нагорного безмолвья.*

*М. С.*



Кули шел тропой, огибавшей прогалину под еловым шатром. Погода стояла мягкая, снег не скрипел под коваными подошвами. Прежде чем свернуть к лабазу, или «хохштанду», как по-охотничьи, подражая хозяевам, Кули называл это место, он постоял, навострив ухо и внимательно глядя по сторонам. Всю дорогу из урочища Прелунч до Большой Низины чувства его были до крайности напряжены: ни одна птица не пронеслась над вершинами незамеченной, ни один звериный след на розоватой снежной целине не укрылся от взора.

Кули Урсаке считался одним из лучших егерей угодий на Фрумоасе-реке, и хоть скребло у него на сердце в тот вторник пятнадцатого ноября, да и всю неделю после сорока мучеников, дело свое он исполнял исправно. Слух и зрение не должны были его подвести, если он хотел оставаться при добром своем имени. Домашние печали там, в урочище,— одно, а то, что делалось тут, в чащобе и у хохштанда, охотничьего лабаза,— другое.

В логовине у Пармака он заметил справа на гребне холма крупные вмятины медвежьих лап. Некоторое время он шел по следу, потом, когда понял, что зверь делает крюк, махнул рукой, решив про себя наведаться сюда завтра; теперь же самое время заняться лабазом.

Он вернулся на тропу и еще с полчаса все так же настороженно двигался, потом сделал остановку, чтобы сосчитать свежие следы волчьей стаи. Хищников оказалось восемь — он знал их. В эти места загнала их неожиданная вьюга девятого ноября. Теперь, должно быть, хозяйничают тут, идя по следу ланей: установили охотничий распорядок, притаились в засаде. Волки промышляют, в сущности, как и мы, люди: одни обкладывают коз или ланей и начинают гон, а другие ждут в засаде и нападают. Все берется в расчет: направление ветра, очертания местности. «Крепкие лесовики!» — мысленно похвалил их Кули Урсаке.

Но он и тут не задержался, сошел с волчьего следа. В стае он насчитал матерого, двух старых сук и пятерых молодых переярков. Придется подбросить им отравленной привады, не то урона не оберешься. А как околеют два-три хищника — остальные тут же унесутся за тридевять земель.

Зорко оглядываясь на тропе, он заприметил молниеподобный бег куницы по снегу, но не остановился, просто запомнил место.

Теперь он стоял неподвижно, привалившись к стволу дерева: чуть склонив голову, наставив ухо. Меховушка на нем была расстегнута, ружье висело на левом плече дулом вперед, прикладом под локоть. Он был один в чащобе, среди старых и редких деревьев. Бескрайняя тишина тяжким бременем легла на темные ельники, слепящие белые прогалы. Тишина эта вдруг отозвалась звоном в ушах.

Расследование, которым ему предстояло заняться на том самом хохштанде, было, по мысли егеря, свойства скорее полицейского, нежели охотничьего. Впрочем, любое дознание, которое он вел в этих угодьях, напоминало чаще всего полицейское дело, и ружье, висевшее у него на плече, принадлежало не охотнику, а стражу и миротворцу: пускать его в ход он мог только против зла и произвола — напавшего зверя или браконьера. Что волк, что чужой стрелок — одного поля ягода, хищники, рассуждал он. И все же порой Кули думал, что все его лесные дела — со зверем ли, с человеком ли — можно отнести к разряду охотничьих, а вот истинно полицейские касаются горожан со всеми их плутнями.

Прошлым летом приезжал в Прелунч сынок одного из хозяев заказника, молодой барин Питу — добыть первый трофей, горного козла. Коротая время в охотничьем доме, он читал разные книжки. Две из них — «Следы королевского тигра» и «Убийство в Цинциннати» он оставил на прощание Кули. Егерь с великой охотой прочитал их и сразу уверился, что и сам мог бы заделаться неплохим сыщиком. Конечно, хватку свою он проявляет тут, в пределах заказника, но в глубине души он мечтал показать себя если уж не в американском городе, то хотя бы в таком трансильванском, как Саксов Себеш. Тут, в чащобе, все ясно как на ладони. А в далеком Себеше, с его многолюдством и сложными историями, есть где развернуться.

Вот почему он так удивился, когда два дня тому назад обнаружил в подведом-

ственных ему лесных угодьях новое, необычное и непонятное явление: словно из того, чужого мира.

На исходе осени он привез в овражек у лабаза тушу старой клячи, купленной в горной овчарне. Сибиуские хозяева собирались наведаться — подкараулить в засидке медведя. Да вот дела помешали, а тут еще навалилась на бедную страну такая напасть, как депутатские выборы; господа так и не приехали, передали егерю, что потеха откладывается. Пришлось Кули, срочно уговорившись с Томой Орэшану и Траяном Мелинте из Браниште, разделать тушу и нарезать куски для отравленной привады, потому что появились первые волчьи выводки. А ляжки он посыпал солью и подвесил на крючьях под настилом лабаза.

Дни стоят студеные — глядишь, недели через две и пожалуют господа из Сибиу.

Зима выпала ранняя, ударили морозы, пошел снег. А господа опять передали, что выберутся в горы нескоро, разве что к концу месяца — гром расшиби эти выборы и все на свете!

А тому два дня Кули завернул к лабазу и увидел, что одного конского окорока нет на месте. Долго он гадал, кто же это сделал. Не иначе баде Тома или тот же Траян: не хватило конины для отравленной приманки, вот и взяли. Все так, но полагалось бы спросить у него, у Кули, тут ведь его хозяйство, а они, вишь, распорядились — и спросить не удосужились. Нехорошо получается, к тому же теперь у него и так неприятностей хоть отбавляй. Врагу такого не пожелаешь... Под вечер, встретив приятелей у Красного родника на берегу Фрумоасы, он спросил, криво усмехаясь, куда подевался окорок.

— Какой окорок?! — удивился баде Тома.

И Траян спросил с улыбкой:

— Что за окорок?

— Да вы что, запамятовали, люди добрые, что я подвесил под хохштандом две лошадиные ляжки? — выпалил Кули.— А сегодня там только одна.

— А ведь и впрямь, я тоже видел только одну,— кивнул Траян,— да решил, что это дело рук Кули, раз там его доля.

И баде Тома поддакнул:

— Что же, какой может быть разговор, коли сам хозяин взял ее. Только никак не пойму, к чему он нас допрашивает?

Урсаке удивленно уставился на них.

— Выходит, сам же я и унес окорок?

— Кто же еще? — мягко спросил баде Тома.

Все рассмеялись. Докурили свои цигарки и разошлись в разные стороны. Баде Тома уже в годах, человек он совестливый, никого в жизни не обидел, не обманул. Что касается Траяна, то и на этого кроткого, тихого парня Кули мог уверенно положиться. А ну как он просто решил позабавиться? Да оба ведь говорили, что знать ничего не знают, стало быть, так оно и есть, сомневаться тут не приходится. Но кто же тогда уволок конский окорок?

Баде Тома и Траян полагают, что сделал он это сам, и никто другой. Да ведь не лунатик же он, никаких таких немочей за собой не замечал. Выход, стало быть, один: хорошенько, по всем правилам полицейского дознания осмотреть следы и меты — правда и выйдет наружу. То-то будет диво, если он увидит там только собственные следы; а с другой стороны, будь там иные знаки, он бы приметил их в первый раз. Вокруг видны были следы его приятелей, а под самым лабазом никто, кроме него, не ходит.

Вот что хотелось понять Кули Урсаке, вот почему он задержался немного у дерева, прежде чем выйти на прогал, к охотничьему лабазу.

И вдруг, пока он еще стоял под елью, звон, раздававшийся в ушах, затих. Он явственно услышал, что там, у хохштанда, что-то происходит. Будто кто-то крадучись приближается торопливыми шагами. Мягкий хруст снега — пш! пш! — не оставлял сомнений: человек, стащивший конину, был снова тут.

Но если это не баде Тома, не Траян (а государственные лесничие сюда не заглядывают) и если это не он сам, то какой такой черт может шататься в этой глухомани между Прелунч и Большой Низиной? На всем расстоянии от дна теснины, по которой пробивается, круша скалы, Фрумоаса-река и бежит наезженная дорога, и до этих мест годами не увидишь пришельца. Одни егеря попадаются тут на глаза. Долгими часами поднимаешься от берегов Фрумоасы в верховья и не встретишь человеческого жилья — только овчарни в двух днях пути на горных лугах Пэтру и Шуриана. А вниз по реке

тоже протопаешь немало часов, пока достигнешь хуторка в Тэу, а уж до Шугага и того больше. В летние месяцы на берегах реки жители Лаза и Кэпылны разбирают баграми завалы леса и сплавляют кряжи по резвой речной волне в низинные селения. В эти же погожие дни торопятся вниз и вверх по реке овчары — у них свои заботы. А теперь в горных лощинах и вовсе никого нет — всем опять завладела зимняя глушь. Какой же безумец мог добраться до этого никому не известного, запрятанного в дебрях лабаза? Запоздалый гость овчаров или заплутавший хуторянин из Тэу? Неужто наш православный человек? Да на что ему эта конина? Видано ли, чтобы истинный христианин польстился на эдакую падаль? Не стало, что ли, иной еды на нашей земле, кроме как этой падали, укрытой в неведомом месте, куда и нога человеческая редко ступает? Разве что цыган-нищеброд польстится на этот шмат вонючего мяса — от издохшей в овчарне старой клячи? Но цыган в этих местах не видывали испокон века. Дальше Шугага по берегам Фрумоасы кочевые таборы не забираются. Выходит, озоровать тут некому, любой сыщик так решит, усмехнулся Кули. Хохштанд запрятан в глухом чащобном тайнике — и знают о нем только трое. Иного решения нет. Один из трех — я, остаются, стало быть, двое: баде Тома — человек степенный, в летах, да Траян — парень молодой, шалый, что забот и горя не нюхал. Возможно, он и балует смеха ради, невдомек ему, что сердце Кули, бедное сердце, омрачено печалью.

Так он думал, продвигаясь меж тем легким, неслышным шагом. Ружье он нес, по обыкновению, на левом плече — сегодня оно было ему ни к чему. Правой же рукой он стащил с головы зеленую шляпку с кисточкой, какую носят все трансильванские егеря. Выйдя на поляну, он собирался поздороваться с Траяном по-господски:

— Сервус, приятель!

При всей тяжести забот и печалей, которую он носил в себе в последние дни, егерь не смог удержать улыбки, представляя себе, как он разыграет парня.

Кули решительно сошел с тропы и повернул к хохштанду, что возвышался в двадцати шагах от него на снежной целине меж двух старых елей,— лестница вела к покрытому хвоей настилу.

Но Кули так и не успел произнести свое приветствие. Ну и диковина! Здоровенный медведь ловко карабкался по внутренней части лестницы, цепляясь когтями за ступеньки; у самого настила он протянул лапу к мясу, крепко держась остальными тремя за лестницу. Схватив конину, мохнач протянул к ней вторую лапу, повис всей тяжестью на добыче, сорвал ее с крючка и рухнул вместе с ней на землю с семиметровой высоты. И до чего же ловко это проделал — глазам своим не поверишь! Вперевалку взобрался по лестнице, потом черным мешком ухнул в снег и тут же, прижав конину к груди, помчался к оврагу, дважды взбрыкнув задом, точно делал Кули какой-то знак или отвечал на приветствие. А тот стоял как вкопанный, сжимая в руке шляпку.

— Ах ты ворюга, дуй тебя горой!

Пришло же чертову бирюку такое на ум...

Выпрямляясь после падения и поднимая лошадиный окорок, вор успел одним глазом заметить егеря. В его косом, мимоходном взгляде не было страха. Словно он явился сюда за собственным добром. В сущности, так оно и было: конина и предназначалась ему.

— Гурун-бурун! — раздалось из оврага, за густолесьем.

— Мало того что уволок конину, так ты еще и обзываешь меня!— сказал, обернувшись в ту сторону, егерь. И лишь теперь осознав, что все еще держит шляпку в руке, сердито нахлобучил ее на голову.

Сорока застрекотала на еловой ветке.

— Тебя что, смех разбирает? — отчитал ее Кули.

Разозлившись, он тут же снял с плеча ружье, сдвинул предохранитель и решительно пересек прогал, огибая засидку, чтобы найти медвежий след. Кроме свежих, он различил и прежние следы, смятые его подошвами. Он спустился в овраг, обогнул малинник и пошел по свежим следам, окаймленным голубоватым снегом. Лешак мчался вдоль оврага на трех лапах. В одном месте он остановился, словно раздумывая, куда бы положить добычу. Да ведь никакой сумы при нем не было — пришлось опять ковылять на трех лапах. Оно и неплохо у него получалось — только скакал он как-то чудно, левым боком вперед. Но с пути не сбивался: пер в гору, оставляя овраг позади. Тут прошел, там обошел, спустился в логовину, постоял у источника, попил

прямо из-под струи. Потом обогнул голую скалу и полез напрямик в гору. Кули со вниманием и интересом читал следы разбойника.

Взобравшись на гребень, он сплюнул:

— Сгинь, сатана!

Медведь был рядом — под кремневым выступом. Искоса сверкнул одним глазом и заковылял, унося конину.

— Гурун-бурун! — донеслось из-под кручи, куда он спустился. Будто протяжно и глухо громыхнул гром. Дальше прямого пути не было. Надо было обойти крутизну гораздо ниже, у устья ручья, потом лезть по противоположному откосу, ища следы кривых прыжков на трех лапах. А толку что!

В распадке под собой он различил между густыми зарослями несколько снежных полос. Кули поднял бинокль, висевший на правом боку, внимательно осмотрел оба откоса и дно теснины. В самом низу у бровки молодого ельника он увидел четырех оленух — подняв головы, они настороженно прислушивались. За ними Кули различил самца, ответвления его рогов четко отражались на белизне откоса. По прямой до них было не более полутора тысяч шагов.

Внезапно оленухи сорвались с места и помчались в гору прямо к темневшей стене бора. Значит, медведь ковылял по направлению к ним. Егерь долго шарил взглядом по опустевшему месту, где только что стояли оленухи, но мохнач так и не показался на виду. И все же у него было такое ощущение, словно где-то внизу посверкивал глаз, недобро через плечо косивший на него.

Кули неуверенно поскреб в затылке. Поискал вокруг знакомые приметы, чтобы понять, где находится. Но что-то мешало ему. В блеклых лучах западавшего солнца между яркой белизной снежных полос и хмурой зеленью бора простирались чужие, незнакомые ему места.

День убывал, а он все еще стоял там, раздумывая, как быть дальше,— казалось, горы плывут под бирюзовой пеленой. Поднявшись немного выше по гребню, он оглядеался — места вроде знакомые и возвратный путь тоже. Медленно зашагал он по крутояру, потом спустился в балку. Тут была старая тропа, где купались кабаны.

Сомнений быть не могло — места эти он знал, только до дому отсюда неблизко. Каким образом он оказался тут, когда успел забрести так далеко? Не иначе напрямик пересек непролазную крепь: словно миновав таинственные ворота, сразу же шагнул в неведомый мир, очутился в чужой стороне.

Тут что-то нечисто. Если сюда и завел его медведь, так то медведь особенный. Взгляд, который зверь дважды кинул на него через плечо, был куда острее человеческого. Будто этим взглядом он звал его за собой на это бессмысленное преследование. И вот настали сумерки, а он в трех часах ходьбы от дома, и из кабаньей топи ползет, окружая его, студеная мгла.

Стремительно опускается вечер, словно с неба сыплются черные хлопья сажи. Со дна пропастей к вершинам, клубясь, поднимаются туманы. Они настигают Кули и справа, из распадка, и слева, из речной теснины. Не будь он человеком здравого ума, он и дал бы, возможно, одолеть себя страхам, которыми набиты головы глупцов.

...Вовсе то был не медведь, хотя облик у него и медвежий. То был некто другой— и имя его заказано в этот час поминать.

...Да полно, то — косолапый, а вокруг теперь всего лишь туман. И никакого касательства мишка тот к туману не имеет.

И все же поверья горян, дальних его предков, подсказывают — надо остерегаться, перекреститься языком, ни за что не оглядываться.

По природе своей Кули не робкого десятка. К тому же горести, одолевавшие его в последние дни, рождают в нем какую-то угрюмую решимость. Внезапно остановившись, он повернулся лицом к низине, откуда шел. Следом медленно волоклись, поднимаясь к вершине, студеные туманы. Что-то живое чудится в них, хотя чаща скована непробудным горным сном. Где-то рядом глухо, как в пуху, раздался крик совы. Значит, действительно завечерело, сова поклонилась закату и примостилась в своем дупле.

На западе ни проблеска. Погасли во мгле последние отсветы дня, отраженные в высоком небе. О другую пору окрестности в этот час еще вполне различимы. А ныне все чистое куда-то подевалось, вылезла одна нечисть. Надо быть начеку — того и гляди сойдешь с тропы.

Кули вдруг заметил, что сам урчит по-медвежьи. Горечь обид переполняла его. Память о вчерашних и сегодняшних невзгодах не давала покоя. Досадны были и разговоры с приятелями, неладно получилось с этим лешаком-медведем — не столько медведем, сколько лешаком. А уж и вовсе неприятно было то, что он заплутал, будто стал чужим в родном бору. Кроме того, он еще и запаздывает.

Матушка его Флоаря теперь только тем и занята, верно, что стоит, прижавши нос к оконцу, и бормочет про себя, злобится на его задержку: «Ох, уж этот Кули! Всегда так!» Всего-то раз и опоздал он за все годы жизни в Прелунч, а старая уж конечно шерстит его по-всякому: «Всегда он так, этот Кули!» Один он у нее — вот и цепляется по любому поводу. Опоздал разок из-за этого лесного черта, а послушать ее — так медведи только и знают, что ходят к лабазу, а Кули всегда задерживается на тропе, растаявшей в белесом тумане.

Бабьи умы! Все бабы одним миром мазаны — что старые, что молодые. Свои у них разговоры, свои мудреные затеи.

А каково той, другой, что уже двенадцатый день хворает и не встает с постели? Каково ей глядеть, как мечется свекровь от окна к печке, от печки к окну?

Та, другая, что двенадцатый день лежит и никак не хочет выздороветь, тихо стонет и ворочается под одеялом.

— Ох, ох, господи, что же Кули все нейдет? Не видать, матушка?

— Не видать, милая!

И чего им от него надо? Всего у них вдоволь — и в каморе, и на чердаке. Дрова есть и мука тоже, сало и яйца, молоко, есть и птица. Так нет же, им обязательно подавай и его, Кули. Чтоб сидел у очага, чтоб они клевали его с двух сторон. Когда же, мол, отправится за лекарем?

— Да ты, девка, совсем, видать, спятила! Где я возьму тебе лекаря?

— Ох, Кули, непременно надо лекаря. Пропаду я без него...

— Нет тут лекарей, милая, нету их. Тут другая живность водится. Хочешь, достану тебе оленя, кабана. А где я возьму тебе лекаря?

«Теперь я вижу,— рассуждал про себя Кули,— что мог бы ей достать и медведя, будь то на самом деле медведь, а не кто другой. А ей не иначе как тот, другой, и нужен. Бабы они такие: дал господь всего вдоволь — доброго мужа, дом в достатке, а им непременно подавай лукавого, да чтоб с рогами и хвостом!».

Вот уже четыре дня наседают на него обе — и мать и жена. Особенно в тот полуденный час, когда Ана вся горит в жару и часто дышит и мечется, сбрасывая одеяло, нана Флоаря горько причитает, жалуясь невесть кому:

— Силы небесные, да что это за муж такой? Думала ли я, что он, плоть от плоти моей, станет таким? Жена пропадает, а он хоть бы слово...

— А что я скажу, матушка? Одному богу известно, что у меня на душе. Что я еще могу сказать?

— Хоть слово какое вымолви.

— Слово? Да о чем?

— Посоветуй, как быть. Ты же мужчина в доме.

— Какой совет? Какое слово? Сама небось больше моего смыслишь в женских делах. Ну родила Ана ребенка — на то и баба! И ты пособляла ей, будто родимая мать. А она, вместо того чтобы встать, как положено роженице, занедужила, температура поднялась. Худеть стала, в чем только душа держится. Да мне-то откуда знать, что это с ней? Либо небо смилуется и даст ей силы одолеть немочь, либо сведаться мне с горем и печалью — и так до скончания века.

Помедлив немного, нана Флоаря опять бралась за свое:

— А как насчет того лекарства? Сделал ли что с ним?

— Да говорил же я тебе, матушка! Оповестил я приятеля в Шутаге. А он отправится в Себеш и привезет его.

— Когда привезет?

— Как знать? Возможно, к воскресенью.

— Кули, сыночек, до того воскресенья человек может сгинуть, будто его и на свете-то не было.

Помолчав, она качает головой и удивляется про себя:

— И что за слово такое «температура»? Болезнь какая, что ли?

— Нет, матушка,— отвечает с печальной улыбкой Кули.— Это жар.

— Так ты и называй его по-нашему, сыночек. А то получается — в доме две хвори вместо одной. С одной никак не управимся, а тут еще другая...

Бабьи толки... С той поры, как ему — взрослому мужику — приходится отсиживаться дома больше положенного, он хорошо познал эти бабьи неисцелимые слабости.

А впрочем, какие там слабости! Силища — и еще какая! Держит — и не вырвешься.

Ана поворачивает к ним красивое лицо в испарине.

— Матушка...

— Что тебе, доченька?

— Как он сказал, Кули-то? Что за книжное слово?

— Позабыла я, милая. Да мало ли сказано в тех книгах, а польза от них какая? Взял бы лучше с полки часослов да молитву почитал.

— Так ведь наш Кули не поп, матушка.

— Знаю, милая. А лучше бы стал попом.

Уму непостижимо. Кули понять не может, зачем ему надо было стать попом. Он недоуменно озирается, хватает клещи, потом отбрасывает их. Дышит натужно, словно тащит бог весть какую ношу. Нана Флоаря следит за ним краем глаза.

— Ты что, ай недоволен, Кули?

— Доволен, мать.

— Как же, вижу: распалился — аж вздоху нет.

— Уразуметь не могу — на что мне это поповское звание.

— Сейчас уразумеешь, голубчик. Был бы ты попом — жили бы мы в селе. А стал бы божьим изволением протопопом, и вовсе жили бы в городе. Были бы у нас и лекарства. А сверх того и сам лекарь.

Кули промолчал, больная рассмеялась.

— Нет уж, матушка! Бородатый муж мне без надобности. Кули бреется по утрам — я его такого и полюбила. Зеленоглазым идут усы, а не борода. Так что ни поповский, ни митрополичий сан ему ни к чему.

— Ишь ты! — скривила губы старая.— Ну и живи себе тут, в дичи лесной, без лекарств, без лекаря!

Ана вздохнула и ласково посмотрела на мужа.

Егорь остановился. Откинуть бы эти мысли, выбраться из тумана.

И мгла такая, что хоть ножом режь.

Что ножом, что словом суетным — мглу не рассеять. Она — как та липучая скорбь, что охватила его: сколько ни бейся, от нее не спасешься. В какую взлететь стремнину, в какой рухнуть провал, чтоб полегчало?

А пока что остается одно: собрать все свои силы в колючий комок, который он чувствует в том месте, где раньше было сердце, и добраться до дома. Дойти, открыть в страхе дверь, убедиться, что Ана еще жива, а потом опуститься на стульчик у плиты и спросить: «За что? И долго ли еще терпеть?»

Он стоял на месте, чтобы не сбиться с пути. Придется подождать, к полуночи туман, возможно, поднимется к звездам или потечет в низины. В промозглой мгле ему сделалось жарко, лоб густо покрылся испариной. Безлюдье придвинулось вплотную, дебри стеснились вокруг, стежки остановились, звуки замерли.

Кричать бесполезно. Стрелять — тоже. Звуки, словно сухие хворостинки, опадают не далее ста шагов. Много ли времени прошло, пока он так стоит? Он нашарил коробок, чиркнул спичкой, достал из внутреннего кармана тяжелые никелевые часы, всмотрелся. Потом зажег другую спичку.

Семь часов. Только и всего! Он закрыл глаза, открыл их: точно ослеп. Шагнул раз, другой. Хорошо хотя бы, что скалы не встают на пути. Скользнул ногой вправо — как бы не рухнуть в пропасть. Пошарил протянутыми руками вокруг себя, пока не наткнулся на ствол ели. Опустился рядом. Пожалуй, можно собрать валежник, развести костер.

Но вдруг он насторожился. Колючий комок у сердца забился, зачастил. Он различил впереди звуки шагов по мягкому снегу, точно кто спускался с горы к нему: пш, пш...

Лиса? Волк? Вскочив, он схватил карабин за ствол, издал дикий, предостерегающий вопль; колючий комок бился теперь в самой глотке.

А звуки раздавались уже у самой ноги: пш, пш...

— Чур тебя, нечистая сила! Уж не медведь ли тот?

Вот оно коснулось руки. Холодное, липкое толкнулось в ладонь. И в то же мгновенье радость захлестнула его. Это по следу, сквозь туман пришла к нему Видра, его гончая, отыскивающая оленей-подранков.

— Это ты, Видра?

— Я,— скулит собака в ответ и, упершись лапами в бедро, тянется острой, чуткой мордой к его лицу.

— Вот, вот,— кивает Кули.— Поднимись и проверь. Это я. Кто же выпустил и послал тебя по следу? При всех ее изъянах матушке моей в уме не откажешь. Увидела, какая мгла, и спустила тебя с цепи, ткнула носом в мой след.

Собака била хвостом по его ботинкам.

— Благодарствуем, матушка,— тихо и радостно проговорил Кули.— И угодила же мне на этот раз!

Он достал из сумки сворку и продел ее в ошейник собаки.

— Домой, Видра! — приказал он.

Но собака потянула его в противоположную сторону, туда, откуда он только что шел. Кули удивился, но решил, что Видре лучше знать, куда путь держать. Ведь это она нашла его след, добралась сюда, а теперь и домой отведет. В ночных дебрях все обманчиво, в тумане — вдвойне.

Он двигался ходко, подчиняясь натянутому поводку. Но радость его тут же угасла, сменилась новой тревогой. А что, если нана Флоаря отпустила собачку, как только тень ангела взмыла над домом, унося вместе с душой последний вздох страдалицы?

— Господи, смилуйся над нами,— шепчет Никула Урсаке.

Перехватив сворку левой рукой, правой он осенил себя крестным знамением. И только сделал это, как впереди сквозь густую мглу замерцала в черном окоеме звезда: окно охотничьего дома. Собака залаяла.

Кули перелез через дощаной заплот. А вот и стог летошнего сена. Добрался-таки! Он ускорил шаг. Пока отряхивал у порога сырой снег, чувствовал, как у него пылает лицо, в висках стучат огненные молотки. Не успел и коснуться дверной щеколды — как нана Флоаря отперла дверь.

— Вечер добрый, матушка.

— Доброго тебе здоровья, сынок. Заходи.

— Что у вас стряслось?

— А что должно было стрястись? Опомнись. Слава всевышнему — ничего худого. Что уставился? Или с тобой что неладно? Или упал? Заплутал? Да уж не так и припоздал ты. А мы было начали тревожиться. Ну что же ты молчишь? Говори же, мил человек! Всегда ты так...

— Я?

— Ты, конечно. Я же спрашиваю. Так ответь, Христа ради!

— Что ответить-то?

— Ответь на мой вопрос.

Он сорвал с себя меховушку, кинул на пол у огня. Видра примостилась рядом.

— Видра тебя отыскала?

— Она. Прибежала и нашла.

— Слушай, парень, неладное с тобой творится.

Он долго тер пальцами виски и глаза, потом рукавом куртки смахнул пот со лба и щек и подошел к постели в глубине горницы. На столе под полочкой и образами горела лампа, скупо освещая лицо жены. Она улыбнулась ему из полутьмы.

— Матушка тревожилась,— сказала она.— Туман больно густой. А я была покойна: ты и с закрытыми глазами найдешь дорогу. Я и то эти места знаю: мало ли мы исходили их вдвоем...

Он не ответил, только внимательно посмотрел на нее. Ему показалось, что выглядит она лучше прежнего. Вроде бы повеселела, хотя он понимал, что это скорее от возбуждения.

— Тебе сегодня полегчало? — тихо спросил он.

— Полегчало, Кули. Как ты жар назвал-то? Температура, верно? Так вот сегодня она вроде поменьше.

Но голос у нее был слабый, и говорила она с перебоями, отдыхая между словами.

— Раз температура поменьше, это хорошо,— согласился он.

— И я так считаю, Кули. Матушка говорила, что можно ехать.

— Ехать? Куда?

Тут вмешалась нана Флоаря:

— Не томи себя, доченька, помолчи. Ты и так весь день рта не закрывала. Вели и ты ей, Кули, помолчать. Если к утру мгла рассеется, можно будет ехать в долину.

— Куда? — переспросил Кули, повышая голос.

Он смотрел то на мать, то на жену.

— Ты и впрямь не в себе, сынок,— укорила его старая, окидывая недовольным взглядом.— Спрашиваю, что с тобой, молчишь. Говорим тебе яснее ясного — ты не понимаешь. Куда ж ехать, как не туда, куда беда гонит? В этом безлюдье Ане не выжить. Толковала тебе и вчера и позавчера. А ты понять не хочешь. Ты всегда такой. Лекарство, выходит, дай бог поспеет к воскресенью, а лекаря и вовсе не дождаться. Так вот: не бывать такому! Девке еще жить да жить. А уж когда ей во сне привиделась сама богородица — и думать нечего, ехать надо.

— Богородица во сне привиделась?

— Именно. В четыре часа пополудни уснула она и успокоилась. А пробудившись, сказала, что видела во сне пресвятую деву, та сделала ей знак — рукой указала в низовье.

— В четыре часа?

— Да.

— В четыре и мне было знаменье, в овраге.

— Да какое знаменье, какой овраг? Ты все о своем толкуешь, а тут лихо поболе. Да тебе хоть бы что — вроде и не слушаешь меня.

— Слушать-то слушаю, только никак не пойму, куда это вы наладились ехать. Уж не в Себеш ли, в больницу? Так туда шестьдесят километров, а то и больше.

— Туда, Кули, туда. Как повелела божья матерь. Сколько там километров наберется, не знаю, а ехать надобно.

Егерь отступил на шаг, словно его оглушили ударом. Но тут же криво усмехнулся: лицо его выражало и отчаянье, и тупое упрямство. Заморгав, он отрубил:

— Ехать так ехать.

Все равно как если бы сказал, что пойдет сейчас и кинется головой в омут. В виски снова пахнуло жаром

— Вот и добро: обернем ее хорошенько,— ласково проговорила нана Флоаря,— уложим удобно на дровнях. Та самая хворь, про которую ты говорил, хвала небу, вроде отпустила ее. Я возьму ребятенка на руки, в тулуп укутаюсь. Погода сносная, конь крепкий. А ты в передке будешь стоять. Выедем утром, а к вечеру, глядишь, и доберемся до христианского жилья.

— Так-то так,— спокойно кивнул Кули.— Да хорошо ли везти больную в дальний путь? Не умается?

— Не умается, Кули. Господь милостив.

— А как же скотина?

— Работник присмотрит.

— Какой же это работник? Десять лет мальчонке...

— И вовсе не десять, а одиннадцать Мы ж с его родителями уговорились, наняли в работники, плату ему положили. Даешь ему одежду, обувку, кэчулу и бурку.

— А ну как туман не соидет?

— Сойдет. Завтра быть ведру. Свыше так указано.

Кули молчал. От этих бредней в нем закипал глухой гнев, угрюмая решимость: коль так, пропади все пропадом, конец всему!

Ана выдохнула:

— Я хочу ехать, Кули.

— Тогда готовьтесь! — с каким-то остервенением выпалил он и потерянно огляделся.

Не уйти от этого. За печью в зыбке спит запеленутый тринадцатидневный младенец. Нана Флоаря то и дело наведывается туда, кормит молоком из соски. Стоит ей вынести ребенка на свет — глаза больной, похожие на большие черные цветы, так и липнут к сыну. Суждено ли этим глазам увидеть, как резвится малыш на солнечных полянах урочища? Кто знает! Давно минули летние дни. До будущей светлой поры веки вечные. А вокруг непроглядная темь.

Нана Флоаря с привычной расторопностью шагнула к образам, поправила огонек в лампаде. Одна из цветных икон походит на Ану, теперешнюю, с возведенными к небу очами. Но это только кажется, что она смотрит в небо, на самом деле с мужа глаз не спускает, его боится потерять.

Потом взгляд ее медленно скользит по стенам горницы, увешанным коврами, узорными платами, холстами. Сколько светлых дней провел он со своей голубушкой! Первые забавы молодости протекли в долине, в родном ее Лазе. А немногим более года тому назад привез он ее к себе в горы.

Кули шагнул к двери. Он задыхался, хотелось скорее выйти. Сперва он споткнулся о порог, затем ударился головой о притолоку.

— Господи, Кули! — укоризненно сказала нана Флоаря.— Да ты еле жив, вишь как измаялся.

— Аа! — протянул он и вышел.

Собака увязалась за ним.

— На место! — рявкнул Кули.

И грохнул дверью, прищемив Видре хвост. Она взвыла. Нана Флоаря махнула рукой: что с него возьмешь, Кули всегда так! Больная невесело рассмеялась. Старая краем глаза повела в ее сторону.

Кули подошел к хлеву. В соседней каморке спал работник Ион Безарбарзэ. Одиннадцати годков не насчитал — и уже работник? Да вот же и в свои одиннадцать исправно служит, насколько хватает сил. Доит корову, запрягает коня, колет дрова, таскает воду. Сноровисто работает — земля под ним ходуном ходит. Только нана Флоаря жалуется, что больно прожорлив.

— Пускай отъедается,— смеется Кули,— сил набирает. К лету, глядишь, окрепнет, за грудки с годовалым мохначом схватится в Варском яру.

Хлопчик и впрямь отъедается вволю, носится взад-вперед, громыхает посудой, а снимет смушковую шапку — под ней оказывается русая копна непокорных волос. Кули нравится звать его: Безарбарзэ!

По одному имени и то видать, что станет он видным парнем. Кули и невдомек, что имя это со времен древнего царя Децебала.

Он достал в темноте табакерку, вынул папироску, чиркнул спичкой. Увидел, что корова и телки лежат на подстилках, жуют. Конь, стоявший у яслей, повернул к нему голову и фыркнул: «Хн-хн...»

Кули потянул за собой дверь хлева, приладил затвор. Потом склонился к оконцу каморки:

— Безарбарзэ!

За стеной послышалась возня: Безарбарзэ тут же высунул в оконце русую голову.

— Слушай, Ону,— проговорил Кули.— На рассвете запряги коня и набей в сани побольше сена. Ясно?

— Ясно. В аккурат сделаю,— отозвался Ону.

Мальчишка отошел от оконца и вернулся к топчану у печи; склонил голову на подушку и тут же крепко уснул.

Егерь увидел, что туман и впрямь начинает редеть. В дальних крепях стояла еще непроглядная тьма, но тут перед домом немного развиднелось. Заметно было, как с синеватой снежной целины взмывают зыбкие призраки: они парили над полем, потом тихо сползали в низовье, словно студеное молчание вершин гнуло их к земле.

Гнев, отвращение томили душу егеря. Его подташнивало, как от ядовитого зелья. И отделаться от этого ощущения не было сил: подавленный, полный смятения, он не находил в себе ни капли того «полицейского» здравомыслия, которым так гордился. И к задуманной женщинами поездке он с таким остервенением готовился лишь затем, чтобы всем стало ясно, какие только нелепицы — миру на удивление! — не случаются на белом свете, какие только невзгоды не выпадают на долю кроткого и сговорчивого мужа; а главное, до чего могут довести бабьи языки, как они мучают его, морочат, пока он не лишится всего-всего — и терпения, и здоровья...

Когда же успел он воротиться в дом, опуститься на стульчик у плиты и снова зажечь папиросу? Собака вылезла из своего угла, подошла, опустила морду на его колено. Нана Флоаря спала рядом с младенцем. Ана тоже задремала.

Когда все это произошло? Сколько времени он провел на дворе? Когда вернулся?

Какой-то отрезок времени вышал, он не помнил, как и провел его. Висевшие между окнами ходики показывали второй час ночи. Маятник тревожно метался: тик-так.

Все вокруг было призрачно, зыбко. Краем глаза он поймал вспышку углей в печи и зажмурился. Вот так же сверкнул на Кули медвежий глаз в овраге.

Нана Флоаря тряхнула его за плечо. Тряхнула и во второй раз. А он лежал, привалившись грудью к углу плиты. И только когда она затормошила его в третий раз, он вздрогнул, повернул голову, хмуро вскочил.

Ничего не изменилось, остервенение по-прежнему владело им. Надо было что-то делать.

— Может, скажешь нам, наконец, что надумал? — нерешительно спросила нана Флоаря.— Непременно хочешь ехать?

Лицо его исказилось в отчаянии.

— Это я-то хочу ехать?

— А то кто же?

Он снова закурил. Спросил спокойно:

— Готовы?

— Я уже час, как дожидаюсь,— ответила Ана.— Жалко было будить тебя. Ты так крепко спал.

Ана полулежала на перинах, прибранная, одетая, в платке.

Нана Флоаря, что-то невнятно шепча, металась по горнице, отыскивая в закутках разные нужные вещи. Застонет, замрет на месте, потом опять начинает искать, позабыв о своих недугах И снова запричитает.

Кули плеснул в лицо водой, сполоснул рот, полный горечи. Натянул на себя доху на мерлушечьей подстежке и решительно вышел в сени. Собака поспешила за ним. В соседней каморе он нашел тулуп для матери: вернувшись, кинул его у плиты. Собака и тут стала путаться под ногами.

— Ты вот наладился ехать, а собака против,— процедила, оголяя единственный зуб, нана Флоаря.

Егерь не удостоил ее ответом... Ядовитая горечь все еще бродила в нем, накопившийся гнев все еще ждал выхода.

— Вот он всегда так,— вздохнула старая.

Сын молча повернул к ней хмурое лицо, вышел.

Заложенные сани ждали у дверей. День стоял ясный, погожий.

Ион Безарбарзэ хлопотал у саней, ловко поправляя сено, натягивая полости. Топал тяжелыми ботинками, то и дело утирая нос кулаком и посматривая на хозяина живыми глазами в ожидании приказов. Он смутно понимал, какая беда свалилась на егеря. Надо было как-то заполнить пустые минуты, не дать выхода хозяйскому гневу: потопал в дом и стал помогать женщинам, торопя их к отъезду.

— Погоди, пусть хозяин придет! — резко крикнула нана Флоаря.

Паренек не очень-то боялся ее окриков — старая была всегда добра к нему.

— Молоко вскипятил?

— Вскипятил.

— Выпил две кружки?

— Не-е. Одну только.

— Выпей и вторую. Подбрось сена коровам, а как отъедем, лети в Браниште, оповести кого-нибудь, что мы уехали.

— Кого оповестить? Баде Тому?

— Кого застанешь.

— Значит, можно сказать и Траяну. А что сказать?

— Пусть наведаются сюда да посмотрят, что тут да как. А мы теперь покатим до самого Себеша.

— Э-ге-ге! До Себеша путь далекий...

— Далекий-недалекий, ты делай, как велено.

— Сделаю. На то я и приставлен.

— То-то же. Скажешь, как бог тебя надоумит. А теперь вынеси тулуп. Я прихвачу младенца.

Воротился в дом и Кули — помочь Ане. Она попыталась было идти сама. Кули обнял ее за плечи, и глаза у него потеплели. Другой рукой подхватив ее под колени, поднял и понес. Она приникла к нему — он услышал стук ее сердца и одновременно тиканье часов. Нет, маятник стучал быстрее и громче. Свободной рукой больная

трижды перекрестилась на образа. Надежда придавала ей силы. Но тело на руках Кули было почти невесомым.

Бережно уложив ее в санях, закутав полостями, Кули вернулся в дом и остановил маятник часов.

— Он остановил тикалки,— таинственно шепнул Безарбарзэ нане Флоаре.

Та сокрушенно пожала плечами. Поступки сына были превыше ее понимания — взять хотя бы этот спешный отъезд на заре. Парнишка хмыкнул. Уместил в сене карабин, сунул кнут в передок, помчался за кэчулой, нахлобучил ее на копну взъерошенных волос, достал в закуте дубинку и быстро зашагал по тропке к Браниште. Мир между ним и хозяином был спасен, буря миновала.

— Корову я напоил! — донеслось с поляны.— И телок тоже. А ружье и кнут в кузове!

Кули ходил вокруг саней, проверяя, все ли на месте.

— Чего он орет, этот оглашенный?

Нана Флоаря хотела ответить, но он не стал слушать.

— Ну что, уселись? Долго еще канителиться?

— Господи, сынок! Говоришь-то как обидно...

— Говорю, как надо! А что зря тянуть: затаилась против меня вражья сила.

Нана Флоаря обмерла, услышав эти слова.

Изба, кухня и хлев заперты, но замков не видать. Замки внутренние, отомкнуть их деревянным крючком мог только человек сведущий. Хотя и особой нужды в запорах нет: какие уж в этаком безлюдье да в такую пору грабители!

Кули тронул коня, даже не оглянувшись. Он выехал на проселок и тут увидел, что Видра увязалась за санями. Остановив гнедого, он рявкнул что было мочи и неожиданно отпустил такое хлесткое словцо, что собака, поджав хвост, быстро засеменила к дому.

Нана Флоаря прикрыла рот платком. Больная улыбалась. Казалось, силы у нее прибывают, на щеках заиграл румянец.

С полчаса ехали спокойно. Конь пофыркивал, вдыхая рассветный студеный воздух; восход золотисто венчал дальние чащи. Потом проселок круто свернул в овраги. Кули резко соскочил, взял под уздцы коня, повел до следующей пологости. Дальше тянулась неровная наледь, а немного ниже пошли топи на незамерзших ключах. Кули зло покрикивал на гнедого, то и дело дергая узду.

Нана Флоаря не выдержала долгого молчания, спросила:

— А не сесть ли тебе в сани, сынок?

— Не сяду!

— Ох, Кули, до чего мы медленно едем!

— Едем, как можем.

— Горе мне с тобой! — Старая повернулась к Ане: — Скажи ему ты, душенька, пусть смирит гнев.

Сани тряхнуло. Флоаря вскричала:

— Погоди, Кули! Дай взглянуть на младенца!

Но егерь не слышал ее. Дернул узду, подтолкнул коня плечом. Езда по водомоинам да рыхлым снегам приводила его в ярость, хотя все это он предвидел. Именно это он и предвидел, злорадствовал Кули про себя.

Нана Флоаря нащупала под тулупом пищавшего младенца, взяла, прижала его к груди, снова укутала. Потом взглянула на больную: щеки у Аны снова поблекли.

— Скажи, душенька, может, лучше остановиться? — с тревогой спросила она.

Ана ответила глазами: нет.

Егерь влез в кузов и дважды огрел гнедого.

— Тише, сынок!

Он хлестнул коня в третий, потом в четвертый раз.

— Господи, владыка небесный! — жалобно протянула старая.

Кули стегнул коня в пятый раз, сжав челюсти, охватил хмурым взглядом горы, скрежетнул зубами. Гнедой опять заскользил по топкой глине.

Ехали час, потом другой. В одиннадцатом часу солнце скрылось во мгле, с севера потянуло знобким ветерком.

У выхода из ущелья в долину большой реки заметелило. Взвихренные ветром снежинки били в лицо и с шумом проносились дальше.

Гнедой остановился, понурив голову. Кули безжалостно погнал его вперед. Конь на мгновенье воспротивился, попытался взять влево. Егерь снова вытянул его кнутом. Сани запрыгали по бревнам мостков. Гнедой споткнулся о сломанные жердины, правая передняя нога вдруг провалилась, за ней и тело всей тяжестью рухнуло на бревна настила. Конь в страхе передернулся, рванулся, попытался встать; казалось, он весь сжался, напрягая силы, но тут же обмяк.

Кули соскочил с передка, сразу позабыв слепивший его гнев. Заорал на коня, что есть силы дернул вверх хомут. Но гнедой лежал обессиленно и откликнулся легким, странным ржанием, какого Кули никогда он него не слышал. «Ногу сломал»,— мысленно простонал он. И тут же лихорадочно стал расстегивать шлеи, потом отодвинул сани в сторону.

Нана Флоаря встала, обернула младенца в тулуп, уложила на прежнее место и поспешила к коню, чтобы своими глазами увидеть беду. А увидев, зажала виски ладонями и горестно запричитала.

— Кули, опомнись! Что ты! — возопила она вдруг, охваченная новым ужасом.

Впрягшись в оглобли, сын ее тащил сани под гору.

— Куда ты, родненький? Совсем с ума тронулся?

— Тронулся и еду в Себеш,— отвечал Кули с тяжелым сапом. Глаза его, огромные, страшные под насупленными бровями, неотрывно смотрели на жену. Ана лежала тихо, повалившись на бок.

Вот он — один из исходов, что угадывались смятенным сердцем. Непостижимые злые силы окружают его с некоторых пор. Вдребезги, точно зеркало, ни с того ни с сего разнесли всю его жизнь, счастье, любовь, которой его одарила та, что теперь безжизненно, точно брошенное старое платье, лежала на санях. Ана была повинна лишь в том, что любила его, ласкала, радовалась солнцу, лесу, всему этому миру, который порой казался полным смысла и красоты. А ведь он сразу понял, что от этой послеродовой горячки только чудо может спасти ее. И как только он осознал, что она умрет, все пошло наперекос: донимают вражьи силы, слепит туман, безлюдье гудит в ушах, глушь впивается в него когтями. Все ему противно, все отдает ядовитой горечью. Он раздавлен, силы на исходе. Кинуться бы головой вниз, покончить все разом, но в нем еще осталось упорство.

— Ооохх! — хрипло воет он.— Ооооххх!..

— Всемогущий боже! Царица небесная! Вы только поглядите на него, что он такое вытворяет!

— Ооохх! — казнился Кули, расстегивая кожух Аны.

Ана уже не страдала, не улыбалась.

Он прижал ухо к ее груди.

Сердце, что билось ради него, затихло.

На мгновенье Кули закрыл глаза. Криво усмехнулся. Сорвав с головы шляпку, откинул ее подальше. Вкрадчивыми движениями, с притворным старанием стал рыться в сене под телом усопшей. На самом дне кузова на обычном месте он нашарил топорик.

Нана Флоаря смотрела на него не дыша: сын внушал ей теперь только ужас.

— Что ты надумал, горемычный? Добрые люди, честной народ! — завыла она в голос, заметив на лесной тропе приятелей из Браниште.— Православные, остановите его, он совсем ума решился! Вот так же буянил, бывало, и его отец, царствие ему небесное! Как накатит на него — ничем не проймешь. Восемь лет с ним маялась, пока не овдовела. Матерь божья, владычица небесная! И бедствовала я, и горе мыкала с этим единственным сыном! Холила его, растила, надеялась на него. Так не дайте же ему пропасть, люди добрые, братья во Христе! Ох, горе мне, горе!

Из слов Безарбарзэ баде Тома и Траян поняли, что обитателей урочища подстерегала беда. Теперь они своими глазами могли убедиться, что Кули помрачился в уме. Они погнали лошадей. До саней оставалось двести шагов.

Кули двигался без особой поспешности. Сперва вынул из передка карабин, подошел к гнедому, чтобы хоть его избавить от страданий. Вставил дуло в ухо, выстрелил, пристально поглядел на коня, потом отер со лба холодный пот. Отвернувшись, бросил ружье и взмахнул топором над головой. То был знак, обращенный к небу, к чащобе, ко всем неведомым, сокрушившим его силам. Снова зароились снежинки, покалывая глаза. Замахнувшись что есть силы, Кули метнул топор в небо — то был последний вызов судьбе и полное признание поражения. Топор описал дугу и вре-

зался в куст малины. Всадники, оказавшись в опасной близости к этому месту, осадили коней, резко натянув поводья. Из-под куста выкатился взъерошенный заяц-беляк: сперва понесся было в их сторону, но тут же круто свернул в гору.

Траян, самый молодой, не удержался, гикнул вслед косому. Баде Тома сокрушенно покачал головой: зайца в этих местах, да еще такого белого, сроду не видывали.

В мгновенье ока они соскочили с коней, бросились к Кули и обхватили егеря с двух сторон. Он напружился, стряхнул их с себя. Они опять схватили его.

— Чего пристали? — крикнул Кули, отбиваясь кулаками.

— Сыночек, родненький! — причитала в голос нана Флоаря.— Запропала твоя головушка. Положите его наземь, добрые люди, свяжите его.

Кули внезапно обмяк, словно что-то оборвалось внутри. Потом, отвернувшись от всех, скрючился: его стошнило, скопившийся яд рвался наружу.

— Пускай его, Траян, не трогай,— сказал старый Тома.— Теперь ему полегчает. Видал, как он огреб самого дьявола — загнал его на лысую гору?

Он смеялся в одиночку, почти уверенный в истинности своих слов.

— А что, разве не так? — перекрестилась нана Флоаря.— Случалось такое и с моим супругом Негоицэ, земля ему пухом. Ох, и довелось мне, бедной, хлебнуть с ним горя... А может, лучше связать его? Только Христа ради будьте с ним поласковей. Один у меня сыночек, одна опора...

Но не было нужды вязать Кули веревками. По расчетам Томы Орэшану из него вышло не менее трех литров зеленого яду. Истинное чудо! Господа доктора при всей своей учености и то поди такой диковины не видывали. Леший их возьми, этих докторов: селятся по городам, нет чтобы тоже подняться в горы, где козы да волки...

— Как же теперь быть с ним? — недоумевал старый Тома.— Человек ослабел, по всему видать.

Оба они не отходили от Никулы Урсаке, бережно поддерживая его.

Лицо у егеря было землистое, глаза умучены.

А положение хуже не придумаешь. В санях — мертвая Ана. Палый конь на мостках. Дитя верезжит в овчинном гнезде. Позади одинокий охотничий дом. Впереди на дальних равнинах — людские селения. Метель неистовствует: утихнет ненадолго, потом опять запуржит, зашумит в еловых крепях, завеивая снежную крупу. Вот она, зимняя, тяжкая для горцев пора, когда глушь разрастается до самого неба, до самого края земли! Вьюжным арапником злобивый бог погнал в пропасть гурты дней — и мы, последние, спешим туда же... Конец всему! Не алеть уже цветам над нами...

— Что же делать? Что делать, добрые люди? — скорбно вопрошала нана Флоаря.— Одно остается: отвести больного домой, успокоить его, дать вылежаться. Со вчерашнего дня не ест, не спит. Мечется, буйствует. Пожалейте его, горемыку!

У Траяна, более молодого, увлажнились глаза:

— Как же не пожалеть, нана Флоаря? Мы не язычники, не какие-нибудь кальвинисты...

— Вот и я говорю: посадить его на коня да отвезти поскорее домой. Там парнишка разведет огонь, присмотрит за хозяином. И ты, Траян, побудь там, пока не вернусь. Беда еще, что усопшую надо везти в храм божий, а до Шугага церкви нитде нет. Лучше бы, конечно, отвезти ее в Лаз, родня была бы довольна. Все, что у меня есть, отдам, еще займу под честное слово, справлю все как положено по обычаю, ни в чем не откажу покойнице. И еще непременно надо найти кормилицу, вишь как дитя надрывается, силенок, видать, вдосталь. А пока дам ему бутылочку с молоком, я за пазухой держу ее, чтоб не остыла. Откуда ему знать, какая беда у нас. Ничего, бог даст — вымахает из него парень всем на удивление. Не знаю, верно ли я рассудила. Сами решайте.

— А что тут судить да рядить? — мягко проговорил Тома Орэшану.— Другого не придумаешь. Одно плохо: лес сторожить остаются теперь волки. Да и кобылка моя не подкована.

— Возьмешь моего каурого, баде Тома,— улыбнулся Траян.— И кобылке твоей меньше потеть придется.

Но старый Тома все еще толковал с самим собой:

— А все-таки как же нам быть? Допустим, отдам я кобылку. А бор? Он-то остается без присмотра.

Сидевший на земле больной проворчал с ухмылкой:

— Ну и пусть остается! Он и есть самый лютый враг.

Тома Орэшану уставился на Кули, дивясь тому, что он заговорил.

Кули шепнул еще:

— А гнедого начините ядом и киньте волкам...

Старый Тома горестно покачал головой.

Нана Флоаря — по женскому своему обыкновению — суетливо прибиралась в кузове. Потом молодой егерь помог ей снять с павшего коня сбрую.

Они сделали все, что полагалось делать в такой трудный час.

Старая, покойная Ана и младенец вместе с баде Томой спустились к вольным дорогам низовья.

Траян помог Кули взобраться в седло.

— Надо поискать топорик,— вспомнил он.

Но Кули Урсаке вцепился в него обеими руками. Таинственно шепнул:

— Не надо Оставь его, Траян. Все равно топорика не найти. И искать его не след...

Молодой егерь молча подчинился. Он немного робел при звуках незнакомого голоса.

— Что ж, надо ехать, баде.

— Едем. Только сперва постоим еще чуток. Скажи мне, Траян, где теперь сани?

— На зимнике. Катят в низовье.

— Да, катят... Слушай, Траян, ты можешь понять, что случилось? Ты можешь понять? Что ж ты не отвечаешь? На тех санях Ана — мертвая. А в Ане — мое сердце.

У него задергались губы и веки; он низко склонился к холке кобылы, заглушая рвавшиеся наружу стенания, сжал зубами репейный клок в конской гриве.

Прошло четыре дня, нана Флоаря и баде Тома благополучно вернулись. Младенца оставили в Лазе: добрая женщина согласилась кормить заодно со своим ребенком и чужого сироту.

— Только передала ей в руки сосуна, а он давай требовать положенного,— громко, чтобы слышали не только Траян и Ону, рассказывала старая.

Больной лежал в опустевшей кровати и глядел в потолок: казалось, он совсем не слушает, а вычитывает какие-то свои мысли, начертанные там.

Нана Флоаря вышла с работником в сени.

— Ну что, как он тут? — быстро спросила она.

— Да как, нана Флоаря. Днем лежит, как вот теперь. А ночью у него делается жар и бессонница. Тогда и нам спать не дает: все сказывает.

— А есть просит? — нетерпеливо продолжала старая.

— Просит, но в рот мало кладет.

— И ты запомнил, о чем он сказывал?

— Запомнил, нана, хотя и не все понял. Будто ездил он в дальнюю дорогу. Прошел в черную калитку и вступил в мир иной. И нечистая сила, меняясь в обличье, все завлекала его за собой. Больше всего манила в облике медведя. А медведь тот одноглазый. И все моргал тем глазом, полыхавшим, точно уголек в золе, и уводил его все глубже.

— Куда ж он его уводил? И к чему бы?

— Мне почему знать? А то еще приплетет и другие небылицы. Иной раз заговаривал и с молодой хозяйкой.

— С кем?

— С усопшей Аной, царствие ей небесное.

— Да ты что мелешь, малый? Как это он будет с ней говорить, когда она, бедняжка, спит на погосте в родном селе? И молебны за упокой ее души читаются, и мосты на тот свет, по стародавнему обычаю, наведены, и мыто оплачено? Она теперь в мире праведных, где ни вздоха, ни печали. Так что это приснилось ему в горячке.

— Понимаю нана, но он с ней разговаривал, и она отвечала ему. Мы-то ее голоса не слышали, а он слышал.

— Горе! И когда же это было?

— В первую ночь.

— А потом она еще являлась ему?

— Не-е. В другие ночи он сказывал только про приключение с косолапым.

Нана Флоаря перекрестилась и задумалась, прижав ладонь к лицу. Вдруг она заторопилась.

— Хватит об этом, Ону! Лучше беги в дом, разведи огонь. Я тоже сейчас прибегу, поставлю сковородку с копчениями: надо же хоть на скорую руку что-нибудь собрать к столу для наших приятелей. Я снизу привезла белый хлеб. А уж завтра испечем свой, домашний. И еще кое-что привезла. Ты все аккуратно достань из саней, смотри не урони чего. А что он еще сказывал?

— Кто?

— Зачем спрашиваешь? Кто ж как не твой хозяин? Теперь о нем одна моя печаль.

— Много чего сказывал,— улыбнулся Безарбарзэ.— Да разве упомнишь. Пойду-ка я лучше займусь с огнем в плите, как было велено. И товар из кузова достану.

— Иди, иди,— ласково проговорила нана Флоаря.— Я и тебе привезла медовых пряников. Смотри работай усердно, пока хозяину недужится.

— Да уж я постараюсь! — с важным видом обещал Безарбарзэ.

Топая башмаками, он направился на кухню, а старая вернулась к сыну.

Баде Тома и Траян сидели на стульчиках у постели больного. По лицу их было видно, что они кое о чем потолковали с Кули и ответами его остались довольны. Теперь все молчали.

Женщина двигалась на цыпочках. Сперва подошла под образа, поправила огонек лампады. Уложила на место тулуп и меховушку, брошенные у плиты старым Томой. Потом придвинулась ближе, чтобы получше разглядеть сына. Заметив, что застит свет, тут же отступила к печке, освободив место. Движения у нее были легки и стремительны, хотя все эти четыре дня спала она мало и положила изрядно сил, чтобы справиться с трудностями и расходами, ублажить попа и прочих обитателей низовья. А чего только стоили ее старания раздобыть все нужное для похорон, ничего не упустить из того, что требовалось по старинному чину последних проводов. Притомилась, конечно, не выспалась, однако держалась крепко: сжатые губы, живые глаза на увядшем лице.

Когда она отошла к печке, свет из окна залил угол, где лежал егерь. Он узнал ее, но смотрел без улыбки.

— Кули,— мягко проговорила она,— все справили как надо.

И тогда он выдохнул слово. Она одна поняла его: впервые он вымолвил это слово, когда только начинал открывать мир и жизнь вокруг себя.

Двадцать восемь лет прошло с той поры, как оно впервые прозвучало. Теперь, выговорив его, Кули протянул правую руку. Старая подошла, опустила холодную ладонь на горячие, охваченные легкой дрожью пальцы. Когда он поцеловал ей руку, нана вся затрепетала.

— Ты один у меня, Кули,— сказала она, едва сдерживаясь, и наклонилась к нему.

На лице егеря мелькнуло что-то похожее на улыбку.

В этой призрачной улыбке была вся ее надежда, все, что ей осталось на этом свете. Старая отступила за угол печи, где Кули не мог ее видеть. Там, прижавшись к стене, дала волю неслышным слезам. Трижды собирала их кончиками пальцев и стряхивала на пол. Потом тыльной стороной ладони и уголком платка вытерла глаза и опять вышла из своего укрытия. Походила по горнице, убрала какие-то тряпки и поспешила на кухню — стряпать для гостей.

За трапезой на кухне уже и Траян рассказал, как они коротали при больном время. Баде Тома, человек бывалый, полагал, что горячечный морок скоро пройдет. Нана Флоаря держалась того же мнения, но все же, считала она, не худо бы призвать старого иерея, чтеца целительных молитв. В тяжком недуге Кули повинен был медвежий глаз. Она так определяла его, чтобы не назвать подлинным именем: свят, свят, с нами крестная сила!

А последние слова Траяна и вовсе порадовали нану Флоарю.

— А вчера утром баде Кули велел Ону пустить ходики,— рассказывал молодой егерь.— Подтянуть цепь и поправить стрелки.

— Скажи, Траян, говорил-то он вразумительно?

— Да, нана Флоаря. Коротко, но зато внятно. Безарбарзэ тут же подтянул цепь и поставил стрелки на восемь часов. К этому времени, говорил он, прилетает зеленый дятел и принимается долбить старую ель возле дома. И будто он уже сейчас слышит стук. Мы тоже, как умолкли, услыхали его.

— А Кули?

— И он услыхал. Ты завтра утром последи, нана Флоаря. Увидишь: как только часы укажут восемь, баде Кули настораживается, ждет, чтобы дятел застучал. А тот как

начнет, так стучит не восемь, а восемью восемь раз, а то еще больше. Ему, видать, нужен самый что ни есть большой червь: дупло выдолбил в два раза больше моего кулака.

— Выходит, и у елей черви точат сердцевину,— вздохнула нана Флоаря.— Нам бы, парень, для себя найти такого дятла.

Траян рассмеялся, услышав ее слова. Но на лице наны Флоари не было и тени улыбки.

Кули хворал всю зиму, но хуже ему не становилось. Истощал он, сила из него вся вышла. Иной раз после полудня у него делался жар, правда несильный.

В четвертый день января 1926 года, сразу после Нового года, в урочище приехали хозяева. А виной тому оказался старый Тома. После долгих раздумий да сборов он наконец решился и к исходу ноября отправил письмо в город Сибиу. То было шестое письмо в его жизни. Первые пять он написал в дни минувшей войны — там и научился выводить на бумаге слова.

Но письма баде Томы надо было читать по-особому. И не потому, что буквы были неумело выведены и нацарапаны пером, а по причине иного свойства. Если уж каждый житель нашего королевства полагает себя вправе презреть грамматику и академические правила, то баде Тома мог себе позволить и вовсе о них не думать, благо и не подозревал об их существовании. Следовательно, он был волен расширять по своему усмотрению пределы графических свобод. На почтовой открытке он вывел строчки сперва вдоль, затем по углам, а уж потом разбросал отдельные слова по оставшимся белым островкам.

Трем приятелям-охотникам, собравшимся по этому поводу на совет, понадобилось не менее двух бутылок доброго вина, чтобы кое-как свести воедино эти бессвязные обрывки мыслей баде Томы, которые в общем-то оказались вполне логичными и стройными. Третью бутылку друзьям пришлось потребить при разборе двух особенно заковыристых мест. Виной тут была другая система старого егеря: дело в том, что он не всегда полагал необходимым приравнивать произносимые слова к определенному сочетанию букв. Убежденный в том, что послание его должно сказать господам гораздо больше того, что в нем начертано, баде Тома к тому же считал, что не столько соотношение звуков, букв и смысла скажет им, о чем речь, сколько иная сила, символом коей было письмо с его загадочным странствием, да воля небес, устанавливающая порядок и последовательность во всем.

И тут баде Тома действительно не ошибся. Письмо, отправленное в эти зимние месяцы из дремучей глуши, могло означать только одно: в горах беда то ли с людьми, то ли в зверином царстве.

Вот содержание открытки, согласно предложенному тремя охотниками варианту:

*глубоко уважаемому господину дохтуру иерониму драгу адвокату в городе сибиу в румынской стороне почтительно уведомляем что с нашим камрадом урсаке никула прозваный кули приключилас история каковой свет не видывал и даже в кни гиликсан драмаки донс кого такоис тории нисышит ся какая приключилас с урсаке никулой прозван кули вашим служителем и нашим камрадом с ним же мы и на войну ходили в восьмом егерском полку штаймарк в карпатских горах и земле галицейской под пулями снарядами и колючей проволокой а потом дрались за нашу землю и то не пропали а теперь урсаке никула было пропал когда случилось чтос упру гае гопоиме ниана приста вилас в ноябре месяце семнадцатого дня и почтительно просим приехать проведать и привезти ище и дохтура хорошо бы думаю я приехать бы господину дохтору Мику он был с нами на войне а козы и лани здравствуют корма хватает зима мягкая на чем кончаю почтительно кланяюс Тома егерь и прошу привезти ище яду для волков*

Не сразу удалось разобрать третью и четвертую строки:

«в кни гиликсан драмаки донс кого такоис тории нисышит ся».

Однако приложив некоторое старание — после обмена телеграммами и того памятного заседания в Сибиу,— друзья отчасти пришли к согласию, что смысл утверждения баде Томы таков: «в книге Александра Македонского такой истории не сыщется, какая приключилась с Урсаке Никулой».

Второй же отрывок при всем старании господ охотников так и не удалось разобрать. Строка была втиснута в угол открытки, притом у нее не хватало слога — он отыскался позднее на одном из белых островков:

«чтос упру гае гопоиме ниана приста вилас».

Сибиуского господина звали Иероним Драгу. Истый охотник, он как никто в горах умел подманивать на голос оленей в осенние дни: приложит ракушку к губам, помычит, рогач и отзовется. То был смуглый мужчина с пронзительными глазами. А вот клужский господин Ионашку Попа выглядел иначе: кроткий великан с глазами навыкате под каштановыми ресницами, с мягкой речью. Доктор Мику был малорослый мужчина нервического склада и необычайной подвижности: пока его друзья проходили расстояние в одну сторону, он успевал дважды обернуться в оба конца.

Выкроив свободную неделю для нежданной экспедиции, они пробились на машине до самого хутора Тэу, а оттуда двинулись дальше уже на широких санях, набитых мехами и припасами.

Бубенцы на шлеях коней еще не отзвенели, а они, выскочив из кузова, уже спешили к своему доброму поводырю, предмету их неустанных забот на протяжении долгих лет. В кармане меховой куртки Иеронима Драгу лежала открытка баде Томы.

Когда хозяева с доктором вступили в горницу, Кули попытался подняться с постели, на которой сидел. Одет он был по-праздничному, даже при галстуке.

Доктор Мику поспешил к нему, взял за руку, усадил обратно. Егерь часто заморгал, хотел было воспротивиться, потом подчинился, сел.

— Ха-ха-ха! — вскричал Иероним Драгу.— Кто это выдумал, что Кули болен? Да и с какой стати ему болеть?

— Немочь тяжкая меня одолела, господин,— устало проговорил Кули.

Врач между тем пощупал лоб больного, послушал пульс. Ионаш Попа, притулившись к печке, не спускал с Кули глаз. Он был для него и впрямь бедным братом по охотничьему роду-племени, обреченным жить на краю света. Нана Флоаря только и успела сквозь всхлипы шепнуть несколько слов о горестном происшествии. Ее Кули помешался в уме. А случилось все во вторник; недаром говаривают старики: в этот день дела не начинай, в дорогу не отъезжай.

Сидя рядом с Кули, доктор по-дружески с ним беседовал:

— Выходит, остались этой зимой козы и оленухи без пригляда, верно я говорю, Кули?

— Что сказать на это, господин? Я так думаю, что через недельку выйду, сам за ними присмотрю.

Тут вмешался Иероним Драгу:

— Нет нужды спешить, Урсаке. Мы тебе поможем.

— А как же насчет волков, господин? — полюбопытствовал больной.— Раз вы привезли порошки, то надо им и угощенье готовить.

— Сами справимся, Кули,— мягко успокоил его господин Ионаш.— И нана Флоаря знает толк в этом деле. А куньи капканы понесет Ону. Хорошего помощника ты себе нашел. В жизни не видывал более шустрого паренька.

Видно было, что эти слова пришлись больному по сердцу, но он потупился и промолчал.

— А потом мы заявимся в апреле, Кули, когда токуют глухари.

— Хорошо, господин.

— Я вышлю тебе всякие лекарства, принимай их аккуратно.

— Хорошо, господин. Я и так чувствую, что скоро окрепну и займусь своим делом. Иное горе у меня...

Из-под образов донесся вздох наны Флоари и тихие, обращенные больше к себе самой ее слова:

— Горе-то его из-за бедной Аны, царствие небесное...

Воцарилась тишина. Громче затикали ходики: «тик-так-тик» — невесть зачем торопились они.

Трое приятелей переглянулись. Иероним Драгу постучал пальцем по лбу, потом достал из кармана куртки послание старого Томы и поднес к глазам.

— Ах, вот оно что! — прошептал он.— «...что супруга его по имени Ана преставилась...»

— Верно,— в печальной задумчивости кивнул господин Ионаш.— Слишком быстро на этом свете все забывается. Аной звали ее. Я никак не мог понять, отчего не видно ее.

Невнятный шепот доносился до слуха егеря. Отвернувшись к стене, он погрузился в свое одиночество.

Потом, сидя уже в гостиной, господа услышали от наны Флоари рассказ о случившемся. Конечно, узнали они все не сразу: хозяйке первым делом пришлось накормить

гостей. Она то и дело заглядывала на кухню, из кухни — в камору, из каморы — на чердак за салом, с чердака — в курятник за свежими яйцами, о появлении которых оповещало громкое квохтанье; а потом опять на кухню да к господам. Между тем доктор наведался к Кули, взглянуть, как он.

— Спокойно лежит, скоро оправится,— заверил он друзей.— У него нервный шок.

«Гм, слово-то какое диковинное,— размышляла про себя нана Флоаря.— И не упомнишь...»

— Вы в самом деле думаете, что оправится? — взволнованно спросила она, повернувшись к ним, и тут же взялась выгребать из шкафа утиральники и посуду.

— Не тревожься, нана Флоаря, непременно оправится,— подтвердил Иероним Драгу.

— И станет такой же, как прежде?

— Еще здоровей и краше: ведь до сих пор он не ведал ни отдыха ни покоя.

— Что верно, то верно, ваши милости! И не откажите на добром слове: по вкусу ли вам глазунья на сале, хватило ли десятка яиц? Уж так я проклинала войну, куда ушел мой Кули десять лет назад, что охрипла от проклятий, колени поистерла, отбивая поклоны в храме божьем. А на те деньги, что плачены были попу за службы, корову можно купить. Уж как я боялась, что не вернется, а пришел милостью божьей. Вот и теперь перепугалась я, как тогда.

— Что ж, нана Флоаря,— вмешался господин Ионаш,— беда-то у него тяжелая, да и такая проходит. Он ведь любил свою Ану.

— И думаете, он по этой причине и захворал? — спросила она, пытливо вглядываясь в лицо гостя.

— Из письма Томы тоже так выходит.

— Много он знает, ваш Тома! Оно конечно, Кули убивался, как-никак жена! И я, когда потеряла моего Негоицэ, упокой господи душу его, горевала, однако ж головой об стену не билась, не обеспамятовала. Прокатилось горе надо мной — я и выпрямилась. От эдаких горестей человек, глядишь, и оправится. А тут было другое.

— Что же, по-вашему?

Нана Флоаря обошла ответ, как обходят заколдованную светлицу, куда нет входа большим и чересчур ученым господам.

— Чем же еще попотчевать дорогих гостей? — спросила она, молодо улыбаясь.— Куриной чорбой? Или копчениями, что лежали в вашей сумке? Вы как полагаете — много богатств мне досталось от покойного мужа? Забот много, ваши милости, нужды еще больше! В бедности обреталась, заботой укрывалась. А Кули в люди вывела! И такая у меня на него надежда была, что словами не скажешь: легко ли мне терять все, что я с таким трудом припасла. Вот и не нарадуюсь, когда вы говорите, что он оправится: значит, поживу еще на свете, и Октавян мой вырастет.

Иероним Драгу удивился:

— Что за Октавян? Не имеем чести знать такого.

— Ваши милости, гости дорогие, уж вы не смейтесь надо мной! — смутилась нана Флоаря.— Моему Октавяну и двух месяцев еще нет. Женщина в Лазе взяла к себе мальца, кормит грудью, и я плачу ей за это. Этот ребятенок — все, что оставила нам бедная Ана. Бесприданницей взяли ее в дом, вот она и откупилась крепышом. Поклон ей до земли за этот дар, подобный доброму саженцу. Пригожа была, ничего не скажешь, пригожа, оно и понятно, что Кули по ней убивается. И ласковая, и смирная, вот только рано вставать не любила. Но у красоты век короткий, и мы тут в человеке привыкли другое ценить; вот отчего я, старая, на внука и не нарадуюсь. Пожалуйте к столу. А изволите, так и брынза найдется. Летось сама ездила за ней верхом к овчарням Шуриана. А готовил ее для меня кум мой, добрый чабан.

— Благодарствуем, нана Флоаря,— ответил господин Ионаш,— мы и так много довольны.

— Как погляжу, вы совсем ничего и не отведали, ваши милости. Да, вот что еще хочу сказать: столковалась я с отцом Григорием Богданом из нашего села. Добрый дар у него — чтением молитв исцеляет недуги телесные и душевные. Трижды передавала ему через знакомых людей, чтобы приехал. А он — то дела в брашовском суде, то праздники приспели, то стар и не осилить ему гор да зимних метелей. Осталась я ни с чем. А после всего, что случилось, непременно бы надо замолитвить дом. Попросила я Тому съездить еще раз на крещение, привезти хотя бы святой воды. Хорошо бы привез водицу к послезавтрашнему дню.

— Нана Флоаря,— приободрил ее Иероним Драгу,— на крещенье божьим промыслом все воды на свете сами освящаются.

— Что ж, раз вы так говорите...— усмехнулась старая.

— Говорю, нана Флоаря, потому, что сам в некотором роде духовного звания. А отец мой, светлой памяти, так тот и вовсе священником был.

— Оно конечно,— поспешила согласиться нана Флоаря,— усопший Негоицэ, муж мой, был певчим и тоже так говорил. Да мне все же хотелось бы получить водицу из иордани нашего села. Вспомнила бы наших людей, праздничные забавы... Далеко же меня занесло, в глухомани живу.

Она еще что-то говорила, вознаграждая себя за долгое молчание и невеселые думы. Потом вышла, чтобы дать гостям отдохнуть.

Этот дом был старым охотничьим пристанищем. На белых стенах висели трофеи и фотографии. Иконы обрамляли венки сушеницы, словно сохранившие еще солнечное тепло. Над некоторыми портретами склонились увядшие цветы былых времен. Вестники печали погружались в глубины моря, отшумевшего вместе с веснами, и находили там одни поблекшие лучи. И все же в этих отсветах былых забав таилось что-то отрадное — они воскрешали в памяти нежный облик молодой женщины, которой уже не было...

За те два дня, пока в урочище находились гости, Кули стал оживать — по мнению доктора Мику, это было самым верным свидетельством, что исцеление теперь — дело ходиков на стене, иными словами, дело времени. Потом господа вернулись в Сибиу и Клуж, в горах опять установилась настоящая зима. С севера налетела снежная вьюга, началась она седьмого января на Иоанна Крестителя и бушевала до десятого пополудни. И до того неистово перекликались горы на все голоса — ущелья низким воем, вершины пронзительным, что Кули в те дни почти совсем не сомкнул глаз. Временами ветер затихал, страшный вой уносился вдаль, и тогда слышен был могучий прибой чащобных волн. Потом с воем налетал новый снежный шквал, и Кули чутко улавливал слухом прежде всего тоненькое дребезжание, которое, казалось, проникало через оконную щель. Этот струнный звон предназначался ему одному. Кули вслушивался в него, пока снова не начиналась лютая разноголосица метели, вздымавшей снежные валы.

Буран замел дорогу и тропинки. Счастье еще, что баде Тома успел принести из низовья водицу, освященную в божьем храме. А в десятый день января, когда ходики показывали полдень, повернулся ход времени и буря затихла. Долго еще доносился гул натруженных лесов, потом в облаках появились просветы, засверкало солнце, и лучи его коснулись лица Кули. Он улыбнулся. Нана Флоаря приняла от кровати столик с едой и уселась у плиты, сложив по обыкновению руки на груди.

— Теперь, может, вздремнешь, Кули. Вижу, лицо у тебя малость прояснилось.

— Ничего, матушка, высплюсь, еще успею. Не знаю, как там Ону: справился ли с кашканами. Теперь ему будет труднее — буран, поди, немало их поопрокидывал.

— Не думай об этом, Кули. Придет баде Тома, посмотрит. Он и без того крепко нам помог. А парнишка не по годам сметлив, хоть и малолеток. Уже добыл четыре шкурки.

— Хоть и сметлив, а все одно малолеток. Нет, самому придется идти.

— Ну и сходи! Такому решению только радоваться надо. Еще на Иоанна Крестителя, сынок мой, когда Тома вернулся с низовья и я окропила все строения святой водицей, и брызнула в сторону бора, и в источники плеснула, откуда пьем и мы и скотина, заметила я, что глаза у тебя прояснились. Так что теперь, думаю, как только войдешь в силу, сможешь заняться своими делами. Ведь как я все это проделала, налетел буреломом, все непотребное вымел, унес в пустое место. Случилось уже со мной такое однажды при твоем отце, блаженной памяти. Вернулся он как-то с мельницы подвыпивший и злой и ну давай браниться и сквернословить. Я молчу. А он на меня как закричит: чего, мол, отмалчиваешься, отвечай! Тут я и вовсе окаменела. Ударил он меня, и увидела я в его глазах тот самый блеск, что не от человека — мне это доподлинно известно. Блеск тот от нечистого. Сперва я решила было, что не выживу, так отвозил он меня. А потом за его жизнь стала бояться. Спишь, Кули?

— Нет, матушка. Рассказывай, как было все,— шепнул он голосом, которым обращался к матери, когда она в детстве баюкала его сказками.

— Расскажу. Было отчего бояться за его жизнь, потому как он кинул меня в угол избы и был таков. Испугалась я: как бы в Муреше не утонул. А он, сердечный, отпра-

вился прямо в шинок, к еврею, и еще добавил. А как выпил, разгрыз стакан зубами и ну хрустеть стеклом, пускать кровавые пузыри. Потом пошел куда глаза глядят да в темноте, оскользнувшись, свалился на берегу пруда и заснул тут же. Добрые люди подобрали его, привезли больного домой. Ты в ту пору был мал еще, ничего о том и не знал. Обняла я друга родимого, уложила. Долго потом обихаживала его. Пока не послал мне господь вот такой же ветер. Стояла осень. И вот нынешняя буря напомнила мне тот ветер и тот случай. Встал Негоицэ со своей постели и поискал на полке часослов. Он был хорошим певчим, светлая ему память, и часослов у него был красивый, купленный в Буде, он и теперь стоит на полке рядом с твоими книгами. Только он потолковее книг этих твоих — в нем молитвы на все трудные случаи жизни. Открыл он, значит, часослов этот и стал читать, а я слушала. Отрадные слова: оба мы исцелились. Слова эти и теперь есть в той книге, и тебе бы надо знать их. И до чего я жалела, Кули, особенно когда ты хворал, что грамоте не обучена. Но место, где читал Негоицэ, помню. Там мой знак остался да еще капля воску. Я тогда приложилась к странице, и осталась на ней кровяная метка от раны на губе: след ее и теперь там хранится.

Никула слушал, удивляясь все больше. Он ничего не знал об этих давних событиях. Образ отца, певчего, смутно вырисовывался среди теней прошлого.

Нана Флоаря встала со своего места, прошла под образа и сняла с полки часослов. Он был напечатан кириллицей, много лет назад егерь пытался было одолеть азбуку и отчасти преуспел. Потом бросил — он был егерем, охотником, а не певчим. Его храмом было безлюдье, свечами — звезды, а порой глаза зверей. Песнопения слышались ему в голосах вод и еловых дебрей. Он был молод, радовался жизни и любви и — хвала небу — не успел еще осознать всей грозной силы неведомого.

Старая принесла часослов, сразу открыла его на странице с пятнышком крови и восковой слезой и стала ждать, когда зазвучит голос сына Негоицэ, — теперь она явственно слышала, как похож он на голос приснопамятного певчего.

— «Яко ты, господи, заступник беззаступных...» — читал Кули по слогам.

«...Яко ты, господи, заступник беззаступных, упование страждущим. И наипаче молим тебя, боже многомилостивый и всеутешный, отпусти всякие согрешения и очисти слабодушных, что в скорби, в горе и злосчастье легко впадают в уныние и делаются язычника злее».

Молитву нана Флоаря знала наизусть — она шептала ее, смежив веки, помогая медленно читающему сыну. С того памятного вечера после бури певчий читал ее каждый день до самого последнего. Мало было этих дней, быстро они промелькнули. Мало их было, и часто омрачались они гневными вспышками. Но молитва и примирение после каждой такой вспышки были все сладостней. И хотя воспоминания крепко взволновали ее, женщина трепетно ждала, как отзовется душа сына на голос провидения, пречистой девы и прочих «сил».

Урсаке прочел во второй раз молитву, чувствуя, как мягчает душа. Он улыбнулся матери.

— Я еще хотела сказать, Кули, — продолжала нана Флоаря, — что баде Тома привез с низовья добрые вести: сын твой растет, улыбаться стал.

Егерь не проявил особой радости по поводу успехов ничтожного существа, что пришло в жизнь ценою лютого злодейства.

— А еще сват Митря и сватья Елизавета велели передать, что девятины и сороковины они справили как положено.

Кули нахмурил лоб. Но вести эти непременно следовало знать: по совершении поминальных молебнов души умерших перестают бродить вокруг нас и тревожить живых, они обретают покой у престола всевышнего, в праведных селениях, где райские кущи и пристань веселья.

Как только затихла январская стужа, Кули вернулся к делам; нана Флоаря решила, что беда миновала. Зима выдалась не очень упорная и не такая уж лютая, но козы и оленухи понесли немалый урон. В своем отчете егерю из Прелунч пришлось отписать хозяевам, что две лани зарезаны на склоне Бары, одна — у родника Черны, а четыре козы полегли у Черной Ветки. Были, должно, и другие потери, но он еще не успел обо всех разузнать. Да и те, о которых он писал, обнаружил Ону Безарбарзэ. По снежному насту, продутому ветрами и скованному морозом, волки бежали как по настилу, а оленухи пробивали его копытами, проваливались. Беспощадные охотники настигали их в

труднопроходимых местах и приканчивали. Правда, часть убытка они сами же и вернули: польстившись на отравленную приваду, некоторые из них остались лежать на снегу, точно свернувшиеся черви,— и в долине Бабы, и на тропе, что вела к кабаньей трясине. Пало семеро волков, и теперь Ону то и дело передвигает распяленные на досках шкуры, чтоб на них все время падало солнце. Медвежьих следов пока не видно: мохначи залегли в берлогах. Только теперь, к середине марта, почуяв дыхание весны, они начинают просыпаться от спячки. Настанет время, писал Кули, когда господа вышибут дух из их медвежьего пастыря: шкура у него с черными подпалинами и, должно, не менее пяти шагов в длину и трех в ширину будет. Этот мишка шельмоватее остальных — повадился таскать конские окорока, подвешенные под хохштандами.

— Ничего, приспеет, шельмец, и твой час! — пригрозил Кули своему медведю. Пока он еще не знал, залег ли он в окрестностях урочища или ушел подальше, скрылся в дальнем чащобнике.

В середине апреля приехал доктор Мику проведать егеря, посмотреть, как он выглядит. А выглядел он вполне сносно, и новости насчет глухарей были у него самые отрадные. Доктор Мику похвалялся, что по части охоты на горных петухов равных ему нет...

— Семнадцать трофеев у меня,— повторял он.— Нужен восемнадцатый!

«Что ж, при такой подходящей кличке [1],— с улыбкой думал Кули про себя,— господин доктор непременно должен считать себя самым большим среди всех знатных охотников мира».

Глухари водились в Большой Низине и иногда по утрам токовали на пристывших сугробах. У 1500-й отметки в укрытой западине стояла старая еловая куща. Егерь отправлялся туда каждый вечер — слушать, как с шумным хлопаньем прилетают мошники. Запомнив деревья, на вершины которых они опускались, Кули возвращался в урочище. Он рассказывал гостю все, что сведал о горной птице и в нынешнем и в прошлые годы. Дав доктору немного поспать, он будил его за три часа до рассвета, и оба отправлялись в ночную глушь, освещая путь фонарями. Приблизившись к владениям глухарей, они гасили огни и продвигались в полной темноте. Через короткое расстояние замирали, вслушиваясь в щелканье и жаркие любовные трели самцов. Пока они пели, птицы ничего не видели и не слышали, лишь топорщили веером все восемнадцать перьев хвоста на темных еще, но уже занявшихся рассветной дымкой вершинах.

Отшумели брачные игры глухарей, и в том же месяце мае в еловых крепях сбежали последние снега, а на солнечных лужайках показались стебли прострела и дикого шафрана. Забродили соки, стали лопаться почки, в горных струях засверкали форели, гоняясь за первыми мушками. И тогда вслед за доктором Аурелом пожаловал из Сибиу господин Иероним Драгу и предложил Кули вести их к лесным посадкам, где водятся дикие козлы. И хотя волки нанесли изрядный урон, дичь оказалась здоровой и крепкой — козлы откликнулись с крутояра в первый же полдень. Кули сопровождал господина Иеронима, Ону Безарбарзэ — доктора. Нана Флоаря всякий раз выходила провожать их на крыльцо, рукава у нее были засучены, руки по самые локти — в тесте. Не было для нее большего удовольствия, чем услышать через открытую дверь раскаты выстрела, отзвуки которого то громче, то тише отдавались в излучинах гор.

К вечеру возвращался господин Драгу, за ним Кули нес на спине убитого козла. Однажды вечером Безарбарзэ и доктор не без труда приволокли такую же добычу; а потом, стоя у плиты, парнишка битый час рассказывал своей хозяйке, как появился козел, как они скрадывали его, как бабахнуло ружье и, главное, как он лично нашел животное, рухнувшее в непролазные заросли.

Нана Флоаря слушала рассказ с удовольствием. Минет всего несколько лет, думала она, и парень запросто притащит козла один, без посторонней помощи. Отшагает с таким грузом десять километров по горным тропам и — по обычаю истинных лесовиков — радостно подпрыгнет у крыльца, дважды звякнув шпорами, прежде чем коснуться земли.

Иногда в охотничьих вылазках участвовала и Видра: она причуивала след подранка и по кровавым отметинам, и по острому духу, который козел, словно легкую дымную струйку, оставлял за собой.

Потом пришел сенокос, настала пора копать картошку, чинить дощатый заплот. В то лето нана Флоаря позволила сыну делать все, что душе его было угодно. Ездил он

[1] Мику — малый, низкорослый *(рум.)*.

и в Себеш — продавать волчьи да куньи шкуры; а по возвращении поднялся на гору Пэтру и отсчитал гуртоправам с Сибиуской Поляны задаток за осеннюю брынзу; потом наведался к приятелям в Браниште, с их помощью выбрал и купил с торгов коня вместо гнедого. Этого звали Буланый. Крепкий и кроткий конята. Спускаясь с хозяином к берегам Фрумоасы-реки, он всякий раз шарахался в сторону и, пофыркивая, объезжал место, где недавно случилась лихая беда и до сих пор валялись лошадиные кости. Кули, занятый своими мыслями, порой забывал об этом. Но Буланый подавал знак, будил память. Потом на исходе августа прошумел косохлест, проселок очистился, и всякая память о случившемся исчезла.

Пора оленьего гона прошла спокойно, гостей не было. Потом пришла весточка от господина Ионаша Попы, мол, не забыл он про черного медведя, едет, хочет добыть его. Весть как нельзя более кстати: у старого хохштанда в низине опять объявился четвероногий вор. По крайней мере так казалось Кули — у лабаза ходил тот самый медведь, которого он считал своим.

— Видел косолапого,— сообщил он нане Флоаре.

— Какого косолапого? — воскликнула она.

— Моего.

Когда он впервые это сказал, старая нахмурилась и склонилась над рукоделием. Кули посмеивался.

— Уж лучше бы о другом думал,— сказала мать.

— О чем же о другом? Я о своем думаю — о лесе да о зверях.

— И то дело. Только ты, сынок, не забывай, что на свете есть еще кое-что. У тебя сын.

— Бог с ним. Не надо мне его. Я и без него забыть не могу — в бору ли, за столом, во сне, с приятелями ли, один ли — того, что любил пуще жизни. На что мне свидетель? Чтоб вечно обо всем напоминал?

Нана Флоаря тяжко вздохнула.

— Ладно, Кули...

Он подошел, приложился к ее руке. Она оставила его в покое: нет, срок, видать, еще не настал.

А медведь, которого он считал своим, все чаще показывался на прогале, словно искал чего-то.

«Пули своей ищет,— с какой-то тайной радостью думал Кули,— или вспомнил, что тут под лабазом куски конины хранятся; а может, он господских кровей, прогуливается просто так, удовольствия ради или отъедается малиной в непролазных зарослях; а то, поди, медовый дух учуял, решил, что где-то в дупле запрятан пчелиный рой. Ничего, я для него нашел отменного лекаря, уж он-то поднесет ему знатное угощение...

Господин Ионаш прибыл в полдень 14 октября. И сразу выслушал рассказы, предположения Кули, описание местности — все, что полагалось охотнику знать. Он улыбался, прилаживая карабин, в совершенной уверенности, что не увидит и следа мохнача — в охотничьем деле оно чаще всего так и бывает.

— А вообще как дела, Кули? — спросил он внезапно.

Егерь удивленно оглянулся, точно искал остатки тех руин, о которых хотел знать хозяин. Но не было вокруг ни развалин, ни пепелищ. И все же Кули, нахмурившись, заглянул в себя, не торопясь с ответом. Господин Ионаш покачал головой, подошел к егерю, приязненно похлопал его по плечу.

— Не слишком ли ты одинок, Кули?

Егерь решительно покачал головой. Заезжий гость на что-то намекал, но о том и речи быть не могло. Впрочем, господин Ионаш находил, что Кули обрел прежнюю смелость и сноровку, а к тому, что происходит в чаще, чуток необыкновенно.

Они отправились в горы в тихую, совсем безветренную погоду. Тень в пихтовых рощах отдавала сыростью; на лужайках играли холодные золотистые блики. К пяти часам они были уже в котловине за лабазом. В глубине еловой кущи открывался просвет, за ним прогалина округло раздавалась в стороны. Перед охотником, скрадывая его высокую фигуру, возвышался скалистый порог, на нем лежало ружье с оптическим прицелом. Кули занял свое обычное место, притулившись в зарослях кипрейника...

Они прождали до самых сумерек. Потом заговорили шепотом, готовясь в обратный путь.

— Тут все проще простого,— пояснял господин Ионаш,— дичь является не тогда, когда угодно нам, а когда ей заблагорассудится. День отменный, в этом божелесье мно-

жество прелестных уголков. Стоит нам отправиться к ним, как дичь наша пожалует сюда.

Но егерь настаивал, сам не понимая почему:

— Обождать еще надо, господин. Непременно обождать.

Светлая полоса впереди подернулась тенью, из этой тени, клубясь и извиваясь, поползла в котловину прозрачная мгла. Как только прогалина окуталась пеленой осеннего тумана, ломавшего привычные очертания, егерь тревожно заерзал. Когда же белесая мгла копотно зачернелась, он оперся о локти, поднял голову и что-то забормотал.

— В чем дело? — шепотом спросил хозяин.— Пора в обратный путь?

— Пора, господин. Одного в толк не возьму: откуда взялся тут, на прогалине, мой Буланый?

— Да где ты видишь его, Кули?

— Вижу Буланого, как есть вижу. Медведь обычно пробирается снизу, да и повадки у него иные, уж я-то хорошо знаю их; конь мой спустился сверху и вышел меж тех двух пихточек.

В это мгновенье углядел что-то и господин Ионаш: ткнув егеря в загривок, прижал его к земле. Затем поднял ружье и приложился к прицелу.

— Нет, вроде бы не Буланый, господин,— шептал словно в бреду Урсаке.— Хотя опять же Буланый. А, язви-разъязви его! Продаю его вам, за сколько купил.

Смех разбирал господина Ионаша от эдакой охоты. В прицеле он явственно различил медведя. И тут же решил, что это все-таки Буланый.

— Думаю, стрелять надо, господин,— шепнул в великом возбуждении Кули.— Он морочит нас.

Господин Ионаш второй раз отыскал крестиком прицела видение в тумане. Выстрелил. И тут же послышалось ржание, какое ни один конь на свете еще не издавал, потом треск валежника; над лужайкой сомкнулась тишина, туман сумеречно померк.

Они стояли не шевелясь, наставив ухо в сторону низины. Слух не улавливал ни единого движения. Словно где-то рядом отверзлась пропасть, доверху наполненная тишиной. Долго ждали они — наверное, не менее часа.

Клужский охотник шевельнулся.

Никула Урсаке тут же попросил шепотом:

— Обождать еще надо, господин дохтур, очень прошу вас.

— Зря стоим, Кули,— ответил охотник.— Он ушел.

— Не думаю, господин.

— В таком случае я пристрелил твоего коня.

— Ха-ха! Велика пропажа! Кабы не страх, пошел бы я да посмотрел на него. Ан боязно. И вам я не дам искать его, господин дохтур.

Егерь был в сильном возбуждении: голос у него и то внезапно осел.

— Как же быть в таком случае, а, Урсаке? Видно, лучше нам уйти.

— И я так думаю, господин. А дома загляну в конюшню: враз узнаем, кто тут был.

С оглядкой вышли они из котловины; казалось, позади стояли запертые ворота. Охотника тоже начинала забирать тревога. Одолев пригорок, они спустились вниз, к дому, и господин Ионаш зажег электрический фонарь. Здесь, в Прелунч, тумана не было и в помине, место казалось суше, зябкости не чувствовалось.

Двери в комнату гостей были распахнуты. Там жарко полыхал в печи огонь. Заслышав шаги, показался в отблесках огня Безарбарзэ; понизив голос, он крикнул по направлению к лесу:

— Эй, кто там?

— Мы,— отозвался Кули.— Слушай, Ону, ответь без запинки. Ты слышишь меня?

— Слышу.

— Ответь: где Буланый?

— В хлеву,— смеясь ответил парнишка.— Я поднес ему сена, водой напоил.

— Когда?

— Да только что.

— А пускал ты его без привязи?

— Пускал. Но он далеко не уходит.

Охотники приблизились. Безарбарзэ оторопел, увидев, что Никула направляется к хлеву и заглядывает в него. Гость ждал на крыльце.

Кули вернулся.

— Буланый на месте,— проговорил он не своим голосом.— Говорил я, что он нас морочит.

— Нет, я в медведя стрелял,— рассмеялся господин Ионаш.— И уж если кто и морочил, так только я: взял да промазал.

Из слов Ону нана Флоаря сразу поняла: случилось необычное. Расспросить бы господина, да смелости не хватило. А Кули говорить не желал. Наскоро поев, он растянулся на большой кровати в глубине горницы, подперев висок рукою.

Умаявшись на охоте, гость прикорнул одетый. Немного времени спустя проснулся и вышел во двор охотничьего дома. Окна большой горницы и кухни еще светились. Нана Флоаря сидела одна на завалинке в окаменелой тишине, глядя в ясное, безлунное небо. Темный свод искрился звездными узорами, в зените стояли стожары.

— Красивая ночь,— заметил гость.

— Да,— вздохнула старая.— Не спится?

— Нет. Как только развиднеет, мы должны вернуться к месту охоты. Может, и Видру возьмем.

— Думаете, угодили в него?

— Думаю, угодил.

Нана Флоаря промолчала, потом еле слышно спросила:

— Это был в самом деле медведь?

— Если то не Буланый, так непременно медведь,— ухмыльнулся гость.

Услышав голоса на дворе, Никула Урсаке зашевелился и вскоре тоже вышел из дому. Женщина тут же переменила разговор. Завтра, мол, прискачет баде Тома — поговорить хочет о той самой рыси, что гуляет у Змеиного ручья. Весть он передал через Безарбарзэ, с которым свиделся наверху, в Рунке. Урсаке молчал. Он-то хорошо знал, что до его появления разговор велся совсем о другом.

— Пойдем, Кули,— обронил немного погодя охотник, заметив, что егерю уже невтерпеж.

До прогалины, где стоял лабаз, было около восьми километров, но отправились они туда гораздо раньше положенного срока. Кули вел на сворке собаку. Господин Ионаш шел следом, держа в руке тускло светивший керосиновый фонарь. Но и этого было достаточно, чтобы не свернуть с тропы. Двигались бесшумно, стараясь не потревожить ночной тишины. Ветерок изредка обвеивал макушки пихт, словно оповещал лес о приближении людей.

Они достигли удобного для привала места, откуда сразу можно было выйти к лабазу, и остановились, дожидаясь зари. Предрассветный ветер все настойчивее вторгался в сонную чащу, разгоняя туманные сны. На небесном иконостасе над головой теплилось все меньше свечей. Глаз постепенно стал различать белизну изморози на прогале.

Кули то и дело тревожно вздыхал. Но Видра лежала у ног спокойно, значит, беды бояться не надо. Эта собака чуяла все издалека. А котловина рядом, за лабазом, Видра бы наверняка учуяла того, кто там притаился. Вот если бы и люди могли знать все, как знает это животное, размышлял Кули. Слово «беда», только что мелькнувшее в мыслях, значило пока для него нечто совсем непонятное. А вот собака, конечно, читать и писать не приучена, да и где ей тягаться с человеком по части всяких выдумок, зато иные вещи она знает куда лучше нас, а уж недруга или какую опасность причует на расстоянии. Прибежала же она в прошлом году, нашла его в тумане и повела домой. А там, как выяснилось, Ана уже собиралась в невозвратный путь...

— Теперь можно идти, Кули,— шепнул господин Ионаш.

Кули вздрогнул. Хозяин опустил на землю погашенный фонарь и вскинул ружье. Перед ними тянулся безмолвный посеребренный прогал. Ветерок совсем затих.

Они направились прямо к тем двум пихточкам. Урсаке тревожно заметался, читая следы. Собака вела себя гораздо спокойнее. Наконец они решили, что след найден. Видра подняла кверху острую морду. Они думали, что она поведет их прямо на дно котловины, но она неожиданно повернула влево.

Немного погодя они остановились, раздумывая, куда бы направиться, и вдруг Никула Урсаке крякнул. В то же мгновение и охотник увидел зверя: он стоял в тридцати шагах на толстом стволе палой ели, приготовившись к прыжку. Доктор вскинул было ружье к плечу, но оба тут же шумно и облегченно вздохнули: шкура зверя была припорошена серебристой изморозью. Мохнач погиб еще накануне, так и застыв на стволе.

Примстилось ли Кули или он в самом деле ощутил, что на душе у него просветле-

ло? Он кинулся к зверю, отыскал след раны; отломив веточку ели, обмакнул ее в застывшую кровь и преподнес хозяину, поздравив с метким выстрелом.

«Я же упреждал его, что все это добром не кончится,— думал Кули, возвращаясь к медведю, чтобы получше разглядеть его,— когда он унес те окорока, то, верно, с десяток дней не отходил от родника, нажравшись соленого. Красивый зверь — да и ничего в нем особенного, кроме этой шкуры. Глаз круглый, как у всякого мишки, лоб срезанный. Возможно, старый вожак. Вспомнил, какие лакомства тут висят, вот и потянуло на прежние места. Может, еще и на рюмку надеялся...»

Он уже не находил в себе ни вражды, ни робости перед чертовщиной: его страхи — от собственной боли, от яда засевших в нем обид. А медведь жил себе в чаще, в своих горах, и дела ему до него не было никакого. И Кули, приглядываясь к нему, испытывал теперь чувство приязни, даже некоторой жалости к бедному лесному созданию.

— Вот и настал его час,— заключил он, выйдя из задумчивости, и повернулся к хозяину.

— Ты что, Кули, читаешь над ним отходную?

— Да так, мысли всякие лезут в голову,— усмехнулся егерь.— Примерещились былые страхи, но теперь прошло.

— Все проходит, Кули.

— Истинная правда,— вздохнул егерь.

Отогнав прочь мнимые видения сердца, он достал охотничий нож и стал обдумывать, куда бы поволочь тушу, как ее подвесить, приладить, чтобы ловчее было освежевать. Шкуру эту повезут в Бухарест, потом покрасуется она на выставке в Париже или Берлине, и будут на нее глазеть разные дамы и господа; а какой-нибудь президент, глядишь, и присудит ей золотую медаль. Так что Кули был в некотором смысле польщен тем, что именно он «раздевает» своего медведя в этот солнечный октябрьский день. Господин Ионаш меж тем бегал вокруг, щелкал фотографическим аппаратом; затем отправился в урочище за Безарбарзэ и телегой, чтобы перевезти мясо. Надо было заняться изготовлением медвежьих окороков — иные господа, и не нюхавшие охоты, твердят, что вкуснее этих окороков нет ничего на свете.

— А я вот не ел и есть не стану такое мясо,— заявил Кули.— Мне бы казалось, что ем мясо шелудивой клячи, которую мы купили у овчаров.

Потом клужский господин увез свой трофей, а Кули с домочадцами стал готовиться к зиме. Порой в нем еще просыпались прежние тревоги, вернее, память о них, и он печально улыбался. Дважды он спускался в низовье, в Себеш. Второй раз он возвращался к себе в горы теплым лучезарным ноябрьским днем. Далекие горные кряжи дремали, овеянные дымкой, заповедные леса по берегам Фрумоасы-реки дышали сладкой поздней истомой. У дорожного изгиба близ моста он увидел неподалеку — всего-то на швырок палки — двух косуль: застыв на месте, они, казалось, к чему-то чутко прислушивались. Мягкий шум колес тонул в говоре речных струй. Косули не очень встревожились, заметив коня. Лишь малое время спустя заприметили они и другое существо, сидевшее в диковинном сооружении из деревянных брусьев. И когда они неспешными прыжками пустились вверх по крутобережью, егерь понял, чего дожидались они на откосе. Ветерок, тянувший с верховья, доносил до них пряные запахи. С овчарен горы Шуриан вниз по реке продвигалась отара. В густом облаке пыли медленно проследовали мимо овцы, навьюченные ослы и псы. И еще долго после того как они скрылись за поворотом, до слуха доносилось звяканье колокольчика. И даже тогда, когда звуки более крупных колоколец угасли, скрадываемые шумом стремнины, голос медного колокольчика по-прежнему звучал в воздухе — его, наверно, слышали и косули, укрывшись на невидимой скале.

Вскоре после возвращения Никулы Урсаке из тихих просторов низовья над урочищем пролетели шумные стаи сизоворонок, суматошно спешивших на запад. День спустя небо затянулось хмурыми тучами, зарядил холодный мелкий дождь. Двадцать часов кряду лил он, потом вперемешку с дождевыми каплями посыпались мокрые снежные хлопья. Близилось первое зазимье. А до конца зимы предстояли нескончаемые долгие месяцы. Но Кули одолел свою немочь, постепенно окреп здоровьем. Дел было невпроворот — он знал это и особенно радовался, что займется прежним промыслом и вернет себе потерянные за дни болезни куньи и волчьи шкуры.

— Ты только в Себеше был, Кули? — спросила нана Флоаря.

— Да, матушка. А что, нужно было еще куда-нибудь ехать?

— Да нет, я просто так спросила. Думала, может, заглянешь в Лаз.

— Нет, не заглядывал. А что там в Лазе?

Нана Флоаря улыбнулась.

— Приятельница там у меня, обещалась отобрать и купить хлопчатой пряжи. Зовут ее Серафима Бурлэ, старая вроде меня. А по соседству с ней живет та самая женщина, что растит твоего сына.

— В деревне я не останавливался, матушка. А вот на погосте побывал.

— Вот как! И отца Дэмиана видел?

— Видел. Говорит, надо справить годовой упокойный молебен. Я ему деньги и выложил.

Нана Флоаря задумчиво смотрела в сторону, слушая тиканье часов.

— Правильно я поступил?

— Правильно, Кули. Только надо было проведать Октавяна. Неспокойно у меня на душе. Да, видно, с ним все ладно. Случись что, Рэдуца сразу приедет, расскажет.

Кули удивился:

— А это еще кто? Та самая женщина?

— Какая женщина?

— Та, что грудью кормит твоего внука,— рассмеялся Урсаке.

— Нет, не она. Если уж тебе знать охота, так ту звать Настасией, а муж ее служит у нотариуса. Получает жалованье, да не больно великое. Оттого и рады деньгам, что перепадают им за ребенка. А живет по соседству с ними приятельница моя, вдова Серафина. В молодости мы с ней крепко дружили. Муж голову сложил на войне в земле итальянской — имя одно только и воротилось оттуда. Теперь она доживает в Лазе, стареет за работой: до чего ткать мастерица, особенно ковры,— по всей Румынии такой другой не сыщешь. Ее-то я и попросила подобрать мне нужную пряжу.

Кули все больше удивлялся:

— Но ты ведь ни разу об этом, мать, и не заикнулась! Знал бы — непременно остановился бы в деревне, разыскал бы ее. Тут нет моей вины.

— Так я же тебя ни в чем не виню, сынок. Тут моя вина: не сказала, когда ты стал собираться в Себеш-город. Ничего, зайдешь в другой раз. Или приятель наш Тома заедет, привезет мне пряжу. Не твоя это забота. Был бы ты здоров да набрал бы этой зимой хоть с десяток шкур. В какую цену теперь кунья шкурка?

— Точно не знаю, но цена должна быть хорошей. Ты уж, матушка, сделай милость, оставь мне заботу о куньих капканах. Лучше договори, что хотела, раз начала.

— А что я такого не досказала?

— Хотела ты что-то сказать, да я уж и не припомню что.

— А я вот помню. Есть у моей приятельницы Серафины Бурлэ дочка — имя ее ты уже слышал. При надобности она и оповестит меня насчет Октавяна. Случись что — она тут же на попутных отправится в урочище — на телеге или верхом, позади всадника. Пока что, хвала небу, такой надобности не было, и я уж припаду к стопам пречистой девы, чтобы и впредь ее не было. А девчонка Серафины приглянулась мне: нет в ней озорства, ведет себя пристойно. Живут они бедно, и Серафина не прочь отдать ее в услужение в Сибиу или Бухарест, да все никак не решится. Оно конечно, нетрудно отправить в люди восемнадцатилетнюю девку, да еще такую пригожую, да легко ли заполучить ее обратно? Я и присоветовала ей повременить, по крайней мере пока не отберу у Настасии ребенка. И вот что я надумала: пускай дитя еще кормится грудью до будущего лета, а там отнимем и привезем сюда. И пойдет у меня возня с ним. Стара уж я, что ни день слабею, так что хватит мне моих забот, где уж о чужих думать. Пусть Серафина сама справляется. Что и говорить: лучше бы у нее был сын... От сына прок, от девки — убыток. А то и стыда не оберешься. Слава те господи — таких забот у меня не было.

Нана Флоаря замолчала — и тут же отозвались ходики на стене: «Тик-ток-тик!»

Иной раз, отправляясь проверять капканы, Кули брал с собой в лес Ону Безрабарзэ.

Егерь располагал эти «давильни» в местах, где чаще всего торил себе тропки проворный зверек. Два бруса между елями были расположены таким образом, что до приманки — кусочка мяса или окровавленной сорочьей тушки — хищнику приходилось добираться по узкому стволу молодой ели. Стоило ему коснуться потайного рычажка, как на него падал верхний брус, расплющивая тело, но одновременно и сохраняя его. Добыча оставалась скрытой, недоступной, чтобы другой лесной вор — орел, лисица или волк — не мог отнять ее у человека. Сооружение это из лесин, висящих словно на волоске и все же выдерживающих напор ветров и ливней, было придумано еще древними

лесовиками, жившими давным-давно в Карпатских горах у берегов Фрумоасы. Вековое тайное мастерство...

Этому тайному мастерству обучался теперь Безарбарзэ у своего наставника.

— Кули-бач,— сказал однажды Ону, шагая вслед за егерем по тропе,— вчера у черной ветки видел я куницу на развилке пихты. Поползла незаметно по стволу да как цапнет белку. Порвала ей горло, выпила кровь, потом стала спокойно хрумкать ее. Я смотрел и ничего ей не сделал, только ругал про себя. Что ей плохого сделала белка?

— Ничего плохого не сделала, Ону. А белка ведь тоже пожирает яйца и птенцов в гнездах!

— И правда,— согласился Ону.

Значит, и его одолевало смятение, как некогда Кули. Раздумывая над словами парнишки, егерь старался понять, почему пожирают друг друга лесные твари. Наверно, богу так угодно: чтобы они умножали силу свою, ловкость и сноровку, чтобы после пережитых страхов и опасностей покой казался им еще слаще. Для него ведь жизнь тоже сделалась милее и желанней, когда миновали горести и отчаяние той осени. Не будь горя, разве узнаешь радости и усладу? Какая бы ни нападала смертная тоска, а постепенно все забывается...

— Поищи давильни сам,— сказал Кули.— А я тут постою, покурю. Да и подумаю кой о чем.

Горько было сознавать, как отдаляется и отдаляется от него все то, что еще недавно было так любо сердцу. И намеки матери насчет этой деревни в низовье были ему совсем не по душе.

Безарбарзэ вернулся.

— Мясо я подвесил, баде Кули.

— Хорошо, Ону. Пора в обратный путь, а то матушка совсем нас заждется с обедом. Да, вот еще что скажи: ты помнишь кого-нибудь из жителей Лаза?

— Кой-кого помню,— удивился парнишка. — Хотя жил я не в самом селе, а на отшибе, в овраге. И воротиться туда не хотел бы: к горам привык. А зачем ты, Кули-бач, о Лазе спрашиваешь? Нана Флоаря собиралась послать меня туда к одной женщине, тетушке Настасии, забрать ребенка.

— Затем и спрашиваю.

— Так ее-то я найду, Кули-бач, ты не сомневайся. Вот мальца везти будет труднее — и не оттого, что молока будет требовать: его же еще раньше от груди отнимут. Привык он среди бабья и вряд ли ехать со мной захочет. Потом уж я научу его разным разностям, так что он бегать за мной станет, как козленок. А покамест будет трудно. Нана Флоаря смеялась и уверяла, что со мной приедут какие-то женщины из Лаза.

— Какие еще женщины?

— Мне-то откуда знать? Ладно, до лета времени вдосталь, успею обо всем подумать...

Все лето следующего 1927 года мать донимала Кули колкими намеками насчет Октавяна и жителей Лаза. Стоило Урсаке сесть на коня, чтобы ехать по делам в низовье, появлялась нана Флоаря и начинала сыпать скороговоркой знакомые имена: десятки и десятки раз лезли в уши Буланого эти имена, о которых сам Кули и слышать не хотел. Зато имя, которое он был бы не прочь услышать — безо всякой особой причины, так, лишь бы услышать его,— имя это не прозвучало больше ни разу. Было у Никулы подозрение, что в скором времени имена эти — и те, что назывались, и те, что не назывались,— обретут живую плоть в урочище, и все тогда пойдет по-новому. И в душе от таких мыслей все чаще шевелилось какое-то новое, тревожное чувство.

Накануне дня усекновения главы Иоанна Крестителя, чей праздник отмечается в августе, двадцать девятого, нане Флоаре пришлось похлопотать побольше обычного. Надо было испечь хлеба, посолить молодую свинину, поспешить туда-сюда... Все жаловалась, что не выдюжит, что сил совсем не осталось. Никула все слушал, пока не понял наконец, что старая собиралась просить его кое о чем.

— Мне что, ехать надо? — с улыбкой спросил он.— Я вижу — настала пора.

— А куда тебе ехать? — повернулась мать к Кули и внимательно оглядела его.— Нет надобности тебе ехать. Завтра, конечно, у меня будет славный денечек, да я уж обо всем с парнем столковалась.

— Так ты Ону посылаешь?

— Его.

— На телеге?

— Именно так, Кули. Разве не было давно говорено, что к этому времени приедет домой наш Октавян? Ону поедет да и привезет мне его.

— Об этом было говорено? — удивился Никула Урсаке.— Стало быть, барчонок едет в свои владения?

— Было говорено, сынок. И нечего над ребенком смеяться — он нас радостью одарит.

— Да разве я смеюсь, матушка? Я просто шучу. Какая мне от него радость будет, не знаю. Но думаю, что Безарбарзэ напугает ребенка, да и не справиться ему одному: надо и младенца на руках держать, и лошадью править.

Нана Флоаря покачала головой.

— Может, я и глупая, сынок, а о том сама догадалась. Так что приедет он с кем положено.

— С кормилицей, с Настасией?

— Возможно, приедет и она, я этого в точности не могу сказать. Дай-то бог, чтобы завтра все получилось как мне того хочется. А главное — послезавтра, когда вернется Ону и привезет мне Октавяна.

— Привезет Октавяна — я тебе и не понадоблюсь.

— Как бы не так! Привезет-то он его, а ты станешь еще нужнее мне и дороже — внук-то от тебя. Глядишь, на радостях у меня и поясницу и ноги отпустит, глаза прояснеют. А то плоха стала глазами. Если уж очень хочешь, езжай. У тебя там небось найдутся дела. Но что до меня, так я давно надумала послать Ону.

— Нет, я не поеду, пускай отправляется Безарбарзэ,— решил Никула Урсаке.

Кули и не заметил, когда отъехал парнишка. Вдруг ни Ону, ни телеги во дворе не стало. Кули огляделся, подумал-подумал и решил отправиться на Иоанна Предтечу к приятелям в Браниште через Большую Низину.

Он нашел их в добром здравии. Недалеко от охотничьего дома в Браниште жили табором селяне из Кэпылны и Лаза: десятую неделю они разбирали, орудуя баграми, лесные завалы в ущелье Фрумоасы. Кули особенно обрадовался лазанчанам, пропустил с ними у шалашей несколько стаканчиков вина. Хотелось ему кое о чем и порасспросить их, но в конце концов он махнул рукой и пошел с баде Томой и Траяном по заросшему молодняком межгорью: где-то наверху была залежка дикой свиньи, она стала выводить на волю поросят и следила за тем, как они резвятся.

Кули долго глядел на дно водомоины, любуясь резвыми вархляками, и настроение у него заметно улучшилось. Переночевал он в Браниште, а на следующий день уж и не помнил историй, рассказанных баде Томой Орэшану. В Прелунч воротился тридцатого августа пополудни.

Он увидел телегу на дворе, и сердце заколотилось: не приключилась ли какая беда. Мысль эта испугала его. А возможно, испугался он и того, что слишком упорно думает о некоторых новых обстоятельствах, которые предпочел бы оставить как можно подольше невыясненными. Он заглянул в конюшню и увидел, что конь спокоен: повернув к нему голову, Буланый тихо фыркнул: хн-хн. Потом Кули завернул за угол большого дома и вышел к крыльцу.

На крыльце сидел освещенный солнцем чужой ребенок. Светло-русый, с карими глазами. В этих больших глазах, затененных длинными ресницами, ему почудилось знакомое, но какое-то далекое воспоминание. И этот чужой ребенок, одетый в красную юбочку, чтобы его не сглазил ни человек, ни зверь, тянул что есть силы за космы Безарбарзэ. А Ону Безарбарзэ, распластавшись на крыльце, позволял мальцу дергать себя за взъерошенные космы цвета свежего сена. Дети — и малый и большой — вели при этом оживленную беседу. Большой учил малого задавать вопросы: Ону спрашивал, а малец отвечал. Правда, язык мальчонки еще не слушался его, слова он выговаривал невнятно.

— Ты был в лесу? — спрашивал Октавян.

Это был вопрос о самом таинственном. Лесом было то новое, что обступало двор со всех сторон, в лучах иного неведомого мира.

— Ты был в лесу?

— Был,— отвечал Ону.

— Видей ведмедя?

— Видел.

— Стьяшно?

— Нет, не страшно.

— Сто сказай ему?

— Сказал: дай лапу, поборемся.

Октавян не понимал ровным счетом ничего во всей этой игре, но Ону помогал ему задавать все новые и новые вопросы. И ребенок был счастлив, что спрашивает, а ему отвечают.

Кули поспешно поднял на руки ребенка и приласкал его. Потом оставил его играть с Ону и ушел в кухню. Он понимал, что наны Флоари в доме нет. Будь она там, он бы издали различил ее зычный говор. А раз ее нет в доме, значит, пошла по малину вдоль ручья. Ягод мало — слов много, у нее ведь гости из Лаза. Еще накануне Кули догадался, кто привезет ребенка, и теперь боялся — не обмануться бы ему в ожиданиях. Дело ясное: вместе с наной Флоарей пошла и та самая девчонка из Лаза, дочь вдовы Серафины. Слушает ее, верно, с притворным вниманием, а сама так и стреляет глазами по сторонам.

Он шел под гору, а ему хотелось помедлить, а то и вовсе свернуть в сторону. Остановившись, он проследил глазами за полетом ласточек. На речной глади, сверкавшей словно ртуть, он заметил стремительные прыжки форели, ловившей мушек. В густой траве пели бесчисленные полчища насекомых, бор, опьяненный жизнью, трепетал до самых дальних уголков. Пряные запахи земли и елей пронзали его душу до самой глубины.

И тут он увидел нану Флоарю: она шла навстречу в сопровождении двух женщин. Одна, уже в возрасте, смеялась щербатым ртом. Другая, молоденькая, не смеялась. Она смотрела куда-то в сторону, на кряж павшей пихты; солнце освещало ее ясный лоб. Кули успел на одно мгновенье увидеть лишь глаза, но и этого ему было достаточно.

И хотя на полке у него лежали книги и он похвалялся своим полицейским чутьем, Кули вдруг осознал, что в его раздумьях нет никакого смысла. Бедный он, бедный! Три женщины шли на него, а ему нужна была только та, которую он ждал давно,— не плутни старых женщин были тому причиной, а лукавая мудрость провидения, чьи праведные соблазны вписаны бессмертными знаками в плоть всего сущего.

Идя навстречу этому новому дару жизни, Кули отбросил папиросу и выпустил обильную струю дыма в сторону заката. И она, словно вырвавшись из самого сердца, медленно растаяла в воздухе. Казалось, это была хрупкая тень, навсегда покидавшая поляны урочища. Ибо наши мертвые, пока мы сердцем с ними, живут в нас и вокруг нас. А когда мы начинаем их забывать, они безвозвратно уходят: не только смерть, но и жизнь разлучает нас.

Февраль 1938 г., Яссы

■

---

**ФРИДМАН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ** (род. в 1922 г.).

Советский литературовед и переводчик, автор ряда работ о творчестве М. Садовяну и других румынских прозаиков, статей по истории румынской культуры XIX и XX вв. В его переводе опубликованы романы М. Садовяну «По Серету мельница плыла», «Никоарэ Подкова», «Братья Ждер», «Племя Шоймару», многие повести и рассказы, а также произведения других румынских писателей.

Автор повести о жизни М. Садовяну «Молодость без старости».

# СИНЬ ЦИЦЗИ

*Перевод с китайского и вступление М. БАСМАНОВА*

## Строфы Синь Цицзи

Жизнь и творчество прославленного поэта Китая Синь Цицзи (Цзясюань) приходятся на годы правления династии Южная Сун (1127—1279). Это были годы, когда еще недавно могущественную и процветавшую Сунскую империю потрясали крестьянские восстания, междоусобицы феодальных кланов и изнурительные войны с племенами кочевников-чжуржэней, захвативших почти все земли Китая к северу от реки Янцзы и образовавших на этих землях царство Цзинь.

Синь Цицзи (1140—1207) родился в провинции Шаньдун на территории, занятой цзиньскими войсками. Он вырос в обеспеченной семье чиновника, получил прекрасное образование и мог бы, как это сделали многие его сверстники, обеспечить себе безбедное существование, поступив на службу к цзиньским властям. Но он предпочел опасный путь борьбы с пришельцами. Вспоминая бурные годы молодости, когда двадцатилетним юношей он возглавил отряд бойцов-патриотов, поэт писал:

Провел я юность, не сходя с седла,
В пыли походов, в подвиге геройском...

После поражения армии Верности и справедливости, а в ее составе действовал и отряд Синь Цицзи, молодой полководец обосновался в южносунской столице. Здесь, зачисленный на должность придворного чиновника младшего ранга, поэт мог с близкого расстояния наблюдать падение нравов обитателей императорского двора: своекорыстие, угодничество, интриганство. Поэт гневно обличает тех, кто печется лишь «о выгоде и славе», противопоставляя им «человека высоких устремлений», готового переносить любые лишения, но не запятнать себя подлостью и предательством.

Поэзия Синь Цицзи вызывала восхищение просвещенных людей того времени. Поэты-патриоты Лу Ю, Чэнь Лян, философ Чжу Си разделяли взгляды Синь Цицзи и оказывали ему свою поддержку. Однако политические противники и недруги спешили свести с ним свои счеты. Оклеветанный перед императором, он должен был не однажды уходить в отставку, продолжавшуюся в общей сложности около двух десятилетий.

Добрую половину жизни Синь Цицзи провел в деревне. Он уважительно и с любовью относился к земледельцу, чья бесхитростная трудовая жизнь представляется поэту исполненной особого смысла и значения. Автор многочисленных стихотворений о деревне благословляет тех, кто умеет «довольствоваться малым», чья жизнь так не похожа на заклейменный поэтом суетный и продажный мир столицы. И все же поэт тяготится отшельническим прозябанием в глуши, не расстается с мыслью о возвраще-

нии к активной деятельности, пишет трактаты и доклады на высочайшее имя, проникнутые заботой о терпящем бедствия и лишения народе. Порой в его стихах звучат ноты разочарования и отчаяния изуверившегося в жизни человека.

По свидетельству биографов, Синь Цицзи умер в бедности. Но он оставил после себя богатое поэтическое наследие. Это и гражданская, и философская, и пейзажная лирика, несколько сот стихотворений, написанных преимущественно в жанре цы.

Истоки цы — в народной песне. Они создавались по образцу, на мелодию той или иной популярной песни, наследуя ее форму: размер, ритмический рисунок, количество строк и иероглифов в строке, и первоначально исполнялись в сопровождении музыкальных инструментов. И еще одна из многих особенностей этого жанра. Цы состоят из двух-трех или более строф, законченных по мысли, то есть несущих в себе самостоятельную смысловую нагрузку. Именно поэтому цы иногда называют строфами.

Синь Цицзи писал смелой и энергичной кистью, живо откликаясь на события, не гнушаясь языком простолюдинов, в изобилии употребляя обороты разговорной речи, пословицы и поговорки. Все это наряду с относительно свободной формой цы позволяло поэту ярко передать различные оттенки чувств и настроений. Говоря словами поэта Лю Кэчжуана, стихотворения Синь Цицзи «то звучат громко, как гром барабана, то тихо, как звон колокольчика: они в силах заглушить всю вселенную и заполнить собою вечность».

С поэзией Синь Цицзи советский читатель имел возможность ознакомиться по изданной в 1962 году книге: Синь Цицзи, «Стихи». Ниже публикуются новые переводы его лирики.

■ ■ ■

*Заимствуя строки древних поэтов, пишу о проводах на реке в осеннюю пору.*

Вот и отчалила лодка
С тем, кого провожаю.
На гору поднимаюсь,
Обозреваю реку.
Нет ничего печальней
В этой жизни, пожалуй,
Чем отправлять в дорогу
Близкого человека.

Лучше б не подниматься
И не глядеть, страдая,
Туда, где на горизонте
Солнце погаснет скоро.
Скрылся путник из виду,
Гусей только диких стая
К югу летит, как и прежде,
В эту осеннюю пору.

■ ■ ■

*Посвящается ревнителям поэзии.*

Здесь, под стрехой, прошлым летом
Ласточки обитали.
Женские комнаты дома
В то лето не пустовали.

Ласточки глину носили
С тропки, поросшей цветами.
Глина на лютне и книгах —
След с той поры оставлен.

Лето вернулось снова,
Ласточки вновь под крышей.
Некому только ныне
Пение их услышать.

Нет уже той, кто на окнах
Шторы с утра поднимала...
Сумерки пали на землю,
Дождь без конца, без начала!

■ ■ ■

*Остановился в монастыре Бошань. Узнав, что настоятель монастыря Гуан Фэн заболел, я повернул обратно. В это время весенним паводком разрушило мост.*

Раскат за раскатом —
Слышнее все гром,
И дождь зашумел
С нарастающей силой.
Осыпались сливы —
Цветы их кругом,
Порывами ветра
К стене их прибило.

О, как беспощаден
Весенний поток!
На юг от реки
Им размыта дорога.
Ропщи не ропщи —
Не услышит никто,
Зови не зови —
Какой в этом прок,
Нигде никого,
Кто б пришел на подмогу!

■ ■ ■

*Преподношу исполнительнице песен.*

Ветерок заглушая собой,
Песнь, рождаясь, уносится вдаль.
Блеск очей и жемчужных зубов
Вам судьбою ниспосланы в дар.

Звуки песни, как будто бы звон
Четок яшмовых в тишине.
Исполнения мастерством
Всколыхнули вы чувства во мне.

Восхищение
Выразить как,
По заслугам
Ваш дар оценить,
Что бегущие облака
Может даже остановить?

■ ■ ■

*Брожу один в Сияне.*

К себе меня звали горы,
Но я не внимал их зову.
Хлебнувшему вдоволь лиха
Кто скажет утешное слово!

Теперь, когда жизнь на закате,
А в жизни одни лишенья,
Надолго сюда поселиться
Я принял ручья приглашенье.

Над горной вершиною месяц,
Свой свет разливая, восходит.
И вот он уже в зените,
Повиснул на небосводе.

К ручью, что и чист и прозрачен,
Иду всякий раз и мечтаю.
И, слушая шорохи ночи,
В них мысли «Лисао» [1] читаю.

[1] «Лисао» — поэма великого китайского поэта Цюй Юаня (340—278 гг. до н. э.), написанная в период, когда Цюй Юань был отрешен от должности при дворе и сослан. В поэме обличаются пороки придворной знати.

■ ■ ■

*Написал эти строки, услыхав о кончине Ли Чжанчжи в Чама.*

Хочу — брожу
Наедине с собою,
А пожелаю —
Отдохнуть присяду.
Наскучит то и надоест другое —
Прилягу с книгою под головою...
Чего ж еще
Мне в этой жизни надо!

С недавних пор
Слегка недомогаю,
А лень за мною —
Издавна ведется.
В Пяоцюане[1] дворик подметаю,
Где в зарослях бамбука тень густая...
Так и живу
Как на душу придется!

■ ■ ■

*Предаюсь веселью.*

Когда подвыпью, предаюсь веселью,
И радостью душа моя согрета.
Да если б даже погрустить хотел я,
Не остается времени на это.

С недавних пор, читая книги древних,
Я понял, что нельзя ни в коей мере
Ни на одну строку в них положиться,
Коль говорить о правде или вере.

Вчерашней ночью принял я хмельного
И где-то под сосною очутился.
Спросил ее: «Скажи ты мне по чести,
И в самом деле я уж так напился?..»

Мне показалось, что сосна нагнулась —
Меня поднять, наверное, хотела.
Я тотчас оттолкнул ее сердито
И крикнул: «Прочь, тебе какое дело!»

■ ■ ■

Каждый год мэйхуа[2] в это время ищу,
Чтоб однажды увидеть улыбку цветенья.
Пали сумерки,

[1] Пяоцюань — местечко в провинции Цзянси, где поэт в годы отставки прожил около восьми лет.

[2] Мэйхуа — дикорастущая слива, излюбленный в древних стихах поэтический образ, символизирующий чистоту, благородство и непреклонность духа.

Тень обозначена чуть,
Пали сумерки,
Тень обозначена чуть,
Напоен ароматами воздух весенний.

Стих мой ясен и строг. Только где человек,
Тот, кому этот стих мог бы я предназначить?
Мэйхуа вся в снегу,
И в душе моей снег,
Мэйхуа вся в снегу,
И в душе моей снег...
За рекой Фоуюй роща в дымке маячит.

■ ■ ■

*Захмелев, слушаю песню, что взволновала меня, пьяного, больше иных стихотворений. Я записал ее, слегка подправив.*

Вот и вечер. Бледней и бледней облака.
Дни — на убыль. Вокруг воцаряется осень.
И прозрачное небо,
И ясный закат,
И прозрачное небо,
И ясный закат,
Ветром дым от свечи по гостиной разносит.

И подумалось мне: в этом мире всегда
Торжествует вражда, человека снедая.
Велика та вражда,
Велика та вражда!..
На душе моей скверно,
Как никогда,
А тут еще сянь[1] вместе с ветром рыдает.

■ ■ ■

*Написано на обеде по случаю отъезда Ли Чжии на рифмы его стихотворения.*

Слезы на наших глазах —
Песнь о разлуке поем.
Трогательны слова
И задушевен мотив.
Думаю про Чанъань[2]
И размышляю о том,
Что не скоро теперь
Друг мой меня навестит.

Ива обломана вся[3],
Галки над нею галдят.
В сердце и без того
Близкой разлуки боль!..
Горы синеют вдали,
Гор бесконечный ряд,
Тучи над ними плывут,
Их заслоняя собой.

---

[1] Сянь — четырнадцатиструнный музыкальный инструмент.

[2] Чанъань — столица Китая в эпоху Тан (618—907 гг.), эпоху наивысшего могущества и процветания страны.

[3] По обычаю, путнику во время расставания с ним на переправах вручалась в знак памяти ветка ивы.

■ ■ ■

Лекарь отврачевал,
Требует платы уже.
Денег или вещей
Где мне так много достать?
Все-то богатство мое —
Это служанка Чжэнчжэн.
Видно, придется ее
За леченье отдать[1].

К музыке моя страсть
В скорбь обращается вдруг.
Флейтам без нужды лежать,
Не зазвучат они впредь!
И, наблюдая за тем,
Что происходит вокруг,
Я говорю жене:
«Больше не надо болеть!»

■ ■ ■

*Плыву по реке к причалу в Цайши и ради забавы пишу о рыбаке.*

Под облака взметнувшийся утес,
Срезая зелень, над рекою встал.
И солнце, погружаясь в бездну вод,
Пылает, как расплавленный металл.

Здесь чайки без тревог и без забот
Снуют себе с рассвета дотемна.
Пусть дует ветер и волна бурлит —
Им нипочем и ветер, и волна!

Я к берегу причалю где-нибудь
И приготовлю рыбу пожирней.
В деревне по пути остановлюсь
И там уж позабочусь о вине.

Деяния далекой старины
Погребены в безвестности давно.
Династий возвышенье или крах...
А мне-то что, не все ли мне равно!

■ ■ ■

*По дороге в Шимэнь.*

С горы поток без устали стремится.
Как жемчуг, мириады брызг сверкают.
И по утесу струйки, растекаясь,
Вниз прыгают проворными зверьками.

Иду один тропою дровосека
И вдруг преграду на пути встречаю,
Похоже, голос вдалеке раздался,
Иль это показалось мне случайно?..

Передо мною —
Деревянный мостик,
За ним и пагода
Возникла скоро.
На юг от речки ветхая лачуга
В тени бамбука прячется от взора.

[1] В основу стихотворения положен действительный случай из жизни поэта. Однажды заболела жена, и он пригласил врача. В это время раздались звуки флейты. То играла служанка Чжэнчжэн. Врач согласился лечить больную при условии, что ему в виде вознаграждения будет отдана служанка.

Пусть я обут в матерчатые туфли
И с посохом в дороге неразлучен!
Для старика в его уединенье
Мест здешних, право, не найдется лучше.

■ ■ ■

Хочу на башню высоко подняться,
Чтоб от тоски уйти как можно дальше.
Но и тоска идет за мной по следу
На самую вершину этой башни.

Как много перемен вокруг свершилось,
Где некогда нога моя ступала,
Как много убеленных сединою
Среди моих родных и близких стало!

Да, решено:
Я ухожу на отдых,
Нет для меня
Решения иного.
Как будто за заслуги непременно
Всем следует присвоить титул хоу!

На облако гляжу, что, не имея
Пристанища, плывет по небосводу.
Я тоже стану облаком скитаться
И обрету желанную свободу!

■ ■ ■

*Вернулся на озеро Эху и после выздоровления написал эти строки.*

Я в храме у ручья не расстаюсь с циновкой.
Прохладой веет. Осень у порога.
Клубятся облака, с водой сливаясь,
И к вечеру редеют понемногу.

Алеют лотосы, кренясь друг к другу.
Как пьяные — волною их качает.
Молчит, ни звука не проронит цапля —
Свои заботы и свои печали!

И впрямь, пожалуй,
Мне пора на отдых,—
Я размышляю,
Сам с собой в разладе.
И, может быть, совсем не так уж плохо
Жить на природе среди гор и падей!

Еще не знаю, много иль не много
Сил поубавилось за день вчерашний,
Но только чувствую, что нет желанья
Всходить на самый верх высокой башни.

*В нарушение морали пью вино.*

Когда б Конфуцием [1]
Дао Чжи [2] назвали,
А первому
Второго дали имя,
Тогда б Дао Чжи и ныне мудрым звали,
Конфуция же — глупым величали...
Добро и зло,
Да есть ли грань меж ними!

А записи в канонах,
Между прочим,
Не более
Чем призрачная слава.
Умрем — останки муравьи источат,
Века веков — мгновения короче...
Так пей вино,
Гуляй себе на славу!

■

[1] Конфуций (ок. 551—479 г. до н. э.) — великий мыслитель и государственный деятель древнего Китая.

[2] В древних китайских источниках Дао Чжи — Разбойник Чжи — упоминается как человек, пренебрегавший канонами, нормами конфуцианской морали и снискавший себе печальную славу непочтительного сына, насильника и обидчика.

**БАСМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ** (род. в 1918 г.).

Советский поэт-переводчик. В его переводах с китайского вышли книги: Синь Цицзи «Стихи» (1962), Ли Цин-чжао «Строфы из граненой яшмы» (1970 и 1974), «Цветет мэйхуа. Классическая поэзия Китая в жанре цы» (1979).
Переводы М. Басманова и его статьи о китайской поэзии неоднократно печатались в антологиях китайской поэзии, на страницах нашего и других журналов.

# Критика

Т. РОТЕНБЕРГ

## ОТ ФАКТОВ — К ИСТОРИИ, ОТ ХЭППЕНИНГА — К РОМАНУ

В середине 60-х годов в американской литературе обнаружилось быстро распространяющееся течение, за которым вскоре закрепилось имя «новый журнализм» Появилась своеобразная разновидность очерка, в которой, как и в традиционном очерке, использовались подлинные факты, новым же была необычайно высокая степень их творческого претворения, сближавшая «новый журнализм» с художественной прозой. Вокруг «нового журнализма» развернулась бурная дискуссия, которая по существу не закончена и сегодня. Ее продолжительность определяется сложностью и значительностью явления. Обратимся сначала к наиболее очевидному в содержании феномена «нового журнализма» — фактам его биографии.

Журналистика в США — одна из самых жестко регламентированных профессий. Официальная формула подачи новостей «извольте — только факты» предполагала и обязательность знаменитой «пирамиды» изложения: «что — где — когда». В 60-е же годы в журналистике началось брожение, художественный подъем. Один из пионеров «нового журнализма» Гэй Талис вспоминал, как вдруг все заметили, что «серая проза «Нью-Йорк таймс», сообщая голые факты, не передает события». В 1962 году Талис начал один из своих очерков с диалога. Джимми Брезлин публиковал в «Нью-Йорк геральд трибюн» статьи на злободневные темы, написанные в форме рассказов — с множеством психологических и бытовых деталей, описаниями пейзажа, погоды, личных впечатлений. В подобном же персонифицированном, динамичном стиле начали писать тогда и другие известные репортеры.

Вскоре «новому журнализму» стало тесно на газетной полосе. К середине десятилетия самые яркие представители жанра ушли в воскресные приложения газет и журналы.

Возглавлявшая тогда «Пост» Дороти Шиф сказала в этой связи: «Нам в газете не нужны звезды. Со временем они затмевают газету». Новое созвездие раздражало не одну «миссис «Пост». Критика не признала притязаний «новых журналистов» на документальную достоверность и художественное обобщение одновременно и обвинила их в искажении фактов. В ответ один из «открывателей» жанра Том Вулф опубликовал на страницах «Эсквайра» гимн «новому журнализму», который он объявил единственным значительным направлением в американской литературе за последние полстолетия.

Современная беллетристика, утверждал Вулф, отошла от реализма и не дает адекватной картины действительности, уступив, таким образом, «новым журналистам» «монопольное право живописать 60-е». Они же, обратившись к «социальному реализму» прошлого, обрели, по его мнению, неограниченные возможности осмысления новой действительности. Свой манифест Вулф заканчивал в характерной для него в то время эмоциональной манере, но до-

**РОТЕНБЕРГ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА.**

Советский критик, литературовед, автор статей по современной американской литературе и культуре.

вольно примирительно: «Возможно, не надо было так писать. Во всяком случае, я хотел только сказать, что «новую журналистику» нельзя игнорировать как художественный жанр. Остальное я беру обратно. Черт с ним, с остальным! Да здравствует хаос! Громче музыка! Больше вина!.. Кто хочет, пусть цепляется за верхнюю ступеньку. Все старые традиции обветшали, а новых еще нет. Все ставки аннулированы. Шансы у всех равны! Играй, кто хочет! Лошадям уже дали возбуждающее! Беговая дорожка — как стекло! Из этого великолепного хаоса, из самого неожиданного источника, в самой неожиданной форме может появиться какая-нибудь славная полненькая звезда кордебалета, которая озарит все небо».

Действительность превзошла ожидания Вулфа. В 60-е годы на небосклоне американской журналистики взошли небывалые по числу и редкие по яркости «звезды». В опубликованной в 1973 году «Антологии «нового журнализма» Вулф «канонизировал» более двадцати представителей жанра. Если добавить к этим именам те, что назвали впоследствии другие исследователи, их окажется более пятидесяти. Ограничим знакомство с ними дюжиной «звезд» первой величины.

Первый шумный успех выпал в 1965 году на долю книги *ТРУМЭНА КАПОТЕ* «Обыкновенное убийство» [1]. Автор пришел к ней путем тщательного обдумывания «большой книги, где все будет правдой, от первого до последнего слова... великой неисследованной формы искусства будущего, которая соединит мастерство романиста с техникой репортера, художественное мастерство с точными фактами», что даст особую глубину и особое впечатление.

Два года ушло только на поиски сюжета. Три года Капоте потратил на сбор материала: было написано шесть тысяч страниц. В книге их осталось триста сорок три. Однако многократно дистиллированные факты сыграли с автором злую шутку. Он оказался «зачарованным реальностью» Шумный успех книги и снятого по ней фильма сфокусировали внимание на фигурах убийц, превратив их в мифологических героев американской трагедии. Голос автора, его моральная позиция потонули в ощущении ужаса, сюрреализма действительности. Он сам почувствовал глухую неудовлетворенность, когда толпа зевак на съемках фильма напомнила ему слова его «героя»: «Зачем этот процесс — все равно повесят. Я только хочу знать — будет ли кто от кино?».

Центральная фигура направления — *НОРМАН МЕЙЛЕР*. Дав в 1967 году своему репортажу «Армии ночи» об антивоенном марше на Пентагон, в котором участвовал сам писатель, подзаголовок «История как роман, роман как история», он сформулировал содержание «нового журнализма». Мейлер уловил потребность времени в художественно-публицистическом осмыслении. Называя себя в своих книгах Исследователем-психологом, Акварием, Репортером или просто Норманом, он всегда находится в центре повествования, а история — неизменно часть его собственной жизни.

За полтора десятилетия Мейлер написал девять публицистических книг [1], в которых стремился ставить «главные американские вопросы»,— именно они создали ему репутацию выдающегося американского писателя.

Пока в книгах о современной Америке Мейлер создавал «фактоиды» — гибрид фактов и воображения, никто не мешал полету его фантазии. Но «фактоиды» оказались опасными даже для него, когда он вздумал соединить свою фантазию со слишком известными фактами жизни Мэрилин Монро. В книге «Мэрилин: биография» (1969) он рассказал о «героине самоубийства и героина», не вынесшей «кинозвездного оледенения». Современники не пожелали анатомировать любимый миф, и писателя обвинили в искажении фактов.

Характерный образец «нового журнализма» и книга Мейлера «Пожар на Луне» (1970) — о высадке американцев на Луне. На место запуска Мейлер прибыл в числе множества американских и иностранных корреспондентов. Величие предстоящего события, невероятная сложность писательской и репортерской задач увлекали и подавляли его воображение. Обстановка грандиозной политической игры правительства в науку и патриотизм вызывала у него отвращение. Отрепетированные слова космонавтов, непроницаемая достоверность техники заслоняли человеческий смысл происходящего. Мысли и чувства Мейлера стали книгой, которая читается как взволнованная исповедь американца, чье мировосприятие неотделимо от реальной истории его страны. Вместе с тем в ней чувствуется сила воображения писателя, позволяющая ему проникать в суть видимых фактов.

Прежде чем заняться «новым журнализмом», Капоте и Мейлер были уже известными писателями. *ТОМ ВУЛФ* — глашатай «нового журнализма» — прошел путь, сходный с творческой биографией большинства представителей этого направления: он окончил литературный факультет, начинал как зарубежный корреспондент, потом работал в центральной печати. Его отличает от остальных то, что он — карикатурист. Это важно: глаз карикатуриста определяет видение Вулфа-писателя. Его внимание всегда приковано к стилю, отражающему наиболее характерные, символические черты явления.

Новую манеру письма Вулф нашел интуитивно. Журнал «Нью-Йорк» заказал ему материал о выставке последних моделей автомашин. Вместо заказанной статьи Вулф отправил в редакцию нечто среднее между лирическим монологом и эссе о месте автомобиля в сознании американца. Он был удивлен, обнаружив свое произведение на страницах журнала. Вскоре под тем же экстравагантным заголовком «Конфетнораскрашенное, апельсиннолепестковоцветное по-

[1] См. «ИЛ» № 2—4, 1966.

[1] Две из них — «Майами и осада Чикаго» (1969) и «Бой» (1977) — печатались в «Иностранной литературе». См. № 1, 2 за 1972 г. и № 10 за 1978 г.

Т. РОТЕНБЕРГ

**ОТ ФАКТОВ — К ИСТОРИИ, ОТ ХЭППЕНИНГА — К РОМАНУ**

точнолинейное дитя» (1965) очерк вышел отдельной книгой.

В 1968 году появилась вторая книга Вулфа — «Наркотический тест электризованным прохладительным напитком». Она была результатом его поездки в 1964 году с рок-группой «Веселые затейники» во главе с Кеном Кизи [1] через Техас и южные штаты в Нью-Йорк. «Психоделический» [2] автобус с мотором в четыреста лошадиных сил, оснащенный мощнейшей звукоусилительной и осветительной аппаратурой, пронес их, «как на крыльях... к самому западному краю опыта».

Кизи был Золотым мальчиком Запада — ученым, актером, звездой спорта и одним из обещающих писателей Америки. Он и его соратники изобрели и распространили все, что было связано с понятием «хиппи»: жизнь коммун, внешний облик, словарь, «философию», смешанные психоделические зрелища, осуществляемые разными средствами «медиа», оргии рока, наркотиков. Т. Вулф вынес в название книги и сделал ее композиционной кульминацией событие, отразившее противоречивость и историческую обреченность движения хиппи: одно из самых грандиозных сборищ хиппи, которое было задумано как многотысячный митинг против войны во Вьетнаме, но в силу псевдорадикализма хиппи, аполитичности их «философии» вылилось в шизофренический, наркотический хэппенинг [3] на котором подавали «прохладительный» напиток — смесь пунша с ЛСД.

Вулф проследил рождение «религии» без веры. «Путь» Кена Кизи закончился побегами от ФБР, калифорнийской полиции и мексиканских федеральных властей.

Стиль Вулфа отражает стиль жизни «затейников», но за эксцентричностью словаря и метафор стоит скептически настроенный автор. И все же это самое лирическое его произведение, проникнутое ощущением несбывшейся мечты.

В том же году была опубликована еще одна книга Вулфа — «Шайка пожарников». В ней обрисован другой феномен жизни конца 60-х, Вулф назвал его «основанием собственной лиги». «Герои» этой книги — «выпаденцы» из привычной социальной реальности: серфисты, мотоциклисты, люмпен-денди, затворники, старики — все, кому «надоело проигрывать», кто любым способом старается потушить в себе пожар поражения,— символические фигуры эпохи разочарований, ухода в себя — «эпохи Я».

Следующая книга Вулфа — «Лиловые лайковые перчатки, безумцы, шум и гам» (1976). Это серия гротескных зарисовок 70-х годов, эпохи рафинированного цинизма, выворачивания Я на групповых психотерапевтических сеансах и самодовольной демагогии. Книга оформлена Вулфом-карикатуристом.

Осенью 1979 года появилась давно обещанная книга о первой группе американских космонавтов — «Ребята — класс!». Написанная в характерной для последних работ Вулфа холодно-иронической манере, она по сути представляет собой серьезное социологическое исследование, разоблачение, затрагивающее разные аспекты проблемы освоения космоса Америкой — политические, экономические, социальные, психологические, этические. В этой связи интересно противопоставить нередким упрекам в адрес Вулфа в том, что его успех зависит от того, насколько ему удается превратить в пародию все, о чем он пишет, высказывание другого «нового журналиста» — Джона Г. Данна: «Образ жизни разных социальных групп всегда был темой Вулфа и, думается, причиной того, что он не в чести. Естественно, нация, объявившая себя нацией равных, тщательно скрывает существование этих различий. Тем более что в последние пятнадцать лет Вулф сосредоточил внимание на тех, кто не сражался за американскую империю... Вулф никогда не был журналистом... Но и беллетристика не его область. Скорее всего его можно назвать антропологом, который использует факт, добытый репортажем, для своих размышлений о культуре и классах общества...».

Известность пришла к *ДЖОАН ДИДИОН* после публикации серии очерков «Сползая к Бетельгейзе» (1968). Ее, как и Капоте, привлек типичный случай: красотка жена из адвентистской семьи, словно сошедшая с киноленты о Золотом Юге, убила, продуманно и хладнокровно, своего неудачника-мужа. В сравнении с книгой Капоте очерки «Сползая к Бетельгейзе» написаны гораздо экономичней и жестче, они оставляют впечатление большей социальной глубины. Другая талантливая американская писательница, Джойс Кэрол Оутс, назвала произведения Дидион «социальными кровоизлияниями».

*ХАНТЕР ТОМПСОН* — живая легенда, кумир молодежи. Выступая всегда «по обе стороны факта», он завоевал прозвище «Доктор гонзо» — король журнализма «изнутри» Его первая книга «Ангелы ада» (1966) была событием не только литературной, но и общественной жизни страны. Журнал «Роллинг стоун» поручил Томпсону репортаж о банде мотоциклистов, наводившей ужас на жителей Восточного побережья. Писатель надел кожаную куртку, сел на мотоцикл и растворился в «братстве» Ангелов. Он провел с ними несколько месяцев. Обнаружив в своих рядах репортера, Ангелы зверски избили его Томпсон чудом добрался до ближайшей больницы, где ему спасли жизнь и зрение.

Томпсон всесторонне исследовал Ангелов как характерное социальное явление жизни Америки: раскрыл их «философию» и «практику»—смесь фашизма и инфантилизма, выявил равнодушие правительства, реакцию прессы и сограждан. Это страшное разоблачение проникнуто ощущением боли и общенациональной трагедии. «Если вы опубликуете вашу книгу, я убью вас,— написал Томпсону один из главарей американских фашистов.— Мне все равно, что со

---

[1] Кен Кизи — автор романа «Пролетая над гнездом кукушки» (1962). И роман, и снятый по нему фильм имели шумный успех.

[2] Психоделия — из лексики хиппи, ощущение мира через наркотический транс.

[3] От англ. глагола «happen» — случаться. Современная форма представления, для которой характерно отсутствие внутренней логики, сюжета. Хэппенинг стремится подчеркнуть абсурдность действительности, вовлечь зрителя в процесс эмоциональной импровизации, процесс развития ситуации, создавшейся на сцене.

мной сделают. Я этим живу». После выхода книги «жить этим» было уже невозможно: книга «изжила» миф об Ангелах.

В 1972 году была опубликована книга Томпсона «Кошмар и блевотина кампании». В ней описана последняя избирательная кампания в Америке. Томпсон предоставляет слово кандидатам, другой план книги — аналитический. Писатель показывает одержимых жаждой власти циников. Белый дом притягивает их, как наркоманов — белый порошок героина.

Незадолго до этого вышла его же книга со сходным названием — «Кошмар и блевотина Лас-Вегаса», результат еще одного эксперимента «гонзо» журнализма. Чтобы написать о симпозиуме по проблеме наркомании в Лас-Вегасе, Томпсон с приятелем-журналистом скупили мешок самых «популярных» в то время наркотиков, для конспирации они взяли напрокат самую шикарную машину и, находясь в состоянии постоянного наркотического транса, проехали всю Америку — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса. «Я чувствую себя достаточно больным, чтобы быть совершенно откровенным,— пишет Томпсон, герой этого страшного повествования.— Все мы объединены нашим общим путешествием за выживанием».

Видная фигура «нового журнализма» — *МАЙКЛ АРЛЕН*. Особое внимание привлекли две его книги: «Война в гостиной» (1969) и «Американский приговор» (1973). Первая — сборник статей об американском телевидении. Арлен показал, что средства массовой информации «приручили» войну, превратив ее в привычную, не воспринимаемую сознанием «войну по телевизору» в гостиной.

«Майкл Арлен пишет так же естественно, как водяной жучок скользит по водной глади. И его комментарий, якобы касающийся телевидения, в действительности представляет собой стихотворения в прозе, достойные занять место среди лучших, написанных о жизни, любви, войне и современном состоянии нации»,— писал Джон Апдайк.

Многие видные журналисты стремились рассказать правду о нашумевших событиях 1969 года в Чикаго, связанных с убийством двух членов партии «Черные пантеры», которым посвящена вторая книга М. Арлена. Их материалы попадали на страницы печати, пройдя суровую цензуру.

В ходе судебного процесса, закончившегося лишь в ноябре 1972 года, выяснились следующие факты: во время предрассветного рейда на штаб-квартиру партии «Черные пантеры» под предводительством шефа чикагской полиции Эдварда Ханрахана глава партии Фред Хемптон был застрелен в постели, еще один из членов партии убит, двое ранены, трое арестованы. Полиция произвела более девяноста выстрелов, «пантеры» — один. Шефу полиции было предъявлено обвинение в убийстве, но суд полностью оправдал его. Выражая удовлетворение ходом дела, тогдашний вице-президент С. Агню назвал решение суда «американским приговором». Общественный резонанс; вызванный книгой Арлена, помешал назначению Ханрахана на пост главы чикагской полиции на следующий срок.

Типична для «нового журнализма» и книга другого талантливого писателя — *ДЖОНА ГРЕГОРИ ДАННА* «Делано» (1967). Она рассказывает о стачке калифорнийских сезонных рабочих-мексиканцев в долине Сан-Хоакин. Условия их работы еще в 30-е годы считались варварскими. Писатель выслушал сотни людей, он рассказал об их судьбе и драматическом моменте американской истории. Критика сравнивала «Делано» с «Гроздьями гнева» Джона Стейнбека.

В «эпоху Я» вышла вторая книга Данна — «Вегас, мемуары мрачного сезона» (1974). Это было уже совсем иное по форме и настроению произведение. Автору открылась «грустная, сильная, дико забавная, завораживающая картина того места в пустыне, которое принадлежит сноупсам [1] системы свободного предпринимательства, где вы всегда встретите кого-то, чье состояние духа еще мрачнее вашего». В этой откровенной книге, созвучной настроениям его сограждан, Лас-Вегас, «столица досуга», предстает как столица духовной опустошенности Америки.

Иные темы выбрал для своих социальных исследований *ГЭЙ ТАЛИС*. Писатель посвятил книгу «Королевство и власть» (1969) цитадели американской прессы — газете «Таймс», где он проработал десять лет.

Следующие восемь лет он изучал «руины морали среднего класса». Талис надеялся, что успех книги и фильма по ней привлечет внимание Америки к последствиям «сексуальной революции», всему сложному комплексу связанных с ней этических, общественных, общекультурных проблем. Он собрал уникальный социологический материал, проследил стремительный распад нормальной жизни людей, отбросивших все «нормы». Однако автор не поднялся до серьезных социальных обобщений, кроме того, он занимался своим предметом не только как репортер, но и по принципу «гонзо» — на себе, что вызывало немало едких насмешек. В результате еще до выхода книги создалась атмосфера нездорового интереса, сенсации. Появившись осенью 1979 года под названием «Жена твоего соседа», несмотря на внушительный объем в шестьсот страниц, книга разошлась тиражом популярной пластинки.

*СЕЙМУР ХЕРШ* начинал репортером при чикагской полиции, работал корреспондентом при Пентагоне. Его первая книга «Бактериологическое оружие: скрытый американский арсенал» (1968), выдержанная в лаконично информационном стиле, явилась политическим разоблачением.

В 1970 году, когда автору было тридцать три года, вышла вторая книга, принесшая ему широкую популярность,— «Милаи 4. Отчет об избиении и его последствиях». Херш вынужден был напечатать свою работу за границей, лишь после этого она бы-

[1] Фамилия героев трилогии У. Фолкнера, ставшая нарицательной, символом буржуазии.

ла опубликована в США. Книга рассказывает о зверствах американской военщины во Вьетнаме. В частности, о «знаменитом» лейтенанте Келли. Херш постарался не столько показать случившееся, сколько разобраться в причинах и следствиях этих позорных и трагических событий

Юрист по образованию *ДЖОН СЭК* был корреспондентом более чем в пятидесяти странах. Прославил Сэка его репортаж «М» (1966) о тренировках американских солдат и их действиях во Вьетнаме. Эту книгу называли публицистической «Уловкой-22»[1], «классикой американской журналистики», «великим репортажем», «большой литературой».

Книгу «Машина-людоед» (1973) Сэк посвятил возвращению солдат домой. «Не верьте,— пишет автор,— что война, война богатых против бедных, белых против желтых, окончена. Самые горькие факты, известные нам о Вьетнаме,— лишь несколько увеличенные приметы того процесса, который ежедневно происходит на Главной улице».

*ДЖО МАКГИННИС* стал известным журналистом в двадцать три года В двадцать семь лет он вошел в историю американской публицистики как автор книги «Продажа президента» (1969) о предвыборной кампании Р Никсона, показавшей всем что телевидение может «упаковать» и «продать» президента, как автомобиль или банку горошка.

Следующая его работа, «Герои», вышла в 1976 году. Многие в то время пытались разобраться в причинах гибели надежд 60-х годов и, перефразируя строку из знаменитой песенки Марлен Дитрих «Куда девались все цветы?», задавались вопросом: «Куда девались герои?». Макгиннис объехал Америку, встречаясь с теми «ого она привыкла видеть на авансцене своей истории. Одни были угнетены сознанием своего поражения, другие одержимы тщеславием Генерал Уэстморленд, возглавлявший американскую армию во Вьетнаме, например, «вынужден» был написать мемуары, потому что «пресса все возмутительно исказила» Он был уверен, что они будут экранизированы, и надеялся, что его сыграет Пол Ньюмен.

Последними Макгиннис посетил людей, «живущих на небе»,— летчиков-испытателей. Они понравились ему больше других, но у них висел плакат: «Самый кайф — смерть, поэтому мы оставляем ее напоследок».

Необычно началась журналистская карьера *ГАРРИ УИЛЛЗА* в двадцать два года он покинул иезуитский колледж и стал журналистом Уиллз преподавал древнегреческий, написал книги о Честертоне, культуре Рима, современной католической церкви и политике. Широко известна его книга «Вторая гражданская война, вооружаясь перед Армагеддоном» (1968) Как почти все книги «новых журналистов» она началась со статьи на этот раз о подготовке официальной Америки к подавлению волнений в гетто Лос-Анджелеса. Уиллз «бежал вместе с зайцем и охотился вместе с гончими», писала критика. «Трудно представить себе, — говорит автор читателю, — как избежать войны, если видеть лишь враждебные лица «сторон», но, приглядевшись к лицам отдельных людей, поражаешься собственному идиотизму: мы же собираемся воевать сами с собой». Это высказывание обнаруживает типичные для либеральной интеллигенции убеждения: автор стремится выявить суть противоречий, надеясь при этом на то, что самоочевидность социальной несправедливости поможет избежать второй гражданской войны.

*РЕКС РИД* пишет главным образом о кино. Его статьи печатают в сотне газет мира. Его «профили» собраны в нескольких книгах. Одна из них — «Люди здесь безумны» (1974) — посвящена Голливуду Рид исследует его сложную социальную структуру. Его интересуют эти люди потому, что «именно художник служит зеркалом нашей жизни в критические времена, возвышая свой голос над стоном скорби Конечно, безумцев много повсюду. Наверное, больше всего в Вашингтоне: достаточно взглянуть на заголовки... В своих интервью и «профилях» я искал эксцентрические черты, двойственность и неизлечимые увечья Я, которые отличают знаменитых актеров от всех людей.. свет, который кровоточит через края рампы, согревая души людей,— в этом суть книги».

Панораму «нового журнализма» можно было бы начать с *ДЖИММИ БРЕЗЛИНА*, по всеобщему признанию — одного из пионеров жанра, все эти годы проработавшего в ежедневной печати, то есть почти каждый день писавшего короткий рассказ на злобу дня. Мастерство и человеческий такт Брезлина, его умение говорить с читателем о самых больных проблемах Америки завоевали ему широкую популярность.

Статьи Брезлина собраны в книгу «Мир Джимми Брезлина» (1967). Другая его публицистическая книга — «Как в конце концов хорошие парни победили» (1975) — посвящена Уотергейту. Использовав в ней репортаж и свободные авторские размышления, Брезлин рассказал о том, что происходило в это время в американских коридорах власти и за их стенами. «Он — один из лучших наших писателей»,— констатировала критика.

■

Полтора десятилетия отделяют нас от того момента, когда заговорили о «новом журнализме». Дискуссия коснулась проблем отражения действительности, то есть традиционных вопросов, возникающих в периоды качественных изменений предмета искусства. И, предпринимая попытку увидеть «новый журнализм» в исторической перспективе выявить его суть и определить место, которое он занимает в современной культуре США, необходимо хотя бы бегло обрисовать контекст, в котором возникло это явление.

К концу 70-х годов, когда Америка уже устала от затянувшегося хэппенинга американской истории, последним аккордом которого «случился» Уотергейт, события этого исторического периода и соответствующей ему культурной эпохи предстали в ином, более прозрачном свете, что

[1] Знаменитый сатирический антивоенный роман Дж. Хеллера. М., Воениздат, 1967.

запечатлело название последнего романа Джона Гарднера «Свет в октябре» (1978).

Два фактора обусловили новый бурный расцвет традиционной литературной формы — очерка, не раз переживавшего в разные исторические эпохи жизни разных стран периоды взлета и упадка. Это — специфика 60-х годов: социально-политические и диктуемые ими идеологические, культурные и эмоционально-психологические черты жизни США этих лет. И соответствовавший уровень развития производственных отношений в сфере средств массовой информации.

■

«Новый журнализм» родился в кризисную эпоху. В 60-е годы Америка пришла со взрывчатым багажом. От «золотой поры» начала столетия, завершения кристаллизации «американской мечты», от веры в безграничные возможности человека в Новом свете, через незаживающие раны, нанесенные «мечте» Великой депрессией, через «красное десятилетие» 30-х годов, через опыт мировой истории на войне в Европе и позор Хиросимы, через маккартизм 50-х годов.

60-е начались возрождением надежд, которые были связаны с приходом в Белый дом Дж. Ф. Кеннеди. Сознавая необходимость консолидации нации, некой общей цели или нового «фронтира», ДжФК, как его называла пресса, развязал войну во Вьетнаме и взял курс на покорение космоса. Однако попытки подстегнуть политическую и социальную активность обернулись бурей «революций» в разных областях американской жизни. Средства массовой информации США подхватили тогда этот термин, сделав его одним из наглядных образцов радикальной фразеологии тех лет, которая отражала желание видеть в стихийных взрывах общественного недовольства залог коренных социальных изменений Необходимость же перемен обнаружилась тогда с необычайной силой. Общественными доминантами этих лет стали: мощная антивоенная оппозиция внешней политике правительства, движение за гражданские права негров, молодежная «революция», «революция» нравов. Оказалось, что нет единой Америки «для тебя и для меня»: единство мировосприятия раскололось, образовав нечто дискретное, мозаичное, в каждом участке абсурдное и уродливое по-своему. Новая реальность виделась непоправимо отрезанной от прошлого. Настоящее пугало. Будущее неизменно представлялось в мрачных тонах. Казалось, что история с ее причинно-следственной связью исчезла, уступив место хэппенингу, непривычному, завораживающему, существенно изменившему духовную атмосферу жизни личности.

Динамика эпохи стала отчетливо вырисовываться к середине следующего десятилетия. Запланированный взлет патриотизма оказался недолговечным. Уже в 1962 году «Вьетнам резко «обернулся» против Америки. И вдруг стало более вероятным изменить личную реальность с помощью ЛСД, чем американскую через СДС»[1], писал один из «новых журналистов», историк молодежного радикального движения Дж. Ньюфилд. В книге «Хлеб, но и розы» (1971), посвященной 60-м годам в США, он высказал убеждение в том, что лишь в условиях социализма Америка могла бы разрешить стоящие перед ней политические и социальные проблемы. Пуля, оборвавшая в 1969 году в Далласе жизнь президента, открыла путь тяжелому похмелью. «Революционные» надежды 60-х сменились новым маккартизмом поры правления Р Никсона.

С одной стороны, четко обозначились сознание бесцельности, абсурдности существования, склонность к фетишизации истории. Человек виделся ее жертвой, что было характерно для господствовавшей философии экзистенциализма. Вновь обрела популярность идея сюрреализма, объявлявшего тщеславием саму попытку понять мир, взамен этого предлагалось «коллекционировать» его. С другой стороны, с не меньшей силой проявилось сознание того, что Америка, чтобы выжить, должна погрузить свои корни в историю. Эти полярные концепции явственно прослеживаются в разных областях литературного освоения действительности.

■

В 60-е годы, с присущим времени темпераментом, литераторы спорили о том, кто же умирает на подмостках истории: поэт в журналисте или журналист в поэте? Казалось, что-то одно должно погибнуть — факт или фантазия, очерк или роман.

Разумеется, Том Вулф был далек от наивности и не воображал, что «новый журнализм» действительно вытеснит художественную литературу, хотя она тогда, как и все вокруг, по большей части являла собой нечто довольно мрачное по содержанию.

Действительно, Великого романа никто не создал. В эти годы ушли из жизни Фолкнер, Хемингуэй, Фрост, Сэндберг, Синклер, Стейнбек, Хьюз, Райт, Дос Пассос, О'Хара и другие. Это и дало повод говорить, что «бунтующие» 60-е, сменившие «молчаливые» 50-е, можно назвать «молчаливым десятилетием американской литературы», что звучит натяжкой, воспринимается как удачный каламбур.

В 60-е многие писатели отказались от реализма, занявшись формальным экспериментом, углубившись в исследование психики. Явственнее проявилось и влияние европейского модернизма, нашедшего выражение в романе, кинестетических[1] театральных группах, культивировавших хэппенинг, рок-музыке, экспериментальном кино В отличие от классического романа с его вечным конфликтом добра и зла область модернистской беллетристики иллюстрировала высказывание одного из основоположни-

[1] «Студенты за демократическое общество» — организация, возникшая в США в ходе студенческого движения 60-х годов.

[1] Кинестетический — связанный с ощущениями, вызываемыми движением суставов, напряжением мускулов, работой вестибулярного аппарата.

ков французского «нового романа» Роб-Грийе о том, что реальность нельзя воспринимать как значимую или бессмысленную, «она просто есть». В этих произведениях порой исчезала граница между искусством и реальностью, что часто вело к абсурду: сам процесс творчества становился объектом повествования. Именно подобную беллетристику Том Вулф, по его собственному выражению, «покрыл лошадиным ржанием».

Однако и в эти годы наиболее значительные реалистические и экспериментальные романы были серьезными социальными свидетельствами и психологическими исследованиями. К концу 70-х наметилось заметное оживление реалистических и гуманистических поисков. При этом многие писатели ушли с современной исторической поверхности в пласты американской истории. В 1975 году, в период громкого успеха романа «Рэгтайм»[1], его автор Э. Л. Доктороу сказал: «История слишком важна, чтобы отдать ее историкам» «Золотой век» отозвался Америке жестокой ностальгией 60-х, породившей стиль ретро. К середине следующего десятилетия он обернулся волной беспощадной демифологизации американского прошлого «Новые журналисты» часто добивались шока американской реальностью, а «новые историки» в литературе: Доктороу, Кувер, Видал — казалось, стремились вызвать катарсис иронией и гротеском. А наряду с их книгами создавались и очень разные по своей идейной и художественной значимости, но тоже весьма симптоматичные для понимания времени произведения исторической беллетристики, такие, как «Признания Ната Тернера» У. Стайрона, «Заговор» Дж. Херси или «Корни» А. Хейли.

■

Первыми возвестили приход новой эпохи 60-х годов журналисты. «С 1967 года,— свидетельствовала Н. Сэйре.— быть корреспондентом значило фиксировать противоречия... При этом фокус заметно сместился с того, что делают люди, на то что они чувствуют и думают. Я вспоминаю случай со знаменитым компьютером, которому загадали загадку: «Ни на глазах, ни в уме» Последовал ответ: «Идиот-невидимка». Возможно, некоторые из нас боятся стать идиотами-невидимками, если они не будут постоянно осмыслять, что происходит вокруг».

Бум документализма, стремление «коллекционировать» историю, чтобы с ее помощью понять настоящее, выдвинули журналистику на авансцену литературы, и она своеобразно отразила тенденции господствовавшие тогда в американской культуре. И в ней можно обнаружить следы настроений ретро. Так, известный журналист С. Тёркел опубликовал в 1970 году книгу «Тяжелые времена. Устная история Великой депрессии», в которой попытался продемонстрировать связь 30-х и 60-х годов. Но господствовал пафос настоящего.

Стремясь запечатлеть неповторимое и разное и в то же время общее для всех «сейчас», «новые журналисты» существенно отошли от традиционной для современной американской журналистики манеры. Им хотелось поднять уровень «нехудожественной» работы до творчества, показать самоценность человеческой личности, в повседневности выявить черты времени, подчеркнуть общечеловеческое, то есть они взяли на себя подлинно творческую задачу. И они использовали не только динамизм и эпичность, заложенные в повседневной истории того времени. Кризисная эпоха выявила типические черты в каждом человеке, особенно в «звездах» и «выпадениах» — социальных полюсах американской жизни, о которых писали «новые журналисты». По существу, они имели дело с готовыми типами, в которых им оставалось оттенить черты социального символизма, и тогда само социальное явление становилось их «героем». Для «массовой культуры» характерно производство подобных символических образов знакомой всем реальности — «имиджей». Но «имиджи» — слишком обобщенные образы, подобно героям Артура Хейли, очень достоверные с точки зрения социологии, но недостаточно «декодированные», они лишены индивидуальности, что препятствует подлинному восприятию, которое дает художественное произведение. И следующей задачей «новых журналистов» было вдохнуть в них жизнь, заставить читателя сопереживать, как в романе. Это можно было сделать, только раскрыв личность своего героя или окрасив его фигуру собственным чувством.

Объявив мечту о Великом романе мертвой, Том Вулф, таким образом высказал надежду на создание Великого очерка, который станет свидетельством наиболее существенных событий современной истории. Но суть перемен заключалась в том, что один журналист не мог сделать то, что в свою очередь не мог сделать и его современник-романист,— их усилия оказывались в известном смысле камерными, отражающими одну из сторон бытия. Условность документального в своей основе жанра не позволяла «новым журналистам» создавать подлинно художественные образы. у них получались скорее социальные типы, чем характеры. Однако их писательская манера отвечала духу времени и импонировала читателю, которому они словно говорили: вместе мы читаем исторический роман, в котором все мы — персонажи на равных. «Новые журналисты» не захотели довольствоваться ролью «чиновников новостей», словно «блаженные варвары» они открывали для себя художественные достижения классического французского, английского, русского романа XIX века, новшества романа XX столетия.

Существенным было само стремление «новых журналистов» писать горячую историю именно как роман, претворяя реальность в авторском воображении, претендуя на значимость собственного и общественного опыта, пытаясь анализировать события, творчески претворять их в некое единое целое.

[1] См. «ИЛ» № 9, 10, 1978.

■

В процессе отражения культурой реальности США этого периода необычайно активно участвовали и средства массовой информации. Именно в эти годы преобразилась их техническая база: транзисторы, спутники связи, фотокопировальные машины, ЭВМ стали факторами культуры. Разнообразие и интенсивность потока информации, разнообразие средств его преломления привели к структурным изменениям внутри образовавшейся системы средств массовой информации: стремительно завершился процесс концентрации и специализации внутри нее. Образовались мощные финансово-бюрократические конгломераты, и средства массовой информации превратились в индустрию новостей, орудие власти над сознанием страны, по видимости самостоятельную социальную силу. Они обнаружили в этот период диалектические в своей противоположности тенденции: укрупнения единиц, стандартизации новостей, ставших товаром, бюрократизации аппарата и подавления творческого начала. Большинство сотрудников системы стали «клерками факта», на 80% зависящими от централизованных информационных агентств. С другой стороны, новая индустриальная база производства новостей заставила проявиться и противоположную тенденцию — сопротивления нивелировке, что побудило повышать качество обработки информации, то есть степень отбора, глубину анализа, возродив исконный индивидуальный характер работы репортера. Его фигура стала зримым звеном между входом и выходом информации.

Выявилось отношение потребителя к информации в ее непосредственно зрительной и словесной форме. Увлечение средствами массовой информации быстро сменилось недоверием, а нередко и враждебностью к ним, как ко всякой безликой силе, способной манипулировать сознанием, «создавать историю».

Произошел обратный крен — в сторону доверия к личности. Американцы, воспитанные в духе «докажите-мне-это-мальчики», охотнее шли на «частную сделку» с писателем, комментатором, политиком, которые вложили душу, затратили усилия, чтобы расположить к себе, «продать» свой товар. Двойственность воздействия телевидения, которое одновременно приближало и отчуждало события, стирала грань между реальностью и вымыслом. Удостоверить подлинность факта могла только личность, с ней, как всегда, был связан механизм отождествления, подлинного восприятия.

И от своего «объекта» в обмен на славу, которую они могли ему принести, средства массовой информации требовали раскрытия личности, без этой «упаковки» — эмоциональной, личностной окраски — «продажа», превращение в «звезду» не могли состояться. Зритель-читатель не мог полюбить кого-то, если у него не вырабатывалось личного отношения к «товару», эмоционального контакта с ним.

После того как стало возможным показать событие на экране, журналисту пришлось уйти с поверхности факта к его корням. Пришлось вторгнуться в область психологии, за политическим событием усмотреть политическую систему — от констатации в духе «извольте-только-факты» перейти к анализу, обобщению. Здесь и столкнулись возможности визуального образа и слова.

В пору расцвета средств массовой информации пророк видеосредств М Маклюэн предрекал им близкую гегемонию. Однако подлинным пророчеством выглядит мысль, высказанная в 1843 году у колыбели фотографии Л. Фейербахом. Наш век, писал Фейербах, предпочитает образ самой реальности, поскольку картина — всегда интерпретация, а фотография — декларация, как след или посмертная маска. Фейербах отдает преимущество обобщению, воображению. Это преимущество и использовало слово.

■

Таким образом, «бурные 60-е» дали «новому журнализму» динамизм и ритм истории. Матрица истории, общественной и духовной ситуации проступила в выявленных «новыми журналистами» структурных, политико-социальных и идеологических аспектах жизни современной Америки, в выведенных социальных и психологических типах. И в мировосприятии самих представителей направления — в их сравнительно более активной, чем у их предшественников 40—50-х годов, жизненной установке, сравнительно более прогрессивном мировоззрении, позволившем некоторым из них поставить существенные идейные и социальные вопросы.

Средства же массовой информации заставили сообразно трудным условиям своего рынка сбыта возвести высокую информативность, профессиональное мастерство, сближающееся с творческим претворением, и личное, «лирическое» начало в ранг формообразующих жанровых характеристик.

Новизна явления легко обнаруживается при обращении к тем количественным характеристикам, которые в результате своего необычайного роста дали новое качество. Так эпоха дала американскому читателю в проводники по современному аду не одного, а полсотни Вергилиев. Напомним при этом, что художественные достоинства книг «новых журналистов» часто справедливо ставили выше многих современных романов. «Новые журналисты» работают на уровне американской социологии и при этом на немыслимом ранее, на прежней информационной базе, уровне качественных результатов в единицу времени.

Как всякое литературное явление, «новый журнализм» интересен именно спецификой, а не тем, что с его появлением в очередной раз оживился вечный теоретический спор об абсолютности-относительности новизны конкретного литературного жанра или его границах. Известно, что со времен античности эволюция литературных форм многократно пересматривала их иерархию. С каж-

---

Т. РОТЕНБЕРГ
ОТ ФАКТОВ — К ИСТОРИИ,
ОТ ХЭППЕНИНГА — К РОМАНУ

дым новым взлетом жанр переживал воздействие нового для него времени, оно то уточняло его границы, то размывало их настолько, что возникали разговоры о «смерти» жанра. Эту закономерность прекрасно выразил Ю. Тынянов. «Теория словесности,— писал он,— упорно состязается с математикой в чрезвычайно плотных и уверенных статических определениях, а в теории литературы определения не только не основа, но все время видоизменяемое эволюционизирующим литературным фактом следствие».

История становления романа, тесно связанная с эволюцией таких жанров, как эссе и очерк, не раз доказывала справедливость этих слов. Монтень, например, считал эссе новой литературной формой, а Ф. Бэкон отмечал, что само слово — новое, а явление — древнее. В XVIII веке эссе было ведущим журналистским и полемическим жанром в Англии и Франции. В XIX веке вся английская и американская журналистика проникнута духом эссе, тогда же произошла канонизация эссе в качестве самостоятельного беллетристического жанра как следствие признания его эстетической ценности. Французский реалистический роман своим происхождением во многом обязан «физиологиям» — нравоописательным очеркам, которыми увлекался и Бальзак. Классический английский реалистический роман родился из журналистики его родоначальников. В России 40-х годов прошлого столетия в «Натуральной школе» очерка складывалось «гоголевское направление» классического русского романа. В 20-е годы молодая советская проза прошла через формальный эксперимент «Серапионовых братьев», чьим творчеством занимался в университете их американский «преемник» Том Вулф.

Талантливые писатели-реалисты всегда были мастерами очерка. В США взаимосвязь журналистики и художественной литературы легко прослеживается с XIX века. Журналистика Э. По, М. Твена, Брет Гарта, А. Бирса, Дж. Лондона, Р. Ларднера, С. Фитцджеральда, Э. Хемингуэя, Н. Олгрена, Дж. Стейнбека так же неотделима от истории американской литературы, как и публицистика таких выдающихся журналистов, как Джон Рид, Джеймс Эйджи или Лилиан Росс.

Широко известно высказывание Толстого, одного из первых великих художников, осознавшего эстетический потенциал факта и родившегося в форме документальной хроники кино: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какую-нибудь Марью Ивановну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а рассказывать то значительное и интересное, что им случалось наблюдать в жизни». А Герберт Уэллс доказывал Генри Джеймсу, что роман — это форма журналистики.

При разграничении прозаических жанров определяющим всегда было соотношение действительности и художественной структуры. Степень формальной условности, поглощения этой структурой факта, реальности определяет эстетическую специфику и «нового журнализма».

Справедливо говорить о его близости к художественному очерку, эссе или роману. Очевидно, что факт ограничивает творческие возможности «нового журналиста», даже когда он сам, как в предельном случае «гонзо», становится не просто лирическим героем, но непосредственным участником описываемых им событий: в отличие от романиста он может лишь отобрать наиболее яркий факт из имеющихся. Все это может и очеркист высокого класса. Горький, например, ставил очерк между рассказом и исследованием, поскольку подлинно творческая работа, предполагая качественный скачок, социальное, психологическое обобщение,— работа научная по сути.

В жанровом отношении «новый журнализм» — своеобразная современная модификация очерка, сочетающая черты документальной и художественной его разновидностей. В отличие от традиционного очерка, характеризуемого как форма «описательно-повествовательная», «новый журнализм» использует арсенал приемов журналистики и художественной литературы, стремясь воссоздать жизнь в формах самой действительности. Его диалектика как жанра документально-художественного состоит в свободе выражения и несвободе вымысла.

К концу 70-х годов те «новые журналисты», для которых была характерна повышенная эмоциональность, эксцентричность стиля, пришли к большей отточенности и строгости стиля, что породило еще одно определение — «личное эссе».

За истекшие полтора десятилетия направление накопило значительный нравоописательный и социологический материал. Большую часть работ «новых журналистов» можно назвать разоблачительными документами. Достаточно назвать не упомянутые выше, посвященные войне во Вьетнаме книги Д. Халберстема «Лучшие и талантливейшие» (1972), М. Маккарти «Вьетнам» (1967) и «Медина» (1972), а также такие документы радикализма, как книги П. Кована «Три письма с Миссисипи» (1964) «Создание антиамериканца. Диалог с жизненным опытом» (1967—1970), Дж. Кунена «Великий корабль-ракета США» (1969), «Земляничное заявление» (1969) и «Стандартная оперативная процедура» (1971). Работы, посвященные внутриполитическим и социальным проблемам: О. Демариса «Poso del mundo» (1970), «Америка — насильница!» (1970), «Грязный бизнес» (1974). М. Комптона «Америка входит в пору зрелости» (1963), А. Лукаса «Не стреляйте, мы ваши дети!» (1972) и «Кошмар. Оборотная сторона никсоновских лет» (1976), Т. Уикера «Аттика» (1975), очерки К. Воннегута «Биафра: преданный народ» (1970) и «В манере, которая смутила бы и господа бога» (1972) и другие.

Благодаря необычайно высокому уровню личной причастности и художественного обобщения «новым журналистам» удается привлечь внимание страны к общественным проблемам и ранам сознания. В этом интересе к социальной структуре, символическим чертам этих лет и заключается поиск существенной «связи времен», сознательный историзм мировосприятия, который составляет гуманистическое содержание «но-

вого журнализма как феномена духовной жизни Америки. Актуальность их прошлых работ определяется сегодня тем, что большинство ушедших, на первый взгляд, явлений, находившихся в поле зрения «нового журнализма», продолжают оставаться современными американскими проблемами. Прошлые и настоящие произведения «новых журналистов» — разносторонние свидетельства, исследующие действительность с той степенью гражданской заинтересованности, которая ставит их вне массового потока американской журналистики.

■

Современная история и научно-технический прогресс изменили представления о масштабах фантастического, породив, с одной стороны, интерес к жанру научной фантастики, с другой — к литературе факта, который обгоняет фантазию. «Новый журнализм» и явился одной из американских разновидностей этой литературы. Однако, как известно, обращение к документу само по себе не гарантирует истинности отражения действительности. Так, неоавангардизм второй половины нашего века бунтовал по уже открытым авангардом начала столетия законам механического копирования реальности: он заменил живопись фотографией и коллажем, театр — хэппенингом, породил конкретную музыку, дал американской литературе 50—60-х годов национальные разновидности «антиформ». «Новый журнализм» пошел по противоположному пути.

С другой стороны, в «новом журнализме» проявлялась и обратная документализму направленность — повышение роли эстетического претворения факта. Она, в свою очередь, указывала на разочарования в последствиях научно-технической революции в условиях современного буржуазного общества и отражала взлет общественного сознания в условиях кризисной эпохи. В литературе это сказалось в возрождении мемуарных и эссеистических форм. Однако именно в «новом журнализме» автомомент стал определяющей чертой жанра.

«Новый журнализм» наглядно обнаружил и тенденцию политизации искусства, усиления его социальной направленности. Причем она воплотилась в произведениях, запечатлевших многие значительные идейные, политические и социальные явления времени с позиций либеральной интеллигенции США, пережившей в эти годы на новом историческом этапе подобие радикальных настроений 30-х годов. Вспомним, что в художественной литературе соответственного периода эти особенности проявились и отрицательно: некоторые писатели декларировали отказ не только от идеологии, но и от реальности.

Убедительное воплощение нашла в «новом журнализме» и тенденция возрастания познавательной роли искусства, а вместе с ней и популяризации специального знания. Исследовательская и обобщающая работа продолжалась и после публикации серии очерков в периодике, авторы хотели придать своим размышлениям форму некоего единства, законченной книги. В романе также наблюдались попытки создания новых эпических форм, однако их разросшийся объем редко был эстетически оправдан.

Как уже говорилось, индустриальная база производства современной буржуазной культуры резко усилила процесс нивелировки ее продукта, а индустрия новостей превратила большинство ее сотрудников в «клерков факта». «Новый журнализм» отразил противоположную направленность. Таким образом, двойственность его жанровой природы и те прогрессивные тенденции развития современного западного искусства, которые проявились в этом направлении, сближают его с современным реалистическим романом и различными очерковыми формами, что в свою очередь своеобразно подтвердило общую тенденцию разрушения замкнутости художественных форм, большой открытости формальной структуры. В «новом журнализме» сказалась и одна из наиболее существенных тенденций развития современной культуры — ее стремление соединить современную науку и искусство.

Существо проблемы точно выразил, например, известный американский поэт Арчибальд Маклиш, утверждавший, что нет принципиальной разницы между поэзией и журналистикой, поскольку и шекспировский сонет, и статья в газете являются попытками преодолеть фрагментарность общечеловеческого опыта, достичь понимания. Главное — удалось ли выявить смысл этого опыта. При том, что нам сегодня сообщают больше фактов, писал Маклиш, мы не стали понимать наш мир лучше. Мы утратили человеческую способность чувствовать факты, а слепой Глостер «чувствовал мир». «Для меня,— писал поэт,— самый серьезный наш кризис — разрыв мысли и чувства, кризис воображения».

«Новые журналисты» как раз и сумели приблизиться к поэтам, насколько это может позволить себе репортер. И это была не только формальная близость. Многие практики жанра — талантливые писатели, обладающие своим стилем письма, мышления, восприятия. Пятьдесят «звезд» — сравнительно много для другой исторической эпохи, но для современного массового производства культуры — закономерно мало.

Сегодня меняется лицо «нового журнализма»: на страницах журналов появляются имена новых, более молодых его практиков, которые присоединяются к признанным представителям направления в их общем деле воссоздания «горячей» истории страны. Многие из тех, кто получил широкое признание благодаря своим работам именно в этом жанре, попробовали свои силы в традиционном романе. У одних эти попытки были значительно менее удачными, чем их прежние работы. Другие, как, например, Джоан Дидион, написали социологические исследования в форме романа, третьи создали беллетризованные документальные романы. Том Вулф опубликовал

---

Т. РОТЕНБЕРГ
ОТ ФАКТОВ — К ИСТОРИИ,
ОТ ХЭППЕНИНГА — К РОМАНУ

книжку сатирических зарисовок с собственными карикатурами; как и Диккенс, тоже рисовавший карикатуры к своим зарисовкам, Вулф использовал тогдашний термин «скетч». Однако общий крен направление дало явно в сторону социальной психологии и социологии. Таковы, например последние работы 1979 года Н. Мейлера, Т Вулфа, Г. Талиса, Г Шийи. К. Кизи исследования Т Уикера. Д. Халберстема, посвященные прессе. Возрастающая аналитичность одних работ и высокие эстетические достоинства других говорят о потенциальных возможностях «нового журнализма» этого характерного явления современной американской культуры.

Заставив своих читателей почувствовать лихорадочный пульс «другой Америки», судьба которой обычно остается за кадром, обнаружив отталкивающую суть людей и явлений, чей подлинный облик скрыт от сознания потребителя новостей изощренной политической косметикой, «новые журналисты» не пошли дальше обычных для буржуазного искусства выводов об общественном неблагополучии Америки. Их собственные книги и высказывания могут служить образцом благородных порывов и характерных идейных заблуждений, присущих современной либеральной интеллигенции Запада. В них уживаются горечь и боль за свою страну, желание воплотить в ее жизнь гуманистические идеалы с сенсационностью, эмоциональной вовлеченностью, мешающей видеть влияние нездоровой духовной атмосферы и в собственной работе.

Однако благодаря искренности и таланту «новые журналисты» — лучшие из них — сумели привлечь внимание широкой аудитории ко многим насущным проблемам Америки, и в этом их бесспорная заслуга.

◆

## К нашим иллюстрациям

# АУГУШТУ Ф. Р. ТРИГУ

Среди имен тех, кто вносит свою лепту в становление культуры новой, независимой Африки,— имя художника из Республики Гвинея-Бисау Аугушту Фаушту Родригеша Тригу Родился он в городе Болама в 1938 году. Долго жил в Португалии, изучая в лиссабонском лицее Каза Риа живопись, графику скульптуру Вернувшись в 1958 году на родину, живет и работает в городе Бисау. Первая выставка Тригу была организована в Гвинее-Бисау в 1964 году затем в лиссабонском дворце Фоз.

В творчестве А Тригу переплетаются элементы двух культур — европейской и африканской Его любимые жанры — пейзаж и портрет. В картине «Дерево», например, художник с помощью многочисленных градаций светотени, оттенков коричневой гаммы подчеркивает мощь ствола, крепко вросшие в почву корни старой сейбы Бурый цвет почвы дерево, резко выделяющееся на фоне напряженного по цвету голубого неба,— все это почти ощутимо передает влажный зной африканского дня.

Особенно удаются А. Тригу портреты его земляков. Он всегда дает их крупным планом, как в кинематографе Это уже не просто изображение каких-то конкретных людей, это почти символы Так, «Старик» воспринимается как образ старой Африки, вглядывающейся в будущее В «Музыканте» отразилась тяга африканцев к голубому цвету символу воды и жизни

Монументальность — главное качество портретов Тригу Его работы глубоко национальны. В этом, наверное, главная заслуга художника, отразившего в своем творчестве процесс возрождения современной Африки.

**Н. ДЬЯКОНОВА**

◆

## Заметки писателя

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС

# ЧИЛИЙСКАЯ «ВНУТРЕННЯЯ ВОЙНА»

Читатели Мексики и многих других стран Латинской Америки — даже Чили, там, правда, подпольно — знакомятся сейчас с последней книгой Володи Тейтельбойма «Внутренняя война» [1].

Это совсем особая книга, и мы, чилийцы, читаем ее с какой-то трепетной и пронзительно-тоскливой жадностью, потому что она рассказывает о нашей действительности, о нашей недавней истории, о той ожесточенной, яростной и глухой войне, что с сентября 1973 года идет на узкой полоске земли между Тихим океаном и Кордильерами, а также внутри нас самих.

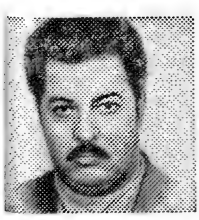
Прошло семь лет после военно-фашистского переворота. Это были поистине кровавые годы. Сопротивление чилийского народа продолжается, хотя тридцать тысяч патриотов были уничтожены, сотни тысяч честных чилийцев томятся в тюремных застенках или обречены на насильственное изгнание.

В борьбе против диктатуры Пиночета, которая принимает самые различные формы и приобретает все более острый характер, ведущая роль принадлежит Коммунистической партии Чили, основанной пятьдесят восемь лет тому назад типографским рабочим Луисом Эмилио Рекабарреном. Эта глубоко пролетарская по своей сущности партия, возглавляемая сегодня славным сыном чилийского народа товарищем Луисом Корваланом, оказывает могучее влияние на широкие круги интеллигенции и средние слои населения.

Партия, которую в Чили называют партией Рекабаррена и Пабло Неруды, ведет борьбу на самых разных направлениях общественной жизни, как этому учит Владимир Ильич Ленин. Особенно напряженную — на идеологическом фронте. Именно поэтому новый роман Володи Тейтельбойма «Внутренняя война» звучит столь актуально.

Как известно, «внутренней войной» фашистский режим Пиночета официально называет свои систематические, ведущиеся вот уже семь лет «операции» по искоренению Коммунистической партии, подавлению всех левых сил, всего рабочего движения, всех демократов — свою попытку уничтожить передо-

[1] Volodia Teitelboim. La guerra interna. Editorial Joaquin Mortiz. México, 1979.



**ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС — JOSÉ MIGUEL VARAS** (род. в 1928 г.).

Чилийский писатель и журналист. В настоящее время живет в эмиграции. Автор сборников рассказов «Кауин» («Cahuin», 1946), «Общие места» («Lugares comunes», 1969), повести «Случается» («Sucede», 1950), биографической повести о чилийском коммунисте «Чакон» («Chacón», 1968). На русский язык переведена его повесть «Бывалый», в «Иностранной литературе» печатались рассказы и статьи.

Публикуемая статья получена в рукописи.

вую мысль, национальную культуру и жизненную энергию народа. Конечно, в книге Володи Тейтельбойма говорится об этом, но ее название имеет также и иной смысл: «внутренняя война» — та война, что ведется в самой глубине существа любого из нас. Это война идей и чувств. И исход другой войны — борьбы классовой, борьбы за власть и будущее Чили — решающе и неизбежно предопределен результатом той внутренней войны.

**Кошмар или поэма?**

Следует сразу же предупредить, что книга Володи Тейтельбойма не «теоретическая» и не журналистская. Это не очерк о военном путче и режиме Пиночета, а произведение художественное, роман, да, роман,— правда, его характерные черты значительно отличаются от тех, которые принято считать определяющими для этого жанра. Книга бросает вызов жанру, бросает вызов читателю.

Пожалуй, это произведение можно было бы назвать поэмой в прозе на четырехстах сорока страницах. В ней заключен целостный взгляд на мир, вся сумма реакций, которые чилийская история этих лет вызывает у определенного человека — писателя Володи Тейтельбойма; и потому, несмотря на то, что в книге рассказывается о многом, есть множество перипетий, диалогов, сцен, персонажей, выступлений и речей, это вещь лирическая, субъективная, сугубо личная.

Мы убеждаемся, что центральным персонажем в конце концов становится сам автор, хотя его голос, казалось бы, слышен слабее остальных, поскольку книга написана главным образом в форме следующих один за другим монологов действующих лиц. И у нас создается ощущение, что мы не столько читаем, сколько видим некий сон, вернее, некий кошмар, в котором Володя Тейтельбойм живет непрерывно, начиная с 11 сентября 1973 года.

**Кошмар наяву**

При том, что этот кошмар сугубо личен, субъективен, что в нем, как говорят знающие люди, с необыкновенной силой проявляются особые, исключительные свойства личности автора,— перед нами ценнейший документ, выражающий настроения очень многих людей в стране. Да, этот кошмар испытывает большинство чилийцев, живущих в изгнании, а также, мне думается, и те, кто остался на родине. И это худший из кошмаров, потому что он существует наяву. От него можно пробудиться, лишь изменив саму действительность.

В книге видимо-невидимо чудовищ. Мы узнаем их. Они еще страшнее тех, что могут быть созданы в воображении. Некоторых автор наделяет именами злодеев, запомнившихся нам с детства по «фильмам ужасов». Дракула, Франкенштейн, Кинг Конг, Борис Карлофф, Петер Лорре. Правда, они довольно безобидны по сравнению с генералом Сесаром Аугусто или главой ДИНА [1] Мануэлем Контрерасом — полковником Динасени.

Противостоят им добро, чаяния, будущее, представленные женщиной по имени Надежда-несмотря-ни-на-что, Поэтом (легко догадаться, кто это), неким не утратившим порядочности Капитаном, который спасает Надежду от тюрьмы, от исчезновения и от смерти, и собственной дочерью генерала Сесара Аугусто, Алисией — Алисой,— чье нисхождение в ад пыток или «страну чудес», «Виллу Гримальди» [2], становится одним из центральных эпизодов романа.

**Новый стиль**

По сравнению с прежними вещами Володи Тейтельбойма «Внутренняя война» в стилистическом отношении показывает нам писателя с совершенно новой стороны. Или, быть может, следовало бы сказать: по сравнению со стилями его прежних вещей, ибо они, эти стили, достаточно разнообразны. Володя Тейтельбойм — писатель, владеющий весьма богатой палитрой голосов, интонаций, литературных ресурсов, тем, интересов, писатель, способный прибегать к весьма разнообразным манерам повествования. В каждой из книг он предстает иным, хотя при этом и не теряет особого, ему одному присущего свойства, определяющего его литературную и человеческую индивидуальность: страстности в сочетании с интеллектуальной трезвостью и блеском.

Собственно литературную деятельность он начал с поэзии. Но скоро в его жизнь прочно вторглась политика.

Двадцатисемилетним Володя Тейтельбойм опубликовал свой очерк «Рассвет капитализма и завоевание Америки», первую работу, в которой с позиций исторического материализма рассматриваются европейские социально-экономические процессы XV и XVI веков, приведшие к великим географическим открытиям и к установлению испанского колониального владычества на наших американских землях. Эта работа и сегодня читается с тем же интересом, что и тридцать семь лет назад; не так давно она была переиздана на Кубе.

**Поэт, историк, романист**

Поэт-авангардист, ставший историком-марксистом, постепенно уступает место романисту: из печати выходят известные советским читателям романы Воло-

[1] ДИНА — тайная полиция режима Пиночета.
[2] «Вилла Гримальди» — тюрьма и место пыток в Сантьяго.

ди Тейтельбойма «Сын селитры» [1], «Семя на песке» [2]. Позже публикуется «Человек и человек» — исследование о русской и советской литературе. В 1973 году вышли сборники его статей и эссе «Гражданская обязанность» [3] и «Хлеб и звезды».

Произведения Тейтельбойма весьма несхожи между собой. Но, пожалуй, ни одно так не отличается от предыдущих, как «Внутренняя война». Эта книга означает некий поворот в его творчестве, быть может, какое-то раскрепощение, избавление от внутренних преград. Это прозаический поток, который несет в своих бурных и темных водах много самого противоречивого и разнородного.

**Монологи-гротески**

Особенное впечатление оставляют долгие и гротескные монологи генерала Сесара Аугусто, они с поразительной правдивостью раскрывают напыщенную посредственность «первого человека страны», образ мыслей фашистского главаря — смесь мелкобуржуазного тщеславия, безжалостной жестокости и абсолютного цинизма. Приведем один пример. Сцена происходит в «Вилле Гримальди», куда по приказу генерала Сесара Аугусто приехали четыре члена хунты: «первый человек страны» желает устроить суд над теми, кто позволил, чтобы его дочь проникла в центр пыток и узнала обо всем, что там происходит. Вот что говорит Сесар Аугусто:

«Я распорядился начать предварительное следствие и назначил специального военного судью, который будет вести процесс. Раз я приехал сюда, поймите это хорошенько, значит, случившееся угрожает безопасности государства и превратилось в политическое событие. Во-первых, как могло произойти, что сюда допустили мою собственную, причем несовершеннолетнюю, дочь и позволили ей увидеть все, что имеет место в «Вилле Гримальди»... Она задалась целью узнать отца и убедилась в том, что совсем не знала его, как сообщил мне этот остолоп Динасени (мой верный человек, мой личный помощник, не хнычь, я пошлю тебя в Аргентину, чтобы ты еще больше запутал конфликт вокруг Бигля [4]). Бедняжка то и дело спрашивала: «Кто же мой отец?» Этим она словно бы отказывалась от собственного отца и восставала против него, и это причиняет мне боль. А вы — что вы ей отвечали? Что вы сделали, чтобы успокоить девочку и удовлетворить ее любопытство? Вы не придумали ничего лучше, как открыть ей все, что делается здесь, все тайны этой виллы. Вы красовались перед бедняжкой... Вы показали ей все, что могли, ничего от нее не скрыли... В вас говорило тщеславие и распущенность. Вы нанесли удар моим самым нежным отцовским чувствам, и этого я вам не прощу. У меня не было другого выхода, как посадить дочь в самолет и отправить в Соединенные Штаты, потому что, оставь я ее в Чили, она могла бы снова сунуться сюда, а вы, простофили и ротозеи, были бы способны ее еще раз туда пропустить. Она вдолбила себе в голову, что я чудовище. А после посещения виллы, что стало возможно лишь по вашему недосмотру и глупости, у нее не осталось в том ни малейших сомнений. Она ненавидит меня. А я — чувствительный отец. И любящий дед. Она — мой баловень. А младший внук — мой любимец. Других я так не балую. Я к ним равнодушен, хотя стоит мне это сказать, как жена тут же поправляет меня: «Равнодушен? Уж помолчал бы ты, Сесар Аугусто!» По правде говоря, дети — моя слабость, а теперь такой же слабостью становятся и внуки. Потому я так и страдаю из-за всего, что здесь случилось. Мы с женой никогда не сердимся, если ребята шалят; я в одних трусах, а моя жена — ну и старуха, доложу я вам!— с закрученными на бигуди волосами, спускаемся во двор, и все вокруг подсматривают за нами. Мы делаем это ради детей. Мы с моей женой — пара, какую поискать. Нежничаем, точно жених с невестой...»

И дальше, когда один из специалистов по пыткам в «Вилле Гримальди», князь Дракула, рассуждает вслух именно об этом самом — о пытках, генерал Сесар Аугусто обрывает его: «— Не говорите мне этого или по крайней мере не говорите так громко, потому что я воспитан в христианстве. Я ревностный христианин. Я не могу одобрить пыток. И если поначалу иной раз и бывали кое-какие перегибы, то сейчас это уже пройденный этап. Виновные наказаны. Сейчас нет пыток во время допросов, потому что мы против применения таких методов, которые нарушают принципы гуманности.

— Простите, генерал, вы хотите сказать, что приехали сюда, чтобы закрыть «Виллу Гримальди», положить конец нашей работе и наказать нас? — несколько обеспокоенно спрашивает доктор.— Вы хотите распустить ДИНА? Упразднить всех нас?

— Упразднить? Не беспокойтесь. Это все равно что упразднить самого себя. Я сменю вам название... Успокойтесь, сеньоры, не нервничайте. Нет и нет. То, что вы слышали,— заявление, которое я сделал для западноберлинского телевидения. Я отдаю должное социальной миссии, которую вы выполняете. Я так и сказал кардиналу и лютеранскому епископу Хельмуту Френцу: «Вы наивные пастыри, если их не пытать, они не заговорят...» Поэтому мое

[1] На русском языке издан в 1975 году в издательстве «Прогресс».
[2] На русском языке издан в 1959 году в издательстве «Иностранная литература».
[3] См. статью Ю. Дашкевича «Гражданский долг писателя», «ИЛ» № 10, 1973.
[4] Речь идет об аргентино-чилийском конфликте по поводу юрисдикции приграничного канала Бигль.

правительство в письме, направленном в ОАГ [1], самым энергичным образом отвергает любые обвинения в применении пыток. Оно считает эти обвинения лишенными всяких оснований и располагает самыми полными сведениями, позволяющими со всей категоричностью утверждать: начиная с 11 сентября в стране не происходило ничего, что представляло бы собой посягательство на человеческое достоинство».

**Совсем особая ненависть**

Как и многие другие диктаторы, Пиночет публикует свои опусы. В его последней книге «Решающий день», красноречивом, почти патологическом документе, есть прямое упоминание о Володе Тейтельбойме, явно заслужившем ненависть фашистского главаря. Вот что пишет Пиночет:

«В первые дни октября (1970 года), вернувшись из инспекционной поездки по провинции, я принял генерала, специально приехавшего в Икике из Сантьяго. У меня создалось впечатление, что этот генерал был послан с особыми целями, ибо в частном разговоре он до небес превозносил коммунистов и сказал, что на ужине в доме товарища по оружию познакомился с Володей Тейтельбоймом. Генерал привел мне множество преимуществ и выгод, которые мог бы принести Чили режим, пропагандируемый кандидатом большинства (Альенде), и уверял, будто при такой системе наша родина в экономическом отношении шагнет далеко вперед... Во время этого разговора, наблюдая за своим собеседником, я, признаюсь, с глубокой обеспокоенностью понял, что никакие возражения тут не помогут. Любые аргументы были бы ни к чему, поскольку тщеславие, личные симпатии или, может быть, излишняя доверчивость застили ему глаза. Я обеспокоился еще более, когда он, с гордостью и даже похваляясь этим, объявил себя личным другом сенатора-коммуниста Володи Тейтельбойма...»

Я спросил Володю, есть ли у Пиночета какие-то еще причины ненавидеть его. Ответ Володи объяснил мне многое.

«Я не настолько близок с этим сеньором,— сказал Володя,— чтобы знать его мнение обо мне, но могу кое о чем догадываться. По моему убеждению, этот человек зол на меня. Почему? Быть может, из-за одного дела, неизвестного широкой публике.

5 сентября 1970 года, то есть на следующий день после победы Сальвадора Альенде на выборах, некое лицо прибыло ко мне домой и попросило моего согласия на встречу с некоторыми генералами. Это было очень неожиданно. Я сообщил об этом руководству партии и, получив соответствующие указания, отправился на встречу. Я увиделся с генералами, посланными тогдашним главнокомандующим чилийской армии Рене Шнейдером, которые хотели побеседовать со мной, поскольку, по их словам, не могли говорить непосредственно с Сальвадором Альенде, так как тот еще не был утвержден конгрессом на посту президента республики.

Поводом для разговора было следующее: генералы хотели узнать, какова будет политика Народного единства в отношении армии, вооруженных сил, хотели выяснить кое-какие тревожившие их обстоятельства.

Было очевидно, что одни военачальники — сторонники конституции — хотели установить контакт с правительством, другие же, настроенные реакционно (по их поручению был тогда убит инициатор этих переговоров, генерал Шнейдер), препятствовали дальнейшим переговорам, потому что никак не желали допустить вступления Сальвадора Альенде в Президентский дворец (...)

Я уверен, что Пиночету, который был в то время командующим дивизиона в Икике, но участвовал в собраниях генералитета, эти переговоры никоим образом не нравились. Он был раздосадован еще больше, как сам говорит о том в своей книге и в некоторых интервью, когда один из генералов выразил мнение, что армия должна сотрудничать с конституционным правительством Сальвадора Альенде, и сказал ему, по словам Пиночета, что стал другом Володи Тейтельбойма».

Писатель полагает, что ненависть к нему Пиночета проистекает из общей ненависти диктатора к чилийскому народу, к коммунистам, интеллигенции, но, кроме того, тут есть и сугубо личное чувство. Пиночет, вероятно, не может забыть, что с того самого рокового дня, 11 сентября 1973 года, Володя Тейтельбойм неутомимо и красноречиво обличал преступления фашистского режима в передачах Московского радио, которые имеют в Чили многочисленных и ревностных слушателей, а также на различных международных форумах.

Раздражение диктатора дошло до такой степени, что в 1976 году он поручил начальнику своего личного «гестапо» — пресловутого ДИНА — организовать в Мехико убийство Володи Тейтельбойма и других руководителей чилийского Народного единства в изгнании. Покушение, порученное агенту Майклу Таунли, который убил бывшего министра иностранных дел Чили Орландо Летельера, потерпело неудачу. Об этом рассказал сам Таунли на допросах в полиции США, где он теперь находится.

Другим выражением ненависти фашистского режима к нашему писателю может служить и тот факт, что изверги из знаменитого центра пыток в «Вилле Гримальди» прозвали «Володей» специально натасканную собаку.

[1] Организация американских государств.

Как видим, жизнь, словно роман, полна неожиданных поворотов. Володя Тейтельбойм понимает это и потому сделал собаку «Володю» одним из действующих лиц своей книги, фантастические страницы которой удивительно точно отражают чилийскую действительность при фашизме.

**Писатель или политик?**

Идея книги о чилийских событиях возникла у Володи Тейтельбойма почти сразу же после зловещего переворота 11 сентября. Он находился тогда в Москве и, как уже говорилось, начал немедленно выступать по радио, пытаясь укрепить надежду, дух сопротивления и борьбы в тех, кто за столько тысяч километров от него сотнями гибли под пулями палачей.

В первый момент он попытался проанализировать происходящее с идеологических позиций. И действительно, принялся за книгу, озаглавив ее «Фашизм в Чили», и написал несколько сот страниц. Но вскоре его захватила другая идея. И катализатором в созревании этой идеи стал, по словам самого Тейтельбойма, человек, хорошо известный советскому читателю,— поэт Евгений Евтушенко.

Убедительный и красноречивый, он категорически заявил: «Твой долг — попытаться найти ответ, который был бы не просто ответом политическим или идеологическим: твои слова должны дойти до сердца людей, ты должен рассказать о том, что переживают чилийцы в дни, когда решается вопрос жизни и смерти».

В книге «Внутренняя война» автор нашел эти слова. Слова, которые уже несомненно звучали и в душе самого писателя.

Писателя или политика?

Между обоими занятиями существует явное противоречие, если одно и другое понимать как профессиональную деятельность, захватывающую человека целиком. Политическая ответственность Володи Тейтельбойма очень велика. Это не может не мешать его литературному труду.

Когда перед ним ставят вопрос именно так, он соглашается. Такое противоречие можно было бы разрешить, имея две жизни или по сорок восемь часов в сутках. Иначе говоря, это прежде всего вопрос времени. Ибо идеологического противоречия тут нет. И в политике, и в литературе взгляды его одни и те же, хотя и выражаются они весьма по-разному. Определяя себя, Володя говорит, что «политика занимает у него почти все время». Служить литературному призванию он пытается вопреки этому «почти», что, как он сам признает, поистине «слабое утешение».

Но с другой стороны, роман, подобный «Внутренней войне», в котором так явно присутствует политическая тема, не мог быть написан человеком менее осведомленным, чем Володя, менее причастным к социальной и политической борьбе Чили. Его работа как одного из руководителей коммунистической партии, а также его публицистическая деятельность — все это дало ему богатый материал и жизненный опыт, которые он никогда не сумел бы приобрести иным путем. Противоречие между писателем и политиком лишь кажущееся. На самом деле обе стороны его деятельности взаимно обогащают друг друга, составляют неразделимое целое.

*Перевод с испанского ВЕРОНИКИ СПАССКОЙ*

◆

Л. ВАСИЛЬЕВА

# ЙОЖЕФ МЕЛИУС И ШАНДОР КАНЯДИ. ЗАМЕТКИ О ДВУХ ПОЭТАХ

Очень повезло нам, небольшой делегации Союза писателей, что мы приехали в Румынию в сентябре. В эту пору Бухарест, красивый южный город, отдыхает от летнего зноя. На деревьях еще сочная зелень, много цветов. Светлые, преимущественно белые современные здания. Город уже оправился от трагических событий 1977 года, следы землетрясения почти не видны, хотя жители румынской столицы, конечно, помнят о нем. Мне повезло с сентябрем еще и потому, что я захватила с собой свежий августовский номер «Иностранной литературы», многие публикации которого были посвящены 35-летию Освобождения Румынии; приятно было подарить его авторам, румынским писателям и критикам — одних мы впервые представляли советскому читателю, с другими нас связывают уже многие годы сотрудничества.

Запомнились встречи с Паулем Джоржеску (его талантливая мужественная повесть «Перед молчанием» вызвала большой интерес у советских читателей), с молодым писателем Аугустином Бузурой, критиком Лауренциу Уличем, с давним автором журнала Думитру Раду Попеску, гостеприимно встретившим нас в городе Клуж-Напока. Еще мне хотелось встретиться с двумя очень известными у себя в стране и почти неизвестными у нас поэтами Йожефом Мелиусом и Шандором Каняди, пишущими на венгерском языке. Встретиться удалось только с одним из них. Но ведь побывать на родине поэта — это тоже узнать его.

«Йожеф Мелиус — один из самых крупных писателей в масштабах Европы и масштабах социалистических литератур, он — наше нравственное кредо»,— писал венгерский поэт Деже Тандори.

Еще в Москве я узнала, что Мелиус, получивший литературную известность в тридцатые годы, был дружен с Брехтом, Бехером, Пискатором, Йожефом, Нерудой. Он заинтересовал меня как поэт, публицист и как редактор журнала «Корунк» («Наша эпоха»), ставшего в период между двумя мировыми войнами одним из центров европейской социалистической литературы. Из прочитанных книг, статей вырисовывался образ поэта.

В стихотворении «Автопортрет» (1933) Мелиус писал:

Я молод.
Во мне пятьдесят шесть кило.
Я пролетарий,
И я поэт.

**ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА.**

Советский переводчик с венгерского. В ее переводе публиковались произведения И. Шаркади, И. Сабо, А. Йокаи, Ф. Паппа, Е. Сентивани и др.

Чем-то это напоминает голос молодого Маяковского — «красивого, двадцатидвухлетнего», голос певца, «подымающего класс». Мелиусу в 1933 году было двадцать четыре. Он родился в Тимишоаре, учился в Будапештском политехническом институте, потом в Цюрихе, Берлине. Мелиус рано соединил свою судьбу с судьбой рабочего класса, с коммунистами. Когда Мелиус жил в Париже, хортистские власти требовали его выдачи. «А я ведь и в самом деле в течение пятидесяти лет был на левом фронте, на самом левом его крыле»,— скажет поэт позднее, уже в 1979 году.

Быть левым журналистом в буржуазно-помещичьей Румынии, где фашисты рвались к власти, а потом и утвердились в стране,— для этого требовалось немалое мужество. Мелиус печатался во многих румынских и зарубежных прогрессивных газетах и журналах, а с 1934 года он — сотрудник клужского журнала «Корунк», который возник как орган живущих в Румынии радикально настроенных венгерских литераторов Основателем журнала был Габор Гаал, марксистский критик, поэт, публицист, покинувший Венгрию после падения Советской республики 1919 года.

Сотрудники журнала «Корунк» снимали одну небольшую комнату на улице Лайоша Кошута, она была приемной редакции, и библиотекой, и спальней, и гостиной, и столовой. «Сколько раз являлась сюда полиция, сколько раз изымала рукописи, сколько следили, шпионили за нами,— вспоминает Мелиус.— И сколько раз моему редактору, моему первому в жизни наставнику, приходилось отдавать в залог свои часы в день расчета с типографией. «Корунк» был для нас не просто журналом, он был средоточием всех надежд, которые мог еще лелеять человек катившегося в те годы к войне и фашизму мира».

В «Корунке» печатались многие видные писатели Венгрии, оказавшиеся в эмиграции или опале после поражения Венгерской коммуны. «Сын улицы и земли» Аттила Йожеф сыграл значительную роль в становлении журнала. В «Корунке» публиковались его лирика, статьи, мастерски выполненные переводы современных румынских, чешских, словацких поэтов. Некоторые его стихи («Элегия», «На окраине города», «Баллада о капиталистическом барыше»), ставшие теперь хрестоматийными, в то время могли быть напечатаны только за пределами Венгрии.

Дамы и господа! Все, кого ненавидим!
Тошно мне вам улыбаться, тошно зависеть от вас!
Словно в оконные стекла сегодня друг друга мы видим.
Пусть загремят эти стекла!
Пой свою песню, певец!

*(Перевод Н. Грудининой)*

Эти строки из стихотворения А. Йожефа «Инвокация», впервые опубликованного в «Корунке», этот вдохновенный революционный призыв очень характерны и для творчества поэта, и для направления трансильванского журнала.

«Кто бы мог подумать тогда, в тридцатые годы, что целый ряд авторов, выступавших на наших страницах, составят гордость мировой литературы второй половины XX века? Напомню только Йожефа, Радноти, Дери, Ийеша, а в переводах здесь публиковались Аргези, Садовяну, Брехт, Альберти, Арагон»,— писал в шестидесятые годы Мелиус. Сам он перевел и напечатал в «Корунке» «Неизвестного солдата» и «Великий план» Бехера, «Померкшую славу Нью-Йорка» Брехта, произведения Хьюза, Сэндберга, многих румынских поэтов. Мелиус, организатор и распространитель журнала, и в своих собственных стихах отстаивал идеи классовой солидарности, интернационализма.

Он пишет об унижениях негритянского поэта-рабочего, об американских безработных, слушающих у входа в магазин грампластинок игру гениального скрипача и спиричуэлс («такая огромная — и совсем бесплатно — радость!»), пишет стихи на смерть Аттилы Йожефа, потрясенный его трагической гибелью («так погиб Байрон в Греции и Петефи, наткнувшись на пики»), публикует поэтический цикл о Париже, городе, который, как Ноев ковчег, вмещал всех гонимых, в том числе многих венгерских поэтов, городе, переживающем тревожные предвоенные дни.

Ты был солдатом, Париж,
Ты умеешь держать в руках оружие,
Умеешь целиться хладнокровно.
Храни тебя бог, Париж!

Летом 1940 года «Корунк» был запрещен. Но уже в 1946 году Габор Гаал, Йожеф Мелиус, Енё Киш, Иштван Хорват и Лайош Летаи основали новый литературный еженедельник «Утунк» («Наш путь»), который пошел путем «Корунка», стал верным продолжателем его традиций. (Один из основателей еженедельника, поэт Лайош Летаи,— сейчас его главный редактор.)

С 1957 года снова стал издаваться журнал «Корунк», и Мелиус часто выступал на его страницах со стихами и публицистикой. Сразу после освобождения страны поэт активно включается и в организационную работу. Он возглавляет Ассоциацию венгерских писателей в Румынии, руководит Государственным венгерским театром в Клуже, его избирают заместителем председателя Союза писателей Румынии.

Мелиус вошел в литературу как представитель «коммунистического авангардизма» Его ранние стихи не свободны от излишней патетики, агитационного пафоса. Но через свои «агитационные» периоды прошли и Маяковский и Кашшак, «отец венгерского авангарда», творчество которых оказало большое влияние на Мелиуса. Мелиус и по сей день — страстный, атакующий поэт, но он еще и автор глубоких философских элегий, публицист лирического склада, создатель романов мемуарного характера («я — необозримые джунгли воспоминаний»), неутомимый экспериментатор («писать помня-

щие, молодые, тождественные самим себе, бунтующие слова на родном языке»). И все же самая характерная черта творчества Мелиуса — запечатленное в стихах чувство истории, постоянное беспокойство современного человека за судьбы мира, за судьбы народов.

Вот одна из книг Мелиуса — сборник стихов «Вместе с миром» (1957). Открывает его стихотворение «Волки».

Послушайте, что говорят поэты.
Послушайте, как завывают волки.
Послушайте и содрогнитесь!

Эти стихи — предупреждение против того, что позже будет названо «обыкновенным фашизмом». Если только назвать стихотворения сборника и указать время их написания, то и тогда уже можно почувствовать, что поэт действительно все время «вместе с миром» и все страдания терзаемой фашизмом Европы воспринимаются им как личная боль. «Последние слова отдавшего жизнь за свободу Испании» — 1937 г., «Подпольщики» — 1941 г., цикл стихов о Сталинграде («самая грандиозная битва в истории человечества, самая невероятная реальность, самая правдивая легенда») — 1942 г., «К оружию, партизаны!» («Красной Армии как венок, как самый драгоценный подарок — чистое слово») — 1944 г., «Весна в Клуже» — 1946 г., цикл стихов о французском рабочем парне Жане Риголе, ставшем жертвой расстрела вышедших на демонстрацию бастующих железнодорожников Нанта,— 1956 г. А завершает книгу «Ночной разговор с Габором Гаалом». Это и отчет, и исповедь, в которой остро чувствуется боль недавней утраты (Гаал умер в 1954 году), и слово верности тому, кто «толстым карандашом редактировал, правил не стихи, не журнал, а наши представления о мире, наши убеждения, наши мысли».

«Вместе с миром» — всего лишь одна из многих книг Мелиуса. Есть у поэта и стихотворная летопись крестьянского восстания в Румынии («Песня о 1437 годе»), циклы стихов о Рафаэле Альберти, «ангеле, вырвавшемся из котла», о Пабло Неруде, который вновь оказался в изгнании, стихи о социалистическом отечестве, много лирических строк об этом «распадающемся и созидающем, несчастном и достойном любви мире». Вместе с Анной Мелиус, женой, помощницей, автором нескольких книг для детей, Йожеф Мелиус написал «маленький роман для маленьких читателей» — «Нае-умник».

Книги Мелиуса выходят в Румынии большими тиражами, издаются и на румынском и на немецком языках (цикл элегий «Арена», удостоенный премии Союза писателей Румынии, перевел один из талантливейших поэтов страны Вирджил Теодореску). Произведения Мелиуса включены в хрестоматию по литературе для учащихся венгерских школ. В начале 1979 года в связи с семидесятилетием Мелиус был награжден румынской государственной и венгерской государственной премиями, а в сентябре — Большой премией Союза писателей Румынии.

Мы приехали в Бухарест через несколько дней после торжественного заседания в Союзе писателей по случаю награждения Мелиуса. «Скынтейя», другие крупные бухарестские газеты широко отмечали это событие. «Живая совесть нашей социалистической эпохи», «Неустрашимый борец за счастье», «Олицетворение дружбы», «Одержимость историей» — вот некоторые заголовки статей о Мелиусе. Известный поэт Янош Сас писал в те дни о Тимишоаре, городе, где родился Мелиус: «Из детства, из этого уголка земли пришел в большой мир Йожеф Мелиус, пришел, чтобы вступиться за угнетенных, чтобы воспеть революцию»... Мы видели эти газеты, с фотографий смотрело на нас гордое красивое лицо поэта с неизменной трубкой в углу рта, но самого Мелиуса в Бухаресте уже не было — уехал в Венгрию и Югославию. Поэт и сейчас много путешествует, не отделяя дела дома от дел мира и считая путешествие частью писательской работы.

Итак, надежда на личную встречу рухнула. Правда, можно было встретиться с его друзьями. К тому же в программе нашего пребывания были и Клуж и Брашов, где прошли молодые годы Мелиуса, где находилась его «кофейня иллюзий»... Так называется одна из мемуарных книг поэта.

В Бухаресте, в редакции газеты, выходящей на немецком языке, «Нойер вег» мне подарили свежий номер газеты с большой подборкой стихов Мелиуса, переведенных известным румынским немецкоязычным поэтом Францем Либхардом. В издательстве «Критерион» показали только что вышедшую — тоже мемуарную — книгу поэта «Без кофейни». Знакомство с преподавателем Бухарестского университета Альбертом Ковачем, который вместе с женой Еленой Логиновской переводит стихи Мелиуса на русский язык, помогло понять какие-то новые черты личности и творчества поэта.

И наконец еще один штрих к портрету. В красивом, живописном городке Сибиу в газетном киоске я купила еженедельник «Утунк», тот самый, который Мелиус основал вместе со своими друзьями еще в 1946 году.

«Дорогой дядя Йошка»,— так начиналось письмо Мелиусу клужского поэта Ласло Кирая, напечатанное в этом номере. (Более чем тридцатилетняя разница в возрасте объясняет это почтительное и ласковое обращение.) Ласло Кирай решил поздравить Мелиуса по-своему — не перечисляя его заслуг, не анализируя его произведений. Он посылает Мелиусу, уехавшему в путешествие, воображаемую открытку, на которой изобразил то, что дорого поэту. «На ее левой половине — гравюра Дёрдя Будаи, медаль Габора Тёрёша с профилем Мадача, лицо Бориса Пастернака (как поразительно верно сказала Марина Цветаева: он был одновременно похож на араба и на его лошадь!),

цветы в вазе, коллекция трубок и, конечно, много книг и среди них — лежит раскрытая на столе — прекрасная книга Хойзинги «Осень средневековья»... На правой половине открытки — панорама, которую я вижу каждый день и которую посылаю тебе. Вид из окна на лес в окрестностях Клужа, где так любил гулять и где погиб Домокош Силади» [1].

Эта воображаемая открытка, вернее, ее левая половина помогла мне представить поэта уже не на «арене века», а дома, среди вещей и книг, которые его окружают, любимы им. Ведь всегда остается соблазн дополнить книжные впечатления впечатлениями от встречи, беседы. Мне очень хотелось поговорить с Мелиусом о его друзьях — Гаале, Арагоне, Неруде, Брехте, узнать о его отношении к русской, советской поэзии, хотелось спросить, что за той, случайно оброненной им в путевом дневнике фразой об Эренбурге: «Умелый писатель может написать роман и на таком материале, как коллекция трубок»,— что за этим? Только констатация факта или признание мастерства писателя? О многом хотелось спросить, хотя я и знала, что известный поэт Йожеф Мелиус известен еще и тем, что редко дает интервью.

Уже позднее в газете «Элет эш иродалом» я прочла, что Мелиус сейчас много работает, но о своих планах рассказывать не любит. «Говорить о них в моем возрасте,— поясняет поэт,— не будет ли это занятием иллюзорным и ирреальным?»...

Когда Андраша Шютё — пожалуй, самого крупного писателя в Румынии, пишущего на венгерском языке,— Венская академия наук наградила премией Гердера (ее лауреаты из европейских социалистических стран — Аргези, Станку, Крлежа, Ийеш, Немет), то в одном из интервью писатель сказал: «Думаю, что не я один достоин этой премии. Я постоянно листаю, перечитываю последнюю книгу Каняди «Сумерки». Каняди волнуют те же проблемы, которые и я пытаюсь поднять в своих прозаических произведениях. Он с потрясающей силой пишет о достоинстве человека и нации, последовательно и страстно отстаивает те же идеалы. Мне близка его обеспокоенность судьбами мира. И это проблема не только одного поколения, но и поколений, что идут за нами».

Высказывание А. Шютё заставило меня по-иному взглянуть и на Шандора Каняди, с которым я познакомилась еще в Дебрецене, в августе 1977 года. В нем подкупали природная доброта, мягкость; в его манере держать себя не было и тени увлеченности собой, которую можно было бы предположить в претенденте на международную литературную премию. Познакомил нас Михай Цине, известный критик, профессор Будапештского университета, читавший лекции слушателям летних дебреценских курсов. М. Цине помимо незаурядного литературного таланта обладает еще и даром привлекать, притягивать к себе людей — студенты это, преподаватели или писатели. Так, несколько вечеров мы и провели вместе — Михай Цине, Шандор Каняди, болгарский поэт-переводчик Генчо Христозов и я. Та дебреценская атмосфера сердечности, открытости, дружелюбия ощущалась и в Клуже осенью прошлого года. С Шандором мы встретились как старые друзья.

Шандор Каняди живет в центре города, на последнем этаже четырехэтажного дома, в квартире «между небом и землей». Отец поэта перестроил ее — снял потолочные балки в кабинете и за счет чердачного помещения значительно увеличил пространство квартиры. Стало просторнее семье — у Шандора растет два сына, просторнее книгам — они заняли высоченные, до потолка-крыши, стеллажи.

«Случается, в стране чужой сидишь как свой... Я вспоминала это симоновское стихотворение, когда была дома у Каняди, в кругу его семьи, его друзей, когда беседовала с сотрудниками детского журнала «Напшугар» («Солнечный луч»), где работает Каняди, и в редакции женского клужского журнала «Долгозонё» («Работница»), где работает Магди, жена поэта. То же ощущение не покидало меня и когда Шандор показывал нам город, и когда вместе с Думитру Раду Попеску мы ездили в село Виштa, осматривали старую реформатскую церковь и дом-музей крестьянского быта с уникальной коллекцией посуды, утвари, народной вышивки. В этом селе, оказывается, успел побывать — уже после Дебрецена — и Генчо Христозов.

На встрече в Ассоциации клужских писателей Каняди представили нам как самого известного клужского поэта. О его популярности пишет и румынская и венгерская критика, отмечая, что действительность края, страны с ее глубокими социальными переменами нашла в его поэзии точное, яркое отражение. Стихи Каняди, так же как стихи Мелиуса, включены в школьную хрестоматию, их изучают дети в венгерских школах Румынии.

Каняди родился в мае 1929 года в крестьянской семье секеев в селе Порумбейи Марь. Мать рано умерла. Мальчик рос сиротой. Мир детства, переживания детства и до сегодняшнего дня — неиссякаемый источник вдохновения для поэта. Другим сильным переживанием, оказавшим большое влияние на Каняди, явилась поэзия Петефи.

«Петефи был нашим лозунгом, нашим девизом. К тому же знаменитая Шегешварская долина, где погиб великий поэт, находилась всего в тридцати километрах от моей родной деревни. Такое соседство ко многому обязывает»,— говорит Шандор.

«Строгий редактор» Габор Гаал и в судьбе Каняди сыграл большую роль, это он, познакомившись со стихами юного поэта, посоветовал ему оставить клужскую театральную школу и заняться литературой.

[1] Домокош Силади (1938—1976) — известный румынский поэт, писавший на венгерском языке.

Первое стихотворение Каняди напечатал в бухарестской газете «Ифью мункаш» («Молодой рабочий»), когда ему исполнился двадцать один год. Первый сборник стихов — «Расцветает черешня» — вышел в 1955 году. Стихи подкупали свежестью, простотой, лиричностью. Книжка разошлась в течение недели. За ней последовали сборники стихов «Танец чайки», «Роса на звездах», «От дерева к дереву» и другие. В 1978 году в бухарестском издательстве «Критерион» большим тиражом вышла книга стихов последних лет — «Сумерки», за которую автор был удостоен премии Союза писателей Румынии. В 1979 году будапештское издательство «Магветё» выпустило в свет новый сборник поэта «Черно-красные стихи», который, так же как и все другие его книги, мгновенно исчез с прилавков магазинов. Каняди — автор пьес «Дом праздников» и «Трагедия с двумя действующими лицами». («Драма — вершина поэзии»,— считает Каняди.)

Чувство родной земли, приверженность национальным корням — вот характерные черты лирики этого поэта. Каняди, разумеется, волнуют и судьбы других народов, но если Мелиус как бы постоянно на арене века, его взгляд охватывает огромные просторы всего земного шара, то лира Каняди чаще обращена к родной земле, родной природе. («Все другие края для меня — океан, моя суша, моя земля — здесь».) У Каняди много стихов о ярких, значительных фигурах венгерской и румынской культур — об Аранe. Кодаи, Бартоке, Аргези, Баконском. Стихотворение «Апацаи», посвященное венгерскому гуманисту-просветителю XVII века, создателю первой венгерской энциклопедии — гимн во славу родного языка,— неизменно встречают аплодисментами на читательских конференциях, а их у Каняди бывает до пятидесяти в году.

«Я могу писать только о том, что сам пережил»,— говорит поэт.

Поэма «День поминовения усопших в Вене» принесла автору широкую известность. В одном из венских соборов, прислонившись спиной к белой крашеной колонне, слушает поэт реквием Моцарта. Воспоминания, образы, вызванные музыкой, картины далекой истории и эскизные зарисовки сегодняшней австрийской столицы, гибель людей в годы второй мировой войны, боль за них и обостренное чувство родины — все это стало содержанием поэмы, проникнутым высокой гражданственностью и гуманизмом. Другая известная поэма Каняди — «От дерева к дереву» — удивительно точно передает детское восприятие мира. В лесу, в сгущающихся сумерках мальчик ищет пропавшую лошадь. Ему страшно, он с радостью согласился бы стать веткой дерева, гнездом птицы, яйцом, которое снесла птица, опавшим листком, петушиным криком, только бы не быть мальчиком, ищущим в лесу лошадь. Детский страх, детская беззащитность рождают мечтания, фантазии. Эта поэма тоже о пережитом — когда-то в детстве волки растерзали любимую лошадь Шандора.

Каняди подвластны многие поэтические формы — сонет, баллада, песня, эпиграмма, аллегорические стихи. Хотя в последние годы, как признается поэт, «оды все больше трансформируются в элегии». Но ранняя это лирика или поздняя, ода это или элегия, стихи Каняди всегда отличают бережное отношение к слову, зримые образы.

Вдоль бетонных взлетных полос
трава бьется по ветру, как лошадиная
грива.

*(Перевод Ю. Гусева)*

Каняди популярен у себя на родине не только как поэт, но и как мастер перевода, прежде всего как переводчик румынской поэзии, стихов Аргези, Бенюка, Лабиша.

«Мы вместе живем на этой земле, мы должны знать язык друг друга, должны понимать друг друга»,— эти слова школьного учителя были для Шандора первым уроком интернационального братства.

Сколько поэтов в разных странах занимались и занимаются переводами и сколько существует метких, образных — часто противоречивых — определений этого «трудного труда», его сущности, целей, назначения.

Широко известны строчки Бориса Слуцкого:

Работаю с неслыханной охотою
Я только потому над переводами,
Что переводы кажутся пехотою,
Взрывающей валы между народами.

А Йожеф Мелиус выделяет не «взрывную», а «связующую» силу перевода:

«Мы, переводчики,— пилоны моста между венгерской и румынской литературами. Пилоны, которым чуждо высокомерие, чужды идеи национального превосходства. Пилоны добрых намерений».

Когда-то Пушкин назвал переводчиков почтовыми лошадьми просвещения, а вот Шандор Каняди, вслед за Лёринцем Сабо[1], любит повторять, что работа переводчика больше всего походит на голубиную почту, которая может лететь только в одном направлении — к дому, в сторону родного языка. В переводчике, считает Каняди, есть что-то от голубя и что-то от завоевателя, делающего достоянием своего народа, своей культуры то, что принадлежало иным народам. Таким последним «трофеем», отвоеванным Каняди для венгерского читателя, стал сборник стихов одного из лучших современных румынских лириков, тонкого выразителя душевных состояний А. Е. Баконского, трагически погибшего во время землетрясения в марте 1977 года. Сборник стихов Баконского, составленный и переведенный Каняди, вышел в будапештском

[1] Лёринц Сабо (1900—1957) — известный венгерский поэт, переводчик стихов Шекспира, Гёте, Бодлера, Верлена, Пушкина, Маяковского.

издательстве «Европа» в популярной серии «Поэзия наших дней». В книгу вошло сто двадцать стихотворений, в том числе стихи из посмертно изданной книги Баконского «Корабль Себастьяна». И румынская, и венгерская критика высоко оценила это издание. «Перевод точно передает дух и виртуозность стиха Баконского»,— писал румынский литературовед Г. Скридон.

Баконский и Каняди подружились, еще когда Баконский учился в Клужском университете, они вместе сидели вечерами за стаканом вина, вместе слушали скрипачей-лаутаров, оба писали стихи.

«И хотя мы существовали в разных языках,— вспоминал позднее Баконский,— но я сразу почувствовал, что передо мною подлинный поэт, почувствовал теми щупальцами, теми таинственными антеннами, которые дают возможность узнавать друг друга поэтам и разбойникам».

«Этим томом, вышедшим в издательстве «Европа», я как бы продлеваю нашу дружбу»,— говорит Каняди.

В настоящее время Каняди увлеченно работает над переводами стихов румынского поэта Иоана Александру, который тоже родился в трансильванской деревне, тоже учился в Клуже, но принадлежит уже другому, более молодому поколению поэтов.

Каняди привлекает румынская фольклорная стихия, народное поэтическое творчество саксов, евреев, сербов, живущих на территории страны. Привлекает общность судеб, параллели в истории. Три года назад в Дебрецене Шандор показывал нам красиво изданную книгу с текстами на немецком и венгерском языках — фольклор саксов, переведенный им на венгерский.

«Если хочешь рассадить розмарин,— говорит поэт,— нужно пересадить веточку в другой горшок, тогда растение пустит корни. Я сейчас занимаюсь фольклором евреев, живущих в Румынии, нахожусь как раз на стадии пересаживания розмарина. Много читаю, ищу соответствия в родном языке».

Есть еще один интересный аспект поэтической деятельности Каняди Он — автор многих стихов, рассказов, сказок для детей; перевел для ребят на венгерский язык «Сказку о царе Салтане» Пушкина.

Как поэт и как сотрудник детского журнала «Напшугар» он часто встречается со своими читателями, самой молодой и самой впечатлительной аудиторией, и считает эту свою работу очень важной, ведь от «юных потребителей поэзии» во многом зависит будущее литературы.

Детские книжки Каняди выходят в Румынии и Венгрии. На родине поэта выпущена пластинка — стихи и сказки Каняди в авторском исполнении. О чем бы ни рассказывал своим маленьким читателям и слушателям поэт — о щуке-королеве, которая жила еще в то время, когда рыбы было больше, чем рыболовов, о жаворонке, бросившем вызов Зиме, о сверчке, вступившем в единоборство с сенокосилкой, о рубщиках леса, ошеломленно взирающих на высоченную поваленную ими елку, или о сказочнике, «который умел такие сказки рассказывать, что если кто до конца сказку дослушает, другим человеком становится: плохой — хорошим, хороший — еще лучшим, заносчивый — скромным, завистливый — добрым, вспыльчивый утихомиривался, а лгунишка с того дня лишь чистую правду говорил»...— о чем бы поэт ни рассказывал, его сказки будят воображение, прививают детям чувство добра, красоты, любовь к родной природе, родной земле и родному языку. И всегда в них есть шутка, улыбка, есть то особое, светлое восприятие мира, которое люди, становясь взрослыми, обычно теряют. Подкупает в поэте и горячая убежденность, что сказку нужно не просто слушать, нужно внимать ей, и внимать в тишине. Как в известном рассказе В. Осеевой Волшебное слово только тогда становится действительно волшебным, когда его произносят тихим голосом, глядя прямо в глаза.

Несколько лет назад Шандор Каняди был в Москве и Ленинграде — журнал «Напшугар» связывают давние дружеские отношения с нашей «Мурзилкой» и «Веселыми картинками». Вернувшись, поэт написал стихи о Ленинграде, о «ветеране революции», крейсере «Авроре», о московском метро — ведь клужские ребята никогда не видели метро, им не так легко его представить. Шандор Каняди побывал на могиле Есенина и — уже для взрослых — написал грустные, проникновенные стихи об этом русском, очень дорогом ему поэте.

«Я и сейчас,— улыбается Шандор,— готов без конца повторять вслед за чеховской Ириной: «В Москву, в Москву!».

До недавнего времени в нашей стране не были известны ни Йожеф Мелиус, ни Шандор Каняди. Правда, читателям «Вопросов литературы» могло запомниться выступление Й. Мелиуса в номере журнала, посвященном литературе Социалистической Республики Румынии; Й. Мелиус вместе с другими видными писателями страны отвечает на вопрос редакции журнала «Почему я пишу?», отвечает прозой, но читателю не требуется особой проницательности, чтобы увидеть: Мелиус — поэт.

В этом году издательство «Художественная литература» выпустило обширную антологию «Современная румынская поэзия» (составители К. Ковальджи и Ю. Кожевников), куда вошли произведения многих поэтов Румынии, пишущих на венгерском и немецком языках, в том числе стихи Мелиуса и Каняди. Первое знакомство с поэтами состоялось. Хотелось бы, чтобы оно было продолжено.

◆

Заметки на полях

# «НЕ ПРОДАЕТСЯ ВДОХНОВЕНЬЕ...»?

**Книжный сезон 1979—1980 гг. в США завершился, традиционная полоса затишья с июля по конец сентября дает возможность подвести итоги минувшего книжного года и подумать о том, каким выдастся сезон надвигающийся. Итоги подводятся по самым разным направлениям, однако одна тема явно заслоняет остальные — литература и коммерция, коммерциализация той сферы человеческой деятельности, что по сути своей менее всего подлежит подчинению соображениям выгоды. Об этом и пойдет речь.**

Весьма не простые отношения между литературой как творчеством и книгопечатанием как отраслью индустрии, приносящей прибыль (или убытки), между вдохновением художника и расчетом дельца (порой сочетающимися в пределах одной пишущей личности), между желаниями читательской аудитории и предложениями книжного рынка уже не первый год оказываются предметом дискуссий критиков, литературных агентов, издателей. Последние всегда готовы поплакаться на трудные времена и неблагоприятные обстоятельства, но в нынешнем книжном году общий тон оценок и прогнозов кажется как никогда мрачным. Пример тому — обзор Уолтера Арнольда, помещенный в журнале «Сатердей ревью» в преддверии окончившегося книжного сезона. Представители крупнейших издательских фирм США, высказывания которых приводит Арнольд, в один голос твердят, что сложившаяся в последнее время ситуация заслуживает названия кризисной.

Ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Книгопечатание в США, не следует забывать, всего лишь веточка национального экономического древа, которое в последние годы явно страдает от засухи. Впрочем, если прислушаться, как предлагает Арнольд, к Бетти Прешкер, занимающей высокий административный пост в издательстве «Даблдей», то и здесь, как водится, нет худа без добра:

«Существует, как известно, точка зрения, согласно которой во времена экономических спадов, особенно такого, как нынешний, люди склонны больше времени проводить дома и больше читать, а вовсе не чаще, чем обычно, включать телевизор».

В этом есть несомненно свои резоны: телевизор слишком назойливо напоминает о бедах той самой повседневности, от которой американцам хочется хоть ненадолго отмежеваться. Вместе с тем, оговаривается Прешкер, не стоит забывать, что «в тяжелые времена» для очень многих именно расходы на книги попадают в разряд необязательных. Точно так же, продолжает Арнольд, в разряд необязательных — уже для издателей — попадают расходы на книги, которые вряд ли будут мгновенно раскуплены. В условиях же стремительно нарастающей инфляции американским книгопродавцам ждать некогда: прибыль нужна сегодня же. Соображения рентабельности все чаще и чаще оказываются главенствующими, ибо, как пишет критик, все больше и больше издательств поглощается коммерческими конгломератами, диапазон интересов которых чрезвычайно велик: от производства носовых платков до авиалайнеров. Руководители таких супергигантов, отмечает Арнольд, не собираются вникать в художественно-литературные тонкости, их интересует не высокий уровень, а высокий процент прибыли выпускаемой продукции. Не упоминает Арнольд об одном весьма любопытном обстоятельстве: иные издатели, случается, во всеуслышание заявляют о том, что они вольны печатать что угодно и кого угодно, их авторы, если поверить таким высказываниям, наслаждаются безбрежной свободой творчества, а в это самое время «свободное и независимое» издательство идет с молотка, и неясно только, какая фирма приобретет его — холодильных ли установок или по

производству инкубаторов. Дела у этих людей идут отменно, ехидничает американская критика, правда, им невдомек, что выпускаемая ими продукция именуется книгами.

Итак, бизнес есть бизнес, и изящная словесность в прозаичной повседневности капитализма имеет право процветать при условии ее доходности. Нет хуже греха, чем выпустить книгу, которая окажется «некассовой», а раз так, то от издателей требуется умение почувствовать «новые веяния», угадать, чего теперь пожелает публика, и обеспечить ее всем необходимым в достаточных количествах. Однако неуверенность никак не оставляет тех, кто следит за капризами читателя. Вот признание Пегги Брукс, старшего редактора издательства «Харпер, Брейс энд Джованович»:

«...издатели стараются включить в планы хотя бы по одному названию на все «горячие темы», так как никто не может с уверенностью сказать, чем на этот раз заинтересуется публика».

«Новые веяния», конечно, не так уж и новы. По-прежнему в почете мемуарная литература, биографии великих людей прошлого и современных знаменитостей. Как свидетельствует Арнольд, заметно повысился спрос на беллетристику, манящую читателя подальше от реальности: в давние ли эпохи, дальние ли страны или открывающую тайну, недогадливому, мистические глубины и сверхъестественные измерения (при непосредственном участии сатанинских сил) в том, что он по слепоте своей считал серенькой повседневностью. Любопытно, что сетования критика на засилье низкопробного чтива сопровождаются «вещественным доказательством»: изображением одного из самых ходких бестселлеров сезона — романа «Уршурак», выпущенного издательством «Бантам» в мягкой обложке: полураздетая красотка с обагренным кровью мечом в руке победительно взирает на читателя. С одной стороны, критик вроде бы предлагает читателям убедиться воочию, каким зельем потчуют массовую аудиторию книгопромышленники, с другой стороны, «зелью» создается косвенная, но реклама: глядишь, кто и соблазнится картинкой, сопровождаемой краткой аннотацией — «книжка про эльфов и колдунов», и приобретет вышеозначенный шедевр, пусть хотя бы только для того, чтобы, перечитав его, заметить: «Какая гадость!»

По мнению известного литературного агента Скотта Мередита, цитируемого Арнольдом, сложившаяся ситуация выглядит вполне закономерной, если принять во внимание особенности общественно-политического развития США в последние годы:

«По мере того, как времена становятся все более трудными, а проблемы, которые ставит повседневность, приобретают все более запутанный характер, все чаще и чаще бестселлерами становятся откровенно эскапистские произведения».

Замечание можно счесть справедливым, если в мередитовское понятие эпитета «эскапистский» включить — а судя по контексту, такая операция вполне допустима — шпионские романы, романы ужасов, сексуальные боевики, которые, каждый на свой лад, отдаляют читателя от реальной повседневности. Впрочем, если взглянуть на список бестселлеров 1979 года, то картина получится весьма пестрой: наряду с опусами мастеров литературного ширпотреба Слоуна Уилсона, Гарольда Роббинса, Джеймса Миченера покупались книги таких серьезных писателей, как Норман Мейлер («Песнь палача»), Уильям Стайрон («Софи делает выбор»), Джозефа Хеллера («Золото, а не человек»), сборник рассказов Джона Чивера, удостоенный Пулитцеровской премии. Было бы наивно полагать, что серьезным произведениям заказан широкий читательский успех, однако псевдолитература в таких списках неуклонно теснит книги, в которых современность исследуется честно, вне требований скандальной сенсационности и сиюминутности.

Обзор Арнольда констатирует неблагополучие в книжном деле, но дальше упреков в адрес издателей, руководствующихся соображениями прибыли, автор не идет. А жаль, ибо «не долларом единым» жива продукция, выдаваемая за художественную литературу. Вряд ли следует забывать, что услуги, оказываемые «массовой литературой» властям предержащим, настолько значительны, что — предположим невероятное — если б она и вовсе не приносила бы доходов, глядишь, американская государственная машина не постояла бы за расходами по ее изготовлению и распространению: идеологическая прибыль с лихвой оправдала бы хлопоты.

Гораздо более обстоятельной выглядит попытка анализировать причины кризиса художественного слова, предпринятая журналом «Харперс». Разговор открывает главный редактор журнала Льюис Лафэм статьей «Поток слов». Напомнив, что Америка издавна гордилась своим интеллектуальным и творческим потенциалом и располагала внушительной армией специалистов, получивших дорогостоящее образование, Лафэм предлагает задуматься:

«Почему же вся эта творческая энергия никак не отражается в той уныло-беспомощной продукции, что продается в таких невероятных количествах под этикеткой «современная американская литература»? Издательствами, в том числе и университетскими, выпускается более 40 000 названий в год, и все же, если судить по качеству подобных изделий, вкусы и запросы читательской аудитории продолжают деградировать».

Кто же виноват больше: ловкие хозяева книжного рынка, готовые торговать чем угодно, лишь бы покупали, или, как сетуют иные издатели, недостаточно подготовленные читатели, якобы не умеющие оценить подлинные произведения искусства и жаждущие «чего-нибудь попроще». Издатели, обороняясь от укоров литературных критиков, зачастую прикрываются теорией — об этом не раз говорится в подборке «Харперс»,— согласно которой повышение издательских требований к беллетристике лишь

приведет к тому, что книги, не содержащие скандальных или фривольных «изюминок», так и останутся пылиться на полках магазинов. Сбывая же то, что любезно сердцу публики, не умеющей и не желающей задумываться над прочитанным, издатели, согласно той же теории, получают денежные средства, позволяющие подумать о читателях разборчивых и тонких, не рискуя при этом вылететь в трубу. Послушаешь, так и впрямь посочувствуешь благородным рыцарям книгопечатания, которые с отвращением публикуют книги-однодневки, чтобы на вырученные средства открыть зеленую улицу подлинным творениям.

Что же касается «скверных времен», то их, как пишет Лафэм, нужно винить прежде всего за ту «атмосферу несерьезности», которой характеризуется культурная ситуация сегодняшней Америки:

«Все определяется нестабильным и случайным, переменчивым интеллектуальным поветрием, а литература безмятежно плывет себе по течению вместо того, чтобы формировать его».

Признание суровое в своей категоричности, но, увы, оснований не лишенное. В обстановке тревожащей безответственности, в которой американская политическая элита пытается играть судьбами своего и других народов, от литературы, неоднократно провозглашавшей в США свою независимость от «указаний сверху», можно было бы ждать более явных подтверждений такой автономии. Впрочем, Льюис Лафэм направляет свой анализ несколько в иную сторону. Неблагополучие духовной жизни страны заключается для него в отсутствии «театра идей», где при участии лучших умов — как гуманитариев, так и естественников — рождались бы в спорах ответы на самые злободневные вопросы как интеллектуального, так и нравственного порядка. Вместо этого, продолжает критик, в культурной жизни страны царит фрагментарность, целостный взгляд на мир невозможен, как невозможен и плодотворный диалог между учеными и писателями. Вместо «театра идей» литература предлагает расхожие сентенции и адаптированные для «среднего уровня» теории. Лафэм продолжает:

«Чем сложнее ход мысли автора, чем оригинальнее его суждения, тем меньше у него шансов на большой успех. Если по законам сегодняшней моды принято утверждать, что Америка испытывает тяжкий моральный кризис, то издатели могут спокойно поторговывать этой печальной новостью, пока через год-другой мода не переменится и не окажется, что США — замечательная страна и была бы просто земным раем, если бы не нытики-интеллектуалы, а также, что неплохо бы этой великой державе освежиться новой войной. Если взяться за дело с умом, то обе теории могут стать основой бестселлеров и обеспечить быструю реализацию 50 000 экземпляров в твердой обложке и 500 000 — в мягкой».

Вряд ли справедливо устанавливать такие жесткие отношения между читательским успехом произведения и его заведомой псевдозначительностью. Последний роман Стайрона, например, полгода занимал в списке бестселлеров одно из первых мест, но ведь в романе «Софи делает выбор», где анализируется феномен фашизма, его психология и социология, нет недостатка ни в оригинальных суждениях, ни в сложных поворотах мысли писателя. Лафэм прав в другом: псевдолитература удивительно мобильно усваивает дух времени и весьма ловко гримируется под серьезную и проблемную. Эта разновидность художественной словесности в течение долгого времени пользовалась вниманием миллионной читательской аудитории, но сколько-нибудь серьезному анализу не подвергалась. Как выяснилось — совершенно напрасно. Во-первых, оказалось, что литература, не совсем удачно окрещенная «массовой», содержит интереснейшие свидетельства относительно эпохи и общества, ее порождающих, и выражает наиболее расхожие верования и мифы своего времени, хоть и в нехитрой, зато в удобной для литературно-социологического наблюдения форме. Во-вторых, такая литература не только развлекает, но и выполняет по совместительству задачи государственной, так сказать, важности. Она заботливо и неназойливо воспитывает, учит быть верноподданным, нерассуждающим потребителем той продукции — в первую очередь идеологической,— что штампуется обществом, именующим себя «открытым», «процветающим» и сулящим своим членам «равные и открытые возможности».

«Книги такого рода пишутся по схеме, и то, что однажды пришлось по душе читающей публике, автор обречен снова и снова повторять — и по форме, и по содержанию».

Это пишет Генри Ферли, продолживший в том же номере «Харперс» начатый Лафэмом разговор. Спорный в ряде конкретных моментов (например, в негативной оценке романа Дэвида Халберстэма «Власть от бога» о закулисной жизни американских средств массовой информации), Ферли выявляет немало секретов приготовления «стопроцентных бестселлеров».

Чтобы написать бестселлер, нужно правильно выбрать тему. Для этого надо исходить из того, что давно и хорошо знакомо читателям, по другим ли романам, телепередачам или из газет — неважно.

«Это избавляет сочинителя от необходимости ломать голову в поисках собственной точки зрения и защищает читателя от неприятных сложностей, неминуемо возникающих при столкновении с чем-то незнакомым».

Но вот тема выбрана — например, судьба лидера профсоюзного движения, как в новом «шедевре» короля литширпотреба Гарольда Роббинса, или «простой американец во второй мировой войне» — Слоуна Уилсона, на первое десятилетие прилежно, не за страх, а за совесть рекламирующего прелести «американского образа жизни».

«Теперь надо оживить повествование, поменьше фактов, никаких цифр, никаких теоретических рассуждений, только исторические — и предельно короткие —

справки, любые же авторские рассуждения, занимающие более трех фраз,— абсолютное табу».

Теоретическим построениям и в самом деле не место в литературе, которая, претендуя на честность и откровенность, преподносит читателю старые-престарые клише и стереотипы американской идеологии под видом откровений. Важная, хоть и в глаза не сразу бросающаяся характеристика жанра, в котором трудятся Роббинс, Уилсон и многие другие (даже бывший вице-президент США Спиро Агню, успевший заработать как беллетрист столь же незавидную репутацию, как и его недавняя общественно-политическая),— это огромная дистанция, отделяющая его от той самой реальности, которую этот жанр подрядился отражать «честно и беспристрастно». Казалось бы — откуда взяться дистанции, ведь читателю буквально на каждом шагу уготовано узнавание черт повседневности. «Фантастика», однако, начинается тогда, когда авторы берутся за осмысление и истолкование (открытым текстом или косвенно, через сюжетные перипетии). Реально существующие проблемы умело мистифицируются, а литератор, вроде бы прилежно списывающий с натуры, при тщательном рассмотрении оказывается ничуть не ближе к объективной реальности, чем авангардист, лихо эту самую объективную реальность разрушающий (дескать, я так вижу). Разница в том, что у специалистов по производству чтива действительность искажается так хитро, что при этом сохраняет фотографическое правдоподобие.

Рецензируя последнюю книгу Роббинса, герой которой — лидер профсоюзного движения, М. Левин пишет в «Нью-Йорк таймс бук ревью», что «об американском рабочем движении из нее вряд ли что можно узнать». Тема социальной несправедливости, законно пользующаяся интересом у американских читателей, оказывается у Роббинса лишь предлогом для того, чтобы поведать сентиментальную историю о восхождении «простого парня», который, подобно своим литературным родственникам, тоже рожденным воображением Роббинса, обладает «крепкими кулаками» и «голодной душой» и пустил в ход «всю свою силу и страсть», чтобы завоевать этот мир. И, разумеется, завоевывая мир, он защищает справедливость. Все очень трогательно, демократично и... эротично: Роббинс — великий специалист по части интимных сцен. Вместе с пикантными подробностями читателю преподносится — понятно, незаметно, чтобы он не дай бог не заподозрил, что его поучают,— важный идеологический урок: герой, оказывается, пробивался наверх, убирал соперников по профсоюзному движению и воевал с предпринимателями по причине своего неискоренимого идеализма и альтруизма. Всю жизнь мечталось ему создать пенсионный фонд для металлургов; добившись своего, герой тихо сходит со сцены, давая автору возможность позабавить читателя эротическими (не без социальной, впрочем, подкладки, хоть и пришитой наспех) подвигами сына великого идеалиста. В результате — одно из первых мест в списке бестселлеров. Кстати сказать, общий тираж книг Роббинса уже перевалил за двести миллионов.

Вряд ли что можно узнать о второй мировой войне и о фашизме из «Ледовых братьев» Уилсона. Зато там немало говорится о решающей роли Америки во второй мировой войне и заслуге скромных, нерассуждающих, дисциплинированных американцев в том, что эта роль была сыграна. Снова правда подробностей сочетается с неправдой в их осмыслении. Снова под пером «реалиста» рождается псевдореальность. Старается Уилсон не зря: есть социальный заказ, и заказ, щедро оплачиваемый, ибо выполняет важнейшие функции по воспитанию читателя в духе стопроцентного американизма.

> «А читатель и рад-радешенек. Ведь, оказывается, то, что он считал своей личной точкой зрения, думает и прославленный автор знаменитого бестселлера».

Это написано Генри Ферли по поводу другого романа, но высказывание вполне приложимо к произведениям Роббинса, Уилсона и их многочисленных коллег по цеху псевдолитературы. Читатель доволен, что подтвердилась истинность идей, которые он считал своими собственными, и не подозревает, что они выдуманы за него теми, кто ведает изготовлением стандартных истин и убеждений для нерассуждающих членов общества. Довольны и изготовители идеологических клише — их изделия в заманчивой беллетристической упаковке пользуются спросом, принося прибыль куда более важную, чем финансовая.

Творения литераторов типа Роббинса и Уилсона (список легко пополнить именами Джеймса Миченера и Джона Уэмбо, Маккинли Кантора и Леона Уриса) можно охарактеризовать, пользуясь термином из теории информации, как шум в канале связи. Эта шумовая завеса в современной американской литературе весьма внушительна. Художникам, которые своими произведениями не запугивают читателя и не убаюкивают его, но учат думать самостоятельно, приходится работать в далеко не благоприятных условиях. Преград немало. Среди них и искушение успехом, заставляющее даже серьезных художников копировать собственные достижения, однажды пришедшиеся по вкусу публике. Вопреки знаменитому пушкинскому речению «не продается вдохновенье», оно, увы, слишком часто оказывается предметом купли-продажи. Завербованное официальной идеологией, это вдохновение порой рождает в американской словесности фантомы, заслоняющие кризисную, противоречивую действительность, воздвигающие, если воспользоваться формулой Лафэма, «словесную преграду, которая охраняет читателя от опасности оказаться один на один со своей совестью». Между тем свидания со своей совестью — насущнейшая необходимость. Именно в них — залог преодоления «скверных времен», которые переживает сейчас Америка и в которых, вопреки уверениям бизнесменов от политики, повинны не злые внешние силы, а изъяны устройства родного «американского дома».

**С. БЕЛОВ**

# Публицистика

ВИТАЛИЙ ОЗЕРОВ

# КОНСТАНТИН СИМОНОВ: ВЕРНОСТЬ ЦЕЛИ

Нелегко исчерпывающе рассказать о какой-нибудь сфере деятельности Константина Михайловича Симонова, настолько широка и многообразна любая из них. Это относится и к его международной деятельности.

Наверное, плодотворнее другой путь — вспомнить о некоторых встречах и эпизодах, как бы кульминирующих характерный для Симонова стиль жизни, взаимообщений с людьми.

## ДЛЯ КОГО ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

Июнь 1977 года. Шумно и людно в холле софийского отеля «Москва», где разместились делегаты международной писательской конференции. Спускаемся сюда с Константином Михайловичем, и его сразу же окружает толпа. Конечно же, большинство давно с ним знакомо: горячие приветствия, крепкие рукопожатия, дружеские объятия. Разумеется, есть что вспомнить, о чем расспросить. Однако, прислушиваясь к репликам, вопросам, ответам, вскоре начинаешь улавливать: советский писатель ведет отнюдь не светскую беседу; он словно продолжает когда-то начатый диалог, дополняя и уточняя тему, хорошо известную ему и его собеседникам.

Ничего удивительного: и до этого были схожие встречи и разговоры. С тем же Германом Кантом из ГДР, который всего час назад приземлился в болгарской столице. Совсем недавно, на книжной ярмарке в Берлине они вместе с Симоновым надписывали автографы на своих книгах. А сейчас договариваются провести вечер в небольшом софийском ресторанчике — надо поговорить по душам.

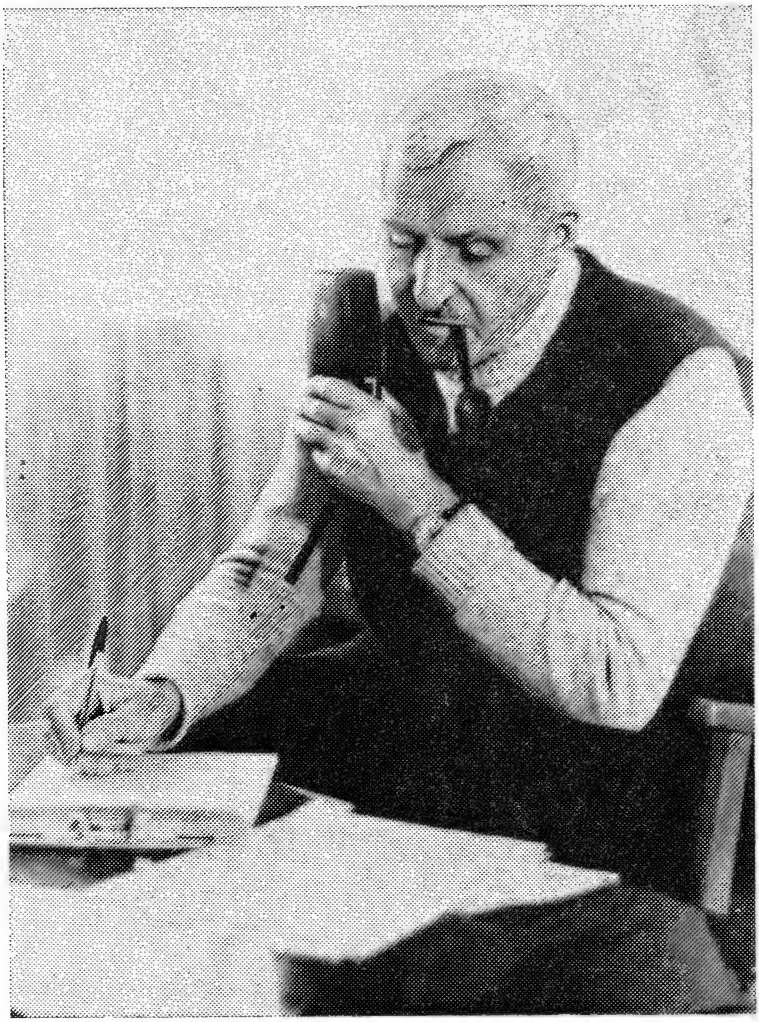
Но ведь вслед за Берлином была Варшава, также конференция в защиту мира. Симонову вновь довелось повидаться с теми, кого знал не первый год. Например, с Альфредо Гравиной, который в 1957 году называл свой родной Уругвай страной парламентских свобод. Гравина сопровождал тогда советского гостя по стране, проводил его в Чили. Теперь, в Софии, идет речь о трагических переменах. Гравина — изгнанник, он перебрался на Кубу. Перебрался, чтобы бороться, и его недаром глубоко волнует рассказ Симонова о таком стойком борце за свободу, как великий чилиец Пабло Неруда.

Есть славные писательские имена, без которых не понять XX века. Тут, в Софии, Симонов, поздравляя Пантелея Зарева с удачным вступительным словом, особо поблагодарил за процитированные в нем мысли Томаса Манна. Оказывается, они были выписаны и для симоновской речи. В речи будет, поделился он, приведено близкое им высказывание Александра Блока о подлинно прогрессивной политике — политике мира. Болгарский академик, в свою очередь, хорошо помнит эти замечательные слова автора «Двенадцати».

---

**ОЗЕРОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ** (род. в 1917 г.)

Советский литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор. Автор монографий по советской литературе «Александр Фадеев», «Дмитрий Фурманов», «Революцией мобилизованная и призванная», «Коммунист наших дней в жизни и в литературе» и др. Его перу принадлежит также книга, посвященная международным литературным связям,— «Тревоги мира и сердце писателя».



И вот что еще знаменательно. Приглядываясь к веселому и оживленному Симонову, я вдруг ловил в его глазах нарастающую сосредоточенность. Несомненно, шла напряженная умственная, душевная работа. В каком направлении? Мне показалось, что происходящие беседы восстанавливают давние контакты с небезразличными Симонову людьми, помогают понять, чем они живут сегодня, а значит, выверить и характер, интонацию собственного выступления. Впрочем, обоснованны ли эти предположения? Сомнения рассеялись спустя несколько месяцев, когда в журнале «Иностранная литература» появилось интервью Симонова о софийской конференции. В нем, в частности, говорилось:

«Я увидел здесь, в София, очень многих людей, которых я знал и видел раньше — и у себя, и у них дома. И подобно тому, как сейчас, вот в нашей с вами беседе, нет системы,— может быть, и в наших разговорах на конференции тоже нет какой-то единой системы, какой-то строгой последовательности,— наверное, это совсем не самое главное! Главное в том, что люди приехали сюда, оторвавшись от своих книг, от своей работы, с общим ощущением беспокойства за то, что происходит в мире... Тревога за завтрашний день человечества и составляет главный смысл нашей нынешней конференции».

Вот эта забота о завтрашнем дне человечества и лежит в основе международной деятельности всех борцов за мир, в том числе советских писателей. О том, как наиболее успешно реализовать ее, подробно говорил глава нашей делегации Георгий Марков и на пленуме правления СП СССР, посвященном международным контактам, и перед отъездом в Софию. В заданном им тоне выступали все советские участники конференции. Само собой понятно, говорили по-разному. Одни очень темпераментно, как Чингиз Айтматов. Другие спокойно-сосредоточенно, как Константин Симонов. Те и другие одинаково целенаправленно.

Софийская речь Симонова — идущая от сердца декларация политической направленности литературного творчества. Он за то, чтобы громко и уверенно произ-

носить слово «политика», ибо им определяется первейшее из прав человека — право на жизнь, на мир. Как современно предупреждение Александра Блока: «Если мы будем вне политики, то значит — кто-то будет только «с политикой» и вне нашего кругозора и будет поступать, как ему угодно, то есть воевать, сколько ему заблагорассудится, заключать торговые сделки с угнетателями того класса, от которого мы ждем проявления новых исторических сил, расстреливать людей зря, поливать дипломатическим маслом разбушевавшееся море европейской жизни. Мы же будем носить шоры и стараться не смотреть в эту сторону».

От таких шор писатели, верящие в прогресс, решительно отказываются, они руководствуются Программой мира, выражающей подлинно гуманную политику.

«Да,— говорил Симонов,— разумеется, борьба за мир — это политика. И притом единственно нужная для тех, на кого мы всю жизнь работаем,— для наших читателей.

Как сын своей страны и как коммунист, член партии, правящей в нашей стране и уже шестидесятый год несущей ответственность за ее политику, я горжусь тем, что первым декретом только что родившейся советской власти был Декрет о мире.

И для меня очень важно, что этот ленинский декрет для нас и сегодня не прошлое, а настоящее».

Сказанное в этой речи увлекло и захватило всех слушавших ее. И потому, что речь пронизана неотразимой логикой суждений, пафосом человечности. И потому, что за ней — большой жизненный подвиг писателя. Подвиг художника, общественного деятеля, обладающего обостренным чувством времени, способного одним из первых предугадать и отобразить его веяния.

Никогда не забуду, что означали для нас, молодежи тридцатых годов, стихи Симонова, его пьеса «Парень из нашего города». С ними, в, казалось бы, безмятежные мирные дни, внезапно и мощно ворвались тревожные, мобилизующие ноты: война у порога, нужно готовить себя к ней. Без поэзии, прозы Симонова нельзя представить ратных дел и душевных порывов защитников Москвы и Сталинграда. А вскоре ему предстояло заявить о значении «русского вопроса» в общемировом развитии.

Советская литература уже вступала в новый бой — против поджигателей третьей мировой войны. Япония, США, Канада, Франция, Англия — за пару лет, свидетельствовал в 1947 году Симонов, ему пришлось «совершить кругосветное путешествие», увидеть «симптомы фашизма» в Америке, встретить «деловых людей», считающих, что «наживаться на бедствиях и страданиях народов, на войнах, на катастрофах — это дело самое естественное и правильное».

Это «путешествие» не прерывалось до последних дней писателя. Симонов был активным участником всемирного движения борцов за мир, которое возглавляли знаменитые советские писатели Александр Фадеев, Николай Тихонов, Илья Эренбург, Александр Корнейчук. Он принимал участие в десятках конференций и «круглых столов». Принадлежа к тем людям, для которых, перефразируя его стихи, «чужого горя не бывает», спешил на самые горячие точки планеты, от Латинской Америки до сражающегося Вьетнама. Не случайно стихотворение «Жди меня», вошедшее в биографию советских солдат, спустя почти двадцать лет заучивалось наизусть в переводе То Хыу вьетнамскими патриотами. Не случайно гаитянский поэт и публицист Жан Бриер, взволнованно откликаясь на безвременную кончину Симонова, писал о нем как об убежденном интернационалисте:

И от Монголии до Герники,
от Сталинграда до Москвы
вы найдете его, часового передней заставы,
в каждом пекле эпохи.

Не случайно, наконец, прозвучавшее в журнальном интервью замечание Симонова насчет органичной для писателя-гуманиста тревоги за завтрашний день человечества. Это ощущение всегда двигало им. И — в годы «холодной войны»; побывав в США, Симонов в поэтическом цикле «Друзья и враги» обнажил коренные противоречия времени: «...Мне зал напоминал войну, а тишина — ту тишину, что обрывает первый залп» («Митинг в Канаде»), «Мы шли втроем навстречу глаз свинцу, шли, взявшись под руки, через расстрел их, шли трое красных через сотни белых» («Красное и белое»). Так было и позднее, когда развернулось наступление идей разрядки напряженности, а одновременно усиливалось противоборство двух идеологий. Сплачивая сторонников мирного сосуществования, Симонов не уставал напоминать о его врагах, их силе и коварстве. В конце софийской конференции я спросил Константина Михайловича, как он оценивает ее итоги.

— Думаю, встреча оправдала самые смелые ожидания. Ее итоги превосходны. Но, знаете ли, эти итоги надо настойчиво закреплять. Всего опаснее благодушие. Если благодушно уповать на естественный ход событий, можно проморгать неожиданные повороты. Я лично предпочитаю тревожное, но зато реалистичное знание возможных опасностей. Помнить о военных угрозах, страшных последствиях, которые еще не исключены. Помнить для того, чтобы исключить начисто, навсегда.

В этих словах — весь Симонов. Человек, не привыкший закрывать глаза на опасность, уклоняться от схватки. Предпочитавший суровую правду утешительным иллюзиям. Стремившийся осмыслить развитие событий для того, чтобы активно вмешаться в них. Вмешаться как полагается практику, борцу, созидателю. Симоновская четкость и организованность — от неразрывного единства слова и дела, всесторонне обдуманных убеждений и настойчивых действий. Во все встречи, в которых участвовал

Симонов, он вносил творческую деловитость. Помогал так сформулировать повестку дня, что она сразу же становилась привлекательной для писателей. Подсказывал, чем дополнить официальные заседания. Находил неожиданные и очень эффективные «концовки» проводившихся мероприятий. Когда близилась к завершению софийская конференция, встал вопрос о каком-то итоговом документе. Такого рода писательские собрания обычно не принимают директивных постановлений. Вместе с тем у собравшихся возникло стремление сообща выразить свои чувства, свою благодарность инициаторам превосходно организованной встречи. Но как это сделать? Выход нашел Константин Михайлович:

— А давайте напишем письмо болгарским хозяевам, поблагодарим за гостеприимство и заявим о своих позициях. Оглашением этого письма можно бы впечатляюще закончить встречу.

Эту идею сочувственно встретили делегаты. Робер Андре написал письмо. Конференция продемонстрировала всеобщее единодушие.

Добиваться подобного единодушия — наша проверенная традиция.

## ПОНЯТЬ, ОЗНАКОМИТЬ, УБЕДИТЬ

Эта традиция получила особое развитие в последние годы. Вдохновленные духом Хельсинки, пропагандируя и отстаивая его, советские писатели, наши коллеги из социалистических стран стали во главе широких кругов прогрессивно мыслящей интеллигенции мира. Они добились успехов благодаря тому, что научились доброжелательно и терпеливо строить отношения с самыми различными людьми, умножая ряды союзников, изолируя и обличая врагов. Единственно празильная линия поведения! Вспоминаю Конгресс миролюбивых сил в Москве. Юрий Жуков, Николай Грибачев, прославившиеся своими ядовитыми памфлетами на мастодонтов «холодной войны»,— все время в дружеском кругу посланцев западных стран. Делегаты Востока окружили Мирзо Турсун-заде. С Борисом Полевым оживленно беседует грек. С Константином Симоновым — двое американцев. Они знакомы еще с первой его поездки в США. Да, нелегкие были дни. А запомнилась советская делегация и твердостью позиций, и своей душевностью.

Подлинный интернационалист с глубочайшим уважением относится к каждому народу, верит в лучшие его потенции. В речах Симонова, как и других членов нашей делегации, выступавших в 1946 году в американской и канадской аудиториях, повторяется одно и то же: советская «военная угроза» — злобный вымысел; нам надо дружить, это в интересах в с е х наций. «Я верю,— заявлял Симонов,— в добрую волю вашего народа, и я готов вам поклясться в доброй воле моего народа». Спустя четверть века снова подчеркивается: и для американцев мир является самым важным национальным достоянием. Вспомним рецензию, опубликованную в 1961 году в настоящем журнале. Симонову понравился роман Митчела Уилсона «Встреча на далеком меридиане»; автор «прежде всего — это естественно — заботится о судьбах американского народа». А раз так, неизбежен вывод, «что эти судьбы во многом зависят от взаимопонимания между американцами и советскими людьми», «что мирное сосуществование и возможно и необходимо, что оно отвечает потребностям людей и у нас и в Америке...»

Симонову, с его вечным стремлением деятельно вмешиваться в ход событий, было важно, но недостаточно констатировать те или иные объективные потребности. Безусловно, надо лучше узнать, понять эти потребности, интересы и думы всех, кто является союзником в борьбе за мир и прогресс. Союзниками же они станут в том случае, если мы познакомим их со своим образом жизни и мышления. Если сумеем убедительно рассказать, что такое правда социализма. Вся правда, включая достигнутое и задуманное, поиск, обретения, реальные трудности, возникающие проблемы. Открытость разговора на любые темы, неприязнь ко всякого рода умолчаниям, прямота объяснения по самым «щекотливым» вопросам — все это привлекало к Симонову и единомышленников и оппонентов.

Воспоминание не близких уже лет. Очередной гость Москвы боялся, что его будут непрерывно «агитировать», держался весьма настороженно. Внутренне скованным оставался он, приехав домой к Симонову, хотя по дороге я всячески старался «разговорить» его. Прошел час-другой. Непринужденность обстановки, шутливо-доброжелательная беседа исключали всякую чопорность. Хозяин сам — с большим искусством — жарил бифштекс. Хозяйка охотно показала квартиру, прекрасные альбомы по искусству. Никто не собирался перекрещивать гостя в нашу веру. Постепенно он разговорился. Признался: не очень убежден, в самом ли деле так монолитна советская интеллигенция, как его уверяют. Что ж, вместо общих слов пусть послушает, как складывалась жизнь одного из представителей этой интеллигенции Константин Михайлович обратился к своему детству. Еще тогда он смог убедиться, чего хотят потомственные русские интеллигенты — ими были его мать и отчим, убежденно пошедшие с советской властью. Сам он тоже никогда не отделял своей судьбы от народной. Ни тогда, когда стал работать на заводе токарем. Ни тогда, когда в начале войны вступил в Коммунистическую партию.

— Это был тяжелый, возможно самый тяжелый, период нашей истории, и нужно было брать на себя высокие обязанности. Мы так и поступали, и подобные поступки лучше всего объясняют взгляды нового поколения советской интеллигенции, выросшей на традициях своих предшественников.

Как важно доверительно ознакомить собеседника с нашей действительностью, которую он порой знает понаслышке. Этот рассказ становится еще убедительнее, если носит личностный характер, содержит исчерпывающую информацию «из первых рук» о прошлом и настоящем. Правомерен «симоновский» подход к любому вопросу: «Попробую объяснить, почему это произошло тогда, а заодно выскажу и свой нынешний взгляд на это».

В 1960 году из Узбекистана, где он тогда жил, Симонов послал открытое письмо американскому издателю г-ну Уиксу. Он не изменил своей привычке — считаться с возможностями и желаниями «другой стороны» — и предоставил адресату решать, останется ли письмо фактом их личной переписки или будет опубликовано в качестве заказанной статьи для американского журнала. Публиковать есть что, Симонов приводит обильные и говорящие сами за себя сведения. Перед нами Ташкент, вначале увиденный из окна симоновского дома. Город такой, каков он в действительности: одна часть улицы современная, другая — нередкие пока здесь «глинобитные стены и заборы»; двор утопает в цветах, в бассейне плещутся дети. Контрасты наводят на мысли более широкого свойства — о прошлом и будущем узбекской столицы, темпах ее обновления.

Неторопливый рассказ продолжается. Хозяин собрался на юбилейный вечер Чехова, но его намерению помешал приход инженера с завода, выпускающего текстильные машины. Опять повод, чтобы сопоставить дореволюционный Узбекистан, где всячески тормозилось промышленное развитие, с сегодняшней высокоиндустриальной республикой. И снова — конкретность определенного времени. Еще не все достигнуто не только в градостроительстве; завсды, культура тоже не молниеносно набирают силу. Правда, тяга к культуре поразительная. «Это не образцовый, громадный московский завод с великолепным Домом культуры... Это — средних масштабов ташкентское предприятие. И вот на этом предприятии 600 человек рабочих приходят после трудового дня в неуютное, похожее на барак, холодное помещение, которое они сами поругивают... чтобы послушать писателя».

Вслед за тем действие переносится в каракалпакские степи. Тут все поражает воображение: и бесконечные выжженные солнцем песчаные просторы, и грандиозные планы мелиораторов, и приметы бурного духовного роста бывших кочевников. Неподдельны симпатии Симонова к этим людям, к их соседям-туркменам. Автору приятно поделиться своими впечатлениями с американскими читателями. Делает он это без педалирования. «Я не хочу уверять Вас в том, насколько все это интересно. Пойду от обратного, сказав Вам с полным ручательством за свои слова, что без всего этого мне было бы очень неинтересно жить».

Это — тоже в традициях советской печати. Недопустимо назойливо и бездоказательно уверять в категорической правильности того или другого личного наблюдения, априорно навязывать собственные соображения, гневаться на несогласного. Куда полезнее понять собеседника, найти с ним общий язык, ознакомить его с действительным положением дел, убедить в истинности наших принципов.

Рядом с письмом г-ну Уиксу я бы назвал еще один образец убеждающего обращения к зарубежному корреспонденту. Это открытое письмо писателю из ФРГ Альфреду Андершу. Оно датировано 1977 годом, напечатано год спустя в сборнике статей К. Симонова «Сегодня и давно» под заголовком «Откровенность за откровенность».

Очень точное название! Автор взялся ответить на «Открытое письмо советскому писателю», с которым к нему обратился Альфред Андерш. Обнаружил у своего адресата и бесспорное и спорное, но главным посчитал желание «лучше узнать и лучше понять друг друга». Сосредоточился он на том, что разделяет двух писателей. Не для того, чтобы выдвигать встречные упреки, а для того, чтобы доказать правомерность наших позиций. Единственно верная методология спора, если он ведется с союзниками в главном, основном, если нужно помочь им расстаться с предубежденностью, узнать и осмыслить ранее неизвестное или непонятое. «Ведь,— обосновывал эту методологию Симонов,— взаимопонимание не сводится к тому, чтобы сразу и по каждому вопросу найти общую точку зрения...» Оно «предполагает как первооснову стремление взаимно понять наши точки зрения, реальную обстановку, в которой эти точки зрения возникают, и реальные условия, в которых эти точки зрения существуют».

В числе волновавших Андерша был и вопрос о романе Б. Пастернака «Доктор Живаго», о причинах отказа редакции журнала «Новый мир» публиковать его, об оценке этого произведения, творчества Пастернака в целом. Симонов не обошел ни одной из поставленных проблем, постарался охарактеризовать обстановку тех лет, объяснить тогдашние и нынешние свои взгляды. Всегда высоко оценивая стихи Б. Пастернака, он и раньше не мог и теперь не может принять попытки доказать в романе историческую «неправоту» русской интеллигенции, пошедшей после Октября 1917 года с трудовым народом, с Коммунистической партией. В письме приведены многочисленные аргументы в пользу такой точки зрения, цитаты из разбираемого сочинения. И вполне откровенно, и в высшей степени убедительно!

Методология методологией, но не забудем и об авторитетности симоновских оценок и суждений.

Они были обеспечены таким творческим «капиталом», как романы «Дни и ночи», «Живые и мертвые», другие произведения, раскрывающие дух нашей эпохи. Зарубежные читатели узнавали из них «загадочную» русскую душу, «тайну» достигнутых побед, получали ответ на вопросы, которые волнуют их самих.

Право судить обо всем происходящем в мире Симонов завоевал также своими обширными знаниями. Он внимательно следил за политическими событиями, изучал социологические и военные труды. Читал огромное количество книг зарубежных писателей. Способствовал их переводу и изданию, некоторым предпосылал свое предисловие, на другие откликался рецензиями, с авторами третьих вступал в переписку. Это не только ставший уже классиком Эрнест Хемингуэй с его «Прощай, оружие!», но и новый роман нашего современника Германа Канта, и книги молодого Александра Клюге, и публицистика Гюнтера Вальрафа, и выступления видных мастеров искусства. Так, в редакцию «Вопросов литературы», где я тогда работал, Симонов принес лекцию Давида Альфаро Сикейроса, прославленного мексиканского художника-борца. Опубликовали мы лекцию с яркой вступительной заметкой того же Константина Михайловича.

Говоря о влиянии Симонова на зарубежную художественную интеллигенцию, надо учитывать, наряду с его творческим весом и глубиной познаний, его моральный вес. Не перечислить людей, которые мечтали познакомиться с советским писателем, искали у него советов, поддержки. Все знали: Симонов не поступит против совести, не покривит душой, не обманет доверия. Он мог ошибаться, но не боялся исправить ошибку, вслух, публично. Мог чего-то не учесть, но готов был пересмотреть сделанное. Зато продуманное, выстраданное становилось четкой программой действий. А люди тянулись к Симонову.

После поджигательской речи Черчилля в США сложилась весьма мрачная обстановка. Хемингуэй же, узнав о приезде сюда советской делегации (в ее составе был и Симонов), послал Константину Михайловичу письмо. В нем он осудил эту речь и сообщил о готовности побывать в Советском Союзе. Приглашение приехать в СССР принял и Чарли Чаплин; он завтракал с Симоновым на борту советского танкера, а очередные провокации херстовских газетчиков квалифицировал однозначно: «...хотят довести дело до высылки меня отсюда...» Среди аналогичных эпизодов приведу описанный в стихах Симонова. Во время его визита к Бернарду Шоу мудрый старец с гордостью вспомнил, что свой юбилей праздновал в СССР. Провожая гостей, он говорил о том, как любит Советскую страну:

И как,
если он
доживет до ста лет
(он смягчает улыбкою эту дату),
он снова в страну нашу
купит билет,
как в юности,
в семьдесят пять когда-то.
Он говорит
о Стране Советов
с такой
на него непохожей нежностью...

Да, подобные минуты не забываются. И нет для советского человека высшего счастья, чем наблюдать за рубежом нежные чувства, слышать добрые слова о своей родине. Симонов не забывал фиксировать такие впечатления. Однако, живя, как уже сказано, реальными треволнениями мира, он анализировал и другое, противоположное.

## ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА

«Да — миру, нет — войне!» — мобилизующий девиз нашего времени. Он зовет к объединению всего честного, прогрессивного, ищущего, к вере в здравый смысл человечества. Напоминает: добро сильно и перспективно, но победа придет лишь в упорной и настойчивой борьбе против зла. Советские литераторы внушая людям добрую волю уверенность в своих силах, в окрыляющем значении писательского слова, непримиримы к проискам реакции. Парижские телекомментаторы горько сожалели, что затеяли диспут с Александром Чаковским,— они потерпели в нем жестокое поражение. Крикунов, съехавшихся в американский университет, где выступали Михаил Алексеев и Григорий Бакланов, ждал такой же удел. Спокойный, доброжелательный, случалось, даже чересчур терпеливый, Константин Симонов тоже всегда был готов к сражению.

Милитаристы, буржуазные политиканы, диссидентствующие предатели — зловещими и отвратительными нарисованы эти фигуры в симоновской публицистике. Политическая их характеристика дополняется нравственно-психологической. Мерзейшая мета фашистов — все равно, немецких ли, американских,— человеконенавистничество, презрение к другим народам, унижение личности. Это не насморк, лекарства не помогут. Это гангрена, требуется хирургическое вмешательство.

Так говорил и писал Симонов еще в конце 40-х годов. Прошли годы, он множил удары по реакционерам. Но не просто повторял сказанное раньше. Симонов подмечал новые модификации фашизма, был особо бдителен к попыткам неофашистов, оправдывая злодеяния гитлеризма, «подчистить» историю, умалить роль Советской страны во второй мировой войне. В этом ключе перечитываются и печатно комментируются им записки главарей и генералов третьего рейха. Многие документы сигнализируют о глобальных замыслах противников мира. Прочитав книгу о Сталинградской битве, написанную молодым немцем, выяснявшим причину не только поражения 1942 года, но и краха векового прусско-германско-фашистского мили-

таризма, Симонов соглашается с ним: это «идеология гниения и нравственного саморазрушения». Идет дальше его, высказывая существенные для сегодняшнего дня соображения:

«Милитаризм легко открещивается от своих старых политических оболочек, которые в свое время были удобны, а потом стали компрометирующими. И говоря сейчас о попытках возрождения в Западной Германии германского милитаризма, думается, главную опасность этого следует связывать отнюдь не с теми людьми, которые впрямую стремятся реабилитировать нацизм. Это люди без серьезных перспектив на успех. На мой взгляд, гораздо большую опасность представляют те милитаристы, которые, публично и старательно отряхнув со своих ног прах фашизма, одновременно стремятся возродить те идеалы германского милитаризма, которые являются, так сказать, исконными историческими, рожденными в гораздо более удобный для воспоминаний и менее скомпрометированный в сознании человечества предфашистский период».

Близкие этим «идеалы» проповедуют и заокеанские милитаристы. В США власть денег (так называется одна из симоновских статей) благословляет жестокие преследования прогрессивных элементов — маккартистскую «погоню за ведьмами», расовую ненависть, оголтелый антисоветизм. Последний, неоднократно подчеркивал писатель, принимает все более безобразные по своей безнравственности формы. Мало того, что американские реакционеры с тупой ненавистью отрицают реальные достижения социализма, иного от них никто и не ждал. Они пользуются грязными методами — ложь, клевета, провокации. Симонов с презрением писал о фантастическом сочинении, в котором цинично, с чуть прикрытым восторгом изображена Москва после атомной бомбардировки. Его не удивляло смакование буржуазной печатью наших послевоенных трудностей и недостатков, но просто-напросто не укладывалось в сознании, откуда у писак «какое-то непонятное для нормального человека злорадство? Чему вы радуетесь, господа Уайты? Тому, что семьи теснятся в одной комнате, потому что половина России сожжена немцами!..» Настойчиво вопрошая, как можно радоваться народному горю, Симонов сталкивает («красное и белое!») две морали, две идеологии. «Почему вы радуетесь этому, спрашиваю я вас?! Если б американский народ постигли такие бедствия, какие постигли наш народ, мы бы не радовались, мы бы плакали вместе с вами. Мы, русские интеллигенты. А тех людей, которые посмели бы злорадствовать над вашим горем, мы бы судили таким жестоким моральным судом, что им не помогла бы никакая свобода печати!»

Моральный суд, к которому апеллирует Симонов,— суд чести, благородства, принципиальности. Эти принципы — гуманизм, правда,— напоминал он, чужды и ненавистны нашим недругам. В одном лагере с врагами мира и социализма — самое что ни на есть отвратительное человеческое отребье. Облик антикоммунистов-инакомыслящих давно раскрылся Симонову во всей неприглядной сути и в реальной роли наемников ЦРУ. Предтечей современных диссидентов выступил еще в 1949 году некий Кравченко, бежавший из родной страны, занявшийся клеветой на нее и даже осмелившийся подать в суд на разоблачившую его французскую газету. Вполне оправданно хлесткое название статьи, с которой тогда же выступил Симонов: «Иуда Кравченко и его хозяева». Совершенно резонен ее вывод: услугами холуев и предателей раньше пользовались гитлеровцы, теперь — американские вояки. «Существо дела — и это главное — состоит в том, что американские поджигатели войны сегодня в Европе, на заботливо предоставленной им для этого французской территории, решили организовать, поелику возможно, более шумный антисоветский процесс». Справедлива симоновская оценка судебного процесса: «Народы мира склонны рассматривать это не как суд между американским прихвостнем и шпионом и французской газетой, а как суд над международными провокаторами и поджигателями войны, желающими предпринять новую попытку истребить человечество».

История повторяется. В цитированном выше письме Альфреду Андершу Симонов вспоминает о шумихе, устроенной буржуазной пропагандой вокруг Солженицына. Цель ее та же — поддержать поджигателя войны, врага разрядки.

В своих выступлениях Симонов наглядно показывал абсолютную чужеродность интересов людей труда и подстрекателей клеветнических кампаний. Аудитория верила ему, шла за ним.

...В канун 50-летия Октября Константин Симонов, Микола Бажан и автор этих строк оказались в Италии. Нам предстояло выступать с лекциями о знаменательной дате, о советской культуре. Интерес к нашей стране, заранее сообщили организаторы, исключительно велик. Оживились, дополняли они, и недоброжелатели, вкривь и вкось толкующие акт справедливого осуждения в СССР двух ренегатов, которые днем произносили восторженные речи о Горьком, а по ночам строчили пасквили на него, советскую действительность — для контрабандной отправки за границу. Докладчиков, предупреждали нас, возможно, будут бойкотировать, а уж без провокационных вопросов не обойдется.

Константин Михайлович выступал в Риме первым. И говорил он с таким спокойным достоинством, с такой гордостью за социалистическую культуру, что оказались немыслимыми открытые провокации. Мы с женой, сидя в зале, приметили любопытную сценку. Какой-то вертлявый субъект, встречавший кривой ухмылкой едва ли не каждую фразу Симонова, явно не выдержал. Схватил лист бумаги, настрочил записку и попросил соседей передать ее по рядам докладчику. Один из них развернул и прочитал записку, тут же встал со своего места, взял ее автора за ухо и с невоз-

мутимым видом повел к выходу, что-то при этом приговаривая. В чем дело, поинтересовались мы у переводчицы. Она засмеялась:

— Не знаю, кого этот юноша тащит, но выражается он красноречиво: «Не занимайся, подонок, паскудством, не оскорбляй гостя».

Устроители вечера не посчитали нужным рассказывать Симонову о случившемся. В тех же случаях, когда «паскудникам» удавалось громко подать голос, следовал ответ — прямой, резкий, насмешливый.

Вообще нужна полная определенность, когда приходится сталкиваться с попыткой развить и обосновать целую концепцию, глубоко нам чуждую и враждебную. Симонов требовал справедливой и точной оценки нашей решающей роли во второй мировой войне. Стоило американскому публицисту Гаррисону Солсбери опубликовать книгу, доказывающую, будто советский народ победил немцев «вопреки» социалистическому строю, партийному руководству, Симонов дал ему сокрушительный отпор. В статье «Вопреки или благодаря?» не оставлено камня на камне от домыслов советолога и восстановлена историческая правда. Стал известным Симонову план одной американской диссертации о его романах, построенной по схожей схеме, он решает незамедлительно высказаться: «...я должен без обиняков, отталкиваясь от Вашей диссертации, высказать Вам свои взгляды на советское общество во время войны и на советскую литературу о войне».

Неоднократно пришлось убеждаться в симоновском стремлении прямо «высказать свои взгляды». Рядом с этими словами он не зря ставил слова: «без обиняков». Имеется в виду не только характер объяснения с оппонентом. Нужно быть предельно откровенным и с самим собой, не стесняться вслух, перед читателями поразмышлять о том, что требует подтверждения, а что — корректив.

Это, помимо фактических данных, отличает очень оперативные репортажи о событиях 1969 года в районе острова Даманский. Симонов воспроизвел их с присущей ему документальной точностью. Задался мыслями, которые волнуют всех читателей: почему могло произойти такое, чего еще ждать от Китая, когда-то заявлявшего о «нерушимой дружбе» с СССР? Те времена, подтверждает Симонов, он отлично помнит — был в Китайской народной армии, участвовал в освобождении от гоминьдановцев юга Китая, писал стихи «об этом походе и об этих людях, сражавшихся за дело социализма». Революционная диалектика, убежден писатель, учит не открещиваться от увиденного прежде, от произнесенного раньше, а указывать на новые факты, ими соизмерять свои сегодняшние чувства и высказывания. Стоит привести очень искренние и опять-таки исповедально звучащие строки Симонова:

«Я не только не могу забыть всего этого, я не хочу забывать! Не хочу забывать даже сейчас, глядя в напряженные лица вооруженных китайских солдат, стоящих в нескольких шагах от меня по ту сторону границы.

Но вспоминать только это я не могу, потому что сегодня, после Даманского, я не могу забыть и другого — той крови, которая была пролита и которая легла между нами.

Нет, речь идет не о том, чтобы: кровь за кровь! И не о призывах к отмщению или ненависти!..

Но я никак не могу вытолкнуть из головы мысль, что завтра и они тоже могут стать убийцами, как те, там, на льду Даманского...»

На протяжении ряда лет Симонов оттачивал свое мастерство публициста, поднимаясь ко все большей гражданской и эстетической зрелости. Заметки для журнала, другом и автором которого был Константин Михайлович, я хотел бы закончить штрихами, рисующими его как опытнейшего журналиста, редактора.

Редакция «Иностранной литературы» располагала письмами немцев, оказавшихся в сталинградском окружении и переживших трагедию, которая заставила их перед гибелью пересмотреть свои представления о войне. Не напишет ли Симонов предисловие к письмам? В письме, адресованном редакции, он изложил веские соображения: «...для того, кто производил селекцию этих писем, существует только трагедия немецкой армии... А как быть с трагедией нашего народа? С десятью, наверно, миллионами, если не больше, убитых уже к тому времени, с отданной под сапоги оккупантов землей, вплоть до Волги, со всеми страданиями, с которыми это было связано? Можем ли мы письма, которые рассматривают только один аспект трагедии окруженных в Сталинграде немецких войск, воспринять без вот этого ощущения, о котором я говорю, ощущения нашей собственной трагедии? Не убежден».

Симонов не был бы Симоновым, ограничься он несогласием с конкретным предложением. Взвешивая какую-то задумку, он учитывал сложности, высказывал, если они были, сомнения, но обязательно искал и конструктивное решение.

Так произошло и в данном случае: Симонов привел свои соображения о том, какого типа публикацию стоило бы подготовить журналу к тридцатой годовщине войны.

Так происходило и при других обстоятельствах; советуясь с Симоновым, можно было не сомневаться: что-то отвергая, он непременно внесет позитивные предложения, перспективные, обоснованные. Это очень соответствовало требованиям времени, когда открылись новые широкие возможности для практической борьбы за мир и прогресс. Верность общей великой цели цементирует кипучую деятельность поколений убежденных борцов. В их рядах Константину Симонову принадлежит почетное место.

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН

# КАРДИОГРАММЫ МАНХЭТТЕНА

Казалось несообразным, непостижимым — целый день плыть наперегонки с солнцем поверх белого бескрайнего океана облаков и потом зависнуть над огромным городом, высматривая, куда и как посадить самолет. Впрочем, все стало известно позже, через две недели. В вечерней передаче новостей телекомментатор размеренным объективным тоном рассказывал о том, что восемнадцатого января рейсовый самолет Москва—Нью-Йорк шесть минут шел на посадку вслепую: на центральной диспетчерской международного аэропорта Кеннеди оказались стертыми радарные данные. Благо ни тумана, ни дождя, внизу хорошо просматривалось причудливо изрезанное крокодилье тулово Лонг-Айленда. Но нужно знать, какое небо над Нью-Йорком, чтобы оценить выдержку советского пилота, спускающего тяжелую машину без команд с земли.

31 января «Нью-Йорк таймс» писала: «Правительство рассматривает инцидент как чрезвычайно серьезный из-за реальной угрозы аварии и в более широком плане — возможности преступных действий со стороны работников аэропорта». Представитель Федерального бюро расследований заявил, что происшествие подлежит изучению. Оно кончилось ничем: судебные власти не нашли состава преступления.

Но в тот день мы не заметили ничего особо тревожного. Брали верх усталость и утешающее ощущение твердой земли под ногами. Правда, наш ИЛ-62 не подбуксировали к аэровокзалу, и пассажиров держали в самолете дольше принятого. В самом здании их почему-то встретили слепящий свет и телевизионные камеры. И долго, слишком долго не выдавали багаж.

— Забастовка,— пожимали плечами чиновные лица.

— Истерия.— в один голос сокрушенно заявляли все, с кем мне довелось встречаться во время моего трехнедельного пребывания в Штатах. Мои собеседники были озабочены: ломаются культурные контакты, которые налаживались так долго и с таким трудом, рвутся деловые и родственные связи. Об этом говорил Томас Йоселофф, бывший президент издательства «А. С. Барнс энд компани» — я был гостем этой фирмы — и мой хороший друг драматург Барри Стейвис — сборник его пьес только что вышел в нашем «Прогрессе». Я слышал это от восьмидесятилетней женщины, архитектора и художника, которую юной девушкой увезли из России, от редактора «Дейли уорлд» по отделу культуры Эделейд Биин, от негритянского поэта и политика Антара С. К. Мбери. Театровед Лоис Адлер намеревалась летом приехать в Москву: ей позарез нужно покопаться в библиотеках и архивах, застопорилась ее работа по проблемам советской режиссуры 20-х годов, но вот не знает, как теперь все повернется. Историк и журналист Роберт Лоури писал мне, уже в Москву: «В рядах нашего рабо-

**ЗЛОБИН ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ** (род. в 1927 г.).

Советский литературный критик, переводчик, редактор. Пишет по проблемам зарубежной литературы, в частности по литературе США.

чего движения есть несколько гангстеров, и они из кожи вон лезут, чтобы раздуть антисоветскую истерию. Большая же часть американских рабочих рассчитывает на разрядку, им нужна работа, мир и здоровье, они не разделяют мнение работающих в аэропорту».

— Сейчас в Соединенных Штатах всего два человека из нашей страны, приехавших по линии культурного обмена,— сказал мне через несколько дней после прибытия наш консул.— Вы третий.

Особняк на 91-й Восточной улице пустел: американские власти решили закрыть советское консульство в Нью-Йорке. Американцы не прочь простодушно похвастаться: в Нью-Йорке есть все. Но вот многомиллионный город остался без советского консульского учреждения, прервано прямое воздушное сообщение между Москвой и Нью-Йорком, «Пан-Америкэн» в одностороннем порядке аннулировала соглашение с «Аэрофлотом», и я улетал домой последним нашим самолетом

У меня сохранилась газета «Маяк Гандера», издающаяся в этом городке на востоке Нью-Фаундленда где, совершив восьмичасовой прыжок через Атлантику, сделал заправочную остановку наш ИЛ-62. В редакционной статье сквозило беспокойство: «Аэропорт — хребет города... Какой ущерб будет причинен Гандеру, если канадское правительство присоединится к санкциям Картера? Сколько рабочих мест будет потеряно, если «Аэрофлот» и другие авиакомпании восточного блока не будут сотрудничать с Канадой?. »

Нет, слишком уж слаженно цеплялось одно за другое, чтобы всерьез верить рассуждениям о забастовке служащих «Пан-Америкэн». Сколько же таких гандеров на североамериканском континенте, которые страдают от чьих-то прихотей и капризов!

Еще готовясь к поездке, я решил: ни напряженного расписания встреч, ни туристических пробежек по достопримечательностям. Насколько позволят дела, связанные с подготовкой книги Стейвиса на русском языке — просто побродить не спеша по улицам, послушать пульс многомиллионного города, присмотреться к людям, их повседневному бытию, побывать в частных домах. Словом попытаться уловить, как начала Америка 80-е годы.

Естественно, хотелось узнать, каковы же действительные настроения тех кого социологи нарекли человеком с улицы, в обстановке неслыханной свистопляски, поднятой вокруг событий в Афганистане В иное время я, наверное ограничивался бы тем, что в мимолетных встречах и разговорах представлялся просто иностранцем, который прибыл по делам в Штаты Теперь же при каждом удобном случае я нарочно сообщал собеседнику, что я русский приехал из Советского Союза, из Москвы. Реагировали поразному Иногда едва заметно приподнятая бровь или некоторое удивление в глазах. Другие не могли скрыть какой-то оторопи. Russian, really?—Правда, русский? И за этим удивлением за таким полувосклицанием читалось: что ему тут нужно, этому русскому, в такое время?

Говорят, на одном пышном банкете собравшиеся демонстративно побросали на пол тарелки с импортной русской икрой — не знаю, я там не был. И не видел, как чикагский ресторатор Джин Саж сделал символический жест, собственноручно вылив на улице перед своим заведением несколько бутылок «Столичной», благодаря чему, разумеется, тут же попал на страницы «большой прессы». Лично мне нигде и ни разу не пришлось столкнуться с настороженностью, недоброжелательством и тем более враждебностью.

Ни косых взглядов, ни шепотков не было и в помине Я не склонен делать отсюда далеко идущие выводы. И не могу объяснить это особой воспитанностью или вниманием к приезжим — ни тем, ни другим американцы, как известно, не отличаются.

У них бездна других, своих забот.

■

Нью-Йорк прекрасен, нет, не то — он картинно красив. Живописен, даже когда отталкивающ. Полотно окинешь взглядом только на отдалении, лучше из-за Гудзона, когда на закатном небе точно отпечатана sky-line — небесная линия: очертания, изломанный, уступчатый как кардиограмма у сердечника, темнеющий контур Манхэттена. Ближе глаз выхватывает фрагменты.

Въезд на Мост Трех районов над Адовыми воротами, светлокожий негр в зеленом скользит, пританцовывая, между автомобилями, предлагая седокам букетики красных гвоздик.

Невообразимый, воздушный, точно возносящийся во тьму и удерживаемый на земле лишь лучами подсвета белый столетний собор святого Патрика с бронзовыми пятнами ворот.

Ленивые жирные чайки на безлюдных днем причалах Рыбного рынка у Фултон-стрит, а по ту сторону Ист-ривер, подернутой грязно-серыми гребешками, клубы черного дыма над остовом сгоревшего отеля.

Ночная гулкая пустынность пространств Рокфеллерова центра, когда все семнадцать притемненных каменных колоссов, кажется, молча следят за каждым шагом припозднившегося одинокого прохожего.

Толпа у какой-то ювелирной лавки — продающих, покупающих, приценивающихся, посходивших с ума от золота.

Безлюдная, брошенная кирпичная школа о три этажа со слепыми заколоченными окнами на углу Мэдисон авеню и 119-й Восточной улицы и сохранившаяся надпись у входа: «Истина освободит тебя».

Головокружительная наклонная спираль Гуггенхеймова музея, смело рассеченная угловатыми объемами, и две прямоугольные стеклянно-металлические тумбы Центра международной торговли, с полукилометровой высоты взирающие на статую Свободы.

Помню Нью-Йорк в декабре 1977-го. Порывистый, пронизывающий ветер с океана, снег вперемежку с дождем, под ногами грязь. У иллюминированных к рождеству деревцев—груды разодранных пластиковых мешков с мусором В центре, на Лексингтон авеню, прорвало тогда трубы, вода била на-

---

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН
КАРДИОГРАММЫ МАНХЭТТЕНА

ружу несколько часов, затопляя ближние кварталы. По вечерам душераздирающе то и дело ревели сирены полицейских машин. Где-то совсем близко от нашей «Дорал инн» не раз и не два слышались выстрелы.

Теперь город показался мне чище, приветливее, спокойнее, хотя по-прежнему не советуют ездить вечером подземкой и все так же тщательно запирают двери — журналы полны описаний всякого вида замков, предохранительных устройств, сигнальных систем. В ночь на воскресенье 3 февраля было зарегистрировано шесть убийств. И все-таки Манхэттен приглянулся мне больше, чем в первый раз. Может быть, дало результаты движение «Я люблю чистый Нью-Йорк!». Эта надпись — повсюду, на стенах домов, на плакатах, открытках и значках, она — и изображение сердечка вместо «люблю» или краснобокого яблока. Нью-Йорк называют «Большим яблоком», на популярном жаргоне это нечто превосходное, не имеющее равного.

Витрины ломятся от товаров, но покупать не спешат. Покупатель стал осторожен и недоверчив, и потому тем усерднее его заманивают и зазывают. Пройдешь по торговым кварталам, перелистаешь коммерческие отделы в прессе, тебя навязчиво преследуют два созвучных слова: sale и save — распродажа и экономия. Тебя призывают, приглашают, просят, умоляют купить то, другое, третье с 15, 25, 50-процентной скидкой. Спешите, не упускайте шанс, только у нас и только на этой неделе!

Экономьте! — это распространенный лозунг минувшего десятилетия. Экономьте деньги, время, душевные силы. Берегите бензин и здоровье. Поток популярных статеек, брошюрок, книжек научит вас, как лучше возделывать свой сад, выгодно вкладывать доллары, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, готовить пищу, собирать коллекции, ремесленничать, рукодельничать, развлекаться, радоваться малому.

За исключением нескольких ярких пятен Нью-Йорк едва освещен—экономят электричество, а в лавчонке, приютившейся в нижнем уголке какой-нибудь сверхсовременной супергромады, можно купить аккуратно упакованное древесное полено. Полено, конечно, для камина, это модно. Но многие всерьез утверждают, что дровяное отопление—наилучший выход в условиях энергетических неурядиц, да и дешевле. Что до экономии души, то она нередко оборачивается общественной апатией.

Терпеливо выстроившись в чинную очередь, дожидаются автобуса. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь расталкивал других локтями. Зато и заняв местечко, никто, решительно никто не уступит его никому— не принято. Переполненные автобусы едва тащатся: почти каждые два блока остановка. Поговаривают о том, что надо бы снова ввести трамвай — последняя линия снята в 1957 году,— меньше загазованности, меньше затрат.

Нет, американцы вовсе не разлюбили автомобиль, но на Манхэттене он, считай, почти бесполезен. За стоянку в центре дерут сумасшедшие деньги — два, три доллара в час. Мы с Барри Стейвисом полчаса колесили вокруг Уолл-стрита — он непременно хотел провести меня по бирже. Наконец, приткнулись к парковке со счетчиком. Тридцать минут, иначе полсотенный штраф или того хуже: отбуксируют машину к черту на кулички, и проклянешь все, пока ее вызволишь.

Уолл-стрит. Улица Стены. Когда-то тут действительно стояла стена, отделяющая белых колонистов от коренных, краснокожих. Она была чертой между двумя мирами.

Сейчас в Нью-Йорке границы по виду стерлись. На улицах, в магазинах, в кино перемешались белые, черные, желтые, коричневые лица, кого только не встретишь в этом многоязыком кипящем котле американизма! А все-таки незримая граница существует. Сразу же за 96-й улицей вырывается из-под роскошной Парк авеню железнодорожная линия, и поезда, выскочив на волю, довольно погромыхивают по улицам испанского Гарлема. Здесь все так же и все иначе — поменьше, победнее, погрязнее. Чем дальше, уже за 110-й улицей, в черный Гарлем, тем чаще кварталы за кварталами разрушенных — как будто прошла война — домов. Или еще хуже — брошенных. Сдавать или сносить одинаково в убыток. Им бы стоять да стоять и чтобы жили там люди и слышался детский смех. Но нет — пусто, глухо, страшно. Иногда два-три освещенных окна по фасаду, от их затерянности становится еще жутче. Смотришь на такое и не находишь слов.

Дома стоят обезлюденные. А на улицах не диво увидеть «бэг-пипл» — бездомных мужчин и женщин с большими сумками и мешками, где все их имущество. Они бродят по городу, ища местечко, где можно присесть и подремать. В холодные дни жмутся к подъездам, прячутся в подвалах, в подземке, забиваются в какие-то щели — их в Нью-Йорке бесчисленное множество, забредают в лавки и греются там, пока не выгонят.

Излюбленное место бэгменов — Гранд Сентрал — Центральный вокзал, гигантское сооружение в ренессансном стиле. Влечет их сюда не архитектура — здесь можно затеряться в толпах растекающихся по залам, углам и закоулкам этого комплекса, принимающего и отправляющего полтысячи поездов в сутки. Иные не выходят отсюда неделями, существуя бог весть как и чем. В последний день января «Кэламбия броудкастинг систем» передала небольшой телерепортаж об обитателях Центрального вокзала: вечер выдался холодный, термометр показывал десять ниже нуля. Телекамера скользнула безразличным оком по фигурам и лицам этих несчастных, заглянула в туалет — там умываются, приводя себя в порядок, женщины. Говорит какой-то пожилой небритый мужчина с шарфом, обмотанным вокруг горла: «Я уже три месяца здесь. Но я выберусь, выберусь отсюда. Я вернусь к нормальной жизни...» Дама в шубке, бравшая интервью, не допытывалась, на чем основан его неистребимый оптимизм.

Отвращает даже со стороны так называемая «ночная жизнь» Нью-Йорка. Их, верно, не счесть — кафе с голой и полуголой эстрадой, художественных студий с натурщицами, массажных кабинетов, борделей, маскированных под бары.

Газеты писали: четыре года вовсю функционировал в ночном манхэттенском Клубе Сансуси аукцион по продаже живого това-

ра. Торговали зеленых провинциалочек, приехавших — преимущественно со Среднего Запада — посмотреть большой город. Обычная цена — 10 тысяч, брали также героином и оружием.

Впрочем, зачем искать далеко, какие-то особенные, «сальные местечки». Достаточно пройти по главной улице — Бродвею.

Променад пропитан похотью. Она сочится, застилая зрение и забивая ноздри, отовсюду — с пляшущих вывесок, из затемненных забегаловок, с застывших, как маска, лиц «про» — профессиональных проституток и сутенеров, гомосексуалистов и наркоманов. Рядом с пышным театральным злом — какая-то дыра, где крутят порнофильмы. Их смотрят в Штатах два миллиона человек в неделю Идешь, и дюжие молодцы суют тебе в руки карточки—приглашения на «живой» секс-спектакль. Всего пять долларов — столько же, сколько обычно стоит билет в кино! Горы эротических изданий — от солидного глянцевого «Плейбоя» до жалких желтых листков. Они усеяны завлекательными картинками и объявлениями.

Искусственное неутоляемое возбуждение и безоглядный разврат — это, может быть, самая страшная болезнь урбанизированной Америки. Страшная вдвойне, потому что легализована. Болезнь, которая приносит миллионы и уносит психо-физическую, умственную энергию миллионов. Сексуальная раскрепощенность — верный способ духовного закрепощения личности.

■

В конце января на Штаты обрушились два стихийных бедствия: землетрясение в Калифорнии и сильная снежная буря, пронесшаяся по южным районам и захватившая столицу.

Судя по всему, однако, американцев меньше волновали качающиеся небоскребы в Сан-Франциско или двухдюймовый слой снега в Вашингтоне Качалась их экономика, и качались их представления о себе как о самой лучшей, самой могущественной нации.

Цены давно угрожающе ползли вверх. По сравнению с 1970 годом они выросли вдвое. Зарплата выдыхалась в этом многолетнем состязании. никак не поспевая за ними. Доллар, по ободку которого катится мир, усох, съежился, полегчал. На вид он такой же, как десять лет назад, но стоит всего-навсего сорок четыре цента против прежнего. И каждому американцы ведут счет. Они хорошо знают цену доллару, даже обесцененному, вернее, цену труда, каким большинству достается этот доллар. Потому-то и в фешенебельном магазине, и в самой захудалой забегаловке кассир никогда не бросит, не положит на тарелочку сдачу мелочью, как у нас, а протянет зажатую горсть и будет терпеливо ждать, пока вы не подставите ладонь.

Новый год, новое десятилетие, новые неприятности. В те дни вышли официальные данные: потребительские цены в 1979 году выросли на 13,3 процента! Цифры были как обухом по голове. Такого инфляционного скачка Америка не знала ровно треть века. Недобрым словом поминали Картера, который четыре года назад клялся держать демона инфляции в рамках четырех процентов.

Пошли в ход «учебники жизни», массовые издания типа «Как преуспеть в приближающиеся плохие времена?» или «Новая денежная книга на 80-е. Как справиться с растущей стоимостью жизни». Такие поп-рецепты обнадежат только вовсе уж легковерных. Перспективы самые мрачные. Президент, выступая в конгрессе, лишь заикнулся о «фундаментальных структурных слабостях и проблемах нашей экономики». По выражению одного конгрессмена, предложенная им экономическая программа с фантастическим военным бюджетом «возложила черный венок на Американскую мечту» о процветании.

Вздорожало все: еда, жилье, услуги. Дороговизна больнее всего бьет по мелкому покупателю. Хозяйка считает себя счастливицей, если ей удается купить фунт говядины за два доллара. Семье из четырех человек — эта обманчивая средняя статистическая американская семья!—требуется около сотни в неделю на пропитание. Кое-кто из расчетливых ресторатора ввел «антиинфляционный час». Днем можно разыскать уголок, где скромненько пообедаешь, уложившись в пятерку. Но в деловой части города крохотная булочка с сосиской и чашка кофе встанет в доллар.

Спросят: хорошо, а заработки? Официантка в кафе где-то в нижнем Манхэттене поделилась: четыре доллара в час, но работает неполную неделю. Много это или мало, сказать затруднительно — тут нужно досконально разобраться в массе факторов, правил, обстоятельств. Скорее, все-таки мало. Знающие люди объяснили, что доллар у нее уйдет на налоги, другой на квартплату, а то и больше. Во всяком случае заработками нью-йоркцы недовольны. В начале февраля объявили забастовку две тысячи медицинских сестер. Через несколько недель бастовали транспортные рабочие, тридцать пять тысяч.

Сравнительно недавно были опубликованы результаты переписи материального благосостояния американцев в 1975 году. Тогда 25 миллионов жило ниже федеральной черты бедности. В штате Нью-Йорк «бедным» по правительственной статистике был каждый десятый человек. в Миссисипи — каждый четвертый Интересно, сколько бедных сейчас, пять лет спустя — 27, 30 миллионов!

Пока имеешь работу, куда ни шло. Страшнее нет — потерять ее. Январская безработица составляла в Нью-Йорке 9,3 процента — выше, чем по стране в целом. Такого высокого уровня не было десять лет. За один месяц лишились места шестьдесят семь тысяч человек, занятые главным образом в промышленном производстве и розничной торговле,— куда они теперь денутся?

В начале года в стране было шесть с половиной миллионов безработных. Администрация Картера грубо просчиталась и здесь, пообещав держать безработицу ниже четырех процентов. Больше всего увольнений среди «синих воротничков», в частности ра-

---

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН
КАРДИОГРАММЫ МАНХЭТТЕНА

бочих автомобильной промышленности. Но не только

В стране ежегодно защищается 11 тысяч докторских диссертаций по гуманитарным наукам. Вакансий же в научно-исследовательских и учебных учреждениях открывается менее полутора тысяч. Национальная ассоциация историков начала устраивать «мясные рынки»—многолюдные смотры дипломированных специалистов для отбора наилучших. Один участник такого рынка сказал: «Жалкое зрелище! Претенденты встанут на голову, если их попросят». С другой стороны, все больше приходится платить за образование. В знакомой семье мне показали извещение из частного университета в Коннектикуте: «Дорогие студенты и родители! Правление Хартфордского университета установило ставки за обучение на 1980/81 академический год. В среднем новые ставки увеличиваются на 644 доллара за полный академический год...».

Говорят, что Нью-Йорк — самый богатый город в мире. Если это так, то он самый богатый банкрот. Городской бюджет трещит по всем швам, каждый год дефицит. Муниципальная казна пуста.

В январе мэр Коч объявил, что намерен наконец сбалансировать бюджет к исходу отчетного 1981 года. Для этого нужно изыскать полмиллиарда. Где, за счет чего? Пятнадцать миллионов федерального вспомоществования выделил конгресс.

На триста миллионов срезаются городские расходы. На сто девяносто миллионов повышаются налоги и сборы.

За два с половиной года запланировано уволить 13 тысяч городских служащих и рабочих. Закроется несколько десятков школ, потеряют места 4 тысячи учителей и работников из обслуживающего персонала. В городе уменьшится число уборщиков, пожарных, полицейских, на двадцать миллионов сократятся фонды на медицинское обслуживание. В подробностях расписано повышение сборов за воду и канализацию, за бензин, за номер в гостинице, за парковку... «Городу предстоит вести непредсказуемое по длительности и размаху сражение за то, чтобы выжить»,— меланхолично резюмировала одна нью-йоркская газета.

Торговцы недвижимой собственностью и перекупщики взвинтили цены на землю. Об этом предмете мне охотно поведал Томас Йоселофф. Он не только издатель, но и «фермер», по его словам, хотя никакого сельскохозяйственного производства — если не считать за таковое три дюжины скаковых лошадей — я не заметил в его обширном ухоженном поместье у местечка Колтс Нек — Жеребячья Шея. Мы ехали туда мимо прелестных музейных городков— Джеймсберг, Инглиштаун, Фрихолд, какие-то еще, одно- и двухэтажные белые и красные домики, иные стоят еще с тех времен, когда по этим местам с боями шел от Трентона Джордж Вашингтон.

— До войны земля здесь была дешевая, пятьдесят долларов акр,— говорил Томас.— Сейчас двадцать тысяч. Дорого? На Палм-Бич во Флориде за акр дают миллион. (То есть почти двести пятьдесят долларов за квадратный метр! — *Г. З.*)

В Америке все просят денег — от нищих до претендентов на высший государственный пост. Прошлой осенью Джеральд Форд и Эдвард Кеннеди разослали будущим избирателям письма.

Цитирую республиканца Форда: «Я озабочен тем, что политика расходов, которую проводит администрация Картера последние два с половиной года, увеличила наши налоги и повысила уровень инфляции с 4% до сегодняшних 13%».

Цитирую демократа Кеннеди: «...реальный доход рабочих постоянно падает. Как долго они будут терпеть политику, которая держит годовой рост их заработной платы на уровне всего лишь 7%, тогда как инфляция опустошает их карманы на 13%?.. Двадцать миллионов американцев вообще не имеют медицинского обеспечения...».

Форд и Кеннеди — политики, принадлежащие к разным партиям, у них разные вроде бы предвыборные платформы. Письмо первого суховато и деловито, выдержано в глобальных категориях международного положения, автор напирает на необходимость наращивания военной мощи США. Другой доверителен, даже сентиментален в своем призыве принять участие во внутренних делах страны: «Дорогой друг!.. В этом письме мне хочется свободно и откровенно поговорить с вами...». Но еще один пункт в этих посланиях поразительно схож.

Продравшись сквозь тяжеловесные, напыщенные периоды Форда, добираешься до сути. «Чтобы развернуть дискуссию, Национальный комитет республиканской партии в ближайшие двадцать пять дней должен собрать 375 тысяч долларов. Я надеюсь, вы поддержите наше начинание максимально возможным личным финансовым вкладом».

К письму услужливо приложен оплаченный для обратного отправления конверт. Остается на особом бланке указать сумму пожертвования и занятие — или место службы — и опустить конверт в почтовый ящик. Все остальное за вас будет сделано. Никакой бюрократии.

Перечислив беды и боли Америки и взывая к людям с «особым чувством социальной ответственности», Кеннеди приходит к тому же: «Существующие законы о выборах запрещают личные вклады, превышающие тысячу долларов. Но если мы сможем набрать 100 тысяч таких же, как вы, граждан, которые внесут по 25 долларов, то мы заложим основу для проведения мощной, независимой и успешной предвыборной кампании».

К весне этого года Кеннеди истратил семь миллионов долларов — неужели он набирал эту сумму по четвертному билету? То ли оба политика лукавили в этих письмах, то ли действовали по укоренившейся привычке — выпрашивать, выманивать, вытягивать монету где только можно и какими угодно способами.

■

В массе своей американцы не слишком глубоко вникают в международные дела, довольствуясь «капсюльными» новостями, заключенными в обманчиво емких газетных шапках, или очередным сенсационным

телерепортажем. Из тугого клубка сегодняшних ближне- и средневосточных проблем они ухватили одну-единственную ниточку — американские заложники в Иране.

Буквально через несколько часов после событий в Тегеране 4 ноября прошлого года группа иранских студентов штурмом взяла статую Свободы и выкинула из бетонной головы длиннющий флаг с надписью «Судить и наказать шаха!»

Такие же демонстрации стихийно вспыхнули в Филадельфии у колокола Свободы и в Сан-Франциско у Золотых ворот.

Тут же последовала реакция.

На Биверли-хиллз иранских студентов избивали бейсбольными битами и железными касками. Перед Белым домом полиция с трудом удержала толпу от расправы над группой молодежи. Конгрессмены срочно составляли законопроекты о высылке иранских студентов из страны — их в США насчитывают 200 тысяч. В нью-йоркских автобусах и вагонах метро я видел размашистые надписи: «Убей Хомейни!». Трезвые голоса заглушал клекот справа. Стлался туман шовинизма.

Два года назад было иначе.

По вашингтонской Пенсильвания авеню пять, десять, двадцать минут шагали люди. Плакаты, поднятые кулаки, на многих маски, — чтобы не опознали. Они протестовали против приезда иранского шаха в Вашингтон.

«Администрация считает этот визит очень существенным из-за стратегической важности Ирана как в географическом отношении, так и в качестве ключевого производителя нефти»,— комментировала «Нью-Йорк таймс», попав в самую точку.

«Сегодня Иран, завтра как Вьетнам!», «Позор американскому империализму!», «Картер продает шаху оружие, народ возьмет оружие в руки», «Долой фашистский режим шаха!» — гремели усиленные мегафонами призывы. По обеим сторонам идущих, без отклонений сохраняя между собой дистанцию, бесстрастно катили на мощных мотоциклах ладные черные девахи, перетянутые ремнями.

Демонстрация была мирной, не то что накануне, собственно, в день приезда персидского гостя. У Белого дома развернулось настоящее сражение. На Южную лужайку, где шла официальная церемония, тянуло слезоточивым газом, и президент США утирал глаза.

Трудно, очень трудно распознать, какие чувства пересиливали в той психологической мешанине, которую переживало теперь, пожалуй, большинство. Было ли то слепое раздражение революцией в Иране или искренняя озабоченность судьбой соотечественников? Уязвленное национальное самолюбие или недоумение из-за того, что правительство не может мирно уладить конфликт? Люди были сбиты с толку.

Однажды вечером, перед театром, я заглянул в закусочную в районе Сороковых улиц. За стойкой скучал парень и две девушки мексиканского происхождения: посетителей не было.

— Никогда не видела русского! — простодушно воскликнула одна и тут же, сразу же спросила: — А вы знаете о наших заложниках в Иране?

Мне почему-то очень захотелось ответить так, чтобы сказанное не смахивало на лекцию. Через несколько минут стало ясно, что мы все говорим в общем-то на одном языке. Потом с улицы зашел молодой негр, который с довольным видом объявил, что читал Пушкина.

— О-о, русские очень гордые. Я знаю.

Такие вещи западают в память своей обыкновенностью, чистотой опыта, что ли, и говорят больше, чем десятки печатных страниц.

Другой эпизод произошел на автобусной остановке. Разговорились с мужчиной средних лет. Он из Бирмингема, приехал по делам своей фирмы — «Моды для дома», у них здесь демонстрационный зал.

— А вы, русские, молодцы! Вам бы надо идти в Иран, чтобы освободить наших заложников. Наш (непечатно) президент (непечатно) не может сделать. Вообще-то (непечатно) эту войну! Я отвоевал свое, в Корее. С меня хватит!

Он чертовски польщен, что познакомился с русским автором (живет, живет в южанах этакая церемонность!), сам он тоже любит иногда почитать про историю, сейчас дома у него мемуары генерала...

— Конечно, напишите и назовите меня. Что тут такого? Кеннет Хотон.

Я взял карточку и тоже назвался, мы обменялись рукопожатием и пачками сигарет: он мне — вирджинские, я ему — «Золотое руно».

Вот так смешалось все в голове и манерах у моего случайного знакомца.

Выступление Дж. Картера в конгрессе 23 января в связи с ежегодным посланием «О положении страны» было пиком националистической истерии. Главные каналы национального телевидения вели прямой репортаж из Капитолия.

Тридцать две минуты плюс пролог-проходка и эпилог, обозначаемый в драматургическом тексте ремаркой «уходит», длился этот неподражаемый политический спектакль. Тридцать две минуты сценического времени, где отрепетирован каждый жест, каждый нюанс в мимике, каждый перепад в интонации. Герой откровенно играл, что называется, на публику, представляя благородный гнев и оскорбленную невинность, за которую кто-то должен платить. Я не знаю, у кого Джимми Картер брал уроки искусства риторики, но его учителям должно выставить высший балл. Президент лил елей на раны, оставленные Вьетнамом, Уотергейтом, инфляцией, Ираном. Он прикасался к самым потаенным струнам ложнопатриотических чувств. Он призывал быть твердыми и не допустить упадка величия Америки. Он говорил проникновенно и патетично. Он очень хотел, чтобы ему поверили,— впереди было несколько месяцев предвыборных потасовок.

Четыре года назад, еще в ту его первую президентскую кампанию, посреди громогласных обещаний не лгать Картер вдруг принимался осторожно каяться: «Я на мно-

---

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН
КАРДИОГРАММЫ МАНХЭТТЕНА

гих женщин смотрел с вожделением. И в сердце своем не раз совершал адюльтер». Маленькая понятная человеческая слабость, настоящий мужчина, такому можно верить. И ему верили — средние слои, белые либералы, вчерашние негритянские активисты. Теперь политические противники Картера из республиканского лагеря насчитали 227 (!) нарушенных предвыборных обещаний, преимущественно в области домашних дел. Значит, новую ставку надо было делать на международной арене. Картер решил ставить на силу.

Собственно говоря, президент не сказал по существу ничего нового. «Американские интересы на Среднем Востоке, в нефтеносных районах, десятилетиями не претерпевали изменений»,— говорилось в редакционной статье «Нью-Йорк таймс» еще до речи Картера. Они-то и заставляли Америку «подпирать азиатские дамбы — от Турции до Тайваня».

Что было действительно новым — так это какая-то беззастенчивость в утверждении мировых притязаний, беззастенчивость, граничащая с безрассудством. Как-никак всего лишь год назад Картер заверял: «У нас нет никакого желания выступать в роли мирового жандарма». И вот— нате! Я не верил своим ушам: «Любая попытка со стороны внешних сил установить контроль над районом Персидского залива будет рассматриваться как покушение на жизненные интересы Соединенных Штатов Америки. Такому покушению будет дан отпор любыми средствами, включая военную силу».

Что ж, американского президента можно понять: нефть нужна позарез. Без нефти Америке никуда. Многочасовые очереди у бензозаправок прошлым летом — популярная метафора застопорившегося движения. Вам и сейчас нальют бензин в бак только на два доллара, всего шесть с половиной литров, далеко не уедешь. Но как чужое выдавать за свое? Это как если бы Советский Союз объявил сферой «жизненных интересов» район Мексиканского залива — вообразим невообразимое. СССР в одностороннем порядке выводит войска из Европы, а Картер, не моргнув глазом, декламирует: «В этот самый вечер мужчины и женщины американских вооруженных сил несут вахту во многих частях мира. Я горжусь тем, что они делают».

Наши журналисты-международники возводят экспансионистскую «доктрину Картера» к жесткому курсу Трумэна, провозгласившего в 1945 году, что на американский народ легло «бремя ответственности за дальнейшее руководство миром». Мне же кажется, что корни имперского чванства уходят гораздо глубже. За сто лет до Трумэна некий Джон Луис О'Салливан сделал открытие: Америке было «Предначертание Свыше». Тем и помнится этот безвестный журналист и дипломат, что пустил в оборот ставшее потом ходовым речение Manifest Destiny. Легенда об исключительности Америки занозой засела в обывательское сознание, распаляя воображение многих поколений. Идеями особой мессианской роли заатлантической республики подбиты программы едва ли не всех президентов США независимо от оттенков — будь то лозунги «новых рубежей», «великого общества» или еще какие.

И все-таки от Картера ждали чего угодно, но только не этого. Назавтра газеты состязались в хлесткости заголовков: «Вторая холодная война», «Картер призывает к оружию», «Конец мира или начало войны?», «США прибегнут к военной силе...».

Напористая Барбара Уолтерс, известный телекомментатор (знаменитая еще и тем, что зарабатывает три тысячи в день — половина уходит на налоги,— удрученно рассказывали мои собеседники, точно речь шла об их собственных деньгах), так вот, энергичная Барбара брала интервью у Збигнева Бжезинского. Четко очерченное, не очень молодое лицо, быстрые движения, в руках листки, куда она изредка заглядывает. Она насела на помощника президента по национальной безопасности, добиваясь вразумительного пояснения к выражению его шефа «...включая военную силу». Тот отделывался общими фразами, глубокомысленно качал головой, юлил.

— Вы не ответили на мой вопрос, мистер Бжезинский,— настаивала Барбара.

— Ответил как мог,— разводил тот руками.

Бжезинский скромничал. Вездесущие репортеры разузнали, что именно он, а не Сайрус Вэнс готовил окончательную редакцию речи.

Выступление президента мне довелось слушать в одном доме, куда я был приглашен в тот вечер. После передачи хозяин выключил телевизор и задумчиво сказал:

— Это очень серьезно,— и вышел. Меня оставили одного дольше, чем допускали правила вежливости. Вернувшись, хозяева рассеяли мое недоумение: обзванивали друзей, организовывали телеграммы протеста в Белый дом. Он протянул мне листок бумаги. «Уроки Кореи и Вьетнама — яснее ясного. Мы решительно против идеи регистрации и призыва».

Мне стало стыдно. Я не сразу уловил, что значит заявление президента начать регистрацию лиц призывного возраста для сотен тысяч молодых людей и единственного сына моих хозяев. Не сразу понял, что в их глазах эта затея — «путь еще к одному Вьетнаму», как выразился Джерри Браун, губернатор Калифорнии. Мое профессиональное самолюбие тоже было уязвлено: я упустил из виду, что и ту, первую, революционную войну американцы вели вольнонаемной армией. Я, естественно, не мог видеть, как через несколько дней студенты в Стэнфорде сжигали макет призывной повестки, но мне было жаль, что не довелось стать свидетелем антивоенной демонстрации в Гринвич-Виллидж.

Чаще всего чиновники мешками выбрасывают такие телеграммы и письма на свалку. И все равно здорово, что жива эта замечательная традиция стихийного демократического действия. Чаще всего оно возникает снизу, с «травяных корней», как говорят американцы, среди жителей поселка или между соседями по дому и кварталу— местная фабрика скинула в речку производственные отбросы или полицейский избил чернокожего паренька. Но иногда такое малое коллективное действие выливается в широкое движение национального масштаба.

Я не называю имен тех скромных и превосходных людей, у кого провел тот вечер. Нет, дело не в политической репутации, сказал мне хозяин, она известна тем, кого это интересует. Если их имя появится в таком контексте в широкой печати, это почти наверняка нанесет ущерб их профессиональной деятельности — вот что их сдерживает. Оба они — люди свободных занятий. Тем более их работа, их средства к существованию зависят от сложной системы принятых ценностей и неписаных правил, общественных привычек и личных предрассудков. Хочешь не хочешь, но это так, заключил мой хозяин. В его тоне не было ни позы, ни паники, но я не мог не связать его слова с тем, что только что услышал с экрана. Картер говорил: «Мы должны усилить наш контроль над секретной информацией, нам нужно снять неоправданные ограничения с правоспособности. Америки собирать разведданные». В этот момент телеоператор показал, как улыбнулся директор ЦРУ Уэбстер. Из памяти американцев еще не стерлись скандалы вокруг махинаций Центрального разведывательного управления, а президент снова развязывал руки спецслужбам. Общественность расценила намерение снять «неоправданные ограничения» с деятельности секретных учреждений как знак к очередному наступлению на гражданские свободы.

Передо мной — текст обращения «Американцы за демократическое действие». Помимо прочего читаем в нем: «...никогда со времен Джо Маккарти не было такого объединенного усилия заморозить общественную полемику и несогласие... Мы не можем допустить, чтобы во имя патриотизма и национального единства урезывались наши политические права на полемику и дискуссию... Мы должны возродить атмосферу открытости в нашем обществе, которое сейчас закрыто администрацией Картера...»

Это говорят не коммунисты, не левые, не радикалы. В числе вице-президентов этой либеральной организации феминистка Белла Абцуг, экономист Джон К. Гэлбрейт, социолог Майкл Харрингтон, сенатор Джордж Макговерн, историк Артур Шлесинджер, бывший представитель США в ООН Артур Янг.

■

На другой же день после перелета я, выспавшись, вышел купить газеты. Было солнечно, покойно, прозрачно, как у нас в Москве поздней ясной осенью. Вдруг что-то словно бы толкнуло меня. С первой полосы «Нью-Йорк пост» на меня глядели черные полуторадюймовые литеры «России — с ненавистью».

Националистическая антисоветская кампания в официозной печати шла на полную мощность звукового давления. Но даже ее перекрывало неистовство эмигрантских и просионистских изданий.

Клишированный заголовок «Джуиш пресс» украшен стихом из 85 псалма: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». Мне неизвестно, кто наставляет Шолома Класса, издателя и редактора этого бруклинского еженедельника, однако до истины ему дальше, чем от Луны до Земли. Автор редакционной передовицы «самой распространенной англо-еврейской еженедельной газеты» призывает: «У нас только один путь — готовиться к отпору русского нападения, которое состоится, может быть, и не завтра (Слушайте! Слушайте!), но уж наверняка в ближайшие два года».

Как сказано в псалме 118, «удали от меня путь лжи».

Но на чем же все-таки зиждется вышеприведенная боговдохновенная бруклинская мудрость?

К 1981 году Советский Союз исчерпает свои нефтяные ресурсы и останется без хлеба. США, «эта всемирная хлебная корзина», конечно же, не станет помогать голодающим русским. И поделом им — «разве может хоть одна нация доверять России?».

Тут, пожалуй, уместно отступление.

Сознание «чистокровной», стопроцентной Америки, которую по тамошним понятиям воплощает БАСП — белое англосаксонское протестантское большинство,— давно заражено расизмом. Жертвы его — черные, цветные, евреи, итальянцы, славяне, ирландцы, вообще — «инородцы».

Вместе с тем не без влияния международных сионистских кругов сейчас в Штатах происходит интенсивное возрождение буржуазно-националистических мифов относительно этнического избранничества евреев, их исключительно тяжкого исторического удела, повсеместного и «вечного» антисемитизма. В небывалом количестве появляются всевозможные труды по иудаизму, книги об Израиле, сочинения его государственных деятелей, книги историко-очерковой прозы вроде нашумевшего «Мира наших отцов» Ирвинга Хау. Драматурги Дор Шэри и Уильям Гибсон сочиняют драматизированные биографии основателя сионизма Теодора Герцля и Голды Меир. Посетители Второй международной книжной выставки в Москве (сентябрь 1979) помнят, что отдельным стендом была представлена Ассоциация еврейских издателей США — ее каталог включал книги почти полусотни издательств. Рассказывают, что в некоторые университеты не попасть без знания идиш.

Американская социология, психология, критика давно заговорила об особом типе «еврейского сознания». Сейчас в Штатах никого уже не удивляет выделение самостоятельной ветви еврейско-американской литературы, имеющей свой специфический материал и поэтику. Принадлежность к этой ветви словесности ярко и на всех уровнях — от концептуально-содержательного до языкового — демонстрирует последний роман известного у нас Дж. Хеллера «Золото, а не человек». Герой его носится с идеей написать об «опыте современного еврея» в Америке. Текст романа изобилует вкраплениями на идиш, описаниями давних еврейских ритуалов и обычаев, он зримо вбирает две культурные традиции,

---

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН
КАРДИОГРАММЫ МАНХЭТТЕНА

и такой феномен еще предстоит изучить нашему литературоведению.

Нотки этнического и исторического превосходства слышатся в прозе целого ряда признанных писателей — например, у Сола Беллоу. Откровенно националистичен и пронизан неприязнью к Советской России недавний роман Айзека Башевиса Сингера «Шоша». Вчера еще никому не известный, пишущий на идиш литератор из «Джуиш дейли форвард» к концу 60-х годов — можно сказать в одночасье — попал в знаменитости, а в 78-м — в лауреаты Нобелевской премии. Умилительно рассказано о поездке писателя в Европу и выступлениях там в «Сообщениях американского ПЕН-центра»: «Легенда стала правдой. Писатель — герой дома... Его голосом говорят жертвы вселенской бойни...»

Со страниц «Джуиш пресс» несет душком национальной исключительности. Его улавливаешь в рассуждениях ученого талмудиста «Тора и человеческое существование» и в письмах читателей, настаивающих, чтобы рош-гашана — начало Нового года по иудейскому календарю и йом-кипур — «день очищения» отмечались в Америке как официальные праздники. Он прочитывается в очередном бестселлере «Как мы жили», печатающемся с продолжением, и в рецензии на книгу «Паруса надежды. Тайная миссия Христофора Колумба», из каковой узнаешь, что открыватель Америки происходил от обращенных евреев и пустился в знаменитое плавание, чтобы найти легендарные «еврейские царства». Им пропитаны материалы, восхваляющие Израиль и его жесткую линию по отношению к арабам и Советам. А чего стоит такое утверждение автора бруклинской газеты: «Мы, евреи,— народ Книги (то есть Библии. — *Г. З.*), но слава нашей культуры обнимает более широкие горизонты, потому что в ходе развития и изменения цивилизации мы всегда были в первых рядах пионеров творческого гения».

Нет ничего хуже, чем провинциальность с претензией.

В отличие от «Джуиш пресс» сотрудники и авторы «Нового русского слова», старой белоэмигрантской газеты, считают себя русскими. Они даже кроссворд называют крестословицей. Поэтому угол атаки чуть-чуть смещен.

Некий Анатолий Федосеев в статье на целую полосу под интригующим названием «Третья мировая война» сочинил новую версию истории двадцатого века и изложил сценарий будущих событий. Не знаешь, чего больше: элементарного невежества или тупой озлобленности в его утверждении, будто социализм и есть «источник мировых войн». За такое открытие господин Федосеев сподобился бы степеней известных, будь оно сделано в 1933 году.

Социалистическим идеям, рассуждает пикейный жилет из «Нового русского слова», дает «важную международную поддержку» Организация Объединенных Наций, в школах и университетах Европы и Америки «рождаются и воспитываются все новые и новые подрывные социалистические кадры», «радиовещание, направленное на страны социализма... само заражено социалистическими идеями». А раз так, то «необходимо... начать самое агрессивное идеологическое наступление на социализм».

Судя по всему, редактор газеты А. Седых держит за правило потчевать читателя дежурным воскресным блюдом. Ровно через неделю он печатает очередной трактат «В защиту антикоммунизма». Автор оного Сергей Левицкий — лицо, очевидно, духовное. Оперируя категориями христианской этики, он ведет борьбу «против диавола». Не буду перелагать, как Левицкий доходит до изящно сформулированной мысли, что быть антикоммунистом — «нравственно императивно». Показателен общий вывод: «Если вы вычеркнете «антикоммунизм» из политического кредо эмиграции, то вы встанете на путь распада русской эмиграции».

Коли уж предпочли родной, земле чужие дальние берега — живите, казалось бы, и благоденствуйте. Так нет, очень интересуют эту публику наши дела. И интерес-то все больше повышенный, болезненный, извращенный! Листаешь «Новое русское слово», и создается впечатление, что, если б не Советский Союз, ей просто нечем, незачем и не на что было бы жить, нечего вспоминать, не о чем сплетничать.

И вот вспоминают батьку Махно и адмирала Колчака, возносят молебны по «гонимым за веру и правду», восторгаются «блаженной кистью» некоего живописца, создающего лик «России вечной». Рассуждают об «отсутствии внимания к положительным типам русского общества» у Чехова. Пописывают занудную прозу на полурусские темы. Даже «шутят»: поэтом можешь ты не быть, но эмигрантом быть обязан.

Американское инобытие русских убого, призрачно, выморочно. Какой-то зыбкий, зябкий мир, населенный бесплотными, неприкаянными тенями.

Беру наугад из хроники и объявлений «Нового русского слова»:

«Воскресное богослужение в синодальном соборе Знамения Божьей матери».

«Очередная встреча в Клубе русских писателей. Выступят члены Клуба Белла Езерская и Лев Штерн. Финансовый отчет сделает Гарри Имас. Ведет встречу Евгения Димер. О планах работы на 1980 год расскажет Евгений Любин».

«Внимание. 8 марта БАЛ! БАЛ! БАЛ! Праздник эмигрантов. Наконец-то мы можем все собраться, развеять тоску и одиночество. Обильная пища (в русском стиле) с выпивкой. Популярный оркестр «Жемчужина».

«Рождественский сбор Фонда помощи нуждающимся русским эмигрантам...»

В долларах нуждаются не только люди. Перед входом в Нью-йоркскую публичную библиотеку горделиво возлежат, сторожа восемнадцать миллионов томов и рукописей, два массивных льва — Упорство и Терпение. Минувшим рождеством прохожие на Пятой авеню испуганно шарахались в сторону — из львиной пасти доносилось громоподобное магнитофонное рычание. Упорство и Терпение хотели есть.

в газетах запестрели объявления: «Накормите голодных львов!» Публичка просила поддержать ее филиалы по всему Нью-Йорку, сохранить работу ее служащим. Сохранить и сделать доступной книгу.

Над входом в главный гуманитарный зал вырезаны по дереву слова из мильтоновской «Ареопагитики»: «Хорошая книга — бесценная кровь великого духа, хранимая ради бесконечной жизни». В библиотеке хранится письмо Колумба, которым великий путешественник извещал испанский двор об открытии Нового света, ранняя гуттенбергова библия, первые издания Шекспира, собственноручные наброски Джефферсона Декларации независимости...

Великая традиция исканий человеческого разума поддерживается семейством Асторов, да-да, тем самым, чей далекий предок полтора века назад предусмотрительно вкладывал капиталы от пушной торговли в недвижимую собственность растущего Манхэттена. В главном вестибюле, Астор-холле, золотом по мрамору высечено: «Назван в признание заслуг семьи Асторов, чья щедрость и преданность в отношении этой библиотеки на протяжении жизни пяти поколений воплощается ныне опекунским советом Брук Рассел Астор. 18 мая 1978 года». Мильтонов дух жив благодаря пожертвованиям Асторов. Бедный Мильтон!

Помню, как я был удивлен, когда впервые побывал в Метрополитен-опере. По обе стороны величавой лестницы, ведущей в огромный пятиярусный зал, были такие же мраморные плиты и такие же золотые имена и компании, которые внесли наибольшие вклады в строительство Линкольновского центра: Фонд Рокфеллера, Фонд Форда, «Стандарт Ойл компани» и т. д. и т. п. Мощная колоннада по фасаду здания увешана табличками поскромнее: сооружена на средства такого-то или в благодарность такому-то. Такие же надписи попадались в самых укромных и неожиданных местах, и каждая, казалось, пыжится перекричать другую: я тоже, я тоже!

Нам не понять этого: культура, зависимая от частных или корпоративных вкладов, живущая благотворительностью, буквально милостью. Хотя, впрочем, дающему воздастся. Пожертвовать на театр — значит приобрести репутацию ценителя муз. Внести в фонд избирательной кампании — есть надежда получить кусок от правительственного пирога.

Двадцать лет назад Джон Кеннеди начал было устраивать пышные культурные приемы в Белом доме. Линдон Джонсон тоже пытался организовать нечто подобное, чтобы заручиться поддержкой своей экспансионистской политики со стороны художественной интеллигенции. Третьего января текущего, выборного, года жена нынешнего президента назвала полтысячи гостей. Официально вечер именовался громко: «Салют поэзии и американским поэтам».

Розалин Картер красиво говорила о том, что «все американцы — молодые и старые, богатые и бедные — всегда черпали в американской поэзии утешение и мужество, находили в ней радость и вызов». Прием не то чтобы провалился, но писателей пришло почти вчетверо меньше, чем ожидалось. Отклонили высочайшее приглашение старейшины американской поэзии Роберт П. Уоррен и Арчибальд Маклиш, игнорировал его ветеран литературной критики Малькольм Каули.

Я не знаю причин, побудивших трех наиболее авторитетных в числе приглашенных литераторов не прийти на торжество. Может быть, им ведома цена такого приглашения? И уж точно, власти не помогут поэту издать книжку стихов — кто ж посягнет на свободу частного предпринимательства?..

После яростной аукционной схватки с конкурентами фирма «Бантам» заплатила 3,2 миллиона модной сочинительнице Джудит Кранц и издательству «Краун» только *за право* выпустить ее новый роман в мягкой обложке карманного формата. Заплатила наперед, ознакомившись с «образцом» изделия — рукописью на восемьсот с лишним страниц. Рекорд был побит! Марио Пьюзо с 2,5 миллионами, полученными от фирмы «Нью америкен лайбрери» за бестселлер «Дурачье погибает первым», остался позади.

Наутро дозвонились до автора. Она обитает, разумеется, на Биверли-хиллз близ Лос-Анджелеса. Любезно комментировала: «Мы с мужем только что из Европы. Я с семи утра глажу белье, чтобы не нервничать».

Заинтересованные стороны преотлично рассчитали каждую мелочь. Массовый тираж обещал достигнуть пяти миллионов экземпляров. Ход торгов, которым ведущие газеты посвятили подвалы, был замечательной рекламой. Как не отдать три, всего три доллара, чтобы узнать, за что же дают три миллиона?!

Редактор книги высказался напрямик: «Такую сумму нельзя рассматривать иначе как вложение капитала. Ни один издатель не рискнет заплатить столько, если он не уверен, что хорошо заработает».

Сейчас «Княжна Маргарита» уже явила себя свету.

Героиня романа — Маргарита Александровна Валенски, дочь голливудской звезды и русского князя, спортсмена и белогвардейца Сташа. Черноглазая среброкудрая красавица с чувственным славянским ртом. Масса передряг и приключений со счастливым исходом.

Никакой «бомбе» — так называют книжки и ленты, обреченные на сенсацию,— не обойтись без завлекательных картинок секса со слезой. Пятнадцатилетнюю прелестницу насилует единокровный братец. Конечно, это происходит во Франции. Оттуда наша героиня попадает в Калифорнию. Благодаря таланту и трудолюбию делается преуспевающим постановщиком рекламных телепередач. Помимо этого она трогательно заботится о слабоумной сестре, пишет акварелью и ждет суженого.

Стиль «новинки» под стать сюжету. «Но было и нечто большее, чем эта блаженная умиротворенность. Как два охотника, жадно устремившиеся за ускользающей добычей, они, задыхаясь, кинулись на по-

---

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН
КАРДИОГРАММЫ МАНХЭТТЕНА

иски. Они продирались сквозь дебри друг к другу, и вот наконец желанная награда. Маргарита возвестила ее возгласом, в котором слились удивление и радость. Она и прежде испытывала полноту исполненного желания, но никогда не было такого совершенства и такого богатства».

Критики были смущены: как писать о таком? «Что можно сказать всерьез об американском творческом гении, если роман в итоге представляет собой трехчасовой телеролик, демонстрирующий моды, дорогие кушанья, сексуальное изобилие? Ровным счетом ничего».

Погоня за княжной и плата за нее вызвали недовольство в литературных кругах. В тот самый день, когда «Нью-Йорк таймс» напечатала рецензию на книжку, мне довелось присутствовать на расширенном заседании издательской комиссии американского ПЕН-центра. «Сумеют ли книги пережить книгоиздательский бизнес?» — такова была тема дискуссии. Огромная аудитория Шиммела в Нью-йоркском университете заполнилась до отказа. Пришли писатели, критики, редакторы, журналисты, издатели, книгопродавцы. Напрасно Бернард Маламуд во вступительном слове призывал присутствующих воздержаться от «агрессивного тона». Выступавшие не выбирали выражений, говоря об ужасающих последствиях «революции пэйпербэков» и упадке «качественной литературы», о нежелании издателей выпускать малоприбыльные книги и системе бестселлеров, о сугубо коммерческом подходе к литературе, которая превратилась в такой же товар, как консервы, костюм, коттедж.

Высокомерно оглядывал выступающих сидевший среди «панелистов», то есть в президиуме, президент «Саймон и Шустер» остролицый Ричард Снайдер. Взяв слово, он пустился в демагогию: мы должны издавать бестселлеры, чтобы иметь деньги, чтобы дать возможность печататься молодым, чтобы... чтобы...

Он вряд ли кого убедил. Кто-то подсчитал, что суммы, выплаченной «Бантамом» за одну «Княжну», хватило бы для подготовки и выпуска шестидесяти книг.

Женщина-книгопродавец из Чикаго жаловалась, что не может выдержать конкуренции с сетью магазинов, принадлежащих крупным компаниям. Кто-то внес предложение потребовать от конгресса расследования механики массового книжного рынка. Надо было слышать, с какой болью говорил о наступлении большого бизнеса Ларри Хилл из Коннектикута. После дискуссии меня познакомили с этим человеком, одним из последних могикан, для которых книга как таковая ценнее капитала. Вообще, главный мотив конференции — процесс конгломерации, вытеснения мелких независимых издателей, «концентрация силы», по выражению одного из участников, создающей и распространяющей печатное слово.

«Природа нашего общества такова,— заявил директор книжного магазина Йейльского университета и тоже издатель Тед Уиленц,— что концентрация издательского дела неизбежна».

Поглощение издательств мощными корпорациями — явление, приобретающее все более широкий размах. То и дело наталкиваешься на сообщения о том, что та или иная фирма переходит из рук в руки, точно ценная бумага на бирже. Название и марка издательства давно уже ничего не говорят о том, кто в действительности задает тон.

Кому не известно издательство «Рэндом хауз» — вроде бы солидное, независимое, престижное, прибыльное. Оно держит первое место по доходам от продажи новых изданий в твердой обложке. Заработать в одном году 80 миллионов на книгах стоимостью 12—15 долларов за штуку — вещь нешуточная! В составе «Рэндом хауз» — шесть дочерних издательств, в том числе специализирующееся на карманных переизданиях «Бэллентайн букс», и все работают, так сказать, на одну кассу. Гораздо меньше известно, что вот уже полтора десятка лет издательство принадлежит гигантской «Рейдио корпорейшн оф Америка» (РКА).

Президент «Рэндом хауз» не упускал случая похвалиться «редакционной независимостью» и стабильностью своего предприятия. Какая уж там стабильность! Два года назад издательство чуть было не перешло во владение «Таймс-Миррор». Минувшим сентябрем в то самое время, когда мистер Бернстайн разглагольствовал о свободе печати и ограничениях, чинимых якобы иностранным издателям на Международной книжной ярмарке в Москве, РКА объявила: «Рэндом хауз» продается, продается наравне с фирмой по производству замороженных цыплят. Прошел слух, что Р. Бернстайна примет под свое крылышко голливудская кинокомпания «ХХ сенчэри-Фокс». Вскоре наступила развязка этого фарса. В начале февраля мистера Бернстайна со всеми портфелями, планами, персоналом продали семейству миллионеров Ньюхаузов. «Рэндом хауз», можно сказать, повезло: как-никак Ньюхаузы не чужды изящной словесности, они владеют тремя десятками ежедневных газет по всей стране, несколькими броскими журнальчиками типа «Мадемуазель», акциями ряда радио- и телестанций.

Томас Йоселофф не без гордости говорил мне, что может позволить себе выпустить любую книгу, какую только пожелает. Отчасти я имел возможность убедиться в этом, когда побывал в его издательстве. Одноэтажное здание одиноко стояло посреди ровных, как стол, полей Нью-Джерси неподалеку от городка Крэнберри. К основному зданию примыкал склад готовой продукции: тысячи всевозможных изданий по культуре, искусству, спорту, домоводству — от самых популярных до научных трудов нескольких университетов. Судя по всему, дела шли хорошо, книги раскупались. И все-таки... Совсем недавно это старейшее — основано в 1838 году! — издательство было перекуплено какой-то калифорнийской фирмой, производящей механические игрушки. Томас Йоселофф говорил об этом спокойно, со своей неизменной легкой иронией, но было видно, что события приняли оборот совсем не игрушечный. Дело, которо-

му он отдал полжизни, уплывало в чужие руки.

Литературы всюду и всякой полно, порой даже закрадывается мысль: читают ли? Так же много способов сбыта книг: «цепь» книжных магазинов, принадлежащих той или иной фирме, клубы книги, система подписки с приличной скидкой и т. д. Везде вместе с прессой выставлены пэйпербэки — новые и старые, чтиво и серьезная литература. Это, как я понимаю, самый ходовой вид книги, она удобна и сравнительно недорога, два-три доллара. Любителя словесности подстерегает куча соблазнов. Есть книжные лавки, где ряды длинных, по 20—25 метров, столов, тесно уставлены книгами. На них таблички — $1, $1,5, $3 и т. д. Все ясно, вы направляетесь туда, где вам по карману, отыскиваете нужный раздел — социология или драма. В других магазинах на столах грудой навалены издания прежних лет из всех областей знания и надпись: «Выбирайте любые пять за два доллара!» И люди выбирают. Краем глаза я наблюдал, как молоденькая девушка, верно студентка, складывала в фирменную бумажную сумку «Храбрый новый мир» Хаксли, «Общество изобилия» Гэлбрейта, «Пейзаж кошмаров. Очерки американского романа» Баумбаха. Народу в таких местах куда больше, чем там, где продают новые издания: они очень дороги.

Я обшарил полдюжины магазинов в поисках работы об американском романе 70-х годов и убедился, что американский сервис круто пошел вниз. Напрасно пытался я втолковать продавцам, что хотел бы приобрести любую книгу по данному предмету. «Мы очень сожалеем, сэр, нам нужно название или автор, иначе нам трудно, мы вряд ли сумеем помочь вам, сэр».

Мне надо было во что бы то ни стало достать новый роман Джеймса Болдуина, вышедший три месяца назад. Знакомые подсказали, что есть несколько магазинов, где можно приобрести новинки за полцены: многие критики, получающие от издателей так называемые рецензионные экземпляры, потом сдают их за определенную плату книготорговцам. Каждый добывает деньги как умеет.

Кажется, это было в магазине Стрэнда в нижнем помещении. Иду вдоль десятиметровой полки с нужной буквой алфавита. Обращаюсь к высокому негру, который неподалеку ворочает большой ящик: так, мол, и так, не нахожу Болдуина. Пробежав глазами по шеренге переплетов в суперах всех цветов радуги и увидев мое огорчение, бросает: «Минутку!» Приносит том, листаю, спрашиваю: «Читали?» — «Частями, мало что нового».

Осторожно осведомляется, зачем мне Болдуин. Объясняю, что у нас его любят, что я интересуюсь «черной» прозой. Ледок растопился.

— Тогда вам обязательно надо прочесть «Мучительное чудо». Есть у нас такой Уэсли Браун. Вот это сильная штука! И еще рассказы Джеймса Макферсона.— Он записывает имена и названия мне в блокнот и рассказывает.

Его зовут Том Уэзерли, он пишет стихи— «у нас многие поэты работают в книжных магазинах», интересуется молодой русской поэзией, нет-нет, не Евтушенко и Вознесенским, а теми, кто помоложе, вот только переводят их мало. Том был удивлен и обрадован, когда я посоветовал ему побывать в лавке «Четыре континента», где продают советские издания,— он и не слышал о такой.

Не могу разделить его мнение о романе Болдуина. То, что не внове для черного ньюйоркца, иначе читается москвичом. Зато относительно Уэсли Брауна Том был совершенно прав. Я убедился в этом, раздобыв книгу по возвращении домой. Романный дебют 33-летнего писателя показал яркую художественную индивидуальность и одновременно приобщенность к мощной традиции афро-американской прозы с ее неповторимыми ритмами и пластикой, ее неизбывной болью и неискоренимой надеждой выстоять.

Встреча с Томом Уэзерли и «Мучительным чудом» Уэсли Брауна заставила еще раз задуматься над тем, как ленивы и нелюбопытны мы иногда, как подолгу суетимся вокруг примелькавшихся имен и по инерции хвалим то, что похвалы уже не заслуживает. Как мало и робко пишем о том, что современная американская литература многонациональна и многорасова. Культура США сегодня — как комок аморфного неустойчивого вещества, где сложно взаимодействуют самые разные этнические, исторические, социально-психологические, идеологические элементы. Знать-то мы знаем умом, а до сердца не всегда доходит. Это остро чувствуешь здесь, в Штатах.

За сдержанной, прикрытой ироничным юморком внешностью Роберта Лоури, сравнительно молодого человека — ему нет и сорока,— угадывается увлеченность и беспокойство. Он — один из тех, кто старается сохранить неуемный дух ирландского народа в жадной всеамериканской топке, пожирающей индивидуальное и национальное. С какой заинтересованностью рассказывал он мне об ежеквартальнике «Эш-Эйри», что по-ирландски означает «Возрождение», который он редактирует. Полистаешь этот журнал ирландско-американской жизни, и приоткроется еще одна своеобычнейшая грань культуры страны, о которой мы, пожалуй, ничего толком не знаем.

Есть у Роберта еще одна страсть — Шон О'Кейси. Шесть лет назад он организовал единственный в своем роде альманах, целиком посвященный исследованиям творчества великого драматурга, прозаика, революционера.

Роберт Лоури был по уши в делах. Вместе с Морин Мэрфи он сколотил «Американский комитет к 100-летию Шона О'Кейси», которое выпадало на 30 марта нынешнего года, и готовил научную конференцию в университете Хофстра в городе Хэмпстеде близ Нью-Йорка. Позже он прислал мне кучу материалов о торжественном тысячном митинге в нью-йоркском Таун-холле «Трудовой салют Шону О'Кей-

---

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН
КАРДИОГРАММЫ МАНХЭТТЕНА

си», который организовали Центр ирландских искусств и несколько профсоюзов. На митинге было зачитано приветствие Союза писателей СССР.

■

В прогулках по театральному Нью-Йорку трудно было пожелать лучшего спутника, чем Барри Стейвис. Напомню, что его великолепной драмой о Галилее «Светильник, зажженный в полночь» открылся первый после войны профессиональный независимый внебродвейский театр «Новая сцена». С тех пор Барри — участник, свидетель, живая история колобродящего, переменчивого, пестрого мира нью-йоркской сцены. Он, казалось, знал всех и каждого, и его тоже. Беседовать с ним — все равно что самому пережить все повороты и проблемы американского театра с тех, теперь уже давних пор, когда еще работал Юджин О'Нил и уже громко заявляли о себе Теннесси Уильямс и Артур Миллер.

Театр США вертится между двух полюсов. С одной стороны — ослепительный, развлекательный, великолепный в техническом отношении и насквозь денежный Бродвей. Тут царствует «шоу-биз», как говорят американцы, зрелищный бизнес. Тут не знаешь, где кончается искусство и начинается обычное капиталистическое предприятие, и наоборот. Вернее, наоборот. Какие сюжеты, какие романтические комедии и трагифарсы разыгрываются за кулисами! Чтобы заглянуть в сложный экономический механизм «шоу биза», процитирую из письма Александра Х. Коэна, одного из первой пятерки преуспевающих бродвейских продюсеров:

«Дорогой Вкладчик! Лив Уллман исполнит главную роль в новом мюзикле Ричарда Роджерса «Я ПОМНЮ МАМОЧКУ». Музыка и постановка Мартина Чарнина, текст песен Томаса Миэна... Постановка принесет $ 1 250 000, возможно, на 20% меньше. Вкладчики получат 50% прибылей. Единица долевого участия — 25 000. Вы можете, разумеется, сделать частичный или составной вклад. Минимальный взнос — 1 000.

Если Вы заинтересованы в том, чтобы получить Проспект и Соглашение о партнерстве с ограниченной ответственностью (что, разумеется, не связывает Вас никакими обязательствами), дайте мне, пожалуйста, знать... и т. д. и т. п.».

На другом полюсе американского театра — маленькие полупрофессиональные труппы, раскиданные по городкам, университетам, национальным и религиозным общинам. Они много делают в плане просветительском, но вряд ли движут театральное искусство.

Генератором и средоточием новых идей считаются малые, так называемые художественные некоммерческие театры.

К ним относится и репертуарная Труппа классической сцены, играющая в скромном, на 120—150 мест, зале на Восточной 13-й улице. С самого основания в 1967 году труппой в полтора десятка актеров руководит энергичный Кристофер Мартин, с которым свел меня Барри Стейвис. Организатор-энтузиаст, на редкость разносторонняя артистическая натура, Крис Мартин ставит пьесы и играет в них, пишет сам — в числе его инсценировок «Моби Дик», он преподавал, пел, фехтовал. Он не раз ездил в Западную Европу понабраться опыта и подумывает о том, чтобы познакомиться с театром социалистических стран. В Труппе классической сцены он осуществил шестьдесят постановок классики. В минувшем сезоне театр показал «Кухулина» Йетса, «Доктора Фауста» Марло, «Венецианского купца», что-то из Ануя.

Мне довелось побывать у них на мольеровском «Дон Жуане». Это был темпераментный остроумный антимещанский спектакль — такой не стыдно показать самой искушенной публике, и у нас тоже.

ТКС — некоммерческий театр, он не стремится к извлечению прибылей, поэтому и билеты там в будние дни — шесть с половиной долларов. Это сравнительно недорого, если учесть, что в «престижных» театрах, поближе к Бродвею, кресло в партере стоит 15—18 долларов, а на модный мюзикл цены и того выше.

У ТКС общая для всех серьезных театральных коллективов забота — выжить без боевиков и звезд. Крис Мартин рассказывал: «Живем на двести пятьдесят тысяч в год. Часть — сборы, часть пожертвования...» Двести пятьдесят тысяч... На такую сумму не поставить на Бродвее даже один-единственный спектакль.

Трудно вообразить Нью-Йорк без Публичного театра Джозефа Папа. Театр давно завоевал признание демократичностью интересов, шекспировскими спектаклями и еще больше — тем, что «продвигает» новые вещи отечественных драматургов, на что вообще-то идут с великой осторожностью. Хотя и там нет-нет да и пройдет что-нибудь сенсационное и откровенно зрелищное. Впрочем, как и судить строго: с 1975 года свыше половины расходов театра покрывается средствами, которые принес мюзикл «Кордебалет». В фойе театра вместе с книгами, буклетами, альбомами желающие приобретут модную майку на темы этого многосезонного «гвоздя».

В те дни у Папа была премьера — «Силуэт Солт-Лейк-Сити». Было несколько причин, подогревавших мой интерес к этой вещи. Прежде всего это был спектакль о Джо Хилле. Сфабрикованный властями штата Юта процесс длился около двух лет. Исход его потряс Америку. Легендарный рабочий певец и профсоюзный организатор — это само по себе казалось, мягко говоря, необычным для сегодняшнего театрального климата. Ясно, что автор пьесы, Томас Бейб, приурочил ее к столетию со дня рождения Джо Хилла — оно пришлось на октябрь прошлого года.

Каким же предстанет этот «уоббли», радикал и «подрывной элемент», сегодня в трактовке американского драматурга? Как примут пьесу? Что нового скажет эта вещь по сравнению с известной драмой Барри Стейвиса «Человек, который никогда не умирал»? Стейвисовская пьеса была написана четверть века назад, переведена на двадцать языков, в связи со столетием переживала второе рождение — ее ставили во многих странах: от Швеции до Филиппин.

То, что показал папповский Публичный театр, мало походило на того Джо Хилла, какого мы знаем по его песням, сохранившимся документам, многочисленным исследованиям, романам и пьесам. По сцене — режиссер Роберт А. Аккерман замкнул пространство пьесы на помещении суда — метался, ломал руки, вскрикивал, стонал неврастеник. Джо Хилл поставлен перед ложным выбором: алиби, которое предлагает ему возлюбленная, или добровольная смерть, которую буквально навязывает ему ради пропагандистского эффекта хиппиобразный приятель по Движению. В пьесе нет и намека на широкую общенациональную кампанию за освобождение Хилла. Джон Литгоу был в трудном положении — кого играть? Вместо сознательного борца мы увидели то ли мазохиста-мученика, то ли этакого околосоциалистического Гамлета, то фиглярствующего шута, то просто труса. «Мне страшно! Держите меня!» — рыдает в истерике Хилл — Литгоу в сцене казни. Стоя позади, полуобнимает его Судья.

Драма скорее о нем, о субъективно порядочном человеке, который вынужден следовать Закону, а не Сердцу. Талантливый и тонкий актер Фред Гуинн выжал все, что мог, из роли, но фальшь драматической ситуации бросала фарсово-сентиментальный отсвет и на него. После зачтения приговора Судья, скинув пиджак, берет гитару и тихонько напевает вместе с приговоренным к смерти: «Мне снился сон, что жив Джо Хилл...».

Не скрою, где-то в глубине души после спектакля у меня шевелилось подозрение: учитывая тему и все прочее — не слишком ли я пристрастен? Отзывы критики рассеяли сомнения. Из полудюжины рецензий, попавших мне на глаза, только Клайв Барнс в «Нью-Йорк пост» кисло похвалил спектакль. Рецензент «Ньюсуика» смотрел в корень: работа Томаса Бейба «повыдергала зубы из социального гнева» Джо Хилла.

С чувством едва ли не личного оскорбления — не за себя, за Джо Хилла! — воспринял постановку Барри. Мы снова и снова возвращались к этой теме, хотя он по большей части отмалчивался, отделывался недовольным ворчанием, но однажды вдруг сказал: «Знаешь, Георгий, они пытаются отнять у нас наших героев».

Новую пьесу Эдварда Олби ждали давно. Почти пять лет минуло с того времени, как он показал на Бродвее «Морской пейзаж», причудливую претенциозную фантазию, где наравне с людьми действовали гигантские ящерицы. Пьеса не задержалась на подмостках — всего 65 представлений, зато принесла автору второго Пулитцера.

Премьера «Леди из Дюбука» откладывалась несколько раз. Одни говорили, что пьеса не отшлифована, другие объясняли задержку желанием раздразнить любопытство публики, третьи уверяли, что никак не удается наскрести нужную сумму. Автор держался спокойно: «Легче собрать деньги на какую-нибудь чепуху, чем на серьезную вещь», ведь тут «просто рынок устроили». Наружное спокойствие выдавало раздражение. Автора можно понять: он всего только Олби, а не пустоватый комедиограф-миллионщик Нил Саймон.

За пять дней до премьеры в бродвейском «Мороско» газеты начали рекламу: «Олби возвращается к войнам в гостиной».

Как и в «Вирджинии Вулф», на подмостках между тремя парами разыгрывается корректно-язвительный и колко-уклончивый диалог-схватка. «Мы же играем!» — неуверенно настаивает кто-то из гостей. Действующие лица перебрасываются репликами, как теннисным мячом без сетки, а за этой игрой и за этой войной — трагедия. Смертельно больна хозяйка дома, Джо. Все знают это, но делают вид, что не знают. Все, кроме нее самой.

Момент примиренности, и вдруг — вторжение неизвестной дамы со спутником-негром. Незваная «леди из Дюбука» объявляет, что она мать Джо и приехала помочь дочери умереть. Опытный Алан Шнейдер, ставивший, если не ошибаюсь, все пьесы Олби, знает, где притормозить драму. Блистательная Айрин Уорт не играет, она просто присутствует, величаво и таинственно; на белом заднике — стене рельефно и зловеще вырисовывается ее ярко-красное пальто с черной подкладкой и вопросительно извивающимся длинным боа.

Элегантный черный джентльмен — его роль выразительно провел негритянский актер Эрл Хайман — деловито вяжет Сэму руки и уносит Джо наверх. Хозяин дома плачет: жена умирает, друзья покинули, в его дом, «последний оплот демократии», нагрянули чужие.

Драматург сказал, что его новая пьеса — «абсолютно простая и ясная». Может быть, так оно и есть, если хорошенько вчитаться в текст. На слух же диалог перенасыщен афоризмами типа: «Нет ничего достоверного.— И потому все достоверно». В зале вспыхивали и гасли смешки, когда в отвлеченную олбианскую игру понятийно-словесных оппозиций «жизнь — смерть», «действительность — иллюзия», «утраты — приобретения» внезапно врезалось сомнительно-сиюминутное: «Когда-нибудь появится настоящий Никсон, если до того не придут русские».

Когда меня познакомили с Джоном Саймоном, критиком из «Нью-Йорк мэгэзин», и у нас возник разговор об Олби — я, разумеется, не преминул сообщить, что в Москве играют «Все кончено»,— он будто отрезал: «Леди» — абсолютно пустая и надуманная вещица».

И не соглашаясь с такой категоричностью, трудно отделаться от впечатления, что все это ты видел и читал, что если взять надрывную натуральность «Вирджинии Вулф» и прибавить к ней метафизическую загадочность «Крошки Алисы», то в итоге и получится «Леди из Дюбука».

Не знаю, с кого и когда пошло — изображать зло воплощенным в негре. Помнится, в «Американском кошмаре» Нормана Мейлера фигурировал черный певец Мартин Шаго, которого дьявол «накачал ненавистью со всей страны». Потом у Беллоу в «Планете мистера Самплера» орудовал черный карманник, и рассудительному герою тоже виделся в нем символ хаоса, насилия, неразумности. Теперь нечто похожее

---

у Олби. Что это — совпадение, случайность, тенденция?

■

...Конец года и начало нового — время, когда в американском кинематографе начинается предоскаровский марафон. Важный этап в этой гонке — ежегодные премии, присуждаемые организациями лос-анджелесских и нью-йоркских критиков. Они все равно что первичные выборы в Айове и Нью-Гемпшире для президентской кампании.

Приза Академии киноискусства ждут не только потому, что это почетно. Лента, получившая Оскара, «обречена» на кассовый успех и сулит, по мнению знатоков, 5—8 миллионов дополнительной прибыли. Сейчас победители уже известны. Заветная золотая фигура досталась фильму Роберта Бентона «Крамер против Крамера».

«Коламбиа пикчерс» знала, что делает, когда 19 декабря прошлого года массированным залпом раскидала «Крамеров» по пятистам кинотеатрам в разных городах. Эта бытовая семейно-психологическая лента была как рождественский подарок — жизненной, трогательной, в меру смешной, в меру печальной и вселяющей светлые надежды.

Первые же кадры задают атмосферу фильму. Молодая женщина присела у постели спящего сынишки, лицо ее бледно и исполнено отчаянной решимости. Джоан Крамер оставляет сына и мужа. Ей надо, надо пожить одной, самостоятельно, чтобы ощутить себя полноценной личностью, а не только матерью, женой, хозяйкой. Потом она поймет, что не может без сына, и затеет судебное дело.

Аудитория сразу же отзывается волнами едва сдерживаемых вздохов. Проблема реальна и знакома. С каждым годом растет количество разводов. Журналы публикуют рисунки детей, раздираемых родителями пополам. На рекламной картинке фильма назидательная надпись: «В этой любовной истории три участника».

Поначалу кажется, что причиной всему папа, вечно занятый папа, образцовый служащий рекламной компании. И на работе и дома его голова занята одним — «выдавать» все новые и новые идеи для процветания фирмы и собственного продвижения. Какая уж тут семейная жизнь! Он даже не слышит, когда жена говорит, что уходит от него.

Постепенно зритель начинает проникаться симпатией к этому привлекательному, порывистому мужчине, разрывающемуся теперь между конторой и домом: накормить маленького Билли, отвести в школу, потом забрать оттуда... Самое удачное в игре Дастина Хоффмана — его преображение из безразличного родителя в любящего, заботливого отца, их взаимное сближение с сыном. «Мама ушла, потому что я плохо себя вел»,— делится он с ним.

Киноканон велит: хорошо все разом не бывает. Тед привязывается к дому и сыну, но его увольняют со службы за невольное манкирование обязанностями. Мягко обыгрываются мытарства потерявшего работу Теда. Когда до выплаты адвокату остаются часы, Крамер — Хоффман буквально заставляет какого-то босса дать ему место...

Добротный, добрый, домашний фильм, он целиком в духе времени и, видимо, близок умонастроениям американцев, гораздо ближе, чем, например, нашумевший «Вот он, конец света».

В ленте Фрэнсиса Копполы два плана — натуралистический и философский. С потрясающей силой изображены уничтожение вьетнамских деревень, гибель мирных жителей, жестокость солдатни, пытки, кровь. Второй план насыщен густой, темной метафорикой. «Надо привыкать жить с ужасом, надо сделаться ему другом, иначе он уничтожит тебя» — в этом высказывании одного персонажа сфокусирована, по-моему, основная идея фильма, идея модернистская в эстетическом отношении и ретроградная — в социальном.

Не первый месяц на нью-йоркских экранах грохочут рóковые роковы́е ритмы «Розы», а очереди в кинотеатры не иссякают. Все больше молодежь. Это взрывчатый, яркий, «забойный» дискофильм об исковерканной судьбе поп-певицы. Роль женщины, которая поет, сыграла Бетт Мидлер.

Провинциальной простушкой попав в постель и липкие руки импресарио, Роза вознеслась в звезды. Она любит и ненавидит свою работу, которая развратила ее, испоганила, испохабила. Она пела нутром, пела о недосягаемой чистой любви, разбитых надеждах и пропащей паскудной жизни, и песни ее были как душераздирающий крик.

Авторы фильма увлекаются броскими визуальными образами, им нередко изменяет вкус, они чересчур дотошны в изображении нравов «шоу-биза» изнутри — хотя в этом отношении им куда как далеко до модной ленты Боба Фосса «Вся эта джазуха». И все-таки сквозь пьянь и мат, блуд и наркотический бред нет-нет да и прорвутся нотки драмы растраченного таланта. Говорят, что сюжет перекликается с фактами биографии популярной в 60-х и покончившей с собой Джанис Джоплин.

Больную, непроспавшуюся, ослабевшую Розу выволакивают из постели и — в вертолет: ждет очередной концерт. Ревущая чаша стадиона, в небе ослепительные фейерверки, образующие алую розу, знойно лихорадит оркестр. Роза едва держится на ногах, хрипит, дергается, заходится криком, отхлебывает из бутылки, сыплет в алчную толпу непристойностями. Потом, внезапно присмирев, поет песенку о детстве и — падает. Не выдержало сердце. Последние ее слова: «Куда это все спешат?».

Фильм эффектен, ничего не скажешь, правда, когда отойдешь от оглушения, понимаешь, что есть в нем что-то искусственное, сделанное на заказ, по моде по стереотипам той самой массовой музыкальной эстрады, которую он показывает.

По правде говоря, меня немного удивило, что зал был полон. «Норма Рей» Мартина Ритта демонстрировалась уже целый год (фильм, как я слышал, показывали и на внеконкурсных просмотрах во время прошлого московского кинофестиваля, и жаль, что до сих пор картины нет в нашем прокате). Да и материал его — создание профсоюза на текстильной фабрике на Юге — не обладает по принятым в Штатах пред-

ставлениям притягательной силой. Приходилось даже слышать: это что-то стейнбековское, читай — давнее. Но так говорили в Москве, а не в Нью-Йорке и уж конечно не в Алабаме, где снимался этот фильм. На американском Юге и сейчас есть места, где, по словам кинокритика «Нью-Йорк таймс» Винсента Кэндби, «идея коллективных требований приравнивается, грубо говоря, к членству в коммунистической ячейке».

Не буду говорить о превосходной игре Салли Филд — она получила заслуженные награды и в Лос-Анджелесе, и в Канне. Ее Норма великолепна — молодая разбитная вдовушка, мать двоих детей, не слишком образованная, но самостоятельная, упорная, умеющая добиваться своего, истая американка. Она первой «усекает» выгоду профсоюза, за который агитирует прибывший из Нью-Йорка Рейбен Маршаски. Деликатна и лирична полулюбовная, полутоварищеская линия Норма — Рейбен.

После сеанса я исподволь всматривался в лица зрителей. Обычно шумные говорливые, экспансивные, люди расходились какие-то притихшие. Значит, задело. Корень негромкого устойчивого успеха картины, наверное, в том, что она очень американская, исконная, почвенная. Достоверность и неповторимость во всем: в общей ситуации, в типажах, производственных сценах, деталях быта. Борьба рабочих с владельцами единственной в городке фабрики — вопрос не «большой» политики, а трехлетнего контракта.

Нельзя без волнения смотреть те кадры в цеху, когда Норма на ящике высоко поднимает в вытянутых руках картонку с единственным словом «профсоюз», держит минуту, две, медленно обводя глазами цех и словно умоляя товарищей: ну же, ну!.. Неторопливо отключает станок пожилая работница, остервенело дергает рубильник крупный негр с печальными глазами, потом кто-то из молодежи. Наступает мертвая тишина. Норма чуть не плачет от радости.

Кому как, а, по мне, «Норма Рей» — событие в американском кино последних лет.

■

В списке моих нью-йоркских дел значилось: Роберт Кентуэлл. Это автор замечательного и забытого романа «Земля изобилия», написанного в середине «красных тридцатых». Он фигурирует во всех сколько-нибудь объективных историях национальной литературы как выдающийся образец так называемого пролетарского романа. Для себя я открыл книгу совсем недавно — и загорелся ею.

Кентуэлл начал писать совсем молодым человеком и сразу же был замечен. Один его рассказ привлек внимание Фицджеральда. В январе 1930-го он сообщал Максуэллу Перкинсу: «В новой книжке «Американского каравана» стиснутая джойсовщиной и компанией есть первая вещь молодого — ему 21 — по имени Роберт Кентуэлл. Обрати на нее внимание, думаю, что он усвоил уроки Пруста получше Торнтона Уайлдера. Ему уготовано стать звездой отнюдь не средней величины».

Кентуэлл не сделался звездой в фицджеральдовском понимании успеха. Зато он написал «Землю изобилия», и мне хотелось разузнать побольше об этом человеке, может быть, даже встретиться с ним. Я начал наводить справки.

Книга привела меня в «Американский институт марксистских исследований» (аббревиатура его английского названия — AIMS — означает: цель). Я знал, что тут ведется немалая работа, устраиваются встречи, конференции, дискуссии — в прошлом году, например, состоялся симпозиум «Антисоветизм: отрицательное воздействие на американскую науку». АИМИ издает интереснейший бюллетень, «Нерегулярные доклады» по научному социализму, рабочему движению в США, истории, культуре.

Небольшой, зажатый со всех сторон дом об одной двери на 30-й Восточной улице. Едва нашел вход с несколькими скромными табличками — какие-то конторы, мастерские. Старенький, скрипучий лифт поднимает на нужный этаж, прямо из кабины попадаю в крохотную приемную. За ней большая комната, в глубине еще одна — кабинет руководства. Пять сотрудников. Вот и весь институт, точнее — его нью-йоркское отделение. Меня встречает Артур Зипсер, сухощавый седоватый человек, администратор отделения, журналист-историк, как он называет себя. Последнее время он работает над биографией Уильяма Фостера, начинал с рабочего, потом был профсоюзным организатором.

Чувствую, как что-то сдавило горло. Казалось, вся прогрессивная Америка вместилась на этой скудной площади. Она — в сотнях книг и комплектах знакомых журналов, в плакатах на стене, в твердом товарищеском рукопожатии Артура, в его усталых и молодых глазах. Мы говорили с ним так, как будто знакомы бог весть как давно, говорили обо всем — о людях, о политике, о книгах, о том, как живется и как работается. Мы не заметили, как прошло время ленча — священный для каждого американца час. Артур достал электронагреватель, вскипятил воду, мы пили жидкий чай, и мне не хотелось уходить. Выплыло имя Ллойда Брауна, черного писателя, чей роман «Железный город» вышел в свое время на русском языке. Артур набрал номер: «Ллойд, тут у меня один парень из Москвы, хочешь поговорить?». Слышу в трубке рокочущий голос. Да, у него есть друзья в Москве, передавай им привет, говорит писатель. Читаю ваш журнал — «Советскую литературу». Да, долго болел, но сейчас лучше, работает, к концу года закончит жизнеописание Робсона. Новый роман? Смеется: «Есть наброски, есть. Послушай, что они творят там в аэропорту Кеннеди? Такие вещи не просто случаются, им позволяют случаться, понимаешь? Я послал письмо нашему губернатору. Какого..!».

Я уходил, унося с собой что-то бесконечно дорогое и близкое. Может быть, это и было ощущение целеустремленности?

◆

## АЛЕН БОСКЕ

# СТИХИ

*Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА*

## Вопросы

**Спросили они у пророков:**
**«Смертны ли боги?»**
**И пророки в ответ:**
**«Кто мы такие, чтоб знать об этом?»**
**Спросили они:**
**«Есть ли предел у вселенной?»**
**И пророки:**
**«Мы тоже об этом хотели бы знать».**
**Спросили они:**
**«Тело ли — форма души,**
**или душа — форма тела?»**
**И пророки:**
**«Мы сами терзаемся этим вопросом».**
**Спросили они:**
**«Будет ли жизнь нам другая дана**
**после смерти?»**
**И пророки:**
**«Нам верить хотелось бы в это».**
**Спросили они:**
**«Есть ли хоть малая доля истины**
**в том, что ложно?»**
**И пророки:**
**«Нас бы это утешило очень».**
**И они пророков убили**
**и безумные эти вопросы**
**задавали отныне**
**баобабу, реке, газели,**
**красному мрамору,**
**ветру —**
**и счастливы были, что могут**
**как угодно теперь толковать**
**их молчанье.**

© Éditions Gallimard, 1977.

## Боги скучают

**Когда, пресытясь всеведеньем, начинают боги скучать,**
**скучать и томиться**
**по новым богам, которые их**
**могли бы заново выдумать,**
**дать им свободу**
**для новых боев, для новых шальных похождений,**
**но тут же, махнув обреченно рукой,**
**опять подчиняются нудному статусу вечности,—**

**случается так, что какое-то дерево или река,**
**муравей или камень,**
**видя, как маются боги,**
**и желая их, бедных, развлечь,**

**изменяют природу свою.**
**И верба, сделав тур вальса,**
**взлетает в зенит,**
**камень стонет,**
**как женщина в родах,**
**пруд взбухает и превращается в гору,**
**а ласточка резво врезает в лазурь**
**строки стихов,**
**воспевающих небытие.**
**Но начавшиеся беспорядки**
**раздражают богов,**
**и они принимают немедленно меры,**
**заставляя деревья окаменеть,**
**а небу веля отступить за черту горизонта.**
**И снова живут**
**аскетически и боязливо**
**по унылым законам своим.**

■

ВОЛЬФДИТРИХ ШНУРРЕ

# РАССКАЗЫ

*Перевод с немецкого ВАЛЬДЕМАРА ВЕБЕРА*

## Книги моей судьбы

Первая книга, сыгравшая роль в моей жизни, была, и это весьма показательно, очень маленькой. Она состояла из сорока или, быть может, пятидесяти страниц, исписанных разными почерками, и содержала грустные песни, в которых шла речь о лугах, о кустах можжевельника, о покинутых девушках, о камышовом пухе и кровожадных охотниках. Мне было четыре года, когда мне впервые попала в руки эта книга, и я сразу ее полюбил: ведь в нее по просьбе моего отца каждая из его многочисленных подруг записывала свою любимую песню. И поскольку отец умел обычно устраивать так, что одна из его подруг к тому же оказывалась и музыкантшей, книга эта являлась как бы сборником разнообразнейших песен, и в наших походах мы могли довольно успешно музицировать по ней на гитаре и губной гармошке. Сегодня мне кажется, что она-то и заложила основу той слабости, какую я питаю к лирической поэзии.

Вторую книгу, повлиявшую на мою судьбу, я тоже еще отлично помню. Она была значительно толще первой и волнующе пахла клеем и дорогой бумагой для иллюстраций. В ней содержались — если доверять словам моего отца и его способностям комментировать сказанное, а этому вполне можно было доверять — невероятно увлекательные вещи; так, к примеру, что якобы никакой не аист приносит детей, а они каким-то образом оказываются внутри матерей, и, когда им надоедает, что их повсюду таскают с собою, они выбираются наружу и, стало быть, рождаются.

В книге была помещена также необычайно красочная иллюстрация. Иллюстрацию покрывала страница из тонкой папиросной бумаги, специально для того, чтобы контуром повторить изображенное на картинке. И повсюду на эти контуры были нанесены цифры, а внизу напечатано, что каждая из цифр означает. Папиросная бумага всегда прилипала, когда отец отделял ее от иллюстрации и считал меня достойным, уж и не знаю, в который раз, разглядывать ее. На картинке были необыкновенно разноцветные кишки, красное

сердце, синие легкие и тому подобное, а среди всего этого был изображен головою вниз бледный с закрытыми глазами ребенок. Мне как раз исполнилось семь лет, когда отец с помощью этой книги рьяно принялся за разъяснительную работу. И хотя она доставила нам массу неприятностей, поскольку в школе я не скрывал своих новых познаний, я сохранил о книге со стоящим на голове ребенком чрезвычайно уважительное воспоминание. Ведь все-таки именно с разоблачающего белых аистов тома и началась моя, до сих пор не желающая закончиться, эпоха скепсиса.

А скепсис оказался необходимым мне и в отношении третьей книги, сыгравшей роль в моей жизни. Я познакомился с ней сперва лишь случайно, хотя и вполне литературным путем. А именно: одна из воспитательниц детского приюта рассказала нам жуткую историю от которой мороз подирал по коже. Я лишь удивлялся, что в столь набожном доме можно услышать подобные ужасы.

Правда, в этой истории постоянно шла речь о какой-то религиозной книге. Это был здоровенный томище с золотым крестом на обложке. Из поколения в поколение передавали эту священную книгу. Нет, нет, в этой истории пока что ничего еще не было Самое страшное ожидало слушателя в конце. Молнией ударило в дом, семья, как принято говорить в таких случаях, отделалась легким испугом. Но с девочкой, до тех пор ничем не примечательной, вдруг сделался припадок благочестия. Она ринулась в горящий дом и вытащила из него, сама при этом обгорев,— как бы вы думали что? — конечно же семейную Библию.

Дедушка, можно догадаться, прижимает книгу к груди, а для маленькой обгоревшей и наверняка покрытой волдырями девочки у него находится лишь несколько слов о том что ей, мол, теперь уготован рай. Я был возмущен. Книга, претендующая на то, чтобы ребенок спасал ее из пламени! Бумага с напечатанными на ней буквами, поставившая себя выше человеческой жизни! Мне было тогда восемь лет, но с тех пор, где бы мне ни попадалась Библия, я избегал ее. Эта неприязнь усилилась настолько, что я отсрочил свое чтение Библии более чем на тридцать лет. Сегодня я понимаю почему. Я должен был сначала познакомиться с жизнью, с историей, с литературой чтобы потом встретиться с ними вновь, сжатыми до сути, в самой волнующей из книг, Библии, встретиться таким, каким и должно: закаленным и опытным

Четвертая из книг, повлиявших на мою судьбу, была похожей на третью и все же коренным образом от нее отличалась. Мне было десять лет когда я однажды на одном заброшенном земельном участке набрел на маленькое летнее строение. Деревянный пол прогнил проглядывали темные, заваленные обрушившимися камнями своды подвала. Я щелкнул карманным фонариком и спустился вниз. На мшистых камнях и на изъеденных плесенью досках лежал голубь ядовито-белого цвета. Он умер, видимо, незадолго до моего появления, и его крылья еще слегка подрагивали. Я похоронил его там же, внизу. Вытаскивая из-под кучи камней одну доску, чтобы соорудить крест для могилы, я наткнулся на неимоверно большой фолиант. Плесень не причинила ему никакого вреда, ее можно было стереть с пористого кожаного переплета, как иней. Я разволновался, я был уверен, что фолиант содержал адресованное мне послание. С большим трудом я втащил его наверх. Но мне не удалось его раскрыть. Сырость, точно присосками, сцепила тысячи страниц. Редко охватывало меня такое отчаяние, как перед этой более чем за семью печатями сокрытой книгой. Я всеми силами пытался справиться с ее обложкой, как будто моя жизнь сейчас зависела от этого. Но вот неожиданно после очередного усилия мне удалось отодрать верхнюю обложку, и я увидел, что книга разломилась, как цельный кусок И только на месте излома можно было прочесть несколько таинственных букв. Но я узнал их, потому что часто играл на еврейском кладбище: это был иврит.

Не знаю почему, но я зарыдал. Я думаю, что в этом выразилось разочарование от того, что, держа в руках послание, сулящее некую благую весть, я не мог прочесть его. Я опять спустился в подвал и похоронил фолиант рядом с голубем.

Пятую книгу, оказавшую влияние на мою судьбу, я читал по меньшей мере сто пятьдесят раз, и это ей, естественно, не пошло на пользу. Она была зачитана: загнутые углы страниц, следы от слез, жирные пятна от школьных завтраков красовались на них, переплет развалился, корешок был потерян, кругом торчали нитки. На нее невозможно было смотреть, и все же это была моя любимая книга. Называлась она «Сигизмунд Бравый» и рассказывала о незабываемых приключениях и героических подвигах этого более чем бравого старого морского волка; если бы у меня ее украли, я бы еще подумал, стоит ли мне жить дальше.

У нас в школе тогда практиковалось трудовое обучение, и можно было выбирать между деревом, металлом и бумагой. Я решил попробовать себя в дереве, потому что мечтал построить когда-нибудь на берегу реки Рио Гранде деревянный дом. Но когда задуманная мною подставка для кактусов постепенно превратилась в зубочистку, я переключился на бумагу. На мое счастье. Поскольку здесь, как выяснилось позже, я мог заодно изучать, например, и переплетное дело. Это был первый случай, когда я не сразу привел в отчаянье своих учителей на уроке труда. Я только наполовину притворялся дураком... Речь же все-таки шла о «Сигизмунде Бравом». Ведь только ради него я принял на себя такое мученичество: варить клей, фальцевать картон, сшивать страницы, резать бумагу, склеивать обложку и бог еще знает что. Но великий день наконец все-таки настал: новый переплет был готов. Оставалось только обрезать со всех сторон истрепавшиеся страницы. Но вот сделано и это. Корешок проклеен, переплет наложен, и «Сигизмунд Бравый» пошел под пресс.

На следующее утро я явился в школу рано, как никогда. Дрожа от волнения, я

развинтил пресс и вынул из него «Сигизмунда Бравого». Он превратился в подкупающую новизной, прекраснейшую книгу, пахнущую лучше всего на свете. Счастливый, я перелистал ее и вдруг обомлел: у каждой из двухсот пятидесяти страниц тщательно заново переплетенной книги отсутствовала верхняя строчка; я слишком небрежно заправил книгу в станок.

С этого дня берет начало та одержимость, которая в среде тех, кому известна моя манера читать и писать, снискала мне дурную славу бумажного фетишиста: с той поры я обращаюсь с книгами как с мимозой. Когда я читаю книгу, я осторожно кладу ее перед собой; никогда мне не приходит в голову, читая, держать ее в руках. Если одна из только что перевернутых страниц вновь приподнимается, я не провожу ладонью по сгибу, как это делают неисправимые истязатели книг, а прижимаю внешний угол страницы до неприличия чистым предметом, чтобы сохранить тем самым ее упругость; и еще ни один из миллионов листов, обреченных быть в корзине для бумаги, не был мною смят: каждый неповрежденным свободно летел долу. Потому что я все еще надеюсь загладить вину перед «Сигизмундом Бравым».

■

# Собрание моих сочинений

С восьми лет я хотел стать писателем. У меня было совершенно точное представление об этой профессии. Надо быть добрым, грустным и способным к самопожертвованию. Всеми этими качествами я обладал. Я довольно осмотрительно принялся за работу. Но для начала моему сердцу требовался фильтр. Потому что оно было слегка засорено, никуда не денешься — душа поэта. Для этой цели нужен был дневник. Я вел его очень наглядно и был чрезвычайно точен в фактах. Достойное внимания подчеркивалось синим, достойное поэтического воплощения — красным. Исписав две тетради, я начал их просматривать. В них оказалось много ценного. Нужно было только все подсократить. Я проделал это самым непреклонным образом. Полугодовой опыт вылился в следующее двустишие: «Я мышь поймал, и вот средь бела дня она сбежала крысой от меня».

Покончив со злободневной эпиграммой, я обратился к чистой поэзии. Рифму на этой стадии я уже освоил. Теперь на очереди были аллитерация и свободный размер. Доказательством того, что я на правильном пути, было всеобщее внимание к одной из моих поэм. Один детский журнал, осознав, с кем имеет дело, напечатал мою самую загадочную вещь. Называлась она так: «Карлики-близнецы и карликищипцы Вольфдитриха Шнурре, Берлин — Вайссензее, Штрассбургштрассе, 32, второй этаж направо, спросить Хиршбергера». Затем шел текст: «Двое карликов-юнцов-близнецов вцепились в двоих карликов-щипцов-близнецов».

После этого успеха я бросился в эпику. Для начала я хотел выбить из седла Германа Лёнса, Свенда Флёрона и Бенгта Берга[1]. Я сочинил биографии Таксы, Кабана, Совы и Аиста. Они снискали в компетентных кругах заслуженное признание: мой отец тиранил отрывками из них каждую свою очередную подругу. Затем я замыслил более гуманный вариант «Песни о Нибелунгах». Но здесь, видимо, что-то не получилось. Пробежав глазами законченный манускрипт, я понял, что моя версия гораздо кровавее оригинала.

[1] Герман Лёнс — немецкий писатель, Свенд Флёрон — датский писатель, Бенгт Берг — шведский писатель — писатели, известные в основном книгами рассказов о животных.

И вот наступает мой самый плодотворный период, так называемая эпоха Касперля[1]. В школе на уроках немецкого я развил эту тему в сочинении с двадцатью семью продолжениями. После этого учитель вызвал моего отца. Тот в свою очередь убедил меня в том, что работать над образом Касперля, против которого он лично ничего не имеет, все же лучше дома.

Я последовал совету и за короткое время исписал три черновые тетради. По сто страниц каждая: с захватывающими иллюстрациями, естественно. На четвертую тетрадь ушло намного больше времени. В промежутках между работой мне пришлось изучать суахили. Ведь мой Каспер отправился путешествовать по Африке, а у Карла Мая[2] я научился точности.

В пятой тетради я отошел от образа главного героя. Помешал английский лорд, охотившийся на крупного зверя. Уже на одиннадцатой странице он выжил моего Каспера. Он просто околдовал меня. Но оставшихся восьмидесяти страниц не хватило для полного раскрытия его образа. Правда, я заставил его бежать от цивилизации. Но это еще не была по-настоящему выстраданная усталость от культуры.

К счастью, тем временем я, достигший десятилетнего возраста, влюбился в исполнительницу главной роли в пьесе для детей «Путешествие Петерхена на Луну». Я написал ей, что настаиваю на несчастной любви. Во взаимности есть что-то пошлое. Любовь должна приносить страдания, иначе вся эта штука ни к чему. Из этого-то опыта я и исходил теперь. Герой определился: богатый, независимый английский лорд Он был влюблен во всемирно известную балерину. Она, в общем, не возражала против его ухаживаний. Тут я вовсю использовал смелый художественный прием: придал лорду некоторые черты своего собственного характера Не хватало теперь только одного — самопожертвования. Я инсценировал его так: кажется, я где-то читал, что болезнь, о которой не говорили вслух,— существенное препятствие в любви. Словом, я заставил лорда страдать этой загадочной болезнью. Результат: в один

[1] Немецкий Петрушка, герой кукольных представлений.

[2] Карл Май — немецкий писатель, автор приключенческих романов для юношества.

ненастный день лорд, движимый состраданием, отправляется на остров Бали, остров блаженных. Там ему удается — на это у меня ушло по меньшей мере страниц двести — занять место настоятеля храма. Во время попытки отменить петушиные бои (я был тогда членом общества по охране животных) он получает удар кинжалом. Искупление было необходимо. Ведь эта болезнь, говорят, нечто ужасное.

Второй мой роман о самопожертвовании был менее суровым. Он назывался «Гертруда и Конрад». Гертруда была дочерью рыбака. Она жила на берегу моря. Конрад хотел стать старшим лесничим. Между ними происходили непринужденные, но очень эмоциональные беседы о природе. Каждый круг затрагиваемых тем шел под номерами и подзаголовками, такими, как «Шелест камыша» или «Зарево вечерних облаков». Они приближались к благополучному завершению. Но тут Конрад объясняет Гертруде, что последовательно воплощенная любовь вредит не только духовному, но и профессиональному росту. Глотая слезы, Гертруда вынуждена с ним согласиться.

Больше ничего не происходит. Хэппи-энд отпал сам собой. В конечном итоге ход мыслей обоих героев должен был найти у читателя живейший отклик. Поэтому Конрад сел на велосипед и укатил, видимо, навсегда. А Гертруда — конечно же плача — пошла жарить картошку: у нее на руках был парализованный отец.

Теперь я был этически вооружен для дальнейшего броска. После короткой творческой паузы я немедленно принялся за работу. Английский полковник колониальных войск ранен в ногу отравленной стрелой. Необычайно красивая сестра милосердия выхаживает его. К моменту его выписки из госпиталя она заражается проказой. Никакой проблемы для полковника тут нет. Конечно же он навсегда поедет с Мэри на остров прокаженных. Поначалу она упрямится, но потом соглашается.

Первые девяносто три страницы я написал одним духом. Теперь я знал, что такое обуздание страстей. Но с того места, где Мэри обнаруживает первые симптомы болезни, мне пришлось обратиться к специальной литературе, работа грозила застопориться. Я вынужден был слишком часто прерываться. То и дело я выходил из комнаты и проверял в зеркале, в порядке ли мой нос и уши. И когда однажды вмятина, которую я для проверки сделал в щеке, не сразу исчезла, стало ясно: я заразился.

Дрожа, обливаясь потом, я все-таки успел высадить Мэри и полковника Беллингтона на остров прокаженных. Но в этот вечер я обнаружил на своей коленке желто-синее пятно. Все было кончено. Сотрясаемый ознобом, я забрался в постель. Отцу пришлось пообещать мне взять щипцами источавшую проказу рукопись и бросить ее в печь. С этого момента мое состояние стало улучшаться.

Потом я еще написал орнитологический детектив — гибрид Свена Хедина с Эдгаром Уоллесом [1], а также элегический любовный роман «Парящая мечта». Я посвятил его известному французскому киноактеру Аннабелу и тут же сообщил ему об этом на своем скверном школьном французском.

И вот — мне только что стукнуло четырнадцать — наступило, казалось, время дать страстям разгуляться. Я вернулся к стихам. Гроза и тому подобное представлялись мне наиболее подходящим фоном для моих разбушевавшихся чувств. «Могущество природы» — весьма логично назывался первый том из шести намеченных мною. Я как раз начал писать второй, строго выдерживая размер гекзаметра, как вдруг в мою работу вторгся Шопенгауэр. Теперь в отношении женщин словно пелена упала с моих глаз. Как раз в это время врач прописал мне очки. Они меня обезобразили, и я долго колебался между самоубийством и уходом в монастырь, так как стал теперь постоянно замечать полное равнодушие к себе особ женского пола. Без сомнения, все они с их сладострастьем достойны были только одного — быть отвергнутыми.

Как это делается, я показал в новом романе. Действие его происходило в Индии: оттуда до нирваны было ближе всего. На почти двухстах страницах, исписанных убористым почерком, двое словоохотливых друзей проходят сквозь различные сферы общественной жизни, способствующие развитию таких пороков, как обжорство и похоть. То есть порок гнездился в одном из них. Другой был неуязвим благодаря своему стремлению к нирване. Конечно же он увлек за собой колеблющегося.

Я вживался то в одного, то в другого. Но когда они вплотную подошли к субстанциальному разрешению, я понял, что аргументы того, кто был больше привязан к земному, гораздо убедительнее, нежели того, кто жаждал нирваны. Жаждущий нирваны молол один вздор. Эта дилемма в романе, несмотря на то что я предусмотрительно озаглавил его «Ad astra» [2], все же в конечном итоге потерпела фиаско.

Начался период самопознания. Он вылился в автобиографический роман о жизни художника под названием «Жгучее пламя». В этом пламени погибает сжигающий свои рукописи герой, печальный поэт, ценимый преимущественно женщинами. Что-то пророческое было в этом опусе. Несколько лет спустя ящик с собранием моих сочинений сгорел. После войны я еще раз сделал попытку возродиться. Роман в шестьсот страниц достался старьевщику. Еще один монстр в четыреста страниц гниет в подвале. О том, что мне еще пришло в голову, я написал тридцать книг. Но все они не совсем то, что надо, и все слишком короткие. Лишь одна из них мне еще нравится. А вот собрание моих тогдашних сочинений я люблю до сих пор, все, без исключения.

---

[1] Свен Хедин — шведский исследователь Азии. Эдгар Уоллес — английский писатель, автор криминальных романов.

[2] «К звездам» *(лат.)*.

◆

# Среди книг

## Издано в СССР

### ВРЕМЯ, ПАМЯТЬ, СУДЬБА

**Иван Давидков. Прощай, Акрополь! Повести. Перевод с болгарского. Москва, «Прогресс», 1978.**

Чтобы войти в мир этой прозы, надо проникнуться ее ритмом. То гулким и резким, как удары метронома, то дробным и звонким, как дождевая капель в майскую грозу. Ритмический лад строк переплавляется в лирическую мелодию текста, где ослабленность сюжетного действия возмещают интенсивность настроения и переживания, напряжение чувства и мысли. Такую прозу принято называть субъективной, исповедальной, лирической — каждое из определений в равной мере проецируется как на ее содержание, так и на поэтику. И позволяет уловить то, что служит основанием для сближения разнонациональных литератур, идейно-тематических аналогий и жанрово-стилевых параллелей в границах типологической общности современных художественных исканий.

Нет нужды оговаривать, что общность не есть тождество, а родство — сходство, что сближать сопредельные явления не значит нивелировать их выразительные индивидуальные различия. «Как» в искусстве не совпадает с «так же». И если, настраиваясь на мелодию прозы Ивана Давидкова, советский читатель уловит, к примеру, ее созвучие незатухающим «Дневным звездам» Ольги Берггольц или поздней прозе Валентина Катаева, то оно укажет на исходную направленность, а не конечные результаты поиска. Вектор движения художественной мысли может быть общим, но воплощается она в различных образных конструкциях.

Не о времени и о себе, но о себе во времени или о времени в себе — такой, пожалуй, формулой будет вернее всего обозначить это направление. В русле его закономерен образ человеческой жизни — не малого атома в бесконечности вселенной, но самой вселенной. «Вот она — вселенная, лежит, завернутая в пеленки. Сучит ножками, которые прежде, чем ступить на землю, хотят коснуться неба. Пеленки тоже напоминают о небе: они тонки и легки, как облачка. И, глядя на это лежащее в колыбели нежное создание, нельзя не сравнить его с закутанной в облако звездочкой, долетевшей из небесных селений... Мать шепчет: «Тише! Мальчик спит!» — а кажется: «Тише! Вселенная спит!» Так «подлинное, великое чудо» — рождение человека — патетически уподобляется сотворению мира; и в неотвратимый час, на краю бездны, ему не дано исчезнуть, кануть в пустоту, превратиться в ничто.

Этой авторской патетике под стать проникновенные раздумья одного из героев о великой тайне человеческой жизни, равной тайнам земли и неба. «Разве человек — меньшая загадка, чем мироздание?» Вопрос нескрываемо риторичен. Не микромир быта, но макрокосм бытия признает проза Ивана Давидкова.

В ней многое поэтически возвышено и фантастически преображено, подано крупно и ярко. Дети не спят дома в постелях, а разгуливают по ночному пустынному небу. Звезды освещают им путь, ветер ведет за руки, светлая небесная пыль ложится на сандалии. «Я нес тебе звезду, но смотри, она прожгла в кармане дырку и исчезла!» — друг говорит другу, предлагая взамен звезды сигарету. Но вовсе не сигаретный дым наполняет комнату, а «аромат высоких облаков», которых не достигает даже полет мысли. Туда, за облака, навсегда уйдет потом один из друзей — летчик, умевший ступать по звездам так, словно это камни реки Огосты. И останется жить без него Поэт, чье сердце обречено тосковать «о друге, улетевшем за облака... пронести воспоминание о нем через всю жизнь»...

Небесная даль и земная близь, романтический полет мечты и трезвый реализм яви, звездный свет вечности и обыденное мгно-

вение — все вместе сливается в лирическом настрое прозы Ивана Давидкова, в мироощущении ее героя, будь то повествователь-Поэт и неотступный спутник его жизни, мудрый Художник-наставник в повестях «Вечерний разговор с дождем» и «Белый конь у окна» или Мартин Калинов, Переводчик в повести «Прощай, Акрополь!».

Все они люди искусства, создатели, творцы прекрасного, щедро наделенные «способностью радоваться краскам, воспринимать их тончайшие оттенки». Им дано «испытывать мучительную радость творчества», переживать муки слова над белым листом бумаги, страдать от бессилия кисти поймать полет голубей. Своим божественным глаголом они одухотворяют жизнь, не боясь исказить ее смещением линий, изломом форм. «Я приехал в Софию из далекого горного села, где рос на раздолье — среди полей и лесов. Мой трезвый душевный склад заставлял меня воспринимать вещи такими, какими они существуют в реальности. Река в моем сознании могла быть прозрачной или мутной, с берегами, размытыми водой или поросшими ракитами. Деревья росли такими, как их создала природа: кора у них была или гладкая, или шершавая, в ней могли быть трещины — ожоги молний — или дупла»,— вспоминает Поэт себя прежнего, еще не постигшего «другую, внутреннюю красоту мира». Ее открывает ему Художник, в чьих картинах человеческие фигуры отражают синь неба и золото солнца и сами предстают синими или золотыми. «Возможно, сам того не желая, Художник сделал меня другим, не таким, каким я был еще вчера. Он словно снял шоры с моего сознания. «Не видела, чтобы камень смеялся!» — слышал я строгий голос учительницы литературы и в тот же миг замечал, что камень смеется, смеется, повернувшись к солнцу, хотя с другой стороны на него налипла влажная земля со следами дождевых червей». Возблагодарим же Художника, обогатившего Поэта своим духовным зрением. И попеняем на самонадеянность недалекой учительницы, едва не погубившей его талант...

Смеющийся камень и дождевые черви — напряженная художественная мысль пульсирует на этой зыбкой грани искусства и жизни, поэзии и прозы. Грубого касания обыденности выдерживают не все «чары сокровенного». Их спугивают подчас горечь сожаления о торопливо растраченной молодости, печаль воспоминания о легкомысленно обманутой или вероломно преданной дружбе. Сокрушают равнодушие и безразличие близких. Сумбуром, непокоем, неуютом отзывается в чуткой, ранимой, впечатлительной душе боль за человека, который «часто стесняется сделать доброе признание... Куда легче он находит злые слова, не боясь огорчить даже самого близкого друга». И непоказное страдание причиняет двуличие, превращающее человека в «дом со множеством дверей».

Но вот что принципиально: как ни сурова, ни жестока жизнь, не от нее, а к ней ведет героев Ивана Давидкова неистребимый порыв к прекрасному. И если дано им переживать крушение идеалов, то лишь таких, которые вымучены холодным рассудком, но не прошли через сердце. «Это был грешный человек, но в делах его было что-то возвышенное. Он не отрекся ни от чего земного: безропотно прошел через страдания и не шалел от радости, ибо знал, что все в жизни мимолетно»,— воскрешает Поэт своего деда, к чьим рукам истого труженика «не пристал медный блеск патронов и гаубичных гильз. В них была одна только могучая власть земли». В земную твердь, ее глубинную толщу уходит своими корнями талант Художника, чьи творческие наития сродни озарениям «искусного мастера», народного умельца, безошибочно отыскивающего под навалами пород родники с колодезной водой. «Слушая его, Художник перебирал в памяти свои колодцы: ведь он тоже спускался в глубины, в неведомое, испытывал такие же сомнения и такую же мучительную радость. Это и составляло его жизнь. Его тоже окружали молчанье и тайны земли. Он тоже платил дорогую цену за возможность прикоснуться к тому, что для колодезника зовется водой, а для художника — Красотою. И ему казалось, что и его ладони в мозолях от рытья бездонных добруджанских колодцев».

Еще глубже — по вертикальному срезу веков — ведут эти колодцы в повести «Прощай, Акрополь!». Искусство Эллады входит в сознание Мартина Калинова как символ устойчивости, прочности земного бытия, нетленной красоты мира, вечных духовных ценностей человека. Потому ведь и несмываем след вечности с выщербленных ветрами и веками ступеней Акрополя, что в образах искусства материализуется память человечества о себе самом, стирается грань между историческим бытием и сиюминутным бытом. Сберечь, сохранить, запомнить — не в этом ли и состоит призвание истинного таланта?

«Мир может быть воссоздан лишь после того, как он пройдет через горнило сердца и от него шлаком отпадает все отвратительное»,— убежден Художник, «несколько докучливый в своих рассуждениях о красоте». А его украинский собрат по профессии, чудом уцелевший в боях под Оршей, «и спустя двадцать лет после этой ночи... не перестает мысленно возвращаться к оршанским снегам, вспоминать о мертвых курсантах, воскрешать их на своих полотнах. Вновь и вновь он переживает трагедию гибели совсем еще юных солдат, и тень убийцы вновь нависает над ним. Отчего же это воспоминание вот уже столько лет не дает ему покоя? Чего хочет Художник?.. Он хочет одного: спасти от забвения тех стриженых юношей, что погибли в полях под Оршей; хочет, чтобы обратились к нам их глаза, протянулись их руки...». Так перекидывается мост не просто от вчера к сегодня, но к современному состоянию мира от его многовекового прошлого, и неразрывная связь времен открывается в движении художественной мысли, которая смело сцепляет поэтический миф об Икаре и сухие строки газетного сообщения о гибели космонавтов. Так мир стучится в сердце художника, входит в его сознание не только отраженным — через искусство — светом.

Особенно в первых двух повестях, в дей-

ствие которых то и дело врываются сполохи второй мировой войны. Как острые граничные камни — «символы незыблемой собственности» — на межах полей, отпечатывается время в памяти Поэта неповторимостью своих примет. Газетным ли разворотом, куда поверх фотоснимков с немецкими танками и мертвыми развалинами русских деревень, на печные трубы и журавли заброшенных колодцев наклеиваются талончики хлебных карточек... Слухами ли о десанте с советской подводной лодки, которые приносит волна прибоя, выбросившая на берег тело моряка... Гулким ли выстрелом на перроне захолустной станции, который сразит коммуниста, совершившего побег из тюремного застенка, в тот самый миг, «когда ему оставался всего лишь шаг, чтобы вырваться из света вокзальной лампы и ускользнуть от лучей карманных фонариков, которые кружили вокруг него, как осы...».

Так же ретроспективно, художественно совершенной микроновеллой, где и малая бытовая деталь поднята до символического образа-аллегории — излюбленный И. Давидковым прием письма, одна из характерных особенностей его поэтики,— вторгается в повесть «Прощай, Акрополь!» героическая судьба человека, сражавшегося «сентябрьскими ночами двадцать третьего года на Петроханском перевале и на вокзале в Берковице». Участник антифашистского восстания в Болгарии, политический эмигрант в Советском Союзе, он завершит свой славный путь на земле республиканской Испании, и подвиг его станет воплощением неистребимых патриотических чувств, высоких интернациональных устремлений. Благодаря ему и над развалинами Эллады вспыхнет для Мартина Калинова ослепительный свет идеала, рожденного в бурях нашего XX века...

Вот вам и свеча, не однажды мерцающая по ходу повествования в глубине ли комнаты, где обитают герои Ивана Давидкова, в тайниках ли их сознания. Робкий, зыбкий, колеблющийся огонек — как не вспомнить его пастернаковский прообраз! — оказывается всепроникающим, способным высветить не только внутренний мир души. «Так поступал он со всем, что ему дарила жизнь,— говорится о Мартине Калинове.— Разнимал на части, чтобы обнаружить смысл и суть. Развинчивал — и между пружинками и колесиками обнаруживал свою душевную драму. Разум становился от этого богаче, а сердцу было больно». Боль сердца, отзывчивого на заботы и тревоги века, позволяет открыть действительно «сложный мир за кажущейся будничностью жизни Переводчика», увидеть в нем человека, чье самоуглубленное созерцание, как бы ни было оно обращено внутрь самого себя, лишено того вызывающего эгоцентризма, который в исповедальной прозе в силу обнаженности, открытости ее личностного начала неизбежно оборачивается для лирического «я» автора или героя духовной ограниченностью, недалекостью самовлюбленной, самодовольной натуры. В духовном мире Переводчика, Художника, Поэта свеча высвечивает не только их собственные печали и радости, потери и обретения, но и контуры эпохи, события которой передают движение исторического времени и становятся биографией, судьбой личности. Тогда и склонность ее к созерцанию сливается с потребностью действовать.

Тяготеющая к символике образность Ивана Давидкова не рассчитана на отстраненное, обезличенное, рассудочное восприятие читателем. Ее ассоциативность предполагает ответные образные ассоциации, которые возникают по законам цепных реакций и безраздельно завладевают воспринимающим сознанием. Вслед за образом свечи, упрямо горящей на столе вопреки вселенским метелям, русский читатель не сможет, наверное, не вспомнить и о том, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда...». Чем не ахматовский одуванчик, не лопухи и лебеда — «тихость красок, разлитых по утренней равнине, еле слышный разговор зеленого и коричневого, серебристого и голубого... оранжевая осыпь каменоломен, откуда выглядывали кубы и пирамиды сокрушенной скалы,— феерия линий и полутонов.. »? Такое молитвенное — до экстаза — отношение к красоте грозило бы обернуться самодовлеющим эстетизмом, если бы не рождалось святой и чистой верой в искусство, в силах которого спасти мир, сделать его совершеннее. И если бы по контрасту светотени не вбирало в себя драматизм эпохи со всей той болью, которая сидит «в каждом человеке... .Даже в самом счастливом».

В эстетике Канта есть понятие незаинтересованности искусства. Незаинтересованность — синоним бескорыстия, немеркантильности, свободы от прагматической выгоды, утилитарной пользы. Или, как повествует Иван Давидков о своем Художнике, синоним творческой радости, «к которой далеко не все могли приобщиться». Художник называет ее радостью созидания. «Никогда в жизни он не думал о том, кому продаст картину, сколько выручит за нее. Каждый раз он стоял перед белым холстом, как перед загадкой, и его муки искупались тем трепетом, который доступен немногим».

Немногим — стало быть, избранным. Не будем страшиться этого избраннического причащения к искусству. Талант, как известно, редкость, и тяжкое бремя его раньше и прежде всего ложится на самого творца. «Мне хочется жить просто — радоваться хлебу потому, что я голодна, а не ради цвета его поджаристой корочки, знать, что дождь идет для того, чтобы взошли картофель и горох, а не для того, чтобы восхищать тех, кто смотрит, как он золотится в лучах солнца»,— бранзоруко корит жена Художника за одержимость творчеством Можно пожалеть ее, переживающую свою драму и отстаивающую свою правду. Но нельзя не признать при этом, что ее драма и правда неизмеримо уже и мельче тех, которыми мучается, страдает Художник. Перед взыскующим оком искусства истина останется на стороне Клода Моне, в самый горестный час жизни взявшего в руки кисть для того, чтобы перенести на холст синие, серые, желтые пятна, которые смерть наложила на лицо лю-

бимой Камиллы. Прощаясь с нею, женой и другом, он написал ее последний — на смертном одре — портрет. И сравнил при этом себя с лошадью, на всю жизнь обреченной вращать мельничный жернов. Вот оно — самосожжение таланта в своем собственном творчестве. Но и возрождение в нем, к чему зовет у Ивана Давидкова Художник, здраво понимая, что «природа наделила его искрой таланта и он обязан ее сберечь. Не только ради себя, но и ради других людей. Потому что имеющий хлеб должен дать его птицам, а не плесени и червям»...

Не о насущном — духовном хлебе думает и Мартин Калинов, представляя себе жизнь непрерывным движением, в которое вовлечен человек, не знающий остановок на всем своем бесконечном пути. Но что служит ему ориентиром в этом «вечном движении», если не время, память, судьба, выступающие социальными и нравственными координатами самобытного художественного мира, созданного прозой Ивана Давидкова?..

**В. ОСКОЦКИЙ**

## ОТКРЫВАЯ ЭПОХУ

**Михаил Морозов. Избранное. Статья М. В. Урнова. Москва, «Искусство», 1979.**

Тот, кто посещал Третьяковскую галерею, не мог не заметить в зале с картинами В. А. Серова портрет мальша пяти-шести лет. Вцепившись ручонками в подлокотники кресла, с горящими глазами, кудрявой головой, он пытливо всматривается во что-то. Это Мика Морозов — отпрыск знаменитой купеческой семьи, сыгравшей немалую роль в развитии русской художественной культуры начала века. Впоследствии это Михаил Михайлович Морозов, талантливый лингвист, критик, переводчик, писатель.

Во всех этих ипостасях он и предстает перед нами в томе избранных работ, опубликованном издательством «Искусство». Но прежде всего М. М. Морозова помнят как глубокого исследователя жизни и творчества Шекспира. Доскональное знание текстов великого английского драматурга дало возможность Михаилу Михайловичу консультировать многочисленные шекспировские спектакли в 30 — 40-х годах. Он осуществил сам или в соавторстве многие переводы Шекспира. Его перу принадлежит подробный комментарий к произведениям английского классика Морозов — редактор шекспировских сборников, инициатор конференций по творчеству драматурга

Читая книгу, мы как бы благодаря тем самым пытливым, но теперь уже полным знания глазам открываем для себя далекую эпоху, в которую жил и творил «стрэтфордский лебедь» Написанная для серии «Жизнь замечательных людей», работа Морозова о Шекспире, включенная в однотомник,— блестящий рассказ и о поэте, и об обстоятельствах его жизни, и о созданных им величайших творениях, и об их театральной интерпретации на подмостках лондонского театра «Глобус».

Мы, зрители, на представлениях шекспировских пьес не всегда отдаем себе отчет, какая громадная, титаническая работа стоит за осмыслением и раскрытием подлинного «языка Шекспира». Того языка, который так многогранен и могуч, и в то же время местами так труден и «темен». Читая очерки-исследования М. М. Морозова, посвященные языку и стилю драматурга, в полную меру оцениваешь действительную глубину и размах шекспировской мысли и в то же время понимаешь, какой упорный творческий труд стоит за переводами его драм на русский язык. Мы вместе с исследователем изучаем яркие, конкретные, своеобразные метафоры Шекспира, вместе с ним следим за динамикой движения образов в произведениях драматурга.

«Быть или не быть» — этот монолог Гамлета, кажется, знают все. А между тем он в разные времена по-разному переводился на русский язык. И не всегда исчерпывающе точно и с полной глубиной. В том-то и состоит, говорит М. М. Морозов, творчество переводчика, «который вступил в борьбу с буквой подлинника, побеждает букву, преодолевает ее и, освободив содержание, облекает его в новую форму родного языка». Разбирая переводы, сделанные различными поэтами, исследователь решительно утверждает, что «проблема языка Шекспира глубоко и верно разрешена Пастернаком». В очерке, посвященном переводам С. Маршака сонетов Шекспира, автор дает им убедительную оценку: «Переводы Маршака стали фактом русской поэзии».

Многие ли знают, что А. Н. Островский был еще и переводчиком Шекспира? В книге М. М. Морозова этой совершенно неисследованной стороне творчества великого русского драматурга посвящен специальный очерк. Морозов разработал и совершенно новую тему «Белинский — шекспировед». По сути дела, доказал советский литератор, Белинский был основоположником русской шекспировской критики, в работе которого о Гамлете театральная и литературная критика нашли совершеннейший синтез.

Хотя Шекспир и его творчество занимали доминирующее место в творчестве М. М. Морозова, его интересы не ограничивались только ими. Свидетельство тому — блестящие литературные очерки о балладах, о Робин Гуде, об английских драматургах и поэтах К. Марло, Р. Бернсе, Дж. Китсе, Б. Шоу. Исследуя театр прошлого, Морозов не мог оставить без внимания вопросы сценического воплощения великих произведений мировой драматургии. Отсюда его интерес к русскому и советскому театру, к актерам русской провинциальной сцены. Некоторым из них — М. Т Иванову-Козельскому, В Н Андрееву-Бурлаку, М И. Писареву — он и посвятил литературные портреты.

Книга избранных произведений М. М. Морозова — прекрасная дань памяти этому большому ученому и исследователю.

**О. ВАСИЛЬЕВ**

# Издано за рубежом

## ПОЛЬША: НОВЫЕ КНИГИ

### ФОРМУЛА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

**Julian Kawalec. Pierwszy białoręki. Warszawa, Czytelnik, 1979.**

**Юлиан Кавалец. Первый белоручка. 1979.**

«Первым белоручкой» не без горькой иронии называет себя потомок хлеборобов, один из героев нового сборника рассказов Юлиана Кавальца. Польский писатель с неослабным вниманием следит за превращениями крестьянского сына — главного своего героя, ступившего в сложность нынешних мироспетений. Родившийся, по собственному выражению, «под соломенной стрехой», Кавалец прекрасно знает — об этом он говорил в интервью, опубликованном в журнале «Вопросы литературы»,— «что путь, ведущий вверх, нелегок, что в прогресс надо вкладывать силы, что переход от низшей формы к высшей не всегда совершается с веселой песней — часто ему сопутствует трагедия, и порой человек разрывается на кусочки, какую-то часть своей души оставляя возле старого, истертого ногами многих поколений порога, и к лучшей жизни идет, остро ощущая свою потерю».

«Часть души», оставленная возле «истертого родного порога», неизменно отзывается в героях Кавальца, сознательно или бессознательно стремящихся отстоять в себе лучшее из дедовского наследства, адаптируясь к меняющемуся миру. В последнее время «крестьянские сыновья» Кавальца все увереннее осваивают интеллектуальные профессии: герой вышедшего в 1977 году романа «Чертополох» Веслав Гурный—архитектор, безымянный «белоручка» из нового сборника — поднялся до кафедры университетского профессора. Однако неизжитое прошлое, например память о прежней деревенской нищете, способно воскресать в неожиданных и новых обличьях, как это случилось с впавшим в потребительский раж героем рассказа «Одежда». Точнее говоря, это — притча, как и многие другие рассказы сборника, но притчи Кавальца своеобразны: некоторая условность положенных в их основу ситуаций — явно «экспериментальных» в своей сгущенности — сочетается легко и органично с эмоциональной напряженностью формы, психологической правдой характеров, точностью— не только внешней, но и внутренней — реалий деревенского быта.

Герой «Одежды» — новоиспеченный горожанин, почувствовавший нелепость охватившей его вещемании не в городе, а среди своих, деревенских,— не случайный гость на страницах сборника Кавальца. Писатель словно бы сознательно стремится «расшатать» устоявшиеся стереотипы противопоставлений города и деревни, подчеркивая сложность и неоднозначность каждого случая. Он, пожалуй, согласен с тем, что уютная деревенская общительность в некоторых отношениях привлекательнее городской разобщенности. Однако писателю хорошо известны не только преимущества дружной сельской жизни, но и оборотная сторона доброго, патриархального согласия — на страницах сборника оно нередко оборачивается общей интуитивной неприязнью, даже ненавистью ко всему чужому или необычному. В рассказе «Большая потеха» таким чужаком выступает добродушный, по-детски доверчивый силач, недавно поселившийся в деревне, над которым соседи упражняются в неустанных и злых шутках. «Криворучке» Миколаю Погоде («Руки из карманов!») — у него от рождения изуродованы кисти рук — лишь ценой всей своей трудовой жизни, ценой упорной борьбы с жестокой к нему судьбой удалось заставить односельчан забыть о своем уродстве; своими калеками-руками он научился работать лучше иных здоровых. А вот юному Михалку из заглавного рассказа пришлось расплатиться за духовную исключительность — необычность внутренняя прощается труднее, чем внешняя,— собственной жизнью.

Гибель Михалка — незаживающий шрам на памяти и совести «белоручки». Большая часть рассказа выстроена как воображаемый монолог Михалка, а в сущности это много лет продолжающийся в душе героя внутренний диалог. Он не в состоянии забыть событий давних лет, когда он был не пожилым профессором, а юным, первым в своей деревне студентом, защитником и покровителем деревенского сироты (Михалек жил с бабкой и сестренкой), отверженного односельчанами,— считалось, что своими огромными «дьявольскими» глазищами он наводит порчу на скот и детей. Тоненький, светловолосый, с выразительными черными глазами Михалек был действительно необычен, и будущий профессор уже тогда почувствовал его «особость» — наделенный богатым воображением парнишка умел чувствовать окружающий мир тонко и по-своему. Ничего «страшного» не было в добром и одухотворенном мальчике, однако ненависть односельчан заставляла его замыкаться в себе и подозревать самого себя в чем-то, хоть от него не зависящем, но зловещем. С годами положение Михалка становилось все хуже: репутация «помощника сатаны» закрепилась за ним окончательно, и любая деревенская беда грозила ему несчастьем. Горячо сочувствующий другу студент решил раз и навсегда покончить с этим зловещим положением и в один из приездов домой все каникулы потратил на просветительскую работу среди земляков — ему, переполненному свеженькими знаниями, допотопные страхи односельчан и впрямь казались нелепыми и смешными. Кое-какие плоды его работы ощущались

лишь до очередной, нередкой по тем временам напасти: в деревне начался падеж скота, и Михалку, который уже осмеливался выходить на улицу, снова пришлось укрыться в постоянное свое убежище — овин.

Все эти события переданы «голосом» Михалка, в манере деревенского мечтателя, который был «странным, потому что по-своему называл разные вещи на свете»; фольклорные мотивы и интонации, яркая образность, усиленная ритмическая структура, взволнованный синтаксис — все это придает монологу Михалка повышенную выразительность, приближая его к народно-поэтической речи. Да и сам редкий дар поэтического восприятия окружающего, которым наделен деревенский паренек,— такое же выражение народного мировидения, как и суеверные страхи его односельчан. Качества эти, в живой крестьянской душе нередко переплетенные в сложный узел, разведены писателем на далекие, враждебные позиции, и в примирители, посредники меж ними ставится первый сельский интеллигент. Для него, «посредника», собственно, и создана вся эта крайне напряженная, проверочная ситуация, и трагическая суть рассказа в том, что к новой своей сложной роли скороспелый умник не был готов: его презрение к старинному мраку оказалось напускным, головным путем усвоенным содержимым, не вошедшим в еще не отслоившееся от «коллективного» сознание. Как это ни парадоксально, студент, искренний защитник юного деревенского изгоя, становится виновником его гибели.

Михалек, которому надоело отсиживаться, вопреки строгому наказу студента — тот в это время уехал в поле за картошкой: была пора уборки — покинул овин. и за околицей «помощника сатаны» окружили мужики с дикими, в землю упертыми лицами, готовые «собственными руками помочь господу». Мальчику чудом удалось вырваться из зловещего, дышащего смертью круга, и, когда он мчался от погони по дороге между двумя рядами плетней, ему навстречу на возу картошки выехал студент. Кони студента вдруг понесли — разумеется, не от «дьявольских» глаз Михалка. Тем не менее студент, объятый суеверным ужасом, поднявшимся из самому ему неведомых закоулков души, вместо того чтобы свернуть на кстати подоспевшую развилку — это было единственным и вполне возможным спасительным выходом,— спрыгнул с подводы, пустив коней прямо на друга, и сел у обочины, закрыв лицо руками. Треск рушащегося плетня и опрокинутой подводы возвестил ему о гибели Михалка и коней.

Это тяжкое воспоминание вместе с прочим, не очень легким грузом прошлого герой дотащил до профессорской кафедры. Путь к этой кафедре представляется ему восхождением на крутую, обрывистую, грозящую поминутным обвалом гору: из неказистой деревенской поклажи все время что-нибудь вываливается, и, превозмогая желание выбросить старую вещь, выбиваясь из сил, он возвращается и поднимает ее — сгодится в пути, теша себя тайной надеждой, что уж там-то, наверху, он отдохнет как следует, устроив уютный, укромный садик, прочно отгороженный от неприятных шумов жизни. Однако когда деревенский парень одолевает намеченную вершину, она оказывается совсем неподходящей для создания обывательского рая, ибо для героя она становится той высотой, на которой обретается свобода и острота духовного зрения. И прошлое, которому он теперь имеет смелость взглянуть прямо в лицо, уже преображенное в настоящее напряженным духовным усилием, с этой высоты представляется трудным, но необходимым и ценным материалом для самопознания, для нравственного самостроительства. Такова нелегкая формула преемственности, которую предлагает писатель.

Формула эта действительна не только для выходцев из деревни, переселившихся в город, но и для тех, кто остался в потомственном своем, крестьянском качестве в прежних дедовских пределах. Патриархальный способ хранения и передачи опыта с его твердой, «рецептурной» разграниченностью добра и зла изжил себя в новой деревне, тесно взаимодействующей с иными сферами современной жизни, которая заставляет каждого пропускать события прошлого и настоящего через собственный разум и сердце. Тем более что многие «больные» нынешние вопросы, например, о нарушении согласия с природой, крестьянином, старшим на земле, у истоков жизни стоящим человеком — недаром же его именуют «природным» — переживаются особенно остро.

В сборнике Кавальца, как и в других его книгах, природе отведено равное с человеком место. Реки, поля, леса одухотворены и выступают действующими лицами, не говоря уж о «братьях наших меньших»,— можно вспомнить, какой «очеловеченной» предстает с его страниц смерть трудяги-лошади («Люди, кони, птицы»). Символом «сжитости» народной души с природой выступает тополь из рассказа «Руки из карманов!» — «первое дерево на равнине», изумляющее приезжих своей величавостью: «Но никто из приезжих, никто чужой не поймет того, что связывает людей с этим деревом, потому что это создавалось не в одну человеческую жизнь, а многими поколениями, и теперь уже дети рождаются с готовым словно бы ощущением, что на этой равнине растет самое хорошее дерево на свете, и с готовым знанием, что к нему нельзя подойти с топором и пилой, а только с открытыми ладонями, что нельзя его ударить».

Для крестьян в этом тополе главное не то, что он такой красивый и величественный, а то, что он, столько раз их спасавший, «хороший», «людской», потому их так и раздражает восторженное суесловие горожан, которые, может, и в состоянии понять существование тайной связи между деревом и ними, но не в состоянии ее «постигнуть». Четко сформулированная в этом рассказе разница между «понять» и «постигнуть» проходит одним из основных, пожалуй, мотивов и по другим рассказам сборника: «понять» — рассудком, «постигнуть» — всей полнотой чувств (этой книге в эпиграф пошли бы известные толстовские слова: «Чувства умнее ума») или, как говорится у нас, «узнать сердцем». Все герои сборника что-то постигают, иногда очень трудно и мучительно, и самое главное, что они оказываются способными к этому. В крестьянах

Кавальца, какими бы корявыми и заскорузлыми они ни выглядели, часто живет «некто иной», «отличный от них», более мудрый и человечный, «но в них же народившийся и в них пребывающий».

Он оживает, например, в крестьянине из рассказа «Для страха не будет времени», привезшем в город, на скупочный центр, жеребенка на продажу. Жеребенка удается ему продать очень удачливо, да и все, что делает этот степенный, ухватливый мужик, воспринимающий жизнь сквозь собственный интерес, всегда выходит ловко и прибыльно. Когда сделка уже завершена, он узнает, что хорошенький его, со звездочкой и кудряшками на лбу, жеребенок куплен на убой, в Бельгию. Этого он «постигнуть» не может: для крестьянина «забить годовалого жеребенка — все равно что убить парнишку». Поняв, что жеребенка ему не выкупить обратно, мужик делается странным, непохожим на себя, напоминает помешанного — суматошные его действия, нелепые и смешные со стороны, выдают всю степень переживаемого им потрясения. В мозгу его, лихорадочно ищущем спасительного выхода, все время всплывает лишь одна способная «утешить» мысль, что в бельгийских бойнях (он ко всем пристает с расспросами о заграничных бойнях) наверняка забивают электричеством, и его жеребенок, подумав, что к нему подошли приласкать, не успеет испугаться — «для страха не будет времени». В конце рассказа герой на своей Каштанке, матери жеребенка, мчится за поездом, увозящем убойный скот, стараясь различить голос «своего» в общем ржанье, похожем «не то на стон, не то на рев сирены». «Кнутом и лаской» он заставляет бедную лошадь «подать голос», «ответить», хоть и знает, как трудно это сделать в галопе,— «может, услышит он и будет знать, что мы его провожаем». После этой нелепой и бессмысленной гонки, отирая пот с загнанной лошади, тыкаясь лицом в ее родную морду и при этом все время болезненно ощущая вздувшийся «на высоте сердца» бумажник, герой словами «разумными», в мужицких устах, близкими к бреду, старается утешить то ли Каштанку, словно бы все понимающую, то ли себя, отказывающегося принять вдруг открывшуюся ему — свою и мира — жестокость.

Потребность «гуманизироваться», столь остро ощущаемая современным сознанием и столь широко обсуждаемая, предстает здесь в непосредственном, трагическом «постижении» человека, не знающего даже имени своего горя. Этот рассказ (один из лучших в книге, в нем вовсе нет притчевой искусственности), как и весь сборник в целом,— интересный пример подключения «деревенской» тематики к той, которую принято называть общечеловеческой, нравственно-психологической. И подключение это совершается органично, благодаря способности писателя чувствовать народную толщу во всем ее сложном строении, благодаря его умению — а это Юлиан Кавалец ставит целью своего творчества — «извлечь правду и красоту деревни из-за плетня — на широкий всенародный тракт».

**Н. СМИРНОВА**

## «НЕЙТРАЛЬНЫМ ОСТАВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ...»

**Andrzej Kuśniewicz. Witraż. Warszawa, PIW, 1980.**

**Анджей Кусьневич. Витраж. 1980.**

*Анджей Кусьневич (р. в 1904 г.)— один из самых популярных писателей в сегодняшней Польше. В литературе он дебютировал сборником стихов, когда ему было уже за пятьдесят. С тех пор у него вышло еще три книги стихов и девять томов прозы, отличающейся тонкой и оригинальной стилистикой. Кусьневич — лауреат многих литературных премий, в том числе и Государственной премии I степени.*

*Прозу Кусьневича в целом, как и переведенный на русский язык роман «Состояние невесомости», зачастую относят к жанру исторических произведений. Однако по сути книги писателя глубоко злободневны — осмысление прошлого, истории помогает лучше понять современность.*

*В романе «Состояние невесомости», «обращаясь к прошлому — близкому и далекому... Анджей Кусьневич рисует сочную, красочную панораму Польши эпохи разделов и наполеоновских войн,— пишет в предисловии к советскому изданию этого романа его переводчик А. Ермонский.— И все же не сама история влечет к себе Анджея Кусьневича. Ведь уход в прошлое для него и для его главного героя не самоцель, а предлог к чему-то, как замечает писатель, «мера сравнения», «исходная точка» в поисках настоящего».*

*С большим интересом встречен в Польше девятый роман Кусьневича — «Витраж», над которым он работал последние годы. Запись разговора с писателем о его творчестве и о его новом произведении мы предлагаем вниманию наших читателей.*

**— В прошлом году на русском языке вышел ваш роман «Состояние невесомости». Как он создавался?**

— Мне очень приятно, что этот роман появился на русском языке. Хотя я и удивлен, что именно этот. По-моему, он у меня самый трудный для перевода. Действие происходит и в настоящем и в прошлом, я старался воспроизвести язык, на котором говорили в XVIII веке, так что у переводчика было, наверное, много трудностей.

Написал я его в 1972 году, во время тяжелой болезни. Мне казалось, что жить осталось всего несколько дней, а может, и часов. Но дописать роман хотелось во что бы то ни стало, и вот, находясь в состоянии какого-то особого возбуждения, я писал очень быстро — меня подгоняло время. Наверное, отсюда и эти перебивы времени, и некоторая лихорадочность изложения.

**— Расскажите, пожалуйста, о вашем новом, только что вышедшем романе «Витраж».**

— Его действие происходит во Франции в 1936—1941 годах. Война застала меня на юге Франции в Тулузе, и, когда Франция была оккупирована, я вступил в Сопротивление. Одной из моих обязанностей было пере-

правлять людей через границу в Андорру или в Португалию, откуда они перебирались в Англию. В 1942 году я был арестован гестапо, отправлен в парижскую тюрьму Френ и приговорен к смерти. Но казнь мне заменили отправкой в концлагерь Маутхаузен, где я находился до самого конца войны. После Освобождения я сразу вернулся в Польшу. Вот почему действие в книге обрывается в 1941 году. Я мог писать только о том, что видел своими глазами, пока был на свободе.

**— А пережитое вами в концлагере, ваш собственный трагический опыт остались за рамками романа?**

— Дело в том, что уже выходило много книг — это и книги Тадеуша Боровского, и роман Робера Мерля «Смерть — мое ремесло», в которых с большой силой показано, что являли собой фашистские лагеря смерти. Я не ставил перед собой этой — очень трудной — задачи. Но конечно, воспоминания тех лет, следы прошлого можно найти почти в каждой из моих книг. Особенно в романе «Третье царство».

Однако даже то, что я видел собственными глазами, частично забылось. Я прекрасно помню атмосферу и ситуацию в целом, но какие-то детали и факты с годами стираются из памяти, поэтому пришлось поработать во французских архивах, перечитать прессу, выходившую в те годы, чтобы ничего не перепутать и не упустить.

Я решил показать интеллигента в момент, когда необходимо сделать выбор, занять чью-то сторону. Мой герой наполовину француз, наполовину поляк. Он живет на юге Франции, по соседству с Испанией, и вот там начинается гражданская война, но он уверен, что к нему все это не имеет никакого отношения. Война докатывается до Франции, страна оказывается оккупированной, но мой герой по-прежнему пытается занимать такую же нейтральную позицию. Один из его родственников по польской линии, еще совсем юноша, участвует в Сопротивлении и, попав в лапы жандармов, погибает. Другой член его семьи — по французской линии,— разделяя идеологию фашизма, вступает в созданный в 1941 году во Франции добровольный фашистский легион. Он тоже вскоре гибнет.

Рядом с моим героем, хотя и по разные стороны баррикады, погибают его родственники — и польские и французские, а он, очевидец и участник катастрофы, по-прежнему тщится сохранять нейтралитет и ни во что не вмешиваться. И при этом предается размышлениям: неужели он, умный и образованный человек, не сможет остаться в стороне от всего, что происходит вокруг, неужели, как в Библии, его верблюду не удастся пройти сквозь игольное ушко.

Мне хочется разобраться в политической и нравственной природе коллаборационизма. И не является ли по сути коллаборационистской позиция моего персонажа, который любой ценой пытается сохранить нейтралитет, когда жизнь требует от него решительного выбора. Я расстаюсь с ним в 1941 году, оставляя его наедине с вопросом, на который он мучительно ищет ответ: «Что же делать?»

Вопрос этот мне представляется очень острым и в наше время. Ведь окончательно фашизм еще не уничтожен. В странах Запада то и дело наблюдаются его вспышки. И особенно опасны его бациллы там, где анархически настроенная молодежь, запутавшаяся в разного рода теориях и попавшая под влияние антикоммунистической пропаганды, в поисках сильной власти примыкает к фашистским группировкам. Разве это не опасный симптом, что в ФРГ, во Франции, например, выходят сейчас книги людей, которые в годы войны исповедовали фашизм? Поэтому так важна проблема выбора — в любой ситуации нужно уметь определить, на чьей ты стороне, нейтральным оставаться нельзя, будь то решающий момент Истории или наше — тоже довольно напряженное — время.

## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ

**Slawomir Lubinski. Ballada o Januszku. Warszawa, PIW, 1979.**

**Славомир Лубинский. Баллада о Янушеке. 1979.**

В сегодняшней польской критике, на симпозиумах, за редакционными «круглыми столами» ведутся бурные и зачастую очень острые споры о молодой литературе. Явление закономерное: читатели проявляют живой интерес к новым писательским именам, стараются угадать в никому не известных авторах будущих мастеров. Возможно, широкому притоку новых имен способствовали принятые в последние годы поощрительные меры, в том числе издательские конкурсы на лучший дебют, облегчающие молодым доступ на страницы журналов.

Среди дебютов прошлого года не составляет труда выделить книгу, с редким единодушием и, я бы даже сказала с энтузиазмом, встреченную критикой и читателями. Это — роман Славомира Лубинского «Баллада о Янушеке». Имя Лубинского буквально замелькало на страницах периодической печати, а книга мгновенно была распродана, и сразу же вышло второе издание.

Стало привычным — и у нас, и в Польше — «молодыми» считать писателей, которые перешагнули за тридцать и даже приближающихся к сорока. Зачастую смешиваются два понятия: молодой и начинающий. Славомир Лубинский — дебютант в художественной литературе, но по возрасту и по опыту — человек зрелый. Ему за сорок. Последние годы он занимается журналистикой. До этого работал курьером и снабженцем, лаборантом и рабочим на заводе. Эти сведения вынесены и на обложку романа. Однако в интервью, опубликованном на страницах еженедельника «Литература», Лубинский упомянул, что в краткой издательской справке перечислено далеко не все, чем ему в жизни довелось заниматься. В 1964 году, будучи бригадиром на аккумуляторной фабрике, он опубликовал свой первый репортаж «фабричные заметки», после чего стал писать регулярно — репортажи, очерки, рассказы, работал в газетах. «Для романа нуж-

но созреть,— говорит Лубинский.— Я созревал долго».

Как было отмечено в одной из польских рецензий на книгу, ее героем, судя по названию, должен был бы быть мужчина, без сомнения, молодой. Однако это женщина, рассказывающая балладу. Рассказывать балладу... В словаре иностранных слов (1949 года издания) о балладе мы читаем: «в средневековых романских странах — лирическая песня... В дальнейшем баллада как жанр претерпела ряд изменений... в настоящее время — лиро-эпическое сюжетное произведение». В данном случае автор «лиро-эпического произведения» — простая малограмотная пожилая женщина; этим определяется в первую очередь языковой строй всего романа. Язык монолога, занимающего триста книжных страниц, характерен именно для того социального слоя, к которому принадлежит «рассказчица». Неся все черты ее личности — а скорее, будучи этой личностью определен,— он исподволь диктует читателю отношение к описываемым событиям, помогая ему освоиться в русле неторопливого, образного (хотя все образы созданы в одной манере, одной рукой — может быть, позволительно сказать: рукой художника-примитивиста) повествования.

Геновефа Смоливонсова рассказывает о себе и о своем сыне Янушеке адвокату, взявшемуся, как мы догадываемся, защищать Янушека, осужденного за убийство. Все события трудной жизни этой женщины, естественно, предстают перед нами окрашенными ее, в силу обстоятельств достаточно ограниченным и достаточно тенденциозным, восприятием действительности. Но вместе с тем — что удивительно — в «чистом» виде. Без грима, без философствования: факты, люди, поступки.

Жизнь не баловала Смоливонсову. Во время войны она осталась вдовой с маленьким ребенком на руках. И этому ребенку посвятила себя, мечтая об одном: чтобы ее Янушеку жизнь принесла в изобилии те блага и радости, которых она была лишена, чтобы он не познал горечи и тяжести труда, доставшихся ей в удел. Все ее существование свелось практически к одному: тяжелой физической работе. Днем — столовая, где она работает уборщицей, посудомойкой, наконец поварихой. Вечером — приходящей прислугой «у людей». И еще стирка чужого белья у себя дома. И суровый повседневный быт в бараке, где нет воды и канализации, на окраине небольшого городка близ Варшавы. Неудачная личная жизнь: когда, кажется, счастье ей улыбнулось и она должна была соединиться с любящим ее человеком, тот погиб под поездом. Смирившись и с этим ударом судьбы, Смоливонсова полностью отдает себя сыну: она будет делать все, чтобы как можно мягче была дорожка, которую ему предстоит пройти, чтобы Янушек ни в чем не нуждался, был «не хуже» других. В своей поистине слепой материнской любви она не замечает (вопреки здравому рассудку, которым безусловно наделена) уже с малолетства проявлявшихся у Янушека черт, способных по меньшей мере насторожить. Совсем еще в нежном возрасте мальчик с циничной откровенностью шантажирует мать (а впоследствии без колебаний поднимает на нее руку). Мелкие проступки в школе. Хулиганские выходки, участие в изнасиловании и в нападении — колония для трудновоспитуемых подростков. Потом — проблеск надежды: мальчик, вернее, уже юноша возвращается домой как будто изменившимся к лучшему, «удачно» женится. Наконец-то может передохнуть Геновефа, дать покой больным, отказывающимся служить ногам. Но... увы! Смоливонсова узнает, что сын, тайком от нее, растратил с невероятным трудом скопленные за долгие годы сбережения, предназначенные на покупку кооперативной квартиры. А за этим ударом последовал еще более страшный; Янушек совершает новое преступление — по его вине умирает человек. И вот сын сидит в тюрьме, а мать, теперь, видимо, уже до конца дней прикованная к постели, рассказывает свою печальную историю адвокату.

Мы сострадаем этой женщине. Нас привлекает в ней ее сила духа, благодаря которой она достойно выносит все испытания. Но и сочувствуя, понимаем ее ограниченность, видим ее ошибки. Она и сама признается адвокату: «Так закончился большой кусок моей жизни, о котором я теперь целыми днями раздумываю, и такие меня берут сомнения: в каком месте сделала я наиважнейшую эту ошибку? Где и в какой день это все началось? И хоть ломаю себе голову, не знаю, моя ли то была вина или такая на молодежь распространилась мировая зараза». Смоливонсова не умеет доверять людям, отворачивается даже от тех, кто искренне хотел бы ей помочь,— и в этом не только ее ошибка, но и беда. Погружая читателя в стихию несчастливой жизни своей героини, автор дает нам понять, что ее рассказ нужно воспринимать сквозь некий фильтр, сетку, сотканную у каждого человека из собственного опыта. Мы отдаем себе отчет и в искренности, и в необъективности рассказчицы. И... тем объективнее получается общая картина, выходящая за пределы ограниченной отношениями матери и сына «семейной хроники». Страницы романа вместили множество примет времени и целый ряд разноплановых, остро трактуемых образов. Среди них — простые работницы, рабочие, руководители, профсоюзные деятели, бюрократы, молодежь и ее равнодушные подчас наставники, представители интеллигенции и современные нувориши — частные предприниматели. Целый мир небольшого городка на протяжении двух десятилетий. Многое в этом мире заслуживает осуждения, заставляет задуматься. Этого и добивался автор. Свою задачу в уже упомянутом интервью в «Литературе» он сформулировал следующим образом: «Я всегда хотел написать такую книгу. Хотел по нескольким причинам. Мир предместий мне чем-то близок... И еще мне хотелось кое-что высмеять. Исковерканный стиль жизни, образ мышления. Подмену смысла жизни его видимостью, обрастание существенного пустой риторикой. Очень легко иметь приличествующую обстановке одежду, сохранять надлежащее выражение лица. Но

все вокруг меняется, и то, что было самым легким, становится обременительным. Потому что приходится все время спешить, никак нельзя отстать. Вот это и нужно высмеивать. Только так можно с этим бороться... Над Смоливонсовой насмехаться я не хотел, это точно. Необходима была такая фигура, вокруг которой все вертится, которая всему дает свою оценку. Может быть, порой одностороннюю, но — собственную и человеческую. Поэтому я ее выдумал. Ее, и ее пригородно-городской образ мышления, и ее язык, этому образу мышления соответствующий. Вульгарный, обиходный, порой выспренний, но прежде всего чувствительный к любому пустословию, любой фальши. В этой женщине есть то, что я больше всего ценю в человеке: безупречный нравственный стержень, кристальность, которую не могут замутить жизненные обстоятельства. Ведь благодаря таким женщинам весь этот нескладный мир вообще мог существовать. На них все держалось. Такой она должна была быть. Такая она есть».

**К. СТАРОСЕЛЬСКАЯ**

## ЧТОБЫ ПРОБУДИТЬ СОЗНАНИЕ

**Janusz Głowacki. Opowiadania wybvane. Warszawa, PIW, 1978.**
**Janusz Głowacki. Kopciuch. «Dialog» № 8 (280), 1979.**

**Януш Гловацкий. Избранное. 1978.**
**Януш Гловацкий. Золушка. «Диалог» № 8 (280), 1979.**

Кажется, что польский прозаик Януш Гловацкий (р. в 1938 г.) пишет словно бы нехотя, начинает рассказывать с запятой, как о незначительном и на запятой же заканчивает, но внутри его произведений все свинчено с железной последовательностью.

Вот в рассказе «Конго на Кубуся Пухатка» молодой герой сидит на званом вечере у тетки, рядом со своим тестем, директором, и, морщась от пошлости ситуации, слушает, как тетка рассказывает о поездке в Конго и разыгрывает при этом с мужем и гостями бездарный светский спектакль с продуманными паузами и репликами. Слушает герой и исподволь прокручивает ленту своих отношений с женой и обнаруживает ту же пошлость и картинность, те же пародийно-европейские правила игры — обряд знакомства, марка машины, длина манжет, но теперь, когда жена начинает сопротивляться этому мертвому ритуалу, это раздражает его, и он уже не находит вечер своей тетки таким пошлым и хочет не начинать все сначала, а теперь уже сознательно продлить свой союз с женой и с этим устойчивым миром иллюзорных ценностей.

Так же с запятой, с глупости начинается новогодний вечер в рассказе «Новый танец ла-ба-да», и бьется между анекдотами, дробится и обесценивается в них история деревенского коммуниста, который тут вдруг решил исповедаться в своей сложной, путанно-растраченной жизни, при том что вера его тверда и взгляды последовательны, а все шло зло и неверно, и вот некому рассказать — никто не слышит его за танцами, тостами, своими заботами, скучным весельем, пока не разбивается окно и не падает рассказчик на мостовую. Вечеринка не прерывается, только, может быть, кто-то недоуменно скажет: «Чего это он?» — и забудет. Под утро собравшиеся поют все вместе бодрую песню и удивляются, как это они помнят эту песню и почему нет теперь таких песен...

Потеря жизненного ориентира гонит одних персонажей Гловацкого в Швецию добывать себе щегольской автомобиль («Volvo для mouse-killera»), других — исповедовать бодрые, геральдические национальные принципы, заимствованные у героев Сенкевича и Конрада, а жить за счет богатых старых американок («My sweet Раскольников»), третьих — биться в тенетах душного ресторана, из которого нет выхода, и искать философские мотивировки, строить готические картины бессмысленности мира, пока не окажется, что самый незначительный из всех присутствующих, провинциальный портной, со скучной женщиной, ищущей, кажется, одной только любви, откроют друг в друге свет жизни и захотят поделиться этой радостью со всеми запертыми здесь, и сейчас же оковы падут сами собою, и злая сила отступит, объявив, что выход свободен. И эти двое пойдут, окликая друг друга в смятенно кинувшейся к выходу «умной» толпе простыми словами:

— Я буду точить тебе иглы.
— Я хочу иметь ребенка.
— Я дам тебе ребенка... и т. д.

И рассудительный писатель, томившийся вместе со всеми и много говоривший о смерти, истины и лживости писательского труда, равнодушно и брезгливо наблюдавший за своим героем («неужели вот это и есть настоящий человек?»), иронически заметит в конце, что творятся еще вокруг вещи, которые философии и не снились («Парадиз»).

Здесь хочется пересказывать все подряд — так существенны вопросы, задетые польским писателем, и не терпится выговорить то, что он скрыл за умной усмешкой, словно растолковать себе действительное существо его снисходительно-спокойных рассказов: это знак хорошей прозы и художественной свободы автора. Не зря его переводит на экран Анджей Вайда, который поставил фильм по роману, отразившему настроение более старшего поколения,— «Пепел и алмаз».

У Гловацкого Вайда выбирает «Охоту на мух». Молодой человек спокойно и не первый год выполняет обязанности заведующего отделом международного книгообмена в какой-то библиотеке и, кажется, мог бы исправно делать это до смертного часа, но появляется на его дороге юная нетерпеливая девушка, уверенная, что он создан для большего, и он, разрываясь между этой прекрасной искусительницей и женою с сыном, пускается то в сочинительство, то в переводы и везде проигрывает, потому что ни на что не решается как следует и все делает, испуганно оглядываясь на свою растерянную душу. И вот он уже в воображении душит свою юную музу, которая, лег-

ко принимая его очередное поражение, уже несет ему новый план освобождения от повседневности. «Расправившись» с возлюбленной, он возвращается к жене, телевизору, перед которым, как прямая его часть, живет тесть, и опять зарывается в привычные бумаги и уже готов делить с тестем телевизионные восторги. Все кончено.

Как это созвучно володинскому «Осеннему марафону» и как далеко от него при всей родственности ситуации! Как жалко-неловок и мил володинский герой, запутавшийся в себе до потери себя, и как тот же герой в той же ситуации пошл у Гловацкого. Один жалеет, другой — брезгует. Герой Гловацкого — действительно ловец пустяков, житейских мух, как и его юная муза, которая точно так же охотится на него самого, пытаясь выкроить из него то одно, то другое, не умея вглядеться в то, что он есть на самом деле. Не случайно он в воображении «убивает» ее именно в парке, в стране мечтаний, где они намеревались, сбежав от реальности, ходить нагишом и читать Тойнби в подлиннике. Все это, контрапунктированное телевизионной передачей из мира животных, зло и скучно. Мухи и мухи...

Гловацкий — жесткий писатель. Он, без сомнения, знает и о другой стороне человеческого существования, благодаря которой мир все-таки идет разумным путем и создает благородные моральные, научные и художественные ценности, но в центре авторского внимания — обочина жизни, которая порой так агрессивно идет серединою дороги, и он не хочет прятаться от тяжелых вопросов.

В пьесе Гловацкого «Золушка», опубликованной в журнале «Диалог» и поставленной не только в Польше, но и за рубежом, эти сложные вопросы звучат особенно резко. Девицы из колонии несовершеннолетних преступниц играют перед столичной киногруппой назидательную «Золушку», расцвечивая ее горестно-жестокими примерами из своей непасторальной жизни. Все это и так тягостно, а заместитель директора еще находит тут повод для саморекламы и, припугнув девушек, заставляет их почаще упоминать его имя и заслуги. А режиссеру нужен эффектный «ход», и сначала он сетует, что здесь нет тринадцатилетней девочки, которая убила своего любовника, застав его с другой («это было бы прекрасным началом для картины»), а потом решает спровоцировать конфликт среди тех, кто на площадке, и девушки, и без того искалеченные жизнью, оказываются ввергнуты в жестокий эксперимент, кончающийся вскрытием вен и удовлетворенной финальной репликой режиссера: «На сегодня съемки окончены». На сегодня... А завтра?..

Жестокость, как способ разбудить успокоенное сознание, не в новинку в литературе и кинематографе. Не новость она и в польской драматургии. Меняется, может быть, только интонация. Гловацкий бесстрастно или чуть иронично свидетельствует. Смеясь над героями, писатель зовет их к зоркости. Пощечины его болезненны, но читатель после них трезвеет и видит мир яснее и упорядоченнее.

Писатель, что видно уже по сюжетам, порою умозрителен, а муза его несколько механистична, и часто сочинения похожи на упражнения по контрапункту. Скрывая это, он и притворяется легким. Но греха в этом нет. Синтезируя реальность, он не хочет делать это в формах обманчивой жизненности, потому что читатель, и в первую очередь молодой читатель, к которому Гловацкий обращается, достаточно проворен разумом, чтобы схватывать уроки математической чистоты и символической обобщенности.

Читатель и писатель доверяют друг другу на уровне чувства и, опуская его, переходят на более отчетливый язык ума. Холодные эти источники бьют, однако, из горячих глубин ищущего поколения, которое хочет наследовать подлинно достойное в национальной судьбе, о чем польская литература всегда говорила искренне и нетерпеливо. Януш Гловацкий продолжает эту традицию отечественной культуры.

**ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ**

◆

# Из месяца в месяц

## АЛЖИР

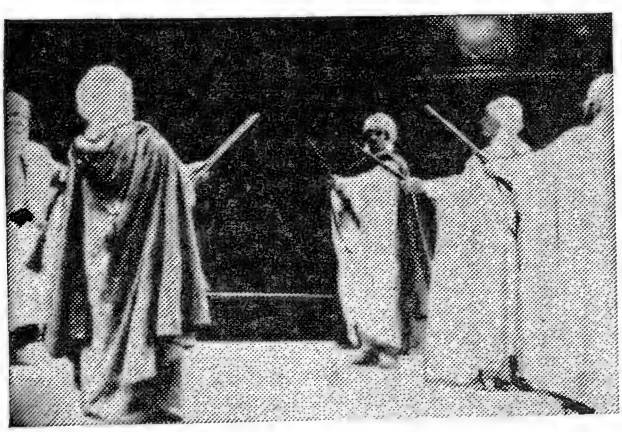
### ЖЕНЩИНЫ-ПИСАТЕЛЬНИЦЫ В АЛЖИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

О вкладе женщин в современную алжирскую прозу и поэзию рассказывается в большой статье критика Ж. Деже «Женщины-писательницы в алжирской литературе на французском языке», опубликованной журналом «ИБЛА».

В статье исследуется период с 1947 года, когда вышел роман Таос Амруш «Черный гиацинт» — первое произведение, написанное женщиной-алжиркой, и до конца 70-х годов, ознаменовавшихся появлением новых книг Асии Джеббар и других алжирских писательниц.

Большой популярностью у алжирских зрителей пользуется ансамбль «Народное искусство».
На снимке: выступление ансамбля.

*(Журнал «Ас-Сакафа аль-Арабийя»)*



## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРИРОДОЙ

Джон Фаулз неоднократно замечал, что у человека XX века досадно мало времени остается на то, чтобы замедлить свой бег по жизни и всмотреться в окружающую его природу. По его глубокому убеждению, гармония личности человека может быть достигнута лишь в том случае, если он будет не разрушать свою естественную связь с природой, но, напротив, всячески ее поддерживать.

Именно эти мысли в первую очередь, как заметил сам Фаулз, заставили его создать две необычные по тематике, форме и настроению книги — «Острова» и «Дерево». Выступил в этих книгах Фаулз не один, а в содружестве с двумя фотографами, которые сопроводили его текст превосходными иллюстрациями.

Над «Островами» он работал совместно с известным британским фотографом, лауреатом нескольких специальных премий Фэй Годвин, которой удалось увидеть в островах, «этих скелетах моря и суши, поэзию и философию».

«Я пытался постичь тайну молчания островов,— пишет Фаулз,— почувствовать их магию, найти способ не заблудиться в лабиринтах их путей и тропинок. И наконец, понять вечное стремление острова соприкоснуться с сушей».

Тема острова, замкнутого, отделенного от мира пространства, не впервые возникает в творчестве Фаулза. «Островом» было поместье Котминэ в повести «Башня из черного дерева», «островом» был дом Клегга, где томилась Миранда в «Коллекционере», «островом» был и дворец Кончиса в «Маге».

В книге Фаулза немало интересных замечаний о природе творчества, некоторые страницы воспринимаются как эссе, посвященные анализу крупнейших литературных произведений. Особенно выделяются страницы, где Фаулз размышляет об «Одиссее» Гомера и одиссее XX века — романе Джеймса Джойса «Улисс».

Не меньший интерес привлекла и книга «Дерево».

Как сообщается в рецензии, книга эта — воспоминания о детстве и юности писателя. В ней подробно и со свойственным Фаулзу изяществом анализируется воздействие природы на его собственную жизнь. Много внимания уделено современной городской цивилизации, так часто калечащей душу человека.

Основным героем книги, как отмечено в анонсе, являются деревья. Как и в «Островах», текст идет параллельно с фотографиями, на этот раз они выполнены Ф. Хорвартом.

### МИР БЕРИЛ КУК

Под названием «Частное мнение» в лондонском издательстве Джона Меррея вышла вторая книга репродукций картин художницы Берил Кук.

Для Берил Кук мир полон забавных и необычных ситуаций. Ее наблюдения за окружающими людьми полны добродушного юмора, ей не свойственно стремление зло высмеять человеческие недостатки. «В центре ее внимания — модные увлечения людей, их мелкие человеческие слабости, странности поведения»,— пишет рецензент газеты «Морнинг стар» Эммануэль Купер.

## ВЕНГРИЯ

### ЗОЛОТОЙ ОРДЕН ТРУДА — ПЕРЕВОДЧИКУ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Имя Имре Макаи хорошо известно читателям советской литературы в Венгрии. Вот уже более тридцати лет работает он в области перевода на венгерский язык произведений русской и советской литературы. «Три с половиной тысячи печатных листов или семьдесят тысяч машинописных страниц—такими внушительными цифрами исчисляется объем его труда. Среди них — вошедший в сокровищницу венгерской литературы блистательный перевод «Тихого Дона» Михаила Шолохова, выдержавший десятки изданий, непревзойденный перевод «Войны и мира» Льва Толстого, также постоянно переиздающийся перевод романа Ф. Достоевского «Идиот»,— отмечает на страницах «Элет эш иродалом» критик Дердь Бакчи.

Имре Макаи принадлежит воссоздание на его родном языке прозы и пьес Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, М. Горького и многих других произведений русской и советской классики.

Творчество этого самобытного мастера не раз отмечалось высокими наградами: в 1964 году Имре Макаи был удостоен литературной премии Аттилы Йожефа, а в 1966 году он был награжден советским орденом «Знак Почета». И вот в год своего шестидесятилетнего юбилея Имре Макаи награжден Золотым орденом Труда.

Имре Макаи продолжает не только активно работать как переводчик — он ведет семинар в Союзе венгерских писателей и рубрику «На двух языках» в журнале «Советская литература».

### ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА МАГДЫ САБО

Писательница Магда Сабо известна советскому читателю по рассказам, печатавшимся в «Иностранной литературе» и других изданиях, а также по однотомнику «Избранное», вышедшему в прошлом году в издательстве «Художественная литература».

В этом году Будапештский театр имени Мадача осуществил постановку исторической драмы Магды Сабо «Сын женщины из Мерано», рассказывающей о венгерском короле Белле IV, во время правления которого страна пережила татарское нашествие.

Спектакль «Сын женщины из Мерано» вызвал широкие отклики венгерской печати. Отмечая достоинства пьесы Магды Сабо, театральные критики пишут, что в трактовке образа Беллы IV есть много спорного.

Сама Магда Сабо сказала в одном из интервью: «Сын женщины из Мерано» — историческая драма. Но меня интересует не «чистая» история. Хотелось извлечь из прошлого уроки, полезные и для сегодняшнего дня. Мы принадлежим истории так же, как она принадлежит нам».

На снимке: репродукция картины Берил Кук «Уборщики мусора».

*(Газета «Морнинг стар»)*

На снимке: сцена из спектакля «Сын женщины из Мерано». В роли королевы Гертруды (женщины из Мерано) актриса Сильвия Шуньовски, в роли ее сына короля Беллы IV Петер Хусти.

*(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)*

## ГДР

### ФЕСТИВАЛЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА

Традиционный, восемнадцатый по счету, фестиваль пролетарского искусства состоялся на этот раз в городе Ростоке. В нем участвовало 16 000 человек, 304 профессиональных и народных коллектива показали свое искусство. Экспонировались работы скульпторов, живописцев и графиков.

Большой интерес вызвали встречи писателей с читательской аудиторией. Прочли отрывки из своих книг Уве Кант, Хорст Бастиан, поэт Ульрих Грасник, были выставлены книги Гюнтера Хофе, Рут Крафт, Роземари Шудер. Читатели обсуждали произведения, вышедшие в течение последнего года: повесть Макса Вальтера Шульца «Солдат и женщина», новеллу Эрика Нойча «Два свободных стула», роман Армина Мюллера «Дерево Магдалены».

Как обычно, к фестивалю было приурочено присуждение премий Объединения свободных немецких профсоюзов. Премии получили писатели Герхард Бенгш, Иоахим Бремер, Рольф Флос, Гизела Карау, Ганс Вебер, Гюнтер Дайке.

## ДАНИЯ

### ПОЭЗИЯ «ЗЕЛЕНОЙ СТРАНЫ»

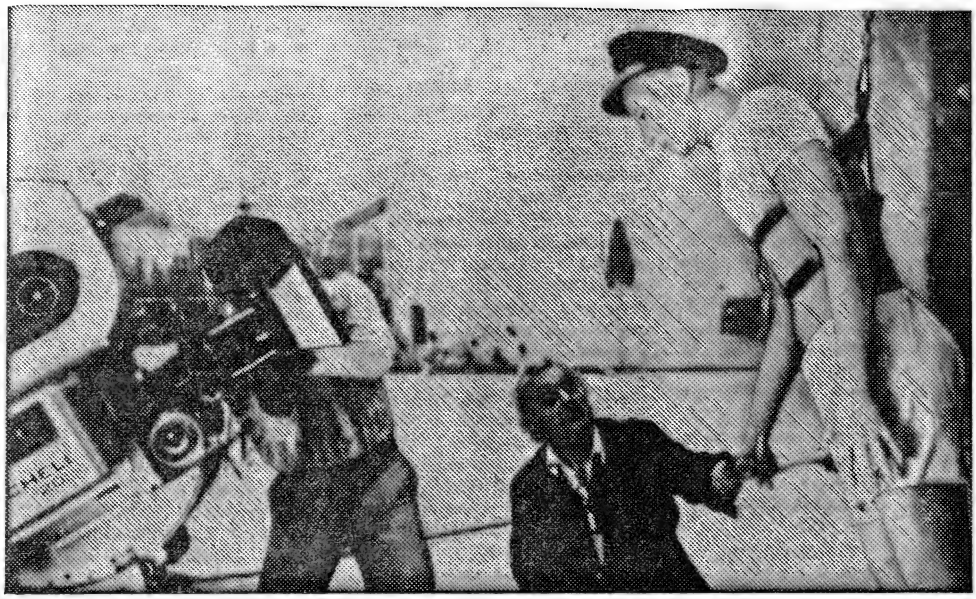
«Издавна поэзия считалась неотъемлемым элементом традиционного уклада жизни гренландцев. Поэтическое творчество распространялось чуть ли не на все формы человеческого общения. В стихах люди развлекали друг друга, посмеивались друг над другом, выясняли правовые отношения. Слагали колыбельные, колдовские заклинания, сатирические песни... Казалось, будто бы все чувства — скорбь, радость, гнев, любовь, ненависть и страх,— которые человек не мог выплеснуть в слишком тесном мире, где все зависели друг от друга, обретали с помощью поэтического искусства почти установленную обрядовую форму. Хотя в гренландской поэзии отчетливо выражен элемент занимательности, важно также помнить и о том, что она отражает определенные законы сосуществования в обществе и призывает придерживаться тех норм поведения, которые необходимы для поддержания жизни в суровом арктическом климате».

Эта цитата взята из предисловия Карен Нёррегор к антологии современной гренландской поэзии, увидевшей свет в крупнейшем датском издательстве «Гюльдендаль». В антологии представлены как старейшие поэты «Зеленой страны», так и совсем молодые авторы: Фредерик Нильсен, Оле Бранд, Дорте Натанielьсен, Элизабет Люберт и др.

Тематика произведений, включенных в сборник, разнообразна. Это и сказания о любви, и лирические раздумья о природе, о родном языке, и стихи, в которых затрагиваются проблемы, жизненно важные для современной Гренландии. К последним относится сатирическое стихотворение Йенса Гайслера «Война».

Антология издана на двух языках — датском и гренландском. Коренное население острова, отмечает рецензент газеты «Ланд ог фольк», всячески стремится сохранить и развивать свой язык, и данную публикацию нужно рассматривать как большое и значительное событие в культурной жизни Гренландии.

На снимке: рисунок Кристиана Ольсена, одного из авторов текста и иллюстратора антологии гренландской поэзии.



На снимке: Феллини на съемках фильма «Город женщин». *(Газета «Унита»)*

## ИТАЛИЯ

### НАГРАДЫ СОВЕТСКИМ ИТАЛЬЯНИСТАМ

В Монселиче, близ Падуи, состоялось очередное присуждение премий за переводы художественной литературы и научных сочинений.

Этот небольшой городок — единственное место в Италии, где ежегодно, вот уже в течение десяти лет, постоянное жюри под председательством профессора Джанфранко Фолены (в состав жюри входят такие известные литераторы, как Карло делла Корте, Чезаре Казес, поэт Марио Луци и др.) выносит решение о награждении лучших переводов года. На этот раз одна из премий, международная премия «Диего Валери», учрежденная в 1976 году (в год смерти поэта) за переводы итальянской художественной прозы и поэзии, была присуждена советскому переводчику Евгению Солоновичу. Как сообщает падуанская газета «Маттино», премии удостоена «многолетняя плодотворная переводческая деятельность» Е. Солоновича, в частности, вышедший в 1979 году в его переводе сборник лирики Эудженио Монтале. Жюри премии, мотивируя свой выбор, подчеркивает, что «переводы Солоновича звучат как русские стихи, оставаясь стихами итальянских поэтов».

Специальной медалью Фонда Чини отмечены также работы советского литературоведа и переводчика Н. Б. Томашевского.

Присуждение наград советским итальянистам связано с исполнившимся в этом году 90-летием старейшего итальянского русиста Этторе Ло Гатто, автора 7-томной истории русской литературы, двухтомника переводов стихов и прозы А. С. Пушкина и нескольких книг по истории России.

### НОВЫЙ «СОН» ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ

«Все мои фильмы — сны»,— сказал как-то Феллини. Сюжет последнего его фильма «Город женщин» уже не в переносном, а в прямом смысле слова составляют сновидения героя, профессора Снапораца, специалиста по античной культуре (его играет Марчелло Мастройянни). Снапорац погружается в начальных кадрах в сон под стук колес поезда, а в конце фильма пробуждается. Как и в других картинах Феллини, пишет рецензент «Униты», переход от мира действительного к миру сновидений не выражен отчетливо, и зрителю не всегда ясно, в какой из этих ипостасей развиваются события.

Снапорац как бы пробуждается, сходит с поезда и, следуя за дамскими ножками в сапогах, попадает в гостиницу, полную женщин. Здесь проходит собрание феминисток. Это женщины разных возрастов, национальностей, разных убеждений, но все вместе они составляют, пишет рецензент еженедельника «Эуропео», «толпу прямотаки устрашающую», в которой сосредоточены все пороки современной цивилизации. Даже лучшие побуждения (скажем, борьба за женское равноправие) приобретают здесь уродливые формы. В свойственной ему гиперболизированной, острогротескной манере Феллини показывает, как его герой становится жертвой некой мужеподобной соблазнительницы, попадает в общество молодых наркоманок, встречает женщин-полицейских, облаченных в

форму, напоминающую гитлеровскую, предстает перед женским трибуналом, который сажает его в клетку на всеобщее осмеяние.

Профессор Снапорац просыпается в тот момент, когда какая-то террористка пытается сбить автоматной очередью висящее в небе, подобно аэростату, изображение Жены-Матери-Мадонны — так трактует этот единственный светлый образ в кошмарных сновидениях Снапорац корреспондент «Унити». Рецензент еженедельника «Эпока» считает, что по манере исполнения и по мысли «Город женщин» более всего близок фильму Феллини «Восемь с половиной».

## МЕКСИКА

### ВСТРЕЧА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В мексиканской столице прошла Первая встреча писателей Латинской Америки и Карибского бассейна, организованная Национальным автономным университетом Мехико, Национальным институтом изящных искусств, Ассоциацией писателей Мексики и Международной книжной ярмаркой. Во встрече приняли участие около 70 латиноамериканских литераторов, среди которых такие известные мастера, как Габриэль Гарсиа Маркес, Хуан Рульфо, Марио Бенедетти, Луис Кардоса-и-Арагон. Участвовавший в работе писательской конференции кубинский новеллист Сесар Леанте поделился своими впечатлениями в беседе с корреспондентом журнала «Боэмия».

На встрече в Мехико, рассказал Сесар Леанте, были затронуты, в частности, такие важные проблемы, как условия творческой деятельности латиноамериканских литераторов, соотношение подлинной и коммерческой литературы, качество и массовость литературной продукции.

Однако, отмечалось в выступлении кубинской делегации на встрече, не следует бояться самого термина «массовая литература» и непременно связывать ее с литературой коммерческой. Между массовостью и качеством нет очевидного противоречия. Можно только приветствовать широкое распространение лучших образцов литературного творчества и непрерывный рост читающей публики. Чем больше читателей, тем строже их отношение к качеству того или иного произведения. Одновременно растет и влияние писателей на массы людей, на формирование их мировоззрения. Достаточно привести в качестве примера Габриэля Гарсиа Маркеса. Миллионные тиражи «Ста лет одиночества» в десятках стран никоим образом не обозначали, что во имя массовости были принесены в жертву художественные достоинства романа. Габриэль Гарсиа Маркес имеет все основания быть довольным подобной «массовостью».

Отвечая на вопрос о методологических аспектах работы писателя, рассмотренных во время встречи, Сесар Леанте рассказал:

— Естественно, что вопросы языка, стиля, формы, а также роль вымысла в процессе литературного творчества были самым подробным образом проанализированы в ходе работы секций. При этом неизбежно возникали разговоры о произведениях таких выдающихся мастеров слова, как недавно умерший Алехо Карпентьер, Хуан Рульфо, Гарсиа Маркес, которые совершили подлинные открытия в области языка. Меня всегда восхищали произведения, которые воссоздают ту или иную эпоху, наполняя ее людьми, улицами, деревьями, запахами, красками... В них видится живая действительность, силой воображения ставшая фактом искусства. Мне импонирует и то, что было найдено в действительности еще Гоголем и Достоевским: присутствие в ней элементов фантастического.

## МОНГОЛИЯ

### ИНТЕРЕСНАЯ ДИСКУССИЯ

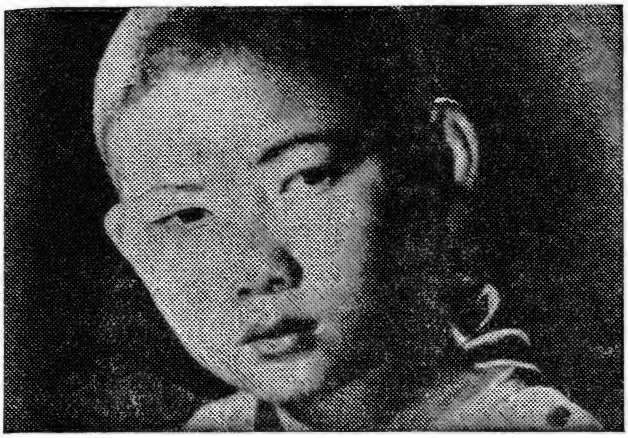
Недавно газета «Утта зохиол урлаг» опубликовала результаты встречи виднейших писателей и критиков Монголии, которые высказали свое суждение о последних романах монгольских писателей: Н. Банзрагча («Земля Хошуугагаан»), Д. Гармы («Земля и небо»), С. Дашдэндэва («Юность»), Д. Даржаа («Любовь»), С. Лочина («Семь долгих дней», «Крах»), Д. Маама («Земля, на которой нет места»).

«Похвально стремление писателей показать внутренний мир героев и поставить нравственные проблемы, смело отобразить конфликты,— сказал С. Эрдэнэ,— но недостаток большинства романов в отсутствии в них целостного характера и жизненных образов». Далее писатель критикует роман Н. Надмида «Освобождение от пут». В романе недостаточно полно раскрыты судьбы героев, отсутствует эволюция образов.

С. Лочин соглашается с Эрдэнэ в том, что в романах последних лет недостает философской глубины.

Затем выступил молодой критик Ч. Билигсайхан, который сказал, что в последнее время появилось много романов, авторы которых пытаются ставить важные проблемы нашей жизни. Например, романы С. Лочина «Семь долгих дней», Д. Гармы «Земля и небо», Ж. Пурэва «Ливень», Ж. Бямбы «Великие путешественники», Н. Банзрагча «Земля Хошуугагаан». Однако некоторые романы упрощенно решают поставленную задачу, отстают от современного решения проблемы. А для этого прежде всего необходима твердая позиция самого автора.

Одним из тех романов, которые отличаются яркостью и образностью языка, говорит Билигсайхан, стал роман «Освобождение от пут». Надмид пытался не подчиняться стереотипу в системе образов. Однако нельзя не согласиться и с Эрдэнэ, сказал он, который критиковал автора романа за упрощенность в решении сюжета, развитии образа. Обогащается жанровое разнообразие современного романа. Недавно вышли в свет два романа-памфлета: «Крах» С. Лочина и «Земля, на которой



На экранах страны с успехом прошел фильм «Чабан Найдан» режиссера Н. Нямдаваа. В основу фильма легла повесть известного монгольского писателя Д. Цэвэгмида, написанная в 1935 году и получившая широкое признание читателей. В ней рассказывается о жизни сельского мальчика, который благодаря народной власти получил возможность учиться, чтобы стать потом строителем новой жизни. На снимке: Гантулга — ученик пятого класса из столичной школы имени Хосе Марти, исполнитель главной роли в фильме «Чабан Найдан».

*(Журнал «Монголия»)*

нет места» Д. Маама. Последний следует считать особенной удачей писателя. Нужно также отметить, что в романе использован богатый фактический материал. Вместе с тем Д. Маам, по мнению оратора, слишком увлекся «языковым украшательством», что подчас мешает восприятию описываемых событий.

Г. Жамсаранжав обратил внимание на то, что обсуждение сегодня проблемы мастерства — факт сам по себе замечательный, так как еще двадцать лет тому назад мы не имели такой возможности. Ныне жанровые рамки нашего романа расширяются. Критик отметил интересный опыт авторов романа «Юность» С. Дашдэндэва и роман «Земля и небо» Д. Гармы.

## ПОЛЬША

### «ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» ВИТОЛЬДА ЗАЛЕВСКОГО

Новый роман Витольда Залевского «Последняя остановка», посвященный народному восстанию 1863 года, был назван журналом «Нове ксёнжки» одной из лучших книг 1979 года. Герой романа, как пишет в еженедельнике «Жице литерацке» Б. С. Кунда, оказывается перед лицом сложнейших проблем времени.

«Судьба героя,— пишет в «Тыгоднике культуральном» А. Хамрлинский,— необычайное переплетение его патриотизма, страстной самоотверженности, юношеских идеалов с трагизмом истории».

Корреспондент газеты «Трибуна люду» взял интервью у писателя, спросил его, почему он обратился к теме восстания 1863 года. «Мне кажется,— ответил писатель,— что 1863 год, о чем свидетельствуют наша лучшая литература и вся наша культура, является чрезвычайно важным периодом, определенным рубежом, когда начало формироваться наше общественное сознание, процесс, который продолжается и сейчас. Польская интеллигенция, пережившая события 1863 года, особенно остро ощутила неразрывную связь своей личной судьбы с историей народа... Я пытался понять, определить место человека в истории его страны, смысл человеческой деятельности и цель всеобщих устремлений».

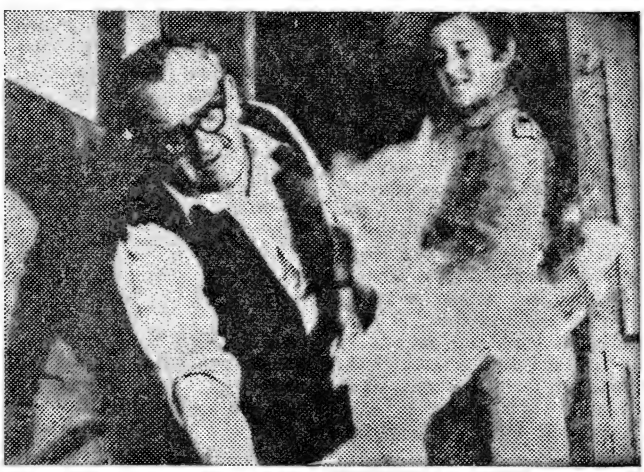
### НОВЫЙ ФИЛЬМ КАЗИМЕЖА КУТЦА

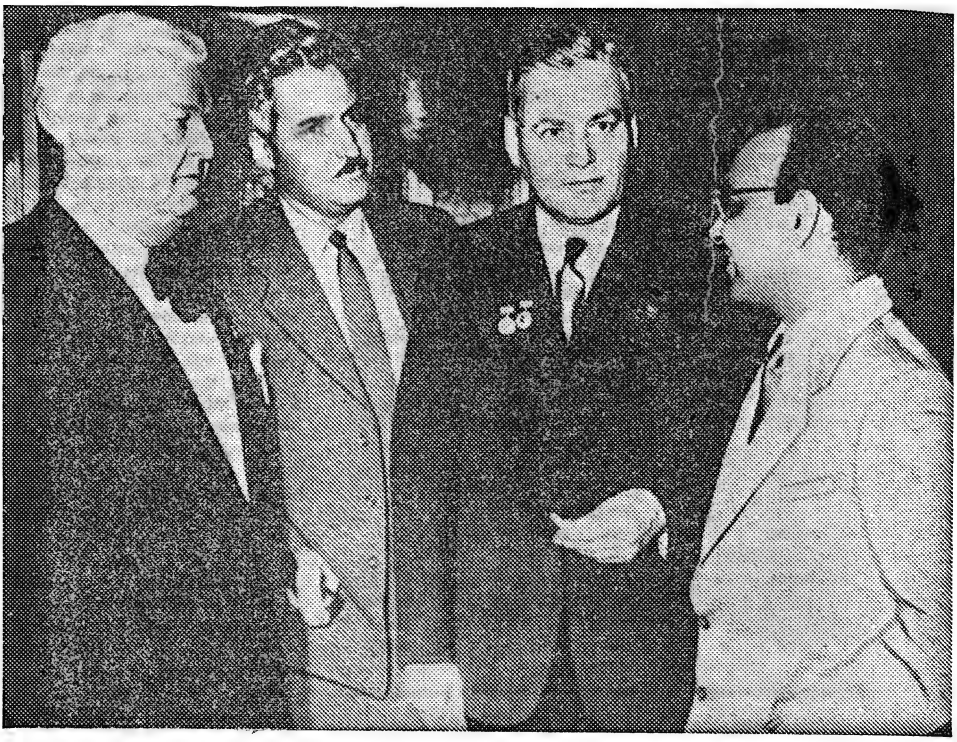
Казимеж Кутц, автор широкоизвестных фильмов «Соль земли черной», «Жемчужина в короне» («ИЛ» № 11, 1970 г. и № 5, 1972 г.), отмеченных отечественными и международными премиями, создал новый фильм «Звенья одной цепи», в основу которого легла новелла Альбина Секерского «Его дома больше не существует».

«Певец шахтерской Силезии» — как называют Казимежа Кутца — является и режиссером и автором сценария. «Силезия для меня,— сказал К. Кутц в интервью журналу «Фильм»,— самое прекрасное место на

На снимке: Аугустин Халотта и Юрек Жепка в фильме «Звенья одной цепи».

*(Журнал «Фильм»)*





На снимке: М. Садовяну, К. Симонов, Вилис Лацис, Кришан Чандар на Декаде литовской литературы и искусства в Москве в 1955 году.

земле. Я чувствую себя счастливым среди ее людей, и нет для меня никого лучше их... Я пытаюсь в своих фильмах воссоздать самобытность их душевного склада, их пролетарскую сплоченность, их сочный язык, их неповторимый юмор».

В фильме рассказывается о судьбе ветерана труда — заслуженного шахтера, который не захотел переселиться в новый, благоустроенный дом. Он предпочитает остаться в своем старом, ветхом домишке, где прошла вся его жизнь, где увидели свет его дети и внук.

Газета «Трибуна люду», давая высокую оценку фильму, пишет:

«Фильм К. Кутца — документальное и публицистическое произведение, но в то же время это и повесть о переменах в отношениях людей, в их быте, семейной жизни, о неотвратимых переменах, которые приносит с собой время. Это еще одно слово К. Кутца о шахтерской Силезии, о людях этого края, очень ему близкого, потому что он родился и вырос в нем и здесь продолжает творить».

Главную роль с блеском, как отмечает пресса, сыграл потомственный старый шахтер Аугустин Халотта, судьба которого очень схожа с судьбой героя фильма.

## РУМЫНИЯ

### ЮБИЛЕЙ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

Подготовка к празднованию столетнего юбилея М. Садовяну, крупнейшего румынского прозаика XX столетия, началась уже давно. В период с 1976-го по 1979 год вышел ряд монографических работ, посвященных жизни и творчеству выдающегося художника.

Рецензенты единодушно отметили достоинства таких книг, как сборник статей «Садовяну в оценке румынской критики», исследование З. Сынджорзана «Основные темы творчества Садовяну», А. Марчи «Мир героев Садовяну», Ф. Бэйлештяну «Введение в творчество Садовяну», М. Томуша «М. Садовяну».

Оживленные дискуссии вызвали работы Н. Манолеску «М. Садовяну и его фетишизация книги» (по мнению рецензента «Ромыния литерарэ» М. Йоргулеску, автор втиснул все многогранное творчество писателя в прокрустово ложе своей концепции о «книжности» Садовяну) и Ал. Палеологу «Ступени мира, или Возвращение Садовяну к себе» (являющую собой, по словам рецензента «Стяуа» Н. Штайнгарта, попытку представить Садовяну как автора, в творчестве которого якобы сильны мистические элементы).

И словно стремясь вовлечь самого М. Садовяну в эти дискуссии, К. Митру, бывший секретарь писателя и хранитель его архива, опубликовал книгу «Садовяну о Садовяну», содержащую фрагменты высказываний писателя о его творческих поисках, о призвании художника служить

делу освобождения трудового народа. Книга положительно оценена рецензентами «Контемпоранул», «Конворбирь литерарэ», «Ромыния литерарэ», «Лучафэрул» и других журналов.

## США

### ДВЕ КНИГИ УОРРЕНА

В последние годы Роберт Пенн Уоррен вернулся к поэзии, с которой полвека назад начал свой творческий путь. Большой интерес вызвали две его новые книги — поэма на исторический сюжет «Брат драконов» и сборник лирики «Тогда и сейчас».

Поэма посвящена подлинным событиям, почерпнутым из ранней американской истории. В 1811 г. плантатор Лилберн Льюис, приходившийся племянником Томасу Джефферсону, вдохновителю американской революции, зверски убил раба за то, что тот по неосторожности расколол кувшин, считавшийся семейной реликвией. Тело было брошено в камин и успело наполовину сгореть, когда неожиданное землетрясение разрушило дом,— собаки растащили останки, и случившееся получило огласку. Спасая репутацию семьи, Лилберн застрелился на могиле своей матери, а его брат, также замешанный в преступлении, бежал.

Уоррен ведет свой рассказ в форме диалога нескольких сменяющих друг друга голосов: участвуют в этом диалоге погибший раб, Лилберн и его брат, случайные свидетели, а также Джефферсон и сам автор. Поэта волнует прежде всего нравственный смысл происходящего, и за перипетиями сюжета обозначается давняя тема Уоррена — тема духовного благородства и низости, жестокости, как двух начал, постоянно борющихся в человеке. Кульминацией поэмы становится спор Уоррена и Джефферсона. Для Уоррена трагедия в доме Лилберна Льюиса — это логичное следствие джефферсоновской философии и этики, не распространявшей принципы справедливости на чернокожих и тем самым оправдывавшей любое злодеяние по отношению к рабам. Уоррен настойчиво повторяет, что все человечество ответственно за жестокость и насилие над любым его представителем. Указывая, что в этой полемике Уоррен несколько упрощает взгляды своего оппонента и отходит от историзма, критики вместе с тем признают непреходящую актуальность самой коллизии, развернутой в его поэме.

В сборнике «Тогда и сейчас» объединены стихи последних трех лет. Главная тема лирики Уоррена — духовные итоги прожитых десятилетий, обозреваемых умудренным, трезвым, многое испытавшим и о многом передумавшим человеком.

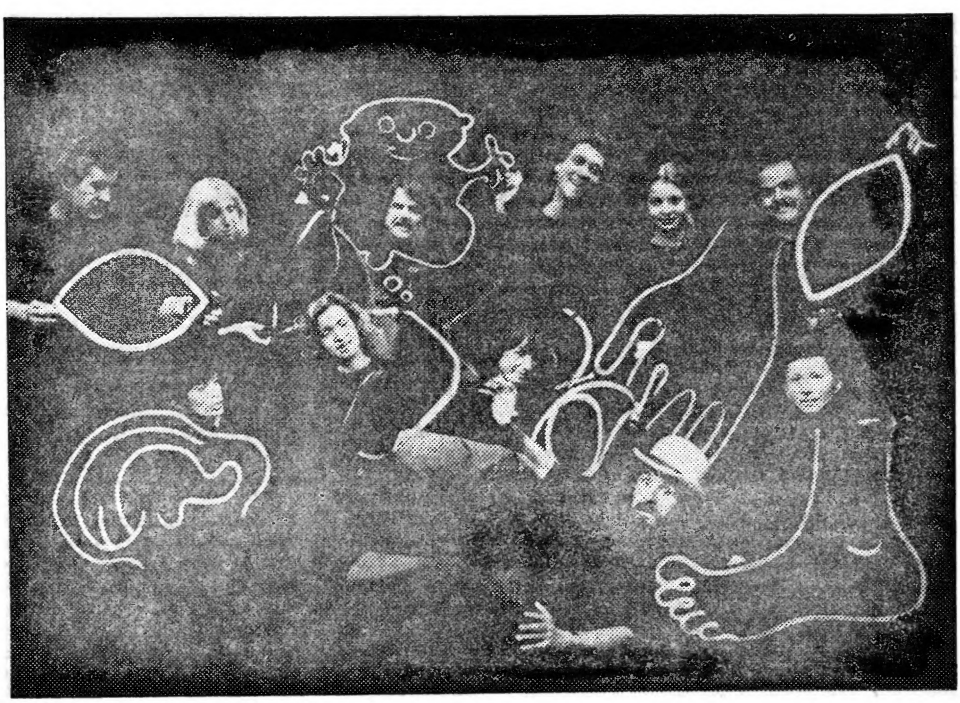
## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

### НЕОБЫЧНЫЙ ТЕАТР

Вот уже несколько лет внимание зрителей многих стран привлекает пражский «Рисованный театр». «Клоун» — первая пьеса необычного театра — выдержал за пять лет около пятисот представлений и продолжает пользоваться успехом.

Что же это за театр, пока не имеющий себе подобных в мире? Принцип «черного кабинета», лежащий в основе театра, известен уже шесть столетий. Идея его

На снимке: сцена из спектакля «Кабинет анатомии». *(Журнал «Кветы»)*



возникла совсем по другому поводу. Рассказывают, что у одного правителя в Восточной Азии умер любимый сын. Отец так страдал, что придворный маг придумал необычный трюк. Он сделал маску, напоминающую лицо умершего, и на черном фоне с помощью людей, одетых в черное, «оживил» горячо оплакиваемого сына. Изобретательный фокусник не мог и предположить, что его трюк навсегда войдет в историю театра. Идея быстро распространилась по всему миру, но на смену грустной истории пришли веселые и фантастические рассказы о вещах и предметах, живущих собственной жизнью, передвигающихся без помощи людей.

К традиции «черного кабинета» обратился и Франтишек Кратохвил — живописец, график и скульптор. Несколько лет ушло на эксперименты, и наконец цель достигнута! Равноценным партнером актера на сцене стал оживший рисунок.

Сегодня создатели театра используют мягкие, достаточно пластичные черные материалы, на которых можно рисовать. Из этих материалов делают реквизит и костюмы, на которые затем наносят рисунок светящимися красками. Благодаря этому и возможны «волшебные превращения» живого персонажа в рисунок и наоборот. Невидимый актер, на черном фоне в черном костюме и маске, пластикой своего тела как бы наделяет нарисованных персонажей определенным характером. Правда, часто для одного персонажа требуется пять, шесть, а то и девять актеров, но на сцене зритель видит двух или трех, с остальными знакомится, когда в зале зажигается свет и актеры снимают черные маски, делавшие их невидимыми.

Точная слаженность движений, тонкое чувство ритма и музыкальность актеров — необходимое условие осуществления спектакля в «Рисованном театре».

В репертуаре театра несколько пьес: помимо упомянутого «Клоуна» — «Кабинет анатомии», «О клоуне, который рисует на темноте», «Семь размышлений о мужчине и женщине».

Создатели театра Франтишек Кратохвил и Владимир Цабалка не ограничиваются представлениями для взрослых. Они создали спектакли для детей — «Черно-белые прогулки» и «Цветные прогулки». И детей, и взрослых, как замечает корреспондент журнала «Кветы», современные «волшебники» из «Рисованного театра» одаривают увлекательной фантазией и мечтой, поэзией, весельем и остроумием.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
**О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. И. Иванова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/VIII 1980 г. А 11175. Подписано в печать 16/IX 1980 г.
Печать высокая. Бумага 70×108¹/₁₆. 17 п. л. (23,8) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30,86.

Тираж 480 000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 2508.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

**Портрет старика**

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394